

БЕЛЛА

енрикс

Г. БЕЛЛА

енрикс

5

5

Г. БЕЛЫЙ
Кенрус

ГЕНРИХ БЁЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А. В. КАРЕЛЬСКИЙ

Н. С. ПАВЛОВА

И. М. ФРАДКИН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ПЯТЫЙ

ПОВЕСТЬ
РОМАН
РАССКАЗЫ
ЭССЕ
РЕЧИ
ИНТЕРВЬЮ

1971-1985

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ББК 84.4Г
Б 43

HEINRICH BÖLL

Составление

И. М. ФРАДКИНА

Комментарии

М. В. ЗОРКОЙ

Оформление художника

Ю. Ф. КОПЬЛОВА

Б $\frac{4703010100-058}{028(01)-96}$ Подписное

ISBN 5-280-01220-3 (Т. 5)
ISBN 5-280-00825-7

© Состав. Фрадкин И. М., 1993 г.
© Оформление. Лепятский А. В.,
1996 г.
© Комментарии. Зоркая М. В.,
1996 г.

ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ,

или
Как возникает насилие
и к чему оно может привести

Перевод Е. Кацевой

ПОВЕСТЬ

**DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM, ODER: WIE
GEWALT ENTSTEHT UND WOZU SIE FÜHREN KANN**

Персонажи и сюжет этой повести — вымышленные. Если при описании определенных журналистских приемов обнаружится сходство с приемами газеты «Бильд», это сходство ни преднамеренное, ни случайное, но неизбежное.

1

Нижеследующий отчет основан на нескольких побочных и трех главных источниках, которые будут названы сразу, чтобы потом о них больше не упоминать. Главные источники: полицейские протоколы допросов, адвокат д-р Хуберт Блорна, а также его друг со школьных и студенческих времен прокурор Петер Гах, который — разумеется, доверительно — дополнил протоколы допросов, разъяснил некоторые меры следственных органов и сообщил результаты расследований, не фигурировавшие в протоколах; сделал он это — необходимо добавить — не для официального, а для сугубо частного использования, так как очень близко принял к сердцу скорбь своего друга Блорны, который не знал, чем все это объяснить, но считал, что, «если хорошенько подумать, это вполне объяснимо и даже почти логично». Поскольку дело Катарини Блюм все равно останется более или менее сконструированным, — ввиду поведения обвиняемой и очень трудного положения ее защитника, д-ра Блорны, — некоторые мелкие, по-человечески очень естественные некорректности, допущенные Гахом, не только понятны, но и простительны. Побочные источники — одни более, другие менее значительные — здесь незачем упоминать, ибо их запутанность, перепутанность, пристрастность, сопричастность, сомнительность и убедительность выявятся из самого отчета.

2

Если отчет — поскольку здесь много говорилось об источниках — порой покажется «растекающимся», читателю приносятся извинения: это было неизбежно. Так как мы имеем дело с «источниками» и «текучестью», говорить о композиции не приходится, может быть, вместо нее следовало бы прибегнуть к понятию «сведение» (в качестве

замены предлагается иностранное слово «кондукция»), и это понятие было бы доступно всякому, кто когда-либо ребенком (или даже взрослым) играл в лужах, возле них или с ними, соединял их каналами, опорожнял, отводил, переводил, пока наконец не *сводил* все имеющиеся в его распоряжении водно-лужные ресурсы в единый канал, чтобы отвести или перевести его на более низкий уровень, в изготовленный официальными властями сточный желоб или канал,— причем надлежащим порядком, по правилам, как полагается. То есть производится лишь своего рода дренаж, или осушение,— ничего более. Чистейшее наведение порядка. Так что, если местами повесть станет «растекаться» — из-за разницы уровней,— читателя просят быть снисходительным, ведь бывают же, в конце концов, застои, заторы, обмеления, неудачные кондукции и источники, «не могущие соединиться», а кроме того, и подземные течения и т. д., и т. д.

3

Факты, которые, наверное, следует изложить прежде всего, жестоки: в некоем городе, в среду, 20.02.1974, в канун предшествующего Великому посту карнавала, молодая женщина двадцати семи лет в 18.45 отправляется из своей квартиры на частный танцевальный вечер.

Спустя четыре дня после — приходится выразиться именно так (указывая тем самым на необходимую для течения разницу уровней) — драматического развития событий, в воскресенье вечером, почти в то же самое время, точнее говоря — в 19.04, она позвонит в дверь квартиры старшего комиссара уголовной полиции Вальтера Мёдинга, который как раз занят тем, что по служебной, а не личной надобности переодевается шейхом, и даст ошеломленному Мёдингу официальные показания для занесения в протокол, что в полдень, в 12.15, она застрелила в своей квартире журналиста Вернера Тётгеса; пусть он распорядится взломать дверь ее квартиры и «забрать» оттуда тело; сама она с 12.15 до 19.00 бродила по городу, чтобы почувствовать раскаяние, но никакого раскаяния не почувствовала; кроме того, она просит ее арестовать, она хочет находиться там, где находится ее «дорогой Людвиг».

Мёдинг, который знает молодую особу по различным допросам и питает к ней некоторую симпатию, ни минуты не сомневается в ее показаниях, отвозит ее на своей собственной машине в управление полиции, уведомляет сво-

его начальника, главного комиссара уголовной полиции Байцменне, велит отвести молодую женщину в камеру, через четверть часа встречается с Байцменне у двери ее квартиры, где специально обученная команда взламывает дверь, и убеждается в правильности показаний молодой женщины.

Здесь не следует много говорить о крови, ведь только *необходимая* разница уровней должна считаться неизбежной, и потому читатель отсылается к телевидению и кино, к соответствующим боевикам и мюзиклам; если здесь что и потечет, то не кровь. Может быть, следует указать на определенные цветовые эффекты: застреленный Тётгес был одет в импровизированный костюм шейха, сметанный из весьма ветхой простыни, а каждый ведь знает, что может натворить красная кровь на белой ткани, если того и другого много; пистолет в таком случае неизбежно становится почти что краскораспылителем, и поскольку в случае с костюмом речь идет о *полотне*, то ссылки на современную живопись и декорации здесь уместнее, чем на дренажи. Ладно. Таковы, стало быть, факты.

4

Был ли жертвой Блюм также и фотокорреспондент Адольф Шённер, найденный, тоже застреленным, в перелеске западнее веселившегося города лишь в среду на первой неделе Великого поста, считалось некоторое время не исключенным, но после того, как восстановили хронологическую последовательность событий, было признано, что это «не соответствует фактам». Один таксист позднее показал, что он подвозил переодетого тоже шейхом Шённера вместе с переодетой в костюм андалузки молодой особой как раз к тому перелеску. Но Тётгес был застрелен уже в воскресенье днем, а Шённер — лишь во вторник днем. И хотя скоро было установлено, что орудие убийства, найденное около Тётгеса, никак не может быть оружием, из которого убит Шённер, Блюм несколько часов находилась под подозрением — из-за мотива преступления. Если у нее были причины мстить Тётгесу, то по меньшей мере столько же причин у нее было мстить Шённеру. Но чтобы Блюм имела два пистолета — это следственным органам показалось все же маловероятным. Свое кровавое злодеяние Блюм совершила с холодным расчетом; на вопрос о том, не убила ли она и Шённера, она дала уклончивый ответ в форме вопроса же: «А почему бы и не этого?» Однако потом ее перестали подозревать

в убийстве Шённера, тем более что проверка алиби почти полностью доказала ее невиновность. Никто из тех, кто знал Катарину Блюм или узнавал ее в ходе следствия, не сомневался, что, соверши она убийство Шённера, она бы непременно призналась. Во всяком случае, таксист, подвозивший парочку к перелеску («Я, скорее, назвал бы это зарослями кустарника», — сказал он), не узнал на фотографиях Блюм. «Господи, — сказал он, — эти хорошенькие стройные шатенки ростом 1,63—1,68 в возрасте 24—27 лет — да их тут в карнавальные дни бегают сотни тысяч».

В квартире Шённера не нашли никаких следов Блюм, никаких следов андалузки. Коллеги и знакомые Шённера могли лишь сказать, что во вторник около полудня он из пивной, где собираются журналисты, «смылся с какой-то гуленой».

5

Один высокопоставленный учредитель карнавала, виноторговец и представитель фирмы шампанских вин, который мог похвастать, что возродил юмор, облегченно вздохнул в связи с тем, что оба преступления стали известны только в понедельник и среду. «Случись такое в начале праздника, и хорошему настроению вместе с торговлей конец. Если люди узнают, что переодевания использовали для уголовных дел, настроение сразу же испортится, и торговле крышка. Это чистое кошуństwo. Легкость и веселье требуют доверия, это их основа».

6

После того как стало известно об убийстве двух ее корреспондентов, г а з е т а повела себя несколько странно. Неслыханный переполох! Крупные заголовки. Титульные полосы. Специальные выпуски. Сообщения о смерти огромными буквами. Слово в мире, где стреляют, убийство журналиста — это нечто из ряда вон выходящее, более важное, к примеру, чем убийство директора, служащего или грабителя банка.

Этот факт сверхвнимания прессы здесь следует отметить, потому что не только г а з е т а, но и другие газеты действительно подали убийство журналиста как нечто особенно ужасное, страшное, почти предопределенное, чуть ли не как ритуальное убийство. Говорили даже о «жертве профессии», и сама г а з е т а, конечно, упрямо держалась версии, будто Шённер тоже жертва Блюм, и ес-

ли приходится признать, что, будь Тётгес не журналист (а, скажем, сапожник или пекарь), его, вероятно, и не застрелили бы, то надо все же попытаться выявить, не правильнее ли говорить о смерти, обусловленной профессией, ибо ведь будут еще разбираться, почему такая умная и сдержанная особа, как эта Блюм, не только запланировала, но и осуществила убийство — в решающий, ею самой избранный момент не только схватилась за пистолет, но пустила его в ход.

7

Поднимемся сразу же с этого крайне низкого уровня в более высокие сферы. Довольно о крови. Забудем волнения прессы. Квартира Катарина Блюм убрана, ставшие непригодными ковры выброшены на помойку, мебель протерта и расставлена по местам — все по распоряжению и за счет д-ра Блорны, получившего полномочия от своего друга Гаха, хотя пока совершенно неизвестно, будет ли Блорна распорядителем имущества.

Как-никак эта Катарина Блюм за пять лет вложила в квартиру общей стоимостью в сто тысяч марок семьдесят тысяч наличными, так что, как выразился ее брат, в данное время отбывающий небольшой срок заключения, «тут есть чем пожить». Но кто тогда выплатит проценты и оставшийся долг в тридцать тысяч, даже если учесть довольно значительное подорожание квартир? Остается не только актив, но и пассив.

Тётгес тем временем давно похоронен (с неподобающей помпой, по мнению многих). Смерть же и похороны Шённера, как ни странно, были обставлены с куда меньшей пышностью и сенсационностью и не привлекли такого внимания. Почему бы это? Потому, что он был не «жертвой профессии», а, скорее всего, жертвой ревности? Костюм шейха хранится в складе вещественных доказательств, равно как и пистолет (08), происхождение которого ведомо только Блорне — полиции и прокуратуре выяснить это не удалось.

8

Расследование действий Блюм в те четыре неясных дня поначалу шло на лад, но, когда дошло до воскресенья, дело застопорилось.

В среду вечером Блорна самолично выплатил Катарине Блюм жалованье за две полные недели — по 280 марок

за каждую, за текущую неделю и за следующую,— так как в среду вечером он вместе с женой уезжал на зимний отдых. Катарина не просто обещала Блорнам, она прямо-таки поклялась, что наконец возьмет отпуск и будет развлекаться на карнавале, а не наймется, как делала все эти годы, на сезонную работу. Она радостно сообщила Блорнам, что вечером приглашена на небольшой домашний бал к своей крестной, подруге, близкому другу Эльзе Вольтерсхайм, чему она очень рада, так как давно уже не имела случая потанцевать. На что госпожа Блорна ей сказала: «Ничего, Катринхен, вот когда вернемся, мы тоже устроим вечер, и ты сможешь потанцевать». С тех пор как она живет в городе, вот уже пять или шесть лет, Катарина все жаловалась на отсутствие возможности «куда-нибудь просто пойти потанцевать». Как она рассказывала Блорнам, тут были только лачуги, где какие-то жалкие студенты искали бесплатных шлюх, да еще богемного типа заведения, в которых тоже одно беспутство, а профессиональные танцевальные мероприятия она просто ненавидела.

Как было установлено, в среду вечером Катарина еще два часа проработала у супругов Хиперц, которым она время от времени по их просьбе помогала. Так как Хиперцы тоже на дни карнавала уезжали из города — к дочери в Лемго,— Катарина в своем «фольксвагене» отвезла пожилую чету на вокзал. Хотя и трудно было найти место для машины, она настояла на том, чтобы проводить их на перрон, да еще и вещи отнесла. («Не за деньги, нет, за такие одолжения нельзя было даже предлагать ей что-нибудь, это ее глубоко обидело бы»,— объяснила госпожа Хиперц.) Поезд, как установлено, отошел в 17.30. Если 5—10 минут дать Катарине на то, чтобы в начинающейся карнавальной суতোлке найти свою машину, еще 20 или даже 25 минут, чтобы доехать до своей квартиры, которая расположена за городом в лесном жилом массиве и в которую она, таким образом, могла войти только в 18.00—18.15, то не остается ни одной невыясненной минуты, да еще надо дать ей время помыться, переодеться и перекусить, ибо уже в 19.25 она появилась на вечере у госпожи Вольтерсхайм, причем ехала туда не на машине, а на трамвае и одета была не бедуинкой и не андалузкой, а просто была с красной гвоздикой в волосах, в красных чулках и туфлях, в закрытой чесучовой блузке медового цвета и обычной юбке из твида того же цвета. Может показаться несущественным, ехала Катарина на вечер в своей машине или трамвае, но здесь об этом сказать необходимо, так как в ходе расследования это имело немаловажное значение.

Начиная с того момента, как Катарина вошла в вольтерсхаймовскую квартиру, вести расследование стало легче, ибо с 19.25 она, не подозревая об этом, находилась под полицейским наблюдением. Весь вечер, с 19.30 до 22.00, она танцевала, как позднее выразилась в своих показаниях, «самозабвенно и исключительно» с неким Людвигом Гёттенем, вместе с которым и покинула квартиру.

10

Здесь необходимо принести благодарность прокурору Петеру Гаху, поскольку одному лишь ему мы обязаны сообщением, граничащим с разглашением юридической тайны, о том, что с момента, когда Блюм вместе с Гёттенем покинула квартиру Вольтерсхайм, комиссар уголовной полиции Эрвин Байцменне распорядился прослушивать телефоны Вольтерсхайм и Блюм. Это сделано способом, достойным, пожалуй, сообщения. В таких случаях Байцменне звонил соответствующему начальнику и говорил: «Мне опять понадобились мои язычки. На сей раз — два».

11

Из Катарининой квартиры Гёттен, очевидно, не звонил. Во всяком случае, Гах ничего об этом не знал. Известно, что квартира Катарини находилась под строгим наблюдением, и когда в четверг утром до 10.30 Гёттен оттуда не звонил и не выходил, в квартиру ворвались начинавший терять терпение и выдержку Байцменне с восемью вооруженными до зубов полицейскими, прямо-таки взяли ее штурмом, обыскали, строжайше соблюдая меры предосторожности, но нашли не Гёттена, а только «совершенно расслабленную, почти счастливую» Катарину, которая стояла у кухонного серванта и пила из большой чашки кофе, жуя белый хлеб, намазанный маслом и медом. Подозрительно было лишь то, что она казалась не ошеломленной, а спокойной, «чуть ли не торжествующей». Она была в купальном халате из зеленой хлопчатобумажной ткани с вышитыми по ней маргаритками, под халатом на ней ничего не было, и когда комиссар Байцменне спросил («довольно грубо», как она потом рассказывала), куда подевался Гёттен, она ответила, что не знает, в какое время Людвиг покинул квартиру. Она проснулась в 9.30, и он уже ушел. «Не попрощавшись?» — «Да».

Здесь следует кое-что сказать о том в высшей степени щекотливом вопросе Байцменне, который Гах однажды воспроизвел, потом опроверг, потом снова воспроизвел и вторично опроверг. Блорна считает этот вопрос важным, ибо думает, что если он действительно был задан, то именно он, и ничто другое, положил начало озлоблению, стыду и ярости Катарини. Поскольку Блорна и его жена характеризуют Катарину Блюм в сексуальных вопросах в высшей степени щепетильной, можно сказать, неприступной, надо взвесить, *мог ли* Байцменне, впавший в ярость из-за исчезновения Гёттена, которого он мысленно держал уже в руках, задать тот щекотливый вопрос. Байцменне *якобы* спросил вызывающе спокойно прислонившуюся к своему серванту Катарину: «А он тебя употребил?», на что Катарина, покраснев, но с гордым торжеством, будто бы ответила: «Нет, так я бы это не назвала».

Можно с уверенностью предположить, что, *если бы* Байцменне задал этот вопрос, никакого доверия между ним и Катарини возникнуть не могло бы. Но тот факт, что доверия между ними действительно не установилось, хотя Байцменне, слышущий «совсем не таким уж дурным человеком», по достоверным сведениям, стремился к этому, вовсе не следует рассматривать как окончательное доказательство того, что одиозный вопрос действительно был задан. Во всяком случае, Гах, присутствовавший при обыске, слышит среди друзей и знакомых «сексуально озабоченным», и вполне возможно, что ему самому пришла в голову такая грубая мысль, когда он увидел чрезвычайно привлекательную Блюм, небрежно прислонившуюся к серванту, и что он сам охотно задал бы тот вопрос или охотно занялся бы с ней столь грубо названной деятельностью.

Затем квартира была тщательно обыскана, некоторые предметы конфискованы, в первую очередь бумаги. Катарине Блюм разрешили одеться в ванной в присутствии женщины — служащей полиции Плецер. Но дверь ванной оставалась приоткрытой — под строжайшей охраной двух вооруженных полицейских. Катарине позволили взять с собой сумочку и — ввиду возможного ареста — принадлежности ночного туалета, косметичку и книги для чтения. Ее библиотека состояла из четырех любовных рома-

нов, трех детективных романов, а также биографий Наполеона и королевы Кристины Шведской. Все книги принадлежали одному клубу любителей книги. Поскольку она без конца спрашивала: «Но как так, как же так, что я такого сделала?», служащая уголовной полиции Плецер в конце концов в вежливой форме сообщила ей, что Людвиг Гёттен — давно разыскиваемый бандит, почти изобличенный в ограблении банка и подозреваемый в убийстве и других преступлениях.

14

Когда наконец в 10.15 Катарину Блюм уводили из ее квартиры на допрос, наручники на нее все же не надели. Байцменне, правда, склонен был настоять на наручниках, но после краткого диалога между служащей Плецер и его ассистентом Мёдингом согласился обойтись без них. Поскольку в этот день начинался карнавал, многочисленные обитатели дома не пошли на работу, но и на ежегодные, подобные древнеримским торжествам, шествия, празднества и т. п. они еще не отправились, и, когда Катарина Блюм, сопровождаемая вооруженными полицейскими, с Байцменне и Мёдингом по бокам, выходила из лифта, в вестибюле десятиэтажного дома с малогабаритными квартирами толпилось десятка три жильцов в капотах, пижамах, купальных халатах, а в нескольких шагах от лифта стоял фоторепортер Шённер. Ее много раз сфотографировали — спереди, сзади, сбоку, а напоследок, когда она, сгорая от стыда, в смятении пыталась прикрыть лицо руками, занятыми сумочкой, косметичкой, пластиковым пакетом с двумя книжками и письменными принадлежностями, — с растрепанными волосами и весьма сердитым выражением лица.

15

Полчаса спустя, после того как ей напомнили о ее правах и дали возможность немного привести себя в порядок, в присутствии Байцменне, Мёдинга, госпожи Плецер, а также прокуроров д-ра Кортена и Гаха начался допрос, внесенный в протокол: «Меня зовут Катарина Бреттло, урожд. Блюм. Я родилась 2 марта 1947 года в Геммельсбройхе, округ Куир. Мой отец — горнорабочий Петер Блюм. Он умер, когда мне было шесть лет, в возрасте тридцати семи лет, вследствие легочного ранения, полученного на войне. После войны отец снова работал в

сланцевом карьере, и у него подозревали пневмокониоз. Когда он умер, у матери были трудности с пенсией, потому что отдел обеспечения и объединение горняков не могли прийти к соглашению. Мне очень рано пришлось начать работать по домашнему хозяйству, потому что отец часто болел и зарабатывал нерегулярно, а мать работала уборщицей в разных местах. Учеба в школе давалась легко, хотя и в школьные годы мне приходилось много заниматься домашним хозяйством, не только дома, но и у соседей, и у других жителей нашей деревни,— я помогала печь, варить, консервировать, забивать скот. Я много работала по дому и помогала при уборке урожая. С помощью моей крестной, госпожи Эльзы Вольтерсхайм из Куира, я после окончания школы в 1961 году получила место помощницы в мясной лавке Герберса в Куире, где при случае работала и за прилавком. С 1962 по 1965 год я училась в школе домоводства в Куире— с помощью и при финансовой поддержке моей крестной, госпожи Вольтерсхайм, работавшей там мастером-воспитателем; школу я окончила на «отлично». С 1966 по 1967 год я работала экономкой в детском саду продленного дня фирмы «Кёшлер» в соседнем местечке Офтерсбройх, затем получила место домашней работницы у врача, д-ра Клутена, тоже в Офтерсбройхе, где оставалась только год, потому что господин доктор становился все более назойливым, а госпожа доктор не желала этого терпеть. Мне эта назойливость тоже не нравилась. Она была мне противна. В 1968 году, когда я несколько недель была без работы и помогала матери по хозяйству, а при случае — на собраниях и вечеринках корпорации барабанщиков в Геммельсбройхе, мой старший брат Курт Блюм познакомил меня с рабочим-текстильщиком Вильгельмом Бреттло, за которого через несколько месяцев я вышла замуж. Мы жили в Геммельсбройхе, где в выходные дни при большом наплыве отдыхающих я время от времени помогала на кухне гостиницы Клоога, иногда и в качестве официантки. Уже через полгода я стала испытывать неодолимую антипатию к своему мужу. Подробнее я не хотела бы говорить об этом. Я оставила мужа и переехала в город. При разводе я была признана виновной стороной как злонамеренно бросившая мужа и снова взяла девичью фамилию. Сначала я жила у госпожи Вольтерсхайм, пока через несколько недель не нашла место экономки и домашней работницы в доме налогового инспектора д-ра Фенерна, где я и жила. Господин д-р Фенерн дал мне возможность посещать вечерние курсы повышения квалификации и сдать экзамены на дипломированную экономку. Он был очень

мил и очень великодушен, и я осталась у него и после сдачи экзаменов. В конце 1969 года господина д-ра Фенерна арестовали в связи с сокрытием имущества от обложения налогами, обнаруженным у крупных фирм, на которые он работал. Прежде чем его увели, он дал мне конверт с трехмесячным жалованьем и просил меня и впредь присматривать за домом, он скоро вернется, сказал он. Я оставалась еще месяц, обслуживала его сотрудников, которые работали в его конторе под надзором налоговых инспекторов, держала в чистоте дом и в порядке сад, заботилась и о белье. Я всегда приносила в следственную тюрьму свежее белье для господина д-ра Фенерна, а также еду, в особенности арденнский паштет, который научилась готовить у мясника Герберса в Куире. Позднее контору закрыли, дом конфисковали, мне пришлось освободить комнату. По-видимому, господина д-ра Фенерна обвинили также в присвоении имущества и подлогах, он попал, уже по-настоящему, в тюрьму, но я продолжала его навещать. Я хотела вернуть жалованье за два месяца, которое оставалась ему должна. Он строго-настрого запретил это. Очень скоро я нашла место в доме д-ра Блорны, с которым познакомилась через господина Фенерна.

Блорны занимают бунгало в поселке Зюдштадт, расположенном в парке. Хотя мне предлагали там жилье, я отказалась: я хотела быть независимой и работать по своей специальности, как человек свободной профессии. Супруги Блорна были очень добры ко мне. Госпожа д-р Блорна помогла мне — она работает в большом архитектурном бюро — купить собственную квартиру в городе-спутнике на юге, рекламируемом в проспектах под девизом «Элегантная обитель у реки». Господин д-р Блорна, как юрист, консультирующий промышленные фирмы, госпожа д-р Блорна, как архитектор, были знакомы с проектом. Вместе с господином д-ром Блорной мы высчитали стоимость, проценты и размеры постепенного погашения долга за двухкомнатную квартиру с кухней и ванной на восьмом этаже, и, так как 7 тысяч марок сбережений у меня было, а на 30 тысяч марок кредита супруги Блорна дали поручительство, я смогла уже в начале 1970 года въехать в свою квартиру. Мой минимальный месячный взнос вначале составлял около 1100 марок, но, поскольку супруги Блорна не вычитали у меня за питание, госпожа Блорна каждый день даже совала мне какую-нибудь еду и питье, я могла жить очень экономно и погашать свой кредит даже быстрее, чем мы сперва рассчитали. Четыре года я веду них хотяйство, мой рабочий день начинается в семь утра и заканчивается в 16.30, когда я управляюсь

с уборкой, покупками, приготовлением ужина. Я забочусь также обо всем белье. Между 16.30 и 17.30 я занимаюсь собственными домашними делами и потом еще 1,5—2 часа обычно работаю у пенсионеров Хиперцев. За работу в субботу и воскресенье я в обоих домах получаю дополнительную плату. В свободное время я при случае работаю у ресторатора Клофта или помогаю на приемах, вечерах, свадьбах, званых обедах, балах, чаще всего как нанятая на свободных началах экономка с оплатой за всю работу в целом, на свой риск, иной раз по поручению фирмы «Клофт». Я занимаюсь калькуляцией, организацией, при случае работаю кухаркой или официанткой. Мои доходы брутто в среднем составляют 1800—2300 марок в месяц. В финансовом управлении я считаю себя человеком свободной профессии. Налоги и страховки я выплачиваю сама. Все бумаги — налоговые декларации и т. п. — мне составляют бесплатно в конторе Блорны. С весны 1972 года я владею «фольксвагеном» выпуска 1968 года, который мне продал по сходной цене работавший в фирме «Клофт» повар Вернер Клормер. Мне стало трудно добираться общественным транспортом до различных, к тому же меняющихся мест работы. С машиной я получила возможность работать на приемах и празднествах, проводившихся в отдаленных отелях».

16

Эта часть допроса продолжалась с 10.45 до 12.30 и — после часового перерыва — с 13.30 до 17.45. В обеденный перерыв Блюм отказалась от кофе и бутербродов с сыром за счет полицейского управления, и усиленные уговоры явно расположенных к ней госпожи Плецер и ассистента Мёдинга тоже ни к чему не привели. Как говорил Гах, она, очевидно, не могла рассматривать отдельно служебное и личное, понять необходимость допроса. Когда Байцменне, с расстегнутым воротничком и расслабленным узлом галстука, поглощавший с аппетитом кофе и бутерброды, похожий на доброго папашу, действительно повел себя по отношению к Блюм по-отечески, она настояла на том, чтобы ее отвели в камеру. Оба полицейских, приставленных для ее охраны, потом тоже пытались предложить ей кофе и хлеб, но она упрямо качала головой, сидя на нарах, курила сигарету и, морща нос, гримасами всячески выказывала отвращение к заблеванному унитазу в камере. Позднее она поддалась уговорам госпожи Плецер и обоих молодых полицейских и позволила пощупать пульс, оказавшийся нормальным, снизошла до разрешения принести

из соседнего кафе песочное пирожное и чашку чая, настояя на том, что сама это оплатит, хотя один из молодых полицейских, охранявший утром дверь ее ванной, пока она одевалась, изъявил готовность «угостить ее». Мнение обоих полицейских и госпожи Плецер о Катарине Блюм в связи с этим эпизодом: лишена чувства юмора.

17

В 13.30 допрос был продолжен и длился до 17.45. Байцменне с удовольствием обошелся бы более кратким допросом, но Блюм настаивала на обстоятельности, право на которую признали за ней и оба прокурора, и в конце концов Байцменне сперва неохотно, но затем, узнав причину, показавшуюся ему важной, тоже согласился с ними.

В 17.45 стали решать, продолжить или прервать допрос, отпустить Блюм или отправить в камеру. Правда, в 17.00 она снова милостиво согласилась выпить еще чаю и съесть бутерброд (с ветчиной), изъявив тем самым готовность продолжать допрос, так как Байцменне обещал после его окончания отпустить ее домой. Теперь речь зашла об ее отношениях с госпожой Вольтерсхайм. По словам Катаринины Блюм, это ее крестная, кузина ее матери, она всегда заботилась о ней, и когда Катарина перебралась в город, то сразу же вступила с ней в контакт.

«20.02 меня пригласили на этот домашний бал, который, собственно, намечался на 21.02, на карнавальную ночь, но потом его перенесли на день раньше, так как в карнавальную ночь госпожа Вольтерсхайм была занята по службе. За четыре года это был первый танцевальный вечер, на котором я была. Нет, я должна уточнить это показание: несколько раз — может быть, два, три, а то даже и четыре раза — я немного танцевала у Блорнов, когда помогала принимать гостей. В поздний час, управившись с уборкой и мытьем посуды, я подавала кофе, а напитками занимался д-р Блорна, и тогда меня звали в салон, где я танцевала с господином д-ром Блорной, а также и с другими господами из университетских, экономических и политических кругов. Потом я эти приглашения принимала очень неохотно, колеблясь, пока совсем не перестала их принимать, потому что гости, часто навеселе, здесь тоже становились назойливыми. Точнее говоря: с тех пор как я обзавелась машиной, я отказалась от этих приглашений. Прежде я зависела от этих господ: кто-нибудь из них подвозил меня домой. Вон и с тем господином, — она показала на Гаха, который покраснел, — я иной раз танцевала». Бывал ли и Гах назойливым? — такой вопрос не задавался.

Продолжительность допроса объясняется тем, что Катарина с поразительной педантичностью контролировала каждую формулировку, просила зачитывать каждую фразу, заносимую в протокол. Например, упомянутая в последней главке «назойливость» сперва вошла в протокол как «нежности», то есть в первоначальной редакции говорилось, что «господа становились «нежными». Это вызвало возмущение и энергичный протест Катарини. Дошло до настоящей дискуссии по поводу этих определений между нею и прокурорами, между нею и Байцменне, так как Катарина утверждала, что нежности — это действие двустороннее, в то время как назойливость — одностороннее, а именно последнее всегда имело место. Когда господа заявили, будто все это не столь уж важно и она сама виновата, что допрос так затянулся, она сказала, что протокола, где вместо назойливости будут значиться нежности, она не подпишет. Разница имеет для нее решающее значение, и одна из причин ее разрыва с мужем как раз с тем и связана, что он никогда не бывал нежен, а всегда только назойлив.

Подобные дискуссии возникли и в связи со словом «добры» применительно к супругам Блорна. В протоколе стояло: «Были любезны по отношению ко мне». Блюм настаивала на слове «добры», а когда ей вместо него предложили «добродушны», поскольку «добры» звучит так старомодно, она возмутилась и заявила, что любезность и добродушие не имеют ничего общего с добротой, а именно ее она ощущала в отношении к ней Блорнов.

Тем временем были допрошены и обитатели дома, большинство которых о Катарине Блюм или вообще никаких показаний дать не могли, или сказали очень мало: встречались иногда с ней в лифте, здоровались, знают, что это она владелица красного «фольксвагена»; одни считали ее секретаршей какого-нибудь крупного босса, другие — заведующей отделом универмага; она всегда опрятна, приветлива, хотя и сдержанна. Только двое из жильцов пяти квартир восьмого этажа, в одной из которых жила Катарина, смогли дать более подробные сведения. Одна — владелица парикмахерской госпожа Шмиль, другой — пенсионер, бывший служащий электростанции по фамилии Рувидель, причем поразительно, что в обоих показаниях утверждалось, будто Катарина принимала

или приводила с собой мужчину. Госпожа Шмиль утверждала, что визитер приходил регулярно, примерно раз в две-три недели, с виду очень изящный господин лет сорока, явно из «приличной среды»; господин же Рувидель характеризовал визитера как довольно молодого хлыща, несколько раз он приходил один, а несколько раз — вместе с фройляйн Блюм. Приходил за два минувших года раз восемь или девять, «это только те визиты, которые я наблюдал, о тех же, которых я не наблюдал, я, конечно, сказать ничего не могу».

Когда Катарине предъявили в конце дня эти показания и попросили ее высказаться по поводу них, именно Гах, прежде чем сформулировать вопрос, попытался пойти ей навстречу, спросив, не те ли это господа, которые при случае подвозили ее домой. Катарина, покраснев от стыда и злости, язвительно ответила вопросом, разве запрещено принимать в гостях мужчин, и, поскольку она не пожелала вступить на доброжелательно построенный Гахом мостик, а возможно, вовсе и не сочла его мостиком, Гах посуровел и сказал, что она должна отдавать себе отчет, сколь серьезно рассматриваемое здесь дело, дело Людвига Гёттена, широко разветвленное и уже более года обременяющее полицию и прокуратуру, и он спрашивает ее, раз она, по-видимому, не отрицает, что визиты имели место, идет ли речь об одном и том же господине. Но тут грубо вмешался Байцменне: «Стало быть, вы знаете Гёттена уже два года».

Это заявление ошеломило Катарину, она не нашлась, что ответить, только смотрела, качая головой, на Байцменне, а когда она удивительно робко пролепетала: «Нет же, нет, я только вчера познакомилась с ним», это прозвучало не очень убедительно. В ответ на требование назвать имя визитера она «чуть ли не с испугом» покачала головой и отказалась дать показания на сей счет. Тогда Байцменне снова повел себя по-отечески и стал уговаривать ее, сказав, что ведь нет ничего дурного, если она имеет друга, который — и тут он совершил непоправимую психологическую ошибку — был с нею не назойлив, а, возможно, нежен; она ведь в разводе и не обязана соблюдать верность, и это даже не предосудительно, если — третья непоправимая ошибка! — неназойливая нежность, может быть, приносила определенные материальные блага. Это окончательно испортило дело. Катарина Блюм отказалась отвечать на вопросы и потребовала доставить ее в камеру или домой. К удивлению всех присутствующих, Байцменне мягко и устало — было уже 20.40 — заявил, что прикажет служащему отвезти ее до-

мой. Но когда она встала, быстро собрала сумочку, косметичку и пластиковый пакет, он неожиданно и жестко спросил: «А каким образом он ночью выбрался из дома, ваш нежный Людвиг? Все входы и выходы охранялись; вы знаете какой-то путь и показали его, и я это выведу. До свидания».

20

Мёдинг, ассистент Байцменне, отвозивший Катарину домой, говорил потом, что он очень обеспокоен состоянием молодой женщины и боится, как бы она чего-нибудь не сделала с собой; она совершенно разбита, подавлена, но, как ни странно, именно в этом состоянии у нее обнаружилось или развилось чувство юмора. Когда они ехали по городу, он шутливо сказал: «Как славно было бы где-нибудь просто, без всяких задних мыслей, выпить сейчас рюмочку и потанцевать», на что она кивнула и ответила, что это было бы недурно, вероятно, даже славно, а когда он у ее дома предложил проводить ее наверх до дверей квартиры, она саркастически сказала: «Ах, лучше не надо, вы же знаете, у меня достаточно визитеров, но все равно спасибо».

Весь вечер и полночи Мёдинг пытался убедить Байцменне, что Катарину Блюм надо арестовать — ради ее безопасности. Байцменне даже спросил, не влюблен ли он, на что он ответил: нет, она только нравится ему, и она его ровесница, и он не верит в теорию Байцменне о большом заговоре, в котором замешана Катарина.

О чем он не рассказал и что тем не менее стало известно Блорне от госпожи Вольтерсхайм — о двух советах, которые он дал Катарине, провожая ее все-таки через вестибюль к лифту; эти два довольно деликатных совета, смертельно опасные для него и его коллег, могли бы ему дорого обойтись; стоя около лифта, он сказал Катарине: «Не прикасайтесь завтра к телефону и не раскрывайте газеты», причем неясно, имел он в виду г а з е т у или просто газеты.

21

Было примерно 15.30 того же дня (четверг, 21.02.74), когда Блорна впервые на отдыхе встал на лыжи и собрался отправиться на большую прогулку. С этого момента его отпуск, который он так долго предвкушал, пошел насмарку. Как прекрасна была накануне, вскоре после прибытия, длинная вечерняя прогулка, два часа по глубокому снегу, потом бутылка вина у пылающего камина

и крепкий сон при открытом окне; первый на отдыхе завтрак, неспешный, долгий, потом несколько часов, тепло закутавшись, на террасе в плетеном кресле; и вот в тот самый момент, когда он уже встал на лыжи, перед ним возник этот субъект из г а з е т ы и без всякого вступления заговорил о Катарине. Считает ли он ее способной на преступление? «То есть как?— сказал он.— Я адвокат и знаю, кто способен на преступление. Что еще за преступление? Катарина? Немыслимо, с чего вы взяли? Что вам известно?» Узнав в конце концов, что долго разыскиваемый бандит, как доказано, переночевал у Катаринины и ее примерно с 11 часов утра строго допрашивали, он собрался было лететь обратно и заступиться за нее, но субъект из г а з е т ы — действительно ли тот выглядел таким мерзким, или это ему лишь потом представлялось?— сказал, что настолько скверно дело все-таки не обстоит и не назовет ли он несколько характерных черт Катаринины. А когда он уклонился и субъект заметил, что это плохой знак, который может быть плохо истолкован, ибо молчание по поводу ее характера в подобном случае — а речь ведь идет о «front-page-story»¹ — однозначно свидетельствует о дурном характере, Блорна вышел из себя и очень раздраженно сказал: «Катарина очень умная и сдержанная особа», но разозлился на себя, ибо это тоже было неверно и несколько не выражало того, что он хотел и мог бы сказать.

Он еще никогда не имел дела с газетами, тем более с г а з е т о й, и когда этот субъект уехал на своем «порше», Блорна отстегнул лыжи и понял, что с отпуском покончено. Он поднялся на балкон к Труде, которая, закутавшись в одеяла, нежилась в полудреме на солнце. Он ей все рассказал. «Позвони же»,— сказала Труда, и он пытался позвонить, три раза, четыре, пять раз, но все время слышал одно и то же: «Абонент не отвечает». Вечером в одиннадцать часов он снова пытался позвонить, но опять никто не ответил. Он много пил и плохо спал.

22

Когда он в пятницу утром, около половины десятого, мрачный, явился в завтрак, Труда протянула ему г а з е т у. На первой полосе — Катарина. Огромная фотография, огромные литеры. **ВОЗЛЮБЛЕННАЯ БАНДИТА КАТАРИНА БЛЮМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ О ГОСПОДАХ ВИЗИТЕРАХ.**

¹ Материал для первой полосы газеты (англ.).

«Разыскиваемый в течение полутора лет бандит и убийца Людвиг Гёттен мог бы вчера быть арестован, если бы его возлюбленная, домашняя работница Катарина Блюм, не замела его следов и не прикрыла его бегства. Полиция предполагает, что Блюм уже длительное время замешана в заговоре (продолжение см. на обороте под заглавием «ГОСПОДА ВИЗИТЕРЫ»)».

На обороте он прочитал, что его высказывание «Катарина умна и сдержанна» г а з е т а превратила в «холодна и расчетлива», а его общее замечание о преступности — в слова, что «она вполне способна на преступление».

«Священник из Геммельсбройха сказал: «От этой всего можно ожидать. Отец был тайным коммунистом, а мать, которую я из милосердия некоторое время держал уборщицей, воровала церковное вино и учиняла в ризнице оргии со своими любовниками».

Последние два года Блюм регулярно принимала визитеров. Была ли ее квартира конспиративным центром, бандитской явкой, перевалочным пунктом для транспортировки оружия? Каким образом двадцатисемилетняя домашняя работница могла стать владелицей собственной квартиры стоимостью приблизительно в 110 000 марок? Участвовала ли она в дележе добычи, полученной при банковских грабежах? Полиция продолжает расследование. Прокуратура работает на полную мощность. Завтра сообщим больше. ГАЗЕТА, КАК ВСЕГДА, ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ! Вся информация о закулисной стороне дела — в завтрашнем воскресном выпуске».

После полудня Блорна на аэродроме реконструировал дальнейший ход событий.

10.25. Звонок очень взволнованного Людинга, который заклинал немедленно возвратиться и связаться с тоже очень взволнованным Алоизом. Алоиз, по-видимому совершенно растерявшийся, каким я его никогда не видел и представить не мог, в данный момент находится в Бад-Беделиге на конференции христианских предпринимателей, где он должен делать основной доклад и руководить дискуссией.

10.40. Звонок Катарини, которая спросила, действительно ли я сказал то, что стоит в г а з е т е. Обрадованный возможностью объясниться, я рассказал, как было дело, и она сказала (записано по памяти) примерно следующее: «Я вам верю, верю, теперь я знаю, как работают эти сволочи. Сегодня утром они добрались даже до моей тяжелобольной матери, до Бреттло и других людей». На мой вопрос, где она сейчас, она ответила: «У Эльзы, а сейчас мне опять надо на допрос».

11.00. Звонок Алоиза, который — я почувствовал это впервые в жизни, а мы знакомы двадцать лет — был взволнован и напуган. Он сказал, я должен немедленно возвратиться, чтобы выступить его поручителем в одном очень щекотливом деле. Ему надо сейчас делать доклад, затем обедать с предпринимателями, потом вести дискуссию, а вечером участвовать в одной дружеской встрече, но между 7.30 и 9.30 он может приехать к нам домой, откуда потом и махнет на эту дружескую встречу.

11.30. Труда тоже считает, что мы должны немедленно уехать и заступиться за Катарину. По ее иронической улыбке вижу, что у нее уже есть (впрочем, как всегда) соответствующая теория о сложностях Алоиза.

12.15. Заказал билеты, упаковал вещи, заплатил по счетам. После неполных сорока часов отпуска — на такси в И. Там с 14.00 до 15.00 пережидали на аэродроме туман. Долгий разговор с Трудой о Катарине, к которой, Труда знает, я очень, очень привязался. Говорили и о том, как мы подбадривали Катарину, чтобы она не была такой скованной, чтобы забыла о своем несчастливом детстве и злополучном браке. Как мы старались преодолеть ее щепетильность, когда речь шла о деньгах, и предоставить ей с нашего счета более дешевый кредит, чем в банке. Даже наше объяснение, что, если она вместо 14%, которые надо платить банку, даст нам 9%, это вовсе не будет нам в убыток, а она сэкономит много денег, ее не переубедило. Как мы обязаны ей: с тех пор как она спокойно и приветливо, очень экономно ведет наше хозяйство, не только значительно сократились наши расходы — она дала нам обоим возможность полностью посвятить себя работе, чего в деньгах и не исчислить. Она освободила нас от пятилетнего хаоса, так обременявшего наш брак и нашу работу.

Поскольку туман не рассеивался, мы в 16.30 решаем ехать поездом. По совету Труды я *не* звонил Алоизу Штройбледеру. На такси едем на вокзал, где еще успеваем на поезд 17.45 на Франкфурт. Ужасная поездка — тошнота, нервозность. Даже Труда серьезна и взволнованна. Она предчувствует большую беду. Совершенно измученные, делаем пересадку в Мюнхене, где достали места в спальном вагоне. Оба предвидим огорчения с Катариной и по поводу ее, неприятности с Людингом и Штройбледером.

В субботу утром, совершенно подавленные и разбитые, они на вокзале города, все еще по-карнавальному

веселого, и сразу на перроне — г а з е т а: снова на первой полосе Катарина, на сей раз спускающаяся в сопровождении чиновника уголовной полиции в штатском по лестнице полицейского управления. НЕВЕСТА УБИЙЦЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАСКОЛОЛАСЬ! НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ О МЕСТОПРЕБЫВАНИИ ГЁТТЕНА! ПОЛИЦИЯ В ПАНИКЕ.

Труда купила номер, и они молча поехали на такси домой, а когда он, пока Труда открывала двери, расплачивался, таксист показал на г а з е т у и сказал: «Там и про вас есть, я сразу вас узнал. Вы ведь адвокат и работодатель этой потаскушки». Он дал чересчур много чайных, и шофер, чья ухмылка была вовсе не так злорадна, как голос, отнес чемоданы, сумки и лыжи в прихожую, приветливо бросив на прощание: «Пока».

Включив кофеварку, Труда мылась в ванной. Г а з е т а лежала на столе в гостиной, и там же — две телеграммы: одна от Людинга, другая от Штройбледера. От Людинга: «Мягко говоря, разочарованы отсутствием контакта. Людинг». От Штройбледера: «Не могу поверить, чтобы ты подвел меня. Жду тотчас звонка. Алоиз».

Было как раз восемь часов пятнадцать минут — почти точно то время, к которому Катарина подавала им завтрак: всегда красиво накрытый стол, цветы, свежая скатерть и салфетки, хлеб, булочки, мед, яйца и кофе, а для Труды гренки и апельсиновый джем.

Даже Труда, принеся кофеварку, немного хрустящих хлебцев, мед и масло, стала почти сентиментальной. «Никогда больше так не будет, никогда. Они изведут девочку. Если не полиция, то г а з е т а, а когда г а з е т а потеряет к ней интерес, за нее примутся люди. Иди сюда, прочти это сначала, а уж потом звони визитерам». Он прочитал:

«Г а з е т е, всегда старающейся широко вас информировать, удалось собрать новые данные, освещающие характер этой самой Блюм и ее мутное прошлое. Репортерам г а з е т ы удалось разыскать тяжелобольную мать Блюм. Сперва она пожаловалась, что дочь давно не навещала ее. Потом, ознакомленная с неопровержимыми фактами, она сказала: «Это и должно было случиться, этим и должно было кончиться». Бывший супруг, простодушный рабочий-текстильщик Вильгельм Бреттло, с которым Блюм в разводе, поскольку злонамеренно бросила его, с еще большей готовностью сообщил г а з е т е: «Теперь,— сказал он, с трудом сдерживая слезы,— я знаю наконец, почему она сбежала от меня. Почему бросила меня. Вот чем она занималась».

Теперь мне все понятно. Ей было мало нашего скромного счастья. Ей хотелось в верхи, а где же честному, скромному рабочему взять «порше». Может быть,— добавил он мудро,— вы передадите читателям г а з е т ы мой совет: вот этим-то и кончаются ложные представления о социализме. Я спрашиваю вас и ваших читателей: каким образом прислуге достаются такие богатства? Ведь честным путем их не получишь. Теперь я знаю, почему всегда боялся ее радикальности и нелюбви к церкви, и я благословляю решение Всевышнего не даровать нам детей. И когда я еще узнаю, что нежности убийцы и грабителя ей были милее моей немудрящей привязанности, то и эта сторона дела становится ясной. И тем не менее я хочу воззвать к ней: моя маленькая Катарина, лучше бы ты осталась со мной. Мы ведь тоже с годами обзавелись бы собственностью и небольшой машиной, я, конечно, никогда не смог бы предложить тебе «порше», только скромное счастье, какое может дать честный работага, не доверяющий профсоюзам. Ах, Катарина...»

Под заголовком «Супруги-пенсионеры потрясены, но не удивлены» Блорна на последней полосе увидел отчеркнутый красным столбец:

«Находящийся на пенсии штудиендиректор д-р Бертольд Хиперц и госпожа Эрна Хиперц потрясены деятельностью Блюм, но «не особенно удивлены». Сотрудница г а з е т ы разыскала их в Лемго у замужней дочери, управляющей там санаторием; филолог-античник и историк Хиперц, у которого Блюм работает три года, сказал: «Радикальная во всех отношениях особа, которая нас ловко обманула».

(Хиперц, которому потом позвонил Блорна, клялся, что сказал следующее: «Если Катарина радикальна, то она радикально услужлива, хозяйственна и разумна, или я уж очень ошибаюсь, а у меня за плечами сорокалетний опыт педагога, и я редко ошибался».)

Продолжение первой полосы:

«Полностью сломленный бывший супруг Блюм, которого г а з е т а посетила в связи с репетицией барабаничников и дудочников, отвернулся, чтобы скрыть слезы. Остальные члены союза тоже отвернулись, как выразился крестьянин-старожил Меффельс, с ужасом от Катарины, которая всегда была с причудами и прикидывалась такой недотрогой. Во всяком случае, бесхитростные карнавальные радости честного рабочего испорчены».

В заключение — фотография господина Блорны и Труды в саду возле плавательного бассейна. Подпись: «Какую роль играют женщина, прежде известная как «красная Труда», и ее муж, при случае называющий себя «левым»? Высокооплачиваемый адвокат-консультант промышленных фирм д-р Блорна с женой Трудой у плавательного бассейна роскошной виллы».

24

Здесь следует, воспользовавшись гидротехническим термином, сделать своего рода «обратный подпор», нечто наподобие того, что в кино и литературе именуется ретроспекцией: с субботнего утра, когда супруги Блорна, подавленные и расстроенные, вернулись из отпуска, к утру в пятницу, когда Катарину снова доставили на допрос в полицейское управление; на сей раз ее привезли госпожа Плецер и пожилой чиновник, лишь легко вооруженный, и не из ее квартиры, а из квартиры госпожи Вольтерсхайм, к которой Катарина приехала в пять часов утра на собственной машине. Служащая не скрывала, что ей известно, где они найдут Катарину: не дома, а у Вольтерсхайм. (Справедливости ради следует еще раз вспомнить жертвы и тяготы четы Блорна: прекращение отпуска, поездка в такси на аэродром в И. Задержка из-за тумана. В такси на вокзал. Поезд во Франкфурт, пересадка в Мюнхене. Тряска в спальном вагоне. И рано утром, едва они добрались до дома, г а з е т а! Позднее — слишком поздно, конечно,— Блорна жалел, что вместо Катарины — он ведь знал от парня из г а з е т ы, что она на допросе,— не позвонил Гаху.)

Все, кто участвовал во втором допросе Катарины в пятницу,— Мёдинг, госпожа Плецер, прокуроры д-р Кортен и Гах, протоколистка Анна Локстер, которую раздражала чувствительность Блюм к слову, охарактеризованная ею как «выпендривание»,— все заметили, что у Байцменне было прямо-таки сияющее настроение. Он вошел в зал заседаний потирая руки, с Катариной обращался предупредительно, извинился за «некоторые грубости», в коих повинна не его должность, а его характер — такой уж он неотесанный малый,— и сперва занялся списком конфискованных вещей. В нем значились:

1. Небольшая потрепанная зеленая записная книжка малого формата, содержащая одни только телефонные номера, которые тем временем были проверены, и ничего подозрительного при этом не обнаружилось. По всей видимости, Катарина пользовалась записной книжкой почти десять лет. Эксперт-почерковед, искавший письменные следы Гёттена (Гёттен, кроме всего прочего, дезертировал из бундесвера и работал в одной конторе, то есть оставил много письменных следов), назвал развитие ее почерка образцовым. Запись шестнадцатилетней девушки — номер телефона мясника Герберса, семнадцатилетней — врача д-ра Клутена, двадцатилетней — д-ра Фенерна, позднее — номера и адреса кулинаров, рестораторов, коллег.

2. Выписки из счета в сберкассе, с отмеченными на полях рукою Блюм перерасчетами и списаниями. Поступления, списания — все точно, ни одна из сумм не вызывает подозрений. Так же выглядят всякие бухгалтерские расчеты, заметки и извещения в небольшом скоросшивателе, куда она заносила свои обязательства и расчеты, касающиеся фирмы «Хафтекс», в которой она приобрела свою «Элегантную обитель у реки». Тщательнейшей проверке были подвергнуты ее налоговые декларации, налоговые извещения, налоговые платежи, просмотревший их затем финансовый эксперт нигде не обнаружил какой-нибудь «скрытой более или менее значительной суммы». Байцменне особое значение придавал проверке ее финансовых сделок за последние два года, которые он шутя называл «периодом мужских визитов». И ничего. Выяснилось, правда, что Катарина ежемесячно переводила матери 150 марок, что она поручила по абонементу фирме «Кольтер» в Куире уход за могилой отца в Геммельсбройхе. Покупки мебели, домашней утвари, одежды, белья, счета за бензин — все проверено, и нигде ни одной зацепки. Возвращая Байцменне документы, финансовый эксперт сказал: «Послушай-ка, когда она выйдет на свободу и будет искать место, дай мне знать. Таких всегда ищешь и не находишь». Ничего подозрительного не оказалось и в телефонных счетах Блюм. Междугородные переговоры она, судя по всему, вряд ли вела.

Отмечено было также, что время от времени Катарина Блюм переводила на карманные расходы небольшие суммы — от 15 до 30 марок — своему брату Курту, в настоящий момент сидевшему за кражу со взломом.

Церковных податей Катарина не платила. Судя по ее финансовым документам, она еще в возрасте 19 лет, в 1966 году, вышла из католической церкви.

3. Еще одна небольшая записная книжка с различными

записями, главным образом расчетного характера, содержала четыре рубрики. Одна для домашнего хозяйства Блорны с записями расходов и подсчетов — на закупки продуктов, моющих и чистящих средств, на химчистку, прачечную. При этом было установлено, что белье Катарина гладила собственноручно.

Во вторую рубрику записывались соответствующие расходы и подсчеты, относящиеся к домашнему хозяйству Хиперцев.

Следующая рубрика относилась к домашнему хозяйству самой Блюм, расходы по которому были очень скромными; случались месяцы, когда на продовольствие она тратила лишь 30—35 марок. Но, по-видимому, она часто ходила в кино — телевизора у нее не было — и иногда покупала себе шоколад и даже конфеты.

Четвертая рубрика содержала доходы и расходы, связанные с одноразовыми работами Блюм, покупкой и чисткой профессиональной одежды, паевые взносы за «фольксваген». Когда дошли до счетов за бензин, вмешался Байцменне и с удивившей всех любезностью спросил, откуда такие относительно большие расходы на бензин, которые, кстати, соответствуют чрезвычайно большим цифрам на спидометре. Ведь установлено, что расстояние до дома Блорны и обратно составляет около 6 км, до Хиперца и обратно около 8, до госпожи Вольтерсхайм — около 4 км, и если в среднем, при самом щедром раскладе, исходить из одной разовой работы в неделю и прибавить на это, тоже при очень щедром раскладе, еще 20 км и разделить их на все дни недели, что составит еще по 3 км, то получится примерно 21—22 км в день. Наверное, она не каждый день навещала госпожу Вольтерсхайм, но на это мы закроем глаза. Таким образом, получается примерно 8000 км в год; как свидетельствует письменное соглашение с поваром Клормером, она, Катарина Блюм, получила «фольксваген» 2 года тому назад и на спидометре было 56 000 км. Если к этому добавить 2×8000 , то на спидометре теперь должно быть примерно 72 000 км, в действительности же на нем почти 102 000 км. Правда, известно, что время от времени она навещала свою мать в Геммельсбройхе, а позднее в санатории в Куир-Хохзаккеле, вероятно, иногда и своего брата в тюрьме, но расстояние до Геммельсбройха или Куир-Хохзаккеля и обратно составляет примерно 50 км, до ее брата — около 60 км, и если исходить из одной, при щедром раскладе — двух поездок в месяц, а брат ее сидит только полтора года, до этого он жил у матери в Геммельсбройхе, то, умножив на все те же два года, получится еще 4000—5000 км, а остав-

шиеся 25 000 км так и не выяснены, так и не объяснены. Куда же она так часто ездила? Может быть — он, право же, не хочет опять выступать с грубыми намеками, но она должна понять его вопрос, — она где-нибудь (где именно?) встречалась с кем-то, с одним или несколькими?

Не только Катарина, а и все присутствующие слушали как зачарованные — но и потрясенные — эти расчеты, преподнесенные Байцменне ласковым голосом, и казалось, будто Блюм все эти подсчеты и выкладки Байцменне воспринимала не с раздражением, а лишь с напряжением, смешанным с потрясенностью и зачарованностью, потому что, пока он говорил, она не объяснения этим 25 000 км искала, а самой себе хотела уяснить, куда, и когда, и почему она ездила. Еще тогда, когда Катарина усаживалась для допроса, она не была больше неприступной — скорее мягкой, казалось даже, робкой, — выпила чай, не настаивала на том, чтобы самой за него заплатить. А теперь, когда Байцменне покончил со своими вопросами и расчетами, воцарилась — по свидетельству многих, почти всех, присутствующих — мертвая тишина, будто они почувствовали, что на основе одного факта, который, не будь счетов на бензин, легко можно было не заметить, кто-то здесь в самом деле проник в интимную тайну Блюм, чья жизнь до сих пор представлялась такой ясной.

«Да, — сказала Катарина, и с этого момента ее показания стали заноситься в протокол, в виде которого и существуют, — верно, я сейчас быстро про себя подсчитала, это составляет более 30 километров в день. Я никогда не задумывалась над этим, никогда не прикидывала и затраты, но иной раз я ездила просто так, просто вперед, без цели, то есть цель как-то сама собой возникала, то есть я ехала в каком-нибудь направлении, которое определялось просто само по себе: на юг в направлении Кобленца, или на запад в направлении Ахена, или вниз к Нижнему Рейну. Не каждый день. Я не могу сказать, как часто и на какие расстояния. Большею частью когда шел дождь, и у меня был свободный вечер, и я была одна. Нет, вношу поправку в свое показание: только когда шел дождь, я ездила; точно не знаю — почему. Должна сказать, что иной раз, когда мне не нужно было ехать к Хиперцам и не случалось разовой работы, я уже в пять часов была дома и мне нечего было делать. Мне не хотелось часто ездить к Эльзе, в особенности с тех пор, как она так подружилась с Конрадом, а одной идти в кино для незамужней женщины довольно рискованно. Иногда я заходила в церковь, не по религиозным причинам, а потому, что там можно спокойно посидеть, но в последнее время и в церквях пристают — не

только прихожане. Конечно, у меня есть несколько друзей — например, Вернер Клормер, у которого я купила «фольксваген», и его жена, и еще другие служащие Клофта, но приходить одной довольно трудно и чаще всего неприятно, тем более если не обязательно, а лучше сказать — не безоговорочно, принимаешь всерьез знакомство или ищешь его. Лучше уж сесть в машину, включить радио и поехать куда глаза глядят, но всегда — по проселочным дорогам, всегда — в дождь, больше всего мне нравились проселочные дороги, обсаженные деревьями; иной раз я доезжала до Голландии или Бельгии, выпивала там кофе или пива и ехала обратно. Да. Я это поняла только теперь, когда вы спросили меня. И если вы спросите, как часто, я скажу: два-три раза в месяц, иногда реже, а иногда даже чаще, и обычно это продолжалось несколько часов, пока я в девять или в десять, а то и около одиннадцати возвращалась, до смерти уставшая, домой. Возможно, сказывался и страх; я знаю много незамужних женщин, которые вечером перед телевизором в одиночку напиваются допьяна».

По мягкой улыбке, с которой Байцменне без комментариев принял к сведению это объяснение, догадаться о его мыслях было нельзя. Он только кивнул, и если снова потер руки, то, возможно, лишь потому, что сообщение Катарины Блюм подтвердило одну из его теорий. Некоторое время стояла тишина, словно присутствующие были поражены или испытывали неловкость; казалось, будто Блюм впервые приоткрыла некоторые свои тайны интимного свойства. Обсуждение остальных конфискованных вещей заняло не много времени.

4. Фотоальбом с фотографиями людей, которых легко идентифицировать. Отец Катарины Блюм — производит впечатление болезненного и озлобленного человека и выглядит гораздо старше того возраста, в каком он тогда был. Ее мать, которая, как выяснилось, больна раком и при смерти. Ее брат. Она сама, Катарина, в четыре года, в шесть лет, в десять — во время первого причастия, новобрачная в двадцать; ее муж, священник из Геммельсбройха, соседи, родственники, разные фотографии Эльзы Вольтерсхайм, затем один, сперва не установленный, пожилой господин, очень бодро выглядящий, — оказалось, что это д-р Фенерн, преступивший закон налоговый инспектор. Никаких фотографий личности, которую можно было бы соотнести с теориями Байцменне.

5. Заграничный паспорт на имя Катарины Бреттло, урожденной Блюм. В связи с паспортом возникли вопросы

о поездках, и выяснилось, что Катарина еще ни разу «по-настоящему не выезжала» и, за исключением нескольких дней, когда болела, всегда работала. Фенерн и Блорна, правда, выплачивали ей отпускные, но она или продолжала у них работать, или нанималась на временные должности.

6. Старая коробка от конфет. Содержимое: несколько писем, едва ли с десяток, от матери, брата, мужа, госпожи Вольтерсхайм. Ни одно письмо не заключало в себе ничего такого, что было бы связано с тем, в чем ее подозревали. Кроме того, в коробке было несколько любительских фотографий ее отца — ефрейтора вермахта, мужа в форме барабанщика; несколько листков отрывного календаря с пословицами; довольно обширное собрание собственных, написанных от руки рецептов и брошюра «Об использовании хереса при приготовлении соусов».

7. Папка со свидетельствами, дипломами, удостоверениями, со всеми документами по разводу, нотариальными бумагами, касающимися квартирновладения.

8. Три связки ключей, тем временем проверенных, — ключи от ее собственной квартиры и шкафов, от квартир Блорны и Хиперца.

Было установлено и внесено в протокол, что в вышепоименованных предметах не обнаружено ничего подозрительного; объяснения Катаринины Блюм об израсходованном бензине и наезженных километрах приняты без комментариев.

Лишь в этот момент Байцменне вынул из кармана усыпанное бриллиантами рубиновое кольцо, которое, видимо, лежало там незавернутым, и, потеряв его о рукав, протянул Катарине.

— Вам знакомо это кольцо?

— Да, — ответила она без промедления и смущения.

— Оно принадлежит вам?

— Да.

— Вы знаете, сколько оно стоит?

— Точно не знаю. Но недорого.

— Так вот, — сказал Байцменне приветливо, — мы его оценили — и для верности не только у нашего специалиста здесь в управлении, но еще и дополнительно, чтобы ни в коем случае не оказаться несправедливыми к вам, — у ювелира в городе. Это кольцо стоит от восьми до десяти тысяч марок. Вы этого не знали? Я даже верю вам, но вы должны мне объяснить, откуда оно у вас. Когда ведется расследование по делу изобличенного в грабеже преступника, серьезно подозреваемого в убийстве, такое кольцо не мелочь и не личное, интимное обстоятельство, как сот-

ни наезженных километров, многочасовые автомобильные поездки под дождем. От кого вы получили это кольцо — от Гёттена или некоего визитера, или Гёттен все же не тот визитер, и если нет, куда вы, в качестве визитерши, да будет позволено мне это шутливое определение, ездили под дождем тысячи километров? Нам нетрудно установить, у какого ювелира это кольцо куплено или украдено, но я хочу предоставить вам шанс, ибо считаю вас не прямой преступницей, а только наивной и немножко романтической женщиной. Как вы мне — нам — объясните, что вы — вы, которая известна как недотрога, прямо-таки неприступная особа, прозванная знакомыми и друзьями «монашенкой», избегающая дискотек, потому что там беспутничают, разошедшаяся с мужем, так как он стал «назойливым», — как же вы нам объясните, что, познакомившись с этим Гёттеном якобы только позавчера, вы в тот же день, можно сказать — не присев, ведете его к себе домой и там очень быстро вступаете с ним — ну, скажем так — в интимные отношения? Как вы это назовете? Любовью с первого взгляда? Влюбленностью? Нежностью? Согласитесь, тут какая-то неувязка, и она никак не может снять подозрения. И вот еще. — Он сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда большой белый конверт, из которого извлек довольно экстравагантный, фиолетовый, с подкладкой кремового цвета, конверт обычного формата. — Этот пустой конверт мы нашли вместе с кольцом в ящике вашего ночного столика, он проштемпелеван 12.02.74 в 18.00 в вокзальном почтовом отделении Дюссельдорфа и адресован вам. Господи, — сказал в заключение Байцменне, — да если у вас был друг и он время от времени навещал вас, а иной раз вы к нему ездили и он писал вам письма и иногда дарил что-нибудь — скажите же нам, это ведь не преступление. Обвинения против вас возникнут только в том случае, если это связано с Гёттеном.

Все присутствующие понимали, что Катарина кольцо узнала, но стоимость его была ей неизвестна; что снова возникла щекотливая тема визитов некоего господина. Испытывала она чувство стыда, что репутация ее под угрозой, или же она испугалась, что угроза нависает над кем-то, кого она не хочет подвергать опасности? На сей раз она покраснела лишь слегка. Не потому ли она не показала, что получила кольцо от Гёттена, что знала: представлять Гёттена кавалером такого класса бессмысленно? Она была спокойной, почти кроткой, когда говорила под протокол: «Это верно, что на домашнем балу у госпожи Вольтерсхайм я танцевала самозабвенно и исключительно с Людвигом Гёттеном, которого видела впервые в жизни

и фамилию которого узнала только во время полицейского допроса в четверг утром. Я испытала к нему большую нежность, и он ко мне тоже. Часов в десять я покинула квартиру госпожи Вольтерсхайм и поехала с Людвигом Гёттенем к себе домой. О происхождении кольца я не могу, нет, вношу поправку: не хочу говорить. Поскольку оно мне досталось не незаконным путем, я не считаю себя обязанной объяснять его происхождение. Отправитель предъявленного конверта мне неизвестен. Вероятно, это был обычный рекламный проспект. В профессиональных гастрономических кругах меня уже немного знают. Объяснить же факт, что рекламное письмо послано без указания отправителя в довольно вычурном конверте с дорогой подкладкой, я не могу. Хотела бы только сказать, что некоторые гастрономические фирмы любят создавать видимость изысканности».

На вопрос о том, почему она, так охотно, по ее словам, едущая на машине, в тот день отправилась к госпоже Вольтерсхайм на трамвае, Катарина Блюм ответила, что не знала, много или мало выпьет, и сочла более надежным обойтись без машины. На вопрос, много ли она пьет и бывает ли пьяной, она ответила: нет, пьет мало, пьяной никогда не была, только один раз, причем в присутствии и по инициативе мужа, ее напоили на вечеринке корпорации барабанщиков каким-то анисовым снадобьем, по вкусу напоминающим лимонад. Позднее ей сказали, что эта довольно дорогая штука — излюбленное средство, чтобы напоить человека допьяна. Когда ей заявили, что такое объяснение — будто она боялась, не слишком ли много выпьет, — неосновательно, поскольку она никогда много не пьет, и не в том ли дело, что она с Гёттенем заранее договорилась, то есть знала, что им не понадобится ее машина, так как они поедут обратно на его машине, она покачала головой и сказала: все было точно так, как она сообщила. У нее как раз было настроение выпить, но потом она все же этого не сделала.

Еще один пункт следовало выяснить до обеденного перерыва: почему у нее нет сберегательной или чековой книжки? Нет ли все же где-то лицевого счета? Нет, у нее нет другого счета, кроме как в сберкассе. Всякую, даже малейшую, поступающую в ее распоряжение сумму она тотчас же использовала на выплату кредита, полученного под большие проценты; проценты за кредит иной раз почти вдвое выше процентов, выплачиваемых по вкладам, а жиросчет вообще почти не дает процентов. Кроме того, чековое обращение кажется ей слишком сложным и дорогим. Текущие расходы, домашнее хозяйство и машину она оплачивала наличными.

Определенные заторы, которые можно назвать и подспудными помехами, неизбежны, ибо не все источники можно разом и одним движением отвести и перевести в другое русло так, чтобы тотчас же перед глазами предстало осушенное пространство. Но ненужных подспудных помех надо избегать, и тут следует объяснить, почему в эту пятницу утром и Байцменне, и Катарина были такими мягкими, почти кроткими, чуть ли не смирными, а Катарина даже пугливой или запуганной. Правда, г а з е т а, которую одна доброжелательная соседка подсунула под двери госпожи Вольтерсхайм, вызвала у обеих женщин гнев и возмущение, стыд и страх, но телефонный разговор с Блорной немного успокоил их, и так как вскоре после того, как обе расстроенные женщины пробежали глазами г а з е т у и Катарина поговорила с Блорной по телефону, появилась госпожа Плецер и откровенно призналась, что квартира Катарины, конечно, находится под наблюдением, почему она и знала, где искать Катарину, и что теперь им нужно, к сожалению — к сожалению, вместе с госпожой Вольтерсхайм,— на допрос, то откровенная и приветливая манера госпожи Плецер отодвинула на задний план вызванный г а з е т о й ужас, и в Катарине ожила радость, доставленная ей ночным событием: Людвиг позвонил ей, позвонил оттуда! Он был так мил, что она ничего не рассказала ему о своем злочищении, чтобы у него не возникло чувства, будто он причина каких-то бед. Они и сейчас не говорили о любви, это она ему категорически — еще когда они ехали в машине к ней домой — запретила. Нет-нет, у нее все в порядке, конечно же, она бы предпочла быть у него, с ним, навсегда или по крайней мере надолго, конечно, лучше даже навечно, она за время карнавала отдохнет и никогда больше не будет танцевать с другим мужчиной, только с ним, и всегда только по-южноамерикански и только с ним, и как у него там все сложилось. Он очень хорошо устроен и обеспечен, и, поскольку она запретила ему говорить о любви, он все-таки хочет сказать, что она ему очень-очень-очень нравится и когда-нибудь — когда, он пока не знает, может быть, через несколько месяцев, или через год, или даже через два года — он заберет ее, куда — он пока не знает. Ну, и в том же духе — как обычно разговаривают по телефону люди, питающие друг к другу глубокую нежность. Ни слова об интимных делах, тем более о том событии, которому Байцменне (или, что кажется все более вероятным, Гах) дал такое грубое определение. И все в том же духе. То, что говорят друг другу люди, исполненные неж-

ности. Довольно долго. Десять минут. Может быть, даже больше, сказала Катарина Эльзе. Что касается конкретного словарного запаса обоих нежных собеседников, то можно указать на известные современные кинофильмы, где довольно много и *по видимости* бессодержательно болтают по телефону, часто на далеком расстоянии.

Этот телефонный разговор, который Катарина вела с Людвигом, был причиной расслабленности и Байцменне, его дружелюбия и мягкости, и если он-то догадывался, почему Катарина отказалась от своего заносчивого упрямства, то Катарина, конечно, не могла догадаться, что он весел по той же причине, хотя и не на том же основании. (Да послужит этот знаменательно-примечательный факт поводом к тому, чтобы чаще звонить по телефону, в крайнем случае и без нежного перешептывания, потому что ведь никогда не знаешь, кому таким телефонным разговором на самом деле доставишь радость.) Но Байцменне была введена причина боязливости Катарины, ибо он знал и о следующем анонимном звонке.

Просьба не доискиваться источников доверительных сведений, которые содержатся в этой главе,— речь идет только о пробоине в запруде боковой лужи; дилетантски сооруженная плотина будет пробита и даст течь, прежде чем слабая плотина рухнет и все напряжение спадет.

26

Во избежание недоразумений надо сказать, что как Эльза Вольтерсхайм, так и Блорны знали, разумеется, что Катарина действительно нарушила закон тем, что помогла Гёттену исчезнуть незамеченным из ее квартиры; способствуя его бегству, она становилась соучастницей определенных преступлений, пусть даже и не зная в данном случае, каких именно! Эльза Вольтерсхайм твердила ей об этом незадолго до того, как госпожа Плецер увела обеих на допрос. Блорна воспользовался первым же случаем, чтобы растолковать Катарине наказуемость ее действий. Ни перед кем не надо скрывать и того, что Катарина сказала госпоже Вольтерсхайм о Гёттене: «Боже мой, он как раз тот, кого я должна была встретить, я бы вышла за него замуж и родила ему детей — пусть даже пришлось бы ждать годы, пока он выйдет из кутузки».

27

Допрос Катарины Блюм можно было считать оконченным, она только должна быть готова в случае надобности

к сопоставлению показаний других участников танцевального вечера у Вольтерсхайм. Следовало выяснить еще один вопрос, немаловажный в связи с теорией Байцменне о существовании договоренности и заговора: каким образом Людвиг Гёттен попал на домашний бал госпожи Вольтерсхайм?

Катарине Блюм предоставили выбор: отправиться домой или подождать в каком-либо приемлемом для нее месте, но домой идти она отказалась, ибо квартира, сказала она, внушает ей отвращение, она предпочитает ожидать в камере, пока допрашивают госпожу Вольтерсхайм, чтобы потом вместе пойти к ней домой. Лишь в этот момент Катарина вытащила из сумки оба номера газеты и спросила, не может ли государство — так она выразилась — сделать что-нибудь, чтобы защитить ее от этой грязи и вернуть потерянную честь. Она теперь хорошо знает, что ее допрос был вполне обоснован, хотя и не понимает, к чему это копание в мельчайших деталях ее жизни, но для нее совершенно непостижимо, каким образом подробности допроса — например, визиты некоего господина — могли стать достоянием газеты, да еще все эти лживые и обманом добытые свидетельства. Тут вмешался прокурор Гах и сказал, что в связи с огромным общественным интересом к делу Гёттена следовало, конечно, дать сообщение прессе; пресс-конференции пока не было, но ее, вероятно, не избежать в связи с волнением и страхом, вызванными бегством Гёттена, — бегством, которому она, Катарина, способствовала. Впрочем, благодаря своему знакомству с Гёттеном она стала теперь «исторической личностью», а значит, и объектом понятного общественного интереса. Оскорбительные и, возможно, клеветнические детали она может обжаловать в порядке частного обвинения, и если обнаружится, что из следственных органов просачивается информация, то, она может быть уверена, они заявят протест по поводу нарушения закона и помогут ей добиться своего права. Затем Катарину Блюм отвели в камеру. От строгой охраны отказались, к ней приставили лишь молодую невооруженную сотрудницу полиции, Ренату Цюндах, которая потом рассказала, что Катарина Блюм в течение всего времени, то есть приблизительно два с половиной часа, только и делала, что читала и перечитывала газету. Она отказалась от чая, хлеба, от всего — не агрессивно, а «почти дружелюбно, но с какой-то апатией». Всякие разговоры о моде, фильмах, танцах, которые она, Рената Цюндах, заводила, чтобы отвлечь Катарину, не были поддержаны.

Потом, чтобы помочь этой Блюм, прямо-таки с ожесточением вцепившейся в газету, она временно передала охрану коллеге Хюфтену и принесла из архива сообщения других газет, в которых вполне объективно говорилось об обстоятельствах дела и допросе Блюм, о ее возможной роли. На третьей, четвертой полосах — краткие сообщения, где даже фамилия Блюм приводилась не полностью, а говорилось лишь о некоей Катарине Б., домашней работнице. «Обзорение», например, дало десятистрочную информацию, без фотографии разумеется, где говорилось о злополучном стечении обстоятельств некоей абсолютно незапятнанной особы. Все это — а ей принесли пятнадцать газетных вырезов — ее не утешило, она только сказала: «Да кто это читает? Все, кого я знаю, читают газету!»

Для того чтобы выяснить, каким образом Гёттен сумел попасть на домашний бал госпожи Вольтерсхайм, сперва допросили саму госпожу Вольтерсхайм, и сразу же стало очевидно, что госпожа Вольтерсхайм настроена по отношению ко всей допрашивающей коллегии если не явно враждебно, то, во всяком случае, враждебнее, чем Блюм. Она показала, что родилась в 1930 году, то есть ей 44 года, не замужем, по профессии экономка, диплома не имеет. Прежде чем дать показания по делу, она «бесстрастным, сухим, как порох, голосом, что выразило ее возмущение с большей силой, чем если бы она ругалась или кричала», высказалась об обращении газеты с Блюм, а также о том факте, что прессе такого рода передаются подробности допроса. Она понимает, что следует выяснить роль Катарини, но, спрашивается, допустимо ли «разрушать молодую жизнь». Она знает Катарину со дня ее рождения и видит, как уже со вчерашнего дня это разрушение и растерянность приносят свои плоды. Она не психолог, но тот факт, что Катарина потеряла всякий интерес к своей квартире, которую так любила и ради которой так много работала, она считает в высшей степени тревожным.

Прервать обвинительный поток слов Вольтерсхайм было невозможно, даже Байцменне не преуспел в этом, лишь однажды ему удалось перебить ее упреком, что она принимала у себя Гёттена, на что она ответила, что сам он не представлялся и не был ей представлен другими. Она только знает, что в ту самую среду он появился около 19.30 в сопровождении Герты Шоймель вместе с ее подругой Клаудией Штерм, а ее в свою очередь сопровождал какой-то мужчина в костюме шейха, о котором она знает только, что его называли Карлом, и который потом

вел себя весьма странно. О договоренности Катарини с этим Гёттенем не может быть речи, и госпожа Вольтерсхайм никогда прежде не слышала его имени, а жизнь Катарини ей известна до мельчайших деталей. Ей, правда, пришлось признаться, что она ничего не знает о «странных автомобильных поездках» Катарини, чьи соответствующие показания ей предъявили, что нанесло решающий удар по утверждению, будто все детали жизни Катарини ей известны. Вопрос о визитах мужчины смутил ее, но она ответила: раз Катарина ничего об этом не сказала, то и она отказывается говорить. Единственное, что она может заметить: это «довольно пошлое дело», и, «когда я говорю «пошлость», я имею в виду не Катарину, а визитера». Если Катарина ее уполномочит, она скажет все, что знает; она исключает возможность того, что поездки Катарини связаны с этим господином. Да, такой господин существует, и если она не желает говорить о нем, то потому, что не хочет выставить его на посмешище. Как бы то ни было, роль Катарини в обоих случаях — и в отношении Гёттена, и в отношении визитера,— вне всяких сомнений, благородна. Катарина всегда была трудолюбивой, честной, немощно пугливой, вернее — запуганной, девушкой, в детстве даже набожной и благочестивой. Но потом ее мать, уборщицу церкви в Геммельсбройхе, неоднократно уличали в бесчестности, а однажды даже поймали на месте преступления — вместе со служкой она распивала в ризнице церковное вино. Это раздули в «оргию» и устроили скандал, а приходский священник в школе стал плохо обращаться с Катарининой. Да, госпожа Блюм, мать Катарини, была очень неустойчивой особой, временами предавалась запою, но надо представить себе этого вечно брюзжащего, болезненного человека — отца Катарини, который вернулся с войны полнейшей развалиной, затем озлобившуюся мать и, можно сказать, злополучного брата. Ей известна также история неудачного брака Катарини. Она с самого начала ей не советовала, Бреттло, да простят ей это выражение, типичный слизняк, ползающий на брюхе перед всеми светскими и церковными властями, к тому же отвратительный хвостун. Брак Катарини был бегством из кошмарной домашней атмосферы, и, как только она избавилась от этой атмосферы и от опрометчиво заключенного брака, она, как известно, стала превосходным человеком. Ее профессиональные достоинства вне всяких сомнений, это она, Вольтерсхайм, может не только устно, но, если понадобится, и письменно подтвердить — она член экзаменационной комиссии ремесленной палаты. При нынешнем развитии новых форм гостеприимства, все

более склоняющегося к форме так называемого организованного бунта, шансы такой женщины, как Катарина Блум, которая имеет прекрасную организаторскую, калькуляторскую и эстетическую подготовку и опыт, поднимаются. Но если теперь г а з е т а не исправит дела, вместе с утратой интереса к своей квартире Катарина утратит, конечно, интерес и к профессии. По этому пункту госпоже Вольтерсхайм разъяснили, что не дело полиции или прокуратуры «учинять уголовно-правовое преследование определенных определенно порочных методов журналистики». Нельзя походя посягать на свободу печати, но она может быть уверена, что частное обвинение будет рассмотрено по всем правилам и будет заявлен протест о правонарушении в связи с использованием незаконных источников информации. С пламенной, можно сказать, речью в защиту свободы печати и тайны информации выступил молодой прокурор д-р Кортен, который вместе с тем особо подчеркнул, что если человек не возвращается в плохом обществе или не связывается с ним, то он никакого повода к кривотолкам в прессе и не дает.

А вот такие факты, как, скажем, появление Гёттена и пресловутого Карла в костюме шейха, позволяют сделать вывод о странной беспечности при общении с людьми. Тут ему еще не все ясно, и он рассчитывает при допросе обеих попавших в дом или попавшихся молодых дам получить приемлемые объяснения. Ее же, госпожу Вольтерсхайм, нельзя не упрекнуть в том, что она не слишком разборчива в выборе своих гостей. Госпожа Вольтерсхайм не могла позволить себе выслушивать поучения от человека значительно моложе ее и сослалась на то, что пригласила обеих молодых дам, предложив им прийти вместе со своими друзьями, и далека от мысли требовать у друзей своих гостей удостоверения личности и справки полиции о благонадежности. Ей пришлось выслушать замечание и принять к сведению, что возраст здесь не играет никакой роли, роль играет лишь положение прокурора д-ра Кортена. Как бы то ни было, здесь ведь расследуется серьезное, тяжкое, если не тягчайшее, уголовное преступление, в котором замешан Гёттен. И она должна оставить на усмотрение представителя государства, какие детали и какие поучения считать важными. В ответ на повторный вопрос, может ли Гёттен и визитер быть одним и тем же лицом, Вольтерсхайм сказала: нет, это совершенно исключено. Но поскольку на вопрос о том, знает ли она «визитера» лично, видела ли его, встречалась ли когда-нибудь с ним, ей пришлось ответить от-

рицательно, и поскольку она не знала о такой важной интимной детали, как странные автомобильные поездки, то присутствующих допрос не удовлетворил, и ее нелюбезно отпустили до поры до времени. Явственно раздраженная, она, прежде чем покинуть помещение, потребовала занести в протокол, что переодетый шейхом Карл показался ей по меньшей мере столь же подозрительным, как и Гёттен. Во всяком случае, он в туалете все время произносил монологи и исчез не попрощавшись.

29

Поскольку было установлено, что Гёттена на вечер привела семнадцатилетняя продавщица Герта Шоймель, следующей допросили ее. Она была явно напугана, сказала, что никогда еще не имела дела с полицией, но все-таки дала более или менее приемлемое объяснение своего знакомства с Гёттеном. Она показала: «Я живу вместе с моей подругой Клаудией Штерм, которая работает на шоколадной фабрике, в однокомнатной квартире с кухней и душевой. Обе мы из Куир-Офтерсбройха и обе дальние родственницы и госпожи Вольтерсхайм, и Катарини Блюм. (Хотя Шоймель хотела подробнее разъяснить, в каком именно дальнем родстве они состоят, и стала называть дедушек и бабушек, которые были двоюродными и троюродными братьями и сестрами других дедушек и бабушек, ей предложили не уточнять степень дальнего родства, сочтя выражение «дальние» достаточным.) Мы называем госпожу Вольтерсхайм тетей и считаем Катарину кузиной. В тот вечер, в среду, 20 февраля 1974 года, мы обе, Клаудия и я, находились в некотором затруднении. Мы обещали тете Эльзе привести на небольшой праздник наших приятелей, потому что иначе будет не хватать партнеров. Но мой друг, который служит сейчас в бундесвере, точнее сказать — в саперных частях, неожиданно был опять назначен в наряд, и, хотя я советовала ему просто сбежать, мне не удалось уговорить его, потому что он уже неоднократно сбежал и боялся крупных дисциплинарных взысканий. Друг Клаудии к тому времени был настолько пьян, что нам пришлось уложить его в постель. И мы решили пойти в кафе «Полькт» и подцепить там каких-нибудь симпатичных парней, потому что не хотели осрамиться перед тетей Эльзой. В карнавальном сезоне в кафе «Полькт» всегда оживленно. Там встречаются до и после балов, до и после заседаний, и можно быть уверенной, что всегда найдешь много молодых людей. К

вечеру настроение в кафе «Полькт» было уже очень приподнятым. Этот молодой человек, о котором я только сейчас узнала, что его зовут Людвигом Гёттеном и он разыскивается как опасный преступник, два раза пригласил меня потанцевать, и во время второго танца я спросила, не хочет ли он пойти со мной на вечеринку. Он тут же с радостью согласился. Он сказал, что находится здесь проездом, нигде не остановился, не знает даже, где ему провести вечер, и с удовольствием пойдет со мною. Как раз когда я, можно сказать, договорилась с этим Гёттеном, Клаудия танцевала рядом со мной с каким-то мужчиной в костюме шейха, и они, должно быть, слышали наш разговор, потому что шейх, которого, как я позднее узнала, зовут Карлом, сразу же в шутливо-робком тоне спросил, не найдется ли на этой вечеринке местечко и для него, он тоже одинок и толком не знает, куда деться. Ну, мы, стало быть, достигли своей цели и вскоре после этого поехали к тете Эльзе в Людвиговой — простите, я имею в виду господина Гёттена — машине. Это был «порше», не очень удобный для четырех пассажиров, но путь ведь был недалекий. На вопрос, знала ли Катарина Блюм, что мы пойдем в кафе «Полькт» кого-нибудь подцеплять, я отвечаю: да. Я утром позвонила Катарине на квартиру адвоката Блорны, где она работает, и рассказала, что нам с Клаудией придется прийти одним, если мы кого-нибудь не найдем. Сказала я и о том, что мы пойдем в кафе «Полькт». Она была против и сказала, что мы слишком доверчивы и легкомысленны. Катарина ведь строгая в этих делах. Тем более меня удивило, что она почти сразу же полностью завладела Гёттеном и весь вечер с ним танцевала, будто они век знакомы».

30

Показания Герты Шоймель почти дословно подтвердила ее подруга Клаудия Штерм. Разошлись они лишь в одном-единственном незначительном пункте. А именно: она танцевала с шейхом Карлом не два, а три раза, потому что Карл пригласил ее раньше, чем Гёттен Герту. И ее, Клаудию Штерм, тоже удивило, как быстро Катарина Блюм, известная своей неприступностью, познакомилась, можно сказать сблизилась, с Гёттеном.

Пришлось допросить еще трех участников домашнего бала. Текстильный коммерсант Конрад Байтерс, 56 лет, друг госпожи Вольтерсхайм, и супруги Хедвиг и Георг Плоттен, 36 и 42 лет, оба по профессии служащие административных учреждений,— все трое одинаково описали ход вечера, появление Катарины Блюм, появление Герты Шоймель в сопровождении Людвига Гёттена и Клаудии Штерм в сопровождении одетого в костюм шейха Карла. Вообще-то вечер был приятный, танцевали, болтали друг с другом, причем особенно остроумным оказался Карл. По словам Георга Плоттена, несколько мешало — если можно так выразиться, ибо сами они наверняка это так не воспринимали,— «тотальное присвоение Катарины Блюм Людвигом Гёттеном». Это сообщило вечеру некую серьезность, чуть ли не торжественность, не вполне подходящую обычным карнавальным увеселениям. Госпожа Хедвиг Плоттен подтвердила, что, когда она после ухода Катарины и Людвига пошла на кухню за мороженым, ей тоже показалось, будто введенный в дом под именем Карла шейх произносил в туалете монологи. Кстати, этот Карл вскоре удалился, толком не попрощавшись.

Снова доставленная на допрос Катарина Блюм подтвердила телефонный разговор с Гертой Шоймель, но по-прежнему отрицала, что у нее была договоренность с Гёттеном. Вовсе не Байцменне, а более молодой прокурор, д-р Кортен, настоятельно рекомендовал ей признаться, что после телефонного разговора с Гертой Шоймель ей позвонил Гёттен и она хитроумно направила его в кафе «Полькт», велел заговорить с Шоймель, чтобы потом незаметно встретиться у Вольтерсхайм. Осуществить это было очень легко, так как Шоймель яркая, разодетая в пух и прах блондинка. Почти впавшая в полную апатию Катарина Блюм только покачала головой, по-прежнему сжимая в правой руке оба номера г а з е т ы. После этого ее отпустили, и она вместе с госпожой Вольтерсхайм и ее другом Конрадом Байтерсом покинула полицейское управление.

Еще раз просматривая подписанные протоколы допросов, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь упущений, д-р Кортен поставил вопрос, не стоит ли всерьез заняться этим шейхом по имени Карл и расследовать его крайне подозрительную роль в деле. Он очень удивлен, что до сих пор не предприняты меры для розыска Карла. Ведь, в конце концов, этот Карл появился в кафе «Полькт» одновременно, если не вместе, с Гёттенем, тоже втерся в дом на вечеринку, и роль его кажется ему, Кортену, довольно странной, если не подозрительной.

Тут все присутствующие разразились хохотом, даже сдержанная служащая уголовной полиции Плецер позволила себе улыбнуться. Протоколистка, госпожа Анна Локстер, смеялась так вульгарно, что Байцменне пришлось призвать ее к порядку. И так как Кортен все еще не понимал, в чем дело, коллега Гах наконец просветил его. Разве Кортену не ясно, разве не бросилось в глаза, что комиссар Байцменне умышленно оставил в стороне, не упомянул шейха? Ясно же, что он один «из наших» и его мнимые монологи в туалете не что иное, как — правда, неуклюже сработанное — оповещение коллег посредством мини-радиопередатчика, чтобы они занялись слежкой за Гёттенем и Блюм, адрес которой к тому времени был уже, естественно, известен. «И вы, конечно, понимаете также, коллега, что в карнавальный сезон костюм шейха наилучшая маскировка, ведь по само собой разумеющимся причинам шейхи нынче популярнее ковбоев. Естественно,— добавил Байцменне,— нам с самого начала было ясно, что карнавал поможет бандитам скрыться и осложнит нам задачу идти по горячим следам, ведь мы тридцать шесть часов следовали по пятам Гёттена. Гёттен, который, кстати, не облачился в маскарадный костюм, ночевал в автобусе марки «фольксваген» на стоянке, откуда потом угнал «порше»; он позавтракал в кафе, там же в туалете побрился и переоделся. Мы ни на минуту не теряли его из виду, за каждым его шагом следил десяток наших людей, переодетых шейхами, ковбоями и испанцами, снабженных мини-радиопередатчиками, прикидывающихся подгулявшими участниками карнавала,— они тотчас же сообщали о всех его попытках установить контакт. Нами охвачены и проверены все, с кем Гёттен соприкасался до того, как переступил порог кафе «Полькт»:

кельнер из пивной, где он пил пиво;

две девушки, с которыми он танцевал в ресторанчике старого города;

рабочий на бензоколонке неподалеку от Хольцмаркта, где он заправил угнанный «порше»;
мужчина у газетного киоска на Маттиасштрассе;
продавец в табачной лавке;
служащий банка, где он обменял семьсот американских долларов, добытых, вероятно, при ограблении какого-нибудь банка.

Установлено, что все это были случайные, а не запланированные контакты и ни одно слово, каким он обменялся с каждым из этих людей, не похоже на код. Но я не поверю, что Блюм — тоже случайный контакт. Ее телефонный разговор с Шоймель, пунктуальность, с которой она появилась у Вольтерсхайм, да и треклятая самозабвенность и нежность, с которой они оба с первой же секунды танцевали — и как быстро они потом вместе отвалили! — все это говорит, что случайности не было. Но прежде всего об этом свидетельствует тот факт, что она якобы позволила ему уйти не попрощавшись, совершенно очевидно, что она показала ему путь из жилого квартала, не охваченный контролем. А ведь мы ни на минуту не выпускали из поля зрения жилой квартал, то есть дом в этом квартале, где она живет. Конечно, мы не можем установить полный контроль над территорией почти в полтора квадратных километра. Она, должно быть, знает запасный выход и указала его, кроме того, я уверен, что она играет роль квартирьера для него, а возможно, и для других и точно знает, где он находится. Дома ее работодателей уже обложены, мы произвели разведку в ее родной деревне, еще раз основательно обыскали квартиру госпожи Вольтерсхайм, пока ее тут допрашивали. Ничего. Мне кажется, лучше всего позволить ей свободно разгуливать, чтобы она совершила ошибку; и, вероятно, путь к его квартире пролегает через пресловутого визитера, я уверен, что запасный выход из жилого квартала связан с госпожой Блорна, которая, как мы теперь знаем, и есть «красная Труда», а она участвовала в проектировании квартала».

34

Здесь следует заметить, что первый «обратный подпор» почти закончен, с пятницы перешли опять к субботе. Все сделано для того, чтобы избежать новых заторов, в том числе и излишних скоплений напряженности. Полностью избежать их, видимо, невозможно.

Примечательно, что в пятницу после полудня, после заключительного допроса, Катарина Блюм попросила Эльзу Вольтерсхайм и Конрада Байтерса сперва отвезти

ее домой и — пожалуйста, пожалуйста — вместе с ней подняться в квартиру. Она призналась, что боится, потому что в тот четверг, ночью, вскоре после телефонного разговора с Гёттеном (по тому факту, что она, пусть и не на допросе, открыто говорила о своих телефонных контактах с Гёттеном, любой непредвзятый человек может судить о ее невиновности), случилось нечто совершенно ужасное. Сразу после разговора с Гёттеном, как только она положила трубку, телефон снова зазвонил, и «в безумной надежде», что это опять Гёттен, она тотчас же сняла трубку, но на проводе был не Гёттен, а «жутко тихий» мужской голос «почти шепотом» наговорил ей «всякие гадости», сплошные мерзости, но самое мерзкое — парень выдавал себя за обитателя дома и сказал, что раз уж ей так по душе нежности, то зачем далеко искать, он готов и в состоянии предложить ей любой, ну просто любой вид нежности. Да, этот звонок и заставил ее ночью приехать к Эльзе. Она боится, боится даже телефона, и, так как Гёттен знает ее номер, а она его номера не знает, она все надеется, что он позвонит, но в то же время и боится телефона.

Не стоит скрывать, что Катарине Блюм предстояли и другие ужасы. Ну, к примеру, почтовый ящик; до сих пор он играл в ее жизни очень незначительную роль, она заглядывала туда в основном лишь потому, что «так уж принято», но безрезультатно. В эту пятницу утром он был набит до отказа, и отнюдь не на радость Катарине. И хотя Эльза В. и Байтерс всячески пытались перехватить письма, печатные издания, она не отступалась и просмотрела — наверное, в надежде получить весточку от своего дорогого Людвига — все почтовые отправления, в общей сложности штук двадцать, но, по всей видимости ничего не найдя от Людвига, затолкала весь хлам в свою сумку. Даже поездка в лифте оказалась мучительной, так как с ними вместе поднимались двое жильцов. Один из них (звучит невероятно, но приходится сказать) — господин в костюме шейха, который, в явном стремлении отгородиться от них, забился в угол, но, к счастью, вышел уже на четвертом этаже, и дама (с ума сойти, но что правда, то правда), переодетая андалузкой, в маске, — она не отпрянула от Катарины, а стала к ней вплотную и с бесцеремонным любопытством разглядывала ее «наглыми, осуждающими карими глазами». Она поехала выше восьмого этажа.

Надо предупредить: дальше будет еще хуже. Едва они очутились в квартире, при входе в которую Катарина прямо-таки вцепилась в Байтерса и Эльзу В., зазвонил теле-

фон, и на сей раз госпожа В. оказалась проворнее Катарини, она ринулась вперед, схватила трубку, ужаснулась побледнела, пробормотала: «Проклятая свинья, проклятая трусливая свинья» — и благоразумно положила трубку не на рычаг, а рядом с ним.

Тщетно госпожа В. и Байтерс пытались отнять у Катарини почту, она крепко сжимала всю стопку писем и печатных изданий вместе с обоими номерами г а з е т ы, которые тоже извлекла из сумки, и настояла на том, чтобы вскрыть всю корреспонденцию. Ничего нельзя было поделать. Она все прочитала!

Не все послания были анонимными. Одно неанонимное письмо — самое большое — пришло от предприятия, которое называло себя «Домом рассылки предметов интимного обихода» и предлагало всевозможные принадлежности сексуальной жизни. Это уж совсем добило Катарину, да кто-то еще сделал приписку от руки: «Вот настоящие нежности».

Коротко, или еще лучше — статистически, говоря: среди остальных восемнадцати корреспонденций были:

семь анонимных, от руки написанных открыток с грубыми предложениями сексуальных услуг, в каждой из них как-либо обыгрывались слова «коммунистическая свинья»;

четыре анонимные открытки, содержащие политические оскорбления — от «красной крысы» до «кремлевской тетки» — без сексуальных предложений;

пять писем с вырезками из г а з е т ы, в трех или четырех из них — красными чернилами на полях комментарии, среди прочего, например, такого содержания: «Что не удалось Сталину, то и тебе не удастся»;

два письма, содержащие религиозные наставления, в обоих случаях на приложенных трактатах написано: «Научись снова молиться, бедное заблудшее дитя» и «Стань на колени и исповедуйся, Бог еще не оставил тебя».

Лишь сейчас Эльза В. обнаружила подсунутую под дверь записку, которую она, к счастью, действительно сумела скрыть от Катарини: «Почему ты не воспользуешься моим каталогом нежностей? Должен ли я принуждать тебя к твоему счастью? Твой сосед, которого ты так пренебрежительно отвергла. Я тебя предупреждаю». Это было написано печатными буквами, которые, по мнению Эльзы В., выдавали высшее, возможно врачебное, образование.

Удивительно, что ни госпожа В., ни Конрад Б. не удивились и даже и не подумали вмешаться, когда Катарина

подошла к небольшому домашнему бару в гостиной, вынула бутылки хереса, виски, красного вина и початую бутылку вишневого сиропа и без особого волнения стала швырять их в незапятнанные стены, о которые они разбивались.

То же самое она сделала в маленькой кухне, используя для этой цели кетчуп, салатный соус, уксус, острый соус для приправы. Надо ли добавлять, что то же она сотворила в ванной с тюбиками и флаконами крема, пудрой, порошками, солями для ванны, а в спальне — с флаконом одеколона?

Действовала она при этом планомерно, а вовсе не взволнованно, так убежденно и так убедительно, что Эльза В. и Конрад Б. ничего не предпринимали, чтобы ее остановить.

36

Существует, конечно, довольно много теорий, с помощью которых пытались определить момент, когда Катарина впервые вознамерилась убить или разработала план убийства и решила привести его в исполнение. Одни полагают, что достаточно было уже первой статьи в газете в четверг, другие же считают решающим днем пятницу, потому что в этот день газета все еще не утихомирилась и обнаружилось, что добрососедские отношения и квартира, к которой Блюм была так привязана, разрушены (субъективно, во всяком случае); анонимный абонент, анонимная почта, а потом еще субботняя газета, кроме того (здесь мы забегаем вперед), в воскресенье газета. Но разве не излишни подобные умозрительные рассуждения: она задумала убийство и осуществила его — и хватит! Можно с уверенностью утверждать: в ней что-то «поднялось», высказывания бывшего мужа ее особенно вывели из себя; и уж с абсолютной уверенностью можно утверждать: все, что потом было напечатано в воскресной газете, если и не послужило причиной, то, во всяком случае, оказало отнюдь не успокаивающее воздействие.

37

Прежде чем покончить с «обратным подпором» и снова сосредоточиться на субботе, следует сообщить еще о том, как прошли вечер в пятницу и ночь с пятницы на субботу у госпожи Вольтерсхайм. Общий итог: неожидан-

но спокойно. Правда, отвлекающие маневры Конрада Байтерса, включившего танцевальную музыку, южноамериканскую даже, и пробовавшего разохотить Катарину потанцевать, потерпели неудачу, неудачу потерпела и попытка разлучить Катарину с газетой и анонимной почтой; так же потерпела неудачу попытка представить все преходящим и не так уж страшно важным. Разве не пришлось пережить куда более ужасные вещи: нищее детство, брак с этим дрянным Бреттло, запой, «мягко говоря, опустившейся матери, которая в конечном счете повинна в том, что Курт сбился с пути»? Разве Гёттен в настоящий момент не в безопасности и его обещание забрать ее дано не всерьез? Разве сейчас не карнавал и разве она не обеспечена материально? Разве нет на свете таких ужасно милых людей, как Блорны, как Хиперцы и даже этот «тщеславный кривляка» — назвать по имени визитера все еще не решались, — разве не был он, в сущности, забавным и уж никак не удручающим явлением? Тут Катарина возразила и напомнила про «идиотское кольцо и дурацкий конверт», которые поставили их обоих в тяжелое положение и даже навлекли подозрение на Людвига. Могла ли она знать, что этот кривляка не стоит за ценой, только бы потешить свое тщеславие? Нет-нет, забавным она его вовсе не находит. Нет. А когда стали обсуждать практические вещи — например, не поискать ли ей новую квартиру и не подумать ли уже сейчас — где, — Катарина уклончиво сказала: единственное практическое дело, каким она собирается заняться, — это соорудить карнавальную костюм, и она просит Эльзу одолжить ей большую простыню, потому что она хочет ввиду моды на шейхов в субботу или воскресенье «двинуться в путь» бедуинкой. Что, собственно, случилось плохого? Если хорошенько подумать, почти ничего, или лучше сказать — почти только хорошее, ибо как-никак Катарина действительно встретила того, «кого она должна была встретить», провела с ним «ночь любви», ну, хорошо, ее опрашивали или допрашивали и, судя по всему, Людвиг в самом деле «не божья коровка». Затем была эта обычная грязь в газете, несколько свиней анонимно позвонили, другие анонимно написали. Разве жизнь не продолжается? И разве Людвиг не устроен — она, только одна она знает, как прекрасно, прямо-таки комфортабельно он устроен. А теперь мы сошьем карнавальную костюм, в котором Катарина будет восхитительно выглядеть, белый женский бурнус; в нем она славненько «двинется в путь».

В конце концов природа заявляет свои права, и вот ты уже дремлешь, засыпаешь, просыпаешься, снова дрем-

лешь. А не выпить ли нам по стаканчику? Почему бы нет? Наимирнейшая картина: молодая женщина, задремавшая над шитьем; пожилая дама и пожилой господин осторожно обходят ее, чтобы природа «вступила в свои права». Природа так основательно вступила в свои права, что Катарину не разбудил даже телефонный звонок, прозвучавший в половине третьего ночи. Почему вдруг задрожали руки у трезвой госпожи Вольтерсхайм, когда она схватила трубку? Уж не ждет ли она анонимных нежностей, наподобие тех, что она услышала несколько часов назад? Конечно, половина третьего ночи жутковатое время для телефонного звонка, но она хватает трубку, которую у нее сразу же отбирает Байтерс, и как только он произносит «Да?», на другом конце провода трубку вешают. И снова раздается звонок, и снова — как только он снимает трубку, еще прежде, чем он сказал «Да?», — отбой. Конечно, есть люди, которые хотят потрепать человеку нервы, раз они узнали из газет его имя и адрес, и потому лучше не класть больше трубку на аппарат.

Было решено оберечь Катарину хотя бы от субботнего выпуска газет, но она, воспользовавшись несколькими минутами, когда Эльза В. заснула, а Конрад Б. брился в ванной, выскользнула на улицу, где в утренних сумерках рванула дверцу первого попавшегося автомата с газетой, совершив своего рода кощунство, ибо обманула доверие газет, поскольку вынула газету, не заплатив за нее! Можно считать, что с «обратным подпором» пока покончено, потому что как раз в это время, в эту самую субботу, Блорны, подавленные, раздраженные и грустные, вышли из ночного поезда и раздобыли тот же выпуск газет, который они потом изучат дома.

38

Неуютно было у Блорнов в субботу утром, крайне неуютно, не только из-за почти бессонной, с тряской и качкой ночи в поезде, не только из-за газет, о которой госпожа Блорна сказала, что эта зараза настагает человека всюду, нигде от нее не спрячешься; неуютно не только из-за полных упреков телеграмм влиятельных друзей и клиентов, но также из-за Гаха, которому рано, слишком рано (и вместе с тем слишком поздно, если учесть, что лучше было бы сделать это еще в четверг) позвонили днем. Он был не очень приветлив, сказал, что допрос Катарины закончен, он не может сказать, будет ли возбуждено против нее дело, но в настоящее время ей, конечно,

требуется защитник, хотя еще и не судебный защитник. Разве они забыли, что сейчас карнавал и прокуроры тоже имеют право на отдых, а иной раз и на праздник? Но как бы то ни было, ведь знакомы уже двадцать четыре года, вместе учились, вместе зубрили, пели песни, даже совершали туристские походы, и потому не обращаешь внимания на первые минуты плохого настроения, тем более что и сам чувствуешь себя крайне неудобно, но тут вдруг просьба — от прокурора! — дальнейшее обсуждать не по телефону, а лучше при встрече. Да, обвинения против нее выдвинуты, многое чрезвычайно запутано, но хватит, может быть, потом, после обеда, при встрече. Где? В городе. Лучше всего на ходу. В фойе музея. В половине пятого. Никаких телефонных связей с квартирой Катарини, с госпожой Вольтерсхайм, с супругами Хиперц.

Неудобно еще и потому, что так быстро дало себя знать отсутствие упорядочивающей руки Катарини. Даже непонятно, как это всего лишь за полчаса словно воцарился хаос, хотя всего только заварили кофе, достали из шкафа хрустящие хлебцы, масло и мед и поставили в прихожую багаж; в конце концов даже Труда раздражилась, потому что он беспрестанно, снова и снова, спрашивал, какую связь она видит между делом Катарини и Алоизом Штройбледером, тем более Людингом, и она нисколько не пыталась успокоить его, а только в своей наигранной наивно-иронической манере, которая обычно так нравилась ему, но в это утро была не по душе, все время отсылала его к обоим номерам г а з е т ы, потом спросила, обратил ли он внимание на одно слово, но на какое именно, говорить не стала, саркастически заметив, что хочет проверить его сообразительность, и он снова и снова читал «эту мерзость, эту отвратительную мерзость, которая всюду настигает человека», читал и перечитывал, не в силах сосредоточиться, потому что его всякий раз выводили из себя фальсифицированные его высказывания и слова «красная Труда», пока он наконец не капитулировал и смиренно не попросил Труду ему помочь; он настолько вне себя, что сообразительность изменяет ему, кроме того, он уже много лет практикует как адвокат по индустриальным, а не уголовным делам, в ответ на что она сухо произнесла: «К сожалению», но затем все-таки сжалилась и сказала: «Разве ты не заметил слов «господа визитеры» и не заметил, что я их соотнесла с телеграммами? Посмотри-ка внимательно на фотографию этого Гёттинга, нет, Гёттена, — разве станет кто-нибудь говорить о нем как о господине визитере, как бы ни был он одет? Нет, ни в коем

случае, на языке добровольно шпионящих обывателей такого всегда назовут мужчиной, а не господином, и я предсказываю тебе, что не позже чем через час нам тоже нанесет визит господин, и еще я тебе предсказываю неприятности, конфликты и, возможно, конец одной старой дружбы, неприятности и с твоей красной Трудой и кое-что поболее, чем просто неприятности с Катаринной, имеющей два очень опасных свойства: верность и гордость,— она никогда, ни за что не признается, что показала этому парню запасный выход, который мы обе, она и я, вместе изучали. Спокойно, дорогой, спокойно: ничего не обнаружится, но, в сущности, моя вина, что этот Гёттинг, нет, Гётген, смог исчезнуть незамеченным из ее квартиры. Ты наверняка уже не помнишь, что в моей спальне висел план всей системы отопления, вентиляции, канализации и проводок «Элегантной обители у реки». Шахты отопления помечены на нем красным цветом, вентиляции — синим, кабельные линии — зеленым, канализация — желтым. Этот план настолько привлекал к себе Катарину — ведь она сама такая аккуратная, все планирующая, почти гениально планирующая особа,— что она подолгу стояла перед ним и то и дело спрашивала о значении линий на этой «абстрактной картине», как она называла план, и я готова была раздобыть и подарить ей копию. Слава богу, что я этого не сделала: представь себе, что было бы, если бы у нее нашли копию плана,— хорошенькая база была бы подведена под теорию заговора, перевалочного пункта под сочетание: красная Труды и бандиты — Катарина и визитеры. Такой план был бы, конечно, идеальным руководством для всех сортов любителей незримо поживиться чужим добром или чужим теплом. Я сама ей объяснила, какой высоты различные переходы, где при разрыве труб и проводок можно пройти во весь рост, где — согнувшись, а где и ползком. Так, и только так, этот милый молодой джентльмен, о чьих нежностях ей остается теперь только мечтать, мог улизнуть от полиции, и если он действительно грабитель банков, он разгадал эту систему. Возможно, и господин визитер входил и выходил тем же путем. Для этих современных жилых кварталов требуются совсем иные методы наблюдения, чем для старомодных доходных домов. Подскажи это при случае полиции или прокуратуре. Они караулят главные входы, может быть, вестибюли и лифты, но ведь есть еще и грузовые лифты, они ведут напрямиком в подвал, а там стоит только проползти несколько сот метров, поднять где-то крышку люка — и был

таков! Поверь мне, теперь остается только молиться, крупные заголовки в газете по тому или иному поводу ему не нужны, нужно ему сейчас точное и уверенное расследование и информация о нем в прессе, а еще больше, чем крупных заголовков, он боится злого и недовольного лица некой Мод, его законной, Богом данной жены, от которой у него, кроме того, четверо детей. Разве ты не заметил, как он резво, «по-мальчишески весело», должна сказать, действительно мило несколько раз танцевал с Катариной, и как он прямо-таки навязывался провожать ее домой, и как он по-мальчишески досадовал, когда она обзавелась своей машиной? Ему нужно такое исключительно милое создание, как Катарина, не легкомысленное и все-таки — как вы это называете — чуткое на ласку, серьезное и все-таки молодое и такое прелестное, что она и сама этого не знает,— вот чего жаждет его сердце. А разве она и твое мужское сердце не радовала немножко?»

Да, было это, она радовала его мужское сердце, он признался в этом, и еще он признался, что она ему не просто нравится, это нечто большее, гораздо большее, и она, Труда, знает ведь, что на любого человека, не только мужчину, иной раз находит что-то такое, хочется кого-то обнять, да, может быть, и не только обнять, но Катарину — нет, тут было что-то, что никогда, ни за что не позволило бы ему стать «визитером», и если что-то мешало, даже исключало всякую возможность стать «визитером», или лучше сказать — попытаться это сделать, то не уважение к ней, Труде, не оглядка на нее — она ведь понимает, что он имеет в виду,— а уважение к Катарине, да, уважение, почти благоговение, больше даже — нежное благоговение перед ее, да-да, черт возьми, невинностью, которая даже больше, больше чем невинность, он не знает подходящего выражения. Возможно, дело в этой ее необычайной сердечной сдержанности, и хотя он на пятнадцать лет старше Катарины и, видит Бог, кое-чего в жизни добился, то, как она взялась за свою испорченную жизнь, выправила, организовала ее, помешало бы ему, возникни у него вообще мысли подобного рода, потому что он побоялся бы разрушить ее жизнь, ее самое, ведь она так ранима, так дьявольски ранима, и если бы выяснилось, что Алоиз и впрямь тот визитер, он бы, попросту говоря, «дал ему по морде»; да, ей надо помочь, помочь, ей не справиться с этими уловками, допросами, опросами, теперь слишком поздно, но в течение дня ему необходимо разыскать Катарину... В этом месте его интересные рассуждения были прерваны Трудой, которая со своей бесподобной сухостью заявила: «Визитер только что подъехал».

Здесь следует сразу же отметить, что Блорна не дал по морде Штройбледеру, который действительно подъехал в архироскошном наемном автомобиле. Пусть здесь не только по возможности мало крови течет, но пусть и изображение физического насилия, если без него никак не обойтись, будет сведено до того минимума, к которому обязывает отчет. Это совсем не означает, что обстановка у Блорнов мало-мальски разрядилась, напротив — стало еще неуютнее, ибо Труда Блорна, продолжая помешивать в чашке кофе, не смогла удержаться, чтобы не встретить старого друга словами: «Привет, визитер». — «Я полагаю, — смущенно заметил Блорна, — Труда опять попала в точку». — «Да, — сказал Штройбледер, — спрашивается только, всегда ли это уместно».

Здесь можно отметить, что отношения между госпожой Блорна и Алоизом Штройбледером однажды достигли почти невыносимого накала — когда тот попытался если не соблазнить, то всерьез пофлиртовать и она в своей сухой манере дала ему понять, что, хотя он считает себя неотразимым, он вовсе не таков, во всяком случае для нее. При этих обстоятельствах можно понять, что Блорна предпочел сразу же увести Штройбледера в свой кабинет, попросив жену оставить их одних и в промежутке («Между чем?») — спросила госпожа Блорна) сделать все, все, чтобы разыскать Катарину.

Почему собственный кабинет может показаться человеку таким отвратительным, захламленным и грязным, хотя нигде ни пылинки и все на своем месте? Почему красные кожаные кресла, в которых улажено столько дел и проведено столько доверительных разговоров, в которых действительно удобно сидеть и слушать музыку, вдруг становятся такими противными, книжные полки — омерзительными и даже Шагал на стене с собственноручной надписью — подозрительным, словно изготовленная самим художником подделка? Пепельница, зажигалка, штоф для виски — что можно иметь против этих безобидных, хотя и дорогих, предметов? Что делает такой окаянный день после такой окаянной ночи столь невыносимым и напряжение между тобой и старым другом столь сильным, что чуть ли не искры летят? Что можно иметь против нежно-желтых стен, украшенных современной графикой?

«Да-да,— сказал Алоиз Штройбледер,— я пришел, собственно, сказать, что в *этом* деле мне твоя помощь уже не нужна. У тебя опять сдали нервы, там, на аэродроме, во время тумана. Через час после того, как вы потеряли самообладание или терпение, туман рассеялся, и вы могли бы еще успеть сюда к 18.30. Вы могли бы даже, если б спокойно подумали, позвонить еще из Мюнхена на аэродром и узнали бы, что самолеты уже летают. Но оставим это. Не будем играть краплеными картами — не будь никакого тумана и вылетит самолет по расписанию, ты бы все равно прибыл слишком поздно, потому что решающая часть допроса давно была закончена и ничему уже нельзя было бы помешать».

«Я все равно не могу тягаться с г а з е т о й»,— сказал Блорна.

«Г а з е т а,— сказал Штройбледер,— не представляет никакой опасности, это в руках Людинга, но ведь есть еще и другие газеты, и я могу примириться с любыми заголовками, но только не с теми, где я фигурирую вместе с бандитами. Романтическая история с женщиной доставила бы мне в крайнем случае семейные неприятности, но не общественные. Даже фотография с такой привлекательной особой, как Катарина Блум, не причинила бы вреда, в остальном же теорию о мужских визитах оставят без внимания, а украшение или письмо — ну да, я подарил ей довольно дорогое кольцо, которое нашли, и написал несколько писем, от которых нашли лишь один конверт,— все это не доставит осложнений. Скверно, что этот Тётгес пишет для иллюстрированных газет под другой фамилией вещи, которые ему нельзя напечатать в г а з е т е, и что — ну да — Катарина обещала ему интервью. Я узнал об этом несколько минут назад от Людинга, который тоже за то, чтобы дать Тётгесу это интервью, потому что на г а з е т у можно повлиять, но не на другие журналистские действия Тётгеса, которые он осуществляет через подставное лицо. Ты что, вообще не в курсе?» — «Понятия ни о чем не имею»,— сказал Блорна.

«Странное состояние для адвоката, чьим мандантом я как-никак являюсь. Вот что происходит, когда бессмысленно транжирят время в тряских и валких поездах, вместо того чтобы вовремя связаться с метеослужбами, которые сообщили бы, что туман скоро рассеется. Ты, по-видимому, так еще и не связался с нею?»

«Нет, а ты?»

«Нет, непосредственно нет. Я только знаю, что примерно час назад она звонила в г а з е т у и договорилась с Тётгесом о специальном интервью на завтра после обе-

да. Он согласился. Но есть еще одно обстоятельство, которое причиняет мне больше, значительно больше огорчений, вызывает настоящую боль в желудке,— (тут лицо Штройбледера прямо-таки исказилось и голос задрожал),— ты можешь с завтрашнего дня бранить меня сколько захочешь, потому что я действительно злоупотребил вашим доверием, но, с другой стороны, мы ведь действительно живем в свободной стране, где дозволена и свободная любовная жизнь, и, можешь мне поверить, я сделаю все, чтобы ей помочь, я даже поставлю на карту свою репутацию, ибо — смейся, если угодно,— я люблю эту женщину, но: ей нельзя уже помочь, мне еще можно помочь, а она попросту не позволяет ей помочь...»

«А в отношении газет ты тоже не можешь ей помочь, против этих свиней?»

«Господи, да не принимай ты так близко к сердцу газету, хотя она и вас уже взяла в оборот. Не время теперь спорить о бульварной журналистике и свободе печати. Короче говоря, я хотел бы, чтобы ты присутствовал при интервью в качестве моего и ее адвоката. Дело в том, что самое щекотливое до сих пор не всплыло ни при допросах, ни в прессе: полгода назад я чуть ли не силком навязал ей ключ от нашего домика на двоих в Кольфорстенхайме. Ни при обыске квартиры, ни при личном просмотре ключа не нашли, но он у нее *есть* или по крайней мере был, если она его попросту не выкинула. Пускай это было сентиментальностью, назови как угодно, но я хотел, чтобы у нее был ключ от дома, я не хотел отказываться от надежды, что она приедет ко мне туда. Поверь же мне, я бы ей помог, вступился за нее, даже пошел бы туда и признался: смотрите, я и есть тот визитер, но я ведь знаю: от меня она отречется, от своего же Людвига — никогда».

Что-то совсем новое, неожиданное появилось в лице Штройбледера, вызвавшее у Блорны почти сочувствие, по меньшей мере любопытство: какая-то чуть ли не покорность — или то была ревность? «Что это там было с украшениями, с письмами, а теперь вот с ключом?»— «Черт побери, Хуберт, разве ты все еще не понимаешь? Об этом я не могу сказать ни Людингу, ни Гаху, ни полиции: я уверен, что она дала ключ своему Людвигу и этот парень уже два дня там торчит. Я просто боюсь, боюсь за Катарину, за полицейских чиновников, да и за этого глупого мальчишку, который, может быть, торчит в моем доме в Кольфорстенхайме. Мне хочется, чтобы он исчез оттуда прежде, чем его найдут, и в то же время мне хочется, чтобы его поймали, лишь бы все кончилось. Теперь понимаешь? И что же ты мне посоветуешь?»

«Ты можешь позвонить туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм».

«И ты думаешь, если он там, он подойдет к телефону?»

«Тогда ты должен позвонить в полицию, другого пути нет. Хотя бы для того, чтобы предотвратить несчастье. В крайнем случае позвони анонимно. Если существует хоть малейшая вероятность того, что Гёттен в твоём доме, ты должен немедленно известить полицию. Иначе это сделаю я».

«Чтобы мой дом и мое имя все-таки фигурировали вместе с этим бандитом в заголовках? Я думал о другом... Я думал, не съездил бы ты туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм, ну, как мой адвокат, чтобы посмотреть, все ли в порядке».

«В такой момент? В карнавальную субботу, когда г а з е т а уже знает, что я спешно прервал отпуск — для того только, чтобы посмотреть, все ли в порядке на твоей даче? Не испортился ли холодильник, да? Отрегулирован ли термостат масляного отопления, не разбиты ли стекла, загружен ли бар и не отсырело ли постельное белье? Ради этого и сорвался из отпуска высокочтимый юрист-консультант, владеющий роскошной виллой с плавательным бассейном и женатый на «красной Труде»? Ты и впрямь считаешь эту идею здоровой, при том что господа репортеры г а з е т ы наверняка следят за каждым моим шагом,— едва, так сказать, выйдя из спального вагона, я еду на твою виллу, чтобы поглядеть, скоро ли пробьются крокусы и показались ли уже подснежники? Ты и впрямь считаешь это хорошей идеей, не говоря уже о том, что этот милый Людвиг доказал, что умеет неплохо стрелять?»

«Черт возьми, ну к чему сейчас твоя ирония и шуточки? Я прошу тебя как адвоката и друга оказать мне услугу не столько личного, сколько гражданского характера, а ты толкуешь о каких-то подснежниках. Со вчерашнего дня дело держится в таком секрете, что сегодня мы не имеем оттуда никакой информации. Все, что мы знаем, мы знаем из г а з е т ы, где у Людинга, к счастью, есть хорошие связи. Прокуратура и полиция не звонят даже в министерство внутренних дел, где у Людинга тоже есть связи. Речь идет о жизни и смерти, Хуберт».

В этот момент вошла, не постучав, Труда с транзистором в руке и спокойно сказала: «О смерти речь уже не идет, только о жизни, слава богу. Они поймали этого парня, он сдуру стрелял и в него стреляли, ранили, но не смертельно. В твоём саду, Алоиз, в Кольфорстенхайме, между плавательным бассейном и беседкой. Говорят о роскошной вилле, стоимостью в полмиллиона, одного из ком-

паньонов Людинга. Кстати, джентльмены действительно еще существуют: первое, что сказал наш славный Людвиг,— это то, что Катарина вообще никакого отношения к делу не имеет; это чисто личная, любовная история, не имеющая ни малейшего отношения к преступлениям, в которых его обвиняют, но которые он по-прежнему отрицает. Тебе, наверное, придется вставить несколько стекол, Алоиз,— там была хорошенькая пальба. Твое имя пока не упоминалось, но, может быть, тебе все-таки стоит позвонить Мод, которая наверняка волнуется и нуждается в утешении. Кстати, одновременно с Гёттенем в других местах поймали еще трех его предполагаемых сообщников. Все в целом считается триумфальным успехом некоего комиссара Байцменне. А теперь, дорогой Алоиз, проваливай-ка отсюда и нанеси, разнообразия ради, визит своей любимой жене».

В этот момент в кабинете Блорны дело вполне могло бы дойти чуть ли не до рукоприкладства, никоим образом не соответствовавшего назначению и обстановке помещения. Штройбледер якобы — *якобы* — попытался вцепиться Труде Блорна в горло, но вмешался ее муж: не станет же тот поднимать руку на даму. Штройбледер якобы — *якобы* — на это ответил, что он не уверен, подходит ли определение «дама» к такой злоязычнице, и что есть слова, которые при определенных обстоятельствах, в особенности когда сообщают о трагических событиях, нельзя применять в ироническом смысле, и если он еще хоть один раз, один-единственный раз услышит то одиозное слово, тогда — да, что тогда?— тогда все будет кончено. Едва он покинул дом и Блорна еще не успел сказать Труде, что все-таки она, пожалуй, далековато зашла, как она буквально оборвала его и сказала: «Ночью умерла мать Катарины. Я ее разыскала — в Куир-Хохзаккеле».

Прежде чем приступить к последним маневрам по вы-, от-, переводению потока, следует сделать одно попутное замечание, так сказать, технического свойства. В этой истории происходит слишком многое. Переизбыток действия, с которым трудно совладать, ей во вред. Разумеется, весьма прискорбно, когда работающая как человек свободной профессии прислуга убивает журналиста, и подобный случай необходимо исследовать или хотя бы как-то объяснить. Но как быть с популярными адвокатами, которые ради домработницы прерывают заслуженный тяжким трудом отдых в лыжный сезон? С промышленниками

(по совместительству являющимися профессорами и партийными заправками), которые в приступе перезрелой сентиментальности чуть ли не силком навязывают именно этой домработнице ключи от домиков на двоих (в придачу с самим собой); как известно, то и другое — безуспешно; которые, с одной стороны, жаждут publicity¹, но, с другой стороны, publicity лишь определенного рода; сплошь вещи и люди, которые попросту не синхронизируются и постоянно мешают течению (иначе говоря, ровному развертыванию действия), потому что они, так сказать, неприкосновенны. Как быть с чиновниками уголовной полиции, которые постоянно требуют «язычки» и их получают? Короче говоря, слишком многое просачивается и вместе с тем в решающий для автора отчета момент просачивается недостаточно, потому что хотя кое-что и можно узнать (скажем, от Гаха или некоторых полицейских чиновников и чиновниц), однако ничего, ну ничегошеньки из того, что они говорят, не имеет силы, даже тени доказательств, потому что никакой суд не получал подтверждения, ни перед каким судом не давались показания. Это не имеет силы свидетельских показаний! Ни малейшего общественного значения. Например, вся эта афера с «язычками». Подключение к телефонной сети помогает, конечно, расследовать, но поскольку подключение производится не следственными органами, то при открытом судопроизводстве не только нельзя использовать результаты, о них даже упоминать нельзя. Прежде всего: какова психология человека, подслушивающего телефонные разговоры? О чем думает безупречный чиновник, который исполняет только свой долг, исполняет свою, так сказать, обязанность (возможно, даже неприятную для него) если и не по чрезвычайной необходимости, в приказном порядке, то наверняка из соображений выгоды, — о чем он думает, когда слушает телефонный разговор того незнакомого обитателя дома, которого мы здесь краткости ради назовем сулителем нежности, с такой исключительно милой, привлекательной, почти безупречной особой, как Катарина Блюм? Охватывает его моральное возмущение, или половое возбуждение, или то и другое? Возмущается он, сочувствует, получает своеобразное удовольствие, когда особу по кличке Монашенка оскорбляют до глубины души гнусными предложениями, угрожающе произносимыми с хриплыми стонами? Ну, много чего случается на виду, еще больше — в тени. О чем думает безобидный, тяжким трудом зарабатывающий хлеб свой насущный

¹ Реклама (англ.).

подслушиватель, когда, например, некий Людинг, здесь упоминавшийся, звонит в главную редакцию г а з е т ы и говорит приблизительно следующее: «Немедленно Ш. целиком вынуть, Б. целиком вставить»? Конечно, Людинга не потому подслушивают, что за ним ведется наблюдение, а потому, что есть опасность, как бы ему не позволили — скажем, шантажисты, политические гангстеры и т. п. Откуда безупречному подслушивателю знать, что под Ш. подразумевается Штройбледер, а под Б. — Блорна и что в в о с к р е с н о й г а з е т е ничего не доведется прочитать про Ш., зато много — про Б. И тем не менее — кто же может это знать или хотя бы подозревать — Блорна в высшей степени ценимый Людингом адвокат, множество раз доказавший свою искусность как в национальных, так и интернациональных масштабах. Что имеется в виду, когда в другом разговоре упоминаются источники, которые «не могут встретиться», как те королевские дети, для которых мнимая монашенка не поставила свечу, и кто-то там погружается довольно глубоко, тонет? А тут еще госпожа Людинг велит своей кухарке позвонить секретарше мужа и узнать, чего бы Людинг хотел в воскресенье на десерт: блинчики с маком? клубнику с мороженым и взбитыми сливками, или только с мороженым, или только со взбитыми сливками? — в ответ на что секретарша, которая не желает докучать своему шефу, но знает его вкус и, возможно, не прочь создать повод для раздражения или неприятностей, довольно язвительным тоном говорит кухарке, что она совершенно уверена, господин Людинг в это воскресенье предпочел бы карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка, которая, конечно, тоже знает вкус Людинга, возражает и говорит, что это новость для нее, и не перепутала ли секретарша собственный вкус со вкусом Людинга, и пусть она переключит аппарат и даст ей возможность непосредственно с самим господином Людингом обсудить его пожелания в отношении десерта. На это секретарша, которая при случае сопровождает господина Людинга в поездках на конференции и питается с ним во всяких палас-отелях или интербазах, заявляет, что, когда она с ним в поездках, он всегда ест карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка: но в воскресенье-то он не будет с ней, секретаршей, в поездке, и разве не может быть так, что пожелания Людинга в отношении десерта зависят от общества, в котором он находится? И т. д. И т. д. После чего идет еще долгий спор о блинчиках с маком, и весь этот разговор записывается за счет налогоплательщиков на пленку! Не думает ли тот, кто прослушивает пленку и, разумеется,

должен внимательно следить, не применен ли здесь код анархистов, не означают ли блинчики, скажем, ручные гранаты, а мороженое с клубникой — бомбы; или же: ну и заботы у них; или: мне бы ваши заботы, ибо возможно, у него только что дочь сбежала, или сын стал наркоманом, или опять повысилась квартирная плата, — и все это, эти записи на пленку, из-за того только, что когда-то Людингу пригрозили бомбой; таким-то образом какой-нибудь невинный чиновник или служащий узнает наконец, что такое блинчики с маком, он, у которого они — даже один такой блинчик — сошли бы за целый обед.

Слишком многое случается на виду, и мы ничего не знаем о том, что случается в тени. Если бы можно было прослушать пленки! Чтобы что-то узнать наконец — ну, например, как осуществляется, если таковая имеет место, интимная связь Эльзы Вольтерсхайм с Конрадом Байтерсом. Что означает слово «друг», когда речь идет об отношениях этой парочки? Называет она его своим сокровищем, миленьким или просто говорит ему Конрад или Конни; какого рода словесными нежностями они обмениваются, если вообще обмениваются? Не поет ли он ей по телефону песни — ведь известно, что у него хороший, почти концертный, по меньшей мере годящийся для хора баритон? Какие именно? Серенады? Шлягеры? Арии? А может быть, они обсуждают ядреными словами прошлые или предстоящие интимные дела? Ведь так хочется знать про это, а поскольку большинству людей в надежных телепатических свойствах отказано, они прибегают к телефону как к более надежному средству. Отдают ли руководящие органы себе отчет в том, какие психические нагрузки они взваливают на своих чиновников и служащих? Предположим, временно находящаяся под подозрением особа вульгарного склада, которая взята на «язычок», звонит своему нынешнему, тоже вульгарному, партнеру по любовной игре. Поскольку мы живем в свободной стране и можем свободно и открыто разговаривать друг с другом, также и по телефону, — что тут вспорхнет с пленки и влетит в ухо скромному, а то даже и строгих правил, человеку, все равно какого пола? Разве это допустимо? Разве это обеспечивает психологическую безопасность? Что говорит по этому поводу профсоюз общественных служб, транспорта и движения? О промышленниках, анархистах, о банковских директорах, грабителях и служащих всячески заботятся, а кто позаботится о наших национальных магнитофонно-пленочных вооруженных силах? Неужели церкви нечего сказать по этому поводу? Неужели не может ничего предпринять конферен-

ция епископов в Фульде или Центральный Комитет немецких католиков? Почему молчит римский папа? Неужели никто не догадывается, что тут приходится выслушивать невинным ушам — от обсуждения карамельного пудинга до грубейшего порно? Молодых людей призывают на поприще чиновников, — а в чьи руки их отдадут? В руки телефонных нарушителей морали. Вот область, где церковь и профсоюзы могли бы наконец сотрудничать. Можно было бы по меньшей мере выработать своего рода программу просвещения подслушивателей. Пленки с лекциями по истории. Стоит недорого.

42

Только-только вернувшись покаянно к событиям, происходящим на виду, снова занявшись неизбежной работой в каналах, приходится сразу же начать с заявления. Здесь было обещано, что кровь больше течь не будет, причем можно обратить внимание, что смертью госпожи Блюм, матери Катарины, это обещание впрямую не нарушается. Ведь речь идет не о кровавом злодеянии, хотя и о не совсем нормальном смертном случае. Смерть госпожи Блюм была вызвана насильственным путем, хотя и непреднамеренно насильственным. Во всяком случае — это надо подчеркнуть, — вызвавший смерть не имел намерения ни умерщвлять, ни убивать, ни даже причинять телесные повреждения. Речь идет, как было не только установлено, но даже им самим подтверждено, о том Тётгесе, которого и самого постиг кровавый, насильственный конец. Еще в четверг Тётгес разыскивал в Геммельсбройхе адрес госпожи Блюм, узнал его, но тщетно пытался пробраться к ней в больницу. Привратник, медсестра отделения Эдельгард и заведующий отделением д-р Хайнен предупредили его, что госпожа Блюм нуждается в полном покое после тяжелой, хотя и удачной, операции по поводу рака, что любые волнения могут губительно сказаться на ее выздоровлении и ни о каком интервью не может быть и речи. На замечание о том, что благодаря связи дочери с Гёттенем госпожа Блюм тоже становится «действующим лицом современной истории», врач возразил, что и действующие лица современной истории для него в первую очередь пациенты. Но во время этой беседы Тётгес заметил, что в доме работают маляры, и потом хвастал перед коллегами, что посредством «простейшей из всех уловок, а именно уловки мастерового», ему удалось, раздобыв халат, ведро с краской и кисть, в пятницу утром пробраться к госпоже Блюм, ибо ничто так не обогащает,

как матери, в том числе и больные. Он изложил госпоже Блюм факты, хотя и не был уверен, что до нее все дошло, ибо, по всей видимости, имя Гёттена ей ничего не говорило, и она сказала: «Почему должно было так кончиться, почему должно было так случиться?», что он в газете перевернул следующим образом: «Так и должно было случиться, так и должно было кончиться». Небольшую поправку, внесенную в высказывание госпожи Блюм, он объяснил тем, что как репортер он обязан и привык «помогать простым людям выразить свои мысли».

43

Нельзя точно установить, действительно ли Тётгес проник к госпоже Блюм, или же он соврал, выдумал историю о посещении больницы для того, чтобы преподнести процитированные в газете слова матери Катаринны как интервью, дабы доказать свою журналистскую ловкость и прихвастнуть. Д-р Хайнен, сестра Эдельгард, медсестра-испанка по фамилии Уэльва, уборщица-португалка по фамилии Пуэлко — все они считают невозможным, чтобы «этот парень и впрямь позволил себе такую наглость» (д-р Хайнен). Несомненно, что это — возможно, даже выдуманное, но подтвержденное — посещение матери Катаринны имело решающее значение, однако при этом возникает, естественно, вопрос, не отрицает ли попросту больничные персонал то, чего он не имел права допустить, или же Тётгес выдумал это посещение, чтобы обосновать слова Катарининой матери. Здесь должна господствовать абсолютная справедливость. Считается доказанным, что Катарина сшила себе костюм, чтобы пойти в тот самый кабачок, из которого злосчастный Шённер «смылся с какой-то гуленой», и произвести собственное дознание *после того*, как договорилась об интервью с Тётгесом, и *после того*, как воскресная газета опубликовала новую корреспонденцию Тётгеса. Так что надо подождать. Установлено, доказано, что д-р Хайнен был ошарашен неожиданной смертью своей пациентки Марии Блюм и что он «не может исключить, если не доказать, непредвиденные воздействия». Во всяком случае, невинные маляры здесь совершенно ни при чем. Нельзя пятнать честь немецкого ремесла; ни сестра Эдельгард, ни иностранные дамы Уэльва и Пуэлко не могут поручиться, что все маляры, а их было четверо от фирмы «Меркенс» из Куира, действительно были малярами, и, поскольку все четверо работали в разных местах, никто и впрямь не может знать, не прокрался ли кто-нибудь в ха-

лате, с ведром краски и кистью. Установлено: Тётгес *утверждает* (о подтверждении не может быть речи, так как его посещение недоказуемо), что был у Марии Блюм и интервьюировал ее, и это утверждение стало известно Катарине. Господин Меркенс также подтвердил, что, конечно же, не все четверо маляров были на работе одновременно и что, *если бы* кто-нибудь захотел прокрасться, он бы с легкостью это осуществил. Д-р Хайнен потом сказал, что заявит протест в связи с опубликованием в г а з е т е слов матери Катарина, устроит скандал, потому что если это правда, то это ведь неслыханно; но его угроза не была выполнена, так же как и угроза Блорны «дать по морде» Штройбледеру.

44

Около полудня той субботы, 23 февраля 1974 года, в Куире, в кафе у Клоога (речь идет о племяннике того трактирщика, у которого Катарина время от времени работала на кухне и официанткой), собрались наконец вместе Блорны, госпожа Вольтерсхайм, Конрад Байтерс и Катарина. Были объятия и слезы, даже у госпожи Блорна. Разумеется, и в кафе «Клоог» царил карнавальное настроение, но владелец, Эрвин Клоог, который Катарину знал, ценил и говорил ей «ты», предоставил собравшимся свою личную комнату. Оттуда Блорна позвонил сперва Гаху и отменил встречу в вестибюле музея. Он сообщил Гаху, что мать Катарина внезапно умерла — очевидно, вследствие посещения Тётгеса, сотрудника г а з е т ы. Гах был мягче, чем утром, попросил передать Катарине, которая наверняка не сердится на него, да и не имеет для этого оснований, его личное соболезнование. Кстати, она всегда может им располагать. Он, правда, сейчас занят допросами Гёттена, но освободится; кстати, из допросов Гёттена ничего изобличающего Катарину не обнаружилось. Он говорил о ней и про нее с большой симпатией и корректностью. Разрешения на свидание ожидать, конечно, не приходится, поскольку родства тут нет, а определение «невеста» наверняка покажется слишком шатким и необоснованным.

Похоже, будто весть о смерти матери не так уж сильно потрясла Катарину. Кажется даже, что она испытала облегчение. Конечно, Катарина соотнесла д-ра Хайнена с номером г а з е т ы, где упоминалось интервью Тётгеса и приводились слова ее матери, но она никоим образом не разделяла возмущения д-ра Хайнена по поводу интервью; она считала, что эти люди — убийцы и клеветники, она их, конечно, презирает,

но, видимо, это-то и есть прямая обязанность подобного рода газетчиков — лишать невинных людей чести, доброго имени и здоровья. Д-р Хайнен, ошибочно принимавший ее за марксистку (вероятно, он прочитал в газете намеки Бреттло, бывшего супруга Катарини), был несколько обескуражен ее сдержанностью и спросил, считает ли она это — художества газет — порождением строя. Катарина не поняла, что он имеет в виду, и покачала головой. Затем сестра Эдельгард проводила ее в морг, куда она вошла вместе с госпожой Вольтерсхайм. Катарина сама стянула покрывало с лица матери, сказала «Да», поцеловала ее в лоб; в ответ на предложение сестры Эдельгард произнести короткую молитву она покачала головой и сказала «Нет». Она снова натянула покрывало на лицо матери, поблагодарила монахиню и, только покинув морг, заплакала, сначала тихо, потом сильнее и наконец безудержно. Может быть, она вспомнила и своего покойного отца, которого шестилетним ребенком увидела в последний раз тоже в морге. Госпожа Вольтерсхайм подумала, вернее, ей внезапно пришло в голову, что она еще никогда не видела Катарину плачущей, даже в детстве, когда ей приходилось столько страдать. В очень вежливой форме, чуть ли не любезно, Катарина настояла на том, чтобы поблагодарить и обеих иностранных дам, Уэльву и Пуэлко, за все, что они сделали для ее матери. Она покинула больницу, полностью владея собой, не забыв попросить администрацию больницы телеграфно уведомить находящегося в тюрьме брата Курта.

Такой она и оставалась весь конец дня и вечером: полностью владела собой. Хотя она то и дело доставала оба номера газет, излагая Блорнам, Эльзе Вольтерсхайм и Конраду Байтерсу все детали и свое толкование этих деталей, казалось, что ее отношение к газете тоже стало другим. Выражаясь в духе времени — менее эмоциональным, более аналитическим. В этом близком ей, дружески настроенном кругу, в комнате Эрвина Клоога, она откровенно говорила и о своем отношении к Штройбледеру: однажды после вечера у Блорнов он подвез ее домой, проводил до самых дверей, потом, хотя она категорически, чуть ли не с отвращением, запретила это, зашел, попросту вставив ногу в двери, в квартиру. Ну, он, конечно, пробовал быть назойливым, вероятно, был оскорблен тем, что она вовсе не считала его неотразимым, и в конце концов — уже после полуночи — ушел. Начиная с этого дня он прямо-таки преследовал ее, все время приходил, присылал цветы, писал письма, несколько раз ему удавалось проникнуть к ней в квартиру, и однажды он просто навязал ей кольцо. Это все. Она потому не при-

зналась в его визитах и не выдала его фамилии, что считала невозможным объяснить допрашивающим чиновникам, что ничего, ну совершенно ничегошеньки, даже одного-единственного поцелуя между ними не было. Кто же поверит, что она устояла перед таким человеком, как Штройбледер, который не только состоятелен, но в политических, экономических и научных кругах чуть ли не знаменит своим неотразимым очарованием, почти как киноартист, и кто же поверит домашней работнице, что она устояла перед киноартистом, причем из соображений не морали, а вкуса. Он ничуть ее не привлекает, и всю эту историю с визитером она считает отвратительнейшим вторжением в сферу, которую она не потому не хочет назвать интимной, что это можно неправильно понять, — ведь между нею и Штройбледером не было даже намека на интимность, — а потому, что он поставил ее в положение, которое она никому, а уж тем более целой допрашивающей команде не могла бы объяснить. Но в конечном счете — и тут она рассмеялась — она все же испытывала к нему определенную благодарность, ибо ключ от его дома был важен для Людвига или по крайней мере его адрес, так как — тут она снова рассмеялась — Людвиг наверняка и без ключа проник бы туда, но ключ, конечно, облегчил дело, а она знала, что во время карнавала вилла будет пустовать, поскольку как раз двумя днями раньше Штройбледер опять ужасно надоел ей, прямо-таки преследовал и предложил провести там конец карнавальная недели, прежде чем он дал согласие участвовать в конференции в Бад-Б. Да, Людвиг ей сказал, что полиция его разыскивает, но только он сказал, что дезертировал из бундесвера, собирается бежать за границу, и — она в третий раз рассмеялась — ей доставило удовольствие собственноручно отправить его в отопительную шахту и показать запасной выход, который в конце «Элегантной обители у реки» на углу Хохкеппельштрассе выводит на свет божий. Нет, она правда не думала, что полиция следит за нею и Гёттенном, она смотрела на это как на своего рода романтическую игру, и только утром — Людвиг действительно ушел в шесть часов — ей дали почувствовать, насколько все серьезно. Видно было, что она испытывает облегчение оттого, что Гёттен арестован; теперь, сказала она, он не сможет больше натворить глупостей. Она все время пребывала в страхе, так как в этом Байцменне есть что-то зловещее.

Здесь следует зафиксировать и запомнить, что вторая половина субботнего дня и вечер протекали довольно мило, настолько мило, что все — Блорны, Эльза Вольтерс-

хайм и удивительно тихий Конрад Байтерс — почти успокоились. В конце концов решили — даже сама Катарина, — что «обстановка разрядилась». Гёттен арестован, допросы Катаринины закончены, Катаринина мать, хотя и преждевременно, избавилась от тяжких страданий, формальности, связанные с похоронами, идут своим чередом, все необходимые документы один из куирских административных чиновников любезно согласился выписать в понедельник, несмотря на то что это предпоследний праздничный день. Некоторым утешением были и слова владельца кафе Эрвина Клоога, категорически отказавшегося принять какую бы то ни было плату за съеденное и выпитое (речь шла о кофе, ликерах, картофельном салате, сосисках и пирожных), он сказал на прощание: «Выше голову, Катринхен, здесь не все думают о тебе плохо». Утешение, таившееся в этих словах, возможно, было и относительным, ибо что уж значит «не все»? — но тем не менее все-таки «не все». Решили поехать к Блорнам и провести там остальную часть вечера. Катарине самым категорическим образом запретили приложить к чему бы то ни было свои неутомимые руки — она в отпуске и должна расслабиться. Госпожа Вольтерсхайм готовила на кухне бутерброды, а Блорна и Байтерс занялись камином. Катарина в самом деле позволила «побаловать себя». Вечер получился на славу, и, не будь одной смерти и ареста одного очень дорогого человека, наверняка бы попозже рискнули потанцевать, ведь что ни говорите — время карнавала!

Блорне не удалось уговорить Катарину отказаться от намеченного интервью с Тётгесом. Она была спокойна и очень приветлива, и позднее, после того как интервью оказалось «интервью», у Блорны мороз по коже пробегал, когда он вспоминал, с каким исключительным хладнокровием Катарина настаивала на интервью и как решительно отвергла его помощь. И все-таки он потом не был полностью уверен, что именно в этот вечер Катарина задумала убийство. Ему казалось куда более вероятным, что решающую роль сыграла в о с к р е с н а я г а з е т а. Послушав и серьезную, и легкую музыку, рассказы Катаринины и Эльзы Вольтерсхайм о жизни в Геммельсбройхе и Куире, расстались дружески, снова были объятия, но на сей раз без слез. Было только пол-одиннадцатого вечера, когда Катарина, госпожа Вольтерсхайм и Байтерс со взаимными заверениями в большой дружбе и симпатии попрощались с Блорнами, счастливыми тем, что своевременно — своевременно для Катаринины — вернулись из отпуска. Перед угасающим камином они за бутылкой вина обсуждали новые от-

пускные планы и характер своего друга Штройбледера и его жены Мод. Когда Блорна попросил жену впредь при его посещениях не употреблять слова «визитер», поскольку — она ведь сама видела — оно вызывает такую болезненную реакцию, Труда Блорна сказала: «А мы его увидим не скоро».

46

Достоверно известно, что остаток вечера Катарина провела спокойно. Она еще раз примерила костюм бедунки, закрепила швы и решила чадру заменить белым носовым платком. Потом послушали вместе радио, поели печенья и отправились почивать: Байтерс — впервые открыто вместе с госпожой Вольтерсхайм в ее спальню, Катарина — удобно устроившись на тахте.

47

Когда Эльза Вольтерсхайм и Конрад Байтерс в воскресенье утром встали, стол для завтрака был уже мило накрыт, кофе процежен и налит в термос, а Катарина, завтракая с видимым аппетитом, сидела за столом и читала в о с к р е с н у ю г а з е т у. Дальше мы будем не столько излагать, сколько цитировать. Правда, Катаринина «история» вместе с фотографией уже не занимала первую полосу. На сей раз на первой полосе был Людвиг Гёттен с надписью: «Нежный возлюбленный Катаринины Блюм взят на вилле промышленника». Сама «история» подавалась пространнее, чем прежде, на седьмой — девятой полосах, с многочисленными фотографиями: Катарина после первого причастия, ее отец — возвратившийся с фронта ефрейтор, церковь в Геммельсбройхе, опять вилла Блорны. Мать Катаринины лет в сорок, довольно угрюмая, опустившаяся, перед маленьким домишком в Геммельсбройхе, в котором они жили, наконец фотография больницы, где Катаринина мать умерла в ночь с пятницы на субботу. Текст:

«Первой доказуемой жертвой непостижимой, все еще находящейся на свободе Катаринины Блюм можно теперь назвать ее собственную мать, которая не пережила потрясения, вызванного деятельностью своей дочери. Если уже само по себе достаточно странно, что дочь с самозабвенной нежностью танцевала на балу с грабителем и убийцей в то время, когда умирала мать, то с крайней извращенностью граничит факт, что эта смерть не исторгла у нее ни слезинки. Действительно ли эта женщина только «хо-

лодна и расчетлива)? Жена одного из ее прежних работодателей, уважаемого сельского врача, описывает ее так: «У нее повадки настоящей потаскухи. Я вынуждена была ее уволить — ради моих подрастающих сыновей, наших пациентов, а также ради репутации моего мужа». Может быть, Катарина Блюм участвовала и в аферах пресловутого д-ра Фенерна? (газета в свое время сообщала об этом деле.) Не был ли ее отец симулянтом? Почему ее брат стал уголовником? Все еще не выяснены: ее быстрая карьера и ее большие доходы. Теперь окончательно установлено: Катарина Блюм помогла бежать запятанному кровью Гёттену, она бесстыдно злоупотребила дружеским доверием и спонтанной готовностью помочь одного высокочтимого ученого и промышленника. Тем временем в газету поступили сообщения, которые достаточно убедительно доказывают: не она принимала визитера, а сама выступала в роли непрошенной визитерши, чтобы вынюхивать все на вилле. Таинственные автомобильные поездки Блюм теперь уже не так таинственны. Она без зазрения совести поставила на карту репутацию почтенного человека, его семейное счастье, его политическую карьеру (о ней газета уже неоднократно информировала читателей), безразличная к чувствам преданной супруги и четверых детей. Совершенно очевидно, что Блюм должна была по заданию одной левой группы разрушить карьеру Ш.

Неужто полиция, неужто прокуратура и впрямь поверят покрытому позором Гёттену, который выгораживает Блюм? газета в который раз поднимает вопрос: не слишком ли мягки наши методы допроса? Надо ли людски относиться к нелюдям?»

Под фотографиями Блорны, госпожи Блорна и виллы: «В этом доме Блюм самостоятельно, без надзора, пользуясь полным доверием д-ра Блорны и госпожи д-р Блорна, работала с семи утра до шестнадцати тридцати. Что могло здесь твориться, пока ничего не подозревающие Блорны занимались своей профессией? Или они не так уж ни о чем не подозревали? Их отношения с Блюм называют очень близкими, чуть ли не доверительными. Как рассказывали соседи газетным репортерам, можно говорить чуть ли не о дружеских отношениях. Мы опускаем здесь определенные намеки, так как они не относятся к делу. Или все-таки относятся? Какую роль играла госпожа д-р Гертруда Блорна, которая в анналах некоего технического института еще и по сей день известна как «красная Труда»? Каким образом Гёттен мог ускользнуть из квартиры Блюм, хотя полиция следовала за ним по пятам? Кто знал

до последней детали планы коммуникаций благоустроенного дома «Элегантная обитель у реки»? Госпожа Блорна. Продащица Герта Ш. и работница Клаудия Шт. единодушно сказали г а з е т е: «О, они танцевали друг с другом (имелись в виду Блюм и бандит Гёттен) так, словно знакомы целую вечность. Это не была случайная встреча, это было условленное свидание».

Когда потом при закрытых дверях порицали Байцменне за то, что он, зная о пребывании Гёттена на вилле Штройбледера еще с 23.30 вечера в четверг, почти сорок восемь часов оставлял его безнадзорным и тем самым рисковал, что тот снова сбежит, он засмеялся и сказал, что с полуночи четверга Гёттен не имел больше шанса бежать. Дом стоит в лесу, но совершенно идеально окружен охотничьими вышками, «как сторожевыми башнями», министр внутренних дел полностью в курсе и одобрил все меры; с вертолетом, который приземлился, разумеется, вне зоны слышимости, на охотничьи вышки сразу же направили специальную группу, а на следующее утро местную полицейскую службу секретнейшим порядком усилили двумя десятками сотрудников. Важно было установить, с кем у Гёттена будут контакты, и риск оправдал себя. Отмечено пять контактов. И, прежде чем арестовать Гёттена, надо было, конечно, установить личности этих пятерых, задержать и обыскать квартиры. За Гёттена взялись лишь тогда, когда обезвредили тех, с кем у него были контакты, а сам он, то ли по легкомыслию, то ли по наглости, повел себя так беспечно, что за ним можно было наблюдать снаружи. Кстати, некоторыми деталями мы обязаны репортерам г а з е т ы, принадлежащему ей издательству и связанным с этим концерном органам, у которых в ходу довольно свободные и не очень формальные методы добывания подробностей, остающихся скрытыми от официальных следователей. Так, например, выяснилось, что госпожа Вольтерсхайм столь же малобезупречна, как и госпожа Блорна. Вольтерсхайм — внебрачное дитя одной работницы, родившееся в 1930 году в Куире. Мать еще жива, но где она живет? В ГДР, причем отнюдь не вынужденно, а добровольно; ей неоднократно — первый раз в 1945-м, вторично в 1952-м, потом еще раз, в 1961-м, незадолго до постройки стены, — предлагали вернуться на родину, в Куир, где у нее есть домик и один морген земли. Но она отказалась, отказалась трижды, и все три раза наотрез. Еще интереснее отец

Вольтерсхайм, некий Лумм, тоже рабочий, к тому же член тогдашней КПГ, в 1932 году эмигрировал в Советский Союз и там якобы пропал без вести. Он, Байцменне, полагает, что в списках вермахта подобного рода пропавшие без вести не значатся.

Поскольку нельзя быть уверенным, что определенные, относительно ясные указания на взаимосвязи поступков и действий не потеряются или не истолкуются превратно, а то и воспримутся просто как намеки, да будет позволено здесь обратить внимание еще на одно обстоятельство: г а з е т а, вызвавшая посредством своего репортера Тётгеса, безусловно, преждевременную смерть матери Катарины, теперь в воскресной газете представила Катарину виновной в смерти собственной матери и, кроме того, обвинила ее — более или менее открыто — в краже ключа от второй виллы Штройбледера! Это следует еще раз подчеркнуть, поскольку тут нельзя быть полностью уверенными. Как нельзя быть уверенными, что правильно будут поняты все клеветнические, лживые, фальсифицированные утверждения г а з е т ы.

Стоит хотя бы на примере Блорны показать, как г а з е т а может подействовать даже на сравнительно разумного человека. В аристократическом предместье, где живут Блорны, воскресная газета, разумеется, не продается. Там бульварщину не читают. И случилось так, что Блорна, который решил, что все уже прошло, и только с некоторой опаской ждал разговора Катарины с Тётгесом, узнал о статье в воскресной газете лишь позднее, когда позвонил госпоже Вольтерсхайм. Вольтерсхайм же считала само собой разумеющимся, что Блорна уже прочел воскресную газету. Блорна — как, надеемся, уже понял читатель — был сердечным, искренне беспокоящимся о Катарине, но и трезвым человеком. Когда госпожа Вольтерсхайм прочитала ему по телефону соответствующие пассажи из воскресной газеты, он, как говорится, не поверил своим ушам; он попросил зачитать это еще раз, вынужден был поверить, и тут его — так это, кажется, называется — взорвало. Он кричал, орал, бегал по кухне в поисках пустой бутылки, нашел, кинулся с нею в гараж, где его, к счастью, перехватила жена и помешала ему изготовить зажигательную смесь, которой он хотел сначала взорвать редакцию г а з е т ы, а потом — «главную виллу» Штройбледера. Надо зримо представить себе:

человек с высшим образованием, сорока двух лет, в течение семи лет пользующийся уважением Людинга, почитаемый Штройбледером за свое трезвое и четкое ведение переговоров — в международном масштабе, будь то в Бразилии, в Саудовской Аравии или в Северной Ирландии, — то есть речь идет отнюдь не о провинциальном, а об истинно светском человеке, и вот *он-то* хочет изготовить зажигательную смесь!

Госпожа Блорна с ходу назвала это стихийно-мелкобуржуазно-романтическим анархизмом, стала подробно обсуждать ситуацию, как *обсуждают* больную или вызывающую боль часть тела, взялась сама за телефон, попросила госпожу Вольтерсхайм прочитать ей соответствующие пассажи, и надо сказать, она побледнела — даже она побледнела — и сделала нечто такое, что, возможно, еще хуже, чем то, к чему могла бы привести зажигательная смесь: она схватилась за телефон, позвонила Людингу (который в это время как раз сидел за своей клубничкой *со* взбитыми сливками и с ванильным мороженым) и сказала ему: «Вы свинья, вы просто жалкая свинья». Она, правда, не назвалась, но можно полагать, что все знакомые Блорны знали голос его жены, не очень-то ими любимой за ее меткие и острые замечания. Это, по мнению мужа, было уж слишком — он думал, что она звонила Штройбледеру. Ну, тут было еще много скандалов, между самими Блорнами, между Блорнами и другими, но, поскольку при сем никто не был убит, да будет позволено это обойти. Эти несущественные, хотя и закономерные, последствия публикации в о с к р е с н о й г а з е т ы лишь для того упоминаются, чтобы читатели знали, что даже образованные и утвердившие себя в жизни люди были возмущены и обдумывали насильственные меры самого ужасного свойства.

Как выяснилось, в это время — примерно около двенадцати — Катарина, пробыв неузнанной полтора часа в журналистском погребке «Золотая утка», чтобы, по-видимому, собрать там сведения о Тётгесе, отправилась к себе домой ждать Тётгеса, явившегося туда через четверть часа. Об «интервью», пожалуй, говорить не стоит. Известно, чем оно закончилось (см. с.8).

Чтобы проверить истинность ошеломительного — ошеломившего *всех* участников этой истории — сообщения священника из Геммельсбройха, будто отец Катарины был тайным коммунистом, Блорна поехал на один день в деревню. Поначалу священник подтвердил свое высказывание, признал, что г а з е т а процитировала его до-

словно и точно, доказательств для своего утверждения он представить не может, да и не хочет, сказал даже, они ему *не нужны*, поскольку он может положиться на свое чутье, а он просто нюхом чуял, что Блюм коммунист. Разъяснить, что это за чутье, он не захотел, в ответ на просьбу Блорны, раз уж он не хочет разъяснить, что это за чутье, все же сказать, *каков* запах коммуниста, так сказать, *чем* пахнет коммунист, священник не изъявил готовности откликнуться и — приходится, к сожалению, отметить — стал довольно невежлив, спросил у Блорны, католик ли он, а получив подтверждение, напомнил ему о долге послушания, чего Блорна не понял. С этого момента у него, конечно, возникли трудности в розысках сведений о Блюмах, судя по всему не слишком здесь любимых; он услышал немало дурного о матери Катарины, которая однажды действительно выпила в ризнице в обществе уволенного потом служки *одну* бутылку церковного вина, слышал немало дурного о брате Катарины, который вообще-то был сущим наказанием, но единственным обоснованием заявления о коммунизме отца Катарины была брошенная им крестьянину Шоймелю в 1949 году в одном из семи кабачков деревни фраза, якобы гласившая: «Социализм — это вовсе не самое скверное». Больше раздобыть ничего не удалось. Единственный результат злополучных розысков в деревне состоял в том, что к их концу Блорна сам был не то чтобы прямо обруган, но, во всяком случае, назван коммунистом, причем — что его особенно больно задело — это сделала дама, которая сперва в известной мере ему помогала, почти даже симпатизировала, — пенсионерка-учительница Эльма Цубрингер; прощаясь, она насмешливо улыбнулась, даже подмигнула ему и сказала: «Почему вы не признаетесь, что сами один из этих, а уж ваша жена тем более?»

51

К сожалению, нельзя умолчать о некоторых актах насилия, имевших место в период, когда Блорна готовился к процессу против Катарины. Самую большую ошибку он совершил, когда согласился по просьбе Катарины взять на себя защиту также и Гёттена и все время пытался добиться для обоих разрешения на свидание, настаивая на том, что они обручены. Будто бы обручение состоялось в тот самый вечер двадцатого февраля и в последующую ночь. И т. д. и т. д. Можно себе представить, чего только не написала г а з е т а о нем, о Гёттене, о Катарине, о госпоже Блорна. Здесь незачем это упоминать или цитировать.

Определенные нарушения или смену уровня следует предпринимать лишь в том случае, когда это необходимо, а в данном случае такой необходимости нет, поскольку тем временем стало хорошо известно, что представляет собой г а з е т а. Был распушен слух, будто Блорна намерен развестись с женой, слух, который ничего, ну совершенно ничего общего с истиной не имел, но тем не менее он посеял между супругами известное недоверие. Утверждалось, будто его финансовые дела неважны, что плохо, ибо верно. Он и впрямь многовато взял на себя, поскольку, кроме всего прочего, перенял своего рода опеку над квартирой Катарини, которую трудно было сдать внаем или продать, так как она считалась «запятнанной кровью». Во всяком случае, цена ее упала, и Блорне пришлось разом выплатить полностью очередной взнос, проценты и т. д. Появились даже первые признаки того, что фирма «Хафтекс», ведавшая жилым комплексом «Элегантная обитель у реки», взвешивала, не подать ли на Катарину Блюм жалобу с требованием возместить убытки в связи с причинением ущерба наемной, торговой и общественной ценности комплекса. Как видим, неприятности, сплошные неприятности. Попытка уволить госпожу Блорна из архитектурной фирмы за обман доверия, состоящий в ознакомлении Катарини с субструктурой жилого комплекса, в первой инстанции, правда, была отклонена, но никто не знает, что решат вторая и третья инстанции. И еще: вторая машина уже продана, а недавно в г а з е т е была фотография в самом деле довольно элегантного «супердрандулета» Блорны с подписью: «Когда же красному адвокату придется пересесть в машину маленького человека?»

52

Конечно, отношения Блорны с «Люштрой» (Людинг-Штройбледер-Компания) тоже нарушены, если не прерваны. Речь теперь ведется только о «завершении дел». Правда, недавно Штройбледер сообщил по телефону: «Умереть с голоду мы вам не дадим». Блорну удивило, что вместо «тебе» Штройбледер сказал «вам». Он еще, разумеется, работает на «Люштру» и «Хафтекс», но не в международной сфере и даже не в национальной, а лишь изредка в региональной, чаще всего в локальной, а это означает, что ему приходится биться с жалкими нарушителями договоров и кляузниками, которые предъявляют иски, скажем, на то, что им обещали облицовку из мрамора, а сделали из зольнхофенского сланца, или с типами, которые, если им обещали три слоя шлифовального лака на двери

ванной, ножом отскребают краску, нанимают экспертов, устанавливающих, что нанесено только два слоя; протекающие краны в ванной, попорченные мусоропроводы, используемые как предлог не платить обусловленные договором деньги, — вот те дела, которые ему теперь поручают вести, в то время как раньше он, если не постоянно, то довольно часто, курсировал между Буэнос-Айресом и Персеполисом, чтобы участвовать в обсуждении больших проектов. На военной службе это называют разжалованием, связанным чаще всего с намерением унижить. Следствие: язвы желудка еще нет, но желудок Блорны уже дает о себе знать. На беду, он еще предпринял в Кольфорстенхайме собственные розыски, чтобы узнать у местного мастера полиции, торчал ли ключ снаружи или внутри, когда арестовывали Гёттена, или обнаружены признаки того, что Гёттен вломился. К чему все, раз дознание закончено? Это — следует отметить — никоим образом не лечит язвы желудка, хотя мастер полиции Херманс был очень любезен, никоим образом не заподозрил его в коммунизме, но настоятельно посоветовал ему не впутываться в это дело. Единственное утешение Блорны: жена становится все более милой с ним, острый язык она, правда, сохранила, но обращает его уже не против мужа, а только против других, хотя и не против всех. Ее план продать виллу, выкупить квартиру Катарины, переехать туда не осуществился пока из-за величины квартиры, то есть из-за ее малости, поскольку Блорна хочет отказаться от своей городской конторы и завершить дела дома; он, слывший либералом с повадками бонвивана, приятный, жизнерадостный коллега, чьи вечера охотно посещались, начал обнаруживать черты аскета, пренебрегать одеждой, которой всегда придавал большое значение, и так как он пренебрегает ею *действительно*, а не на модный манер, иные коллеги утверждают, что он даже перестал следить за собой и от него пахнет. Так что на новую карьеру надежды мало, ибо в самом деле — здесь ничего, совершенно ничего не должно быть утаено — запах его тела уже не прежний, не запах человека, утром бодро устремляющегося под душ, обильно потребляющего мыло, дезодоранты и туалетную воду. Короче говоря: с ним происходит существенная перемена. Его друзья — а у него еще есть несколько друзей, в их числе Гах, с которым ему, кстати, приходится иметь дело в связи с Людвигом Гёттеном и Катариной Блюм, — его друзья обеспокоены, тем более что его ярость — скажем, против г а з е т ы, то и дело одаряющей его небольшими корреспонденциями, — уже не прорывается наружу, а, по всей видимости, проглатывается им.

Беспокойство его друзей доходит до того, что они просили Трудю Блорна незаметно проверить, не обзавелся ли Блорна оружием или не изготавливает ли он взрывной механизм, ибо застреленный Тётгес нашел преемника и продолжателя по имени Эгинхард Темплер: этому Темплеру удалось сфотографировать Блорну при входе в частный ломбард, затем, сфотографировав его, по-видимому, через витрину, дать читателям г а з е т ы представление о переговорах между Блорной и владельцем ломбарда: обсуждалась залоговая стоимость какого-то кольца, которое владелец ломбарда рассматривал в лупу. Подпись под снимком: «Действительно ли иссякли красные источники, или же здесь инсценируется нужда?»

Самая большая забота Блорны — уговорить Катарину сказать на суде, что решение отомстить Тётгесу — причем никоим образом не с намерением убить, а только напугать — она приняла лишь в воскресенье утром. Правда, в субботу, приглашая его на интервью, она намеревалась недвусмысленно высказать ему свое мнение и обратить его внимание на то, что он натворил с нею и ее матерью, но убивать она не собиралась и в воскресенье, даже после прочтения статьи в в о с к р е с н о й г а з е т е. Следовало избежать впечатления, будто Катарина целыми днями планировала убийство и планомерно его осуществила. Он пытается объяснить Катарине, утверждающей, что уже после прочтения первой статьи у нее возникли *мысли об убийстве*, что у многих, в том числе и у него, иной раз возникают мысли об убийстве, но есть разница между мыслями об убийстве и запланированным убийством. И еще его беспокоит, что Катарина до сих пор не чувствует раскаяния и потому не сможет его обнаружить и перед судом. Она вовсе не удручена, а в какой-то мере даже счастлива, что живет «в таких же условиях, как и милый Людвиг». Она считается образцовой заключенной, работает на кухне, и, если начало судебного разбирательства отложится, ее переведут в хозяйственный отдел (экономический), но там, как удалось узнать, ее ждут вовсе не с восторгом, а с опаской — как в аппарате управления, так и в среде арестантов — из-за ее репутации честного человека, и слухи о том, что весь срок своего заключения — а предполагают, что обвинение потребует пятнадцать лет, но получит она от восьми до десяти лет, — Катарина проработает по хозяйственному ведомству, распространились по всем тюрьмам как страшное известие. Вот и видно: честность

в сочетании с умением планировать нигде не желательна, даже в тюрьмах и даже в управлении.

54

Как доверительно сообщил Гах Блорне, обвинение Гёттена в убийстве, вероятно, нельзя будет доказать, и потому оно не будет и предъявлено. Однако считается доказанным, что он не только дезертировал из бундесвера, но и нанес значительный ущерб (также и материальный, не один лишь моральный) этому благословенному органу. Не ограбил банк, а полностью обчистил сейф, содержащий жалованье для военнослужащих двух полков и значительные денежные запасы; кроме того, подделал балансовую ведомость и украл оружие. Ну, надо полагать, он тоже получит от восьми до десяти лет. Таким образом, он выйдет на свободу лет тридцати четырех, Катарина — тридцати пяти, и она в самом деле строит планы на будущее: она рассчитывает, что ко времени освобождения ее капитал даст значительные проценты и тогда она сможет «где-нибудь, конечно не здесь», открыть «ресторан с кулинарией». Вопрос, может ли она считаться невестой Гёттена, вероятно, будет решаться не на более высоком, а на самом высоком уровне. Соответствующие ходатайства составлены и совершают свой долгий путь по инстанциям. Кстати, телефонные контакты, которые Гёттен установил с виллы Штройбледера, ведут только к служащим бундесвера или их женам, среди них офицеры и офицерские жены. Скандал, видимо, будет среднего размера.

55

В то время как Катарина, ограниченная лишь в свободе, почти безмятежно глядит на свое будущее, Эльза Вольтерсхайм впадает во все большее ожесточение. Ее очень задело, что бросили тень на ее мать и покойного отца, считавшегося жертвой сталинизма. У Эльзы Вольтерсхайм можно обнаружить усилившиеся общественно враждебные тенденции, смягчить которые не удастся даже Конраду Байтерсу. Поскольку Эльза специализировалась главным образом по части холодных закусок — как в области калькуляции, так и приготовления и контроля, — ее агрессивность обращается главным образом на гостей званых вечеров, будь то иностранные или отечественные журналисты, промышленники, профсоюзные деятели,

банкиры или высокопоставленные чиновники. «Иной раз,— сказала она на днях Блорне,— мне приходится силком сдерживать себя, чтобы не швырнуть какому-нибудь субчику на фрак миску с картофельным салатом или опрокинуть какой-нибудь потаскухе в декольте поднос с ломтиками семги — пусть они наконец узнают, что такое страх. Представили бы они себе, как выглядят со стороны, с нашей стороны: как они стоят с разинутыми ртами, лучше сказать — пастями, и как сразу толпой набрасываются, конечно же, на бутерброды с икрой, а то еще есть типы — даже миллионеры или жены миллионеров,— которые набивают себе карманы сигаретами, спичками и печеньем. А в другой раз они еще приносят какие-то пластмассовые сосуды, в которых утаскивают с собой кофе; и все это, все-все ведь как-то оплачивается из наших налогов, так или иначе. Есть типы, которые экономят на завтраке или обеде и, как коршуны, накидываются на закуски, но я, конечно, не хотела бы обидеть коршунов».

56

Из явных актов насилия известным стал пока один, но он привлек к себе, к сожалению, довольно большое внимание общественности. В связи с открытием выставки художника Фредерика Ле Боша, чьим меценатом считался Блорна, последний впервые снова встретился со Штройбледером, который ринулся к нему с сияющим лицом, а когда Блорна не подал ему руки, Штройбледер сам буквально схватил руку Блорны и зашептал ему: «Господи, не принимай же ты все это так близко к сердцу, мы не дадим вам пропасть, вот только ты, к сожалению, сам пропадаешь». К сожалению, истины ради надо сообщить, что в этот момент Блорна действительно дал Штройбледеру по м... Скажем сразу, чтобы сразу же и забыть: потекла кровь, кровь из носа Штройбледера, по разным наблюдениям — от четырех до семи капель, но, что еще хуже, Штройбледер отшатнулся, однако тут же сказал: «Я прощаю тебе, прощаю тебе все — ввиду твоего состояния». И так как это замечание почему-то вызвало крайнее раздражение Блорны, произошло нечто такое, что очевидцы называли «рукопашной схваткой», и как это всегда бывает, когда люди типа Штройбледера и Блорны появляются на публике, здесь же оказался фоторепортер г а з е т ы, некий Коттензель, преемник застреленного Шённера, и не стоит, наверное, обижаться на г а з е т у, тем более уже зная ее характер, за то, что она опублико-

вала фотографию этой «рукопашной схватки» с надписью: «Нападение левого адвоката на консервативного политика». Разумеется, лишь на следующее утро. Во время выставки произошла еще одна встреча — между Мод Штройбледер и Трудой Блорна. «Можешь быть уверена в моем сочувствии, дорогая Труда», в ответ на что Труда Б. сказала Мод Ш.: «Засунь быстренько свое сочувствие обратно в холодильник, где хранятся все твои чувства». Когда же Мод Ш. снова предложила ей прощение, добросердечие, сочувствие, даже чуть ли не любовь со словами: «Ничто, абсолютно ничто не в силах уменьшить мою симпатию, даже твои злые выпады», Труда Б. ответила словами, привести которые здесь не представляется возможным, о них можно сообщить лишь в реферативной форме, они не были дамскими, эти слова, какими Труда Б. намекала на многочисленные попытки Штройбледера к сближению и среди прочего — в нарушение правила о неразглашении доверенных тайн, которое распространяется и на жену адвоката,— упомянула кольцо, письма и ключ, который «этот постоянно получавший от ворот поворот ухажер оставил в некоей квартире». Но тут дам разлучил Фредерик Ле Бош, который, сохраняя присутствие духа, не упустил возможности подхватить кровь Штройбледера промокательной бумажкой и переработать ее — как он выразился — в «One minute piece of art»¹, наименовал это «Концом многолетней мужской дружбы» и, подписав, подарил не Штройбледеру, а Блорне со словами: «Можешь это сплавить, чтобы пополнить немножко свою кассу». По этому, упомянутому последним, факту, равно как и по описанным вначале актам насилия, можно судить, что искусство все-таки еще несет социальную функцию.

57

Конечно, в высшей степени огорчительно, что к концу сообщается так мало гармоничного и так мало остается надежды на гармонию. Получилась не интеграция, а конфронтация. Конечно, можно позволить себе задаться вопросом: как так или почему, собственно? Молодая женщина в хорошем, почти веселом настроении отправляется на мирный танцевальный вечер, а спустя четыре дня она — поскольку здесь должно иметь место не осуждение, а только сообщение, то и сообщать следует одни лишь факты, — становится убийцей — собственно говоря, если

¹ Экспромт (англ.).

вдуматься, только из-за газетных сообщений. Возникает раздражение, напряжение, а потом и рукопашная схватка между двумя очень-очень давними друзьями. Язвительные реплики их жен. Отвергнутое сочувствие, даже отвергнутая любовь. Крайне безотрадные явления. Веселый, общительный человек, любящий жизнь, путешествия, комфорт, настолько пренебрегает собой, что начинает источать запах! Даже запах изо рта у него учуял. Он дает объявление о продаже своей виллы, обращается в ломбард. Его жена осматривается «в поисках чего-то другого», так как уверена, что вторая инстанция лишит ее места; она даже готова, эта одаренная женщина готова поступить в крупную мебельную фирму в качестве продавщицы разрядом повыше, с титулом «консультант по интерьеру», но там ей заявляют, что «круги, которые обычно у нас покупают,— это те круги, сударыня, с которыми вы рассорились». Короче говоря, плохо дело. Прокурор Гах уже доверительно шепнул друзьям то, чего самому Блорне сказать еще не решился: по всей вероятности, его как защитника отклонят — ввиду его очевидной пристрастности. Что будет дальше, чем это кончится? Что станет с Блорной, если он лишится возможности навещать Катарину и — не стоит больше скрывать! — держать ее за ручку. Нет сомнений: он ее любит, она его — нет, у него нет ни малейшей надежды, ибо все, все отдано ее «милому Людвигу»! И надо добавить, что «держат за ручку» означает здесь действие одностороннее, оно заключается лишь в том, что, когда Катарина передает ему документы, или записи, или документальные записи, он задерживает ее руку несколько дольше — возможно, на три, четыре, ну, не больше пяти десятых секунды,— чем принято. Черт возьми, ну как тут создашь гармонию, если даже его горячее расположение к Катарине не может заставить его — скажем же это наконец — несколько чаще мыться. Его не утешает даже тот факт, что он, он один, установил происхождение оружия, которым было совершено преступление, чего не удалось ни Байцменне, ни Мёдингу, ни их помощникам. Ну, «установил», возможно, и не совсем точное слово, поскольку имеется в виду добровольное признание Конрада Байгерса, который как-то заметил, что он старый нацист и, возможно, только благодаря этому на него до сих пор не обращали внимания. Был он в свое время политическим руководителем в Куире и кое-что смог тогда сделать для матери Эльзы Вольтерсхайм, ну а пистолет — это старый служебный пистолет, который он спрятал, но по глупости однажды показал Эльзе и Катарине; как-то они даже отправи-

лись втроем в лес и устроили там стрелковые упражнения: Катарина оказалась очень хорошим стрелком, она объяснила, что еще молодой девушкой прислуживала за столом в кружке стрелков и ей иногда позволяли палить из ружья. А в ту субботу вечером она попросила у него ключ от квартиры, сказав, что ей хочется побыть одной, ее же квартира для нее мертва, мертва... однако в субботу она все же осталась у Эльзы и, должно быть, пистолет взяла в его квартире в воскресенье, когда после завтрака и чтения воскресной газеты поехала, переодевшись бедуинкой, в этот треклятый журналистский кабак.

Под конец остается сообщить все-таки кое-что до некоторой степени отрадное: Катарина рассказала Блорне, как было совершено преступление, рассказала также, как она провела те семь или шесть с половиной часов между убийством и ее появлением у Мёдингга. Поскольку Катарина все изложила письменно и передала это Блорне для использования на процессе, есть счастливая возможность процитировать это описание дословно.

«В журналистский погребок я пошла лишь затем, чтобы поглядеть на него. Мне хотелось знать, как такой человек выглядит, какие у него повадки, как он говорит, пьет, танцует — этот человек, который разрушил мою жизнь. Да, я сначала зашла в квартиру Конрада и взяла пистолет, даже сама зарядила его. Когда мы были однажды в лесу, я попросила показать, как это делается. В погребке я прождала полтора или два часа, но он не пришел. Я решила: если он окажется уж очень противным, то не пойду давать ему интервью, и если бы я прежде увидела его, то и не пошла бы. Но он не пришел в кабачок. Чтобы избежать приставаний, я попросила хозяина — его зовут Петер Краффлун, мы вместе иногда работали по найму, он был обер-кельнером, — я попросила его разрешить мне поработать за стойкой. Петер, конечно, знал, что про меня писала газета, он обещал подать мне знак, если появится Тётгес. Время-то карнавальное, и меня несколько раз приглашали танцевать, но Тётгес все не появлялся, и я занервничала, так как не хотела встретиться с ним неподготовленной. Ну, и в двенадцать я поехала домой, с души воротило, так изгажена и измарана была квартира. Но ждать пришлось всего несколько минут, пока позвонили в дверь, — как раз хватило времени отвести предохранитель пистолета и положить его наготове в сумочку. И тут позвонили, я открыла, он стоял уже у двери, я же

думала, что он позвонил снизу и у меня будет еще несколько минут, но он поднялся на лифте, и вот он стоял передо мной — я испугалась. Я сразу увидела, что он свинья, настоящая свинья. К тому же красавчик. Таких обычно называют красавчиками. Да вы ведь видели фотографии. Он сказал: «Ну, Цветочек¹, чем мы сейчас займемся?» Я не произнесла ни слова, отступила в комнату, он вошел следом за мной и сказал: «Ну что ты смотришь так растерянно, мой Цветик, я предлагаю сперва поразвлечься». Тем временем я уже взялась за сумочку, а он подступился к моему платью, и я подумала: поразвлечься — что ж, пожалуйста, вынула пистолет и тут же выстрелила в него. Два раза, три раза, четыре. Не знаю точно — сколько. Вы можете прочесть об этом в полицейском отчете. Не думайте, что для меня в новинку, чтобы мужчина хватался за мое платье, — если вы с тринадцати лет, а то и раньше, работаете прислугой, вы кое-чего насмотрелись. Но *этот* парень, да еще и «поразвлечься», и я подумала: хорошо, сейчас я тебя развлеку. Он, конечно, не ожидал такого и с полсекунды так удивленно смотрел на меня, ну прямо как в кино, когда в кого-то вдруг неожиданно стреляют. Потом он упал, я думаю, он был уже мертвый. Я бросила около него пистолет и вышла, спустилась на лифте вниз и вернулась в кабачок; Петер удивился, ведь я отсутствовала едва ли полчаса. Я снова встала за стойку, больше не танцевала и беспрестанно думала: это же неправда; но я знала, что это правда. Петер иногда подходил ко мне и говорил: «Сегодня он не придет, этот твой приятель», а я отвечала: «Похоже на то». И напускала на себя безразличие. До четырех я наливала водку, цедила пиво, открывала бутылки с шампанским и подавала рольмопсы. Потом ушла, не попрощавшись с Петером, сперва зашла в церковь поблизости, с полчаса там сидела и думала о матери, о проклятой, жалкой жизни, выпавшей ей на долю, и об отце, который вечно, вечно брюзжал, брюзжал на государство и церковь, на власти и чиновников, на офицеров и всех поносил, но когда ему приходилось с кем-нибудь из них иметь дело, он пресмыкался, чуть ли не повизгивал от раболепства. И о муже, Бреттло, о тех отвратительных гадостях, которые он рассказал Тётгесу, и, конечно, о брате, который всегда, всегда оказывался тут как тут, стоило мне заработать несколько марок, и выманивал их у меня для какой-нибудь ерунды, на одежду, или мотоцикл, или игорные салоны; и, конечно, о священнике, который всегда называл меня в

¹ Фамилия Блом созвучна слову Blume — цветок.

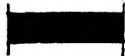
школе «нашей красноватой Катринхен», а я понятия не имела, что он хочет этим сказать, и весь класс хохотал, потому что я и впрямь тут же краснела. Да. И, конечно же, о Людвиге. Потом я ушла из церкви и заглянула в первое попавшееся кино, но не осталась там, опять пошла в церковь, потому что в карнавальное воскресенье это было единственное место, где можно обрести немного покоя. Я думала, конечно, и о застреленном там, в моей квартире. Без раскаяния, без сожаления. Он ведь хотел поразвлечься, и я устроила развлечение, не так ли? У меня мелькнула мысль, не тот ли это парень, который звонил мне ночью и надоедал также бедной Эльзе. Я подумала: да это же тот самый голос, надо было позволить ему еще немного поболтать, чтобы убедиться; но что бы мне это дало? Потом мне захотелось крепкого кофе, и я пошла в кафе Бекеринга, не в зал, а на кухню, потому что я знаю Кете Бекеринг, жену владельца, по школе домоводства. Кете была очень мила со мной, хотя ее ждало довольно много дел. Она дала мне чашку собственного кофе, который заваривает правильно, совсем на бабушкин лад, заливая водой размолотые зерна. Но потом она завела разговор о всей этой чуши из г а з е т ы, мило, но так, будто все-таки немножко верит ей, да и откуда людям знать, что все сплошная ложь. Я попробовала ей это объяснить, но она не поняла, а только подмигнула и сказала: «А ты, стало быть, в самом деле любишь этого парня», и я сказала: «Да». Потом я поблагодарила за кофе, на улице взяла такси и поехала к этому Мёдингу, который был тогда так мил со мной».

ПОД КОНВОЕМ ЗАБОТЫ



Перевод М. Рудницкого

РОМАН



DIE FÜRSORGLICHE BELAGERUNG

Персонажи и поступки, события и ситуации, проблемы и конфликты созданы в этом романе исключительно прихотью авторского вымысла. Если же они хоть в чем-то обнаруживают сходство, пусть даже отдаленное, с так называемой действительностью, автор в этом — как всегда — неповиновен.

Моим сыновьям Раймунду, Рене и Винсенту — с глубокой признательностью

I

В день закрытия съезда, перед самыми выборами, на последнем, решающем заседании страх внезапно исчез. На смену страху пришло любопытство. Неизбежные в таких случаях интервью он давал уже почти весело, сам изумляясь, сколь стремительно пухнет его должностной словарь: «прирост», «взлет», «примирение», «автономия тарифов», «баланс взаимных интересов», «опыт прошлого», «виды на будущее», «синхронность включения в общий старт», — и всему этому он даже успевал сообщить личный оттенок, деликатно дав понять, что и сам стоял у истоков возрождения демократической прессы, осознает все преимущества, но и опасности консолидации, а заодно и неопределимую роль рабочих, да и профсоюзов; словом, если и борьба, то не друг против друга, а только вместе. Кое-что из сказанного даже на его слух звучало почти правдоподобно, если бы не беспощадные, скальпельные выкладки Рольфа и сумрачные пророчества Кортшеде — при всей несовместимости отправных посылок они всегда казались ему гораздо убедительней. Забавы ради он расцвечивал свои монологи блесками историко-культурной и даже искусствоведческой эрудиции: соборы и Менцель, Бисмарк и Ван Гог, чья социальная, а в сердцевине, возможно, и социалистическая страстность, чей миссионерский пыл не просто и не сразу, но в конечном счете воплотились в его искусстве; Ван Гог и Бисмарк как современники; оброненные мельком, как бы случайно, эти раздумчивые сентенции внесли в его речь новые, неожиданные краски, ведь от него ждали рассуждений об экономике, политике и прочих сугубо прозаических материях. Он же вдруг вновь ощутил в себе ту, лишь на первый взгляд врожденную, способность элегантно импровизиро-

вать, которая так выручала его еще лет сорок назад на семинаре у Труклера, верой и правдой служила ему и после на бесчисленных редакционных совещаниях, но никогда прежде не осеняла перед столь обширной аудиторией.

Слова слетали с языка сами собой, почти автоматически образуя фразы, речевые блоки и не мешая думать о своем — о том, когда же и почему внезапно улетучился страх: наверно, в тот миг, когда он понял, что выбор, вероятно, падет на него и, значит, его «з а ф и н д и л я т» на самую верхотуру, где страх вообще непереносим, и вот, видимо, тогда, размышлял он, давая очередное — которое по счету?— интервью, он вдруг нутром ощутил, что от страха лучше избавиться вовсе. Лучше уж никакого страха — только любопытство; и вот тягостный, месяцами длившийся страх — за свою жизнь, за жизнь Кэте, Сабины, Кит — разом исчез. Все равно «те» его «достанут», наверно, даже прикончат, весь вопрос: КТО и КАК, вот что теперь будоражило любопытство, и даже его чувства к Сабине обрели иную окраску — забота, а не страх. Да, у него есть все основания позаботиться о дочери.

За последние месяцы страх незаметно вошел в привычку, стал чем-то вроде инстинктивной техники безопасности. В душе не оставалось места для заботы; а теперь если и страх, то не перед чем-то, а за кого-то: за Сабину и Герберта, за Кэте с ее глупостями (за нее, правда, меньше всего), а еще — это его удивило — за Рольфа. Неумеренная набожность Сабины давно его беспокоит, хотя втайне вызывает и зависть, а этот Фишер, его зятек, на подростковое обаяние которого все они «купились», — не то, даже Кэте признала, что он «типичное не то», он ей не пара. Деляческая сноровка, с которой он запродаст Сабину и собственного ребенка, теперь-то всем им раскрыла глаза. А над Кэте по части денег надо бы попросту учредить опеку; она раздает всем кому не лень да и на себя не скупится, из-за чего рано или поздно влипнет в крупные неприятности, если, чего доброго, уже не влипла.

Вот о чем он думал в жарком свете юпитеров, косясь на микрофоны, которые, точно ручные гранаты, придвигались все ближе к лицу; Амплангер безупречно все подготовил: очередность интервью, кофе и минеральная, а в перерывах неизменное опрыскивание одеколоном — все катилось само собой, в два ряда, и даже каверзные вопросы о семье не выводили его из равновесия. И пока на полосе «задних мыслей» он перебарывал в себе «технику безопасности», стараясь вытеснить страх теплом заботы,

на другой, внешней полосе, отвечая на беспардонные распросы о Рольфе, Веронике, Хольгере и даже Генрихе Беверло (интересно, они уже пронюхали, что у него есть и второй внук по имени Хольгер?), он тем временем размышлял: нельзя ли назвать то, что он испытывает, чувством «веселой озабоченности»? Он выразил искреннее и горькое сожаление о Веронике и ее участи, не позволил отмежевать себя от Рольфа, хотя наводящими вопросами его усиленно к этому подталкивали, признал лишь, что сын наделал немало ошибок, подчеркнув, однако, что за ошибки эти Рольф понес наказание, не скрыл и серьезной, глубокой тревоги о судьбе Хольгера (старшего, ибо о Хольгере-младшем им, судя по всему, пока ничего не известно).

Эта двурядность мыслей,— пожалуй, ее можно назвать и шизофренией на почве контактов с журналистами — даже стала слегка его забавлять: оказывается, вовсе не трудно отстреливаться холостыми словесными очередями от ехидных, с подковыркой, вопросов, а думать при этом о Сабине, которая в последнее время сама не своя (кто-то смутил ее душу, не иначе — Кольшрёдер) и с тем большей истовостью ищет утешения у Мадонны. Зато куда трудней другое: вверяя микрофонам свой, только с виду непринужденный, прореженный интеллигентным покашливанием речитатив, прощаться с мечтой, которая столько лет его согревала: мечтой увидеть Кит, девушкой или молоденькой женщиной, в его замке, полюбоваться, как она бродит по тропинкам парка, заглядывает в оранжерею, кормит уток у пруда,— нет сил оборвать этот фильм, отрешиться от этих кадров своей мечты, отказаться от любимой игры, в которую, если верить убийственным прорицаниям Кортшеде, ему не суждено сыграть никогда; не то что девушкой — даже десятилетней девчушкой Кит не пройдет по комнатам его замка, не будет в них жить, этому не бывать, теперь уже не бывать.

Где-то там, за слепящей завесой юпитеров, съезд доживал последние часы: наспех опрокидывались прощальные «посошки», шоферы тащили к машинам чемоданы, члены правления прихлебывали остывший кофе, сопровождая сдержанными хлопками его очередное, как они считали, особенно важное и особенно удачное интервью,— и тут Плифгер, его предшественник, не смог отказать себе в прощальном жесте: подскочил к нему в перерыве и с обычной своей снисходительностью (скорее чисто профессиональной, вовсе не адресованной лично ему — снисходительностью стального магната к «какой-то там

прессе)), изображая крайнее, почти оскорбительное изумление — будто раньше все они держали его за престарелого дурачка, — прямо-таки почти сердечно пожал руку и похвалил:

— Да вы отлично справляетесь, дорогой Тольм, просто бесподобно! Нам остается только еще раз поздравить себя с таким замечательным избранником!

А Климм, человек Цуммерлинга, прикинулся, будто так ошарашен его, Тольма, «краснобайством», что это и впрямь смахивало на оскорбление.

Действительно ли он прочел в лице Блямпа что-то вроде зависти? Во всяком случае, Блямп был поражен, это точно — легкостью, с которой он выполняет свои новые обязанности, его почти бесшабашным весельем в тот час, когда он, Блямп, рассчитывал позабавиться его слабостью, затравленным видом, жалким лепетом, — ведь ему наконец-то удалось «зафиндильить» (он так прямо всем и говорил) Тольма «куда следует», на самый уязвимый пост, в самую опасную точку, и никто не мог предположить, что новая должность окажется ему настолько к лицу, что он, вопреки ожиданиям, так уверенно справится с новой ролью, подумать только, именно он, Фриц Тольм, который в последнее время сдает на глазах, а идеологически всегда был не слишком на высоте, этот слабак и неженка, «трость, ветром колеблемая», смутьян и сомнительный элемент в их железной команде, к тому же «как-то там», непонятно как, но по семейной линии, повязанный с «теми», — словом, идеальная в своей уязвимости мишень.

Да, несомненно: Блямп был поражен и, наверно, втайне усомнился, уж не дал ли он маху, предложив его кандидатуру, подбросив его фамилию в усталый гомон обалдевшего от бесплодных трехчасовых дебатов собрания — после того, как столько других кандидатур были отведены либо взяли самоотвод; именно его, Фрица Тольма.

А лимузины все подкатывали и подкатывали к подъезду, в них загружались чемоданы, взад-вперед носились водители, охранники в штатском спешили занять свои посты, телевизионщики и радиокорреспонденты укладывали аппаратуру, позвякивала посуда, пустые бутылки рядком составлялись в ящики, и в эту минуту, когда пресса, урвав свое, уже готова была от него отступить, он вдруг понял, что держится все-таки не так легко и раскованно, говорит не так свободно, как хотелось бы, а мысли движутся по двум полосам не так гладко, не параллельно, иной раз все же задевают друг дружку, — а коли так, он рискнет закурить: с чувством, с толком, но и почти с жадностью, на

секунду вновь ощутив себя молодым, как в былые годы, когда он — студентом после особенно нудного семинара или молодым офицером после особенно удачного отступления — с наслаждением делал первую затяжку; и смотри-ка, какой-то шкет, мальчишка-фотограф, все еще не уставший караулить свою удачу, тут же его подловил и отщелкал — как он достает из кармана мятую пачку сигарет (вспышка), извлекает оттуда белоснежную бумажную трубочку (снова вспышка), собственноручно, не дожидаясь, пока кто-нибудь подскочит с зажигалкой, чиркает спичкой (еще один блиц), и у него мелькнула мысль (уж настолько он разбирается в журналистике, уж этому-то даже он успел научиться, хоть многие, почти все, привыкли его попрекать: мол, «при деле сидел, за делом глядел, а дела не понимает»), но тут он нутром почуял, что этими снимками карьера пареньку обеспечена: седовласый, почтенный старикан, известный своей вальяжной обходительностью и в то же время чуточку легкомысленный, словно до настоящей солидности, когда человек действительно «имеет вес», ему самой малости недостает, — вот он, в полный рост, прическа слегка растрепалась, одет с иголки и все же с налетом небрежности, стоит как ни в чем не бывало, будто ему и вправду нечего бояться, и даже попыхивает сигаретой, точно какой-нибудь юнец, а не новоиспеченный президент, и в руках у него мятая пачка сигарет и спички в потрепанной упаковке, — стоит с победным видом, хотя на самом деле он побежденный, а истинный победитель — Блямп.

Ну вот Блямп и определил его туда, куда всегда хотел, — на самый верх, где у него не будет ни сна, ни покоя, ни передышки, вообще никакой личной жизни, где, у всех на виду, его попросту затравят угрозами и доконают мерами безопасности, — а он за каких-нибудь два часа открыл в себе спасительную двурядность мыслей и именно теперь, вопреки всему, снова обрел личную жизнь, детей и внуков, обрел Кэте и уже не страшится речей, которые ему нужно будет произносить, пресс-конференций, которые его заставят вести, интервью, которые ему придется давать. Вон, оказывается, сколько еще в нем силенок, а он и не знал, вон какие обоймы мыслей, которых он еще не высказал, мнений, от которых не терпится освободиться, гладких формулировок, заготовленных на все случаи жизни, — пусть спрашивают что угодно, он не боится этих писак, ни нахальных, ни подобострастных, ни даже нахально-подобострастных, и хоть про него говорят, что он при деле сидел, за делом глядел, а дела не понимает, журналистскую шатию он знает как облупленную и нахалов

всегда предпочитал подхалимам — как-никак он тридцать два года шеф «Листка» и повидал их достаточно, видел, как они приходят и уходят, нагляделся на их взлеты и падения и, между прочим, всегда умел с ними ладить, хоть так и не смог понять, что же такое журналистика, сколько ни жужжали ему на разных конференциях, что «жур» означает «день», до него только сейчас дошло, что это значит: целый день ради злобы дня мило болтать перед микрофонами и камерами под скрип заточенных карандашей все, что катится по полосе «передних мыслей», — вот чему научился он в те минуты, когда страх за собственную жизнь внезапно его отпустил.

А ведь среди кандидатов — вечная история — опять называли и Кортшеде, но он на сей раз даже не приехал, и опять посыпались намеки на его «наклонности», из-за которых он якобы непригоден для такого поста, «совершенно непригоден, хотя способностей его никто не оспаривает».

Вот так и получилось, что Блямп все-таки вышел на него, а Амплангер опять остался в тени; ох уж этот Блямп с его мерзкой физиономией, прямо «рожа» да и только, с его солдафонскими замашками, постаревший, но не утративший молодецкой прыти, никакой не сердцеед, обыкновенный бабник. Любопытно было впервые за тридцать пять лет видеть Блямпа почти смущенным, во всяком случае в растерянности: уважительный кивок, а потом все-таки удар исподтишка, да какой внезапный:

— Значит, у Фишеров пополнение? Только из газет и узнаешь: одна в спортивной хронике что-нибудь тиснет, другая — в светской. А ты, конечно, молчок. Даже Кэте, когда я ей сказал, и то поразилась. — Блямп пристально наблюдал за его реакцией и, конечно, понял, что он тоже впервые об этом слышит. Так Сабина беременна? А ему ничего не сказали? И откуда этот многозначительный тон, словно речь о чем-то скандальном, о какой-то пикантной сенсации? Журналисты вроде пока ничего не разнюхали, иначе сегодня непременно бы спросили: «С какими чувствами вы ожидаете пополнения в семействе Фишеров?» Да, за сообщением Блямпа, за его вопросом что-то кроется, а он ничего не знает. — Ну, поздравляю, поздравляю. И с дебютом, ты был просто великолепен, придется теперь повнимательней читать в газетах раздел культурной жизни, а то за тобой не угонишься. И конечно, с будущим внуком. Значит, через четыре месяца? Ну, будь здоров.

Все кончилось раньше времени, Кэте еще не вернулась от Сабины; в дни заседаний, а тем более съездов она всег-

да скрывалась, только после обеда, за чаем и кофе, разыгрывала роль хозяйки дома, потчевала всех своим печеньем и маленькими пирожными, она всегда питала слабость к птифурам, которые сама пекла в своей уютной кухоньке, и все это очень мило, приветливо, гостеприимно, будто и не по обязанности вовсе,— болтала с мужчинами, заботилась о секретаршах, которые, похоже, и правда в ней души не чаяли, выпрашивали кулинарные советы, переписывали рецепты. «Нет, подумать только, и как это вам удастся!» В те два-три часа, когда в святая святых допускались женщины, она звала их к себе наверх посудачить, угостить чаем и ликерами, иногда даже демонстрировала наряды, терпеливо выслушивая охи и ахи, поддерживая беседу — о детях, внуках, планах на лето, и не делала различий между законными женами и «подругами» гостей — наедине с ним она без церемоний звала их любовницами,— со всеми была равна и мила, всех умела мгновенно к себе расположить, а «подруг», недавних стюардесс, секретарш, продавщиц, если те с непривычки робели в «высшем свете», успевала даже тактично ободрить. Спокойно, не роняя достоинства, парировала колкости и пресекала все попытки позлословить о Рольфе или Катарине, Веронике или Хольгере-старшем, отстаивала Герберта, которого числили по разряду «чокнутых», и холодно пропускала мимо ушей лицемерные сочувствия по поводу ее — теперь уже семилетнего — внука, чье местопребывание никому не известно. «Эта женщина, нынешняя подруга вашего сына, Катарина, она ведь коммунистка, верно?» — и она отвечала: «По-моему, да, но лучше бы вы спросили у нее об этом сами, я, знаете, не люблю судить о людях по их политическим взглядам». Намеки на похождения их зятя Эрвина, на жизнь «бедняжки» Сабини — она спокойно выслушивала и это. И даже постоянное присутствие охранников, торчавших в доме повсюду — в коридорах, на балконе, в кладовках,— не могло вывести ее из равновесия.

Да, без Кэте ему сейчас трудно. Если Сабине через четыре месяца рожать, значит, скоро пойдет уже шестой — и она никому ни слова не сказала. О ком бы ни ронял Блямп свои каверзные замечания — о Рольфе, Катарине, Герберте, Хольгере-старшем,— в одном, по крайней мере, сомневаться не приходилось: фактам они соответствуют. Раз он сказал «через четыре месяца», значит, через четыре, даже если сама Сабина за такую определенность не поручится. Это информация из источника Цуммерлинга, а его

люди не только «прослушивают пульс времени», они и лонно знатных дам прослушивают, и лучше, нежели сами эти дамы, знают, с какого дня отсчитывать задержку, это диагносты особого пошиба, они, должно быть, расспрашивают горничных и аптекарей, роются в мусорных бачках и медицинских картах, прослушивают, ясное дело, и телефоны, и все это, разумеется, только во имя общественного блага. Кэте, будь она в курсе, от него-то, наверно, не стала бы скрывать, и уж совсем непонятно, почему молчит Сабина? Раз Блямп что-то вычитал в спортивной хронике, значит, это как-то связано со скачками; нет, он не кинется к телефону и не станет звонить, хотя ему очень хочется. А больше всего ему хотелось бы сейчас подняться к Кэте и выпить с ней чаю. Он уверен, она не позволила бы себе и тени насмешки по поводу его избрания, даже если в глубине души — но, видно, этого ему уже никогда не узнать — она и потешается; конечно, она уже все слышала по радио в машине или у Сабины по телевизору и, скорее всего, ужаснулась, она же понимает, что Блямп не просто хочет еще больше его запугать — Блямп решил его уничтожить.

Наконец-то в зале кончилась трескотня, телевизионщики, радиокорреспонденты и газетчики убрались восвояси, и он может на минутку спокойно присесть без риска ослепнуть от фотовспышек; он почувствовал, как по лицу паутиной расплзается усталость, почувствовал буквально кожей, по которой бороздами пролегли морщины, — да, эта забавная и азартная игра, эта беготня мыслей по двум дорожкам изрядно его утомила, а еще одну сигарету ему никак нельзя. Он ненавидит унылые препирательства с Гребницером, своим врачом, а уж Амплангер, будьте уверены, представит тому полный отчет: три на заседании, одну после обеда и еще одну во время пресс-конференции. Амплангера без долгих дебатов, даже без единого голоса против снова избрали ответственным секретарем, и хоть этот Амплангер птенец из его гнезда — он ведь начинал в «Листке» под крылышком своего папаши, в «Листке» оперился, на «Листке» сделал карьеру, — а чей он на самом деле человек, не поймешь: может, Блямп, а может, даже и Цуммерлинга. Вежлив, образован, услужлив, даже мил, он редко показывает зубы, но уж если показывает, то страшнее всего в улыбке, более жуткой улыбки, так сказать, улыбки со скрежетом зубовым, он ни у кого не встречал. В семье Амплангеров улыбались все: он сам, его жена, четверо детей, а злые языки утверждали, что со дня на день в его доме начнут улыбаться собака, кош-

ка и даже волнистые попугайчики. Улыбка Амплангера давно стала притчей во языцех, ее боялись как огня, когда Амплангер заведовал в «Листке» кадрами, он на всех страх наводил. Кто-то из «стариков», тех, кто работал в «Листке» с самого начала и с кем можно поговорить по душам, ему рассказывал, что даже поговорка такая ходила: «Если Амплангер улыбнулся, тебе хана».

Но сейчас — неужто Амплангер тоже устал, настолько устал, что даже не в силах ему улыбнуться?

И вид у него был почти человеческий, когда он подсел рядом и тоже устремил взор на зелень парка; и белый воротничок вокруг шеи чуть-чуть потемнел и замахрился, видно, Амплангеру тоже пришлось попотеть, даже прическа не выглядела безупречной, словом, он казался почти живым человеком, когда заговорил:

— Выкурите еще одну, господин доктор, я никому не скажу.

Но он в ответ только покачал головой и спросил:

— Что там было в газетах насчет моей дочери и ее беременности?

— Ваша дочь Сабина отказалась от подготовки к предстоящему первенству, что дало толчок некоторым домыслам, я распоряжусь все тщательно проверить. Информация господина Блямпа меня самого чрезвычайно удивила. А теперь, если позволите, вам надо бы прилечь. День был безумный, даже меня и то доконал, вам лучше подняться к себе, а я тогда со спокойной совестью отправился бы домой. Разрешите заметить: с журналистами вы разделились бесподобно, просто блеск.

— Мне уже завтра приступать? Я имею в виду — сидеть в кабинете?

— Нет, у нас только на послезавтра намечено маленькое торжество, что-то вроде приема для наших рядовых сотрудников, ведь большинство заведующих вы и так знаете. А на завтра у нас ничего нет.

— Я еще посижу, а вы идите, не беспокойтесь. Кланяйтесь от меня жене и детям.

— Думаю, излишне вам объяснять, что все меры безопасности, предпринимавшиеся в отношении господина Плифгера, теперь автоматически распространяются на вас. Если не возражаете, господин Хольцпуке посвятит вас во все тонкости — мне, разумеется, это тоже нетрудно, но он предпочитает инструктировать своих подопечных сам, и я не хотел бы его обижать. В таком случае, если я смею полагать, что вы в моей помощи не нуждаетесь и даже считаете ее излишней, я готов удалиться.

— Благодарю, и всего доброго. Значит, до послезавтра.

Больше всего ему хотелось сейчас просто уйти — пешком, через двор, по замковому мосту, по аллее, и так до самой деревни, а там, не торопясь, от дома к дому, добрести до церкви, посидеть, а может, даже и помолиться; потом он постучался бы к Кольшрёдеру, напросился бы на кофе, потолковал о житье-бытье, но только не о Боге, о Боге он с Кольшрёдером беседовать не любит, наверно, потому, что тот священник. Постоял бы возле родительского дома, приземистого, хоть и в полтора этажа, отделанного теперь асбестовой плиткой, — там, по традиции, опять живет учитель, молодой, у него машина, жена в джинсах, он пристроил к дому гараж, а на месте грядок разбил газон, неизменно густой и ухоженный; на зеленой траве разбросаны пестрые пластмассовые игрушки двоих его детей. Он и впредь не сделает того, что давно и строго-настрого себе запретил; не попросится зайти, чтобы осмотреть дом изнутри: две клетушки со скошенным потолком в мансарде, внизу — горница, кухня, чулан для утвари, в подвале — прачечная и кладовка; сейчас там, наверно, все по-другому, интересно, где они ванную оборудовали, внизу или наверху? Он вспомнил бы родителей, брата Ханса, все уже давно в земле, родители тут, рядышком похоронены, а брат далеко, очень далеко, если там вообще было что хоронить. Прямое попадание. «Катюша», сталинский оргán. Надо бы сходить на родительскую могилу, Кэте там бывает чаще, чем он, она ездит в Ной-Иффенховен, на тамошнее кладбище, где перезахоронены ее родители, а на обратном пути заглядывает и к его старикам, приносит цветы, покупает медные гильзы для свечек, она и надгробья новые заказала, скульпторы — совсем молодые ребята, он только наброски видел, роза и крест, в мраморе, для обеих могил один и тот же орнамент с незначительными вариациями, но он не любит кладбища, никогда не любил туда ходить, даже на похороны, не то что некоторые, прямо-таки обожают чужие похороны.

А еще он повспоминал бы о молочном супе, такого супа ему уже не отведать, ни в войну, ни после ему так и не довелось воскресить тот божественный вкус, и даже Кэте — а она бесподобно варит супы — тут бессильна, хотя он сотни раз про этот суп ей рассказывал: островки взбитого белка, легкий, едва слышный — у Кэте он всегда чуть-чуть резковат — привкус ванили, но главное — ощущение воздушности, когда все прямо тает во рту, у нее же суп то слишком густой, то жидковат, оно и понятно, рецепта он не знает, только вкус запомнил, а вот его-то и

не вернуть, как не вернуть иные запахи, особенно тот — прелый запах осенней листвы из темных глубин двора, там, в Дрездене, когда он обнимал Кэте в дешевой мебелирашке.

Острее всего воспоминания о субботах: после исповеди ритуал мытья, в цинковом корыте, потом суп, бутерброд с маргарином, по счастливым дням — какао, и даже воспоминание об исповеди не в силах вытравить воспоминание о супе. Он постоял бы возле дома Пюцев, возле дома Кельцев, позаигрывал бы с мыслью — заранее зная, что ничего такого не сделает, — зайти и поздороваться с Анной Пюц (про которую он хоть знает, что ее теперешняя фамилия Коммерц) или с Бертой Кельц (про которую он не знает ничего, даже нынешней фамилии), просто зайти, сказать «добрый день» и заглянуть в лица этих старых женщин. Они бы, конечно, смутились, ведь он теперь живет в замке и вообще важная персона. А он бы силился разглядеть сквозь их морщины лица тех девчонок, в которых более полувека назад был так сильно, до беспамятства, влюблен — в Берту, когда ему было тринадцать, в Анну, когда ему было четырнадцать, одна блондинка, другая брюнетка, ему не давали покоя их девичьи глаза, груди, ноги, локоны, он ходил за ними по пятам, выслеживал, пытался целовать, тискал при малейшей возможности, и они не обижались, только отмахивались, им, наверно, было не привыкать, другие мальчишки вели себя не лучше, а ответное женское любопытство в них еще не проснулось, не то что у Герлинды Тольмсховен, но то было позже, и потому он никогда не знал, как отвечать в исповедалине на злополучный вопрос: «Один или с кем-то?» — а в том, что одному из двух этих грехов любой мальчишка его возраста предается несомненно, отец Нупперц был убежден свято; как считать — было это «с кем-то», когда он, подкараулив девчонку, порывался ее потискать или просто просил — на что они иногда соглашались, причем обе с каким-то замороженным, почти торжественным удивлением, — посмотреть ей в глаза, и он, клятвенно пообещав, что все будет «без рук», смотрел, долго, глубоко, упоенно и неизменно держал слово. Как считать — это «с кем-то»: заглядывать в девичьи глаза, ища и открывая в них неведомо что? А невыносимые расспросы Нупперца: рукоблудит ли он во время субботнего купания, настойчивые советы мыться не в слишком горячей воде, а лучше всего в плавках, — эти рекомендации только навели его на идеи, о которых он прежде и представления не имел. Нет, это было уже чересчур, боль-

ше он к исповеди не ходил, и с тех пор ничто не омрачало воспоминаний о субботе (его передернуло при мысли, что бедняжка Сабина совсем недавно и вправду специально приезжала сюда исповедаться, и у кого?— у Кольшрёдера!), осталось только купанье и молочный суп, распаренное лицо матери над плитой, Ханс, подсовывавший ему свое какао,— сам он, как правило, вскоре смывался, его ждали иные радости, послаще всякого какао,— отец, которого, по счастью, обычно не было дома, с рюкзаком за плечами он колесил на велосипеде по окрестностям в поисках дешевой земли, у него это было вроде болезни, он жаждал владеть землями, даже если это были заболоченные, заросшие камышом и осокой, бросовые земли разорившихся крестьян. Да, отец жаждал стать землевладельцем и притом был ведь вовсе не прекраснодушный мечтатель, а строгий, даже ненавистный учитель, вдобавок еще и вегетарианец, он надевал рюкзак, садился на велосипед и уезжал искать «участки», вожделенные земли, он коллекционировал сотки и квадратные метры, сколотил под конец несколько гектаров совершенно бесплодной земли, ворошил свои бумаги и квитанции, сортировал выписки из поземельных книг, купчие — все по закону, все заверено у нотариуса,— потом чахотка, смерть (а все же эти несколько гектаров вокруг Иффенховена, Блюкховена и Хетциграта помогли матери худо-бедно перебиться после войны: недвижимость она меняла на еду, всю землю — сотку за соткой — обратила в молоко, масло и картошку, потом, когда поднялся угольный бум, крестьяне за эти участки получили неслыханные барыши). Когда он умер, вся деревенская детвора вздохнула с облегчением, вздохнули и Анна Пюц, и Берта Кельц, а особенно мальчишки, которые и теперь, уже дедушками, пугают внучат рассказами о грозном учителе Тольме, про которого никто даже толком не знал, хоть католик ли он «на худой конец», в смысле — «настоящий», «добрый» католик, потому как в церковь-то он хаживал и за порядком присматривал, а вот в исповедальне и у причастия его никто не видывал, ни здесь, ни в соседних деревнях, где он пропадал по воскресеньям, приманивая крестьян своим диковинным рюкзаком, велосипедом и скудной наличностью, из коей он предлагал жалкие задатки, дабы тут же, сразу после мессы и непременно при свидетелях, ударить по рукам, скрепляя таким образом уговор, над смехотворностью которого крестьяне потешались промеж собой ничуть не меньше, чем над «чудным» покупателем: длинный, костлявый, смурной какой-то, к тому же и не пьет, попросит воды принести или стакан молока,— словом, кощей

да и только. Мать была совсем другая, у нее были хоть какие-то радости жизни: дом, грядки, цветы, дети, кухня, церковь, работа в союзе матерей, богомолье, и она никогда не падала духом, а иной раз — правда, редко, ох как редко — ей удавалось даже пробудить улыбку на отцовском лице, когда она припоминала времена их блокховенской юности, своих и его родителей, которые, как теперь выяснилось, всю жизнь просидели на несметных угольных залежах.

Надо бы сходить на могилу, посмотреть, как там Кэте распорядилась цветами, взглянуть на мраморную плиту с розой и крестом, на горящую свечку в медной гильзе. Он бы и в церковь зашел, поборов давнюю неприязнь к Кольшрёдеру, с ним хоть об архитектуре и живописи поговорить можно. Да и о музыке; а может, и в дом Коммерцов заглянул бы, там ведь живут нынешние тещь и теща Рольфа, родители Катарины, Шрётеры. Хотя он и сейчас еще, пятьдесят лет спустя, немножко стыдится того, чем занимался тогда иной раз вместе с Петером Коммерцем и Конрадом Вергеном, про себя называя это «один, но с кем-то». Эти двое живо его просветили, едва он спросил, что имеет в виду старик Нупперц, когда пристает насчет «рукоблудия», — лучше бы ему остаться тогда в неведении, во власти грез, тем более что вскоре он и Герлинду встретил, как только начал ездить в городскую школу. Потом стал помогать ей по математике, здесь, в этом замке; конечно, посягнуть на ее грудь или ноги он не отважился, как-никак графиня, но в глаза заглядывал, глубоко-глубоко и безответно, потому что в один прекрасный день она решила «покончить с этим делом», сказав ему с неповторимым фривольным озорством:

— Помилуем друг друга.— И добавила:— Только без комплексов, дорогой Фриц. Ты у меня не первый и, наверно, не последний, а я знаю, что я у тебя первая.

И эта девушка, что слыла в деревне «язвой», а то и просто «дряню бесстыжей», вдруг стала податлива, как воск, нежна и покорна до бездыханности, и он никогда не забудет вспышку безумной радости, озарившую ее лицо, то счастье, которое ему всегда хотелось назвать благодатью; не забудет он и ее улыбку, когда та же радость снизошла и на него. Ликуя, а не раскаяваясь, шел он исповедоваться, шел в последний раз — лишь бы избавиться от ненавистного «с кем-то», лишь бы раз и навсегда распрощаться с исповедью, а быть может, и с церковью, которая еженедельно заставляет покаянно виниться в том, что он час спустя без всякого раскаяния сделает вновь. Он не забудет откровенное, более чем нескромное пыхтенье Нупперца и его жадный, якобы от гнева задыхающийся

голос, его глупый вопрос «с кем же?»), относившийся к чему угодно, только не к тайне исповеди; к тому же ведь он прекрасно знал ответ, почти вся деревня знала, и все знали, что рано или поздно дело раскроется, оно и раскрылось; остальное было обычно и неизбежно: Герлинду отправили в закрытый интернат, но ему, ко всеобщему изумлению, от дома не отказали. Поговаривали даже, что старая графиня не только все предвидела, но, мол, хотела, чтобы так оно и вышло; она к нему благоволила, это было ясней ясного, и он снова стал помогать — уже брату Герлинды, Хольгеру, и тоже по математике; какое благо — хоть иногда он мог теперь подкинуть матери немного деньжат, да и себе кое-что купить. Кроме того, были ведь велосипеды, и даже бдительность кёльнских монахинь имела свои границы. А Герлинда настояла на своем «неотъемлемом, Богом и церковью освященном» праве выбрать себе другого, менее осведомленного в ее личной жизни исповедника. Были не только велосипеды, были еще и парки и квартиры подруг Герлинды, особенно одна, около Южного вокзала, где они, распахнув окно, слушали поезда, и Герлинда смеялась, когда он просил заглянуть ей в глаза; он знал, и она знала: он не найдет в них того, что искал в глазах Берты, в глазах Анны, но он находил нечто иное, тоже важное: прощанье с исповедью и молочным супом.

Сколько раз, заходя потом в эту церковь и поглядывая на незыблемую новоготическую исповедальню, он мог бы торжествовать при мысли, что они, преемники Нупперца, если не все, то многие, сами угодили теперь в силки секса, которые столетиями раскидывали для других. Где и кому сами-то они исповедуются во всех своих «с кем-то», а тем паче во всех своих «один», как и чем искупают свои грехи? Что творится за стенами их уютных и просторных квартир, за стенами их роскошных, модно обставленных «хижин», планировку которых столь беспощадно и точно растолковал ему Рольф, за стенами, где обретаются все эти приживалки, экономки, троюродные кухни или как их там еще, и ни один из них ни разу не сподобился объяснить, отчего все так устроено, что расцвет мужской силы, молодости, желания, да и вожделения приходится на те «лучшие» годы, когда жениться еще рано или попросту нельзя, денег нет, и ты волей-неволей идешь к девкам, к «доступным» женщинам, к коим, несомненно, принадлежала и Герлинда, либо обрекаешь себя на безрадостное «один», которое всегда было ему не слишком по душе? Да и откуда бы взяться этому «с кем-то», если не повстречаешь такое счастье, такую удачу, как Герлинда, — почему, коли на то пошло, они не провозгласят всех Герлинд святыми? До сих пор, с того самого дня, когда он сразу

от Герлинды пошел к своей последней исповеди, он всякий раз, напросившись к Кольшрёдеру на кофе, снова и снова втайне упивается своим триумфом, смесью торжества, грусти и отвращения, убеждаясь, что Кольшрёдер, вне всяких сомнений, с этой Гертой, своей экономкой, как говорится, живет во всех смыслах, значениях и оттенках этого слова; об этом, впрочем, и так все знают, никто никогда этого и не отрицал, слишком явно все видно — как он мимоходом гладит ее по крашеным рыжим волосам, как соприкасаются их руки, когда она наливает ему кофе, интимности и свойской ласки, тут, пожалуй, куда больше, чем в постели, если бы кто их в постели застукал; во взглядах и жестах давняя, привычная близость, столь же неприглядная, сколь и трогательная, особенно у нее, пышногрудой, цветущей сорокалетней женщины в джинсовой юбке и легкой, воздушной блузке, в вырезе которой она даже не боится кое-что показать,— нет, тут уж не было никакого очарования влюбленности, один вороватый блуд, для него это до сих пор потрясение. Наверно, во всем этом не было бы ничего дурного, если бы все было в открытую, если бы не беспрестанное нытье об испорченности других, разглагольствования об их вонючем celibате, не сетования на распущенность молодежи да и всего рода людского — уж по крайней мере не из уст Кольшрёдера! Благочинный распад, сытое, со вкусом и по последней моде, комфортабельное разложение — нет, ему просто больно это видеть, и потом, черт побери, как они исхитряются обойтись без детей, ведь должны же они что-то предпринимать, что-то из того, что другим запрещают? Тогда кто, черт возьми, в чем и перед кем должен исповедоваться, кто кому и что отпускать? Как-никак он лично на своем веку ни разу, ни секунды не помышлял стать священником, не принимал, да и в жизни не принял бы обет целомудрия, не возжелал жены ближнего своего — даже Эдит была не замужем. Благочинное растление, распад, можно сказать, прямо под стенами церкви, и все же одного у нее не отнимешь, кофе она варить умеет, эта Герта, на вид, кстати, вполне приглядная особа, кроткая, с ласковым голосом и крашеными рыжими локонами,— но что-то в ее облике отдает борделем, и ему всегда это претило, именно потому, что приходил-то он не в бордель. Но он все равно нет-нет, да и захаживал к ним, всегда незванным гостем, уже почти не чувствуя триумфа, только отвращение и грусть, ведь когда-то все это кое-что для него значило, а для многих и поныне значит немало, для Сабины и Кэте особенно, да и для него все еще, от поры до поры, значит куда больше, чем полагают эти ханжи,

умеющие так элегантно, со всеми удобствами разъезжать по накатанной колее, из которой они столько миллионов, если не миллиардов, честных людей выпихнули, «одних» или «с кем-то». Куда ни глянь — всюду только безупречная штукатурка фасадов, за которыми хаос, распад и тлен.

С Кэте ни о чем таком не поговоришь. Она наивна и в каком-то смысле все еще правоверна, он не рискнет на это посягнуть. К тому же ведь ничего и не докажешь, да и нечего доказывать. Герберт — тот только посмеивается, для него церковь давно уже звук пустой, но не для Рольфа, Рольф сознает, что церковь на него повлияла, как сознает и Катарина и Сабина, — в этом деле он за Сабину боится даже больше, чем за Кэте, да, Сабине он давно и от всего сердца желает любовника, милого, открытого парня, пусть даже из клуба верховой езды. Он почти уверен, что с Эрвином Фишером у нее нелады, в том числе и по части «с кем-то». Он, понятно, и заикнуться об этом не посмеет, тут ведь ничего не докажешь, да и не обсуждают такие вещи, и все же: Сабина заслуживает настоящей любви, а не этого подонка, которого он наедине с Кэте иначе как «пугалом» не зовет.

Кэте собиралась вернуться от Сабины к шести. Сейчас только полпятого, машин во дворе не видно, прощаться ни с кем не надо, он вполне успел бы прогуляться до деревни. Но об этом теперь и думать нечего, не может он просто так взять и уйти, даже на свой страх и риск. Блямп в своем откровенно издевательском поздравительном адресе правильно написал: «Отныне ты принадлежишь себе еще меньше, чем прежде, а своей семье еще меньше, чем себе». И даже если бы он рискнул, ведь не станут же они, в самом деле, удерживать его силой, — а вдруг? — все равно не может он подложить такую свинью этим молодым, неутомимым ребятам-охранникам, даже если он сам будет кругом виноват, спросят-то с них, а случись с ним что, и вину свалят на них, и ответственность, и позор. К тому же он твердо обещал Хольцпуке не устраивать никаких демаршей самому и не допускать эскапад со стороны Кэте, более того — предупреждать его, ежели Кэте таковые замышляет. Ей удалось несколько раз незамеченной ускользнуть через парк, потом перелесками до Хетциграта, поймать там такси и удрать в город; и хотя в городе ее быстро обнаруживали (благо маршрутов не слишком много, две давнишние подруги, адреса которых, разумеется, известны, два кафе — Гецлозера и Кента, обувной салон Цвирнера, два модных магазина — Хольдкрампа и Бреслицера, да еще четыре излюбленные церкви) и потом «вели», однажды даже от самой стоянки такси (Хольцпу-

ке, наверно, уже успел условиться со всеми таксопарками в округе), все равно это было крайне неприятно, причиняло массу ненужных хлопот и треволений, что в конце концов признала и сама Кэте, объявив, что окончательно «обращена» и «смирилась с тюрьмой Тольмсховен».

Он ни секунды не сомневается, что все меры безопасности, сколь бы преувеличенными и безумными они ни казались, оправданны. Он обязан и хочет относиться к ним с пониманием, он и так порой не на шутку тревожится за нервы этих ребят, и его не слишком успокаивают заверения Хольцпуке, что все они под постоянным наблюдением психолога, некоего Кирнтера, отличного специалиста. Он по себе знает: есть много вещей, о которых он никогда не скажет Гребнице, своему врачу. Например, о смертной скуке, которая охватывает его в огромном кабинете «Листка». А идти в деревню *с сопровождением* — нет, он не пойдет. Что подумает о нем хотя бы этот молодой Тёргаш, дожидаясь, пока он посидит в церкви, а потом еще наведается к священнику, про которого каждый, а уж Хольцпуке наверняка, знает, чем он там со своей Гертой занимается, и который к тому же — после того, как Вероника додумалась позвонить Кэте именно туда, в дом священника, — видимо, сам того не ведая, угодил «под колпак»? Возможные домыслы конвоиров от чего хочешь охоту отобьют. Хольцпуке их ему представил: Тёргаш, Цурмак, Люлер, «очень слаженная группа, где все прекрасно дополняют друг друга, отлично зарекомендовала себя при охране вашей дочери, зятя и внучки». Разумеется, он на всякий случай осведомился у Сабины по телефону, хоть и знает, что телефон прослушивается (без этого никак не обойтись), и она всех троих очень хвалила, особенно Тёргаша, которого назвала «очень серьезным, внимательным и вежливым молодым человеком».

Опять Сабина, не идет она из головы, — отчего в последнее время она буквально дня не может прожить без Кэте, звонит ей, зовет к себе, приезжает сама? Наверно, все из-за этого идиота Фишера, который, похоже, просто потеряет веру в свои мужские достоинства, если бульварные журналы вдруг перестанут расписывать его сексуальные геройства.

Нет, не может он просто так взять и пойти в деревню — тут не только меры безопасности, но еще и ноги, они что-то плохо его слушаются, он даже не знает толком, что его больше удерживает: ноги или неотступный конвой. Это веселое, такое новое чувство легкости после того, как исчез страх, — ногам оно еще не передалось, в ногах

по-прежнему тяжесть, скованность и холод до самых щиколоток. Под руку с Кэте он бы, наверно, еще рискнул, а в одиночку — нет, неудобно, вдруг оплошает, придется на кого-то опереться, хотя бы на молодого Тёргаша, что может пагубно сказаться на его бдительности; конечно, его мог бы проводить и Блуртмель, но и Блуртмеля не хочется беспокоить, что они — и Блуртмель тоже — подумают, когда он внезапно остановится перед домом Пюцев или перед домом Кельцев, впрочем, не важно, что они подумают, просто их мысли, их домыслы убьют его воспоминания, и он не сможет воскресить милые лица двух девочек, и в церкви тоже, где он присядет в тишине, один, будет смотреть на исповедальню, на высокие новоготические окна, с грустью и отвращением размышляя о том, что и по сей день до конца в нем не изжито: о мерзких расспросах Нупперца, которые способны были отравить любую красоту, любую поэзию — даже тоскливую радость пресловутого «один». Одна эта мысль — «а что подумают они?» — убивала остальные, убивала воспоминания о милых девочках, когда-то столь благоразумных и желанных, о грозном любопытстве Нупперца, обо всем, что было у него «с кем-то». Пожалуй, лучше вовсе не возвращаться к местам своих воспоминаний. Мешают ведь не конвоиры, что неотступно бредут по пятам, а их мысли и домыслы, которых у них, вероятно, и нет вовсе.

Он пошел по лестнице, лифт вызывать не стал, не хотелось еще и в лифте снова, в который раз, видеть лица задержавшихся с отъездом гостей — Поттзикера, Хербстхолера, да и любого из тех, кто мозолил ему глаза все эти четыре дня нескончаемых заседаний,— Блямп, который, возможно, все еще где-то тут, друзей, врагов, официантов. Эта вечная неловкость при встречах в лифте, вымученные улыбки, когда не знаешь, куда деть руки, и пепел с сигары или сигареты стряхнуть некуда (сколько же можно просить Кульгреве распорядиться насчет пепельниц в лифте, придется перепоручить это Амплангеру, уж тот не подведет), и эти вечные шуточки по поводу Тольмсховена, «замка его мечты»: некоторые так вообще считают чуть ли не своим долгом в издевку величать его «Фридрих фон Тольм с резиденцией в Тольме», хотя он, Фриц Тольм, никакой не дворянин, просто родом из деревни, которая обязана своим названием графской семье и ее фамильному замку. При этом ведь все, даже Блямп, в конце концов вынуждены были признать покупку замка «гениальной идеей». Ремонт и модернизация целиком себя оправдали, даже с финансовой стороны; два аэропорта в тридцати,

третий в сорока минутах езды, а в крайнем случае можно испросить разрешение на посадку на аэродроме английских ВВС, до того вообще рукой подать. Это ж куда удобнее, чем по нескольку дней, а то и неделями снимать гостиницы, которые всем обрыдли. Он долго и тщето убеждал руководство объединения купить замок, потом махнул рукой и купил сам — у графа Хольгера фон Тольма, последнего в роду отпрыска мужского пола, который давно переселился в южную Испанию, все свое время посвятил женщинам и игорным фишкам, безуспешно пытаясь пробиться в международную элиту плейбоев, и являл собой печальное олицетворение распада, в своей откровенности, впрочем, куда более симпатичное, нежели разложение церковников, замазанное штукатуркой благодравия. А Хольгер даже зубы и волосы не уберег. Он еще больше поглупел, стал сентиментален, при случае не прочь был пустить слезу, бедолага Хольгер, на которого он, Тольм, никогда не умел сердиться, а тем более злиться, не умел с юных лет — ведь именно Хольгер покрывал их с Герлиндой шашни, обеспечивал алиби, помогал устраивать встречи; Хольгер, которого война наградила неудавшейся карьерой летчика и свирепыми запоями, годный только на роль неотразимого завсегдатая казино и распорядителя чужих удовольствий, вечно терся при штабах, организовывал званые обеды, добывал икру, поставлял начальству шампанское и женщин, дослужился-таки до майора, хотя под конец был уже настолько слаб в коленках, что сам себе боялся в этом признаться. И пусть этот Хольгер ему чуточку в тягость, все равно он его должник и готов всю жизнь выплачивать тот юношеский долг, даже если Хольгер постепенно действительно станет ему неприятен, этот жалкий человек, позабытый всеми друзьями-приятелями, «абсолютная развалина», как он сам себя называет. Но для него, размышлял он, медленно, очень медленно поднимаясь по лестнице, — для него Хольгер навсегда останется милым мальчуганом, с которым они на «велике» укатывали в Кёльн якобы для осмотра церковей и музеев или за новыми деталями для игрушечной железной дороги, а то и «просто так», а Герлинда уже ждала где-нибудь, обычно на Мозельштрассе, готовая встретить его счастливым смехом и, как сказали бы сегодня, «сверху без».

Тут он невольно улыбнулся: за Тольмсховен он ведь явно переплатил, и все ради Хольгера и Герлинды, которая тоже вдруг объявилась невесть откуда, неожиданно добропорядочная, располневшая, уже на седьмом десятке,

замужем за простым смертным, без всяких «фон», — некто Фоттгер, доктор юриспруденции, служит в министерстве иностранных дел — она улыбнулась, даже покраснела слегка, чего с ней раньше не случалось, сказала:

— Деньги нам вовсе не помешают, детям ведь надо учиться, пока мы с мужем по свету колесим. И я очень рада, что замок перейдет к тебе. А еще — я иногда думаю: зря я тебя не удержала, даже не пыталась. С тобой было хорошо, ты был еще совсем ребенок.

Потом, когда после нотариуса они зашли в кафе Гецлозера и Фоттгер, судя по всему социал-демократ, принялся защищать восточную политику, она, по счастью, даже не подумала с ним заигрывать: никаких доверительных прикосновений, вздохов, томных взглядов — ничего, и слава богу, все равно ничего бы не вышло. Она ведь никогда не была особенно хорошенькой, привлекательной — да, но не хорошенькой, и, наверно, давно уже не была легкомысленной. А еще он вспомнил о старой графине, которая так о нем заботилась. С непонятым упорством настаивала, чтобы он доучился, защитил диплом, и была особенно добра к Кэте. И вот он вернулся в Тольмсховен новым хозяином и сразу предложил замок Объединению в качестве постоянной резиденции. Тут все было — теле-тайп, телефонная связь, лифты, вышколенный и абсолютно надежный персонал, сауна, излюбленный всеми игровой салон, где можно перекинуться в покер, а если охота, то и во что-нибудь поазартней, да и с Кульгреве ему повезло (хоть тот и забывает про пепельницы в лифте) — предупредителен, скромн, работает с душой. А решающим аргументом оказалось (тогда-то и речи об этом не было) идеальное расположение замка с точки зрения безопасности: широченный ров с водой, превосходно просматривающийся французский парк (пусть сколько угодно называют его «доморощенным Версалем», пусть смеются, сидя в своих роскошных пузатых виллах, задавленных «добротным» шифером снаружи, лоснящихся латунью внутри) — до самого леса гарантирован безупречный обзор. Даже в плане вложения капитала замок с его отлично оборудованной кухней и подсобными помещениями сулил выгоды: в случае чего его запросто можно продать под первоклассный отель, если бы — и тут он подумал о детях, которым Тольмсховен всегда был не по душе, подумал о внуках, — если бы... если бы не мрачные прорицания Кортшеде, которые перечеркнули все надежды, все планы; ведь, в конце концов, замок представляет и немалую историко-архитектурную ценность, заложен в XII веке, перестраивался и достраивался во все последующие века,

это же наглядное пособие по истории архитектуры — и ничего, ничего не останется. Все ближе карьеры, все ближе электростанции, все гуще дымные облака на горизонте. «Сносить и копать, копать и сносить», — так это у Блямпа называется. И тихий Кортшеде тоже подтвердил:

— Все давно решено, даже то, что еще и не решено вовсе. Сам увидишь — они все будут заодно, профсоюзы и работодатели, государство и церковь (он всегда почему-то упоминал о церкви со странным смешком, словно это вздорная и своенравная старая дева из богадельни), — все давно решено, и случится еще на твоём веку: все снесут, камня на камне не оставят, так что лучше уж тебе подготовиться. Самое страшное — это когда профсоюзы и работодатели заодно. Энергоресурсы, занятость — да ты сам все прекрасно знаешь.

Четыре пролета, одиннадцать ступенек, и каждую он знает как родную, до мелочей, до малейшей щербинки, он помнит, где медные прутья на ковровой дорожке разболтались и надо следить, чтобы не споткнуться. Он яростно, если верить архитекторам — «с почти необъяснимым упорством», отвергал все предложения подправить лестницу, заменить дорожки, и они, конечно, правы, сентиментальность необъяснима, да и откуда им знать, сколько раз в юности он поднимался, а случилось, и крался по этой лестнице, чтобы проникнуть в комнату Герлинды, где теперь обосновался Блямп.

Он устал, он чувствовал годы — старость свинцом заливала ляжки, норовя переползти ниже колен; и он опять ощутил страх, теперь уже новый: придется переезжать, выметаться — но куда, куда? Во всей деревне камня на камне не останется, ни лужка, ни травинки, ни единого деревца на кладбище, и он не мог поверить — неужели они и новоготическую исповедальню потащат с собой, неужели Кольшрёдер возьмет с собой свою Герту — туда, в Ной-Тольмсовен, где он поселится в еще более шикарном доме, повесив рядом Шагала и Уорхола, неужели все, все стронется с родных мест — девочки-старухи Анна и Берта, крестьяне со всем хозяйством и даже кладбище, как это уже случилось с Айкельхофом, как это было с Иффенхофеном? Айкельхоф семья ему так и не простила, даже Рольф, а уж Кэте и по-прежнему, а ведь должны бы понять, что тут он совершенно бессилен и безгласен, совсем не боец, да и не был никогда, должны понять, что и деньги тоже манили, деньги и новая недвижимость, а все из-за незабвенной бедности, что въелась в него с детства, и еще, наверно, из-за отцовской жажды земли. И потом — ну почему, черт возьми, именно тут, где все

они родились, выросли, жили,— почему именно тут оказалась такая прорва угля?

Гребницеру так и не удалось приучить его к трости, и теперь он прикидывал, что смешнее: вот так цепляться за перила или ковылять по лестнице с тростью, а то, может, призвать на помощь Блуртмеля, который, конечно же, будет готов в любую секунду его подстраховать. Рано или поздно ему останется только трость или лифт, если не то и другое вместе, а потом в один прекрасный день и кресло-каталка, куда Блямп уже сейчас с превеликим бы удовольствием его усадил. Президент в инвалидном кресле, добренький, седой, интеллигентный,— это же просто лакомый кусок для журналистов, он прямо слышит, как они захлеб сравнивают его с Рузвельтом, а его либеральные методы управления с рузвельтовским «новым курсом» — аналогия столь же немудрящая, сколь и неизбежная; у них всегда под рукой ворох сравнений, штампов, даже аллегорий, целые обоймы таких же идиотских банальностей по любому поводу и на все случаи жизни; а какой это будет для них подарок, если «те» — кто? когда? как? — однажды «достанут» его прямо в кресле, желательно, правда, чтобы кинокамера оказалась поблизости, дабы запечатлеть, как он, весь в крови, вываливается из кресла, а кресло вприпрыжку катится вниз по лестнице, тут уж сравнения не миновать — кино, «Броненосец «Потемкин». Лестница — детская коляска, лестница — кресло-каталка, и, конечно же, оператор чертыхнется: «Проклятье, почему лестница такая короткая, всего одиннадцать ступенек, здесь же нужен долгий план!» — и еще, чего доброго, чтобы продлить план, спихнет заляпанное кровью кресло в следующий лестничный пролет.

Он вздрогнул — Блуртмель распахнул перед ним дверь, едва он прикоснулся к ручке; подумалось: «Так вот и будет, это будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому доверяю, кто выдержал все проверки». Черт возьми, что это Блуртмель — научился видеть сквозь стены? Или кто-то успел ему сообщить: «Подошел к двери, сейчас возьмется за ручку». Не исключено, ведь они, или по крайней мере один из них, обязательно караулят наверху, укрывшись где-нибудь в нише, за дверным косяком, в темном углу, за выступом стены, и у каждого переговорное устройство. И у Блуртмеля оно есть, так что любой охранник мог — просто по дружбе — предупредить: мол, старик на подходе. Одно нехорошо — когда дверь так внезапно открылась, он от неожиданности споткнулся и чуть не упал,

Блуртмелю пришлось его подхватить, неприятная и совершенно излишняя демонстрация его физической немоги, которую, конечно же, припишут его общему состоянию, а не тому чисто техническому казусу, что дверь подалась внезапно и слишком легко. Он, слава богу, еще в силах нажать дверную ручку и войти в комнату без посторонней помощи.

Подобное повышенное предупредительное внимание давно стало для него приметой все более строгого заточения, когда любая забота, даже невинный жест вежливости кажутся проявлением бдительности и, значит, угрозы. До сих пор жуть берет, стоит лишь вспомнить, какого ужаса нагнал на них Кортшеде, когда взвизгнул и как безумный кинулся бежать вокруг стола заседаний, и все из-за того, что официант без предупреждения щелкнул зажигалкой, давая ему прикурить: внезапная тень за спиной, мягкий щелчок зажигалки, который вполне можно принять за бесшумный выстрел,— все это лишило его остатков самообладания, бесшумная вежливость его доконала; не переставая вопить, он метался вокруг стола, потом бросился к двери, дверь на замке, он бегом обратно, он не мог остановиться, и никто не мог его удержать, пока наконец Амплангер буквально не стиснул его в объятиях, но он вырвался (что дало Блямпу, который любит пройтись насчет гомосексуальных наклонностей Кортшеде, повод для циничной шуточкой: «Как святой Иосиф от жены Потифара»), оставив в руках у Амплангера свой пиджак, после чего пришлось уже попросту «брать» его с помощью полицейских, те обучены приемам и применили их весьма энергично; выглядело все это довольно жестоко, но, наверно, так надо, они его схватили, зажали ему рот и не выпускали, пока не подоспел Гребницер со шприцем,— Кортшеде ойкнул, дернулся, обмяк, его отнесли в его комнату и приставили к нему медсестру, пока за ним не приехали домочадцы.

Блуртмель — вид у него был слегка сконфуженный — помог ему дойти до кресла у окна, принес стакан минеральной, плеснул немного виски и сказал:

— Ваша жена просила передать, что вернется примерно через час, к шести, я тогда подам чай и тосты. А пока приготавливаю ванну.

В свое время им стоило немалых трудов отучить Блуртмеля называть Кэте не иначе как «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Ему претят подобные церемонии, Кэте их вообще не переносит, и все же на первых порах все

просьбы отказаться от чопорных обращений Блуртмель воспринимал со скрытым негодованием, как вероломное посягательство на его неотъемлемые права. В конце концов удалось это уладить, сведя все к шутливой игре. Теперь всякий раз, стоило Блуртмелю произнести «ваша супруга» или «милостивая госпожа» (он в таких случаях смущенно признавался: «опять вырвалось»), он «платил штраф» — сигарету, которую обязан был положить в изящную малахитовую шкатулку, подаренную Тольму одним советским человеком.

Недавно в Тролльшайде, в санатории, куда он ездил навестить Кортшеде и где они, укрывшись от дождя, пили чай на веранде, тот исповедался ему в своих потаенных страстях, сила которых, а особенно зависимость Кортшеде от некоего Петера, зависимость, которую даже сам Кортшеде называл «кабалой», его просто потрясла. Этот Петер числился особо опасным преступником, его стерегли денно и нощно, а тем более во время их с Кортшеде ночных свиданий; он проходил первым номером по делу о шантаже и разбое с убийством, и ночь напролет микрофоны прослушивали каждый звук, жадно отлавливая «существенные для следствия» детали, а возможно, и полное признание обвиняемого.

— Мне пришлось на это пойти, иначе ему не разрешили бы со мной видаться, и представляешь, хочешь верь, хочешь нет, мальчик меня любит, а я его предаю. Сам посуди, на что я после этого годен; дверь в доме скрипит — я вздрагиваю, или вот сейчас, извини, ты чашкой о блюдечко задел, а я чуть не заорал.

Это он, Кортшеде, сулил Тольмسخовену еще только четыре, от силы пять лет. Кэте он решил ничего не говорить — зачем волновать ее раньше времени, какой смысл? Трудно представить, что ничего, ничего здесь не будет, только экскаваторы, ленты транспортеров, насосы — и провалы карьеров, в которых гуляет ветер, и еще одна электростанция, изрыгающая облака; замок у него откупят, ему щедро заплатят за эту реликвию, этот осколок древности, в стародавние времена пожалованный в награду за победоносную битву некоему Тольму, воевавшему то ли за, то ли против испанцев, вместе с хозяйкой-графиней, которая была то ли против испанцев, то ли за них и которую силой выдали за него замуж. Они снесут и перекопают все, церковь и замок, дом Кельцев, и дом Пюцев, и дом Коммерцев тоже, и тихую беседку в саду священника, где летом так приятно было посидеть и выпить вина, пруд и мостик, уток и сов — горемыка сова, ей-то куда податься?

— Все давно решено, Тольм, давно и бесповоротно, за-долго до всех дискуссий и гражданских инициатив, которым они позволяют шуметь сколько влезет, понимаешь, поезд ушел, он еще не тронулся, но уже ушел, там же миллиарды тонн, и ничто, ничто их не остановит, они до этих тонн дорвутся — поверь мне, до самого Хетциграта и дальше ни кола ни двора не останется, ни одно деревце не устоит, ни одна улитка не уберезет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине, они до голландской границы дойдут, а в один прекрасный день и голландцев подруют, если там тоже обнаружится уголь... Это бесполезно, Тольм, говорю тебе, дорогой Фриц, совершенно бесполезно, так что, если ты намерен и дальше перестраивать Тольмсховен, воля твоя, деньги тебе, конечно, возместят с лихвой, но труды, хлопоты, нервотрепка — зачем тебе это? Лучше не связывайся. Поверь, чертежи готовы, сметы подбиты, дело на мази.

Бедняга Кортшеде, в тот дождливый день, там, в Трольшайде, за чашкой чая на веранде, он ведь жить не мог без своего Петера и без уколов. А потом с улыбкой добавил:

— И ты, конечно, знаешь или по крайней мере догадываешься, что «Листок» тоже отпадет — Цуммерлингу и мне, Цуммерлинг загребет его не хуже, чем экскаваторы твой замок. Надо было тебе получше за своим хозяйством смотреть, Фриц, в газетах не только культурную страничку читать, но и в экономический раздел заглядывать. И еще мой тебе совет: никогда ничего не затевай против клана Фишеров, ты же знаешь, у Цуммерлинга есть фотографии, доказывающие их причастность к Сопротивлению, они неопровержимы. Благонамеренный текстиль против либеральной газетенки, нет, добром это не кончится, при твоих-то сомнительных родственничках — Рольф, Вероника, Катарина, — и думать забудь! Поостерегись, Фриц!

После инцидента с Кортшеде в их разговорах об охране и безопасности от былой иронии не осталось и следа; разве что Блямп иной раз позволял себе колкости исподтишка. Их отношение к сотрудникам охраны тоже изменилось, после припадка Кортшеде и речи быть не могло о прежнем дружелюбном подтрунивании, а уж после истории с именинным тортом Плифгера и вовсе стало не до шуток, — вот когда прибавилось работенки у психолога Кирнтера, вот когда Хольцпуке, начальнику службы охраны, пришлось проводить долгие собеседования, вежливо требуя «надлежащего понимания», в конце концов его люди всего лишь исполняют свой долг, да ведь и им, подопечным, наверно, тоже не хочется рисковать жизнью, значит, надо спокойнее относиться к неизбежным, хотя,

он согласен, и неприятным процедурам, как-то: предварительный осмотр кабинки при посещении туалета или особо придирчивая проверка приезжающих в замок «посетительниц», и, уж конечно, он в первую очередь просил бы — убедительно просил бы — впредь избегать эскапад вроде тех, что время от времени позволяет себе Кэте. Как будто безопасность — что внешняя, что внутренняя — еще возможна! Он-то знает: все эти профилактические меры хоть и необходимы, но ничего не способны предотвратить.

И все же как приятно, как покойно смотреть в окно, поверх террасы, туда, где за широким рвом раскинулся парк, и воображать семейное торжество, на которое когда-нибудь снова соберутся все дети и внуки; летний вечер, праздник под открытым небом, бумажные фонарики — раньше дети называли их «китайцами», — скромный домашний фейерверк для внуков, шарики мороженого в вазочках, жаровня, мясо на вертеле, коктейли, да все, что душе угодно; и как горько сознавать, что об этом пока (если б только пока) нечего и думать — какие уж тут семейные сборища, когда в списке «факторов повышенной опасности» значится даже один из его сыновей, а его зять отказывается «сесть за один стол с этим типом, который даже после ноября семьдесят четвертого имел наглость назвать своего ребенка Хольгером». Еще четыре года, от силы пять... Ничего, пока еще рано страшиться переезда, но он знает, что страх уже поселился в нем и гложет душу: «ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине...»

А уж «те» позаботятся, чтобы у него больше не было семейных праздников, и среди «тех» — его бывшая невестка, она тоже с ними, теперь это уже почти несомненно, и еще некто, кого он на свои деньги обучил банковскому делу и кто в Айкельхофе так часто бывал у него в гостях.

По счастью, Блуртмель с течением лет научился угадывать его настроение — похоже, он все еще переживал недоразумение с дверью. Потому и вышел из комнаты, не дожидаясь, пока хозяин попросит ненадолго оставить его одного, и даже подвинул на расстояние вытянутой руки малахитовую шкатулку, хотя Гребницер строго-настрого наказал: ни в коем случае не держать сигареты под рукой! Но он лучше достанет свою смятую пачку, там вроде еще оставалась одна сигарета, да, вот она. Кривая, увечная, почти сломанная, но он ее выправил, разгладил, заку-

рил — смотри-ка, тянется. При ближайшем рассмотрении в пачке обнаружилась еще одна сигарета, сломанная, — он скрепя сердце выбросил пачку; голод курильщика, память о нем засела глубже, чем память о простом голоде, засела так же глубоко, как память об исповедальне и о Герлиндином «помилуем друг друга», так же глубоко, как прельный запах осенней листвы в Дрездене; это память об унижительных «собеседованиях», а по сути — допросах, когда какой-нибудь хлыщ, пуская струи ароматного дыма прямо ему в лицо, одну за одной потягивал превосходные виргинские сигареты и небрежно швырял их куда-то за спину, на пол, почти целехонькие, не докурив и до половины; он помнит, чего стоило тогда отказаться от предложенной сигареты, но он догадывался: сигаретой у него хотят выманить признание в том, чего он никогда не совершал. Он и ведать не ведал, что его крестный, дядюшка Фридрих, которого он и не помнил толком — ну, объявлялся иногда на день рождения, приносил подарки, — что этот дядюшка именно ему завещал «Бевенихский листок» и что никто, никто из его родичей ни разу не приложил руку к пресловутой ариизации. Да, в январе сорок пятого он участвовал в войсковых передвижениях, а проще говоря, то и дело отступал в районе баварско-чешской границы, но не более того, хотя и не менее; да, диплом он защитил по теме «Прирейнская сельская архитектура XIX века» и только здесь, в лагере, узнал, что является законным владельцем «Бевенихского листка». Эти сигареты, груды виргинских сигарет, которые они выбрасывали, можно сказать, едва пригубив, — об этом он мог рассказать только Кэте, больше никому, тем паче Блямпу, хоть именно там, в лагере, они и познакомились. Вот уж кто действительно был нацист (текстиль, они всей семьей по уши увязли в текстиле) и всегда и всюду, во «всех житейских передрягах», как он сам бахвалился, «имел все наилучшее» — в военное и мирное время, в плену и на воле, в хижинах и дворцах «всегда имел только все наилучшее». В лагере он безошибочно учуял самого продажного офицера и посулил тому выгодные сделки, в которых он, Блямп, готов был посредничать. Земельные участки, застроенные и незастроенные, с разрушенными и уцелевшими домовладениями, он точно знал, сколько долларов и кому надо предлагать, благо вся поземельная книга округа Доберах была у него в голове, знал, где окопались самые злостные нацисты, даром что сам из их числа, как и у кого из их домочадцев, а то и у них самих, трусливо прятавшихся по подвалам, откупить за добрые старые доллары их дома и участки в порядке, как он выражался,

«деаризации» — через посредников, разумеется; а с долларами те могли благополучно смыться на все четыре стороны, так что Блямп одним выстрелом убивал двух зайцев: нацистам помогал бежать, офицеру — обогащаться, и, понятное дело, вправе был рассчитывать на комиссионные, с обеих сторон и, само собой, в долларах, на которые он тоже мог то тут, то там отхватить участок, само собой, через подставных лиц, кто же в ту пору разрешил бы нацисту такого калибра приобретать участки прямо из лагеря. Ходили темные слухи, будто Блямп в сопровождении небольшой, но дружной команды американцев «чистил» подвалы разбомбленных банков, если верить слухам, они просто подъезжали на бронетранспортере, взламывали сейфы и несгораемые шкафы, гребли все подчистую, «гребли деньги и ценности чуть ли не лопатой», благо вокруг царили хаос и запустение; вскорости Блямп был уже своим человеком в комендантском бараке, ему разрешали звонить по телефону, отлучаться из лагеря, американцы всюду таскали его с собой, и в бордель тоже, и это в ту пору, когда все, все они, стоило им завидеть женщину, даже издалека, какую ни на есть, готовы были чуть ли не разрыдаться; их, соседей по бараку, он пичкал хвастливыми подсчетами своих эрекций, целыми блоками приносил сигареты и в знак особой милости разрешал иногда понюхать, чем доводил их до иступления; вот так этот «текстильный гений» сделался гением недвижимости; глядя на него, совсем нетрудно было представить, как он орудует под сводами банковских подвалов. А вскоре его сделали — как же это тогда называлось? — «окружным текстиль-уполномоченным».

Нет, Блямп слишком хорошо знает его слабость к табаку, он и сейчас, стоит закурить, ухмыляется и многозначительно бормочет себе под нос: «О, Виргиния! Ах Виргиния!»; и всюду у Блямпа свои люди, всюду у него есть прикрытие — в верхах и в тылах, по эту, а может статься, и по ту сторону океана, нет, такого с кашей не съешь; конечно, не только Блямп, все они знают о его слабости, но не знают, откуда она, — только Кэте, ей он все рассказал, но даже ей невдомек, что с сигаретами все обстоит точно так же, как с молочным супом: ему не воскресить тот вкус, тот запах, тот виргинский аромат — его не вернешь, сколько ни ищи, сколько ни гонись за ним, а он и курит-то, может быть, только для того, чтобы его вернуть, но, увы, тщетно.

За лесом уже сумерки, в розовом закатном небе сереют кроны старых деревьев, могучих вековых исполинов, к которым скоро полетит сова; деревья дороги ему больше, чем замок, он иной раз спрашивает себя: не из-за деревьев

ли купил все имение, ведь в Айкельхофе были почти такие же; бесшумно и уверенно пролетела сова, быть может, та самая, что жила у них в Айкельхофе и по вечерам вылетала из башенки, устремляясь к кромке леса, а они с Кэте провожали ее глазами. В первый раз, когда сова призрачной тенью отделилась от башенки, Кэте испугалась, вцепилась ему в плечо и прошептала: «Уедем отсюда! Уедем!»— за двадцать лет до того, как им и вправду пришлось уезжать. Еще она боится совиных криков, и перед грозой, когда вороны и скворцы, внезапно снявшись со своих гнезд, стремительно улетают куда-то вдаль, она и теперь испуганно вцепляется ему в плечо.

Ничто не омрачает вида за окном, не слышно ни отъезжающих машин, ни ровного гудения лифта, ни сытого хохота Блямпа, способного заглушить даже лифт, этих триумфальных раскатов смеха, с которыми он всем и каждому возвещал, как ему наконец-то удалось добиться избрания «одного из старейших наших членов, одного из лучших в наших рядах», и это в ситуации, когда отвод или самоотвод был совершенно исключен, просто невозможен— наготове было множество штампованных аргументов, которые он сам же был вынужден отбарабанить в своих интервью: «В час наивысшей опасности... Когда каждый из нас выдерживает проверку на прочность... Наша стойкость...» Разумеется, тут самое время выбрать именно его, наиболее уязвимого, самого слабого, к тому же повязанного с «теми» узами родства, именно его и как раз в ту пору, когда любому ясно, что родственные узы только усугубляют его уязвимость,— и все равно ни в частной беседе, ни наедине с собой, ни тем более публично он не отрекся от Рольфа. Это был вопрос, публичного ответа на который более всего страшились его друзья и враги и менее всего— он сам; все видео- и магнитные пленки запечатлели одни и те же стереотипные формулировки:

— Это мой сын, он преступил закон, понес заслуженное наказание и с тех пор живет в согласии с законом.

Его так и подмывало, впадая в библейский пафос, возгласить: «Сей есть сын мой наивозлюбленный, в котором мое благоволение». И даже вопрос о Веронике был ему нипочем:

— Это моя бывшая невестка, ее подозревают в тяжких преступлениях, местонахождение ее неизвестно. При разводе, еще до преступлений, суд присудил ей моего внука, который исчез вместе с ней. Да, у него наша фамилия, моя и моего сына.

«Заблудшие дети?»— нет, это не те слова, ему иногда кажется, что они пришельцы из иных галактик, обитатели других планет, тут не годятся обычные мерки и обычные слова. «Безумцы?» Опять-таки слишком житейское, слыш-

ком земное определение. Да, с Беверло он тоже знаком, тот нередко бывал у него в гостях и казался ему очень милым. «Милым?» Да, «милый» ведь тоже понятие растяжимое, оно мало что говорит о самом человеке, о том, чего от него ждать, на что он способен. Пожалуй, на «милых» не следовало бы слишком полагаться. В конце концов, преступность ведь не сегодня родилась, да и убийство со времен Авеля тоже не бог весть какая новость.

Рано или поздно они его все равно «достанут». (Кто? Когда? Как?) Нет, страх не возвращался, его окончательно вытеснило любопытство, в глубине которого, впрочем, уже копошился другой, новый страх— изгнание из Тольмсовена. Вполне вероятно, что Блямп просто решил его использовать как подсадную утку— старик, немощный и больной, доходяга, такой только и годится на роль жертвы, такого сам бог велел выкатить под пули— на лестницу, в инвалидном кресле. «Броненосец Потемкин». Не какой-нибудь пошлый буржуй с бычьим загривком— добренький, седовласый, культурный, милый старичок, такого очень бы украсил терновый венец. Но он не хочет никакого венца, он предпочел бы спокойно пить чай и наблюдать за полетом птиц— элегантным и величавым парением крупных пернатых хищников и суетным, торопливым порханием прочих шустрокрылых, из которых ему особенно милы ласточки. И чтобы рядом, где-нибудь в уголке, сидела Кэте— с вязаньем или за роялем, на котором она иногда любит, хоть и не очень-то умеет, тренькать; и трое внучат, из которых сразу двоих зовут Хольгер, одному семь, он где-то далеко, в Ираке или в Ливане, а другому три, этот в Хубрайхене, в двадцати километрах отсюда, бойкий карапуз, а он даже не знает толком, какая у карапуза фамилия. Ему до сих пор так и не удалось выяснить, живет Рольф с Катариной просто так или все-таки женился. Неловко спрашивать об этом Хольцпуке, начальника охраны, и уж тем более неловко просить его навести справки. Кэте— та могла бы, она могла бы спросить Рольфа или Катарину напрямик, а он не решается, он заранее знает, что услышит в ответ: «Если тебя действительно интересуют эти формальности, если вся эта дребедень тебя хоть сколько-нибудь волнует,— пожалуйста, давай исключительно ради твоего спокойствия считать, что мы женаты (или не женаты). Ненужное зачеркнуть». Вопрос этот мог быть для них существенным лишь по тактическим соображениям и, разумеется, временно, из-за каких-нибудь бумаг, но помимо этих соображений никакого ин-

тереса не представлял, не стоил даже упоминания. Пожалуй— да нет, почти наверняка,— они не женаты, ведь тогда Катарине полагается какое-то пособие; но сам по себе «вопрос брака» их не интересовал, для них его просто не было. То есть в техническом и, как следствие, политическом смысле— конечно, но больше ни в каком. К религии и церкви они относились точно так же. Разумеется, они существуют, это не подлежит сомнению, но когда Рольф добавлял: «Как картошка, она ведь тоже растет», в самом сравнении слышался назидательный намек— дескать, картошка имеет природное право на существование, кроме того, от нее польза, человек ею кормится, но религия и церковь— какой от них прок? Они, безусловно, существуют, в этом не приходится сомневаться, но не более того. Тут просто не о чем говорить, не о чем спорить, а что отец Ройклер в Хубрайхене был к ним добр, дал им кров, принял их под свою защиту и покровительство, оградил от нарастающей, хотя и скрытой вражды, предоставил в их распоряжение свой огромный сад за смехотворно низкую «натуральную оплату» яблоками, картошкой и яйцами, так они объясняли его доброту отнюдь не религиозностью и тем паче не церковным саном, а его человеческими качествами, тем, что он— и притом именно вопреки религии и церкви— остался или стал человеком, да еще и подчеркивали, что отсутствие доброты в данном случае было бы куда «типичней»; они даже готовы признать, что благодарны ему, вообще считают его «очень милым и человеческим», но, в конце концов, встречаются очень милые и человеческие капиталисты и даже милые советские коммунисты, милые либералы, и сами они в некотором роде тоже вполне милые люди.

Откуда это в них— для него загадка; ведь все, все они— Рольф и Катарина, Вероника и даже Беверло— лет десять назад были всерьез верующими, почти ревностными прихожанами, и разве что пресловутое «один или с кем-то» не мучило их до такой степени, как его в их годы; яростное негодование против церкви, ненависть к религии, стремление опровергать ее с пеной у рта, оскорблять чувства других верующих, например Кэте и Сабины, в которых эти чувства еще столь живы, да и его собственные, пусть они живы больше в воспоминаниях,— это он еще мог бы понять; но им даже воспоминание не причиняет боли, вот они и стали в его глазах «инопланетянами», пришельцами с другой звезды, из иных галактик. Хотя ведь ему не горек чай, который он у них пьет, и хлеб, что он у них ест, и яблоки, которые они кладут ему в машину; ведь это его дети, а чай, хлеб, суп и яблоки— все такое

земное и здешнее. Но его страшит неземная чуждость их мыслей и дел. Не холодом от них веет, а именно чуждостью, от которой можно ждать всего, в том числе и внезапного выстрела, и взрыва гранаты,— но все же и этот страх сменился теперь любопытством: Рольф, его родной сын, который выращивает помидоры, окапывает яблони, держит кур, сажает картошку в Хубрайхене, в роскошном старом саду священника за высокой каменной стеной; а живут в лачуге, иначе не скажешь, хотя лачуга на вид даже веселенькая, они ее покрасили, и герань в окошках; с красным эмалированным бидоном ходят по вечерам за молоком к крестьянину Гермесу, иногда заглядывают в один из двух деревенских кабачков, пьют пиво, и Хольгер с ними— ему берут лимонад,— прямо-таки идиллия, сплошная идиллия без малейшего привкуса горечи. Они давно уже не пытаются растолковать крестьянам и рабочим *свою*, да, именно «свою» модель социализма, не реагируют на оскорбительные пьяные выкрики, не заводят разговоров о сельскохозяйственной политике, забастовках и дорожном строительстве, не вступают в беседы с заносчивыми болтливymi юнцами-мотоциклистами, улыбаются, потягивают пиво, говорят о погоде; и все же за всем этим— где? в чем?— за всей этой идиллической оболочкой, в которой даже намек нет на искусственность (сияющий свежей побелкой домик, зеленые ставни, красная герань), таится нечто, отчего впору прийти в ужас: какое-то жуткое спокойствие, уверенность и ожидание— но чего, чего? Катарина по-прежнему без работы, правда, несколько деревенских женщин доверяют ей своих детей, она ходит с ними гулять, в лес и в поле, рассказывает им сказки, а в дождливые дни в доме священника, в зале занимается с ними гимнастикой, учит танцевать и петь,— разумеется, ей за это платят,— и когда он думает о Рольфе и Катарине, об этом их жутковатом спокойствии, на смену страху приходит не только любопытство, но и зависть. Они под надзором, но хоть не под охраной, и ему иной раз кажется, что такая жизнь много лучше, ведь с тех пор, как Вероника начала им звонить, все они— он, Кэте и Сабина— угодили и под охрану, и под надзор. Рольф, тот, похоже, вполне освоился, видно, и вправду что-то смыслит в моторах, если у кого забарахлит трактор или там «хонда»¹, его частенько зовут на подмогу, и машину священника он держит в большом порядке, а миляга священник приглашает их в гости, то на кофе, то на рюмочку,— правда, от разговоров на религиозные темы упорно уклоняется.

¹ Марка мотоцикла.

Трудно поверить, что оба они— и Рольф и Катарина— еще каких-нибудь двенадцать, даже десять лет назад ходили в церковь, к Кольшрёдеру: милые, симпатичные молодые люди с молитвенником под мышкой, и это в те годы, когда Кольшрёдер куда более гневно, чем сейчас, клеймил упадок нравов. И их ничуть, нисколько не задевает, что теперь сам Кольшрёдер стал жертвой этого упадка. Они находят абсолютно «логичным», что он спит со своей Гертой,— правда, «логичным» в другом смысле, нежели крестьяне, те все списывают на природу. Их совершенно не возмущает, не оскорбляет их вкус (для них это не вопрос вкуса), что молоденькие девушки, желая чего-то добиться от Кольшрёдера— выпросить церковный зал для танцев, кинофильма, наконец, просто для молодежного диспута,— идут к нему и без всякого стеснения «дают на себя посмотреть», с большей или меньшей откровенностью «показываются», иной раз даже в присутствии Герты. Рольф и Катарина не считают это мерзостью, впрочем, естественным тоже не считают,— просто, на их взгляд, таков уж сам «порядок» и «условия», подчиняющие человека «порядку», а естественного тут, конечно, и в помине нет; они усматривают тут совершенно особую форму угнетения, симптом распада и гнилости, и их почти радует, что симптом проявляется столь неприкрыто. Они и Ройклеру, своему милому священнику, прочат сходную участь,— дескать, он тоже жертва системы, и ему тоже придется тяжело, только он, мол, не станет предаваться буржуазной похоти, а просто сложит с себя сан; по нему и сейчас видно, достаточно взглянуть, как он держится с женщинами и девочками— с какой-то скорбной болью, отрешенно и скованно; конечно, он им нравится, и они бы рады его выручить, подыскать ему хорошенькую девицу или молодую женщину, чтобы он с ней сбежал. Они, кстати, не считают, что Кольшрёдер в своем роде «тоже человек»,— напротив, он, по их мнению, в классическом виде воплощает и реализует в себе бесчеловечность системы. Бесчеловечность же проявляется в том, что человека на «законных основаниях» обездоливают, да еще в рамках правовой системы, которая имеет свое, особое правосудие, и все это в демократическом (ха-ха!) государстве: сперва с него берут обет целомудрия, а потом втихаря позволяют держать при себе Герту и сквозь пальцы смотрят на сомнительные забавы с девочками, и эта негласная терпимость во сто крат унижительнее, потому что в любую минуту против него можно использовать обе формы права— церковное, а при необходимости и мирское, ибо если это правда, что девчонки дают ему «на себя

посмотреть», то ничего не стоит подвести эти шалости под статью «принудительное растление»,— с учителем-леваком они бы наверняка так и обошлись, пожелай он хоть разок полюбоваться прелестями своей ученицы.

И все же в них сохранилась деликатность милосердия и способность сострадать, которую милосердие дарует: в присутствии Сабины или Кэте они никогда не говорили о Кольшрёдере, не говорили о Ройклере, с которым и правда были ужасно милы— Рольф присматривал за его машиной, ремонтировал ему дом, не дом, а прямо хоромы, двенадцать комнат, из которых восемь пустуют, они усматривали в этом «беззастенчивый подкуп квартирными ценами». Совестьному человеку— а Ройклер, в отличие от Кольшрёдера, человек совестливый— тут есть от чего сойти с ума: иметь под боком восемь пустующих комнат, зная, пусть хотя бы приблизительно, во что людям обходится плата за жилье, восемь свободных, полностью обставленных комнат, в том числе епископская, где за последние шестнадцать лет его преосвященство соизволило однажды даже не переночевать, а всего лишь переодеться, эти восемь комнат, которые Ройклер не имел права сдать, куда он не имел права никого впустить даже задаром,— на языке Рольфа и Катарины это был самый настоящий «шантаж посредством ритуальных традиций, выродившихся в бездумное расточительство». Ройклер охотно уступил бы им часть своего дома, но не имел права, он мог отдать им только сторожку в саду, две комнатки с верандой и кухней, примерно в пять раз меньше той площади, что пустовала у него в доме. «Нигилизм,— говорил Рольф,— какой ни одному нигилисту и не снился».

Как бы там ни было, они с Ройклером прекрасно ладили, держались с ним дружелюбно, хотя и на свой жутковато-спокойный лад, подчеркнуто ровно, на удивление благоразумно, а подчас и с неожиданной сердечностью. И все же, наверно, все это лишь маскировка. Наверно, они решили годика три-четыре отсидеться в Хубрайхене, пожить в своем побеленном домике с зелеными ставнями и геранью в окошках, добиться доверия и уважения окружающих. С Рольфом уже советовались насчет огорода, с Катариной— насчет детей (прилежание, основательность, упорство— этого им не занимать!), и все же в один прекрасный день, поднакопив этого незримого, этого жутковатого спокойствия, они ударят из засады,— нет, отречься он от них никогда не отречется, но ручаться за них он тоже бы не стал.

А вдруг кто-то из них— Рольф или Катарина— и есть тот самый «кто?». Возможно ли? А почему бы и нет? По-

жалуй, скорее уж Рольф, чем Катарина, в Катарине все-таки есть то душевное тепло, то самое, которое он, но только про себя (вслух он никогда бы такого не произнес, даже сквозь двурядность мыслей), называл «коммунистическим теплом», оно напоминало ему о коммунистах времен его детства, времен его юности— о Хельге Циммерляйн, например, его сокурснице, которая умерла в заключении, или о старике Лёре, единственном в их деревне, кто голосовал за Тельмана,— дети к нему так и липли, за что его и прозвали Крысоловом,— оно есть, это коммунистическое тепло, недаром его еще в студенческие годы так тянуло в красные кабачки.

Нет, скорее уж Рольф, чем Катарина,— у Рольфа в глазах какая-то непостижимая даль, подернутая странной дымкой скорби, плотной завесой, загадочной и почти непроницаемой, особенно когда он играет с сынишкой, с Хольгером, усаживает его на колени или, высыпав из мешочка кубики на пол, принимается строить с ним дом,— в такие минуты он подолгу держит сына на руках и в его взгляде застывает холодная нежность и чужая, нездешняя грусть. Есть что-то жуткое в этом омуте, подернутом ледком нежности и скорби,— такими же глазами он смотрит на Катарину, когда мельком трогает ее за плечо или касается ее руки, давая ей прикурить, принимая у нее чашку,— как же далеки эти мимолетные ласки от вороватой блудливости аналогичных жестов Кольшрёдера! В них говорит немота отчаяния, немота обреченной и давней решимости— только вот на что?

Конечно, то была роковая ошибка судьбы— отпустить его учиться банковскому делу вместе с Беверло, но ведь он так об этом просил. А потом— он ведь даже устроился на работу в один из филиалов Блямпа, был тих и прилежен, пока не начал швыряться камнями, переворачивать и поджигать машины, за коим занятием и познакомился с Вероникой. Он никогда не говорит о своем старшем сыне, не упоминает о Веронике и Беверло, но по сей день от корки до корки прочитывает все биржевые и экономические разделы в газетах и завел странную, неприятную манеру за чашкой чая или кофе, за стаканом молока ни с того ни с сего сухим и отрешенным шепотом изрекать:

— В сегодняшней газете я между строк обнаружил сотню покойников. Впрочем, возможно, только девяносто девять, но не исключено, что и сто двадцать.

Это звучало холодно, точно, информативно— словно штабная сводка из района боевых действий. Рольф тоже так и не сумел растолковать ему «экономические процессы», как любил выражаться Кортшеде,— даже те эконо-

мические процессы, что разыгрывались в «Листке» и вокруг «Листка», он никогда в них толком не разбирался, отгораживался от них. А почему, он и сам до сих пор гадает— то ли от лени, то ли из безразличия? Амплангеры, сперва старший, потом младший, отбили у него всякий интерес к этому делу, они ему заявляли: «Вы уж предоставьте это нам».

Блуртмель, к счастью, человек с юмором, что он неоднократно доказывал точными и остроумными репликами, когда вел машину, накрывал на стол, во время массажа, купанья или одеванья,— это юмор опытного массажиста, который досконально изучил чувствительность своего пациента, знает, какие границы переступать не следует и как, не причиняя боли, затронуть самый больной нерв. Он мог, например, как бы невзначай обронить:

— Все-таки позволю себе заметить, что господина генерального директора Блямпа жизнь никогда не была, как вас, и не будет бить.

Блуртмель обнаруживал едва различимые отметины времен детства и юности, военных и послевоенных лет, времен плена, нащупывая следы забытых болезней кишечника и желудка, следы малярии и тифа, шрамы и пустяковые царапины, и приговаривал:

— Все это глубоко сидит, не просто под кожей, а куда глубже. Нет, господин доктор, толстокожим вас никак не назовешь.

Это, конечно, опять-таки был камушек в огород Блямпа. Блуртмель говорил даже о «грузе ответственности», который они «сами тащить не хотят, вот на вас и взвалили», и, похоже, намекал, что именно тут первопричина свинцовой тяжести в его ногах,— отвращение к «Листку», смертная скука, что охватывает его в те редкие часы, когда он сидит за своим огромным письменным столом, давно уже ничего, ничегошеньки не решая; он обронил «Листок», выпустил из рук, а другие подобрали, он лишь номинально числился хозяином, а заправлял делами старший Амплангер по указке Блямпа. Он только муляж, имитация самого себя и незаменим в этом качестве; клюнул на верняк, на легкие барыши, на куш пожирнее,— все-таки у Блуртмеля удивительные руки, от них проясняется в голове, не то что от расспросов Гребницера, тот иногда беседует с ним часами, но так ни разу и не нащупал корней недуга; дело ведь не в органических изменениях, в конце концов, и инфаркта у него не было, и кровь превосходная— откуда же этот свинцовый холод в костях? Временами, сидя за своим письменным столом— воплощение бессилия в «цитадели власти», в самом «сердце капитализ-

ма», — он не на шутку боится, что его и правда разобьет паралич, богатство его будет неотвратимо пухнуть и расти, а сам он, озабоченный лишь тем, как бы не извести лишнюю сигарету, впадет в абсолютную неподвижность.

И вот новый пост, на котором от него тем более не ждут самостоятельных решений, даже если предположить, что он на такие способен. Они — не только Блямп, но и Поттзикер, и Климм, а особенно Амплангер — вполне ясно дали понять: он хорошо сыграл свою роль. Блямп неспроста, конечно, упомянул о культурном разделе в газетах — это недвусмысленный и ехидный намек на статьи, которые он, Тольм, от случая к случаю печатает в «Листке»: Босх, Дали и тому подобное. В его лице объединение наконец-то получило «культурного» президента, то есть нечто сугубо для дам.

Блуртмель постукал, услышал слабое «да-да», вошел и сообщил:

— Ванна готова.

Он явно сконфужен и, конечно же, никогда больше не откроет дверь столь неловко, не выставит хозяина обесилевшим стариком, который валится с ног на пороге, — никогда. Он смущен этой своей промашкой, первой за семь лет, но, вероятно, Хольцпуке лично взял его в оборот, отдавал ему приказы по переговорному устройству: «Доктор Тольм, наш президент, очень устал, он из последних сил взбирается по лестнице, теперь он на площадке, берется за ручку — пора!» — вот он едва и не очутился у Блуртмеля в объятиях. С такой же скрупулезностью и покушения готовят: загадочный «КТО?» сразу принял новое обличье, материализовался в вопросе: а если это Блуртмель? Почему бы и нет? Он улыбнулся Блуртмелю и медленно встал. Разумеется, о Блуртмеле все известно: анкета и биография, вкусы и привычки, известно, кто его подруга, анкета и биография этой подруги, ее привычки и вкусы — но мыслей-то его не знает никто. Кому дано оценить и предугадать, на что способен этот деликатный, чувствительный и потому, вероятно, душевно неустойчивый человек? Уж он-то наверняка достаточно сведущ в анатомии, чтобы придушить старика в ванной и не оставить никаких улик, инсценировав заурядную смерть вследствие очевидного одряхления. Инцидент с дверью его насторожил, прежде Блуртмель никогда не посягал на его самостоятельность в некоторых вещах, позволяя ему собственноручно открывать дверь, закуривать, производить необходимые гигиенические манипуляции в уборной. Ведь

вот и Кортшеде он больше двадцати лет знает— утонченного и изящного Кортшеде, который с тихим величием правит своей империей (сталь и бумага, банки и недвижимость) и который, оказывается, разрешил прослушивать шепот своего любимого Петера.

— Да, сейчас иду,— сказал он, улыбнулся и подумал: «Нет, еще не сегодня, сегодня уж точно нет».

II

Она все-таки отправила Блюм вместе с Кит за молоком, хоть молоко ей сегодня не нужно и с собой она его тоже не возьмет; Кит настаивала на этом ритуале, непременно сама хотела нести бидон, по крайней мере в один конец, пока бидон пустой, и полдороги обратно. Все-таки два литра для нее еще тяжеловато. Она обожает смотреть на корову, ей нравится теплый дух стойла, а для Блюм эти походы за молоком—желанный предлог «перемолвиться словечком» с Беерецами, они примерно ровесники, всем около шестидесяти, к тому же состоят в каком-то дальнем родстве, и у них всегда найдется что обсудить из прошлого, настоящего и будущего: каким, например, будет Блорр через десять, а то и двадцать лет, ежели строительство вилл и дорог и дальше пойдет нынешними темпами. Или в который раз погадать, кто же из тридцати четырех избирателей деревни сподобился голосовать за СДПГ, целых семь голосов, и тут, как ни раскинь, все равно подозрение падало только на новеньких, тех, что арендовали и отремонтировали бывший дом священника,— люди они, конечно, симпатичные, но их не поймешь, на вид очень даже либеральные, но голосуют наверняка не за либералов, Блёмеры— он архитектор, она адвокатша, дети уже взрослые, четыре машины, а еще брат адвокатши, вечно с трубкой, этот, судя по всему, вообще ничего не делает, только по дому и в саду,— вместе с совершеннолетними детьми как раз семеро и выходит. Главное, у них всегда найдется что обсудить, да и дорога в оба конца займет полчаса, а то, глядишь, и больше— ей надо побыть одной до прихода мамы, до прихода ее славной Кэте, надо мысленно попрощаться с Блорром, и тут она поймала себя на том, что думает о молоке: будет ли Эрвин его пить, поставит ли ему Блюм его любимую сладкую простоквашу, куда вообще девать эти последние два литра из многих и многих литров молока, что они брали у Беерецев, по два литра целых пять лет ежедневно, это ведь тонны получают. Но ей не до вычислений, слишком она взвинченна, опять этот страх, на сей раз снизу вверх, слов-

но горячая волна, возникшая где-то в пятках, вздымается по ногам, захлестывает живот, тяжелым душным угаром теснит грудь, пока не доберется до головы; а иногда, наоборот, волна идет сверху вниз, сперва ударяет в голову и потом медленно сползает к ногам,— а Гребницер, которому отец по-прежнему верит безоговорочно, только одно и твердит: это от беременности. Конечно, от беременности бывают всякие страхи, но у нее, она чувствует, это вовсе не от беременности, нет, это совсем другой страх, не тот, привычный, ставший повседневным страх, что они похитят Кит, а может, и ее, или попросту прикончат ее, Эрвина, а то и всех их вместе (она представила, как кто-то перечеркивает ее фотографию и пишет под ней: «отработано»), не тот непостижимый, безотчетный, хотя и вполне отчетливый страх, а совсем другой— осязаемый, близкий, определенный, а она никому не может о нем поведать. Сразу на два страха, да еще такой силы, ее просто не хватает, потому, наверно, прежний безотчетный страх вытесняется другим, новым, осязаемым. И так уже три месяца, с тех пор как она окончательно убедилась, что беременна, и не от Эрвина, который до того четыре месяца ни разу к ней не приблизился, во всяком случае так, чтобы от этого можно было забеременеть.

Иногда она даже подумывала о самоубийстве: выпить какую-нибудь дрянь — и дело с концом. Удерживало ее не столько твердое, с детства укоренившееся сознание, что это тяжкий грех, а скорее мысли о Кит, о Хуберте, о родителях и братьях, даже о Катарине и племянниках, — и только в последнюю очередь, в наименьшей мере, это она прекрасно понимала, ее удерживала мысль об Эрвине Фишере, ее муже. Уйти от него ей совсем нетрудно, и вот она решила уйти ни с кем не посоветовавшись — просто отослала Блюм и Кит за молоком, как будто все по-старому. Но по-старому ничего, ничего больше не будет. На сей раз их отправился сопровождать Кюблер, он тоже, как и все прежние охранники, как и Хуберт, вежливо отклонит неизменное предложение зайти в дом и пропустить рюмочку, останется во дворе, сосредоточенный, неприступно корректный, не выпуская из вида калитку и ворота; а ее тем временем столь же бдительно охраняет Ронер, этот не выпускает из виду уязвимые точки коттеджа — террасу, на которой она сейчас стоит и смотрит на деревню, и заднюю дверь, что ведет в сад. Больше всего все они не любят сумерки, из-за этого сейчас, поздней осенью, походы за молоком пришлось перенести на пораньше, но все равно, сколько бы она ни надеялась, что Блюм, как обычно, заболтается, до наступления сумерек здесь оставаться

нельзя, иначе опять будут неприятности с Хольцпукером— тот не то чтобы злится, но не может сдержать недовольства, когда они не соблюдают его советов и указаний, он снова и снова твердит— и с полным правом, она знает по Хуберту,— что у его людей нервы на пределе, что их привлекают к ответственности, если... Ведь, в конце концов, вся эта история с именованным торгом Плифгера совсем не шуточки, отцу и так уже снятся летающие тарелки, которые будто бы пикируют на них с Кэте, а недавно, после того случая с уткой, он уже и птиц стал бояться, да вон и старик Кортшеде от щелчка зажигалки чуть с ума не сошел. И еще эта пачка сигарет у Плутатти— жуть.

Она за Хуберта боится, не за себя; она-то уж как-нибудь разделается с Эрвином и всей кликой, переживет скандал и вой своры Цуммерлинга; она рада ребенку, который так весело бузит у нее в животе, но она боится за его отца, за Хуберта, за того, с кем уже полтора месяца не может даже словом перемолвиться; с тех пор, как он стал охранять отца и Кэте, ей удавалось лишь несколько раз мельком увидеть его силуэт, скорее даже почти тень на верхней лестничной площадке замка, но ни поговорить с ним, ни позвонить, ни написать ему она не смеет— из-за Вероники она не только под охраной, но и под надзором, хорошо еще, ни отец, ни Рольф, ни Кэте не проболтались, что она и с этим Беверло когда-то дружила, ведь он же был любимчиком отца и другом Рольфа, чьей женой была тогда Вероника.

Она и за Хельгу боится, жену Хуберта, хоть совсем ее не знает, знает только, что блондинка, очень добрая и что зовут ее Хельгой; а еще знает, что у них есть сын, милый мальчуган, зовут его Бернхардом и скоро ему к первому причастию идти; она знает адрес, но поехать туда, конечно же, нельзя, Кюблер и Ронер, новые охранники, глаз с нее не спускают, ведь не может же она под охраной Кюблера или Ронера заявиться к Хуберту, встать перед домом и ждать, пока не выйдет Хельга с Бернхардом. Развод— нет, для Хуберта это исключено, а Эрвин, тот все еще так и пыжится от гордости, думая, что она на третьем месяце, когда на самом деле пошел уже шестой.

Четыре месяца его не было— Сингапур, Панама, Джаркарта, Гонконг, трудные переговоры в интересах «Пчелиного улья», его благословенной фирмы, налаживал производственные связи филиалов, выискивал подрядчиков, руководил монтажом оборудования, вербовал нужных людей, с успехом завершил все эти важные мероприятия и сияющий вернулся домой. Надо и с Эрвином поговорить, пока он случайно не встретится с Гребницером и тот

не поздравит его «с пополнением», которое состоится через четыре месяца и которого Эрвин ожидает только через шесть,— здорового малыша, от здоровой матери и здорового отца. «А приступы дурноты у вашей супруги пусть вас не беспокоят, это нормально, это в порядке вещей». Эрвин успел уже великодушно заявить: «Даже если снова будет девочка— все равно устроим праздник!» Разумеется, он пригласит прессу, в первую очередь позаботится о журналах: «Пополнение в «Пчелином улье», пополнение в избушке Фишеров»,— «избушкой» они называют их роскошную виллу. «Новая радость у нашей многообещающей наездницы Сабины Фишер из рода Тольм, одной из самых охраняемых женщин страны!» Теперь все это пойдет насмарку, ни шампанского, ни фейерверка в саду; где-то в укромном месте— только где? где?— она разрешится от бремени сыном или дочерью полицейского. Где? Наверняка не здесь, в Блорре, наверно, и не в Тольмсховене, тогда, может, у Рольфа, если там найдется для нее комнатка? С Катариной вполне можно об этом поговорить, да и с Рольфом, пожалуй, тоже, но сперва надо все сказать Хуберту, нельзя посвящать в это других, не сказав ему, нельзя ничего решать без него, без Хельги и Бернхарда, обязательно надо поговорить с Хубертом, пока эти не пронюхали и не начали распускать слухи,— тут ведь еще одно, и для Хуберта это так же серьезно, как и для Хольцпукке: «злоупотребление служебным долгом».

Если бы Хуберт был не так серьезен: но он ей нравится какой есть, нравится до смерти, она просто сохнет по нему и не убоилась бы никакого скандала, хоть сейчас подошла бы к нему и при всех повисла у него на шее, если бы не Хельга и Бернхард; нет, только не это, она не хочет причинять боль женщине, которую совсем не знает, которая ничего ей не сделала и наверняка не сделает,— вот бы просто поехать к ней, поговорить, но через голову Хуберта она не может, не имеет права.

Хорошо, что сейчас приедет мама, ее дорогая Кэте, приедет и заберет ее к себе, в Тольмсховен; там он будет с ней рядом, и уж там-то она улучит возможность с ним поговорить.

Еще задолго до того, как Эрвин уехал «доводить до ума» свои «производственные циклы», или как они там еще называются, все, что было между ними, не доставляло ей особой радости. Всякий раз он с пугливой предусмотрительностью, а то и раздраженно спрашивал: «А ты приняла?»— хоть и знал, что она боится этих пилюль, да и

вера не позволяет, но она глотала, и только после ее утвердительного кивка он подступал к ней с ласками; а у нее все чаще пропадало настроение, возникало не то чтобы отвращение или ненависть, но что-то другое, отчего настроение никак не возвращалось,— наверно, жалость к этому мужчине, который, казалось, излучает спортивность, слывет превосходным наездником, танцором, теннисистом, даже яхтсменом, а недавно увлекся еще и полетами на воздушных шарах и водными лыжами и который никак не может... (даже в мыслях ей не удается произнести некоторые вульгарные словечки, которыми кишат иные страницы иллюстрированных журналов и описания неживых, сплошь подстроенных порноцен в бульварных книжонках, словечки, которые ей приходилось слышать и на «непринужденных» светских приемах, и от своей бывшей соседки Эрны Бройер), жалость к этому мужчине, которому так трудно добраться до своего счастья, иной раз у него совсем ничего не выходит, и он тогда во всем винит ее. С тех пор она не очень-то верит полушутливым признаниям, которые он нашептывал ей, вернувшись из очередного вояжа, из Лондона или Бангкока: «Небось сама догадываешься, на что способен одинокий мужчина, которого занесло в такую даль от его сладкой женушки...» Не очень-то ей верится, но слушать все равно противно, не важно, правда или нет, а от «сладкой женушки» ее просто тошнит, и она порой спрашивала себя, а знает ли он, на что может быть способна одинокая женщина, хотя вовсе не думала о чем-то таком, что ее соседка, Эрна Бройер, без обиняков припечатывает матерным словом. С недавних пор слово это перестало считаться запретным и на светских раутах, где иные дамы из самых, так сказать, респектабельных кругов любили поразглагольствовать о своих «титках», а мужчин называли не иначе как «фрайерами». С этими «фрайерами» они охотно ездили поразвлекаться в азиатские страны, в «теплые края», где процветают совсем иные, нежели в Европе, любовные нравы. Нет, она не станет клясть свое воспитание, ругать строгих монахинь, но что-то в ней треснуло и надломилось в тот день, когда она попыталась облегчить душу у Кольтшрёдера. Он до того настойчиво интересовался подробностями, что у нее возникло мрачное подозрение, это было ужасно, мерзко, он хотел знать буквально обо всем, даже о том, что у нее было с Хубертом и как было! Но тут она просто вскочила и убежала, никогда, никогда больше никакой исповеди! Никогда, лучше уж поболтать с Эрной Бройер или у Фишеров, у родителей Эрвина, там частенько бывают в гостях такие веселые, элегантные, фриволь-

ные святые отцы, они бы только рассмеялись, признайся она на исповеди: «Я совершила прелюбодеяние». То были совсем другие святые отцы, в любую минуту готовые на своеобразный стриптиз церковника, они кичились безнаказанностью своих «устойчивых» любовных связей, иногда даже являлись в сопровождении партнерш. Куда ни глянь, всюду распад и тлен, а еще страх— не за собственную жизнь и не страх скандала, страх за Хельгу и Хуберта, для которого все это так же серьезно, как для нее, и не может быть по-другому, дай бог, чтобы ему больше повезло с исповедником...

А еще страх потерять добрых соседей, страх перед растушей неприязнью жителей Блорра, который из-за нее превратился в «притон легавых». После истории с именинным тортом Плифгера контроль еще больше ужесточили. Тут-то и раскрылся роман соседки Эрны Бройер с шофером ее мужа; такая милая, такая добрая, привлекательная женщина, не очень уже молодая, ближе к сорока, с ней так славно было поболтать у забора о цветах, о хозяйстве, обменяться кулинарными рецептами, получить в подарок пучок салата или головку цветной капусты, пригласить на чашечку кофе, а раньше, до того, как контроль ужесточили, она иногда за Кит приглядывала, простая, совершенно нормальная женщина, которая так переживала, что у нее нет детей, несколько театрально сетовала на свое «бесплодное лоно», уточняя при этом, что «муж тут ни при чем, у него дети от первого брака, это все я»; она очень милая, эта Эрна Бройер, родом из Хубрайхена, дочь того самого крестьянина Гермеса, у которого Рольф берет молоко, темноволосая, чуть располневшая красотка, она еще жаловалась, что «мой никогда не ходит со мной на танцы», они ее несколько раз приглашали, когда устраивали вечеринки с танцами в саду, на площадке у бассейна, с лампонами, шампанским, пуншем и прочими забавами, и Эрвин очень даже лихо с этой Эрной отплясывал, разгоряченная, чуть запыхавшаяся Эрна Бройер была наверху блаженства, и ее муж, он постарше, пожалуй за пятьдесят, тоже был наверху блаженства, просто сиял от удовольствия, что его Эрна наконец-то «как следует поразмялась». Очень милый получился вечер, они и других соседей позвали, Клобера, владельца автотранспортной фирмы с женой и семнадцатилетней дочкой, яркой поборницей пляжной моды «сверху без», что она доказывала не только в теории, но и на практике; Хельмфельда, редактора из «Листка», который глубокомысленно, судя по реакции остальных гостей, пожалуй, слишком глубокомысленно, рассуждал о терроризме. Даже Блюмы пришли, и

Беерецы прислали своего старшего сына, который много с ней танцевал. Эрн Бройер была совершенно счастлива в тот вечер, а ее муж с великодушной улыбкой старался не замечать поцелуев, которые она под шумок дарила Хельмсфельду,— позже, когда другие гости ушли, тот, оставшись на кофе, вовсю, хотя, на ее взгляд, совершенно напрасно напуская на себя иронию, восторгался «вульгарным эротическим шармом этой Бройер».

Но потом Цурмаку и Люлеру показалось подозрительным, что перед домом Бройеров слишком уж часто и в основном по утрам, между десятью и двенадцатью, останавливается серый «мерседес», оттуда вылезает молодой, по-юношески долговязый мужчина лет под тридцать, одетый не совсем так, как можно было бы ожидать от обычного посетителя дома Бройеров, слишком уж неприязненно, даже не в джинсах, а в дешевых вельветовых штанах, и длинноволосый свех той меры, которая тогда в модных журналах и даже в полиции считалась «нормальной» и допустимой; не то чтобы он был совсем нечесанный, этот парень, нет— просто степень его патлатости превышала общепринятую, к тому же, как выразился Цурмак, во всем его облике, в манере ходить враскачку, в движениях рук и плеч была какая-то «подозрительная разболтанность», какую ему, Цурмаку, прежде доводилось видеть только в фильмах о молодежных демонстрациях и беспорядках, им такие фильмы специально показывают, чтобы они учились распознавать «этих типов». Так вот, он не выглядел шалопаем из дискотеки, это трудно описать точнее, но была в его движениях не только юношеская вихлявость, но и какая-то угловатость,— словом, Цурмак усмотрел в его облике «что-то политическое». Визиты наносились не реже двух раз в неделю, и хотя по номеру серого «мерседеса» легко удалось установить, что это одна из машин Бройера, а молодой человек за рулем— его шофер, который часто ездит по всевозможным поручениям хозяина в банк, к клиентам, в учреждения и фирмы (Бройер был владельцем часового и ювелирного магазинов, как позже выяснилось, на грани банкротства, слишком уж широко он размахнулся, а часы и побрякушки себя не окупали, в этом деле в ту пору как раз наступил кризис),— разумеется, о парне деликатно, с предельной деликатностью навели справки: его звали Петер Шублер, бывший студент, изучал социологию, не доучился, участвовал в демонстрациях и даже швырял в полицейских помидорами, что документально зафиксировано на фото-пленке. А поскольку дом Бройеров стоит, можно сказать, вплотную к «избушке» Фишеров— женщины иной раз по

утрам махали друг другу из своих кухонь, а с террасы Бройеров можно было беспрепятственно и бесцеремонно разглядывать плавательный бассейн в саду Фишеров,— следовательно... Одного этого было достаточно, чтобы задуматься, не выполняет ли этот Шублер роль разведчика,— короче, когда в следующий раз серый «мерседес» остановился у калитки Бройеров, Цурмак выждал минут пять и направился вслед за посетителем, позвонил, подождал для порядка, снова позвонил и еще подождал; ну, а потом началась самая настоящая свара, потому что на третий звонок дверь наконец отворили, на пороге возник Шублер, мягко выражаясь, не вполне «корректно» одетый, за ним вышла Эрна Бройер в халатике и закатила сцену,— в общем, это была как раз одна из тех ситуаций, которые в старину называли «двусмысленными» или «щекотливыми». Этот человек, без стеснения заявила Эрна Бройер, ее любовник, и законом это пока что не запрещено. Она категорически требует, чтобы ее муж ничего не узнал. Но любовник— это ведь тоже может оказаться только прикрытием. Эти типы на все способны, а «поработать» в интересах дела любовником у такой красотики— подобным «заданием» вряд ли кто побрезгует.

Все, конечно, открылось, и тут Бройер уже не стал умиляться, на его взгляд это было слишком, он разошелся с Эрной; все кончилось зауряднейшим омерзительным скандалом со всеми вытекающими отсюда последствиями и лютой ненавистью к «этим Фишерам», ибо, «живи мы в другом месте, а не в этой дыре, где кишмя кишат легавые, никто бы ничего не узнал». Остальные соседи тоже стали нервничать из-за всей этой «вечной полицейской возни». Да и кому понравится, когда кругом на каждом шагу торчат полицейские с рациями и камерами. Блорр, эта крохотная деревенька, где всего-то и есть что двенадцать домов, четыре коттеджа, заброшенная часовня и ветхий дом священника, и так весь как на ладони, тут все друг друга знают и ни от кого не укроешься, а у кого, «у кого,— вопрошал Хельмсфельд,— нет своих маленьких тайн или, на худой конец, просто знакомых, чьи движения и манера держаться могут показаться предосудительными в политическом смысле»? У него, к примеру, есть подруга, Эрика Пёлер, ей около тридцати, так ее уже несколько раз подвергали не то чтобы допросу, но весьма обстоятельным собеседованиям, и все из-за того, что она слишком часто приезжает в Блорр и к тому же на машине дешевой марки, которая почему-то считается «студенческой»,— а эта Эрика, хоть она левых убеждений и социолог, ни теоретически, ни, упаси боже, практически не склонна к насилию, в каких бы формах оно ни проявлялось.

И Клобер, владелец автотранспортной фирмы, после скандала с Эрной Бройер тоже занервничал. Ведь и к нему нередко приезжают гости в солидных машинах, и тоже все больше по утрам, между десятью и двенадцатью, деловые партнеры, клиенты, и, как позже объяснил ей Хуберт, «он, вероятно, замешан во всяких темных делишках, может, контрабанда или уклонение от налогов, если не что похлеще, так что доскональная проверка его посетителей и их занятий ему вовсе не по душе, вот он и занервничал».

В конце концов, от них до Клоберов всего четыре гаражных крыши, из окна их ванной комнаты можно беспрепятственно наблюдать, как теперь уже восемнадцатилетняя Фридель Клобер, сидя на веранде, на практике доказывает свое пристрастие к моде «сверху без». Однажды она застучала за этим занятием Эрвина— из ванной он изучал девушку в бинокль и даже не подумал оторваться от окуляров, когда она вошла, только сосредоточенно пробормотал: «Черт, ишь, выставляется, но она может себе это позволить».

Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было, Хельмсфельд ныл, у Бройеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне— разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком, и не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блёмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают, они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю заткать пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как не бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка наведываться в гости— к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беерецам на кофе— и снова увидит Блорр, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться— но где? где?— от вездесущего надзора. Уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает, наверно, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным, у нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязаньем, а может, и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский, а вязать— уж что-что, а это она умеет, лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте,

не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить— переводы отец обеспечит,— только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии.

В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла: значит, смеркается. При мысли, что уже сегодня, очень скоро придется покинуть Блорр, ей вдруг стало больно, слезы сами покатались по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла, полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы— все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом: возьмишь у Хермансов лошадь, оседлаешь и— айда по полям и лесам.

Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить — ей ведь нужна охрана, кто-то должен ехать рядом, значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения— взять и отправиться вечером на концерт, особенно когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена, или на выставку, помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее «согласовывать» и, стало быть, спрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться.

Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный, крестьянин Херманс так про него и сказал: «Больно уж вьедливый», а все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны, и, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки, сколько лю-

дей в здешних лесах— и взрослые крестьяне, и детишки— подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разорвало, она пылко— может, чересчур пылко?— заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она, он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блорр ей уже не в радость: гулять— под конвоем, за молоком— под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу Богоматери,— под конвоем, помолиться Деве Марии— под конвоем, поболтать с крестьянами о Боге и о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве— все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны Бройер— ведь это прямое следствие мер безопасности; теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно, Шублер тоже ищет работу— и тоже безрезультатно. Бройер подал на развод, дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился, дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь именно потому, что пустует, с удвоенной строгостью, приезжающих покупателей подвергают проверке, разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блорр превратили в «полицейский участок», поговаривали даже о создании некоей инициативной группы «потерпевших от безопасности», к коей группе уже присоединились Клоберы,— по слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много.

А она тосковала по Хуберту, она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда в Тольмсховен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность, в крайнем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей— внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль: собрать всех этих людей в знак благодарности, можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр, тогда она сможет наконец поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уж потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Кольшрёдеру. С братом, Рольфом, поговорить, наверно, не мешает, хотя проку от этого мало; Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, «первого Хольгера, того, который от Вероники,— это я еще могу понять, это семь лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это *после* ноября семьдесят четверто-

го— нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует! И вообще— поджигать автомобили, бросаться камнями— что это такое, в конце концов?!». Рольф подойдет к делу с «практической стороны», он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком, умом, чисто абстрактно, он, наверно, поймет, что «прелюбодеяние» должно ее мучить, но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не «прелюбодеяние», зато, мол, по отношению к Хельге— да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще поймет, но душой— нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет, он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, «потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость— новая жизнь!»— и скорее всего посоветует ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте— да где же, где?— начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились, вот только ее смущают истораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает «проводить системный анализ»,— звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет (а вдруг?). Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой и в церковь будет ходить— даже целое стадо похотливых кольшрёдеров ее не остановит. И Хуберт такой же, для них это серьезно, очень серьезно, совсем не забава, не банальный «романчик на стороне», Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и «буржуазный промискуитет». Катарина, наверно, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть— «прелюбодеяние». Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала— позор для него страшнее любого скандала,— милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах.

С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит, да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти пятьдесят лет прошло. Отец, конечно, отнесется «с пониманием», но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он ни-

когда не любил и только обрадуется, что «наконец-то мы избавились от этого типа», он будет к ней добр, ее милый папа, предложит переехать с Кит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботится, он будет очень ласков— и не сможет ей помочь, когда Эрвин «без всяких церемоний» начнет борьбу за Кит, что-то, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца: что это человек «не их круга», «какой-то полицейский». Разумеется, он скоро женится снова, для престижа, для «Пчелиного улья» ему совершенно необходима «спутница жизни»— красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая (что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей?), и, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией— а фантазия у нее есть, на этот счет и монахини и Рольф были одного мнения,— чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в «Листке». Тут уж ничего не поделаешь, нужно будет, как Рольф, «просто отсидеться». «Это как взрыв в старом клозете: дерьмо летит во все стороны, кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться».

Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером— нет, она больше не может, ни дня. Встречать его, когда он— счастливый глава семьи в ожидании потомства— возвращается домой, есть с ним за одним столом; моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, «потому что тебе тоже есть что показать сверху без». Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и среди бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет».

Может, с Блюм поговорить? С добросердечной незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого шестьдесят бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти «дурацкие новомодные порошки», а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством; с толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым узлом и расхаживает в юбках по последней моде тридцатых годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой—

сигарета торчком, глубокие, жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут, в Блорре, бомбили и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится. А уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну «своего суженого» и которую «ни к кому другому не тянуло, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, я ведь уже ребенка ждала от моего Конрада, и нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка; Днепропетровск—я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там у кого следует, что нам в этом Днепропетровске понадобилось, на что этот Днепропетровск моему Конраду сдался,—вот у меня и случился выкидыш, а я так хотела ребеночка, пусть даже без мужа». Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается, а может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это «вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете», хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожны, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышпигивал за ними следом; может, она что-то заметила—взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна, или когда Хуберт украдкой—ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка!—целовал ее в прихожей, либо в те мгновенья, когда он обнимал ее в углу, за дверью и она вверялась ему всецело? Блюм-то, уж конечно, давно знает, что между ней и Эрвином только нелады и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только «другие женщины», но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец; эта Блюм отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться, она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью, она и на небе предстанет перед очами Всевышнего со своей суровой жалобой: «Днепропетровск—что нам там понадобилось?»

Прочь, прочь отсюда, скорей бы приехала Кэте, она заберет Кит и уедет, сегодня же, пока он не вернулся домой, не надо будет больше запираить дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на «своем праве»,

пытается к ней вломиться,— наверно, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом.

В Тольмсховене Хуберт будет рядом, они, наверно, смогут поговорить или даже поцеловаться, а то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью, он стоял на посту на террасе, она его впустила— в тот день Кит была у родителей, заснула, и ее оставили ночевать; а она не могла заснуть, сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций, но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды старый Кортшеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку, и для создания декоративного эффекта «индустриального пейзажа», но это именно подсветка, а не освещение, освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, «сколько всякой дряни они втихую спускают ночью». За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады, а сердце билось и билось, как— как что? Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в десять он должен сменить Цурмака, а было уже половина одиннадцатого, и последняя полоска летнего заката меркла на горизонте, чуть в стороне от нелепо ярких фасадов. Но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха, получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью,— и вот он появился, целеустремленный, решительный, в этой его решимости было что-то мальчишеское, она даже невольно улыбнулась— он шел напрямик, мимо маленького заросшего кувшинками пруда, по склону, сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз, вот его рука ухватилась за ручку, и вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился, «вас я не видел,— признался он позже,— меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял, то есть, наверно, надо сказать, чувствовал, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете»; но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то похозяйски, отчего ей стало немножко не по себе, он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую, ведь прежде, в углу за дверью, он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег к ней, пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой «пост», а она сварила кофе, они смогли

поговорить, он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация, они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты». Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказывал о себе, как ему было тоскливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле— делать что-то руками, и он работал— сперва на стройке, потом на конвейере, «только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило», и тогда он пошел в полицию, да, потому что «любит порядок», чем и навлек на себя презрение отца, тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи; обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию— Тёргаш, и почему она пишется через «ё», а не через «о», этому «ё» он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы, что в лоб, что по лбу; но он построил целое этимологическое толкование,— дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Тёргаша, то ли графа, то ли епископа, управляющим, а вовсе не был торгошом, вот фамилия и передалась, потому и важно написание через «ё»; не то чтобы все это показалось ей занудством— слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю,— но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об Айкельхофе. Айкельхоф перешел им по наследству вместе с «Листком»— это была старомодная вилла восьмидесятых годов прошлого столетия, какую в те времена мог себе позволить пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла, вместе с типографией и газетой, досталась отцу, который ведь был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу, столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная, там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт. Все было немножко запущено, но уютно, эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шутливо препирались: можно называть его парком или нет. Старые фруктовые деревья, лужайки, и ни одного идиотского газона, которые она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танцверанда, которую отец специально для нее велел сколотить прямо

в саду, и слезы первой, болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло— «да-да, *тот самый* Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью... да-да, именно по вине и благодаря»,— она помнит его испуг при слове «благодаря», и она рассказала об этом не по годам пытливым и умным мальчишке с мечтательными глазами и совсем не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним подтрунивали, ну, танцевать-то она его научила, летними вечерами они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом.

Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде, не сказала о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего во-яжа, дрях в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсовен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа; только они подружились, как та исчезла, уехала обратно в Югославию. «С его женами всегда так: если и попадетя милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает, но как туда поедешь с такой свитой охранников?» Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки,— рассказала многое, почти все, никому прежде она столько о себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда вверила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверно, ровесники, не исключено, что он даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Бернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, но вдруг Хуберту все-таки тридцать, тогда он на два года старше,— и вот с ним, именно с ним у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой: что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда, ни под каким видом не спросит: «А вы не забыли про пилюлю?» И это при том, что возможностей было сколько угодно, и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений— в конном клубе, на теннисе, на вечеринках; иные претенденты были просто очаровательны, Цуммерлинг-младший, например, очень даже мил, ве-

сельный, ироничный, этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал: «Сабина, дорогая, ну почему мы всегда так серьезны?» Так нет же, Хуберт, именно он, и она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратно или случайно, по ее или по его воле, все вышло само собой, а уж неотвратно или случайно, это пусть решают боги,— просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг, и так неделями, почти два месяца, и днем и ночью, но в одном она совершенно уверена: с Цурмаком или Люлером это было совершенно исключено, немислимо, хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные, знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку, изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках, а уж план дома помнят назубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем, въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах; они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской»— Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в «мастерскую» не заходит,— и сауны в подвале, и обеих ванн комнат, они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству, и всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше Кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене действительно при всем желании невозможно было «взять под контроль»— народу полно, детей приводят и уводят, тут же подвозят еду, входов и выходов не счесть, одноэтажные коттеджи разбросаны по парку где попало, тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой— бассейн, и никаких заборов, планировка ведь открытая, так и задумано, все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд— а после истории с плифгеровским тортом приходится проверять и поставки на кухню,— кроме того, некоторые родители начали роптать, дескать, их-то детям ничего не угрожает (что в корне неверно: «похитить,— сказал Хуберт,— могут любого ребенка, и моего тоже»), а постоянная охрана, чтобы не сказать надзор, нервирует детей, чревата психической травмой да и бессмысленна, потому что «эти если уж вдарят, то все равно из-за угла», их не перехитришь.

Пришлось оставлять Кит дома, к Грёбелям, где дочка любила играть с Руди и Моникой, ей теперь тоже нельзя: Грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке, это травмирует детей. Пришлось держать Кит дома, заниматься с ней самой, играть, рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню «в подмогу» Блюм; летом еще куда ни шло, выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор— это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где Кэте соорудила для них нечто похожее,— и «свинская лужа», яма с песком, глиной и водой, где Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней— в штанишках, а потом шагом марш в ванную или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили— ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок, а она, да и Кит так любили туда ходить! Повязав платок, усадив Кит в коляску, с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи, она нарочно шла туда, где больше народу, и ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности таких походов. Сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы и яйца, кур и зелень, все, что привезли; в этой неразберихе похитить ребенка— плевое дело, хватать— и нет его, она и оглянуться не успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рыскай по всем закоулкам и проходам, там даже предварительный, профилактический контроль организовать немислимо, что уж говорить о нештатной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка; теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кит оставалась с Блюм. Но разумеется, все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось: каждая буханка хлеба, каждый пучок салата, и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения; а она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникнет и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все трудней делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих,

но уже всенепременно и обязательно одного постороннего мужчины. Постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет; к тому же «при исполнении» эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе, когда же их время кончается, они мгновенно, до неприличия быстро, исчезают, будто им невтерпёж поскорее унести ноги с этого клятого места, а ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь из них по-человечески, расспросить про жену и детей, про квартиру и работу, но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а они ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли и как вообще их нервы все это выдерживают?

Эрвин держится с ними нарочито вальяжно, с налетом панибратства, этакий бывалый офицер запаса; заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо, что «заваливать»,— он явно недооценивает душевную деликатность этих людей, не только Хуберта, но и Цурмака и Люлера, ради которых он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуются этим вовсе не Цурмак и Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой, нарочито простецкой, вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер: на каком-то полупохабном, блатном жаргоне, когда не сразу разберешь, что имеется в виду— то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого, кроме себя, не слышит, он все знает лучше других,— громогласно на весь дом, словно у себя на фирме, он в разговорах с ней то и дело склоняет «этих легавых», ничуть не стесняясь их присутствия, а они этого не любят, слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про «легавых» в шутку и как бы в кавычках («Ну, что, как поживают наши славные легавые?»), им это слово все равно не нравится, даже в кавычках. Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает.

Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская; вот почему она вовсе не считала «грязным»— наоборот, естественным— то, на что намекал Эрвин: де-

скать, она, когда ложиться загорать у бассейна, возбуждает у полицейских «грязные фантазии». «Даже если ты рязляжешься в чем мать родила— это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает, он говорил не о любви— о вожделении, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины, они слонялись вокруг, ходили, стояли, глазели, а потом наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна,— и так день за днем, только скука и беспросветная тоска, так что в конце концов даже добряк Цурмак, мужчина уже, можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок,— и тот не выдержал и сказал ей однажды: «Да что вы все дома сидите? Сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решилась выбраться в город— ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платья у Хольдкамп и Бреслицера, Кит она оставила с Цурмаком и Блюм, поехала с Люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, ни дать ни взять частный детектив, и когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми, воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом,— наверно, думала она, так бывает в дорогих борделях,— какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа, и на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый, так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла, что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Бройер, когда как-то раз обронила: она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях, просто иногда хочется, чтобы ей «как следует вставили», и мужчинам очень часто хочется просто «вставить», не больше и не меньше; а бедняга Люлер, наверно, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья, почти две восемьсот, ему это, конечно, показалось совсем недешево.

Ну вот, а потом, уже весной, она досталась, она вверилась Хуберту, среди бела дня, пока Блюм возилась на кухне, а Кит с удвоенным восторгом дрызгалась в своей свинской луже, потому что ей наконец-то удалось осуществить свой коварный замысел: в то утро Кит, наверно, раз сто подзывала Хуберта, канючила и требовала, чтобы тот подошел поближе. Когда же он в конце концов поддался на уговоры и подошел, она с ног до головы забрызгала его грязью, а он от растерянности еще и поскользнулся,— словом, пришлось пригласить его в дом для основательной чистки; потом, много позже, уже поняв, что беременна, она много раз спрашивала себя, но и до сих пор не знает, зачем пошла вместе с ним, хотя он и без нее прекрасно знал, где ванная и где найти полотенца. Но она пошла с ним, отвела его в ванную, даже открыла ему дверь и достала с полочки полотенце и тряпки,— тут-то они и не совладали с собой. Похоже, она первая: провела рукой по его щеке. Это вышло произвольно, она ни о чем таком даже не думала, но ни секунды не сопротивлялась, когда он вдруг сжал ее в объятиях и начал стаскивать с нее бикини— он делал это уверенно, ловко, но она знала, чувствовала, что уверенность напускная. Он вошел в нее со вздохом, и она приняла его, она вверилась ему с радостью и, встречая его поцелуи, вдруг ощутила, что знает его наизусть— его запах, его шершавый подбородок, его зубы, и эти светлые, такие серьезные глаза, и волосы на затылке,— она не только все ему позволила, она соглашалась, она кивала, хотя он впился в ее губы, она все ему позволила прямо тут, в углу за дверью, и даже успела толкнуть ногой дверь; совсем рядом, на террасе, Блюм перебирала салат, в саду Кит возилась в своей свинской луже, и все это в солнечный майский полдень, за четверть часа до обеда; после она сама удивилась— страха почти не было, только радость и какая-то шальная уверенность; она быстро привела в порядок купальник, в холле посмотрела в зеркало, поправила волосы, а он остался в ванной— ему ведь надо было еще отмыть глину с куртки и брюк. Некоторое время спустя он вышел на крыльцо, повесил куртку сушиться на солнце, погрозил пальцем Кит и ушел за гараж, ей же в тот день больше ни слова не сказал, вообще избегал говорить с ней в чьем-либо присутствии, и потом тоже, только иногда шептал, стоя за ее шезлонгом или из-за кустов у бассейна: «Ах, госпожа Фишер!», ведь они по-прежнему были на «вы», хотя все чаще улучали мгновения для свиданий. Им-то сразу было ясно, что это не минутный обман чувств, не мимолетное «приключение», подстроенное прихотью обстоятельств, не банальный

«эпизод», о котором легко можно забыть. Нет, все было куда серьезней, засело глубоко и затягивало все глубже, усугубляясь множеством мелочей, которые она прежде считала бы откровенным бесстыдством. Теперь же ее почти не удивляла отчаянная смелость их торопливых объятий в гардеробной, где она вверялась ему в темноте среди развешанных пальто,— они облюбовали это место, потому что он в случае чего мог сделать вид, будто идет из туалета, а она бы спряталась за грудой одежды, эти несколько секунд могли спасти положение. В саду, проходя мимо, он иногда как бы невзначай останавливался и заговаривал с ней, рассказывал о полицейской школе, а она вспоминала об Айкельхофе, который стерли с лица земли,— с ним ей даже об этом было легче говорить, чем с кем-либо еще. К братьям с подобными разговорами лучше вообще не подступаться, Эрвин тоже отмахивался: «Пустые сантименты, нашла что оплакивать, вчерашний день». Отец об этом и слышать не хочет, даже злится, что с ним редко бывает, наверно, его все еще совесть мучает, а Кэте молчит, для нее это самая горькая утрата, Айкельхоф и Иффенховен, где она родилась и выросла, ведь теперь там все разрыто, теперь там хозяйничают экскаваторы, словно огромные звери, они вгрызаются зубастыми ковшами в зеленые лесные чащи, все сминая на своем пути, безлично-свирепые, такие большие и добродушные на вид и такие беспощадные в работе, они заглатывают землю и выплевывают ее далеко-далеко, они эксгумируют мертвецов— ну, конечно же, с предельной почтительностью,— они крушат церкви и часовни, деревни и замки, а Кэте говорит, что, когда едет через Ной-Иффенховен, где отстроенные заново дома и церкви стоят как игрушечные, ее пробирает дрожь.

Да, ее тоже пробирает дрожь. Дрожь, стоит подумать о Кит, розовощекой, золотоволосой Кит, которая сейчас щебечет у Беерцев в коровнике; дрожь, стоит вспомнить о радостной готовности, с какой она при малейшей возможности вверялась Хуберту в любом углу, в ванной и в гардеробной; дрожь, стоит подумать о Хельге, хотя— вот ведь странно— по отношению к Фишеру или к Хуберту она не чувствует себя прелюбодейкой, только из-за Хельги; стоит вспомнить, с какой невозмутимостью выходила она из укромных уголков, из ванной или из гардеробной, когда Блюм была тут же, рядом, и Кит в своей детской, а она с улыбкой, подмазав губы, наскоро поправив прическу, как ни в чем не бывало шла к ним; дрожь, стоит подумать как деловито, с какой-то птичьей сноровкой, она оглядывала Хуберта, устраняя следы своих поспешных ласк, и при этом

сама себе дивилась— откуда в ней это, откуда она все это знает, где, у кого научилась столь хладнокровно, как ни в чем не бывало совершать то, что было, есть и во все времена останется прелюбодейством; откуда у нее эта повадка, ведь ее никто ничему такому не учил, откуда же тогда «у нашей милой, славной, доброй и верной женушки, у нашей пчелки, у нашего золотца», откуда у нее эта опытность, причем с самого первого раза, когда она вышла из ванной, а Блюм перебирала на террасе салат? Видит Бог, такого с ней прежде не случалось, с ней— нет, и тем не менее она с улыбкой кивнула Блюм и спокойно пошла в сад, где все так же беззаботно играла ее дочурка.

Может, Хельга ее поймет и будет ей его уступать— иногда, на время; позволит ей любить его, и он сможет видаться с ребенком, где-нибудь в Италии или в Испании, где она будет жить. Он такой серьезный, с таким рвением относится к своей работе, он даже любит свою профессию. «Порядок и безопасность для всех». Только вот слишком уж педантичен и вполне мог бы предотвратить беду с Эрной и Петером... странно, она его хочет, хочет быть с ним, спать с ним, но жить с ним? Нет, вряд ли, ничего хорошего из этого не выйдет, как не выходит сейчас, судя по всему, у Петера с Эрной; они ведь тоже сначала хотели только... ну, да, спать друг с другом, а потом вот влюбились, по-настоящему, пожалуй, Петер полюбил Эрну даже больше, чем она его, она ведь не скрывала, что сперва хотела только одного: чтобы он ей «как следует вставил», так— в своей вульгарной, но честной манере— она изъяснялась. А теперь он жить без нее не может, а она без него, и им плевать на скандал и на разъяренного Бройера, плевать на бесконечные повестки и допросы; он теперь хочет во что бы то ни стало жить со своей Эрной, удержать ее, даже жениться на ней, и в любви стал просто неистов,— но ей, ей не по себе в его крохотной квартирке, слишком бедно, слишком дешево, а ведь и бунгало Бройера, и Петер в любовниках, все это могло продолжаться вечно, если бы не идиотская охрана и слежка. А теперь Эрна звонит и чуть ли не матерится, забыла, что они были на «ты», давно уже не называет ее «моя дорогая пчелка без жала», с ядом и ненавистью в голосе говорит: «А теперь, многоуважаемая госпожа Фишер, послушайте, что я вам скажу...»— и она слушает, но не слышит, мыслями она далеко-далеко, и всех до смерти жаль, и все до смерти надоели: Эрна, Эрвин, Петер, Кюблер, Ронер, Клобер, а тут еще, едва солнышко пригреет, эта полуголая нимфа наверху на террасе со своей томной, зазывной музыкой.

И все же ей недостает Эрны Бройер. Она все-таки очень милая, такая прямодушная, что на уме, то и на язы-

ке,— милая, даже когда без стеснения рассказывает о своей супружеской жизни и о том, как она любит «это дело— ну, с мужчинами, вы ведь понимаете, о чем я...». И еще: «Я ведь ужасно завожусь от всей этой порнографии, которую мой старик, ну, Бройер, домой притаскивал, завожусь просто до беспамятства, а ему того и надо, только мне с ним ни холодно, ни жарко, вот я и пожалела этого мальчика, он всегда так пылко, так жадно на меня смотрел, а оказалось, что это любовь, настоящая любовь, я с ним про всю порнографию сразу и думать забыла, такое разве заранее угадаешь. Так нет же, треклятые легавые все испортили. Это бы еще годы тянулось, но этим ищейкам всюду надо совать свой нос, и все из-за всех вас и ваших дерьмовых миллионов— я-то тут при чем? Ну, пушу я утром к себе Петера— вам-то какое дело? Никакого. А теперь вот склоки с Бройером из-за кроватей и чемоданов, из-за тряпок и мягкой мебели, он даже цветной телевизор мне оставлять не хочет,— да не плачьте, не плачьте вы, милая пчелка, я ведь не желаю вам зла, нет, да с вами ничего такого и не случится, вы по-другому устроены, не то что я».

И вот— случилось, ничуть не иначе, чем с Эрной, которая, конечно же, вверилась своему Петеру точно так же, как и она Хуберту,— «сразу и с радостью».

Когда-нибудь (когда?) она ему все расскажет об Айкельхофе и о том времени, расскажет, как жила в интернате у монахинь, а может, и о том самом Беверло, который тогда, лет десять— двенадцать назад, принадлежал к «молодежи наших надежд», молодежи, на которую «делали ставку», за которую боролись партии, объединения и союзы, на которую со всех сторон сыпались поощрительные стипендии; все думали, что он будет изучать германистику или театроведение, во всяком случае, посвятит себя культуре и будет отстаивать «нашу» (чью?) точку зрения. Считалось, что он консерватор (кто бы ей хоть раз толком объяснил, что это значит?) и даже реакционер (не худо бы и на этот счет услышать что-нибудь вразумительное), считалось, что он католик, даже набожный,— она сама до сих пор набожная католичка, считает себя таковой, даже несмотря на Кольшрёдера и Хуберта, но тоже не очень понимает, что это значит. Но Беверло пошел изучать банковское дело, сперва здесь, потом в Америке, вместе с Рольфом, защитил диссертацию (что-то про Латинскую Америку), вернулся, стал еще лучше танцевать, но вокруг рта появилось что-то циничное, почти подлое, ему уже мало было ее целовать, он хотел большего, но он ей такой не нравился, и тогда он сказал с прежней своей меч-

тательностью: «Когда из года в год имеешь дело только с деньгами— с настоящими, большими деньгами, не теми, которые, возможно, у тебя сейчас в сумочке, а теми, которые работают,— тут поневоле станешь либо подлецом и циником, либо круглым идиотом. Кому же хочется быть идиотом?» В последний раз она его видела на свадьбе Рольфа и Вероники, он произнес остроумный тост, даже про «Листок» сумел ввернуть так, чтобы отцу не было обидно; да, отца все они любят, и Кэте тоже, и ведь не так уж давно все это было. Если слухи и сообщения хотя бы наполовину верны, получается, что все это именно из-за него, из-за Генриха Беверло, охрана и слежка, несчастье Эрны Бройер, растревоженные соседи, ярость Клоберов, история с именинным тортом Плифгера и даже ребенок, которого она ждет от Хуберта.

Беверло— это теперь почти сон, как и дом в Айкельхофе, который быстро, на диво быстро сожрали экскаваторы. «Сносить и копать, копать и сносить, уголек все окупит»,— таков лозунг Блямпа, и ведь в конце концов за ветхий Айкельхоф они получили столько, что отец смог купить замок. Рольф тогда прикинул все расходы и доходы с 1880 года, чтобы подсчитать размер прибыли— компьютер выдал результат в сколько-то десятков тысяч процентов, во всяком случае все они сошлись на том, что «за такую старую развалюху цена просто безумная», но дело не только в несусветных барышах, отец должен был подать пример, ведь сколько было шуму, сколько протестов, когда стало известно, что весь Иффенхофен собираются сносить и раскапывать. Иногда, проезжая грунтовой дорогой от Хетциграта до Хурбельхайма, она останавливает машину и с обочины долго смотрит в огромный, нескончаемый карьер, пытаясь найти то пустое место, где когда-то стоял Айкельхоф, место, где когда-то был Иффенховен. То-то была радость археологам, которым позволили какое-то время покопаться и поквохтать над всеми этими римскими, франкскими и даже, кажется, какими-то еще дофранкскими, кельтскими, что ли, горшками, черепками и захоронениями, эту их радость и сегодня можно оценить в краеведческом музее, а уж сколько было написано монографий, сколько диссертаций защищено. Горшки и кости, камни и черепки, горы черепков, там, в музее, есть даже отдельная витрина: «Находки в Иффенховене»— и другая, поменьше: «Находки в бывшей усадьбе Айкельхоф, ныне— угольный карьер».

Конечно, отец не смог сказать «нет», к тому же на него наседали все правление: «Если уж вы, Тольм, заупрямитесь, если ты, Тольм, заупрямишься, чего тогда ждать от простых людей, на чью сознательность в вопросах экономической и энергетической стратегии мы так рассчитываем?» И развернулись работы, пошло-поехало, ломать не строить, часовню и церковь, деревню и кладбище, обветшалый графский замок каких-то там Хетцигратов— все под нож и под ковш, под корень, точнее с корнем, вековые дубы и каштаны, заборы и живые изгороди— долой, сносить и копать, копать и сносить, разумеется, нигде живого места не осталось, да и с чего бы, когда им так нужен уголь. Изгнание из Айкельхофа, изгнание из Блорра, да и дни Тольмсховена, если верить тому, что иногда нашептывал ей Эрвин, тоже сочтены. Неужели всего восемь лет назад она была на свадьбе у Рольфа и Вероники и в последний раз танцевала с Беверло, который потом чуть было не дал волю рукам; но нет, она уже не была влюблена, она уже тогда его боялась, особенно когда услышала, как он, только недавно произнеся такой приятный тост за здоровье отца, завел с ним куда менее приятный спор о свободе; оба чуть навеселе, отец, как всегда, размягченный, а Беверло был беспощаден, на примере предстоящего выселения из Айкельхофа он доказывал отцу, насколько несвободны даже самые свободные в мире свободного предпринимательства: ведь он, Тольм, не может не видеть, что для его жены этот переезд— страшный удар, что его дети чувствуют себя чуть ли не беженцами, да и сам он к этой развалюхе привязан, а деньги у него и так есть, «Листок» ведь процветает, так что все словеса о «свободе», «обстоятельствах» и «необходимости»— что это еще, как не благопристойное прикрытие самой обыкновенной экспроприации? Семь лет, всего семь лет назад отец с Кэте въехали в замок после всех ремонтов и перестроек— и вот опять все на снос, под ковши и бульдозеры, и опять цена будет в семь, если не в тридцать раз выше той, что они заплатили. «Твой старик только прикидывается простачком, а на самом деле похитрее всех нас— у него все окупается, да еще с какими барышами!»

Вояжи Эрвина по всему свету тоже, конечно, окупаются— все эти договоры и контракты, станочные парки и технологические циклы, он только посмеивается над профсоюзами («помогают как миленькие!») и все усерднее строит из себя плейбоя, хотя она-то знает, как трудно ему добраться до своего счастья, но тут, может, и правда все дело в ней, она ведь думает только о Хуберте, только о нем одном, особенно после той ночи, которую они про-

вели вместе, после упойтельного и безмолвного свидания, когда он смотрел на нее, она на него, после кофе на подоконнике в предрассветный час, когда на кромке неба занималась заря, а с другой стороны вдалеке светились, как в цирке, фасады электростанций, в чьих топках сгорают Иффенхофен и Айкельхоф. Хуберту никогда бы не пришлось в голову спросить у нее: «Вы не забыли принять пилюлю?»— и, судя по всему, у него даже в мыслях не было что-либо предпринимать против «последствий», ни полсловом, ни намеком он не пытался побудить ее к тому, чего она никогда, никогда в жизни не сделает, он только ужасно обрадовался, но и испугался, когда она сказала, что беременна, дал понять, что Хельга, наверно, очень огорчится, но не из-за того, что будет ребенок, это уж точно. Его эта весть потрясла, но он встретил ее со всей серьезностью своей бесконечно серьезной души— и это как раз в те дни, когда Эрвин, только что вернувшийся то ли из Сингапура, то ли откуда-то еще, она не помнит точно, сиял от счастья и был с ней любезен, как никогда, засыпал цветами, украшениями и экзотическими безделушками ее, Кит и даже Блюм, он прямо лучился обаянием юности, которым в свое время так ее обворожил. Он буквально носил ее на руках— от прихожей, через гардероб, мимо тех самых пальто, среди которых они с Хубертом столько раз укрывались, пронес ее через холл в гостиную, а оттуда в спальню, на кровать, и она отдалась, но не вверилась ему, а он— неужто и вправду?— прошептал: «Я ведь люблю тебя, надеюсь, ты еще не забыла, и знаешь, по-моему, нашей малышке Кит скучно одной, то есть я имею в виду может, тебе пока что не стоит принимать?» Но потом все-таки не смог удержаться от одной из своих дурацких шуточек: «А коли так— зеленый свет, полный газ и никаких ограничений!»

А Кит уже два месяца была не одна, и все время эти шуточки, эти пошлые, заранее придуманные, якобы импровизированные остроты, когда она выполняла с ним свои супружеские обязанности, и эти вечеринки у его родителей, в чем-то вульгарные до такой степени, какая даже Эрне Бройер не снилась. Ссора с Эрной ужасно ее мучит, ссора, в которой никто не виноват, только обстоятельства, хотя в обстоятельствах этих, если верить Рольфу, отцу и Катарине, виноват Генрих Беверло, а еще ее бывшая невестка, Вероника Тольм, урожденная Цельгер, дочь хетцигратского врача... Вероника уже дважды звонила, в первый раз она от страха даже трубку выро-

нила, это был действительно ее, такой знакомый, светлый и ясный голос, «ангельское сопрано», как называли его монахини, колокольчатые переливы которого так украшали их хор, а иногда выводили божественное соло с органной галереи: о, ее «Господи, помилуй!» о, ее «Agnus Dei»¹, о, эти блаженные часы майских молений, когда серебристый голос Вероники славил Деву Марию,— и разве не этот голос сделал ее, Сабину, столь страстной почитательницей Пресвятой Девы, разве не этот голос звучит и сегодня еще будет звучать в ней, когда она пойдет в Блорр в часовню, принесет туда цветы, прошепчет свое «Аве», поставит свечи и, наверно, поплачет— о себе, о Хуберте, о ребенке в своем лоне, о Хельге, и Бернхарде, и Кит, и о Веронике, которая тогда так вот запросто позвонила (откуда? откуда? откуда?) и спросила: «Ну, как вообще жизнь?»— и рассмеялась, услышав (после того, как она наконец подобрала трубку с пола) ее испуганное дыхание и снова спросила: «Ну, как вообще жизнь?»— на что она ответила: «Охрана и слежка, ты сама прекрасно знаешь, почти как в тюрьме». На что Вероника: «В этом я не виновата».— «И Генрих тоже?»— спросила она. «О, он считает, считает без конца, скажи Рольфу, что с Хольгером все в порядке»— и гудки. А несколько месяцев спустя она позвонила снова, сказала: «Ах, милая моя пчелка, мне так жаль, мне так горько, ты помнишь еще наших славных монашек? Хочешь, я тебе спою?» И спела «Мария, майская царица...», и потом опять только гудки.

Она рассказала Хуберту, ему она не могла не сказать, он только посмеялся, кивнул: «Да нам все это известно, шеф-то уж точно в курсе, вы не волнуйтесь, все фиксируется, может, нам и вправду удастся их засечь, тогда мы их живо сцапаем, вам же лучше будет. Учтите, кстати, что все ваши звонки тоже прослушиваются, так что, милая Сабина, никогда не звоните, никогда, и не пишите. И мне тоже нельзя вам звонить и тем более писать, ни в коем случае, а меня скоро отсюда переведут...»

Уже почти стемнело, когда Блюм вернулась с Кит от Беерецев; она не принимала слишком всерьез так называемые «меры безопасности», говорила, что ни в какую безопасность все равно не верит, а уж особенно в безопасность «от этих»— «от них все одно не убережешься, эти пожалуют, когда им вздумается, как снег на голову, что днем, что ночью». Кит сияла от радости: она впервые сама, от порога до порога, несла домой молоко, целых два литра, только с тремя передышками, а еще ее угостили

¹ Агнец Божий (лат.).

орехами и каштанами, она хотела немедленно их зажарить— в саду, на костре, «когда папа придет»,— от этих слов ей стало больно, она как-то сразу поняла: Кит очень привязана к отцу, значит, она и ей причинит боль, да притом какую, и она сказала:

— Мы сейчас уезжаем вместе с бабушкой Кэте, поджаришь каштаны у дедушки, он будет очень рад.

— Мы там заночуем?

— Да.

— Тогда я оставлю папе немножко орехов и каштанов.

А как же молоко?

— В холодильник поставим, ничего с ним не будет.

— Мне уже собираться?

— Только кукол возьми, а я прихвачу немного белья.

— Знаете,— сказала Блюм, когда Кит вышла,— напрасно вы думаете, что соседи к вам переменялись. Конечно, когда полиция в деревне уже который месяц торчит— такое никому не понравится. Но на вас никто зла не держит. Это все те... Вы ведь не на одну ночь уезжаете, верно?

— Как вы догадались? Вы что-то знаете, Мария, скажите же мне...

— Ничего я не знаю, госпожа Сабина, то есть не то чтобы я знала, я просто вижу, чувствую, что-то вас гложет, и это не из-за ребенка, это что-то другое, хуже. Чайку выпьете? Или кофе?

— Да нет, мама с минуты на минуту придет. Скажите, вы считаете, мне лучше остаться?

— Нет, поезжайте, так будет лучше, по-моему... Поезжайте. Мне вот не к кому было уйти, когда дома меня донимали, разве что к сестре, так она в городе, и надолго у нее не останешься, только до вечера, квартира-то тесная, муж с работы придет, дети— повернуться негде, а в монастырь я сама не пошла, хоть меня бы, наверно, взяли, даже с ребенком. Радуйтесь, что вам есть к кому уйти, и ступайте с Богом.

— А вы со мной поедете, если я... не плачьте, Мария, пожалуйста, не плачьте, я ведь вернусь.

— Не вернетесь вы! Может, в Блорр заглянете, проведаете нас, но в этот дом— нет. А я с вами поеду, если... сами знаете. И еще одно я вам скажу, чтобы уж ничего промеж нами не осталось, вы ведь всегда были ко мне добры: ребенок у вас не от мужа, а к тому, от кого ребенок, вам нельзя...

— И вы знаете, от кого?

— Нет.

— Правда нет?

— Клянусь. Просто я умею считать, а пять месяцев на-

зад,— тут она улыбнулась,— ну вот, но чтобы при такой-то охране да слежке и чтобы никто не заметил, нет, удивительно, просто жуть берет, про вас ведь ничего такого не скажешь.

— А жуть берет из-за меня?

— Да нет, просто жутко: на какие хитрости человек горазд. А вот и ваша матушка. Не забывайте меня, коли надо что, вы-то мне всегда нужны. Может, все-таки поставить чай?

— Нет, спасибо, я хочу уехать, пока муж не вернулся.

Стоя в дверях, она смотрела, как водитель— это был не Блуртмель— вылез из машины, отворил Кэте дверцу, потом подошел к Кюблеру; нет, это и не Хуберт, хотя вполне мог приехать и он, этот какой-то новенький, по виду скорее из Объединения, чем из полиции. А вот и Кэте— она всегда так рада, когда видит маму; ей ведь уже к шестидесяти, а выглядит она все лучше и лучше. У нее удивительное лицо, вроде бы такое спокойное, но и взволнованное, а вот с парикмахершами ей не везет, правда, сегодня все обошлось: ей очень к лицу этот пышный, с белой проседью узел, но на сей раз она, видно, и правда чем-то взбудоражена, в руке кулек, наверно конфеты, она ведь собиралась пить чай; она поцеловала Кит, потом ее и сказала, нет, почти выкрикнула:

— Ты уже слышала?

— Нет. А что такое?

— Его сделали президентом, Фрица, твоего отца, у них и вправду хватило наглости, они его выбрали, я только что слышала по радио; так что долго рассиживаться не могу, надо скорей домой, он там один. Теперь нам крышка, ни минуты покоя, все на людях. Блямп своего добился.

— Господи, кто бы мог подумать, папа ведь уже старый и болен.

— Зато им он прекрасно подходит, сама знаешь: седенький, добренький, культурный, ведь Плифгер наотрез отказался. А он у нас обходительный, и голос по радио очень даже бодрый, я сама слышала. Он, конечно, делает вид, будто для него это большая честь. Доверие, ответственность и все такое. Но ты-то, доченька, ты, оказывается, беременна, и уже на шестом месяце, а мы ничего не знаем!

— Значит, Гребницер все-таки проболтался?

— Да нет, Блямп нам сказал, это надо же, именно Блямп, он вычитал в какой-то спортивной заметке, Гребницер нам только месяц сказал, а что тут плохого? Почему ты скрывала? Ты что, не хочешь ребенка?

— Ну что ты, мама...— С ума сойти, про ребенка такое сказать.

— Тогда в чем дело? Что-нибудь с Эрвином?

Она кивнула— прямо в прихожей, двери настежь, но она кивнула, хотя что скажешь кивком, очень много и ничтожно мало, все и ничего. Разве объяснишь, как тошно, как противно ей всякий раз после исполнения пресловутого супружеского долга, не столько даже до или во время, а именно после, когда он болтает без умолку, ни секунды не способен помолчать и полежать тихо, просто молча,— а сперва все эти механические, заученные ласки, такие чужие, будто взятые напрокат, весь этот бездарный спектакль, упоение ролью «опытного мужчины», «бесподобного любовника», тогда как Хуберт— да, в такие минуты она думает о Хуберте, не может не думать, пусть это мучительно, пусть бесстыдно, ей все равно,— он просто гладит ее лоб, брови, ворошит ей волосы, иногда даже смущенно трогает ее за кончик носа, Хуберт, который так ласков, тих и нежен вначале и так спокоен и серьезен потом,— а у Эрвина вечно эти жалкие, вымученные, идиотские остроты, все, ну просто все до единой позаимствованные из лексикона радиослужбы дорожного движения! «Опять мы пренебрегли правом преимущественного проезда, ха-ха-ха!» «Зато в этот поворот мы вписались классно!»— разве объяснишь Кэте, разве кому-нибудь объяснишь, тем более судье на бракоразводном процессе, до чего могут довести эти попугайские шуточки, когда ты и так через силу выплачиваешь свой злополучный супружеский долг? А он, судя по всему, так ценит свое чувство юмора, что просто не может без них. Шуточка до: «Зеленый свет— и никаких запрещающих знаков!» Шуточка после: «Все пробки и шлагбаумы позади, приехали, можно вылезать— ха-ха-ха!»

— С Эрвином нелады? Но это, наверно, нормально, на шестом-то месяце? То есть, это, конечно, серьезно, доченька, но ведь не окончательно?

— Ах, мама, я не могу с ним больше жить, видеть его не могу! Я сейчас же еду с тобой в Тольмсховен, только вот Кит возьму,— она горько усмехнулась,— и еще, пожалуй, вязанье.

— Что значит: не могу жить, не могу видеть? Во время беременности это бывает сплошь и рядом, в таких случаях жена просто уезжает погостить к маме!

— Это я и намерена сделать, вот только Кит соберет своих кукол...

— Как? А чай? А полчаса поболтать с мамой?

— Нет. Никакого чая. А поболтаем по дороге, да и дома успеем наговориться. И потом, мама, неужели ты так и не научилась считать: если я на шестом месяце, когда, по-твоему, я, ну, скажем так, зачала?

— Месяцев пять назад, я полагаю.

Она решительно не понимала, в чем дело, эта милая, пожилая женщина, которую годы только красят, только облагораживают, она была единственной из всех «правленческих баб», как называет их Эрвин— и тут он, как ни странно, одного мнения с Рольфом,— единственной, на кого приятно посмотреть, кто выделялся и вкусом, и манерами, вот разве что прическа иногда подкачает, наверно, девочкой она мечтала о локонах и до сих пор не вполне изжила эту мечту, но в остальном— выделялась и осанкой, и речью, и каким-то особым достоинством, а ведь всего-навсего дочь обнищавшего садовника из Иффенховена, который вконец прогорел на своих экспериментах с розами и тюльпанами, потому что совершенно не умел считать, как не научилась считать и его дочь Кэте, хотя ей это важное умение очень бы пригодилось, а уж в таких вещах способность к счету ей и вовсе отказывала; она искренне недоумевала, почему всех так веселит рождение младенца уже через пять-шесть месяцев после свадьбы, она так и не догадывалась, что она, Сабина, ну да, уже до свадьбы, хотя ведь и она сама, как нетрудно подсчитать, если, конечно, Рольф не из достославной когорты семимесячных, тоже уже до свадьбы; но, черт возьми, должна же она сообразить, что девять месяцев— это девять, а пять— это пять и что если она сейчас на шестом, значит, никак не могла она забеременеть от Эрвина, о чем Блюм, конечно, давным-давно догадалась, ведь летом мама сама над ней подтрунивала: твой Эрвин, мол, совсем от рук отбился, вон как надолго сбежал...

— Нет, мы уедем сегодня, сейчас же, а вязанье ты мне одолжишь. И потом, мама, неужели ты не помнишь, где был Эрвин пять месяцев назад?

Наверно, нельзя было вот так сразу, точно обухом,— Кэте раскрыла рот, побледнела, выронила кулек, из которого рассыпалось печенье, как раз в том углу, где она в последний раз, прощаясь с Хубертом, вверилась ему, между зеркалом и дверью туалета, там, где на стене приклеен омерзительный рекламный плакат «Пчелиного улья», семейного предприятия Фишеров: молоденькая красотка нагишом входит в улей, а выходит разодетой в пух и прах. «Улей— наряды для Евы»— только сейчас, стоя перед матерью, она вдруг подумала, какая жуткая нелепица этот плакат: кто же по доброй воле полезет нагишом в пчелиный улей, кто поверит, что там шикарные платья, когда любому дураку ясно, что там разъяренные пчелы? А Кэте, до которой наконец-то дошло, уже не бледная, сняла очки, подобрала кулек и сказала:

— Нет, доченька, быть не может, чтобы ты...— Но, к счастью, против ожиданий, не задала самого простого вопроса, которого она боялась больше всего: «Кто же он?»

— Да, я,— ответила она как можно спокойней.— Я потом, после все объясню, а сейчас, мама, милая, пожалуйста, прошу тебя, уедем отсюда, видишь, Кит уже и кукол собрала.— Больше всего ей сейчас хотелось выкрикнуть в это родное, такое испуганное, такое невинное лицо одно из словечек Эрны Бройер, они куда честнее и пристойнее прибауток Эрвина, скабрзностей Фишеров, и тут она вдруг поняла: еще одно ее подгоняет, ведь там, в Тольмсховене, Хуберт, им надо срочно поговорить, и, конечно же, она никому его не выдаст, никому не назовет его имя, хотя бы из-за Хельги и Бернхарда, никому!

А еще— почему бы не подумать и об этом?— из-за его работы, из-за его службы; выгнать его, конечно, не выгонят, но если все раскроется, неприятности у него будут наверняка, начальству все это вряд ли понравится, тем более что он ведь был «при исполнении».

— Ну, хорошо,— решила Кэте,— тогда едем, я тоже спешу, Тольм там один и, наверно, совсем убит, надо его утешить. Теперь-то мы уж точно попадем под первую степень безопасности.— И неожиданно шепотом спросила:— Она не звонила больше?

— Нет.

— А мне звонила. Застала меня у Кольшрёдера и знаешь что сказала? «Никогда не ходите на чай к Блямпу». И больше ничего, а когда я ей сказала: «Возвращайся, дочка, приезжай!»— она мне ответила: «Не могу, и рада бы, да не могу»— и все.

Кит уже радовалась печенью, предстоящим прогулкам с бабушкой, каштанам, которые они будут жарить на костре. А Блюм все плакала, не то чтобы с горя, скорее просто так, «от чувств», а когда Кэте пристально на нее глянула, смешалась и вдруг спросила:

— А с молоком что делать?

— Спросите у мужа, может, он будет молоко, или кашу, или молочный суп. Если нет— отдайте Хермсфельду или разлейте по мискам и отнесите кошкам к дому Бройеров, там сейчас пусто. И не надо плакать, ладно?

Она попросила водителя ненадолго остановиться у часовни, зашла, вытерла глаза, успокоилась, ей как-то сразу стало легче, почти легко; нет, Хуберта она удерживать не станет, если он, конечно, сам не захочет. Так будет лучше для Хельги, для Бернхарда, ведь у мальчика скоро первое

причастие. А цветов у мадонны больше чем достаточно, Беерецы, Блюм, женщины Хермансов позаботились об этом еще в месяц Розария, они частенько приходили сюда помолиться, иной раз даже и без священника, и она приходила тоже.

И хотя водитель, новенький, которого Сабина и видела-то в первый раз, все мог услышать, Кэте сокрушенно вздохнула:

— Ах, детка, детка.— И, покачав головой, уже шепотом добавила:— Господи, до венчания, когда любишь и скоро свадьба— это еще куда ни шло. Но чтобы в браке— и с другим?

Ш

Блуртмель все приготовил, проследил за температурой воды, добавил эссенций, помог раздеться, расшнуровал ботинки: нагибаться ему страшновато, Гребницер советует резких наклонов вовсе избегать: куртку, брюки, исподнее— это все он может сам и помогать себе не позволяет, а вот носки и ботинки приходится препоручать Блуртмелю, и в ванну тот ему помогает влезть, а по сути— почти несет его в ванну, приговаривая:

— Опять вы похудали, опять как перышко, мне ведь весов не нужно, я и так чувствую— грамм шестьсот— семьсот сбросили, не меньше.

И конечно же, едва он коснулся воды ногами и ягодицами, тут же напомнил о себе мочевого пузыря (попытка уладить это дело до купания, как обычно, кончились ничем), пришлось, завернувшись в полотенце, снова плестись в туалет. Блуртмель тем временем колдовал над ванной, проверил ладонью температуру воды, добавил горячей, плеснул еще немного эссенции.

Он оборудовал ванную с таким расчетом, чтобы видеть в окно, которое специально для этой цели пришлось пробить пониже, кроны деревьев и небо— оно здесь почти никогда не бывает голубым. Сегодня, судя по всему, ветер с юго-востока, в окне, уже превратившись в облака, проплывают шлейфы электростанций, с виду совершенно безобидные облака, идиллические, совсем как настоящие, как на полотнах голландцев, как у раннего Гейнсборо или Констебля, но в двенадцати километрах к западу они вбуравились в небо столбами дыма, совершенно безвредного, как клятвенно заверял его Кортшеде, потому что это не дым, а просто водяной пар, из которого ведь и образуются облака, так что это всего лишь «погода»; а когда ветер с севера или с северо-запада, небо ясное, безоблачное, но

какое-то белесое, и только в редкие дни— он все никак не соберется подсчитать, сколько их в году,— небо по-настоящему голубое.

Блуртмель присел сбоку на табуретке, зная, что он не выносит, когда кто-то за спиной, зная и о том, что этот панический страх у него с войны, после нескольких особо стремительных отступлений, которые правильной было бы назвать бегством. Стрельба за спиной куда противней, чем спереди, когда видишь, откуда стреляют. Но быть может,— это уж деликатная теория Блуртмеля— у него и вправду привитый еще со школы «комплекс спартанца», от которого ему уже не избавиться— боязнь позора. Если и вправду так, тогда этот комплекс глубоко засел, впрочем, не так глубоко, как молочный суп, исповедь, «один или с кем-то»; от позора его Бог миловал, а вот страх— страх всегда при нем. Все-таки его тогда разок зацепило, но к его же благу, иначе он не попал бы в Дрезден в госпиталь, не встретил бы Кэте, да к тому же и рана оказалась лучше некуда, как по заказу, не тяжелая и не слишком болезненная, но в то же время не какая-нибудь пустяковая царапина, с которой ни о чем, кроме полевого лазарета, и мечтать не смей. В Дрездене он только одного боялся: как бы не стало известно про «постоянно действующий приказ», который он, командир батареи, отдал своим солдатам: «Только они появятся, только их увидите— всем драпать, немедленно драпать!» Сам-то он, будто капитан на корабле, почти до конца проторчал на посту, успев прихватить с собой лишь сигареты, пистолет и карту, он был потрясен чудовищным превосходством неприятеля в живой силе и танках, какие там «русские голодранцы»— все ладные, в опрятной форме, судя по всему, его так никто и не заложил, даже Плон, его лейтенант, хоть и кричал непрерывно «о войне до победного конца», но, слава богу, видно, и сам не верил. Дрезден, Кэте...

Сегодня за завтраком, собираясь на последнее заседание— у Кэте это называлось «опять в лабиринт, опять к своему Минотавру»,— он уже не в первый раз заметил, какие похожие у них глаза, у Кэте и у Рольфа. У нее, правда, чуточку посветлей, посветлей на едва уловимый оттенок, но и в ее зрачках та же дымка нездешней скорби и те же глубины отчаяния, подернутые, правда, иной раз ветерком легкомыслия и бесшабашного озорства. Ведь советовала она ему сразу же сбыть с рук «Листок», не продавать Айкельхоф, стать директором музея, а то и министром по делам культов, на худой конец— окружным советником по культуре, шансы у него были, англичане его уважали, да и партию он бы себе подыскал; по

ошибке интернирован, незаслуженно принял лагерные муки— все это только укрепило его безупречную репутацию, а нацистом он и правда никогда не был. Случайно? Он и сам толком не знает; то есть, конечно, все было омерзительно, тут и вопроса нет, годами он, с помощью графини, перебивался уроками, подрабатывал в замках и архивах, каталогизировал частные коллекции, пописывал статейки для журналов, пока не началась война и его не забросило в артиллерию. Страх он познал и до армии, страх неизменно караулил за стенами библиотек, архивов, импровизированных домашних классов, где он давал частные уроки, страх подстерегал на улице, куда все же приходилось выбираться хотя бы в поисках женщины; он вспомнил о замковых архивах, епископских библиотеках, о чудаковатых церковниках, эти самые милые; вспомнил о милостях, которыми одаривали его молоденькие учительницы и официантки, а он, надо надеяться, одаривал их; вспомнил о томных взглядах, которые, случалось, бросали на него иные баронессы, хозяйки замков,— его эти взгляды пугали до смерти, хоть он и увлеченно осваивал «помилуем друг друга» с графиней, но ведь, в конце концов, Герлинда была не замужем. Прямого давления он никогда не ощущал и до сих пор не знает, как и до какой степени он бы такому давлению уступил, не знал и в ту пору, когда принял «Листок»; он и сам стеснялся своей политической безупречности, которую англичане просто приняли к сведению и уважали, втайне изумляясь, как такое вообще возможно. Иногда— не слишком всерьез— он прокручивал в мыслях свои возможные биографии директора музея, а то и министра, с резиденцией в Айкельхофе: что ж, «доходов» им бы вполне хватило и так, а многое, очень многое могло бы, да, могло бы выпасть совсем иначе— Рольф, возможно, не угодил бы в тюрьму, Сабина не познакомилась бы с этим подонком Фишером, а Герберт, вероятно, не вырос бы таким недотепой; не исключено, что и Вероника и Генрих— ну да, наверно, все они в глубине души чересчур иронично относились к «Листку», он сам, Кэте, дети, друзья,— да, заведовать музеем было бы в самый раз, министр— уже перебор, сидел бы по уши в партийном дерьме.

Он вдруг задумался, отчего Вероника всегда звонит только Кэте, ему ни разу не позвонила, и невольно усмехнулся: уж не ревнует ли он из-за того, что она ему не звонит, всегда только Сабине и Кэте, даже Рольфу никогда, Рольфа она, наверно, боится, и уж тем паче, даже потехи ради, не звонит этому Эрвину Фишеру, которому и сам он позвонил лишь однажды, да и то когда, что называ-

ется, приперло, просил дать Рольфу хоть какую-нибудь, пусть самую завалящую, работу в «Пчелином улье», можно грузчиком, можно дворником, все равно. Но нет, Фишер наотрез отказал, очередной раз сославшись на имя Хольгер, которым нарекли младенца уже «после того», да еще и добавил, что «не позволит этому типу сеять среди своих рабочих красную заразу». Но ведь Хольгеров на свете сколько угодно, был же и Хольгер Датчанин, и премьер-министр по имени Хольгер, есть, наконец, и граф Хольгер фон Толм, который до сих пор мыкается где-то между Малагой и Кадисом, пытаясь (как он выяснил, по большей части безуспешно) соблазнять богатых туристов, преимущественно англичанок и шведок, а немок только на самый худой конец. С другой стороны, может, это и правда глупое упрямство — нарекать в наши дни и второго сына именем Хольгер?

Так отчего же Вероника ни разу не позвонила ему? Ведь он ничего худого ей не сделал, она всегда была с ним мила, он отвечал ей тем же, разве что никогда не делал того, что, вероятно, делали Кэте и Герберт, — не давал ей денег. По части денег у Кэте вообще очень уж легкая рука, она гораздо щедрее, чем он, и ведь не скажешь, что это от родителей: его отец, одержимый манией землевладения, половину своего скудного жалованья откладывал на бросовые земли. Отец Кэте тоже был всего лишь садовником, вечно в долгах, а ее мать вечерами тайком убиралась в магазинах, тайком — чтобы соседи, не дай бог, не увидели, хотя все в округе и так прекрасно знали, что она подрабатывает уборщицей. Жили очень скромно, пожалуй, даже скромнее, чем его родители, и тем не менее у Кэте никаких денежных комплексов, она не стесняется своих денег, но и не кичится ими, оставляя иной раз внушительные суммы у портнихи или отправляясь в кафе Гецлозера на такси.

Сабина денег Веронике не давала наверняка, об этом уж Фишер позаботился, он держит ее довольно строго; этот раздобрится и раскошелится только на что-то доходное или престижное: на платья и лошадей для Сабины, чтобы фотографировать ее для журналов, то одну, то с Кит, внучкой, его любимицей, которую он так редко видит; у Фишера хватило невозмутимости и бесстыдства устроить так, чтобы Кит, четырехлетнюю малютку в жокейской курточке, выбрали «ребенком мая». «Ребенок месяца» — это было его последнее фирменное изобретение: раз в месяц все газеты и журналы, от солидных до бульварных, помещают фото избранника или избранницы, иногда эти снимки, увы, проникают и в «Листок», повсюду, со всех страниц и витрин гля-

дит одно и то же очаровательное созданище, с головы до ног одетое в продукцию «Пчелиного улья», а кто же не знает, что «Пчелиный улей» — это Фишер. Прелестные детки, то задумчиво-мечтательные, будто прямо с полотен Ренуара или Рубенса, то фривольно-дерзкие, словно их уже обучают стриптизу, одетые то нарочито строго, то с артистической небрежностью, иногда и на заграничный — андалузский, сицилианский, а недавно, в честь Олимпиады, даже и на русский манер, но неизменно с фирменным ярлычком «Пчелиного улья». А потом из двенадцати «детей месяца» выберут «ребенка года», и именно от Блямпа, который вычитал это в газетах, он должен узнавать, что Сабина беременна, это пропечатано в спортивной хронике в связи с какими-то скачками, Амплангер уже прислал ему вырезку: «Одна из главных наших надежд, Сабина Фишер, к сожалению, выступить не сможет, она готовится стать матерью». Так вот и узнаешь о событиях в собственной семье, о своем новом потомстве; нетрудно представить, как разъярится, но и возликует Рольф, если ему попадетсся эта заметка, в которой он усмотрит «омерзительную блевотину», но вместе с тем и еще одно «саморазоблачение системы», «неуклонный рост проституционных тенденций».

Блуртмель спустил немного воды, добавил горячей, жестом велел ему подвигать ногами: в воде ноги и вправду куда послушней, они становятся легче, они бы и остались такими, если бы не «Листок», который свинцом разлился в суставах, — легконогий директор музея, легконогий, нет, все же вряд ли министр, но, как знать, быть может, государственный секретарь. Птицы в сером небе среди обманчиво белых облаков, идиллических, вспененных, пушистых, будто созданных самим Господом Богом, а не исторгнувшихся клубами из труб электростанций; белые, бестревожные, переменчивые, они плывут и плывут по бескрайнему небу, будто держат свой путь вечно, хотя на самом деле родились совсем недавно, только что, в Хетциграте, родились из угля, что пластами залег под Айкельхофом, но ведь и пласты созданы Господом Богом, так что в конечном счете в божественности облаков не приходится сомневаться. Дивный день, если бы не облака, сейчас он уже чуть подернут первыми вечерними сумерками, и даже ласточки изредка мелькают в окне, из длиннокрылых ему милее всех ласточки, особенно стрижи, стремительная и красивая птица, ловкая, ладная и интеллигентная. Но главные его любимцы — пернатые хищники: соколы, канюки, ястребы. Особенно соколы, они до сих пор гнездятся в башне замка; куда им, беднягам, по-

даться, когда сбудется прорицание Кортшеде, куда направят они, нехотя помахивая крылами, свой плавный и неторопливый полет, свое царственное парение? И опять— неотвязно— воспоминание о сове, которая с наступлением сумерек отделялась от стены и летела к кромке леса, бесшумно, уверенно, целеустремленно. Иногда в окне мелькают и голуби из голубятни Коммерца, но странно— голуби ему не нравятся, не нравится их воркованье, их возня в нишах стены, где они высиживают потомство, не нравится их суетливый полет, и он, глядя в прямоугольник окна на серое, в белесых разводах небо, долго еще раздумывал, почему ему так милы хищные птицы,— Блуртмель время от времени проверял его пульс и кивал головой в знак того, что все в порядке.

Как хотелось бы ему провести остаток дней за такими невинными занятиями: наблюдать за полетом птиц, пить чай, смотреть на Кэте, когда она вяжет, слушать, как она в своей изумительной дилетантской манере (у нее это называлось «от души») играет Бетховена,— а у него вдобавок к одному бессмысленно необъятному кабинету в «Листке» теперь появится второй, столь же бессмысленно необъятный, и ему надлежит и тот и другой заполнять своей «персоной», а он даже не знает, что его дочь ждет ребенка, и кроме Блямпа, который узнает об этом из спортивных новостей, больше, конечно же, некому ему об этом сообщить; да, потомок, хотя и не будущий Тольм, а всего лишь будущий Фишер. Ну, ничего, один-то потомок по фамилии Тольм у него точно есть, его зовут Хольгер, и он частенько дает ему повод для весьма любопытных размышлений по части правонаследования: если они укокошат Рольфа как ренегата, а его самого— как новоизбранного президента, этому семилетнему мальчонке, прямому наследнику Рольфа, достанется очень даже приличный куш, мальчонке, которого он уже три года не видел, с которым он, когда тот еще только-только научился лопотать, ходил в парк кормить уток, как недавно с Кит. Ходил, кормил, даже это ему теперь «не рекомендовано», с тех пор как совсем недавно одна утка, отделившись от стаи, что так красиво бороздила темную гладь пруда, абсолютно противоестественно, будто заводная игрушка, поплыла прямо к берегу, и молодой сотрудник охраны Тёргаш выскочил из кустов с криком «Ложись!», опрокинул его и Кит на землю, сам ничком бросился рядом,— а утка, которая, как потом выяснилось, была всего лишь деревянной «подсадкой», тем временем благополучно завершила свое противоестественно-целеустремленное движение, уткнувшись носом в островок прибрежной осоки и

еще более противоестественно завертевшись на одном месте. Тёргаш, понятно, принял ее за плавучую мину, которую замаскировали под утку или в утку спрятали. К счастью, его опасения не подтвердились, но Тёргаш провел тщательное расследование, результат которого — заплаканная и во всем признавшаяся молоденькая кухарка: оказывается, она обнаружила утку в подвале, отмыла и «пустила поплавать», просто так, «потехи ради», как она выразилась. Ему с трудом удалось предотвратить увольнение девушки и шумиху в прессе, да и то лишь под тем предлогом, что разглашение инцидента может навести злоумышленников на «опасные идеи». С тех пор он недоверчиво относится к уткам и вообще к птицам, за которыми прежде так любил наблюдать. А что, ведь вполне можно изобрести механических птиц с дистанционным управлением, он живо представил себе, как такая птица, начиненная взрывчаткой, внезапно спикировав, переходит на бреющий полет и влетает в открытое окно, неся в своем искусственном брюшке, в своей искусственной грудке смерть и разрушение. Ласточек, видимо, можно исключить, воробьев и дроздов тоже. Но голубей и ворон уже, пожалуй, нет, аистов — тем более, а ведь есть еще дикие гуси, целые стаи механических птиц, начиненных смертоносным грузом, и недавно он не удержался от соблазна именно в разговоре с Блямпом как бы невзначай вернуть: «Даже птицам небесным и то нельзя доверять». На что Блямп с готовностью отозвался: «Даже торту, который тебе присылают от кондитера». Да, после случая с именным тортом Плифгера всем им пришлось сесть только на домашнюю выпечку, изготовление которой осуществлялось если и не под прямым надзором, то с соблюдением всяческих мер крайней предосторожности.

Во всей этой истории с тортом прослеживалась редкостная изощренность замысла в сочетании с педантизмом исполнения: ведь кто-то должен был разузнать, какому кондитеру заказан торт, каким маршрутом его доставят, в точности определить время, когда опускается шлагбаум, чей-то голубой «форд» всю дорогу маячил перед фургоном кондитера и нарочно притормаживал, подводя фургон к переезду точнехонько в ту минуту, когда шлагбаум стал опускаться; этот голубой «форд» постоянно оказывался перед фургоном кондитера именно на тех участках, где обгон запрещен, а на переезде торт подменили, вместо настоящего подложили другой, «с начинкой», настоящий же потом нашли в урне неподалеку от шлагбаума, и если бы кто-то не позвонил Плифгеру и не предупредил его (он по-прежнему надеется, что это была Вероника, она любит

звонить)— страшно подумать... На такое способен только Беверло, не зря Вероника сказала: «Он считает, считает, считает без конца». Торт был скопирован точь-в-точь, «нашему дорогому шефу к 65-летию», и ничто, ничто— ни допросы самого кондитера, членов его семьи, его учеников, помощников и соседей, ни тщательное обследование телефонной проводки— не выявило ни одного подозрительного лица. Дамы из управления— ведь они заказывали торт, и надпись, и украшение (незабудки на сахарной глазури)— были навзрыд, до икоты: торт был точь-в-точь такой же, все совпадало тютельница в тютельку, даже вес, и если бы Плифгер, как предполагалось, торжественно его взрезал, его разорвало бы в клочки, беднягу Плифгера, его предшественника, так что «нельзя верить даже хлебу, который подают тебе на стол, и даже пачке сигарет, которую ты вскрываешь...». Это уже после случая с Плутатти.

Денег, хотя бы тех, что подбрасывает им Кэте, у них вполне хватит, чтобы вывести таких птичек, а уж фантазии им и вовсе не занимать, особенно Веронике; смастерят стаю диких гусей, штук тридцать (шелест крыльев в ночи!), направят на замок— эффект будет не хуже, чем от самой наисовременной «катыши». А почему нет? В наше-то время, когда изобретены крохотные и проворные электронные роботы, на которых— среди прочего— Блямп зашибает свои денежки, и, конечно же, он ни с кем этой своей тревогой не поделился, даже с Кэте, тем более с Блямпом, иначе тот немедленно поручит кому-нибудь из своих высококвалифицированных физиков или инженеров «обмозговать идейку», пусть только из «чисто теоретического интереса», ради «оживления баллистической дискуссии», посмотреть, что получится,— а вдруг какое-нибудь новое, фантастически эффективное оружие?

А Хольцпуке под этим предлогом, чего доброго, еще додумается забрать все пространство вокруг замка и небо над ним в металлическую сетку— и не будет ни птиц в небе, ни облаков, пусть даже они из труб Хетциграта. Нет уж, лучше спокойно наслаждаться и видом парка, и небом над головой, собственноручно доставать сигарету из пачки и самому задувать спичку, которой он эту сигарету зажжет, лучше и дальше кормить вместе с Кит уток, бросая им крошки с террасы. Оттуда, с террасы, крошки можно бросать далеко, дирижируя движением стаи, радуясь прихотливым узорам, которые чертят на воде жадные до хлеба птицы,— а ночью сова, сычи, летучие мыши, полет ко-

торых все еще остается для него загадкой. Во сне прилетали орлы, стервятники, огромные, с несусветным размахом крыла, они летели уверенно, пикировали стремительно и зло, прямо на него, грудь в грудь, и при столкновении взрывались— вспышка огня, дым и грохот, который еще долго гремел у него в ушах, когда он, уже проснувшись, молча лежал рядом с Кэте, взяв ее за руку и ища успокоения в ее тепле, в ровном биении ее пульса. Или тихо вставал, звонком вызывал Блуртмеля, и тот растирал, массажировал ему ооченевшие ступни, да и на следующий день бывали минуты, когда он вздрагивал при виде голубя, ласточки, а то и воробья, подлетающего к замку, и с трудом сдерживался, чтобы не завизжать, как тогда Кортшеде.

Блуртмель напомнил: «Не пора ли, господин доктор?»— помог ему выбраться из ванны, лечь на массажный столик для растирания бальзамами и мазями, набросил на него махровую простыню, досуха растер все тело, деликатно прикрывая срам, и жестом предложил подвигать ногами в воздухе, у него это называлось «воздушный марш»... Это, разумеется, очень даже непростая техническая проблема: сконструировать аппарат, который бы в точности, до неразличимости имитировал все движения летящей птицы— возможно ли вообще воспроизвести все нюансы этих движений, не поступившись главной функциональной задачей: ведь в «птице» надо еще разместить и спрятать взрывное устройство, которое — к тому же — должно сработать? Но ведь механических заводных птиц уже делают, тут он вспомнил об одном разговоре с Вероникой, еще в Айкельхофе, на террасе, Вероника тогда утверждала, что искусственные птицы летают «гораздо натуральней» настоящих, а уж заводные игрушечные птицы и подавно «бегают куда естественней, чем живые».

Одним прикосновением своих мягких рук Блуртмель остановил «воздушный марш» и принялся втирать мази, начал с пяток, попросив, «если будет хоть чуточку больно, сразу же сказать», вскоре выразил удовлетворение, констатировав удивительную расслабленность мышц,— наверно, оттого, что исчез страх, на смену которому пришли воображение и любопытство; ему было хорошо, мазь и волшебные руки Блуртмеля делали свое дело; но в ту же минуту, приподняв голову— отсюда он мог разглядеть даже террасу и ров с водой,— он подумал: а что, если это все-таки Блуртмель? Ведь есть же эти таинственные крохотные булавки, которыми выстреливают прямо в мозг... Да и почему, в конце концов, не Блуртмель, кому известно, что гнездится, что зреет в потаенных глубинах его души, какая вспышка внезапной ярости судорогой сведет его

пальцы на горле жертвы? Уж Блуртмель достаточно сведущ в анатомии (зря, что ли, посещал специальные курсы), чтобы скрыть следы удушения и инсценировать смерть в результате несчастного случая. Кто он на самом деле, этот милый человек с красивыми, сильными, чуть жилистыми руками и грустным мягким взглядом, который невесть почему подчас роднит массажистов и священников? Что, в конце концов, значит «проверенная анкета»? Родился в 1940-м в Катовице, фамилия родителей— Блутвицкие или что-то в этом духе, учился в католическом интернате, но «вследствие разочарования в послевоенном развитии страны» прервал обучение, покинул родину и, отрекшись от своей национальности, взял себе странную фамилию— Блуртмель, этимологию которой никто, в том числе и он сам, до сих пор не в состоянии разъяснить. На Западе в школу не поступал, от всех социальных поощрений и вспомоществований отказывался, обучился на санитаря и, хотя проявил, как утверждали все, кто имел с ним дело, явные способности к медицине, завершать школьное образование и поступать в университет не захотел и позже обретался где-то на юге, в Альгёйе, у монахинь, зачем-то приобрел очень мощный и дорогой мотоцикл, на котором в основном и проводил свободное время, без видимой цели (действительно ли эти поездки были бесцельными или только казались таковыми, с окончательной уверенностью установить не удалось) колесил по окрестностям, ездил в Мюнхен, Гамбург и Берлин («восточных контактов» не зафиксировано), потом поступил на службу (одновременно слугой, массажистом и шофером) к епископу, у которого проработал десять лет, пока епископ не отрекомендовал его Тольму. Епископ Блуртмеля ему, можно сказать, почти подарил, ибо Блуртмель, по его словам, «незаменим, просто незаменим, но тебе, так и быть, отдам, если он, конечно, захочет, тебе он гораздо нужнее, чем мне, на твоём-то посту!». Епископа он знал еще со времен своих частных уроков и по искусствоведческому факультету, тот защищал диплом по Босху, да и на фронте их дорожки пересеклись, будущий епископ был тогда фельдфебелем артиллерии— хотя вообще-то ему всегда не по себе, когда епископы заявляются к ним в Объединение таким сомкнутым строем, так сказать, наносят визит, поскольку им «надо поддерживать контакт со всеми общественными группами»,— ему не по себе от легкой примеси подбострастия и панибратства в их жестах и интонациях, в которых так и сквозит: «Мы ведь в одной лодке!» Почему, собственно, в одной? В какой такой лодке? А с проститутками, выходит, не в одной?

Но нет, этот епископ действительно милый, у него обыкновенное имя Ханс и какая-то еще более простецкая фамилия, он по-прежнему интересуется Босхом и искренне хотел ему удружить. Так вот, Блуртмель согласился, поступил в 1971 году к нему на службу; вскоре выяснилось, что он действительно незаменим и по сочетанию способностей (шофер, слуга, массажист), и по складу характера, он оказался в высшей степени деликатным, этот стройный, симпатичный и тихий человек, призванный скорее быть монахом, чем слугой (хотя кто сказал, что одно исключает другое?), у которого, казалось, не может быть и намека на личную жизнь, но, однако, личная жизнь у него была: мать, которой он помогает, сестра, к которой он время от времени навещается, обе сохранили свою звучную польскую фамилию и живут неподалеку от Вюрцбурга, безобидные гражданки, абсолютно вне подозрений, муж сестры даже служит в полиции; оказалось, что у Блуртмеля— вот уж сюрприз так сюрприз, Тольм всегда считал его платоническим гомосексуалистом, если не вообще бесполом существом,— есть даже подруга, тридцатилетняя Эва Кленш, у которой он без стеснения проводит свои выходные дни, а также ночи, с которой он появляется на людях, ходит в ресторан, в кино и театр; вот уже десять лет, еще со времени службы у епископа, это его давняя и прочная привязанность. Эва Кленш, которая держит во Франкфурте восточный магазинчик (израильские, турецкие, палестинские тряпки, безделушки, сувениры и прочее барахло), ездит, по мнению экспертов службы безопасности, довольно часто (на взгляд Хольцшпукера— что-то уж слишком часто), на Ближний Восток и даже организовала при каком-то лагере палестинских беженцев целую службу надомниц— так вот, эта Эва Кленш не то чтобы была под подозрением, вовсе нет, но и в рубрику «абсолютно вне подозрений» тоже никак не попадала, из-за чего и Блуртмель при всем желании не мог сподобиться чести числиться в этой рубрике, так сказать, безоговорочно. Кто ее знает, чем она там занимается, о чем шушукается, что на что меняет и обменивает в темных закоулках Бейрута и его окрестностей, что закупает на окраинах Наблуса, Дамаска или Аммана. И хотя на таможне ее всегда можно было досмотреть, а то и с пристрастием обыскать— ибо тут если не политика, то ведь не исключен и героин, гашиш, да мало ли что,— эти абсолютно законные, хотя и предельно тщательные досмотры и обыски не выявили ничего, ровным счетом ничего подозрительного в деятельности Эвы Кленш, хорошенькой, уверенной в себе, деловитой и предприимчивой молодой особы, которая умела и абсолютно

легально пользовалась перепадами курса американского доллара; и даже когда ее— разумеется, обычным порядком, на совершенно законных основаниях— подвергли налоговой инспекции, проверка не обнаружила ничего подозрительного, за исключением нескольких спорных счетов в графе дорожных расходов, но какая же инспекция не находит таких мелочей? Есть у нее и увлечение— стрельба из лука, она и тут преуспела, была чемпионкой то ли округа, то ли района, и всегда возит с собой в машине лук, мишени и стрелы. Разумеется, ее анкету тоже «подняли» и тщательно изучили: тринадцати лет, незадолго до сооружения берлинской стены, она вместе с отцом, электросварщиком, матерью, обмотчицей электромагнитов, и десятилетним братом, ныне— солдатом сверхсрочной службы, переехала на Запад, в Дортмунд, училась прилежно, успешно окончила среднюю школу, работала сперва продавщицей, потом закупщицей в универмаге, уже в двадцать один год открыла собственную галантерейку, взяв довольно рискованные для своих скромных возможностей кредиты; но дело повела уверенно, сейчас у нее даже есть филиал где-то под Оффенбахом. Эта хорошенькая (деталь в криминалистическом отношении не совсем обычная, а потому тревожная) Эва Кленш два года назад под несомненным влиянием Блуртмеля, который познакомился с ней десять лет назад на митинге (еще один сюрприз) СДПГ, перешла в католичество. Обе эти детали— СДПГ и католицизм— почему-то не дают ему покоя. Не то чтобы он имел что-то против СДПГ и католицизма, если не считать комплекса исповеди, приобретенного стараниями Нупперца, нет, но как-то связь не улавливается, да и странно, почему Блуртмель до сих пор не женился на девушке, словом, что-то тут «не того», или он сам— и это, пожалуй, ближе к истине— уже «не того». И все-таки, как ни крути, лук и стрелы— это бесшумное оружие. Пока Блуртмель массировал ему затылок и шею, медленно подбираясь к плечам, где он подозревал целый «оплот ревматизма», Тольм очередной раз запретил себе мысленный экскурс в область любовных ласк Блуртмеля и Эвы, которые так занимали его воображение; как и подтвердилось, Блуртмель открыто симпатизировал социал-демократам, причем давно, еще со времени службы у епископа, его Эва, судя по всему, тоже; после того, как он, Тольм, поймал себя на мысли, что уже несколько месяцев буквально сгорает от любопытства, так ему не терпится взглянуть на фотокарточку этой Эвы (не просить же, в самом деле, Хольцшукке, чтобы тот раздобыл ему фото из своих архивов!), Блуртмель в один прекрасный день без

всяких просьб, по собственной инициативе протянул ему фотографию, тихо добавил: «Вот она, моя подруга Эва»,— и это «вот она» еще больше укрепило Тольма в подозрении, что его слуга, видимо, умеет читать мысли. На фотоснимке Эва оказалась на редкость привлекательной, довольно миниатюрной брюнеткой с соблазнительной грудью, веселыми глазами и интеллигентной улыбкой— уверенная в себе, хорошенькая, ладная, в сапожках. С тех пор выяснилось также, что она, в отличие от Тольма, исправно ходит в церковь, иногда с Блуртмелем, но чаще одна, он тогда остается дома и готовит завтрак. Выходит, этот бывший епископский массажист, недоучка из католического интерната и заядлый мотоциклист, привел в лоно церкви молоденькую женщину, взросшую в местах, религии отнюдь не благоприятствующих.

Может, именно руки этой женщины, такие красивые, но, наверно, и достаточно ловкие, вручат Блуртмелю «то самое», переданное по сложнейшей и абсолютно неразгаданной цепочке палестинской конспиративной связи, что-то нашептанное в лагерях беженцев, потихоньку переправленное в Бейрут, зашифрованное, потом расшифрованное, чтобы угнездиться в мозгу Блуртмеля и вырасти, вызреть, прорваться внезапной роковой вспышкой. А в итоге— едва заметное движение пальцев во время массажа или в ванной, хрип, голова уходит под воду, пузыри... Ведь вот и Гребницер не рекомендует злоупотреблять водными процедурами, тоже, значит, не исключает возможность несчастного случая, а у палестинцев целая секретная служба, и его внук, вполне вероятно, уже говорит на их языке. Денег у них достаточно (тех самых, о которых иногда так спокойно рассуждает Рольф, внушая ему, что «это же ваши нефтяные денежки, текут из Ливии, Сирии, Саудовской Аравии, возвращаясь к вам же, но совсем другим товаром,— это так, к сведению, просто чтоб ты знал, сколько бед могут натворить деньги»).

Одно только неясно и потому отчасти успокаивает: какая им выгода убивать его вот так, без всякого шума— без бомб, пальбы, без «торта с начинкой»? Несчастный случай в ванной— что им это даст? Какой прок доказывать свою силу, не продемонстрировав ее публично?

Капиталист утонул в ванне— ну и что? Впрочем, доводы, которыми его порой пытается успокоить Кэте,— его общеизвестная доброта, его, можно сказать, почти официально признанная «человечность»,— возможно, как раз и таят в себе наибольшую угрозу. После него придет Амплангер, этот из новой формации: решительный, энергичный, в расцвете сил, так и пышет здоровьем, от одной

улыбки дрожь берет; вот такой-то им и нужен для убийства с помпой, а его, следовательно, надо просто потихому устранить; Амплангер— это биржа, это олимпийская стрелковая команда, теннис, Цуммерлинг и несгибаемая твердость, та, что со скрежетом зубным. Может, им не терпится ускорить избрание Амплангера,— а он, какая он для них мишень?— слишком уж из него «прет» гуманизм, самокопание, этакая позднекапиталистическая скорбь; в конце концов, черт возьми, почему бы им не взяться за Блямп, вот уж кто твердейший из твердых, ничем не прошибешь, он и бровью не поведет, ресницей не дрогнет, если узнает, что где-то в Боливии или в Родезии еще сотня-другая несчастных подыхает с голоду— тогда как в нем, в Тольме, гнездится скорбь, первобытная, от праотцов, а «военные сводки» Рольфа, «системный анализ» Катарины постоянно дают этой скорби новую пищу; и, конечно, именно эта неподдельная скорбь, драгоценную телегеничность которой Блямп, несомненно, разглядел, и стала главным соблазном для тех, кто столь радостно, торжественно и подло «зафиндил» его на самый верх; но должны же «те, другие, понимать, что он пусть и плох в своих слабостях, но все же не худший из худших, хотя, быть может, в том-то и несчастье, что худшим из худших ему быть не дано,— и что означает таинственный шепот Вероники по телефону: «Никогда не ходите на чай к Блямпу»?

— Блуртмель,— спросил он вдруг, будто очнувшись,— вы верите в Бога? Да-да, в того самого, в Иисуса Христа?
— Конечно, господин доктор, а вы?

По негласному протоколу этот встречный вопрос был наглостью, вопиющим нарушением стародавних традиций службы, видимо, в Блуртмеле сработал некий социал-демократический элемент, даже на его взгляд Блуртмель тут далеко зашел, да и напугал его изрядно, потому что это совсем на него не похоже, тем не менее он ответил:

— Я тоже, Блуртмель, я тоже, хоть и не знаю в точности, кто он и где. Но тогда, уж извините за назойливость, позвольте задать вам еще один вопрос: что в этом странном мире поражает вас больше всего?

— Больше всего,— ответил Блуртмель без раздумий, ответил так, будто всегда носил в себе ответ на столь неожиданный вопрос,— больше всего меня поражает долготерпение бедных.

Сказано сильно, сразу повисла тишина, да, ответ крайне неожиданный, и, пожалуй, социал-демократы тут ни при чем, это куда древней и куда весомей, наверно, сидит в Блуртмеле давным-давно, а ведь произнесено даже без

горечи: «долготерпение бедных»— какие глубокие, мудрые слова из уст массажиста. Он чуть было не спросил, но вовремя удержался—слишком банальный, омерзительно глупый вопрос: «А себя вы причисляете к бедным?» Он побоялся задать вопрос— по идее ответ мог быть только отрицательным, но почему-то полной уверенности не было. А что, если бы Блуртмель сказал «да»— какая могла бы тут развернуться дискуссия, целый философский диспут о бедности, и ему пришлось бы, хотя он терпеть этого не может, никогда не позволяя себе этого при детях, и при Кэте, кстати, тоже никогда, выставить себя подлинным ветераном бедности: вечная голодуха в студенческие годы, а дома, куда он приезжал на субботу— воскресенье, уже никакого молочного супа, одна картошка, во всех видах, чаще— потому что дешевле всего— в виде салата, ведь к вареной нужна была хоть какая-то подливка, а для жареной— хоть прозрачный лепесток маргарина; потому что отец окончательно свихнулся на своих участках, все больше урезал семейный бюджет, экономил на угле и на электричестве,— о, эти незабвенные пятнадцать ватт на кухне и в подвале, двадцать пять— и не жечь зря!— в гостиной.

— Беден тот,— произнес вдруг Блуртмель,— у кого земли ни клочка. Ну, а у меня,— он почти снисходительно улыбнулся,— как-никак половина участка, на котором моя подруга держит магазин.— Он заканчивал массаж, напоследок прошелся по всему телу, вот и заключительные шлепки по плечам и ниже спины, но тут он сказал, на сей раз уже с неподдельным огорчением:— Я бы продолжил процедуру, но чувствую в вас какое-то сопротивление, будто вы мне не доверяете.

— Нет-нет,— возразил он, принимая из рук Блуртмеля белье и рубашку,— ничего подобного. Просто я все гадаю, кто меня укокошит, кто и каким образом, вот в мыслях всех и перебираю, даже сыновей, и жену, и невестку, всех друзей, всех врагов, ну, и вас, конечно, наверно, что-то в этом роде вы и почувствовали.

— Кому же понадобится вас убивать? Вроде бы не за что.

— В том-то и дело. Но разве им нужны причины или тем более мотивы, связанные с конкретными лицами? Возьмите господина Плифгера— хороший начальник, отец семейства, словом, душа-человек, нет, личности их не интересуют, они в своем роде технократы, сперва дело, чувства потом, а так-то они, наверно, совсем не бесчувственные, такие же милые люди, как мы с вами.

Брюки он еще может осилить, а вот носки и ботинки нет, это уж пусть Блуртмель. Склонившись перед ним на коленях, Блуртмель вдруг глянул на него снизу вверх и изрек:

— Да, безопасности никакой, а от мер безопасности — никуда. Кстати, с вашего позволения, в субботу я мог бы представить вам мою подругу, госпожу Кленш, если, конечно, вам это удобно. Ваша жена любезно пригласила ее в гости.

— О, конечно, буду очень рад. Надеюсь, она остановится у нас, в замке?

— Ваша жена и господин Кульгреве любезно предоставляют в ее распоряжение гостевые комнаты.

Потом Блуртмель подал поднос, на нем чай, подсушенный хлеб, масло, лимон, икра. Кэте, вошедшая вслед за ним, выглядела уставшей и бледной, что бывает с ней редко. Да, он редко видел ее такой бледной, в последний раз, когда им сообщили об аресте Рольфа, хотя нет, было однажды и после, когда стало ясно, что Вероника исчезла. И такой усталой, почти старенькой, она тоже бывает редко. Он поцеловал ее, хотел спросить: «Что с тобой?», но она погладила его по плечу и сказала:

— Не принимай близко к сердцу, ты никогда не умел отказывать, а тебя они тронуть не посмеют, тебя — нет, ты же такой добрый, это всем известно, и им тоже.

— Как раз потому и посмеют, очень даже посмеют, как раз потому.

С тех пор как им было не рекомендовано находиться на террасе («слишком открытая», «все как на ладони», если смотреть из леса, как объяснил им Хольцпуке, особенно с высоких деревьев, «просто тир», а он только-только провел сюда отопление и оснастил окна автоматикой, чтобы открывались и закрывались сами, ведь он так любит сидеть на террасе осенью и зимой, просто сидеть и поджидать сову), с тех пор как он категорически отказался ограждать лес и парк от посторонних посетителей — свободный доступ в лес и парк был давним, исконным правом всякого простолюдина, никто из графов фон Тольм, даже самые отъявленные скупердяи и самодуры, не отваживался на это право посягнуть, проверять же (а тем паче обыскивать) каждого, кто приходит сюда погулять (а таких много, даже из соседних мест приезжают, особенно по выходным), нет, это никуда не годится, — словом, с тех пор они обречены на чаепития в комнате, сидят за столом рядышком и любуются в окно собственным парком и лесом, Кэте говорит: «Прямо как в кино».

Она налила ему чаю, сделала бутерброд с икрой. Что поделаешь, он любит икру, любит до сих пор, и он не смог удержаться, заглянул ей в глаза, заглянул глубоко и пристально, и увидел страх; это с ней бывает редко, и в войну и после он редко видел страх в ее взгляде, в Дрездене она боялась только истребителей-штурмовиков да еще «нацистов и протестантов». Вот гнев и ярость— это другое дело, это он хорошо помнит: когда у них отняли Айкельхоф, и скорбь, когда стерли с лица земли Иффенховен, где погребены все ее предки до шестого колена. А страх редко, даже когда Рольф начал дурить. Многие считали ее холодной и даже несколько вялой, да она, пожалуй, так и выглядит, но только в официальной обстановке, на приемах, банкетах и прочих подобных сборищах. Она редко в них участвует, только ради него, ей это скучно, пустая трата времени,— да, там она, наверно, кому-то может показаться холодной, но вряд ли вялой, скорее безучастной; говорит мало, держится как истинная дама, министры, президенты и прочие владыки не производят на нее никакого впечатления, шаха она сочла «настолько нудным, что это почти интересно», Бансера— «ничтожеством, каких свет не видал», у-у, головорезы, сердечна была только с поварами и официантами, шла на кухню, расхваливала еду, списывала рецепты, просила объяснить, что как приготовлено, шутила и смеялась с гардеробщицами, с уборщицами в туалетах, с презрительным холодком во взгляде выслушивала застольные речи и тосты в свою честь, разумеется, она не была невежлива, но неизменно относилась ко всем высокопоставленным лицам— а среди них, сама говорила, бывали и «жутко важные персоны»,— чуточку свысока, почти презрительно, во всяком случае холодно и без малейшего интереса. С несколькими «комитетскими дамами» она, впрочем, почти успевала подружиться, но мешали разводы, первые, вторые, третьи жены исчезали из поля зрения, Кэте очень жаловалась на эти разводы, «только успеешь познакомиться, и вроде бы милая, пригласишь на чай, поболтаешь, по магазинам вместе прошвырнешься— и на тебе, она уже бывшая, уже где-нибудь в Гармише или на Лазурном берегу, а вместо нее объявляется очередная дуреха, блондинка или брюнетка, вертит попкой и глазищами, с пышным бюстом или считай что вовсе без бюста— она ему в дочери годится, а он туда же; бог ты мой, дались вам, мужикам, эти попки да глазищи! Вот четвертая у Блямпа— это же просто потаскушка, к тому же дура набитая, настолько дура, что это даже опасно, а ведь первая была самая милая, да и самая хорошенькая из всех, и третья, Элизабет, была ничего,

очень даже милая, просто прелесть, а вот с четными номерами ему, похоже, не везет, вторая была хоть и не вредная, но тоже дура порядочная. Какая муха их всех укусила— ты что, и в самом деле веришь, что это всякий раз настоящая, большая, единственная любовь? Мне не терпится взглянуть на пятую. Неужели будет такая же секс-бомба, как четвертая,— и она еще приглашает нас на чай! Да она с утра уже после завтрака джинку с тоником наберется и только и думает, кого бы еще своим бюстом ошеломить! Знаешь, по-моему, Блямп ее поколачивает».

Он всегда слегка краснеет, когда она так говорит, чаще всего в машине, не стесняясь Блуртмеля— тот лишь деликатно покашливает,— возвращаясь с приема или светского раута, где он бывает даже при орденах, но только послевоенных, боевых— ни в коем случае, нет, ни за что, ему бы и стыдно было перед Кэте, а кроме того, она просто грозит ему разводом: «Если ты *еще и это* сделаешь (бог ты мой, почему «еще», что он такого сделал?), если ты сделаешь *еще и это*, я с тобой разведусь». Он и новые-то стесняется носить, но надо (надо? Рольф бы спросил: «И это называется жить в свободной стране?»)— нужно ради «Листка», ради Объединения, хотя ордена, даже и новые, все равно напоминают ему об аромате виргинских сигарет: за одну из этих побрякушек, пронесенную сквозь все обыски, он выменял двенадцать сигарет, но об этом не знает никто, даже Кэте, и никому невдомек, что во время наиторжественнейших церемоний, в присутствии властителей и владык, шахов и генералов, где что ни грудь, то иконостас, он, глядя на ордена, думает о сигаретах, о том, сколько сигарет в случае нужды за эти железяки можно выручить; надо— как надо было отдать (продать) Айкельхоф, надо— о нет, он никогда не забудет беспощадного анализа его мнимой «свободы», которым этот проклятый Беверло тогда припер его к стенке,— как надо будет продать и Тольмсховен, чтобы обеспечить прокорм еще одной электростанции, еще одной фабрике облаков.

Всякий раз, когда он видит Кэте, и по утрам, когда он просыпается, и ночью, когда судорожно ищет ее руку, ему вспоминается тот вечер, когда он встретил ее в Дрездене, в госпитале, в коридоре, спешно продираясь в омерзительно-серой толчее и стараясь не глядеть по сторонам, чтобы избежать назойливых попутчиков, которые могли навязаться в любую секунду, уходил от бесконечного трепа в палате, от трескотни про «войну до победного конца», от тупой и судорожной веры в победу, на фоне которой его

упорное молчание воспринималось как недоверчивость, от настороженных, ощупывающих взглядов, в которых читалось только одно: продаст или нет? а вдруг заложит— что тогда? Он упросил, чтобы его выписали досрочно, ему выдали справку, по которой полагался отпуск, можно было смотаться домой, отпускное предписание уже в кармане, он твердо решил переночевать где угодно, лишь бы не в госпитале, и тут, в коридоре, столкнулся с ней, она остановилась, вспыхнула от радости, даже взяла за рукав, покраснела. «Как, и вы здесь, господин Тольм?» А он смотрел на нее сверху вниз: блондинка, какое открытое лицо, немножко пухленькая, с виду веселая, вот только в глазах какая-то дымчатая поволока, и он все смотрел в эти глаза, смотрел так долго и пристально, что она успела покраснеть еще раз, и все не мог, не мог, не мог сообразить: «Господи, откуда же я ее знаю, да кто же это, ты ведь ее знаешь, зовут-то хоть ее как?» В общем, она показалась ему знакомой, это точно. И он улыбнулся, тут же решив, что проведет с ней ночь, все равно как. А она сказала: «Я же Кэте Шмиц, из Иффенховена, мой брат Генрих дружил с вашим братом Хансом, а наши отцы однажды судились». Да, верно, как же, садоводство в Иффенховене, брат иногда туда ходил, было дело, а отец, когда садовник обанкротился, слишком уж быстро и не вполне корректно что-то там у него оттяпал, опять хотел оторвать кусок земли по дешевке. Да, было, процесс против Шмица, Ханс еще жаловался: мол, из-за этого суда он с другом рассорился. Да, верно, Кэте Шмиц из Иффенховена, и лицо вроде знакомое, где-то когда-то он ее, конечно, видел, может, в церкви (куда он— именно в ту пору— демонстративно, назло Нупперцу, иногда заглядывал), может, во время процессии или на танцах, и здесь, в Дрездене, в коридоре он спросил, не хочет ли она сходить с ним куда-нибудь, сбежать из этой медицинской казармы, и она, придвинувшись к нему еще ближе и снова взяв за рукав, ответила: «Ой, с удовольствием, а то тут одни нацисты и протестанты, не продохнешь». А потом, сразу же отдернув руку: «Господи, может, вы тоже...», на что он только покачал головой, уже сам взял ее за руку и проговорил: «Если вы сумеете вырваться, я буду ужасно рад»— и вздохнул: он уже знал, к чему все идет и как кончится— ему нравились не только ее глаза. «Вывусь,— заверила она.— А если не отпустят— дезертирую. Ждите меня в приемном покое». Два часа ожидания в вестибюле: перестук машинок, рык подъезжающих грузовиков, раненые, больные, носилки, стоны, крики, какие уж там победители— жалкие, забитые существа, трясутся при виде миски

с супом, о чем-то униженно просят, тычут документы; дважды приходила Кэте, рапортовала, как идут дела, у нее дежурство в амбулатории, она подыскивает срочную замену,— наконец вышла: прихорошенная, блузка в цветочек, твидовая юбка, меховая шляпка— и пальто какого-то синюшного цвета, оно совсем не подходило ко всему прочему, и она так откровенно сияла, что любо-дорого было смотреть. Да, она хотела вырваться отсюда, сходить куда-нибудь, все равно куда, может, потанцевать, лишь бы не одной, лишь бы к ней не приставали, не пытались лапать, не нашептывали похабщину. Они пошли в одно из огромных заведений для солдатни, где пахло пивом, похотью, танцульками и безнадёгой, они окунулись в это месиво цинизма и грязи, где пахло концом войны и распадом. Позже он признался ей, что сразу решил провести с ней ночь, а она призналась, что, наверно, тоже этого хотела, только думать не отважилась, она немножко его побаивалась из-за истории с молодой графиней, скандала с исповедью, из-за всей этой любовной саги, которая до сих пор гуляет по окрестным деревням. О Господи! Бойтся? Его? Он даже рассмеялся, нет, он обязательно ее уведет, все равно куда, он хочет быть с нею, смотреть ей в глаза, и не только в глаза, он хочет обладать, владеть ею, и он сказал ей об этом, когда им окончательно стало невмоготу от пивного угара, визгливой музыки и запаха обреченности, от пьяного гомона солдатни и вихлявых потаскух; здесь был даже «брачный рынок»: чтобы получить свадебный отпуск, можно было жениться, выдав «невесте» пару сотен и причитающийся в таких случаях свадебный паек (сахар и маргарин для праздничного торта), а потом развестись— девицы бестрепетно брали на себя роль «виновной стороны». Кэте уже давно от всего этого мутило, ведь она выучилась на переплетчицу, но ее послали на медицинские курсы, потом мобилизовали, младшая медсестра, специализация: анализ крови, мочи, венерические болезни; так она и очутилась здесь, где «кругом одни нацисты и протестанты» и примерно сто тысяч больных и раненых, какой там Цвингер, какая Эльба, что все резиденции и барокко против унылых полчищ недужных и калек, а когда наконец они вышли и оказались на улице, их волновал только один вопрос: «Куда? Я же хочу пойти с вами, плевать, что вы обо мне подумаете, хочу— но куда?» Только не в госпиталь, где ее непрерывно лапают и тискают, в любом углу, в коридоре, в туалете, в процедурной и даже в операционной, как она это ненавидит, нет, лучше уж в мебелирашку, она согласна, лишь бы с ним наедине, да, наедине, чтобы только она и он, он и она,

одни, прочь от всей этой серой толчеи, от войны, которой все равно конец,— разумеется, он знал, что «такие комнаты» есть, немудрено, когда кругом столько солдатни, и найти «такую комнату» оказалось куда проще, чем он, ударившись в панику, поначалу думал. Были и зазывалы, они работали за скромный процент— калеки, ветераны, туберкулезники; завидев парочку, они подходили и шепотом спрашивали: «Гнездышко ищете?» Да, они искали гнездышко, разумеется, цены были разные в зависимости от комфорта и, конечно, от времени: «На час, на два или до утра?» Да, до утра, им досталось гнездышко с оленьими рогами, репродукцией Дефреггера и портретом Катарины фон Бора, вполне приличная комната, даже не грязная и даже с умывальным столиком. «Гнездышко»— какое ласковое слово среди всей этой военной мерзости. Он ждал слез, но слез не было, только потом, когда она заговорила о брате Генрихе, который пал смертью храбрых, а он о брате Хансе, который тоже пал, и тоже смертью храбрых. Слезы были потом, сперва был только страх из-за того, что она «такая неопытная», ведь она рассчитывала на его «опыт», а выяснилось, что вовсе он не такой уж «опытный», как о нем болтали во всех окрестных деревнях; как прекрасно было видеть ее наготу, не стесняясь своей наготы, и вовсе она не оказалась неопытной, скорее уж это он от радости был тороплив и неловок, тут было над чем посмеяться, а заодно и поговорить о славе ловеласа, которая иной раз достается вовсе не по заслугам,— можно было посмеяться будущему, посмеяться над ее изумлением тому, что у него действительно есть звание доктора; он не мог насытиться ею, смеялся без конца, не мог насмотреться— о, эти лампочки в двадцать пять ватт, кто их только выдумал,— в ее глаза и никогда не забудет оленьи рога, репродукцию Дефреггера, Катарину фон Бора и прелый запах осенней листвы из окна, распахнутого во двор...

На следующее утро, сдав обходной листок, он попросту увез ее с собой, просто взял и увез, прочь от этих «нацистов и протестантов», и они приехали к ее отцу, которому все же удалось спасти от кредиторов теплицу и при ней две комнатенки, железную печурку и тахту; то-то смеялся старик, увидев, что дочь вернулась «с тем самым Тольмом», это надо же, «с тем самым», да еще объявила, что они помолвлены; крепко зажав трубку своими щербатыми зубами-огрызками, старик смеялся от души, а потом без церемоний, с тем же веселым смехом, принял в подарок табак, который они привезли. В подобных трудных случаях старая графиня была незаменима, у нее был

телефон, она знала нужных людей, ей срочно понадобилась работница, ведь она уже на костылях, а ее хозяйство «имело военное значение»— из-за леса, овощей и картошки, которыми был засажен весь парк; словом, графиня вызволила Кэте, наняла ее в работницы и сказала: «Фриц, я всегда надеялась, что ты все-таки стерпишься с моей Герлиндой, но ты нашел себе получше, добрую, умную, красивую, да к тому же и веселую, как поглядишь— прямо душа радуется». Уже в ноябре там же, в Блюкховене, они расписались.

А незадолго до конца войны, когда он еще раз вырвался в отпуск, она ему шепнула, что у них «кто-то будет».

— Тебя— нет, Тольм, тебя они тронуть не посмеют,— она придвинула ему еще один бутерброд с икрой,— это уж и впрямь был бы позор.

— Позор,— проговорил он,— для них это пустой звук, нет у них такого понятия, такой границы. Кстати, а у нас она разве есть? Сейчас, например, когда наш «Листок» благополучно поглотил новую жертву— «Гербсдорфский вестник», разве я сгораю от стыда? Мы растем и разбухаем, мы жрем один «Листок» за другим, а я с прежним удовольствием пью чай и не разлюбил икру, я наслаждаюсь видом на парк, радуюсь, что снова вижу тебя, а тем временем Блюме, не сумевший удержать свой «Вестник», возможно, уже собрался в петлю лезть. А «Листок» все пухнет и пухнет, просто спасу нет— Амплангер ведь уже четыре года назад этого Блюме предупредил, и компьютер все предсказал точно, но Блюме-то от этого не легче: его семья владеет типографией и издательством сто пять лет, либеральные традиции, заслуги в развитии демократической, даже республиканской мысли— и, пожалуйста, все на прокорм «Листку», о котором, пожалуй, сегодня уже не стоит говорить...

— Да, не будем говорить о «Листке», об этом чудище, об этом динозавре, он ведь у нас даже не хищник, мирное травоядное, жрет листок за листком, а ведь каким был крохой, в сорок пятом, когда дядюшка его тебе завещал— вместе со всем, что у него было. Помнишь, как мы перепугались, хотели сразу же сбыть по дешевке, лишь бы отделаться, а себе оставить только Айкельхоф, но ты...

— Да, лучше бы мне стать директором музея, мне самому это куда больше по душе, но не мог я продать, ведь лицензия была на мое имя, а мы даже не знали, что и

«Бевенихские новости» тоже наши, их потом откупил другой дядюшка, Берг Розенталь, мы вообще в этом ничего не смыслили, а потом пришел славный английский офицер, принес документы о моей полной реабилитации, да, о безоговорочной реабилитации, и лицензию, самую первую, и бумагу раздобыл, даже журналистов подыскал, эмигранты, очень милые люди, а самый милый из них был коммунист Шрётер, дядя Катарины, он потом перебрался на Восток и исчез, как в воду канул. Здесь ему было невмоготу, а там его, наверно, сразу посадили и ухлопали. Он же был человек Мюнценберга, сам знал, на что идет.

— Неужели для Блюме ничего нельзя сделать?

— А что ты предлагаешь? Пригласить его на кофе и выразить соболезнования: я, мол, искренне сожалею, что вам пришлось еще умолять, чтобы вас проглотили именно мы, а не кто-нибудь похуже? Цуммерлинг, например? Блюме ведь сам хочет, чтобы его проглотили именно мы. Денег ему хватит, даже семейный особняк за ним останется. А вот его работу, славные либеральные традиции— этого я ему вернуть не могу, и никто не сможет. Поверь, нам этот «Вестник» и не нужен вовсе, ни к чему нам дальше разбухать, он сам хочет, чтобы мы его взяли, так ему спокойней, лучше уж мы, чем Цуммерлинг со своей шайкой. Позор, конечно, позор, но спроси обоих Амплангеров, испытывают ли они угрызения совести? И младший тебе ответит: «Если петух склюнет зерно, которое ему подбросили, какой тут позор?» Кстати, и выгоды никакой, разве что со временем, много позже, просто борьба за рынок, урвать, пока другой не урвал, это все равно что покупать время, которым даже не знаешь, как распорядиться... Сначала «Вестник» будет «головной газетой», что на самом деле означает «газетой без головы», еще одна голова добровольно ляжет под топор. Разумеется, с Блюме надо поделикатней: не только их в гости пригласить, но и самим как-нибудь к ним выбраться. Он очень ко мне привязан, сам не знаю почему, с какой стати— я ведь ничегошеньки не сделал для спасения его головы, да и не смог бы сделать, при всем желании. Тут действуют свои законы, они непознаваемы и нам неподвластны. В один прекрасный день и моя голова полетит в корзину Цуммерлинга, вот почему он довольно спокойно взирает на наши успехи: по сути, мы своими руками делаем за него его черное дело, а он до поры до времени может позволить себе полиберальничать даже больше, чем «Вестник» под патронатом нашего «Листка»... Нет, графиня была права, когда говорила, что я, конечно, умница, но с ленцой, это верно, я был ленив и даже не

потрудились окружить себя деятельными соратниками... И никогда не пытался противопоставить действию непостижимых законов какие-то свои принципы, даже если бы они у меня были...

— Странно, я тоже как раз вспомнила о графине. Вот здесь, наверху, в этой комнате, мы с ней иногда сидели. Она, бывало, позовет меня, достанет один из заветных мешочков с зеленым кофе, бросит горсть зерен на фаянсовую сковородку, пережарит, я сразу должна смолоть, она сварит, разольет, и мы с ней вдыхаем сказочный восточный аромат, любуемся парком, всеми этими грядками с овощами и картошкой, черной гудроновой крышей оранжереи, где мы— это была моя идея— разводили шампиньоны, и беседуем обо всех вас... О сыне она всегда говорила чуточку презрительно и о Герлинде тоже не слишком лестно, та где-то в Голландии, по ее выражению, «ошивалась», а мне она то и дело говорила: «Вы, наверно, когда-нибудь будете здесь жить». Откуда она знала, как вообще до этого додумалась, ведь ты был вообще голь перекатная, старший лейтенантик, считай что нищий, а я— ну что я?— не поймешь кто: работница, переплетчица, секретарша, служанка, экономка, подруга, все вместе? Да, она любила нас, но как она могла знать?

— Просто она этого хотела, может, и предчувствовала что-то, а может, рассчитывала, что мы арендуем у нее землю и будем работать, но что так все получится, она, конечно, знать не могла. К тому же, в мое трудолюбие она не верила. И правильно— особым усердием я никогда не отличался. Знаешь, а я вспоминал совсем о другом: об оленьих рогах, Дефреггере и Катарине фон Бора.

— Да, я тоже все время об этом вспоминаю, и всегда с радостью. Но не потому, что ты меня тогда вытащил из этой жуткой толчеи, не только поэтому. Ты меня избавил от страха, страха перед... ну, я была ужасно рада после всего того, что приходилось слышать в госпитале. Ведь никогда не знаешь наперед, как это бывает, когда в первый раз. А у тебя была такая дурная слава по этой части. Но все было хорошо.

— Что было хорошо?

— Хорошо, и все, давай сегодня обойдемся без признаний. Да-да, не бойся, я не жду сегодня признаний. О Хольгере графиня не знала почти ничего, считала его дурачком, хоть он дурачком не был, нет, кем угодно, только не дурачком. Зато о Герлинде она знала гораздо больше, чем я когда-либо знала о Сабине. А ведь все думают, что у Сабины от меня секретов нет.

— Сабина?— Да, он сразу почувствовал страх в ее голосе, в ее глазах. А ведь она не боялась даже за Рольфа, когда тот начал делать глупости.

— Да, Сабина,— ответила она.— Ребенок, которого она ждет, не от Фишера. Она уже на шестом, а Фишер в ту пору непрерывно был в отъезде.

Он отодвинул чашку, положил бутерброд, потянулся за малахитовой сигаретницей:

— Думаю, мне вряд ли стоит восклицать: «Нет, нет, только не Сабина, кто угодно, только не она!»— равно как и признаваться, что я давно желал ей любовника, хотя только сейчас осознаю всю фривольность этого пожелания именно потому, что это наша девочка, она всегда была такой серьезной и набожной.

— И прекрасно знаешь, что набожность сама по себе еще ничего не значит. Кольшрёдер тоже, наверно, до сих пор набожный.

— Но от кого— с кем?

— Я не спрашивала, она все равно не скажет. Будем надеяться, что он холост. Я привезла ее, они с Кит в гостевых комнатах. Она больше не хочет, не может жить с Фишером, сейчас смотрит телевизор, это дурной знак, когда она смотрит телевизор просто так, любую дрянь, лишь бы мелькало.

— Может, она хочет к другому, или она?..

— Не знаю, и она не знает. Одно несомненно, и это очень серьезно: с Эрвином покончено. Кстати, эту Эву Кленш мне пришлось переселить, Сабине ведь надо где-то жить. А Блуртмель слишком стеснителен, чтобы приютить Эву у себя на ночь. Кульгреве поселил ее на первом этаже, в комнате Блямпа— ах да, надо Блямпов предупредить, сам знаешь, и вообще мне надо с тобой поговорить, не только о Блямпе.

— Да не шепчи ты, говори нормально. Все равно все прослушивается, так надо. Вдруг в наших тайнах кроются какие-то важные детали, если они действительно хотят нас защитить, им необходимо прослушивать и анализировать каждое слово. Вспомни о Кортшеде и его железном мальчике, который шептал ему ночью: «Меня не расколешь, я крепкий орешек, ты и представить себе не можешь, какой я орешек»— и они даже дали ему улизнуть, потому что Кортшеде за него поручился. А мальчишка и впрямь управляет бандой головорезов, да таких, что тебе и не снилось. Все наше Объединение у них под колпаком, и приходится терпеть, не важно, гомик ты или нет. Думаешь, во время такого вот съезда мало возникает деликатных проблем? Хотя бы из-за женщин. Раньше некоторые еще

приглашали девушек или с собой привозили, и не обязательно потаскушек, и не только секретарш, были и такие, кого принято называть подругами,— жены, правда, редко. Особенно Блямп, тот якобы без женщины вообще уснуть не может; ну ладно, он хоть неразборчив, ему любая хороша, он ее потом всю растрепанную сунет в такси и отправит восвояси. С юношами, из-за которых у Кортшеде столько бед, у нас, правда, пока проблем не было, то есть, может, юноши к нам и просачивались под видом шоферов, секретарей, ассистентов— не знаю, я их никогда не умел различать, даже подле Кортшеде,— но ведь Кортшеде полная противоположность Блямпу: скромный, порядочный, застенчивый, да и трусоват, хотя империя у него побольше, чем у Блямп. Однако теперь, при всех этих мерах повышенной безопасности, обе проблемы отпали сами собой, ни о каких девочках, ни о каких мальчиках и речи быть не может, сама посуди, они просто не в состоянии проверить каждого случайного гостя или гостью, изучить анкету, установить предков до шестого колена, а мало ли кто может заявиться— тут и выходцы из ГДР, и даже шлюхи из разряда эмансипированных интеллектуалок, эти у них считаются самыми опасными, слишком уж любознательны, во все-то вникают, все анализируют, прямо беда. Ну и пошли, как это у Блямп называется, «ночки всухую», вечером все, как бараны, сбредаются в холл, сидят, глазают в телевизор, иногда в картишки перекинутся, музыку послушают или доклад— с магнитофона, разумеется,— тоска смертная, хоть вой, некоторые и вправду начинают подвывать, нацистские песни и прочую дребедень, пока Блямп не сдернется и не заявит: «Лично я отправляюсь в заведение»— и охранники тоже идут с ним в заведение. Хотел бы я знать, что они про нас думают. В любом случае никаких тайн больше нет, все на виду, все на слуху, все прилюдно, а ведь, в конце концов, мы— не я лично, а все в Объединении— не какие-то завязтые бабники, обычные люди, не хуже и не лучше других.

— А Фишеры, старший и младший?

— Э-э, нет, дорогая, тут стоп. О старшем я ничего тебе не скажу— прочти все сама по его лицу, по складкам губ, по рукам, а что до Эрвина, так его любовная жизнь расписана во всех журналах, хотя, готов спорить, по меньшей мере наполовину это чистой воды блеф. Перед его шармом не устояли якобы даже русские девушки, а сам он публично высказывается о совершенно особых эротических качествах гражданок ГДР, которые, между прочим, производят больше половины всей продукции для «улья»,— и надо же, чтобы именно его выбрала Сабина,

его, и все тут, потому что он, видите ли, при всех прочих своих несравненных качествах, еще и католик. Вот она его и заполучила— слава богу, он ее не заполучил.

— Ты, похоже, даже рад, а бедная девочка вся извелась.

— И тем не менее я рад. Этот подонок не поленился послать заявление в полицию, где на полном серьезе предлагает включать в список особо подозрительных лиц всякого, кто после ноября семьдесят четвертого назвал своего ребенка Хольгером. Слава богу, даже самые рьяные ищейки сочли, что это уж чересчур, все-таки Хольгер— древнее, исконно германское имя, то ли шведского, то ли исландского происхождения, и означает, если не ошибаюсь, «островитянин с копьем».

— Ты, я смотрю, неплохо осведомлен.

— Как-никак у меня оба внука— Хольгеры. А если у Сабины будет мальчик— что ж, Хольгер красивое имя.

— Ох, Фриц, тут не до смеха, для нее это очень серьезно, посмотрел бы ты на нее, я-то вижу, как она убивается. Ты пойми, она жить не может без этого человека.

— Охотно верю и вовсе не склонен по этому поводу шутить. Не забывай, остается еще проблема Кит, Фишер двинет против нас целые полчища адвокатов, а Цуммерлинг даром предоставит ему броские заголовки на первых полосах. А уж «ребенком года» ее теперь вряд ли выберут...

— О господи, дался вам этот Цуммерлинг, вы что, ни о чем другом вообще думать не можете? А по-моему, он очень даже милый, я два раза сидела с ним рядом на банкете, он был просто душка. И Блямп вовсе не так плох, в нем гораздо больше обаяния, чем он полагает, и сыновья у него очаровательные, мы их, правда, почти не видим, к сожалению.

— Цуммерлинг тоже очаровательный, милейший человек, но, не моргнув глазом, одним махом оттяпает у меня все «листки», всю мою листовенную рощу. Мы живем, Кэте, в эпоху милых чудовищ и сами из их числа. Все они милые, все обаятельные, и Вероника очень мила, и Беверло тоже был очень милый, сплошное обаяние, просто бомба обаяния...

— А ведь Сабина чуть не вышла за него замуж. Как подумаю, жуть берет, представляешь: ведь она, при ее-то верности, пошла бы за ним хоть на край света.

— Ну, насчет верности ты, по-моему, несколько преувеличиваешь, особенно сейчас.

— Разумеется, она верна, и Вероника тоже верна. Это в них самое страшное, от этого все их беды. Не могут они бросать, не умеют. Если бы Сабина была только неверна Фишеру, она бы сейчас так не страдала, пошла бы к ис-

поведи, покаялась, и дело с концом, но она верна, если хочешь, верна самой себе, так уж она устроена, и потому теперь верна другому— господи, знать бы, кто он! Знаешь, она говорит, что будет работать, поселится где-нибудь инкогнито и будет работать.

— Инкогнито— это пока что утопия. Об этом Фишер позаботился, ведь он всюду пропечатал ее фотографии, в каждой вонючей газетенке, и в каталоге «Пчелиного улья», и в журнале «Спорт и жизнь», и даже в экономических разделах— всюду она красуется. Нужен по меньшей мере год, чтобы о ней забыли.

— А ты не можешь пристроить ее где-нибудь в «Листке»? Она будет делать то, чему всегда противились твои сыновья: работать в «Листке» на благо «Листка».

— А что, это мысль. Можно послать ее в Париж помощницей к Шнайдерплину. Французский у нее отличный, освоится, войдет в курс дела, станет со временем корреспонденткой. Но с двумя детьми... Придется оплачивать ей служанку.

— О Фишере она говорит: «Никогда! Ни за что на свете!» А о том, другом, ни слова. Любопытно все-таки, кто он, но что толку гадать...

— Мне тоже любопытно. В одном я уверен— он не из фишеровской клики, не из этой порно-поп-гоп-компании. Думаю, она нашла себе серьезного старомодного любовника, вместе с которым и впала в старомодный грех прелюбодеяния. Может, она тоскует по добрым старым грехам, как другие тоскуют по добрым старым временам...

— По которым мы с тобой никогда не тосковали...

— Мы— нет. Доброе старое время— для нее это Айкельхоф. А для меня Айкелькох, Тольмсховен, родительский дом, дом твоих родителей— какие же это старые времена? Я слишком радовался доброму новому времени, а оно вдруг кончилось. Да, Кэте, наше доброе новое время становится старым, и мы будем по нему тосковать. А наступает другое, совсем новое время, которое никто вспоминать не будет.

— Время Рольфа?

— Нет, не Рольфа. Время Рольфа, может быть, настанет потом, время Герберта, Сабины, время Кортшеде. А сейчас, сейчас будет время Беверло и время Амплангера. Как подумаю, что Беверло где-то сидит и считает, считает, считает: когда опустится шлагбаум, когда выедет машина кондитера, где и как ее надо попридержать, чтобы у переезда подменить настоящий торт на торт «с начинкой»... Сидит, и считает, и улыбается, все время улыбается, между делом погладит по головке Хольгера, чмокнет

Веронику и улыбается— той же улыбкой, что и Амплангер. Как подумаю об этом— внутри все стынет от холода, будто меня бросили одного во льдах. Да, Кэте, доброе новое время незаметно состарилось, а сейчас наступает время Беверло и Амплангера, ну и, конечно, время Блямпа— он ведь в некотором смысле вечен. Сабине придется несладко, если этот человек женат, ох как несладко,— ведь все эти исповеди, без которых она жить не может, еще не разрушили ее совесть. И конечно же, она во что бы ни стало захочет рожать, хотя даже сами попы исхитряются грешить, не опасаясь последствий,— если бы у них хватило ума, им давно следовало бы основать монастыри прелюбодейства, где женщины находили бы себе любовников, в конце концов внебрачные дети— тоже дети. А теперь, дорогая, давай выберемся отсюда, я хочу прогуляться, хоть ненадолго, пусть под конвоем, все равно.

— У тебя сегодня больше нет дел— заседаний, встреч?

— Только послезавтра, вступаю во владение новым кабинетом. И в «Листке» надо показаться, будут решать начсчет «Гербсдорфского вестника», придется быть.

— Похоже, ты этого боишься?

— Этого— да, боюсь. За всеми своими «листками» я давно уже не вижу леса, того лиственного леса, владельцем и хозяином которого будто бы являюсь. Боюсь громадного кабинета, этих восьмидесяти квадратных метров, где я только сижу, что-то подписываю и пью чай. Боюсь Амплангера-старшего, не потому, что он меня обманывает, ему даже обманывать не нужно, он развесил на стене в моем кабинете целую коллекцию газетных названий, увеличил и развесил, все газеты, которые мы прибрали к рукам с сорок пятого года, целый гербарий «листочков». Он зовет меня газетным Наполеоном без армии— послезавтра надо мной торжественно прикнопят «Гербсдорфский вестник», еще одну покоренную территорию: графство, провинцию или город...

— Вот что способен натворить маленький английский майор одним клочком бумаги, который, как потом выяснится, называется лицензией. Кстати, куда он потом делся, ты не узнавал?

— За две недели до пенсии погиб на Кипре. Подполковника ему присвоили уже посмертно, чтобы увеличить пенсию вдове. Фамилия его Уэллер, сухарь был, педант и, разумеется, лейборист. Я частенько о нем думаю, когда часами просиживаю в своем гигантском кабинете, ничего не делаю, только одобряю стратегию Амплангера, приходится одобрять, все равно я не могу остановить этот прирост, мы пухнем и пухнем, тут я бессилён, я обречен на

роль пожирателя листков. Вот так, одной лицензией и закладываются империи, которые потом растут сами собой,— лицензия, клочок бумаги и несколько надежных сотрудников; недостает только наследного принца, чтобы достойно продолжить отцовский гербарий.

— Наследный принц предпочел швыряться камнями и поджигать автомашины. Я часто думаю: неужто он вправду намерен всю жизнь предаваться своим огородным радостям— выращивать помидоры, собирать яблоки, и так до конца дней? Блямп недавно сказал: он мог бы стать одним из самых динамичных наших финансистов, если бы не... И опыт, говорит, у него есть, и организаторские способности, экономическое и политическое мышление. И все это, знаешь, чуть ли не с завистью. Мол, ясная голова, точный расчет, интеллигентность...

— Что ж, очень может быть. Своих сыновей он любит, действительно любит, но Рольфом всегда восторгался. Он бы и Беверло сделал своей правой рукой, если бы познакомился с ним пораньше и если бы не этот внезапный запуск... Если бы да кабы... А теперь вон как все повернулось. Родного сына я не могу пристроить в «Листок» даже ночным сторожем, даже дворником, и рад бы, да не могу. А ведь ему сам бог велел работать в редакции экономики экспертом по реальным прибылям, он как-то раз при мне подсчитал, что одна акция Немецкого банка с сорок девятого по шестьдесят девятый год принесла пятнадцать тысяч процентов прибыли, пятнадцать тысяч за двадцать лет, думаю, эта цифра могла бы заинтересовать рядовых вкладчиков.

— Но почему-то не интересуется. Да и верна ли цифра?

— Верна, хоть их это и не интересуется. Почти все расчеты Рольфа верны, прикинь сама, сколько стоил «Листок», когда он нам достался, и сколько он стоит, мог бы стоить сейчас,— ты получишь примерно те же цифры.

— Да, я помню его выкладки по Айкельхофу. А Тольмсховен— сколько мы выручим за Тольмсховен?

— С чего ты взяла? При чем тут Тольмсховен?

— Я же вижу экскаваторы на горизонте и знаю, что их не остановить, ты сам говоришь— ничего остановить нельзя, я слышу шуточки и пересуды, слышу намеки зятя, и я вижу Тольмсховен, уже не деревню, только наш замок— островком посреди гигантской ямы, вертолетное сообщение с большой землей, вокруг транспортеры, грохот, насосы, экскаваторы, затхлый пруд без проточной воды, болото, а не пруд, утки гибнут, твоих внуков доставляют сюда по воздушному мосту покормить последних уток. Одно, правда, нам будет обеспечено, Фриц, обеспе-

чено с гарантией и сполна: безопасность— если, конечно, какой-нибудь инженер или рабочий там, внизу, возле своих экскаваторов и насосов, не вздумает учудить,— да и то, как он до нас доберется, как одолеет отвесный обрыв высотой в добрых триста— четыреста метров! Да, мы будем в полной безопасности, если, конечно, на нас не свалится вертолет, на котором мы по вечерам будем летать в гости— к нашим детям, к нашим внукам,— и если не подкачает фундамент, я имею в виду фундамент нашего замка, ведь он будет стоять на довольно шаткой основе, галька, глина, песок, но ничего, они подведут под наш островок бетонную подушку, огромный бетонный айсберг, а лет через пятьдесят или через сто, когда они выкопают все, что им нужно, Тольмскохвен будет гордо красоваться посреди водохранилища и твои правнуки будут закидывать удочки прямо из окон,— верно, Тольм, ведь так все и будет?

— Нет, Кэте, все будет не так. Они все снесут и раскопают, а мы будем жить в другом месте, если вообще будем живы.

— Если будем живы... Одна надежда, что весь этот энергетический бум не успеет до нас добраться и мы сможем умереть здесь— в безопасности или от безопасности, кто знает? Не надо меня щадить, Фриц, лучше бы мне узнать все это от тебя, чем выведывать из пересудов и дурацких острот. А может, прямо сейчас и переехать? Забрали бы Сабину с новорожденным и Кит, забрали бы Рольфа, Катарину, и Хольгера, и Герберта тоже, если его уговорить. Ладно уж, выкури одну, я никому не скажу.

Она придвинула ему малахитовую сигаретницу.

— Сабина,— произнес он, затянувшись.— У меня весь день из-за нее душа болела, сам не знаю почему... Плохо ей будет, она так привязалась к этой деревушке, да и Кит здесь поиграть не с кем. К счастью, Фишер завтра снова отправляется в очередное турне— мне Поттзикер за обедом сказал,— Тунис, Румыния, какие-то лагеря беженцев на Востоке, они там устанавливают свои вязальные машины. Так или иначе, на две недели мы от него избавлены, есть время все спокойно обдумать, может, Сабине стоит на это время вернуться в Блорр?

— Она не вернется, это точно. Сейчас я ее приведу, поговоришь с ней сам, а я пока побуду с Кит.

Выйдя ей навстречу, он ждал в дверях, кивнул молодому Тёргашу, который слонялся по коридору. Стояла тишина, только из комнаты Блуртмеля непривычно было

слышать приглушенные голоса, видимо Кленш уже приехала. Ему не давало покоя видение Кэте: замок на острове, среди гигантского карьера, вертолетное сообщение, заболоченный пруд и ров, а вокруг ни домов, ни церкви, ни деревьев, потрескавшиеся стены, даже птиц — и тех нет, разве что вороны...

Сабина приникла к его груди, нет, не кающаяся грешница, скорее просто растерянная молодая женщина, затрясла головой, когда он попытался увлечь ее в комнату, подняла на него глаза, без слез:

— Ах, папа, я так рада, что оттуда уехала. Я больше там не могла, но ты не беспокойся, я поживу пока что у Рольфа. У них сад, стена высоченная, Кит с Хольгером прекрасно ладят, а дальше видно будет. С Рольфом я уже договорилась.

— Но у него очень тесно, не знаю, право...

— Катарина найдет мне комнату по соседству, а днем я буду у них, буду помогать Катарине, я ведь умею с детьми.

— А Хольцпуке ты известила? Ему ведь нужно сообщить...

— Да, он поворчал немножко, сказал, дескать, в Блорре все так хорошо было отработано, ну, а Хубрайхен, что ж, он знает тамошнюю обстановку и условия. И не сердись, что я сразу же от вас сбегая, ладно? Я уже и с Эрвином поговорила, он ведь опять уезжает, так что серьезный разговор будет потом, позже. Господин Тёргаш отвезет нас в Хубрайхен и останется там на ночь, я попросила Хольцпуке, понимаешь, Кит его больше всех любит. Мне уже гораздо, гораздо лучше, а о серьезном я пока что не думала, это потом, ведь Эрвина три недели не будет.

Да, она похожа на Кэте, и на его мать, да и на него, но и еще на кого-то, вот только на кого? В глазах ни тени отчаяния, только серьезность, а теперь еще и радость, эта радость в ее глазах как-то сразу расположила его к тому человеку, от которого у нее будет ребенок. Да, этот человек, несомненно, был с ней очень ласков. Он подумал о Беверло, в которого она была так сильно влюблена, о Фишере, который с неодолимым юношеским напором вломился в ее «досужие мечтания» и, можно сказать, взял ее штурмом: энергичный, многообещающий предприниматель, католик, к тому же и остроумный иногда — но ни разу, ни разу за эти пять лет он не видел у Сабины такого лица: дивная соразмерность черт, снискавшая ей славу красавицы, высвечена радостью и вместе с тем какой-то необычной строгостью, даже решимостью.

— Ну, хорошо, хорошо, больше не будешь смотреть телевизор просто так?

— Нет. Это я только сперва, от растерянности.

— А больше ничего?

— Ты о чем?

— Ну, я имею в виду религию, веру, принципы и все такое. Я хотел сказать: если ты чувствуешь за собой вину и хочешь поговорить, мы могли бы сегодня вечером, у Рольфа, мы к вам заедем.

— Да, конечно, приезжайте, очень хорошо, нет-нет, папа, пусть господин Тёргаш все слышит,— она оглянулась,— хотя, я вижу, он из деликатности удалился. Да, я чувствую за собой вину, но не перед Фишером и не перед вами, только перед его женой. Мы еще поговорим об этом. Ну, а как ты— в новой роли, на самом верху?

— Буду произносить речи и давать интервью. И ничего больше не боюсь, только за вас немножко. Мы вечером заедем.

Кит, это было очевидно и слегка его задело, радовалась новому переезду: в Хубрайхене ей явно нравится больше, чем здесь. Еще бы— там она будет жарить каштаны на костре в саду, играть с Хольгером, гулять, ходить за молоком, помогать Рольфу сортировать яблоки для продажи. Он никогда не поймет, как можно было назвать ребенка таким чудным именем, сколько бы его ни уверяли, что это, как и Кэте, производное от Катарины, все равно как-то неблагозвучно. Стоя рядом с Кэте, он смотрел, как они спускаются по лестнице: Кит со своими орехами и каштанами в мешочке, Сабина с чемоданчиком и молодой полицейский с двумя куклами, которых он нес словно кур за ноги— кукольные платица задрались, все на виду— трусики, комбинашки.

— Я сейчас у нее была, ее как подменили,— сказала Кэте.— Что-то произошло, она прямо сияет от счастья, и такая вдруг решимость...

— Тот, от кого у нее ребенок, видимо, очень симпатичный малый. Может, она ему позвонила. Как бы там ни было— он в ней.

— Ради бога, что ты такое несешь, да еще и ухмыляешься.

— Просто я рад за нее. Но он женат, она сама сказала. И жена у него, наверно, тоже симпатичная. Это осложняет дело. А когда Фишер вернется, будет не до шуток.

— Знаешь, наверно, лучше сегодня им не мешать, пусть побудут с Рольфом и Катариной. А я попробую дозвониться до Герберта. Кстати, кто бы он ни был, я-то надеюсь, что она ему отсюда не звонила. Иначе Хольцпуке уже знает то, чего не знаем мы,— кто он. Впрочем, он, вероятно, уже и так знает, если хоть одной живой душе об этом известно, значит, служба безопасности тоже в курсе. Сам посуди, при ее-то охране, ведь они должны были где-то встречаться, и, наверно, не один раз.

— Верно. Хольцпуке просто обязан знать. Она же с ним встречалась, он назначал ей свидания и вообще...

— Может, спросить его?

— Нет. Да он и не скажет, не имеет права, ему запрещено разглашать информацию интимного свойства, хотя она неизбежно стекается к нему со всех сторон. Единственная его задача: обеспечить проверку всех, так сказать, действующих лиц в плане безопасности. Будем надеяться, что этот человек догадывается, под какой колпак угодил. Если ее охраняли строго по инструкции— а я думаю, так оно и есть,— тогда только служба безопасности и знает, кто отец нашего будущего внука. Либо имя этого человека уже зафиксировал магнитофон, либо вся их охрана ни к черту не годится.

— Так позвонить Герберту?

— Спроси, может, он все-таки выберется к нам? В виде исключения. Ты же знаешь, когда мы едем к Герберту в этот его небоскреб, Хольцпуке надо извещать загодя. Он тогда вызывает чуть ли не роту охранников, и правильно, меньше там никак нельзя, кругом полно всяких подозрительных личностей, группами и поодиночке, не только студенты и коммунисты, но даже и студенты-коммунисты, не говоря уже об анархистах, маоистах и всех прочих, а сколько входов-выходов надо перекрыть, вероятно, и вертолет нужен для контроля с воздуха,— и все только ради того, чтобы мы посидели часок у сына, который, хоть умри, не хочет переезжать из этого проклятого небоскреба, потому что, видите ли, он построен отцовским акционерным обществом, пусть, мол, предок полобуется, в каком муравейнике живут люди по его милости. Вот они и торчат с автоматами наперевес— на балконах, у каждой двери, на лестничных площадках, а как иначе? К Рольфу съездить, казалось бы, куда проще, только двух-трех человек вокруг дома расставить, и все дела, но соседям в Хубрайхене это нравится ничуть не больше, чем крестьянам в Блорре или жильцам небоскреба. Их это раздражает, пугает, наконец, и их можно понять, ведь все нервничают, все на пределе, а сорваться может не только Кортшеде, но и любой охранник, сама посуди, какая это работенка, вечное напряжение и скука смертная, скука— потому что ничего не происходит, напряжение— потому, что, того и гляди, произойдет. Да тут при малейшей неожиданности рука сама дернется— собака в кустах прошмыгнет, пацан деревенский на стену полезет, да еще из игрушечного пугача бабахнет, и все, пиши пропало. Так что лучше уж смириться с мыслью, что мы пленники— пленники собственной безопасности, которая рано или поздно нас доконает.

— Значит, сидеть взаперти или ездить только к тем, кого охраняют не хуже нас,— к старикам Фишерам, от которых меня просто мутит. Помешаны на «красной угрозе» и

скучны до безумия, а если, не дай бог, оборот составит двадцать девять миллионов вместо обычных тридцати пяти, они в панике, будто уже пухнут от голода. С пеной у рта защищают среднее сословие от «социалистической опасности», можно подумать, будто сами они тоже из «средних», хотя ведь прекрасно знают, что куда большая опасность для среднего сословия — они сами с их концентрацией капитала. Я тут недавно прочла, что еще большая опасность для среднего сословия, оказывается, государственные банки: упаси Бог, если где-нибудь хоть одного коммуниста выберут мэром города, — все, Германии конец. Правда, если очень повезет, можно встретить у Фишеров какого-нибудь епископа, тихонького старичка, который беспрерывно кивает, что бы ему ни говорили. И все на одно лицо, у всех та же повадка, та же улыбка, что и у Амплангера, при виде которого я всегда представляю себе тех, от кого нас охраняют, особенно если подумать, что Рольф чуть было не стал директором банка, а Беверло наверняка бы им стал, этаким щеголем с чемоданчиком-дипломатом, теннисными ракетками и еще, быть может, болонкой под мышкой, — но нет, стоит им услышать одну сомнительную фразу по радио, пол сомнительной фразы по телевизору — караул, спасайся кто может, они пухнут от голода, революция на пороге! Ну скажи ты мне, Фриц, дорогой мой Тольм, почему все они такие невообразимо скучные?

— Не все. Кортшеде и Поттзикер, да и Амплангер-старший не скучные, ну и еще кое-кто. Блямп не скучный, что-то, а скучным его не назовешь.

— И все-таки ты предпочитаешь ходить в гости к собственным детям и, хочешь не хочешь, обязан подвергать себя этой пытке, этим мерам безопасности, в которые ни капельки не веришь и которые терпишь только из вежливости!

— Да, эти-то уж минуют все посты и кордоны, они сыщут лазейку; бомба голубиной почтой, сова с начинкой, стая диких гусей во тьме или, еще того лучше, пошлют на мою голову родного внука Хольгера, явится этаким милый подросток, годков двенадцати, а может и пятнадцати, закаленный, натренированный, всему на свете обученный, от каратэ до снайперской стрельбы, безоружный, пройдет через все кордоны — а что, родной внук приехал навестить дедушку, — и за просто меня удушит, ему и нож не понадобится; а если к тому времени они додумаются впускать ко мне посетителей, пусть даже и внуков, не только безоружными, но и со связанными руками, он пришибет меня головой, его натаскают получше всякого барана, и он будет бодать меня в грудь, прямо в сердце, снова и снова, благо, что после нескольких инфарктов долго я не выдержу...

— Что же, если тебе пришлют этого барана, то бишь Хольгера, когда ему будет лет двенадцать, если не все пятнадцать, тогда тебе еще осталось лет пять, а то и восемь.

Он засмеялся, снова потянулся к малахитовой сигаретнице.

— Столько мне, пожалуй, не протянуть. Да и президентом я пробуду всего два года. А в безопасность я давно не верю, ни во внешнюю, ни во внутреннюю, не говоря уж о душевном покое.

— Значит, я больше не застаю тебя в ванной перед зеркалом, не услышу, как ты шепчешь: «Больше не хочу»? Значит, ты еще хочешь?

— Да, хочу, вместе с тобой, но они-то, наверно, уже отрабатывают удушающие приемы, экспериментируют с гипнозом и наркотиками— приучат к наркотикам какого-нибудь охранника, и он сделает со мной все, что прикажут. Это будет вполне милый, отлично тренированный молодой полицейский, проверенный и просвеченный сотню раз, и тем не менее в один прекрасный день он на меня бросится, якобы прикрывая меня своим телом, а когда встанет— мне уже будет каюк. Вся их безопасность— чистый миф, есть ведь компьютеры и ракеты, даже, наверно, ракеты под видом искусственных птиц, есть гипноз, телепатия, так что смирится с одиночеством, с нашей роскошной, комфортабельной, перворазрядной тюрьмой. Вспомни, как я однажды решил потряхнуть стариной— на велосипеде прокатиться. Вспомни, в какое позорище это вылилось: две полицейские машины впереди, одна сзади, да еще вертолет сверху— смех, да и только, я думал, умру со стыда! А сколько лет мы уже не собирались на торжественные семейные обеды, когда каждый отвечал за свое: ты— за суп и салаты, я— за мясо, Рольф— за картошку, Катарина— за подливу, Герберт и Сабина— за десерт, а за кофе— снова я, но прежде чем подать кофе, все вместе убирали со стола, мыли посуду, чтобы и в кухне и в столовой все было в ажуре,— и даже Эрвин бывал очень мил, помнишь, как он нас ошарашил своим сюрпризом, блинчики испек, да какие вкусные, пока не появился этот малыш, дитя раздоров, которого тоже нарекли Хольгером. До этого Эрвин еще как-то крепился, еще заставлял себя сесть за один стол с «этим поджигателем машин» Рольфом, с «этой коммунисткой» Катариной, но второй Хольгер в семье, нет, это было уже выше его сил. Ведь до чего дошло: Сабина встречалась с Рольфом и Катариной тайком, без Кит, разумеется, малышка могла проболтаться,— мало им полицейской охраны и слежки, они еще между собой шпиономанию развели, и все из-за того, что ребенка Хольгером называли! Слушай, а давай никуда не

поедем, останемся тут, пригласим на ужин Блуртмеля и его Эву, если, конечно, у них нет других планов и если он согласится хоть на время позабыть роль слуги и позволит хозяевам за собой поухаживать. Пожалуй, не стоит сегодня мешать Сабине, пусть побудет с Катариной и Рольфом, а мы устроим тихий семейный ужин.

— Надо бы и родителей Катарины позвать, мы давно собирались.

— Конечно, они ведь теперь наши родственники, а Луизу я с детства знаю, к счастью, она уже не была ученицей моего папаша, так что, по крайней мере, от этой темы мы, наверно, избавлены. Может, поговоришь с Блуртмелем, мне не терпится взглянуть на его Эву.

— Мне тоже. По-моему, они никуда не собираются. В таком случае я тебя ненадолго покину: надо позвонить, а заодно и проверить наши припасы.

Иногда он наведывался в Хубрайхен к Рольфу, без звонка, незванным гостем, просил Хольцпуке по возможности сократить эскорт, Блуртмелю приказывал поставить машину в пустом школьном дворе, метрах в ста от дома священника, шел пешком, заходил в сад и направлялся к сторожке, где жили дети,— ее почему-то на французский манер называли *dependance*¹. Он торопился, поспешал как мог, стараясь обогнать молву о своем приезде, но телохранители поспешали быстрее, они уже были в саду, тихо и деловито занимали посты вдоль стены. Прячась в кустах орешника, он заглядывал в окно, видел сына Рольфа, наблюдал, как тот играет с Хольгером: деревянные кубики, камушки, деревянные игрушечные автомобильчики, все самодельное (он даже в мыслях запрещал себе модное слово «смастерили»), они воспринимали его как оскорбление, настаивали на более скромном «самоделка», «сами сделали»). Рольф сидел на корточках рядом с сынишкой, счастливый, безмятежный молодой отец, что-то подсказывал, подбадривал, судя по движениям рук и губ, иногда что-то потихоньку напевал, а то и разрисовывал камушки или обклеивал деревянные кубики цветной бумагой. А однажды он подсмотрел, как Рольф под внимательным взглядом сына ножом вырезал фонарь из брюквы— в виде рожицы: нос, рот, глаза, борода и отверстие для свечи. Оба такие довольные, спокойные, счастливые— ему тут же вспомнился Айкельхоф, как он иногда, плюнув на «Листок», оставался дома и играл с детьми. А как-то раз, когда он вот так стоял под окнами, его застучала Катарина, она возвра-

¹ Пристройка, подсобное помещение (*фр.*).

щалась с покупками, воскликнула: «Господи, папа!— Да, она назвала его папой!— Что же ты тут стоишь как неприкаянный, заходи, ты не мешаешь, ты же не чужой!» И у него в тот хмурый туманный ноябрьский вечер чуть слезы не навернулись на глаза, так сердечно она это сказала, да еще и папой назвала, так заботливо взяла под руку и повела в дом. Он был поражен искренней радостью в глазах Рольфа, а на лавке, которую из окна было не видно, обнаружил целую выставку фонарей из брюквы и других, в форме фонариков, из черного картона и цветной бумаги,— изделия Рольфа для детского сада Катарины, тут же он узнал, что Рольф удостоен роли св. Мартина и в костюме римского легионера, в серебряных боевых доспехах и красном плаще, проедет на коне через всю деревню в сопровождении свиты факельщиков. Его напоили чаем с коврижками, предложили закурить, усадили возле печки, позволили подбрасывать в огонь дрова, которые Рольф собственноручно— и, разумеется, с разрешения общины— заготавливал в окрестных лесах из сухостоя, сам колол, сам распиливал, тут же рядом стояли корзины сосновых шишек и корзины щепы; Рольф ходил и по дворам, собирал бросовую древесину, которая— при повсеместной (и чрезмерной, как считал Рольф) мании модернизации— валялась повсюду в изобилии, доски, бревна, стропила, старую мебель, ее он тоже собирал и либо пускал на дрова, либо, отремонтировав, продавал по дешевке через студенческие магазины. В тот вечер Рольф даже не терзал его душу анализом биржевых новостей, только объяснил на конкретных примерах, как можно оценивать общество «по характеру его отбросов». Именно тогда он впервые— и с болью в голосе— причислил к отбросам Айкельхоф, да и энергию, добытую за счет Айкельхофа, тоже назвал выброшенной, выброшенной на воздух.

Неужто только так— подкараулив, застигнув врасплох— ему суждено изведать радушие и сердечность своих детей, понять, чем они живут? В другой раз он так же вот внезапно, на подходе к дому священника, завидел вдали Катарину с Хольгером, они возвращались из магазина, Катарина с кем-то приветливо здоровалась, ей приветливо отвечали, она шла, чуть склонившись вправо к Хольгеру, который тащил за собой на веревочке какую-то игрушку и сосал леденец на палочке, в левой руке у нее была сумка, по-видимому очень тяжелая,— милая молодая женщина, каких тысячи, в красных гольфах, с распущенными волосами,— а когда она его заметила, ее лицо озарилось улыбкой, настолько искренней, настолько произвольно радостной, что у него опять чуть не навернулись слезы. Он поспешил,

почти побежал ей навстречу, взял у нее сумку, она его поцеловала, он поцеловал Хольгера, а после, уже на кухне, смотрел, как она разбирает покупки, раскладывая их по шкафчикам и самодельным полкам, а Хольгер тем временем носился вокруг со своей деревянной таксой. Ему дали чашечку чаю, бутерброд, а когда он потянулся за сигаретами, Катарина, покачав головой, отняла у него пачку, но потом, пожав плечами, вернула. Все— и эта внезапная светлая улыбка на улице, и бутерброд с ливерной колбасой, и чай, и сценка с сигаретами— все говорило о том, что она искренне его любит, эта милая молодая женщина, которая вполне могла бы считаться красавицей, если бы не суровый след горечи на ее лице. Совсем нетрудно было вообразить ее монахиней— эта умная, чуткая, интеллигентная женщина добровольно обрекла себя на прозябание в деревенской глуши. Видя ее, он неизменно вспоминал ее дядю, Ханса Шрётера, коммуниста и соратника Мюнценберга, которого в свое время прислал ему майор Уэллер, самого симпатичного из всех журналистов, с кем ему довелось работать в «Листке»; когда-то он даже предложил Шрётеру перейти на «ты», но неожиданно получил твердый, хотя и вполне вежливый, отказ— а ведь ни одному из сегодняшних интервьюеров и в голову не пришло спросить: «Вы были на «ты» с коммунистами?»

А вот у Сабины приятных неожиданностей ему испытать так и не довелось, ее, впрочем, и охраняли строже, отчасти и из-за Кит. Он отправлялся туда без звонка, на машине, Блуртмель за рулем, шестнадцать километров до Блорра (по счастью, никто, даже Кэте, не знает, что Блорр неоднократно упомянут в его диссертации), всякий раз с неприязнью глядя на коттеджи, понастроенные на окраине деревушки, которая когда-то благодаря своим буковым и каштановым рощам слыла «лесным раем». Он и здесь поспешал как мог, но в лучшем случае вызывал легкую сумятицу, когда вместе со своей охраной наткнулся на охрану Сабины, и его всякий раз сызнава неприятно поражал вкус Фишера, запечатлевшийся в мраморе и латуни. Сабину он всегда заставлял какой-то задерганной, нервной. Конечно, ему и здесь были рады, Кит сияла, немедленно тащила его гулять, она обожает гулять с ним «за ручку», заходить во дворы к крестьянам, которые помнят его еще студентом, когда он колесил тут на велосипеде, выспрашивал, срисовывал, фотографировал, делал замеры, выяснял, когда что построено, что и как переделано. Особенно старик Херманс любил «поворошить про-

шное». Но теперь все приобретало оттенок убийственной искусственности из-за вечно плетущихся за ним, якобы случайно околачивающихся вокруг конвоиров, у которых, судя по всему, было строжайшее предписание неизменно держать его «в кольце». Иногда Сабина ревела и не могла объяснить почему, просто ревела, и все, на чай приходила соседка, пухленькая, немножко вульгарная, но очень милостивая, в банальности которой было что-то успокаивающее. А тихая, серьезная Сабина, его любимица (знает ли она, как он ее любит, только вот сказать не решается), совсем изнервничалась: на улице дверцу машины захлопнут или Кит в соседней комнате игрушку уронит— она вздрагивает,— неужто быть просто под надзором, как Рольф, все-таки лучше, чем под такой охраной? Не слишком ли дорогой ценой куплена эта, все равно мнимая, безопасность? Верхом Сабина уже давно не ездит. С беспечными верховыми прогулками давно покончено, а после истории с тортом Плифгера проверка с помощью специального зонда всех покупок, всех доставленных по заказам пакетов с продуктами и тем более готовых блюд (когда устраивался какой-нибудь прием) действительно стала необходимостью, ведь всякое уже бывало, всякое, уже и сигареты приходится брать только из распечатанной пачки с тех пор, как у Плутатти в Италии пачка сигарет взорвалась в руках, изуродовав ему лицо, искалечив запястья, а уж о бутылках с завинчивающимися крышками и говорить нечего, их содержимое проверялось неукоснительно, ведь под видом «шерри» ничего не стоит подсунуть горючую смесь, знаменитый «коктейль Молотова».

Нет, в доме у Сабины он не находил покоя, которым еще можно насладиться у Рольфа и Катарины, но это и неудивительно, как-никак Сабина не только его дочь, она еще и замужем за «Пчелиным ульем». От виллы под Малагой тоже толку чуть, и лыжные прогулки Сабине уже не в радость, его дочурка, прежде такая непоседа, обожавшая танцы и верховую езду, его веселая Сабина окончательно впадала в хандру. Не исключено, впрочем, что при нем она нервничала больше обычного, ведь с его приездом число охранников вокруг дома автоматически удваивалось.

Меньше всего он любит ездить к Герберту, хотя именно с ним с удовольствием бы побеседовал с глазу на глаз. У этого тоже совсем другие друзья и подружки, и почти всегда полон дом. В чем-то, пожалуй, они гораздо душевнее, чем друзья Рольфа и Катарины, не говоря уж о приятелях и знакомых Сабины. Как и сам Герберт, они, ко-

нечно, тоже ярые противники «системы», парни почти все длинноволосые, девицы в платьях-балахонах, с холщовыми сумками, сами пекут себе хлеб, поедают горы овощей и салата, изредка в виде исключения и, как они говорят, «из солидарности» устраивают походы в «эти травилочки» — так у них называются кафе, рестораны и закусовые. При его появлении они ничуть не робели, всю потешались над многочисленностью конвоя (в этот проклятый небоскреб с ним меньше роты не посылали), но не над самими полицейскими, только над «всем этим балаганом сопровождения», приглашали охранников за стол, посидеть, побеседовать — слова «дискуссия» они старательно избегали, — говорили с ним о «безопасности, которой нет», и о «смерти, которой, хоть она и наступает, тоже нет», брэнчали на гитарах, пели, запросто рассуждали об Иисусе Христе, ничуть не смущались, наоборот, высказывались напрямик: пусть, мол, не воображает, будто он со своим замком, со своим «Листком», со своим огромным кабинетом, в котором его так любят фотографировать для журналов, словом, «со всеми этими щупальцами и присосками правящего меньшинства» так уж им симпатичен, нет, им это вовсе не по душе, просто им отчасти импонирует «обаяние его немощи», немощи перед разбухающим «Листком», перед жадными щупальцами и присосками, в которые он теперь сам же и угодил. Его, мол, самого должна пугать если не «система в целом», то уж по крайней мере судьба «Листка», ведь сейчас «Листок» — просто перевод бумаги, особенно с тех пор, как вышел из моды обычай, который прежде хотя бы отчасти оправдывал существование газет: разрезать или рвать их на клочки соответствующего размера и, наколов на гвоздик, употреблять в качестве туалетной бумаги, что практиковалось почти во всех слоях населения и даже обеспечивало газетной продукции вполне разумный и целесообразный безотходный цикл. Они приводили подсчеты: сколько гектаров леса, сколько деревьев без всякой нужды расходуется сейчас на обе цели, на газеты и туалетную бумагу, а все этот проклятый гигиенический террор, и пусть он сам прикинет, сколько бумаги переводится на ненужную, абсолютно бессмысленную и бесполезную галиматью, которую печатают в правительственной, окружной, районной прессе, в изданиях бундестага, в программах радио и телевидения, в партийных газетах и партийных журналах, не говоря уж о совершенно ненужных, вопиюще бессмысленных рекламных брошюрах, обо всем этом хламе, который прямо из типографии можно отправлять на помойку, — пусть он подумает, сколько лесов «пало жертвой» это-

го печатного безумия и сколько индейцев могло бы спокойно жить в этих ежедневно, да-да, ежедневно изничтожаемых лесах (знать бы им, как муторно у него на душе, и если бы только из-за лесов и индейцев, но нет, им невдомек, оттого-то, наверно, они и разговаривают с ним чуточку свысока, больно много о себе понимают). И разумеется, ну конечно же, они против атомной энергии и против «самоубийственного» строительства дорог, хотя они вовсе не враги прогресса и даже не радикалы, во всяком случае не подпадают под этот идиотский указ, а что до него лично, то нет, он им вот нисколько не импонирует и даже не вызывает у них сочувствия, хотя они понимают, конечно, что он угодил в порочный круг несвободы, что он сам себе не хозяин,— и дело тут вовсе не в мерах безопасности, которые они считают просто смехотворными (как будто назначенный судьбой миг смерти можно предотвратить! Это же полный абсурд!). Нет, они имеют в виду пресловутую гангрену роста, эту чудовищную раковую опухоль, которая— он и сам прекрасно знает— сожрет его вторую или третью, словом, его нынешнюю обитель, его замок, так что он во второй (или в который там по счету?) раз попадет в категорию «перемещенных лиц». Неужто он совсем не понимает, неужто так никогда и не поймет, что грозный недуг гнездится в самой системе и ею, системой, порожден?

Почему-то друзья Герберта нравились ему меньше, чем друзья Рольфа. Слишком уж серьезные, совсем без юмора, а если и проскользнет в их речах сарказм, то скорее произвольно, неосознанно. Да и какие-то неуважительные— напрочь не желают признавать, что «Листок» выполнил— а отчасти и сегодня еще выполняет— важную миссию, что была у него своя роль в возрождении демократических свобод, в созидании того нового уклада, необходимость которого после стольких лет нацистского запустения и нигилизма всем очевидна.

Пожалуй, друзья Герберта не такие отрешенные интеллигенты, как друзья Рольфа, которых ему доводилось встречать в Хубрайхене. В этих-то вовсе не чувствовалось ни враждебности, ни зазнайства, просто он был для них совсем чужак; в его присутствии они не кипятились и не робели ничуть— смотрели на него как на пришельца с другой планеты, втайне, по-видимому, изумляясь, что он, оказывается, «совсем как человек», тоже пьет чай и ест хлеб,— между тем как ему они вовсе не казались такими уж чужими. В конце концов, он живет с ними под одним

небом, даже в одной стране и говорит на том же наречии, но стоило ему, поборов застенчивость, спросить: «А вы, извините, кто по профессии?»— как он слышал в ответ: учитель, но без права педагогической деятельности: запрет на профессию. Рабочий-металлист, но в черном списке, и у профсоюзов тоже. Или: служащий социального обеспечения, даже не особенно левый (кто бы ему объяснил, что значит «даже не особенно левый»?), в черном списке. Или еще: «Раньше работал (служил) там-то и там-то, пока этот дерьмовый указ не вышел». Они никогда не выступали против отдельных лиц, только против системы в целом: их не возмущал домовладелец, повысивший квартирную плату,— его вынудила к этому система, вынудила посредством террора, они рассказывали ему, какому давлению, какой травле подвергают иных домовладельцев — бьют стекла, гадят в подъездах, переворачивают мусорные бачки— только за то, что те не повышают квартирную плату; при этом они признавали, что сами «живут не так уж плохо», потому что и они, и они тоже, отчасти пользуются преимуществами системы, той системы, которая «где-то там»— это «где-то там» неизменно находилось очень далеко — выколачивает такие баснословные прибыли, что и им кое-что перепадает, они, мол, сами прекрасно это сознают, а значит, тоже живут в зависимости от «этой системы», которая «что у нас, что у них»— под этим «у них» они подразумевали Советский Союз— ежедневно порождает на планете все новые армии больных, бесправных и угнетенных; в них не было ни агрессивности, ни зазнайства, только холодная отрешенность и скорбь, да, холодная скорбь, хотя,— а быть может, именно потому, что «те» преследуют, похищают, убивают не систему в целом, а отдельных лиц,— именно «те» и оказываются преступниками, не только в моральном, не только в политическом, но и, если угодно, в философско-теоретическом и даже теологическом смысле, ибо они подбрасывают системе то, что ее только усиливает и что ей ни в коем случае «нельзя поставлять»: мучеников и жертв. Поставляют мучеников и жертв на потребу прессе, радио, телевидению, на потребу пресловутым «средствам массовой информации», против которых все они, друзья Рольфа, что собирались у него за столом, сидели, курили, потягивали дешевое красное вино, ничего не могут— и не смогут, никогда им не пробить эту стену, куда им, тут они со своими листовками и транспарантами если не совсем, то почти бессильны. А жертвы и мученики только усиливали власть прессы, телевидения, радио, была в этом какая-то магия, какая-то иррацио-

нальная чертовщина— тут поневоле руки опустятся; они, друзья Рольфа, в этом отношении были отнюдь не столь беспощадны, «Листок» вовсе не упоминали, хотя ведь он тоже средство массовой информации, да еще какое. Разумеется, и им хотелось жить, как все люди: вместе с женами и детьми, вместе с подругами выезжать за город, устраивать пикники, жарить мясо на костре, танцевать, петь, но «гашиш и покрепче», «порно и похлеще»— все это они не признавали, тут и друзья Герберта, и друзья Рольфа были единокорны, ибо «гашиш и покрепче», «порно и похлеще», пьянка и прочее— все это были атрибуты системы, к которой они, пожалуй, даже не питали ненависти, только презрение, но такое презрение, что, на его взгляд, уж лучше бы ненависть. Система— это было для них ничто, «благоустроенное ничтожество», отбросами которого можно было, приходилось существовать... И ему вспомнились другие молодые люди, которых он иногда встречал у Сабины, вернее сказать, прежде встречал— меры безопасности постепенно их всех распугали. Да, в их среде это считалось модным, тут потихоньку баловались «гашишем и покрепче», в открытую забавлялись порно, а уж скольких— особенно у этих омерзительных Фишеров, которые, можно сказать, прямо-таки культивируют нечто вроде порнокатолицизма или католической порнографии,— скольких надравшихся в стельку гостей, в том числе нередко и из разряда самых «высокопоставленных», шоферы под шумок деликатно оттаскивали в машины, и все это неизменно под идиотским лозунгом: барокко. «Что поделаешь, такие уж мы барочные люди»,— это была любимая присказка старика Фишера, который начинал скромным лавочником и оказался для Блямпа идеальным поручителем при денацификации: нацистом он действительно не был, чего нет, того нет, даже помогал преследуемым священникам, прятал их, этим «абсолютно неопровержимым» историям не было конца, он рассказывал их снова и снова, во всех подробностях расписывая, как он носил в «укрытия» суп и хлеб, как в холода «обеспечивал отопление», а «иной раз и молился вместе с несчастными»; имелись даже соответствующие фотографии, вовсе не «липа», в «липе» не было нужды, на фотографиях— исхудалая монашка в каком-то погребке, рядом — кастрюлька с супом, рядом с кастрюлькой— Фишер, у обоих четки в руках; тут же и фотографии Эрвина, четырех-пятилетний мальчуган, которого благословляет спрятанный папашей священник,— нет, тут не подкопаешься, давний альянс Блямп— Фишер, о котором, хоть он никогда и не провозглашался в открытую, известно всем и каждому, этот альянс

несокрушим, тем более что Цуммерлинг приобрел право на публикацию этих «уникальных фотодокументов» и готов обнародовать их в любую секунду.

А ведь есть еще где-то (только где? где? где?) и четвертая группа «тех» — назвать их преступниками было бы слишком мягко, да и неточно, даже неловко, — был еще тот космический, инопланетный мир, из которого иногда, пугающе близко, вдруг раздается по телефону голос Вероники; к этому миру, да и к миру Рольфа, совсем не подходит слово «коммунисты», оно не подходит даже к Катарине, которую все до сих пор числят коммунисткой, хотя она — вежливо, но энергично — это опровергает:

«Разумеется, я коммунистка и останусь ею, но что общего у меня с большинством коммунистов? Да почти ничего: столько же, сколько у священника при отряде латиноамериканских партизан с папой римским или княгиней Монако — та ведь тоже католичка. И ты совершенно напрасно видишь во мне чуть ли не коммунистку двадцатых годов, это ложное, да и слегка романтическое представление: я не оттуда, не из тех времен и не из тех коммунистов, которых ты знал, даже не из таких, как дядя Ханс, — не из тех, о которых ты мечтаешь, по которым иногда тоскуешь. Сейчас не те времена, многое изменилось, сравни хотя бы с другими догмами: мне еще нет и тридцати и каких-нибудь десять — двенадцать лет назад, почти до восемнадцати, я была свято убеждена, что буду проклята на веки вечные, если приму причастие не натошак. Так что перестань грезить о коммунистах, которых ты знал, не впутывай меня в эти грезы двадцатых годов и поверь: «тех» я понимаю не больше, чем ты, а, пожалуй, ты понимаешь их даже лучше меня, хотя нет, тут мы, наверно, с тобой сойдемся: мы оба их не понимаем, но одно знаем точно — они так же несвободны, как и все мы».

Это ли не повод поразмышлять о собственной несвободе, которая все неумолимей сковывает его по рукам и ногам? Тут уж не обойтись без ностальгических картинок прошлого, которые начинаются словечком «раньше». Раньше, когда он еще был довольно солидным, самостоятельным боссом — и ведь не так давно, каких-нибудь шесть лет назад, — он мог, никого не предупреждая, удалиться из своего кабинета, выйти на улицу (вот так запросто взять и выйти), купить в киоске газету, направиться в кафе Гецлозера, где его любезно и даже радушно обслуживали, заказать завтрак, спокойно поесть, не ощущая на себе бдительных и неотступных взглядов, потом из будки автомата позвонить Кэте или просто заглянуть в цветочный магазин, купить букет для Кэте, Сабины, Эдит, ино-

гда для Вероники,— он и в ювелирные заходил, это теперь ювелирам приходится тащить свои шкапулки к нему домой, на службу или в гостиницу, со всеми предосторожностями, под охраной. И давно уже забыты антиквариаты, куда он хаживал охотиться за гравюрами— рейнские города, рейнские пейзажи, не то чтобы что-то определенное, просто рылся, ну и, случалось, находил гравюры и картины тоже. Рейн до эпохи туристического бума, как на его любимой гравюре с видом Бонна: миниатюрная, чуть побольше пачки сигарет, автор неизвестен, но какая изысканная, тонкая работа, какие сдержанные краски— Рейн, деревья на берегу, крыло замка, баржа и бастион старой таможни... И еще одно— теперь это тоже невозможно, то есть вообще-то возможно, но совершенно невысказано— история с Эдит, и ведь даже не особенно молодая была, тридцать пять уже, кладовщица универмага, незамужняя сестра их экономиста Шойблера, умер, бедняга, а он пришел выразить ей соболезнование... Чуть до скандала не дошло— нет, он никогда не поймет, как это другие исхитряются улаживать свои амурные дела под конвоем: стоит вообразить, что думают о тебе полицейские, это ж всякую охоту отобьет.

IV

Страх возвращался снова и снова, рос, страх за него, а потом и страх перед ним; теперь и не поймешь, какой страх больше, какой хуже, кого или за кого она боится, когда он— «устал, устал, устал»— возвращается с работы, вечно недовольный, бурчит что-то о квартире, о беспорядке, злой, угрюмый, иной раз прямо как буйвол, чего прежде никогда, никогда с ним не бывало. Ворчит на тесноту в домике, на участок, который слишком мал, выскивает сорняки на грядке, с остервенением набрасываясь на каждую травинку, испытующе, с легкой, едва заметной неприязнью оглядывает ее прическу, которая, конечно же, не всегда, что называется, в ажуре, особенно если она целый день возилась на кухне, в подвале, в саду или даже просто вместе с Бернхардом только что играла с собакой. Конечно, тут будут и бисеринки на лбу, а может, даже и легкие бороздки от пота, особенно под глазами и вокруг носа, и на ботинках у Бернхарда иной раз глина налипнет, да и на бетонированной дорожке в саду и возле ворот не всякую травинку успеешь подобрать; а еще он стал привередничать в еде, чего раньше никогда, никогда не случалось — суп ему то слишком горячий, то, наоборот, остыл, в салате уксуса слишком много или, наоборот, мало,

хотя она все кладет точь-в-точь как раньше, по его вкусу; гуляш, видите ли, жестковат, хотя он прекрасно знает, почему нынче мясо и что перед праздником первого причастия приходится экономить. Да и вообще, они опять поистратились: новая машина, выплаты за дом по этому кредиту, который они поторопились взять, а им поторопились всучить, в итоге же все оказалось совсем не так дешево, как им сулили; а кроме того, с тех пор как он на этой новой работе, все время в штатском, форму давно уже не носит, на одну одежду сколько денег уходит, она и так на одежду накидывает, но ведь он такой чистюля; на Бернхарда стал бурчать, нет, не орет, но бурчит, мальчик, видите ли,— и слово-то какое нашел!— недостаточно «грациозен», неуклюжий какой-то, целыми днями только и гоняет по саду колесико на железке, надо с ним гимнастикой заниматься, а уж когда уроки у Бернхарда проверяет, только головой трясет: совсем, мол, безнадега.

Таким он никогда раньше не был, серьезным— да, иной раз и строгим, на ее взгляд, даже чересчур, особенно когда отнимал у мальчика журналы, рвал у него на глазах эту, как он говорил, «порнографическую мерзость», хотя никакой такой особой мерзости она лично там не обнаружила, особенно в сравнении с тем, что любой ребенок может преспокойно разглядывать в витрине любого киоска. Там такое выставлено— куда похлеще этих распаленных блондинок с несусветными начесами, у которых, по крайности, срам прикрыт, а грудь если и видна, так только в вырезе. Какой тут вред для восьмилетнего мальчика, если он может пойти на пляж и увидеть куда больше, да и на пляж ходить необязательно, достаточно за забор глянуть, на их соседку, Ильзу Миттелькамп, когда она загорает или стришет газон; там он куда больше может увидеть, гораздо больше, чем в этих поганных журнальчиках с блондинками, у которых грудь из корсета вываливается и про которых даже не поймешь, сколько им: семь, двадцать семь или семнадцать. Конечно, они премерзкие, эти твари, помесь девочки и потаскухи, то с подленькой, притворно невинной ухмылочкой, то с кокетливой, губки бантиком, обидой на лице, то с циничным оскалом проститутки; «шлюхи вприглядку», «вампиры потребления»— все верно, такие они и есть, на уме только шикарная жизнь, путешествия, шампанское, танцуйки, «бассейные нимфы»,— все верно, все так, но ведь не пустишь мальчика в жизнь с завязанными глазами! Конечно, это непотребство, кругом хаос, тлен и разложение, и среди всей этой грязи мальчика надо готовить к первому причастию, целомудрие и все такое, когда сами церковники, если верить хоть сотой доле

того, что про них говорят, давно ничего не соблюдают, а ее мальчик, наверно, до сих пор и понятия не имеет, что целомудренно, а что нет. Ведь Бернхард наверняка— она-то уверена, это Хуберт сомневается, они из-за этого спорят до хрипоты, даже чуть не поссорились— еще не знает, что такое сексуальное возбуждение. Но Хуберт побеседовал на службе с Кирнтером, полицейским психологом, раздобыл всякую литературу о детской сексуальности, хотя мог бы просто в глаза мальчику посмотреть, когда из-за журналов распсиховался: там только страх и недоумение, он не понимает, с какой стати отец рассвирепел, у него и мыслей-то таких нет, и нечего их за него придумывать. Ну, и ясное дело, они очень много выплачивают по кредитам, каждый месяц, вот и приходится жаться, а рубашки, которые он себе покупает, слишком дороги, им это правда не по карману, ведь он— даже Моника недавно сказала— «просто помешался на хороших рубашках». И не такая уж тяжелая у него служба, чтобы каждый день вот так «устал, устал, устал»; ну, караулит шикарные виллы, расхаживает вокруг замка, следит за входами-выходами— и все время бдительность, все время смотри в оба, она понимает. Просто он очень серьезно к этому относится, он ко всему очень серьезно относится, даже слишком, и, конечно, ответственность большая, она понимает, но не до такой же степени, чтобы все время вот так— неласково, с раздражением.

Он никогда не говорит о службе, и раньше, когда в училище был и потом на сборах, тоже ничего не рассказывал. Она знает, что все они регулярно проходят психологическое обследование и тесты всякие, ведь стресс-то у него наверняка, это уж точно. Она другого боится: слишком уж тщательно, прямо-таки болезненно стал он следить за порядком и чистотой, это уже не прежний его педантизм, а мания какая-то: по часу под душем стоит, на свежеотутюженных брюках что-то выскивает, носки— это уж прямо оскорбление— нюхает, прежде чем надеть, а если найдет складочку на одной из своих дорогих рубашек, такое лицо состроит, будто его смертельно обидели.

А ведь еще недавно как она радовалась, когда он приходил: вместе обедали, пили кофе, потом вместе проверяли у Бернхарда уроки, вместе помогали сыну, и пива, бывало, выпьют на террасе, и с соседями через забор успеют поговорить— о недоделках в доме, о кредитах и выплатах, о детях и вообще о жизни. Иногда соседям требовалась от Хуберта консультация, все больше по части машин и правил движения, где разрешена стоянка, где нет, где запрещено останавливаться, а где можно, скорость и все такое, их уже и в гости приглашали, Хельстеры, которые справа, и Миттелькампы, эти слева; и они тоже успели по разочку их при-

гласить, одних на пиво и «солененькое», других на кофе и «сладкое». Но все как-то неловко получалось, не то чтобы враждебно, но прохладно, и каждый раз все прохладнее, потому что Хуберт слишком чувствительно реагирует на шпильки госпожи Хельстер, которые та, и весьма ехидно, умеет вставлять в беседу. Уже было обронено словцо «легалый», как бы невзначай, как бы позабыв, что Хуберт как раз «легалый» и есть, и никто не спохватился, не попытался загладить неловкость, что не помешало им вскоре начать выпрашивать про его работу: что, мол, за служба такая, куда надо ездить таким щеголем и обязательно на новой машине. Хуберт только каменел.

Миттелькампы— те погрубей, попроще, хотя не сказать, чтобы приятней,— когда Хуберт проходил стажировку в полиции нравов, непременно хотели, чтобы он рассказал «все подробности», у них это называлось «про панель и про постель», приставали с расспросами: «А ваша новая работа вообще, наверно, просто блеск, вы теперь в группе охранения, ведь так?»— на это нельзя ответить ни да, ни нет, а молчание, видимо, воспринималось как знак согласия. Миттелькампы еще молоденькие, лет двадцать пять, от силы тридцать, он управляющий на складе, она кассирша в супермаркете, детей нет, денег хватает. Хельстеры— те старше, под пятьдесят, он служит в налоговом управлении, она— после того, как дочка выучилась,— опять «пошла в контору», но ненадолго, снова оказалась безработной и иногда шепчет через забор, что у нее «просто сил нет глядеть на этот бардак, просто нет сил, вот я иной раз и не сдержусь, вы уж, Хельга, не обижайтесь». Это она о дочери, взрослой уже девице— лет двадцать пять, все время расфуфыренная, шикарные машины, дорогие прически, но приветливая, ничего не скажешь,— которая вела весьма странный, во всяком случае нерегулярный, образ жизни. То она часами на машинке стучит, то куда-то на несколько дней уедет, то спит допоздна, а потом устраивает себе роскошный завтрак на балконе, а то целый день, пока все порядочные люди работают, в саду с книжкой прохлаждается— в конце концов на прямой вопрос Миттелькампа она ответила, что работает нештатно, секретаршей, сопровождает различных боссов в командировки, записывает под диктовку или готовит стенограммы конференций, совещаний, переговоров, а потом дома все это перепечатывает набело, да, работа нерегулярная, но вполне законная.

Она милая девушка, эта Клаудиа, и похоже, мать зря на нее наговаривает, и Хуберт тоже, наверно, был несправедлив, когда назвал ее «шлюхой дорожной». Он, впро-

чем, и ее сестру Монику тоже раньше шлюхой называл, но в ту пору к этому, возможно, и были кой-какие основания. Однако теперь Моника— она, кстати, предпочитает, чтобы ее называли Монкой, так, дескать, модней,— действительно начала новую жизнь; собственно, шлюхой она и не была никогда, просто какое-то время вращалась в таких компаниях, где подобную репутацию очень даже можно приобрести. Сейчас она устроилась при магазинчике модного платья, иногда стоит и за прилавком, но больше на дому шьет, вяжет, придумывает новые модели, живет с Карлом, он еще студент, но подрабатывает где и чем можно. У этого Карла весьма свободные взгляды, и он открыто их высказывает, но без малейшей развязности, как это иногда все еще проскальзывает у Монки. А вообще— и сожителство без брака, просто так, и госпожа Хельстер, и Миттелькампы— ей все это так дико, хотя ведь и самой только двадцать девять, и потом, эта отвратительная манера якобы— а может и в самом деле?— научно рассуждать о сексе, лучше уж грубые заигрывания Миттелькампа, который однажды— его жена была на работе, Бернхард в школу ушел— довольно беззастенчиво приглашал ее «малость порезвиться», расскажи она об этом Хуберту, тот убил бы его на месте. А так вот запросто говорить о некоторых вещах— про себя она все еще называет это свершением,— обозначая их соответствующими научными терминами, или вот, как Хуберт недавно, пускаться в рассуждения, бывают у ее сынишки, у ее маленького Бернхарда, эрекции или не бывают, слово-то какое жуткое— эрекции...

В иной день хочется бросить все и уехать в Хетциграт к маме, которая наконец-то живет в собственном домике с садом, но все еще тоскует по своей Силезии, которой давно нет, а пожалуй, и не было никогда; послушать ее, так там не жизнь была, а рай земной, только мед и яблоки, льняные скатерти и католичество, ладан и Пресвятая Дева, ни забот, ни хлопот, никакой войны, вечный мир и благодать. А потом, конечно, это ужасное бегство, переселение, и сразу тебе ни яблок, ни меда, ни ладана, ни Пресвятой Девы, и всему виной, конечно, русские, кто же еще. Сказка, ну и пусть, она бы уж потерпела, послушала бы эту бесконечную силезскую сказку, если бы не Бернхард, если бы не школа. Наконец-то у мальчика появился хороший учитель, Плоцкелер, такой милый, энергичный, Карл его еще по университету помнит, и к Бернхарду очень внимателен. Нет, школу менять сейчас никак нельзя.

А с Хубертом день ото дня все трудней, но было и еще кое-что, при одной мысли об этом она сразу краснеет, а

уж поговорить об этом и вовсе нельзя, да и не с кем, даже с Монкой и то не поговоришь, еще, чего доброго, поднимет на смех. И к исповеди с этим не пойдешь, потому что это не вина, да и про самих исповедников такое иной раз услышишь, что всякая охота пропадет обращаться за утешением и советом. Может, с Карлом стоило бы поговорить, но он мужчина— он, конечно, никому не проболтается и отнесется с пониманием, но потом наговорит кучу всяких ученых слов, и все. Свершение— нет, не супружеский долг, а именно свершение— вот чего ей недостает; да, она не бесполое существо, она женщина и не стыдится этого, наоборот, рада, и Хуберту всегда была рада, а он ей, она же помнит. Он всегда был с ней ласков, по-своему, тихо так, серьезно, но очень нежно, а груб— никогда, порой даже эта вечная серьезность с него слетала и он бывал почти весел, а груб— никогда, ни до свадьбы, ни после, она извела свершение с ним и любила дарить свершение ему, а сейчас ей так этого хочется, что даже стыдно. Она уже не раз ловила себя на том, что ищет в журналах соответствующие разделы и колонки интимных советов, стыдилась собственных ухищрений, сама себе казалась распушенной, когда норовила при нем раздеться, а вечером, уложив Бернхарда, нарочно оставить открытой дверь ванной, когда принимала душ, да, ей противны эти уловки, и тем не менее она прибегала к ним: оденется во что-нибудь «манящее», надушится слегка и глазами что-то вроде «вызова» изобразит— а он только поцелует ее в плечо или в щеку, но в губы или в грудь ни за что, а потом вдруг у нее же на плече заплачет, даже бурчать и придирааться перестал, даже не рассердился на Бернхарда, когда тот банку с краской для забора прямо у ворот на дорожку опрокинул.

Тихий стал какой-то, сидит перед телевизором, смотрит всякую ерунду, и так часами, без разбора, даже полную чушь, даже то, что сам раньше называл «галиматьей для ротозеев», все эти вымученные шуточки, сценки и номера, все эти «ужимки для богатых». И спорт— абсолютно все, все подряд смотрит, но не глядя. Иногда, управившись на кухне, она подсаживается рядом и видит, что он, подперев голову руками, а то и закрыв лицо ладонями, даже на экран не смотрит, хотя там как раз показывают то, что прежде его всегда интересовало: о розыске преступников, о проблемах безопасности, репортажи с места событий, полицейских на вертолетах, с автоматами, может, даже его товарищей, может, он сам там на экране, а он и не глядит. В церковном хоре пел— бросил, с сослуживцами в кафе регулярно ходил— тоже перестал, она уж

думала, не позвонить ли Кирнтеру, их психологу, а может, Хольцпуке, Люлеру или Цурмаку, ведь они все время с ним вместе. И все-таки, когда он такой вот, совсем как пришибленный, ей легче, чем прежде, когда он злющий бывал, а временами и просто подлый.

Да, она боится— уже не его, за него. Что-то его глужет, и только в одном она твердо уверена— это не из-за женщины. Нет, такое исключено. Это все от работы, как-то со службой связано, и тут она вспомнила, как Цурмак на последнем их совместном застолье, тоже уже месяц назад, подвыпив, пустился в откровенности, пока Хуберт его не остановил. Как он с женой Блямпа— «это у него четвертая, наш брат себе такого позволить не может»— туфли ходил покупать. «Их тоже понять можно, сидят в своих кабинетах как сычи, да и в поездках, в командировках— кого они там видят? А секретарши, те в курсе, те знают, где у шефа «жмет» и что ему надо, вот так все и получается, она тоже, наверно, у него секретаршей была, и следующая сначала секретаршей будет, их можно понять». Как она сидела, а ей подносили туфли, сорок, нет, пятьдесят, нет, шестьдесят пар, и она все примерила, сидит, покуривает сигаретки, журнальчики листает, и кофе ей подали, а туфли все подносят и подносят, и каждую коробку Цурмак обязан проверить— мало ли что: ведь коробки эти и из подвала и со складов несут, это все на заднем дворе, там полным-полно ходов-выходов. Так что «начинить» картонку с обувью, как вот недавно торт Плифгера,— плевое дело. Там этих укромных закоулков и лазеек столько, что любой или любая из «этих» запросто может забраться и силой всучить продавщице «гостинчик», а то и просто втихую подменить коробку,— словом, ему пришлось не только охранять отдельную примерочную, но и открывать и проверять каждую картонку, «а туфли, скажу я вам, такие только в кино увидишь, честное слово, просто такие секспомпончики, только выбирай, тут тебе и цвета, и фасоны, ну, и не дешевые, конечно»,— и он рассказал, он подробно описал, как побелели от злости продавщицы, когда эта «задрыга», повертевшись несколько часов перед зеркалом— «и ох, и ах, и золотые туфельки, и лиловые, и туфельки, которые уж и обувью назвать стыдно»,— преспокойно ушла, не купив ни пары; рассказал и о том, как был с ней в модном салоне Греслицера, все эти штучки-дрючки, шпильки-булавочки, и перешептывания, «и похотливые смешки за занавеской», тут складочка, там оборочка, тьфу ты, «и притом ведь

даже не особенно смазливенькая и уж никак не красотка», а девчонкам-продавщицам, что в обувном, что у Гресли-цера, еще и нагоняй: почему ничего не продали, «ничего этой задрыге не всучили». Тут и Люлер вступил, поведал о том, что ему приходилось видеть на некоторых, с позволения сказать, приемах, когда «не успеешь на пост заступить, а на тебя уже плывет этакая краля и сверху на ней почти ничего, но ты не моги даже глазом моргнуть, даже вида не подай, что ты тоже нормальный мужчина и способен оценить ее прелести», и уже начал было рассказывать «об одной такой, которую сопровождал, обязан был сопровождать, в походах по барам, она не просыхала», но Хуберт его решительно оборвал и пресек разглашение служебных тайн.

Господи, да не нужно особого воображения, чтобы представить себе, как все это бывает, когда неделями торчишь на посту около бассейна в саду или на дверях во время приемов, когда все видишь и слышишь, а на тебя ноль внимания, будто ты канделябр на ножке или восковая фигура, и все время смотри в оба, а на этих приемах иной раз бог весть что творится: и жрут, и пьют, и пляшут, и обжимаются, если не еще что похлеще,— и, наверно, тут, где-то тут надо искать причину, отчего Хуберт так переменялся. Некоторые— даже мама, Монка, да и Карл, пожалуй,— считали, что он уж слишком серьезный, не в меру строгий, а если он вдруг бывал мил, остроумен, обаятелен, их это даже как будто удивляло; а ведь как задорно он танцевал с Монкой, не то чтобы «ухлестывал», нет, но очень галантно ухаживал, все были поражены, каким он, оказывается, бывает милым, а злым никогда не был и сердился редко, разве что когда они, скорее по обязанности, встречались с его родителями и братом Хансом, которые до сих пор не могут смириться с тем, что он стал «всего лишь полицейским». Да, папаша его «юрист», хотя, как позже выяснилось, не бог весть какая шишка, подумаешь, допросы протоколирует, брат— доцент философии, и они все время его подкалывают, а ему это, понятно, не по душе, отца он однажды круто осадил, напомнив, что между полицией и юстицией не так уж мало общего, да и брату очень даже ловко доказал, что у того каша в голове,— но хуже всего бывало, если кто-нибудь в его присутствии, не важно в какой связи, произносил слово «легавый»: однажды Бернхарда кто-то обозвал «щенком легавым», мальчик домой прибежал весь в слезах, а в другой раз, летом было дело, Миттелькампы в саду гостей принимали, и кто-то через забор крикнул: «Эй, вы, легавая парочка, приходите потанцевать», он весь аж побелел от

ярости, тогда чуть до драки не дошло; да, он ранимый, очень ранимый, но каким нежным раньше был, ласковым. А сейчас тихий какой-то, вечно усталый и грустный, устает в телик, а сам и не смотрит, даже про спорт и полицию ему неинтересно. Даже перестал поминать «тех», которые во всем виноваты, которые «заварили всю эту кашу». Куда подевалось воодушевление— иногда, на ее взгляд, даже чуть показное,— с которым он прежде ходил в церковь, эта его упрямая, но и радостная, праздничная приверженность всему, что связано с мессой и что он называл своим «исконным правом», и какая-то особая, веселая гордость, с которой он сносил подтрунивания, а то и насмешки соседей и сослуживцев, словечки вроде «ходячий молитвенник», а когда однажды у них в гостях один из сослуживцев сказал: «Бог ты мой, Хуберт, в наши дни от попов мало что зависит, так что зря стараешься», он в ответ яростно и безуспешно пытался их убедить, что к карьере это не имеет ни малейшего отношения, а просто «глубокая внутренняя потребность». И это правда, карьера тут совершенно ни при чем, да и приспособленцем его никак не назовешь. Он и в полицию пошел не из-за денег и вовсе не ради выгоды взвалил на себя все эти специальные сборы и немилосердные тренировки, а потому, что порядок любит, хочет, чтобы был порядок, и готов его защитить. Да, он хочет быть блюстителем порядка, строгим, но не жестокосердным, она же знает, он уже несколько человек отпустил, мужчин и женщин, магазинные кражи, и у него были крупные неприятности, но он ей так и сказал: «Эти люди не виноваты, их просто соблазнили»; и даже с проститутками, когда был в полиции нравов, обращался по-человечески, да, он строгий, но не жестокий и с ней никогда не был жесток— вот разве что в первые дни, когда он так переменялся и беспрерывно ворчал.

Все-таки, наверно, надо позвонить Кирнтеру, а то и самому Хольцпуке или хотя бы Цурмаку, все-таки он старше, да и симпатичный. Не идут у нее из головы эти сцены— в обувном магазине, в модном салоне или возле бассейна, когда ты либо стоишь, либо прохаживаешься, но все время смотри в оба, а вокруг тебя слоняются эти полуодетые, полуголые дивы с изящными бокалами в руках— прямо как в кино; ну и, наверно, да нет, наверняка, она даже что-то слышала, наверняка они ходят иногда в эти, ну да, в публичные дома, и приходится ходить и охранять, снаружи и внутри. А почему нет? То есть она-то, конечно, против этих заведений, она их не одобряет, тем более что он, когда стажировался в полиции нравов, кое-что ей рассказывал, не в деталях, разумеется, а так, в самых общих чертах,— но если другие муж-

чины туда ходят, как же быть тем, кто обязан этих других охранять? Так что и они тоже туда ходят, от подопечных ни на шаг, и должны прикидываться мертвыми, но они же не мертвые. К тому же те, другие, наверняка сорят там деньгами, икра, шампанское и все такое, а когда сам ты при этом едва-едва концы с концами сводишь— вычеты за амортизацию, новая машина, грабительские проценты за кредит,— тут волей-неволей начнешь считать и задумываться. А он и так обо всем размышляет, и очень серьезно, может, даже слишком, особенно о вере. Хотя ведь сам настаивал, чтобы свершение у них было еще до свадьбы, ради нее, ради себя, и не видел тут никакого противоречия, объяснял ей— мол, ведь как в Писании сказано: «Не желай жены ближнего своего», а он и не возжелал, потому что какая же она «жена ближнего», если она ему, только ему, предназначена, что же до «жены ближнего», то это действительно нехорошо. Так уж он устроен— до всего своим умом дойти надо.

Счастье еще, что он к Бернхарду опять подобрел, перестал смотреть на мальчика с убийственным презрением, не заводит этих кошмарных разговоров о «грациозности», только молча грустит о чем-то, а иной раз погладит сынишку по голове— но до того печально, что у нее прямо сердце щемит, будто он прощается. Неужели полицейский психолог ни о чем не догадывается? Может, лучше его куда-нибудь в деревню перевести, там хоть работа понятная, да и попроще: пьяный за рулем, кража, какое-нибудь дорожное происшествие или драка, пивную вовремя не закроют или еще что,— только бы не эта гнетущая неопределенность, когда не знаешь, откуда чего ждать и всякое может случиться, но случается так редко, что они почти рады, если вдруг удастся кого-нибудь сцапать, как вот этого Шублера, про которого она читала в газете, у него ведь и правда пистолет в квартире нашли, так что ему ничего не стоило застрелить Сабину Фишер из соседнего дома, где он с чужой женой— тоже, видать, хороша— развлекался. Нет, он и в самом деле подозрительный тип, этот Шублер, и не очень-то верится в его «большую любовь», скорее уж той женщине поверишь, если она и вправду такая наивная. Ей-то, конечно, не позавидуешь, но для полиции после стольких месяцев бесплодного ожидания это была удача. А он и словом не обмолвился, вообще ни звука. Она даже попыталась было расспросить, осторожно, конечно, но он, как всегда, невозмутимо, спокойно так отделался отговорками. А она ведь прекрасно знает, что он тогда как раз в Блорре Фишеров охранял и ему наверняка все известно; ну, а этот Шублер на допросах потом

все-таки окончательно запутался и признал, что он левак или, по крайней мере, раньше был леваком.

Одно, по крайней мере, ей известно, хоть он никогда об этом не говорит: он охраняет эту Фишер с ребенком, дочь Тольмов. Вот уж кто действительно настоящая красавица, волосы тяжелые и золотистые, как мед, это от матери, которая и сейчас отлично выглядит для своих лет, правда, у нее-то в волосах серебра уже побольше, чем золота,— да, красавица и притом— вот, наверно, откуда «грациозность»-то взялась!— действительно грациозная, хотя вовсе не тощая; нет, она не просто элегантная, тут что-то другое, о чем и портниха не сможет рассказать, тут как бы сама красота во плоти: и фигура, и губы, и глаза, и брови— все при ней, а еще не то чтобы нервозность, но какая-то трепетность, которая, наверно, так будоражит мужчин,— она вдруг покраснела, ей показалось странным, противоестественным думать вот так о женской красоте и даже ощущать ее вожденность, оставаясь при этом женщиной, вовсе не ставя себя на место мужчины. Да, такую стоит любить, в такую грех не влюбиться; мало того, что красавица, она еще и славная, по лицу видно. Ведь она ее сколько раз видела— по телевизору и в журналах, но и так— то верхом на лошади, то на прогулке, даже в церкви, где она вместе со своей милой дочуркой стояла на коленях перед образом Богоматери. Ее мужа, ну, этого Фишера, который «Пчелиный улей», тоже частенько видит, красивый мужчина, как говорится, не придерешься, но почему-то ее к нему не тянет, сколько ни смотрела— и так, и по телевизору, там он на всех торжественных приемах непременно со стаканом апельсинового сока. Она снова покраснела, поймав себя на мысли, что боится подойти к зеркалу: увы, до Сабины Фишер ей далеко, нечего даже и сравнивать. То есть вообще-то стыдиться нечего, уродкой ее, слава богу, не назовешь, чего нет, того нет, и дефектов вроде никаких, и лицо, и волосы— вот разве что нет в них того блеска — и грудь, и ноги, и вообще походка, она же знает, да и чувствует, как мужчины на нее смотрят, а все равно: Сабина Фишер, дочь Тольмов, это просто другая категория, это, как говорится, «порода». Хотя, если разобраться, откуда эта «порода» пошла? Из семьи бедного учителя, из еще более бедной семьи садовника, в журналах ведь все пропечатано— и об одном сыне, «явно неудачном», и о другом, который «не без странностей», хотя «явно неудачный» нравится ей гораздо больше и вообще очень симпатичный парень. И про невестку и внуков тоже все известно. И про замок в Тольмовене, и про «хижину» в Блорре, да и вообще про все.

Когда видишь такое, тут, конечно, участок в двенадцать соток уже не в радость, и стандартный домик, сто два метра полезной площади (включая прихожую), тоже тесноват, и собственная жена вроде уже не так хороша, тут, конечно, и на другую заглядываться начнешь, особенно если она такая ослепительная красавица, но чтобы у него с ней «что-то было» — нет, невозможно, немислимо, исключено. Неделями, а может, и целый месяц, она не знает точно, он был при ней, изо дня в день, а тут еще эти сплетни, что между ней и Фишером не все ладно. Слишком много ездит, слишком много амурных историй в этих поездках, в журналах то и дело фотографии, все время он там с какими-то девицами, то на танцах, то возле бассейна где-нибудь в тропиках. И снова и снова шепотком ползут слухи, что она то ли уже переехала, то ли вот-вот переедет обратно к родителям — и это несмотря на то, что «ее ожидают радости материнства, причем в скором времени». Что ж, приятным этого Фишера никак назвать нельзя, хоть он и очень старается, вон, все время рот до ушей, Карл про такую манеру улыбаться говорит: «У акулы в пасти зубы, а у этих в пасти нож», — нет, она лично никогда бы на Фишера не польстилась, а вот Хуберт на его жену, — наверно, так оно и есть, и его можно понять: он в нее втрескался, а может, заодно и в эту их роскошь, в запахи, дорогие ткани, в огромные комнаты, а если она переехала к родителям — слух, правда, пока вроде бы не подтвердился, — то и в замок, где он, Хуберт, вот уже несколько недель несет свою службу. Значит, он снова будет с ней рядом. Но чтобы Сабина Фишер — с полицейским, нет, невозможно поверить. Странно, она совсем не чувствует ревности, только страх, потому что, если это правда, тогда ему очень, очень тяжело. Он не из тех, кто легко переживает такую влюбленность, тут есть о чем тревожиться. И вполне вероятно, что именно поэтому он утратил способность — на этот случай тоже уже изобрели какое-то мерзкое ученое слово, к тому же иностранное, — дарить свершение себе и ей; и если даже она сейчас чувствует, что ей этого свершения недостает, то каково же приходится ему: каждый день видеть ту и молчать; а потом всхлипывать у нее на плече.

Но ревности все равно не было, только страх и сочувствие, а еще желание, которому она сама удивилась: может, та, ну, дочка Тольмов, все-таки услышит его мольбу — хотя невозможно даже вообразить себе, как он сумеет ей объясниться, — и захочет даровать ему сверше-

ние. Мысль безумная, вдвойне нелепая: получается, что она, жена, желает своему мужу изведать свершение с другой, да не с кем-нибудь, а со сказочной принцессой,— и тут было еще одно, отчего она снова покраснела: если даже вдруг, то где, как, он же все время на службе, при исполнении, вот и сейчас, когда он в замке. Может, она извращенка? Или тоже вконец свихнулась от всей этой порнографии и сама не заметила?

В конце концов она все-таки поехала к Монке, надо же с кем-то поговорить, а больше вроде не с кем. Пусть Монка поднимет ее на смех, но она не проболтается, даже Карлу ни словечка не скажет. Она ведь тоже, пока Карл не объявился, была у Монки чем-то вроде поверенной, та все ей рассказывала, и об интимных вещах, да притом иной раз такое, что она краснела,— к счастью, в темной спальне не видно было. И она тоже никому не проболталась, даже Хуберту, хотя от рассказов Монки у нее порой ох как тошно было на душе, лесбиянки в училище, педики в школе, истории с мальчиками, истории с мужчинами, ведь Монка, по ее собственным словам, в первую волну порнографии «нырнула с головкой», а «иной раз и глубже», покуда Карл весьма энергично ее не вытащил, прибегнув к аргументам, которые Монка называла «левыми», в то время, как «консервативные аргументы других спасателей» никогда, мол, ее «не понимали». Монка была, по ее собственному выражению, «очень даже недалеко от стриптиза», но это уже давно, года четыре или пять назад, пока Карл не вытащил ее «за космы», а теперь она вполне здравомыслящая молодая женщина, ну, может, иногда чуточку слишком разбитная и языкастая— «только бы наша мамочка, соловушка наш силезский, никогда не узнала, через что я прошла»,— ей двадцать семь, она кроит и шьет моднючие блузки, юбки и сорочки, трусики и ночные рубашки, курит, правда, многовато, да и пьет больше чем нужно, и выглядит порой старше своих лет, годков этак на тридцать, а то и на все тридцать пять. Любит своего Карла, тот на первый взгляд вроде замухрышка, но это не так, оказалось, что этот хлипкий очкарик с цыплячьей грудью даже спортсмен, стайер, хотя по нему этого никак не скажешь, у него временами, по словам Хуберта, такой вид, «будто он уксуса напился». Поначалу с ними трудно было, они с пол-оборота заводились, Хуберт не выносил «левацкую трепотню, господи, вы же видите, к чему это ведет», и с порога отметал все обстоятельные и, пожалуй, иногда слишком мудреные возражения Карла, который

пытался ему объяснить, «к чему ведет другое», но потом стали играть в бадминтон, вместе кататься на велосипеде, по очереди сажая Бернхарда на багажник, и спорили все реже, разве что иногда, да и то в шутку, друг друга подначивали, Хуберт называл Карла «левым крайним», а Карл Хуберта «правым полусредним». Окончательно они поладили, как ни странно, во время спора, которого она очень боялась: спор вышел из-за молодого Тольма, которого в газетах именовали «поджигателем машин», Карл, очевидно, был с ним раньше знаком, признался, что и сам в свое время «чуть не стал машины жечь, но я гораздо моложе был, чем он, да и духу не хватило». Он втолковывал Хуберту, что этот Тольм сознательно отринул все привилегии, в тюрьме сидел, и уж кем-кем, а оппортунистом никогда не был, это уж точно,— ну, и, кроме того, во всех этих спорах ни разу не было обронено словечко «легалый», Хуберт как-то раз сказал ей: он, мол, совершенно уверен, что у Карла этого словечка и в мыслях нет, наоборот, он тоже за порядок, даже не против полиции, и, в конце концов, ведь это он вытащил Монку «из трясины»; Карл соглашался, что да, людей, мол, охранять надо, а вот банки— ни в коем разе! «Сам подумай, просто так дать себя укокошить за какие-то бабки, за вонючие бабки, которые без всякой пользы там валяются,— и жизнь положить?»

В чем-то они даже похожи. Не внешне, разумеется. Хуберт— тот рослый блондин, строгий, статный, а Карл хлипкий брюнетик, с поредевшими, жидкими волосами; и вообще, если вдуматься, даже отбросив все личное, даже позабыв, что он ей муж, а просто, так сказать, посмотреть на дело с объективной стороны, она бы никогда не променяла Хуберта на этого Фишера, ни в жизнь; ведь, глядя на него, сразу ясно, что он за человек— расчетливый, беспощадный, да и пустозвон, немудрено, что у такого семейная жизнь не клеится, а если предположить, что Хуберт и вправду влюбился в эту Сабину Фишер, то, пожалуй, как ни больно об этом думать, вполне можно понять, отчего ее собственная семейная жизнь разладилась. А Карл милый, очень милый парень, с ним и танцевать приятно, по крайней мере, никаких мурашек по коже, как с Миттелькампом или Хельстером. У Монки— у той вообще никаких мурашек, ни с Миттелькампом, ни со стариком Хельстером, просто она ничего такого не допустит, от чего мурашки по коже, если, конечно, ее кожа вообще еще способна на мурашки; в крайнем случае— впрочем, дважды она при сем присутствовала, один раз у них дома схлопотал Хельстер, другой еще кто-то, на квартире у

Монки была вечеринка их ателье— она вlepляла партнеру оплеуху, «чтобы поостыл малость». Монка— она всякого повидала, ей в таких делах опыта не занимать. А Карл только смеялся и подбадривал: «Так его, девочка, только так! Даешь отпор буржуазному рукоблудию!»

Монка никому не расскажет, даже Карлу, хотя того, наверно, и не очень-то такие вещи интересуют. Бернхард очень любит бывать в гостях у Монки, там какао с пирожными, лимонад, там большущие куклы-манекены, повсюду разбросаны ножницы, лоскуты, иголки с нитками и вообще «не обязательно, чтобы был такой уж порядок», а в соседней комнате Карл мастерит свои макеты, и там Бернхарду непременно что-нибудь дарят— мелочь на мороженое, билет в кино или в зоопарк, и только однажды он отказался от подарка, когда Монка предложила сшить ему костюм к первому причастию: «Хочешь, сделаем из тебя маленького лорда или мини-ковбоя, поверь, младенцу Христу это понравится куда больше, чем все эти скучные синие костюмы»,— но Бернхард хотел именно синий, как у всех, однако Монка, слегка обиженная, стандартный костюм шить не пожелала.

Монка так искренне ей обрадовалась, что от одного этого на душе сразу стало легче, много легче, а стоило только мигнуть, и Карл уже понял, что ему надо заняться Бернхардом— вместе приготовить какао, сбежать на угол за мороженым или журнал в киоске купить, да и в комнате Карла всегда найдется что посмотреть, а то и к чему руки приложить: макеты домов и целых кварталов, чертежи, эскизы, фанера, клей, гипс, краски, шпаклевка и огромный стол, за которым Карл сооружает макеты по заказам архитектурных мастерских,— может, и для школы полезно, пропорции, масштаб, вычисления... Как бы там ни было, Бернхарда она на время спланила и теперь, за кофе с пирожными, могла все рассказать Монке— запинаясь, даже заикаясь, с трудом подбирая слова, стыдясь заговорить о свершении, все только вокруг да около, выдавила: «Ну, ты понимаешь, о чем я»— и Монка кивнула, закурила, а потом, доев пирожное, снова взялась за работу. В трудных местах, когда она запинаясь или недоговаривала, Монка говорила: «Понятно, дальше»— и ни разу не засмеялась, похоже, даже и не думала смеяться, ни разу не подавила смешок, только один раз перебила ее вопросом: «И давно?»— и, кажется, испытала облегчение, услышав

в ответ, что только пять месяцев. Она кивала, иногда качала головой, не смеялась, а выслушав, сказала:

— Господи, девочка, сестричка моя, да ты живешь в сексуальной Силезии! То есть я вовсе не хочу сказать, что по части секса силезцы чем-то хуже других, да ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду: сексуальную сказку, которая напомнила мне силезскую сказку нашей мамочки.— Она сказала это очень серьезно, снова покачала головой, потом добавила:— Но с Хубертом тебе поговорить надо.

— Нет, это невозможно, не могу же я...

— Не можешь— что? Разве, к примеру, нельзя его спросить, вправду ли ты за девять лет супружеской жизни так ему опостылела? Только, знаешь, брось эти журнальные трюки, они не для тебя, да и не для него, вообще не для вас, мне даже думать об этом больно... Брось, брось это, Хельга, это не для тебя, это даже не для меня, ну, может, раньше, а вы оба такие хорошие, серьезные, нет, просто больно подумать...

— Тебе— больно?

— Да, и очень, а ты как думала? Думаешь, я и впрямь такая толстокожая, какой прикидываюсь, вернее, вынуждена прикидываться? Черт возьми, да где, в каком таком силезском раю вы живете? Ты хоть представляешь, что творится иной раз хотя бы в нашем магазине? Лесбиянки так и липнут, мужики просто прохода не дают, особенно коммерческие агенты, эти вообще наглые, оглянуться не успеешь, он уже под юбку лезет, решил, видите ли, что ему, а тем более мне только этого и недоставало для полного счастья. Тут поневоле задубеешь, иной раз и врежешь как следует, а когда совсем не вмоготу и мне одной не справиться, Карл выручает, это для них большой сюрприз, они обычно этак свысока его «Карлушей» зовут, а тут у него разговор короткий, уж он-то знает, куда и как бить. Ведь они все на этой почве свихнулись, волна поднялась, их и понесло, может, и твоего беднягу Хуберта волной если не с головкой накрыло, то шибануло малость или, скажем так, подмочило чуток, и тут, сколько ты ни изображай, что ты, мол, на той же волне, делу этим не поможешь, так что лучше ты эти свои журнальные уловки брось. Вот оно что, значит, и Хуберта задело— но кто и как? Думаешь, это и правда Сабина Фишер? Что-то не верится.

— А кто еще? Других женщин он почти не видит, а там пробыл все лето.

— Ну да, и она вот от своего фрайера сбежала— все равно не верю, не представляю, хотя вполне могу представить, что мужчина... да, это я могу понять, а она скромница, даже тихоня, и, по-моему, совсем не в восторге от общества, в котором ей приходится вращаться.

— Так ты ее знаешь?

— Я все про нее читала, да и знаю немножко, ее мать иногда к нам заходит, то купит что-нибудь, то закажет— для внуков, для дочери, для невестки, да и для себя. А для Сабины я, помню, как-то пляжный ансамбль шила, посмотрела б ты на нее в примерочной— просто богиня, но она не из таких, она серьезная, милая, но очень серьезная, никаких там тебе разрезиков и финтифлюшек, нет, она не из таких, это уж точно, хотя...

— Что?

— Да я все думаю про ее мужа— понимаешь, по-моему, нет ничего страшней, чем эти мужики, обязанные везде и всюду выставлять на обозрение свою мужественность и красоту, это же манекены, а смеются так, что, кажется, лучше бы уж зубами орехи колол, чем так смеяться,— знаю я этот смех со скрежетом зубовным, наслушалась, еще когда в «Коллибри» была. А потом уткнется в тебя, как в подушку, и в слезы. Конечно, бывают среди них и ничего, симпатичные, младший Цуммерлинг, к примеру, тот и правда славный, и смеется совсем не страшно, даже заразительно, балбес, но очень милый, у него только одно на уме— поразвлечься, чем он и занимается, да, бывают, конечно, и такие, но вот эти, с манекенской улыбочкой, или, как Карл скажет, с ножом в пасти,— их жены подчас такие фортели выкидывают, я-то знаю, просто рассказывать неохота— да это и профессиональная тайна, как в полиции,— но уж ты мне поверь, жены от них иногда пускаются во все тяжкие...

— Так ты его тоже знаешь— ну, Фишера?

— Нет, его— нет, только по журналам и по телевизору; знала бы ты, какие жалкие гроши он платит на своих фабриках— и на востоке, и даже в социалистических странах, нет, они там у себя в «Пчелином улье» по части меда не дураки, нет... И вот этот Фишер колесит по всему свету, улыбается во весь рот перед камерами в обнимку с пышногрудыми бабенками, как говорится, на всех широтах, а твой Хуберт тем временем караулит его жену и дочурку, глаз с них не спускает, и так все лето, и у бассейна тоже, Господи, как представляю, что я мужчина и вижу ее, когда на ней еще меньше надето, чем у нас в примерочной,— нет, даже подумать страшно. А может, это вовсе и не Хуберт, а она сама— а что, коли твой ненаглядный месяцами где-то по свету колесит, выискивая страны подешевле, и вечно эти гаитянки, таитянки и как их там еще— ой, Хельга, боюсь, дело дрянь, боюсь, все очень серьезно, и никакой полицейский психолог тут не поможет, тут одно остается: молиться и ждать.

— Что? Монка, родная, не надо над этим смеяться.

— Я и не смеюсь. А что тут такого— я часто молюсь, мне помогает.

— Ты? Из-за Карла, что ли?

— И из-за него тоже, думаешь, он железный? Нет, во-все не железный, верный— это да, но не железный, у него, как он выражается, «обостренное чувство прекрасного», эстет, понимаешь ли, может и увлечься, я же говорю: верный, но не железный. Но я не только из-за Карла, иногда и просто так ей молюсь, ей, Царице Небесной. Я ведь грешную жизнь вела, даже тебе всего не рассказывала, и Карл всего не знает, вот и найдет иной раз, я тогда молюсь и плачу. Только не подумай, будто я это из-за Карла так мучаюсь. Он милый, и я его люблю, меня к нему тянет, не могу без него, да и он без меня— просто мне вообще это нужно. С Иисусом я как-то не того, не очень, да и раньше тоже, видно, чего-то недопонимаю, не разбираюсь, а вот она помогает, и тебе должна помочь— только, пожалуйста, Хельга, я тебя прошу, забудь все эти уловки, не строй из себя потаскушку, терпеть этого не могу, понять могу, а терпеть— нет, так что лучше брось. То есть, конечно, содержи себя в чистоте, следи за собой, чтобы не опускаться, и все такое, но с этим у тебя и так все в порядке. А со старушкой Тольм, с матерью ее, я поговорю, она придет, если я позвоню.

— Бога ради, ведь это только домыслы, как бы хуже не было! Обещай мне: никому ни слова, слышишь! Обещай!

— Ладно, обещаю, и ты знаешь, я слово держу. Но поговорить надо, Хуберту с тобой, тебе с Хубертом, тебе с этой Фишер или ей с тобой,— кстати, она беременна. Об этом уже везде пропечатали.

— Беременна— и от мужа уходит?

— Бывает, нервный срыв при беременности, где-то я об этом читала. Тут написано— уже на шестом месяце. Уж не думаешь ли ты?..

— Сама не верю, не могу поверить. Но— что же еще? Чтобы я ему сразу настолько опротивела? Вроде нет, я же чувствую. Только, пожалуйста, ни с кем, ни с кем не говори.

— Я же обещала. А сам-то он где? Все еще при ней?

— Нет, насколько я знаю, он сейчас в замке.

— Так и она там же. К папочке с мамочкой перебралась. А этот снова укатил на поиски дешевой рабочей силы. Меня, кстати, «Пчелиный улей» тоже грабит будь здоров. Не исключено, что, пока мы тут сидим, какая-нибудь китаяночка выстрачивает сорочки по моему фасону, очень даже может быть. Я сама по радио слышала, что он снова в отъезде.

Вот, пожалуй, все и сказано, но при одной мысли, что такое вообще возможно, у нее перехватило дыхание, не потому, что в это совсем поверить нельзя, и не потому даже, что Хуберт, так сказать, мог столь вероломно обойтись с ней и с этой Фишер,— нет, но последствия, невероятность которых вдруг сразу прибавила в вероять: на шестом месяце, как раз пять месяцев назад. Хуберт с этой Фишер, беременность, нет, тут, пожалуй, Пресвятая Дева уже не поможет.

Не поможет ни Пресвятая Дева, ни порноволна, ни сексуальная революция, ни государство, ни церковь: для кого это всерьез, тот пропал, значит, остается только ждать, может, поговорить, заговорить с ним, облегчить его душу, погладить по голове и заглянуть в глаза, глубоко, ни в коем случае не строго, просто вопросительно и немножечко грустно.

— Слушай,— спросила она Монку,— а ты не могла бы разузнать, где он— ну, этот Фишер— был пять месяцев назад? Понимаешь, ведь если она и правда на шестом...

— Хельга... Да, это я могу разузнать. А ты, оказывается, смышленая...

И тут, ощутив тепло сестринской ладони, лепеча слова благодарности, она наконец расплакалась, ей стало легче, ей помог этот душещипательный, душеспасительный разговор, его обманчивая легкость. И что не было смешков, ни вслух, ни про себя, да и кто сказал, что плакать плохо, нет, ей надо было выплакаться. Значит, у него все-таки что-то с ней было, а теперь у нее от него ребенок, и если это так, если она не ошибается, что ж, ребенок— это не беда, вот только одно для него плохо, что он, наверно, был при исполнении. Но пока никто, конечно, ни о чем таком не догадывается. Никто ничего не знает, все только домыслы, не более того. Значит, Хуберт не болен,— или как там у них это называется?— он просто запутался, вконец запутался. Что ж, надо утереть слезы, взять сынишку за руку и ехать домой.

В автобусе она думала об этой женщине. Ей, наверно, тоже тяжело, если она и вправду такая скромная и серьезная, у нее ведь уже есть ребенок от другого, прелестная малютка, такая очаровательная в жокейском костюмчике. Да, ей тоже нелегко, и она совсем не легкомысленная. Просто они забылись, а остановиться уже не могли, вот их и затянуло, все оказалось куда сильнее, чем они, наверно, сначала думали, и затягивало все глубже и глубже, такое уж это дело, хоть о нем все и говорят этак снисходительно, как бы между прочим («ах, боже мой, было, конечно, разок, сами знаете, как это бывает»),— а теперь

вот, оказывается, затронуты, втянуты шестеро, и еще один, маленький, будущий человек, которому уже шестой месяц...

V

В этом он давно исповедался, еще тогда, в самом начале, поехал в субботу за город в первую попавшуюся церковь, где в исповедальне даже оказался священник, молоденький, от него пахло лавандовым мылом, бедняга аж подскочил, когда он без долгих слов перешел к делу, делу, которое ощущает в себе как грех— нарушение служебного долга и супружеской верности, прелюбодеяние, и ему сразу полегчало, потому что священник вроде бы тоже воспринял все всерьез. Наверно, потому что голос у него был исповедальный, нешуточный; надо было изложить все обстоятельства, он изложил, рассказал о Хельге и Сабине, насколько все это для обеих серьезно, а будет еще серьезней. Совет был дан однозначный: просить о переводе, немедленно. Да, он раскаивается, но уже там, в исповедальне, стоя на коленях, потом сидя, он знал, что о переводе не попросит. Это было давно, задолго до того, как выяснилось, что Сабина беременна, и он вынужден был обвинить самого себя «в нелюбви к жене и сыну». Он не в состоянии объяснить, почему вдруг подобрел к Хельге и Бернхарду, когда узнал, что Сабина ждет ребенка. А теперь, если удавалось выкроить в субботу час-другой, он снова едет в ту церковь, даже заходит, но не в исповедальню. Церковь ему не нравится, некрасивая какая-то: послевоенной постройки, бедная, сложенная из чего придется, почти нищая и уже вся побитая, хоть и стоит лет двадцать пять, не больше,— внутри сумрачно, неугасимой лампы почти не видно, перед образом Богородицы одна, от силы две свечки, да и то, если повезет; вокруг исповедальни никакой толчеи, как в дни его юности, лет в пятнадцать—шестнадцать,— несколько исповедален, к каждой очередь, запах ладана от предыдущей службы и потом странная, почти физически ощутимая сладость покаяния, когда, встав на колени, все они замаливали свои грехи,— словом, толкучка. А теперь, лет двенадцать—тринадцать спустя,—никого, редко женщину встретишь или стайку детишек, по которым сразу видно, что их к исповеди пригнали, вот они и хихикают. И все равно он привязался к этой церквушке с ее жалким, отполированным святым Иосифом в нише, который, видимо, считается покровителем храма, да, он привязался к ней, как-никак он нашел тут священника, который еще способен выслушать кого-то всерьез,— Монка расска-

звала ему про совсем других исповедников, те вообще слышать не хотят слово «грех», вот почему он так тревожится за Бернхарда, сыну ведь скоро к первой исповеди идти, а Хельга молчит. Ему больно думать о ней, больно и горько, как и о Сабине, которая однажды шепнула ему: никогда, никогда больше она не пойдет к исповеди.

Кругом хаос, разложение, и сам он погряз в этом по уши, и не по чьей-нибудь, а только по своей вине, в крайнем случае— это опасная мысль, но Сабина не боится ее высказывать,— по вине «тех». Ее слова— «этим мы обязаны им»— не идут у него из головы. Он одно знает: надо поговорить с Хельгой, все ей сказать, это нужно и ради Сабины, которая тоже связана его молчанием. А ведь и ей необходимо объясниться— с мужем, с родителями.

Пивная напротив церкви, судя по всему, особым успехом не пользуется, за пять месяцев в ней третий раз сменился хозяин, два-три пенсионера да столько же иностранных рабочих— вот и вся публика, ростбиф и котлеты в стеклянной витрине смахивают скорее на окаменелости, но пиво хорошее, и музыка, слава богу, не верещит, музыкальный автомат сломан, молодежи он здесь вообще не видывал, хозяин был явно не в духе и так демонстративно скучал, что, подав ему вторую кружку, начал клевать носом.

Получить перевод, конечно, проще простого: нервы, переутомление, один и тот же круг охраняемых лиц, притупившееся восприятие. Кирнтер санкционировал бы перевод без колебаний, но перевести их можно только всей группой, разбивать их никак нельзя, они «сработались», к тому же «адаптировались к среде», у Блямпа уже были, на вечеринках и солидных приемах тоже; он бы мог вообще попроситься на другую работу, даже в другой город. Его бы поняли, у них серьезно относятся к подобным вещам— срывы, раздражительность, даже личная антипатия,— все бывает, и все это принято открыто обсуждать; к Блямпу так и так больше не пошлют, после того как Цурмак сказал: «Туда— ни за что, к этой— никогда, лучше уж всю жизнь проторчать в любой дыре, драть штрафы за неправильную стоянку и превышение скорости!» Это Цурмак о том, что Кирнтер называет «моментами легкой непристойности, которые затрудняют работу». Но ведь речь не о спичках, о живых людях, об их нервной системе; на собеседованиях с Кирнтером обсуждались и не такие вещи, тут можно, нужно было говорить обо всем, что накопилось, Люлер, например, то и дело поминал «этих шлюхастых дамочек, которые специально подставляются, а попробуй тронь!». Действительно, был такой случай, на вечеринке в саду, на вилле одного весьма важного деятеля,

они и так нервничали изрядно, видимости почти никакой, только бумажные фонарики, работать трудно. Около трех, когда нравы стали раскованней, а самого деятеля, пьяного в дым, на их глазах буквально волоком оттащили в машину, Люлер и пал жертвой одной такой дамочки, про которую было известно, что она совсем не прочь, так сказать, выдать стриптиз и в частном порядке, вот Люлер «и хватанул разок, коли сама напрашивается», за что тут же получил по рукам, да еще был обруган «легавым». «Сейчас же избавьте меня от приставаний этого легавого!» Черт возьми, конечно, все они были на стороне Люлера, обсудили этот инцидент и возможность других подобных инцидентов, которые Кирнтер и Холыцпуке отнесли к категории «потенциальных опасностей». Больше, конечно, такое не повторится, но если бы Люлера от них перевели или, тем паче, наложили на него взыскание, они бы тут же собрали манатки; но их просто перестали посылать на вечеринки, где дамочки выходят из себя, а всякие важные деятели напиваются до такой степени, что их, будто мешок с дерьмом, надо в машину волочить, ну и, конечно, Цурмака никогда больше не отправят сопровождающим в обувной магазин.

Кирнтер просил с пониманием отнестись «и к другой стороне»: «вы учтите, такая неусыпная охрана убивает у людей всякую личную жизнь— тут есть от чего свихнуться, им это можно, нам нельзя». За себя-то он спокоен, на дамочек, которые сами предлагаются, ноль внимания, они для него хуже потаскух, у тех, по крайности, это хотя бы профессия, пусть и сомнительная. Кирнтер говорил в таких случаях о «зыбких границах между промискуитетом и проституцией». И только одного, выходит, никто из них не учел: что дело может принять серьезный оборот, что найдется такая, которая не закричит, не позовет на помощь, не обругает «легавым», не станет бить по рукам, и притом совсем не шлюха; такая, для которой все настолько серьезно, что она еще будет чуть ли не благодарна «тем»— чтоб им пусто было— за свое счастье. И обрадуется ребенку, а про пилюли и про аборт и не подумает. А ведь такое бывает между мужчиной и женщиной, бывает и у миллионеров с секретаршами и продавщицами, и вот у жен миллионеров с полицейскими, выходит, тоже.

И он не стал просить о переводе, вообще никому ничего не сказал, даже Кирнтеру, который, разумеется, сохранил бы, так сказать, тайну исповеди и подыскал благовидный предлог, чтобы его перевести. С наигранной тоской, втайне прекрасно осознавая, что это сладкий самообман, он мечтал о тихом местечке в деревне: драки по

праздникам, пьяный за рулем, мелкие кражи, но и— это он тоже знал— гашиш и героин, и безнадежное рысканье, беготня, расспросы, толпы скучающих юнцов с шоферских курсов в кафе или на автостанции. Хаос, тлен, разложение, он никогда не хотел в эту грязь, а вот влип по уши, и никому он не желал беды, ни Хельге, ни сынишке, и рад, что Сабина вовсе не выглядит несчастной, только, как и он, тревожится за Хельгу и Бернхарда. Но как быть с ее ребенком и с еще одним, которого она ждет, как быть с ее мужем? Как-никак он ей все еще муж, их свадебные фотографии до сих пор печатают, ведь не так уж много лет прошло: эта баснословно дорогая «простота», с которой они были одеты, оба молодые, сияющие и оба ужасно «скромные» в своих баснословно «скромных» нарядах. Он не стал просить о переводе, не ходил больше к исповеди, только иной раз часами просиживал в захудалой церквухе и в грязной пивнушке напротив, размышляя о субботнем запустении, о серьезности священника, думал о его единственно правильном совете: перевод, и немедленно. И снова и снова вспоминал слова Сабины— «этим мы обязаны им»— и еще этого Беверло, с которым она так любила потанцевать. Ревность? Да, ревность, и опять-таки не к Фишеру. Не может он последовать умному совету, не хочет никуда уезжать, расставаться с Хельгой и Бернхардом, хотя знает ведь: втроем— да нет, вшестером, даже всемером,— нет, не получится, не бывает так.

И вот он торчит в замке, бродит вокруг замка и не может ни позвонить, ни написать, а в мыслях только одно: неужели ей так трудно родителей навестить? Она редко приезжала, и он пытался представить, о чем она беседует со стариками: может, о ребенке, которого ждет, о его ребенке. «Мой»— как-то это в голове не укладывалось, да и прежде, когда Хельга ждала Бернхарда, он чувствовал то же самое: мой, твой, его— все это пришло потом, когда Бернхард уже родился: это был его ребенок...

Лучше не думать о том, что будет, если все «откроется» прежде, чем Хельга сама об этом расскажет; охранник с подопечной, скандал, хотя что тут такого особенно скандального: мужчина и женщина, он женат, она замужем... Мир от этого не перевернется. Мир и не такое видывал, вон сколько их, грешников, в земле лежат, сколько могил травой поросло, и вовсе он не думает, что он Сабине «жизнь порушил», не такая уж пропащая у нее будет жизнь. А думает он все время почему-то о «тех», о том, сколько они всего натворили, сколько незримых ниточек дернули, сколько мелочей сдвинули с привычных мест: начиная от обувных коробок, которые проверял Цурмак,

бледных от ненависти продавщиц, шлюхастой дамочки, что перед Люлером выставлялась, и кончая Сабиной, а еще эта чертова история с соседкой Сабины и ее любовником, вот тем-то, похоже, и вправду «жизнь порушили», хотя— как уведомили общественность— «не без оснований», так и написали: не «по заслугам», а именно «не без оснований», потому что у Шублера и вправду обнаружили пистолет, некую подозрительную литературу, но ни малейшего намека на конспиративные связи, а тем паче на какие-либо списки или планы; да и литература была довольно старая, примерно десятилетней давности, а уж пистолет— допотопный револьвер, скорее на детский «пугач» смахивает, правда с патронами.

И еще одно не дает ему покоя, злит, мучит, выводит из себя: отчего так получается, что в шашнях Шублера с Бройер он видит только мерзость, вероломство, грязь, а все, что у них с Сабиной, кажется ему возвышенным и чистым, это «совсем другое», между тем разницы-то никакой! Сидя в пустынной забегаловке, в еще более пустынной церкви, он все пытался вытравить злосчастное «это не одно и то же», хотя ведь ясно как дважды два, что сам он нисколечко, ни на йоту не лучше, но почему-то мнит о себе бог весть что. В свое время, когда он в нравах стажировался, отлавливая парочки в парадных и по кустам, в закоулках, за деревьями и вообще где только можно, он считал, что это мерзость, скотство— вот так, «в любом углу»,— а оказалось, он, полицейский, такой корректный и добропорядочный, способен делать то же самое, а она, Сабина, обнаружила такую изощренную сноровку в заметании следов, что его это даже пугало: вдруг где-то там, в той, давно прошедшей, давно позабытой жизни, она все это уже проделывала— тоже украдкой и тоже в любом углу.

И вот он торчал в замке, бродил вокруг замка, обследовал лестницы и коридоры, пытался угадать ее черты в лице матери, отца, угадывал и узнавал в обоих, обмениваясь с ними парой слов, на ходу, но всегда любезно, радовался малейшим приметам сходства: в уголках губ, очертаниях лба— и мучился, ужасался от одной мысли, что ему придется ее оставить. Но еще чаще думал о Хельге и о том, что вынуждает Хельгу его «соблазнять», а ему от этого только хуже. Может, прежде чем объясниться с Хельгой, стоит посоветоваться с кем-нибудь еще, не с Кирнтером, но, может, с Карлом, ведь он и вправду, тут уж ничего не скажешь, вон сколько приложил ума, любви, долготерпения— не исключено, что и системный анализ помог,— чтобы вытащить Монку из трясины. Кругом хаос, разложение, тлен, вот он и влип. С родителями не по-

говоришь, тут надежды никакой. Его профессия настолько оскорбляет их «сословную честь», что «полицейский» звучит в их устах куда презрительней, чем у иных «легавый». Никак, никак они не поймут, что и на этой стезе вполне можно снискать почет и уважение. Кичатся профессией «юрист», хотя в самом этом слове уже есть что-то жуликоватое. Расскажи он им о Сабине, и, как знать, они еще, чего доброго, удумают, что Сабина «подходит» ему куда больше, чем Хельга, ведь Хельга всего-навсего дочь силезского беженца, который хоть и утверждает, что работал фабричным мастером и что у него был собственный домик, но даже фотографию этого домика так ни разу и не сподобился показать. И с братом Хансом тоже не поговоришь, тот сразу начнет гнусаить что-то научное, все больше в социально-историческом аспекте, на словах-то он все растолкует, все по полочкам разложит, только где они в жизни, полочки эти самые; Ханс пустился бы в отвлеченные материи, во всем обвинил бы пороки моногамии, может, в этом что-то и есть, он и сам задумывался, почему ему и Сабину нужно удержать, и Хельгу отпускать не хочется, причем с Хельгой его связывает что-то одно, и этого не объяснишь, а с Сабиной что-то совсем иное, и этого тоже не объяснишь, но с обеими— накрепко, до боли, а выглядит все до ужаса банально, в любой газете каждый день про такое пишут,— и тут уже не поможет ни исповедашня, ни лаванда, и раскаяние не поможет, да и перевод вряд ли; да, он искал ее черты в лице матери, в лице отца, и все же он испугался, когда она сама, живьем и во плоти, приехала в замок.

Приехала с матерью, с дочкой, с очень скромным багажом— но насовсем, это было видно и по всему чувствовалось. Он как раз заканчивал обход парка, осмотрел оранжерею и приостановился в углу во внутреннем дворе, чтобы не столкнуться с ними нос к носу, но все же достаточно близко, чтобы вежливый поклон выглядел уместным: девчушка в ответ вскинула руки— «свинская яма!». И в осанке Сабины, в развороте плеч, в ее лице он прочел окончательность переезда и сразу подумал о Фишере: что там у них стряслось? Было во всем этом что-то от фильмов, где немой кадр предвещает беду, хотя никто не виноват, только судьба, трагедия,— и он испугался, но не за Сабину, не служебных неприятностей и уж тем более не Фишера, он испугался только за Хельгу и за мальчика, который всего этого еще не поймет. Испугался камня на своей шее. Кому, кому такое объяснишь?

Вечером, после трудов праведных, ритуал, на котором Хольгер настаивает, за молоком к Гермесу, в любую погоду, от семи до полвосьмого, хочешь не хочешь, все равно иди, по правую руку Хольгер, в левой— бидон, а Катарина тем временем готовит ужин: чаще всего суп, хлеб, сладкое, а потом, перед тем как уложить сына спать, чай возле печки. В теплые вечера ужин на воздухе, в саду между домом священника и стеной, и неизменный костер, этого требует сынишка, утверждая, что «огонь так интересно рассказывает...». И священник иной раз на огонь приходит, Ройклер, молодой, сосредоточенный, но какой-то дерганый, нервный, ни минуты спокойно не посидит, сам же заговаривает о серьезных вещах, а потом отмалчивается, курит сигару, улыбается, ни словом не намекнул, что охрана ему в тягость, успокаивается, только когда немного выпьет, и каким-то особенным, печальным взглядом смотрит на женщин— на Катарину и на жен их друзей. Иногда приводит и экономку, пожилую женщину, которая, по всей видимости, приходится ему теткой, та смотрит на них со смесью недоверия и страха, никак не возьмет в толк, что они за люди, и впадает в окончательное смятение, когда к ним наведываются отец или мама и весь сад заполняют охранники с рациями. Она решительно отказывается понимать, «что творится в этом мире», и, вероятно, по-своему права: кто и когда понимал, что в нем творится? А тут перед ней собственной персоной не кто-нибудь, а сам старик Тольм, сидит как ни в чем не бывало и безропотно принимает печенье и чай из рук этой особы, которая, если разобраться, его сыну даже и не жена. С этой особой, да и с другими, можно, оказывается, про вязанье поговорить, про стряпню и про заготовки на зиму— а при этом они... так кто же они на самом деле? Коммунисты— это уж точно, если не хуже, если не вообще бог весть что, словом, «подозрительные элементы»; попытки объяснить ей разницу между охраной и надзором оставались тщетными, конкретный системный анализ тут совершенно бессилён. Ее, очевидно, удивляло— она даже вскользь высказывалась на эту тему,— что у них «все так чинно», то есть, вероятно, в том смысле, что никаких сексуальных оргий, вообще никаких непристойностей. От нее поступали самые достоверные и оперативные донесения, когда затевалась очередная «модернизация»: в деревне то и дело кто-нибудь надумывал сменить старые оконные рамы и двери, обновить перекрытия, содрать старую обшивку, сломать стенной шкаф и был только рад избавиться «от этого хлама». Ему оставалось погрузить все на тачку,

привезти домой, распилить, расколоть— годные вещи он складывал в сарае, ремонтировал и потом продавал,— во всяком случае, в дровах недостатка не было, так что выпечка хлеба стала если не доходным, то, по крайней мере, и не накладным делом, какая-никакая, а экономия, к тому же друзья регулярно берут у них хлеб, и из деревенских кое-кто иногда покупает, а священник и вовсе другого хлеба теперь не ест. Печурка для хлеба, которую он в свое время выломал у Клюверов и пристроил в сарае, начинает себя оправдывать; за разговором о домашних «закрутках» ему вспомнилось, как Генрих еще давно, лет десять назад, еще в Айкельхофе, с цифрами в руках доказывал матери, что домашние «закрутки», вопреки утверждениям рекламы, обходятся куда дешевле консервов, моду на консервы и полуфабрикаты он обозвал «псевдопролетарщиной», еще тогда, и восхвалял мещанские добродетели: картошку и овощи в погребе, соленья, варенья, компоты, маринады, и обувь покупать он еще тогда их учил, и, в конце концов, он печет хлеб не только забавы ради, домашний хлеб просто-напросто вкусней, вот и Катарина уже стала прикидывать, не основать ли «собственную колбасную фабрику», заключив с крестьянами договор на поставки мяса,— пора, мол, обосновываться «всерьез и надолго».

Почему-то словечко «надолго» его беспокоит. В глазах священника он все чаще угадывает, что никакого «надолго» тот гарантировать не может, поэтому и размеренный ритуал, в который превратилась их здешняя жизнь, постепенно теряет свою идиллическую прелесть: с утра работа в саду или за верстаком, сбор урожая, сортировка, обработка— это для себя, то на продажу. Катарина тем временем с детьми, либо на прогулке, либо в зальце при доме священника, его то и дело зовут помочь с ремонтом или на огороде, щедро расплачиваются натурой; морока с дровами— запасти, распилить, наколоть, сложить,— дел хватает. Эту свою страсть заготавливать как можно больше дров сам он истолковывает в том смысле, что, значит, его тянет к теплу, уюту, безопасности, хотя сам же— и не только в глубине души— ничуть всему этому не верит; а ведь, казалось бы, живи— не хочу: еда, жилье, одежда— все почти даром, и лишь изредка, совсем изредка, отголоски, скорее даже тени воспоминаний о первых трудностях, о первых невзгодах их здешнего житья-бытья, когда многие, очень многие не только относились к ним с открытой враждебностью, не только выкрикивали ругательства им вслед, но и вполне целеустремленно норовили выжить их из деревни. Это было отвратительно, да и тягостно, и только благодаря Катарине, которая не спасовала, не хныкала, наоборот, снова и снова

«ставила себя на место этих людей»,— чем постепенно сумела убедить и его,— только благодаря ей они и обрели этот спасительный покой.

Последний ритуал дня, ежевечерняя прогулка за молоком, был и единственной, не считая случайных приработков, прочной ниточкой, связывавшей его с жителями деревни; когда он с Хольгером заходил к Гермесам в их молочную кухню и протягивал бидон, их чаще всего встречала бабушка, сгорбленная старуха с живыми светлыми глазами из-под кустистых бровей, такая же немногословная, как и он сам. Долгие месяцы каждый из них считал молчаливость другого признаком недружелюбия: он безмолвно протягивал бидон, она безмолвно наливала полтора литра молока, он все так же безмолвно протягивал ей заранее отсчитанные деньги, пока однажды уже дома не обнаружил, что в бидоне не полтора литра, а добрых два, если не больше, ведь она всегда наливала ему, как деревенские говорят, «с походом»,— с течением лет он научился по весу бидона определять, какова сегодня добавка; поскольку же бидон вмещал только два с половиной литра, а им иногда— для теста или молочного супа— требовалось на литр больше обычного, места для добавки, а уж тем паче для совершенно обязательного и в этом случае «похода» не оставалось, так что, видимо, все-таки имеет смысл купить бидон литра на три-четыре, ибо и добавка, и даже «поход», которого, по словам Катарини, как-никак вполне хватает, чтобы забелить кофе, составляли для них немалую экономию, а им приходится экономить; кроме того, Катарина хоть и не крестьянская дочь, но все же выросла на крестьянском дворе у своего дяди Коммерца и совершенно не понимала, с какой стати они должны отказываться от добавки и «похода». Лишь позже он разглядел любопытство в глазах бабушки Гермес, слегка насмешливое любопытство, которое ему опять-таки объяснила Катарина: «Господи, ты же этих людей очень интересуешь, как ты не поймешь— машины жег, в тюрьме сидел, и это при отце, которого все знают и считают за своего». Еще некоторое время спустя старуха поделилась соображениями о погоде, он ей ответил, а вскоре стал находить эту метеорологическую литанию, в которой были свои строго обязательные зачины, присказки и прибаутки, даже забавной; еще через какое-то время она показала им электродоилку и погреб, как бы невзначай сунула Хольгеру яблоко, поведала о продвижении внуков по стезе образования, которое происходило с переменным успехом. Много позже, почти через год, она робко спросила о своей дочери, «Бройер, может, знаете, она ведь соседка вашей сестры», и

он вынужден был сознаться, что еще ни разу, честное слово, ни разу не был в гостях у сестры, поэтому с госпожой Бройер не знаком, и, подумав, добавил: «Видите ли, у меня с шурином нелады». Что его до сих пор поражает: никаких сплетен, и от других крестьян тоже, то есть они иной раз позволяли себе при нем кое-какие замечания, но сплетен—никогда, у Катарини и на этот счет было свое объяснение: между собой и друг про дружку они, конечно, сплетничают, но чтобы при нем, чужаке, который не варится с ними, деревенскими, в общем котле,—ни за что!

И вот еще что поразительно: мужчины оказались куда болтливей и жадней до сплетен, чем женщины, вечно они шептались, шушукались даже о священнике, «который что-то уж больно часто в Кёльн ездит», и снова Катарине, которая знала все это еще по Тольмсовену, пришлось его просветить: «поехать в Кёльн»—это двусмысленный, а точнее даже многозначный намек, который означает—исповедь или бордель, для женщин, разумеется, исповедь или магазины, ну, а поскольку священник вряд ли станет шастать по магазинам, да и бордель в его, Ройклера, случае тоже довольно сомнителен—все-таки молодой еще и «из себя видный»,—оставалось предположить одно из двух: либо женщина, либо исповедь, или то и другое вместе; в прежние времена, вероятно, не исключили бы и кинотеатр—может ведь человек в кино съездить, ничего плохого тут нет,—но сейчас, когда в каждом доме телевизор, это было бы странно.

Для младшего Гермеса, тоже крестьянина, его приход, безусловно, всегда был событием, источником любопытной информации; про свою сестру он осведомился только однажды, зато напрямик расспрашивал об «этих самых» прежних его «акциях», интересовался Вьетнамом, ужасно удивился, услышав, что это все крестьяне, как и он,—изувеченная земля, выжженные леса, загубленная скотина,—он, оказывается, хорошо помнил, как в здешних местах выглядели лес и пашня после войны. Война—она всегда против крестьян,—словом, у него они тоже получали и добавку и «поход», впрочем, ни на то, ни на другое ни в коей мере не скупилась его пугливая жена—та, правда, очень нервничала, случалось, даже проливала молоко, видимо, от страха перед ним и из жалости к Хольгеру, которого она изредка гладила по головке, как бы желая сказать: бедный мальчик, он-то чем провинился?—и Катарину, вероятно, тоже считала своего рода «заблудшей овечкой», посылала ей «гостинцы»—то яйцо, то горстку орехов. Все же и с ней, несмотря на затаенный страх в ее глазах, можно было поговорить про огород, посове-

товаться и даже дать совет, например, насчет салатной свеклы и особенно насчет китайской капусты, которую он, так сказать, ввел в здешний обиход, хотя само название сорта— китайская— многих настораживало, и до сих пор он все еще гораздо больше, чем Катарина, боится, когда они, правда редко, выбираются вечером в деревенский трактир. Ведь и уют собственного дома иной раз может осточертеть, или, по выражению Катарини, «обрыднуть», ну, а поскольку Катарина говорит на *ихнем* диалекте, это как-никак располагает, создает предпосылки к общению, но, когда кто-нибудь подсаживался к ним за столик или пристраивался рядышком за стойкой, на политические вопросы, даже заданные без провокационных целей, они не поддавались; объясняли, если их об этом спрашивали, про деньги, процентные ставки, погашение долга, денежное обращение, пытались даже растолковать, почему проценты в сберкассе почти всегда соответствуют уровню инфляции. Погашение долга, хитрости налогообложения, вклады— тут они его внимательно слушали, знали, что в этом деле он «дока», а он старался объяснять спокойно, без полемического нажима, полагаясь на то, что сущность системы откроется им сама и сама все про себя скажет: как нарочно снижают проценты, чтобы выманить у них деньги, они ведь даже не догадывались, что политики отговаривают их копить деньги, и он как умел старался объяснить, почему политики поступают так и не могут иначе, чтобы они разглядели кое-что конкретное за извечной мужицкой присказкой «нашего брата все одно надуют», и тогда в их глазах вспыхивал страх— страх потерять «горбом» нажитое «добро»: дом, участок, шкафы, что ломаются от барахла, счета в сберкассе, которые у них нороят «пощипать», так подло, «по нахалке», снижая их кровные проценты; никаких, ни малейших оснований для страха у них не было, но они все равно боялись, и постепенно он начал их понимать— с помощью Катарини, которой было легче, потому что она говорит на «ихнем» диалекте, и каждый знает, что она всего-навсего коммунистка, а никакой там не «подрывной элемент», и отца ее все тут знали, и дядю, и мать, «набожную Луизу», все помнили,— впрочем, с похвалой вспоминали и его отца, и его маму: «Господи, Тольмы— это же наша гордость, он и Кэте Шмиц»,— и спрашивали его, правда ли, что и Хубрайхен «вроде бы тоже», и делали жест, как бритвой по горлу, на что он качал головой: ничего такого он не знает; и все равно, когда они потом шли домой, ему снова было страшно. Это был уже не тот вполне конкретный страх, как в первое время: что им побьют стекла, подпалят хи-

жину, силой выгонят из деревни, несмотря на заступничество священника, а совсем иной страх, страх тишины и еще чистоты, эти чистые улицы, на которых даже в пору урожая не увидишь ни соломинки, ни клочка сена, ни листка свекольной ботвы, не говоря уже о коровьей лепешке. Он ничего не имеет против чистоты, чистота— хорошее дело, приятное, и против аккуратных палисадничков перед каждым домом с клумбами из старых, но непременно покрашенных тележных колес, с обязательной тачкой, разрисованной цветами,— если бы только не веяло от этой тишины и чистоты среди глухих стен крестьянских подворий каким-то холодом, каким-то могильным покоем. Все вылизано и ухожено, как могилы на кладбище, да, могильный покой, и среди этого покоя сын крестьянина Шмергена вдруг вешается в хлеву, без всякой видимой причины, сколько потом ни ломали голову— ни роковой любви, ни неприятностей с армией, ничего, милый, тихий парень, все его любили, а какой был танцор,— ни намек на повод, и тем не менее однажды в воскресенье, после обеда, в самый что ни на есть тихий час, он вешается в хлеву у себя за домом, среди могильного покоя, ни с того ни с сего. Или вдруг крестьянин Хальстер убивает свою жену— богатырь, косая сажень в плечах, и хозяин отменный, у такого все справно, и под образком Богоматери на столбике возле длинной, просто бесконечной стены всегда свежие цветы и лампадка горит,— все у него было: и почет, и достаток, и уважение, у этого молчуна, который своих работников содержал так, что об этом легенды ходили. Они уже больше трехсот лет на этом подворье сидят, Хальстеры, а уж сколько пасторов и юристов, учителей и чиновников вышло из их семьи и разбрелось по свету от Кельна до Австралии— всех и не счесть, и не было такой войны, на которой один-другой Хальстер не погиб, вплоть до наполеоновской и даже раньше— древний, разветвленный, могучий род, почти династия. Да и она— статная, ладная, темноволосая, почти красавица, слышавшая к тому же «тихоней»,— и вот однажды, между утренней мессой и обедом, он стреляет в нее из ружья. Поговаривали, правда, что она якобы «порченная», ничего толком не объясняя, намекали только на ее бездетность,— но все «почему?», «за что?» так и остались без ответа; трагедия, жуть, сенсация; а Хальстер сразу, пока соседи не проведали, поехал в Блюкховен и явился с повинной в полицию; и все это в тихой, чистенькой деревне, где на улицах ни соломинки, в красивой деревне, с чинными прихожанами, традиционными утренними сходками мужчин по воскресеньям, стрелковыми и церковными праздниками, с неиз-

менной пол-литровой «добавкой» и еще «походом» вечерами у Гермесов. Страшно помыслить, страшно загадывать на пять, а то и десять лет вперед; боязно расставаться с этим «надолго», но не расставаться, пожалуй, еще страшней: грядки, лук, морковь, дрова, одно и то же, одно и то же, годы, десятилетия— в сорок, в пятьдесят лет все еще в Хубрайхене, жуткая мысль...

Хольгер сегодня мерз, попеременно совал то одну, то другую ручонку в карман отцовской куртки— «скоро будем доставать варежки из шкафа»,— ему тоже пришлось менять руку с бидоном, а кроме того, пообещать пожарить каштаны, жареные каштаны согревают руки лучше всего, и, конечно же, печеные яблоки с ванильным соусом, а вечером еще и поиграть, построить домик,— отчего это дети так любят строить домики, сидеть с родителями у теплой печки, слушать сказки, песни, стишки? Молоком сегодня распорядился Гермес-младший, был приветлив, любопытен, плеснул особенно щедрый «поход», почти как мать, а потом заговорил о своих детях, из которых ни один не желал унаследовать отцовское хозяйство, Рольф его утешил:

— Все переменится, погодите, они и подрасти не успеют, а все уже будет по-другому. Они еще переругаются из-за дома.

Тот в ответ только рассмеялся:

— Хорошо бы, коли по-вашему вышло.

— А вот увидите.

— Ежели б знать, что вы и тогда у нас жить будете, я бы с вами поспорил: три месяца молоко даром, если по-вашему выйдет.

— Вашему Конраду восемнадцать через пять лет будет, нет, к тому времени меня, наверно, здесь уже не будет.

— Оставались бы...— Это было сказано настолько от души, что оба смутились.

А Хольгер сжал его руку, словно просил: давай останемся.

— Это ведь не только от меня зависит,— ответил Рольф.

— Может, от нас? Я имею в виду— от всей деревни?

— У меня ведь профессия,— пояснил Рольф.— По образованию я финансист, даже с практическим навыком, но, боюсь, здешний филиал банка мне вряд ли доверят.

Тут они оба снова рассмеялись, и Гермес сказал:

— Может, сестра дом возьмет. А что, сестра, она может.

Рольф поблагодарил, забрал молоко, но, прежде чем уйти, пожал Гермесу руку. Черт возьми, в кого он тут

постепенно превратился— в смутьяна или, чего доброго, в оппортуниста? У здешних, разумеется, тоже есть сынки и дочки, которые учатся в университетах и приезжают на выходные погостить в дешевых «студенческих» автомобильчиках, одетые по молодежной моде, в церковь ни ногой, левацкая бравада, сексуальная революция и прочее, иногда заходили и к ним, пробовали «выступить», разглагольствовали о Мао, к нему относились с известным почтением, все-таки в каталажке сидел, но ему их подобострастие не нравилось, ничего почетного, а тем более приятного он лично в каталажке не находит, а Катарина своим чистым сердцем коммунистки сразу учуяла фальшь, слишком уж откровенно и скорее напоказ, чем всерьез, рассуждали они о сексе, слишком явно, да и грубо норовили «втереться», а потом вдруг сгнули, все разом, может, струхнули, все-таки «опасное знакомство», ведь уже год-два как общение с ними считается предосудительным, и в итоге остался только один паренек, сын крестьянина Шмергена, которого самоубийство брата сначала потрясло, а потом навело на размышления; этот приходил, говорил о Кубе, хотел выучить испанский, и они нашли ему чилийку, Долорес, которая с ним занимается; он и теперь иногда заходит, этот Генрих Шмерген, сидит тихонько у печки, курит сигареты-самокрутки, улыбается, молчит, но не уходит, даже когда появляются их старые друзья, верные, испытанные друзья, ожесточенные, безработные и подзапретные, и вспыхивает дискуссия о различиях между надзором и охраной, и бывает до смерти обидно слышать в их голосах, пусть тихо, пусть полутонем, легкую снисходительность: вопреки всему, несмотря на каталажку и надзор, его по-прежнему числят в «привилегированных». Для него это— прямо нож острый, лучше бы уж били стекла, ведь в конечном счете дело не только в его происхождении, это касалось еще и Вероники и Беверло, которых они всецело и с негодованием осуждали, но все равно каким-то боком причисляли к аристократии, а он как-никак бывший муж Вероники, бывший друг Беверло, вот и слышны в их голосах, почти неуловимо, но слышны, нотки сомнения, словно они принимают его не совсем всерьез. Нечто в этом роде чувствуется и у Хольцпуге, «руководителя мероприятий», который надеется почерпнуть у него гораздо больше, чем он способен дать. Недоуменно покачивая головой, тот ищет мотивы— и не находит, спрашивает его о предполагаемых мотивах, все еще уповает на психологию, и все без толку, все впустую: никто и никогда не ущемлял Генриха Беверло, ни одна душа не делала и не причинила ему зла, напротив, его всячески по-

ощряли и хвалили, с ним все носились, еще бы, «такой даровитый, такой невероятно способный юноша из народа», можно считать, сын рабочего, отец ведь начинал простым почтовиком, вручную на тележке развозил по домам посылки, так что, конечно, рабочий, кто же еще, это потом тяжкими и упорными трудами он выбился в служащие и чиновником ушел на пенсию. Но в ту пору Генриха еще можно было, не особенно даже кривя душой, «подавать» как «рабочего паренька»: одаренный, почти с проблесками гениальности, к тому же и с чувством юмора, симпатичный, христианское воспитание, гуманитарное образование — словом, еще бы чуть-чуть (видимо, этому чуть-чуть помешала лишь наивная убежденность Сабины, что в брак нужно вступать непременно девственницей), и он бы стал его шурином, а на месте Вероники сейчас была бы Сабина и точно так же сидела бы с ним где-нибудь (где же? где?) в глуши, храня ему верность, проклятую верность до гроба и до безумия, о, эта убийственная, непостижимая логика мифа, которую он тщетно снова и снова пытается объяснить себе и Хольцпуке, когда они об этом беседуют. Он вспоминал Нью-Йорк, их нью-йоркские разговоры и тот дурман, дурман ужаса, который обуял Генриха, когда он открыл для себя «международный континент денег», эти моря, которые никому не дано пересечь, эти горные твердыни, которые никому не дано покорить, эту безмерность, — да, где-то там брезжил в жизни Генриха поворотный миг, когда он узрел своего врага и, как копьё, нацелил на него свой разум. То была не зависть, вовсе нет, с тем же успехом можно считать, что святой Георгий Победоносец или Зигфрид бились с драконом из зависти. Да, если уж искать мотивы, то, пожалуй, стоит поразмышлять о нибелунгах, это куда ближе к истине, чем разглагольствования о зависти, злобе, ненависти и дурацкая болтовня об обидах. Став банкиром или биржевым дельцом, Генрих наверняка заработал бы денег куда больше, чем могло ему понадобиться, и, наверное, в этом-то все и дело: он узрел эту пузырчатую и пупырчатую, бухнущую как на дрожжах безмерность, которая никому не нужна, существует вне всякой пользы, только из себя и ради себя, сама себя покрывает и плодит в мерзком кровосмесительном самозачатии, он узрел многоглавую гидру и пошел отсекал головы, он и отца, конечно, не пощадит, так что вы уж его поберегите, понимаете, словом «капитализм» это уже не исчерпывается, это нечто большее, это — миф. И тут не помогут воспоминания о юношеских чувствах, благодарность, совместные прогулки, танцы, споры, игры, веселые праздники в саду; а после отца, если уж он, Хольцпуке, хочет знать, наиболее вероятная жертва — Сабина. Ибо она и есть та прекрасная царевна, которую он, Беверло, должен вырвать из когтей дракона. Са-

мому Фишеру, как он полагает, ничего не грозит, его они, по всей вероятности, держат просто за «дешевого пижона» и не удостоят ни покушения, ни похищения. Но ребенка, Кит, они, конечно, тоже прихватят, однако только с одной целью: чтобы не причинить боль Сабине.

— Да-да, вы не ослышались: чтобы не причинить ей боль. Они ведь ее любят, и он, и Вероника, моя бывшая жена. Разумеется, я не вправе давать вам советы, да и не могу поручиться, что все мои советы и прогнозы верны, я просто пытаюсь нащупать мотивы, не более того. Я, кстати, почти уверен, что, сняв наблюдение с моих друзей, вы только избавите себя от ненужных хлопот.

— А с вас?

— Объективно говоря, учитывая, что у нас есть телефон и, следовательно, возможен контакт, я бы не снимал, я продолжил бы наблюдение, за мной во всяком случае, но не за Катариной, моя жена никогда, понимаете — никогда, не пустится в такую авантюру, она не поедет, нет.

— А вы?

— По всей вероятности — причем вероятность граничит с полной уверенностью, — тоже нет. Но заметьте: я сказал — граничит с уверенностью, может, эта граница — всего лишь тонюсенькая линия, но все равно что-то остается, какая-то мелочь, которая не позволяет мне за себя поручиться.

Хольцпуке вздохнул, потом сказал:

— Жаль, что вас нельзя залучить к нам на работу. Впрочем, — он усмехнулся, — вас, наверно, и не допустят, а?

— Если ваше вопросительное «а?» относится к возможности залучить меня в полицию, то ответом будет «нет». А допустят меня или не допустят, это уж не мне судить. Скорее всего нет, ведь полиция защищает не только то, что действительно нуждается в защите, — она защищает и дракона, которого я пытался вам живописать. Так что лучше уж продолжайте за мной следить, так даже проще, но, если возможно, избавьте от этого мою жену.

— Мы обязаны держать под наблюдением, или, если угодно, охранять, вашу жену. Она объект потенциальных контактов, да вы и сами знаете. И вашего сына мы обязаны охранять. Любопытно, вы говорите «деньги», а не «капитализм»...

— Я-то говорю «капитализм», а вот они — да, «деньги».

— А ваша первая жена?

— Она социалистка. Думаю, она бы с радостью хоть сейчас все это бросила, но у нее есть одно ужасное свойство, как, впрочем, и у моей сестры, госпожи Фишер: верность.

— Верность до гроба?

— Возможно...

— Только вот до чьего гроба?

На это он не знал, что ответить, замялся, потом сказал:

— У нее ведь ребенок, и ей грозит пожизненное.

— Еще одно: вам обязательно было нужно и второго сына называть Хольгером?

— Хольгер — красивое, древнее, благородное нордическое имя. Моего первого сына зовут Хольгер Тольм, второго — Хольгер Шрётер. А что — разве законом запрещено иметь двух сыновей по имени Хольгер?

— Нет-нет, вот разве что ссылка на происхождение имени — я, кстати, тоже считаю его красивым, — ну, как бы это сказать, немножко не на уровне нашего разговора. Нет, законом не запрещено давать сыновьям одно имя, особенно если у них разные фамилии. Люблю с вами поболтать, с вашей помощью я каждый раз хоть немножечко приближаюсь к сути этого проклятого дела, которое, я знаю, вы проклинаете не меньше меня. Только вот хотелось бы узнать — я не собираюсь ловить вас на слове, — вы действительно готовы поручиться и за ваших друзей, за их жен, подруг? Я имею в виду тех, к кому ходите, которые ходят к вам?

— Я готов поручиться, что их теоретические воззрения и практические поступки ни на йоту не приблизят вас к тем, кого вы ищете и преследуете. Я готов поручиться, что ни один из них, даже мысленно, ни разу не обозвал полицейского «легалым». Но вообще поручиться? Вот вы за кого-нибудь поручитесь «вообще»? Хотя бы за любого из ваших подчиненных — что он не свихнется, не выйдет из себя, ведь при их работе это вполне простительно? И потом, не забывайте: мои друзья, их жены и подруги, да и сам я, и моя жена — мы бы с удовольствием работали, учителями, слесарями, я вот банковское дело хорошо знаю, нет, правда, а наша подруга Клара замечательная учительница, таких поискать.

— Я не из ведомства по охране конституции и не из министерства по делам культов.

— Да знаю я, и вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас упрекать, но сами подумайте, во что превращается человек, которому запрещено заниматься своим делом. Мы же не можем вечно помидоры выращивать!

— Может, у вас есть какие-нибудь просьбы, которые я в состоянии выполнить?

— Мой сын, Хольгер-старший, — вам хоть что-нибудь о нем известно?

— Не больше того, что ваша бывшая жена иногда общается по телефону вашей сестре.

— А если бы вы узнали больше?

— Я бы вам не сказал — не могу, не имею права, и вы прекрасно знаете, что не скажу. Не только по вполне понятным служебным соображениям, но и просто ради вашего сына, да и ради вас. Мы надеемся на телефон — как и вы. Позвольте мне еще один вопрос, сугубо абстрактный, теоретический, если угодно — даже логистический: будь вы на их месте, сообразуясь, так сказать, с их логистикой — какое транспортное средство вы бы избрали, если б надумали пожаловать в наши края?

— Что ж... Самолет, машину, поезд я бы сразу отбросил. Остается одно — велосипед. Само напрашивается, да и логично.

— Но медленно. А почему не мотоцикл?

— Слишком много мороки. Ну, а медленно — что из того? Это ведь вопрос планирования, подготовки, если угодно — только вопрос начала операции. Вы, конечно, спросите: почему тогда не пешком. Отвечу: чтобы не браться в глаза. Одинокий пешеход слишком заметен, на него обращают внимание, водители думают, что он будет голосовать, в общем — рискованно. А на велосипеде — и модно, и ни от кого не зависишь. Словом, я выбираю велосипед. И позвольте вам еще кое-что напомнить: считать Беверло научился в банке, баллистику изучал в армии, он ведь в артиллерии служил.

— Как и вы.

— Да, мы были вместе, и в армии тоже. Это Герберт, мой брат, уклонился.

Иногда он ездил к Цельгерам помочь матери Вероники с огородом. Полोल сорняки, кусты обрезал, помогал собирать урожай — яблоки, груши, сливы, малину и смородину, картошку копал; и когда они вместе работали в дальнем углу сада, жгли картофельную ботву или еще что-нибудь делали, она подходила к нему вплотную и шепотом спрашивала: «Ну что, ничего не слышать?» И он рассказывал все, что слышал от матери, Сабины, от Герберта: «Мария, Царица Небесная...» — и все остальное, и что с Хольгером все в порядке. Она совсем сдала, милая Паула Цельгер, которую он по привычке зовет мамой, стала тихой, робкой, трясется, выглядит много старше своих лет. А ведь ей пятьдесят пять, не больше, но Вероника у нее единственная дочь. Несколько раз она попала на удочку газетчиков и телевизионщиков, наговорила что-то о преступности банков и трусости церкви; с тех пор больше почти никого на порог не пускает. Цельгер оставил свою практику, какие-то гады побили камнями его эмалированную табличку, а новую он заказывать не стал.

Как-никак он тридцать лет честно проработал врачом здесь, в Хетциграте, пора бы им было его узнать и сообщить, что он не позволит бить камнями свою вывеску и писать на стенах всякие политические пакости.

Ковыляя, он выходил в сад, с тростью, с трубкой в зубах, бурчал:

— Кто будет есть все твои варенья, Паула? Кто будет есть всю твою картошку? Беженцев нет, кому ты это раздашь? Знаешь, Рольф, если бы она знала, где Вероника, обязательно бы послала ей малинового варенья. Послала бы, всем послала бы варенья.

— И послала бы! И мальчику, и даже этому Генриху тоже послала бы. В тюрьмах вон и то кормят, и варенье дают, даже убийцам дают варенье. Послала бы, всем послала варенья.

Потом был кофе с тортом, а если он приезжал с Хольгером, тому давали мелочь на мороженое; старик Цельгер посасывал свою трубку, бурчал что-то под нос, не хотел и слышать о том, что «время неприязни давно позади», что никто в Хетциграте больше на него «не сердится», ну уж нет:

— Теперь сержусь я и не перестану до конца дней. Плевал я на ихнее сострадание и на ихние обиды, на ихнее доверие или там недоверие! Среди ночи вставал, не спрашивал, что там — болячка или роды, все равно шел, никому не отказывал, и так тридцать лет, даже сразу после войны, когда ночью на улицу выходить было опасно, — и вот за все за это тебе на старости лет бьют стекла, сшибают вывеску, пакостят стены, и никто, ни один не зашел, не извинился, слова доброго не сказал. А священник, он здесь живет ровно столько же, сколько я, когда встречал меня на улице, не здоровался, а этак деликатно отворачивался — просто отворачивался и шел в другую сторону, у-у, боров трусливый. И нечего пугаться, Паула, да, я назвал священника трусливым боровом, он и есть боров. Нет, детки, нет — и за что? Только за то, что дочь от рук отбилась и по кривой дорожке пошла, а у самих-то свои уголовники, вон их сколько в этой мерзкой, вонючей католической дыре: и воры, и убийцы, и насильники, а уж про аборт, мошенничество и всякий блуд говорить нечего — сколько их над своими же дочерьми да невестками надругались, сколько отцов я по справке от каталажки, скольких детей от колонии спас?! Сколько? Иной раз, Рольф, мне самому хочется террористом заделаться, честное слово, особенно когда этого подлюгу священника вижу — даже не поздоровался, представляешь, а ведь первый. самый первый должен был к нам прийти.

Он достал фотоальбом и показал фотографию Вероники после первого причастия, милая, прелестная девчушка, вся в белом, со свечкой в руке и цветком в волосах. Рядом с ней за кофейным столиком священник тянет ложку к вазе со сливками.

— Вон он, видишь, лыбится, сливки твои хлебает! Ну, что за люди? Что у нас — чума? Да даже если бы и чума! Не-е-т, теперь пусть у него прямая кишка хоть до земли вывалится, он и таблетки у меня не получит. Знаешь, Рольф, если бы не твоя мать, мы ведь подошли бы с голоду. На черный день я никогда не откладывал, у меня вот только и есть что дом да закладные на него, не-е-т, ей, если б мог, я бы ей не только варенье посылал. Если дочка по кривой дорожке пошла — что ж, выходит, мы неприкасаемые? Ну да ладно... А скольким из них я после войны их эсэсовские накладки вырезал? Если бы не твоя мать, да, от нее все приму. И от твоего отца приму, не побрезгую.

На обратном пути он, случилось, заворачивал к старику Беверло: тот открывал недоверчиво, без слов, молча поднимался вместе с ним в мансарду крошечного домика — в комнату, которая когда-то служила Генриху и кабинетом и спальней. Они называли ее «карцером»: девять квадратных метров, скошенные стены, два окна-люка на крышу; старик с издевательской ухмылкой обводил взглядом книжные полки: Томас Мор, Томас Аквинас, Томас Манн, «сколько ни есть Томасов, все тут», — чертежные линейки, папки, бумага, ручки, карандаши, все в безупречном порядке на складном столе-пюпитре, что привинчен к спинке кровати в изножье; даже ластик на прежнем месте, а в прозрачной пластмассовой точилке для карандашей еще остались шелушистые стружки; початая пачка сигарет, окурки в пепельнице, на стене университетский диплом в рамочке, распятие, Мадонна Рафаэля — жутковатый набор реликвий, в котором нашлось место даже для лейтенантских погон.

— Он ведь в артиллерии кой-чего добился, Генрих-то, он у них по баллистике лучшим был, его в генеральный штаб хотели брать. — Он даже позволил себе помочь, когда они спускались по лестнице, этот желчный, высохший старик, а на прощанье, уже в дверях, добавил: — Он всегда говорил: мир еще обо мне услышит. Вот и услышал.

Ну, а поскольку это было почти совсем по пути, рукой подать, он в таких случаях заезжал в Тольмсховен, вместе с сыном, минуя охрану, поднимался к родителям, которые

всякий раз чуть с ума не сходили, чуть не плакали от радости, дед сразу хватал внука за руку, тащил гулять по коридорам или на балкон; он обожает водить детей за руку, его старик. Рольф помнит свою детскую ручонку в руке отца, когда они бродили по полям вокруг Иффенхове-на, тот неизменно вел двух детей за ручку, был наверху блаженства, заставлял их меняться, вел по очереди — его и Герберта, Герберта и Сабину, а позже и Веронику, — вот только он не помнит, сколько лет было Генриху Беверло, когда тот появился у них в доме, был ли он еще в том возрасте, когда детей водят за ручку. Наверно, отцу ничего больше и не нужно от жизни, только детские руки и история искусств, не нужен ему этот его «Листок» и уж тем более замок. Замок вообще «не про его честь», слишком все шикарно и с чужого плеча, даже не выйдешь просто так, взяв внука за ручку, побродить по лесам и полям и не выбросишь из головы злосчастный «Листок»; и Кэте в замке не по себе, не постряпаешь, не закатаешь на зиму компоты и соленья, вроде как неудобно, и вообще все, что в Айкельхофе было естественно и просто, тут как-то не получается, — да, с замком своей мечты отец, похоже, дал маху.

Было что-то бесконечно трогательное в суматошной радости, с какой его всякий раз встречали старики, в том, как Кэте тотчас же убегала в свою крохотную кухоньку готовить один из своих непревзойденных супов и печь пончики для внука, и все это с какой-то лихорадочной ревностью к «большой» кухне внизу, которую они оба называли «пленарной кухней». Отец радостно колготился рядом, то и дело вытаскивая из кармана сигареты и тут же засовывая их обратно; какое счастье, что он никогда не рассказывает о войне, ни слова об этом, даже в связи со своей всем известной «табачной травмой», не заводит разговоров про «наше время», про свою бедную юность и голодные студенческие годы, только всякий раз боязливо спрашивает, не пригласить ли все-таки в гости родителей Катарины, они ведь рядом живут, здесь же, в деревне; слишком они оба застенчивые, отец и Кэте, и вовсе им не по душе жить, как Кэте выражается, «в этих хоробах», но вот ведь живут. А Луизу Коммерц, мать Катарины, отец с детства знает, помнит маленькой девочкой, с которой они играли на дворе у Коммерцев — мяч, салки и все такое.

А вот Хольгер любит бывать в замке — тут и страшный подвал со старинными ржавыми доспехами, и башня с бойницами, и беседки в саду, а в траве каменные ядра и тяжеленные стволы древних пушек.

И все чаще слезы, подозрительная влага в глазах отца, когда приходит время прощаться — а ведь до Хубрайхена

восемнадцать километров, до Кёльна, где Герберт, двадцать, и семнадцать до Блорра, где Сабина. И у Кэте тоже глаза на мокром месте.

Ну а коли уж он добирался до Тольмсховена, просто грех не навестить родителей Катарины, ведь о его приезде мгновенно узнавала вся деревня, как же, Рольф приехал, тот самый Рольф, которого все помнили «таким славным, таким скромным мальчиком», который своим умом, без отцовской помощи, в люди вышел и чуть было не стал директором банка, если бы, да, если бы не удумал поджигать машины и камнями в полицейских швыряться. Из всех домов сбегались друзья детства, те, с кем он когда-то играл в футбол и прислуживал в церкви, хлопали по спине, ощупывали его, изображая полицейский шмон, сверху до низу, притворно изумлялись: «Куда ж ты подевал динамит и гранаты?» — все наперебой тискали и тормозили Хольгера, через раз дружно объявляя его то «вылитым Тольмом», то «вылитым Шрётером»; сверстницы Катарины, с которыми она пела в церковном хоре, сердобольно покачивая головами, совали ему леденцы и просили передать привет маме; ну и конечно, потом Хольгеру непременно надо было пошвыряться камушками в ручей. Цепные псы на дворе у Коммерцев презлющие, Хольгер всегда проходил мимо них с опаской. И снова «О Господи!», и слезы, теперь уже задолго до прощанья, и снова кофе, и печенье из жестяных банок, которое так и тает во рту, и, разумеется, Хольгер тащил его в дедушкину мастерскую, где столько всего интересного. Там восседал старик Шрётер, на чем свет стоит клял коммунистов, которые уколошили его брата, но еще пуше Аденауэра, который все, все подчистую «предал и продал — и за что? За чечевичную похлебку. Ну и как тебе ихняя похлебка? Видать, не больно по вкусу, иначе ты бы не стал... Ну да ладно, что было, то прошло, хоть и не забыто». Хольгеру он показывал все — муфты и втулки, патрубки и нарезки, колдовал над каким-то устрашающим сооружением, свинченным из старых оружейных деталей, и было немного жутковато слышать, как он снова и снова объясняет внуку, что «в этот вот оптический прицел, слышь ты, я точнехонько, прямо тютелька в тютельку, беру на мушку окна другого твоего деда, ну просто в аккурат, слышь ты, особенно которое в ванной». Что-что, а уютно у Шрётеров не было, Луиза слишком набожна, почти до плаксивости,

да и сам Шрётер с его вечной старой песней про «левый центр»,— под конец, когда все родственные повинности были исполнены, его прямо-таки одолевала тоска по Хубрайхену, по тенистому саду за высокой стеной, по красной эмали молочного бидона, по огороду, яблоням, сливам и грушам, по играм у печки, по Катарине, которая, не отрицая известного неуюта в родительском доме, пыталась подыскать этому объяснение: «Как ты не можешь понять — это ожесточение левых католиков при виде победного марша правых католиков? Этих левых — их же вечно оттирали, вечно они плелись в хвосте, усталые, желчные, злые, да и с чего им было радоваться? Не с чего. Вот и выходит: как тебе ихняя похлебка?»

Эта тоска по Хубрайхену его пугает, тоска по их домику и саду, по уединению с Катариной и Хольгером, по чувству защищенности, даруемому поленицей, которую он укладывает точно крепостную стену; ежедневный ритуал, увенчанный ежевечерней прогулкой за молоком и щедрым «походом» старухи Гермес; его пугала эта тоска по защищенности, вполне понятная и извинительная прежде, в ту пору, когда он только-только вышел из каталажки и его травила свора Цуммерлинга, травила сама и пыталась натравить на него и на священника всю деревню,— но теперь, четыре года спустя, Хольгеру ведь уже три, теперь он вроде бы должен, просто обязан рваться отсюда, а его даже не тянет. Неужто ему так и суждено, неужто ему хочется до конца дней просидеть в Хубрайхене, растрачивая свои способности к планированию и сложнейшим расчетам только на сад, урожай, заготовку дров и детские игры? Превратиться в эдакого бесплатного консультанта для деревни, которому иногда, в награду за труды, посылают то ливер с убоя, то лукошко яиц?

Он сам ужаснулся унылому автоматизму своего возвращения: открыть дверь, молоко в кухню на полку, чмокнуть Катарину, снять с Хольгера курточку, погреть руки у огня, заглянуть в кастрюлю, из которой сегодня даже пахнет мясом: рагу с овощами и грибами,— посмотреть, хватит ли початой бутылки вина на ужин или надо откупорить новую; закрыть ставни, набросить изнутри крючок, проверить землю в ящиках с геранью; на дворе туманно и сыро, от вечерней прогулки можно воздержаться. Он испытал облегчение, услышав, что Долорес сегодня на испанский не придет, организует какую-то демонстрацию,

то ли в поддержку Чили, то ли Боливии, хвалила по телефону их испанский, она теперь с ними только по-испански говорит, принципиально, на прощанье — «Venceremos!»¹. Где? Кто?

Они оба перепугались, когда тем не менее раздался стук в дверь, даже вздрогнули, ведь они уже предвкушали тихий вечер, как они поупражняются в испанском, послушают музыку, и были безмерно удивлены, увидев на пороге Сабину с Кит и молодым охранником, которого он в последнее время встречал в замке — в коридоре, в парке или во дворе. Сабина с вещами — это что-то новенькое: чемодан, сумка, мешочек с вязаньем, Кит с двумя куклами в обнимку и вдобавок со старым, драным плюшевым львенком, она с ним никогда не расстается. Голос у Сабины просительный, почти смущенный:

— Знаю, что помешала. Но мне очень, очень нужно было приехать, поговорить и вообще... А заночевать мы можем и в чуланчике.

Это был подходящий случай еще раз убедиться в несокрушимом и безоговорочном Катаринином радушии — ни тени удивления или досады не промелькнуло на ее лице.

— Сперва войдите. И поужинайте с нами, у нас кое-что вкусненькое. Да и Хольгеру совсем не вредно для разнообразия поиграть не с нами, а с Кит. Входите, входите же! Вот только... твоя безопасность... ты же знаешь, я без шуток.

— А я с охраной,— сказала Сабина улыбаясь.— Господин Тёргаш, вы, наверно, его знаете, любезно согласился меня сопровождать на маминой машине, свою я у Эрвина оставила... Словом, по указанию господина Хольцпуке господин Тёргаш взял меня под свое покровительство.

Молодой охранник только кивнул, потом сказал:

— Мне пора на пост, доложить начальнику обстановку. Наверно, подкрепление пришлют. Ответственность, сами понимаете, а дом вон какой, и сад огромный.

— Вы там продрогнете,— забеспокоился Рольф.— И дождь вот-вот начнется, да и туман, вон сырость какая. Пойдемте, я покажу подходящее место.— И тут же оговорился:— На мой взгляд, подходящее. К тому же надо священника известить.

По садовой дорожке он отвел Тёргаша к входу в подвал, где стальной козырек и стенки из армированного стекла образовывали нечто вроде будки.

— По-моему, отсюда все просматривается — и сад, и стена, и наш домик. А если вы... словом, вы позволите принести вам что-нибудь поесть?

¹ Победим! (исп.)

— Спасибо.— Тёргаш прислонился к стене, поверяя обзор.— По-моему, сойдет, во всяком случае пока напарник не придет. Только вот еще что: у вас лампочка над входной дверью есть?

— Есть, а что?

— Вы не могли бы ее включить?

— Ну конечно.

— Спасибо, и вы уж извините, но, пожалуйста, никакой еды... Я бы с удовольствием, но...

В ту же секунду в церкви вспыхнул свет, пролился из окон в сад, и Рольф, сам не зная почему, он никогда бы не сумел этого объяснить, испугался, кинулся к двери ризницы, подергал за ручку, потом со всех ног бросился к другому входу, через сад, в калитку, и тут увидел перед домом машину Ройклера, багажник настежь, крышка поднята, и молодая женщина, явно незнакомая, с двумя чемоданами и сумками через плечо спускается с крыльца, она ему кивнула, прошла мимо, он проводил ее взглядом: строгая бледность лица, длинные, свободно ниспадающие волосы, красивая походка,— а она поставила чемоданы, прежде чем уложить сумки в багажник, снова глянула на него и улыбнулась. Тогда он подошел, хотел представиться, но она, качнув головой, сказала:

— Я вас знаю. А я — Анна Плаук. Зайдите к нему, он уезжает насовсем. Хотел потихоньку, собирался вам потом написать. Единственное, что его беспокоит,— это что без него вас вытурят отсюда. Зайдите к нему, он в церкви.

Он давно уже не был в церкви, хотя живет, можно сказать, под церковной стеной и подружился, да, подружился со священником; и все равно ему было страшно, когда, пройдя коридором и ощутив дуновение сквозняка, он вступил в гулкий холод храма. Непроизвольно искал глазами чашу со святой водой и обмакнул персты; не так уж давно это было, всего десять лет назад, десять из его тридцати; он даже перекрестился и чуть не вздрогнул, увидев вдруг Ройклера в облачении у алтаря, наверно, испугался, уж не задумал ли тот какого-нибудь кощунства, какого-нибудь торжественного и глупого святотатства, но священник, к его удивлению, просто снял с алтаря покрывало, бережно его сложил, достал чашу из дарохранительницы, преклонил колена, загасил свечи и удалился в ризницу, откуда вскоре вышел в обычном костюме. Рольф все еще стоял столбом, когда Ройклер, тронув его за плечо, сказал:

— Нельзя же все просто так бросить. Я все оставляю в порядке — чаша в сейфе, белье в шкафу, ключ от сейфа вышлю епископу. И уйду я вовсе не потому, что меня измучили сексуальные влечения, а потому, что люблю эту женщину, да, я люблю Анну, не хочу бросать ее и обрекать на одиночество себя — да, милый Тольм, не хочу, не хочу больше тайком делать то, что возбраняю другим, вменяя им это в грех. Для прихожан, я думаю, беда не бог вещь какая, надо надеяться, им скоро пришлют нового священника. Пойдемте, мне надо еще кое-что с вами уладить.

— Что же вы будете делать?— спросил Рольф.— Чем займетесь, на что жить будете?

— Сначала проживу у Анны, она прокормит на первых порах. Может, у брата найдется какая-нибудь работа, у него ведь электроремонтная мастерская. Читать и писать я умею, считать тоже — не смотрите на меня так грустно: мне жаль расставаться с вами, вашей женой, вашими родителями, да и со всеми здесь. Может, как-нибудь тайком и заеду — посидеть у огня, выкурить сигару. Вы чем-то напуганы?

— Да,— признался Рольф.— Вопреки всем моим доводам, вопреки всем прогнозам... да, я напуган, я всегда думал, мы всегда думали... Катарина...

— Вы думали, что я хороший священник. Пожалуй, так оно и есть, я был неплохим священником, сколько мог. И я хочу по-доброму расстаться со своей церковью... Пойдемте.

Они оба перекрестились, почти одновременно, Ройклер при этом улыбнулся, Рольф нет. Судя по всему, Ройклер не взял с собой даже книги: стеллажи стояли нетронутыми, в комнате еще пахло дымом его сигары.

— Я тут бумагу оставил, только не уверен, все ли по форме и захотят ли ее признать. Нижеследующим такого-то числа — дату проставите сами — продлевается сроком на пять лет заключенный ранее договор о временной сдаче жилой площади. Сегодняшнее число, подпись: Фердинанд Ройклер, священник,— ведь я пока еще священник, пока еще в этом статусе; так, а вот тут подпишетесь вы — доктор Рольф Тольм. Приходский совет не станет — или, скажем, так: не стал бы — чинить вам препятствий, люди вас полюбили, да и на Гермеса можно положиться. Но я не знаю, какое давление окажут на них сверху, и не знаю, насколько они там, наверху, правомочны вмешиваться в такие вопросы. Не исключено, что все это по усмотрению, по обстоятельствам, может, придется судиться, но, как бы там ни было, просто выбросить вас на улицу они теперь

не могут, я хотел, чтобы вы об этом знали. Все еще грустим, Рольф? Грустим. Хорошо, мы обязательно увидимся здесь либо в Кёльне, если вы нас с Анной навестите: кстати, вот вам ключ от дома, располагайте епископской комнатой, если ваши родители вдруг захотят у вас заночевать. Пластинки, как всегда,— в шкафу, мою стереосистему вы знаете, где вино хранится, надеюсь, тоже не забыли,— и еще: мне было бы очень приятно, если бы епископскую ванную, где еще никто, а тем паче ни один епископ ни разу не мылся, хоть разок использовали по прямому назначению. Не унывайте, мой милый, и попрощайтесь за меня с Катариной и мальчиком. А тетю я от греха подальше пока что отправил в отпуск, ничего, переживет как-нибудь.

Тут, наконец, Рольф, заикаясь, выдавил что-то о своей благодарности и о том, какое замечательное время они тут прожили.

— Не знаю, что было бы с нами, куда бы нас забросило... И потом, если бы не вы, люди здесь наверняка не были бы к нам так... милы... не знаю...

Анна Плаук уже сидела за рулем, улыбнулась, кивнула. Потом еще были объятия, даже скупые слезы, взмах руки на прощанье, затихающий вдаль рокот мотора, а потом он все-таки еще раз зашел в церковь, долго смотрел на осиротелый алтарь и только тут вдруг заметил, что неугасимая лампада тоже потухла. Страх при виде этой перемены, страх в ожидании нового священника, страх перед будущим страхом их возможного изгнания; он запер дом священника и положил ключ в карман.

Дома Кит уже играла с Хольгером; вместе они решали важный вопрос: куда положить спать львенка и деревянную таксу, которую Хольгер так любит — жуткое поп-изделие а-ля Дисней. Сабина, устроившись на скамье возле печки, курила, что в последнее время наблюдалось за ней редко; это она от печки так покраснелась или от смущения? В ней ведь всегда было что-то детское, не наивное, а именно детское, и он до сих пор не понимает, как это ее угораздило выскочить за Фишера. Уж если брать из этого разряда, то вполне можно было найти кого-нибудь не только милей, а просто милягу: Плифгера-внука, к примеру, с которым он как-то у отца познакомился, да и — как ни прискорбно, но справедливость прежде всего — младшего Цуммерлинга, конечно, не бог весть какой интеллигент, но действительно внимательный, заботливый, тактичный, про таких говорят «любезный», уж его-то она

вполне могла заполучить, к тому же первоклассный наездник, вот это был бы альянс: «Листок» и Цуммерлинг. А почему бы и нет? Ведь совершенно все равно, что читать, везде одно и то же, что тут, что там, разницы никакой,— его даже самого растрогало, что он так нежно, с улыбкой смотрит на Сабину и мысленно желает ей куда больше счастья, чем она, судя по всему, извела с этим Фишером. Да и Фишер, кстати, вначале был совсем не так плох, как сейчас, хотя, конечно, всегда был реакционер и помешан на прибылях, ну да это все они, наверно, просто не могут иначе,— но прежде он был спокойнее, не такой жесткий; быстро же слинял весь его шарм, а ведь даже какая-то грусть мелькала во взгляде, но милей всех, без сомнения, был младший Цуммерлинг.

— Чему ты улыбаешься?— спросила Сабина и, не докурив сигарету, придавила ее в пепельнице.

— Улыбаюсь, потому что подыскал тебе место для ночлега, и не чулан, а кое-что получше. Самая что ни на есть настоящая епископская комната, даже с епископской ванной.— Он вынул из кармана ключ и подбросил его на ладони.— Священнику срочно понадобилось уехать, он торопился, тебе, Катарина, просил передать привет, и Хольгеру тоже. А дом предоставил в наше распоряжение — на случай гостей. Ну, и просто я рад тебя видеть, выглядишь ты ослепительно, можно подумать, влюбилась, так что, имей в виду, тебе идет быть в положении. Уже, кстати, заметно.

Она покраснела. Наверно, он что-то не то ляпнул.

— Извини, ты к нам надолго?

— Поживу несколько дней. Я Катарине уже все объяснила — Эрвин опять укатил по своим делам, одной в пустом доме тоскливо. Так что, если вас это не очень стеснит, пожалуйста, не надо мне ни епископской комнаты, ни епископской ванны, ведь это же опять сидеть в огромном доме одной, и вокруг только полиция. Пожалуйста, если можно — не надо меня в епископскую...

Она улыбнулась, вся какая-то смущенная, помогла накрыть на стол, помнила даже, где у них тарелки, где ложки и бумажные салфетки. Он тем временем вырезал сердцевинки из яблок, положил в каждое по ложке варенья, поставил все в духовку и стал смешивать в мисочке яйца, ваниль, молоко и сахар, готовя соус.

— Это напомнит тебе Айкельхоф.

— Значит, ты тоже частенько Айкельхоф вспоминаешь? А я думала, ты о нем и слышать не хочешь.

— Да нет, не особенно часто, но я знаю, что ты вспоминаешь, вот и хочу, чтоб тебе было хорошо. А вообще-

то у нас тут, можно считать, свой Айкельхоф, правда, раз в тридцать поменьше... Ну, дети, к столу.

— Да, очень похоже. Наверно, это из-за стены, а еще... потому что вы такие добрые.

Она то и дело блаженно вздыхала, пока они ели — рагу, тушеные овощи с грибами, салат,— сама, без спросу, поставила чайник, норовила дотронуться до Катарининой руки, улыбалась, чуть не плача, во всяком случае со слезами на глазах, и хотя он и предупредил ее, что полицейский от еды отказался, настояла на том, чтобы собственноручно отнести охраннику его «мисочку».

— А потом и яблоко, когда они испекутся, от меня он возьмет, мы ведь давно знакомы.

Дождь тем временем разошелся вовсю, она набросила на плечи куртку Рольфа, накинула на голову капюшон и склонилась над мисочкой, бережно прикрывая еду от дождя лапами куртки; зонтик взять не захотела и аккуратно закрыла за собой дверь.

Едва он рот открыл, Катарина отрицательно качнула головой. У них до сих пор не хватает духа отправить Хольгера в другую комнату, когда надо что-то обсудить. Он сказал вполголоса:

— Ройклер, священник, надолго уехал... Очень надолго,— и положил перед ней бумагу, продление договора.

Их обоих поразило, с какой блаженной, счастливой улыбкой Сабина вернулась в дом, сняла с себя мокрую куртку, встряхнула ее и снова села у печки. Потом были печеные яблоки в любимых горшочках Хольгера, коричневых с красной каемочкой, и ванильный соус, и все было так мирно, душевно и тепло, будто святая Барбара и святой Николай оба вместе осенили своим присутствием дом, сад, всю деревню: еще осень — но уже дохнуло зимой, и снова ему стало не по себе от физической осязаемости домашнего уюта. Сабина покачала головой, когда Катарина протянула ей горшочек с яблоком для полицейского.

— Нет, он не хочет, слишком щепетильный. Я должна вам еще кое-что сообщить: фургон, в котором живут полицейские, из Блорра перевезут сюда — я нарушаю ваш покой.

— Ты пробудешь у нас сколько нужно... сколько тебе захочется.

— И мне не надо в епископскую комнату?

— Нет.

Сабина настояла: она сама вымоет детей и уложит спать, да-да, сама. Они и вправду являли собой трогательное зрелище, двое малышей в кроватке в обнимку с дражным львенком и диснеевской таксой: «просто прелесть».

— Ну вот, а теперь,— произнесла Сабина,— я скажу все: я ушла от Фишера насовсем, окончательно, и ребенок у меня будет не от него, да, не от Фишера, и не смотрите на меня, как папа и Кэте, они тоже не могли поверить, но тем не менее это так.

Катарине первой пришла в голову мысль выпить за ребенка и обязательно чокнуться. Ей всегда приходят в голову такие вот замечательные мысли, а после второго бокала на лице Сабины появилось выражение, которое, пожалуй, следует назвать «счастливым упрямством», и она сказала:

— Если будет мальчик, я назову его Хольгером, хотя бы назло ему: зеленый свет — и никаких ограничений!

— Нельзя называть ребенка кому-то назло, еще беду накличешь,— возразила Катарина.— А потом, откуда ты знаешь, может, будет девочка.

— А вот девочку я назову Катариной, да, не Вероникой, хотя Вероника — тоже очень красивое имя. Папа обещал мне помочь, а Кэте вообще уже видит меня великой журналисткой. Что там стряслось со священником, ты не хотел при детях?

— Да, он уехал и больше не вернется, во всяком случае священником. К женщине, к своей жене. Честно говоря, я и тебя хотел поберечь...

— Поберечь? Меня? С какой стати? Думаешь, я ничего не знаю — ну, хотя бы про Кольшрёдера? И потом, это же только подтверждает ваши прогнозы...

— Не всякий прогноз радует, даже если сбывается. Да, кстати, знаешь, три Хольгера на одну семью — это, по моему, уже перебор.

VII

Вот и опять его занесло в ту смутную, крайне деликатную область, где интересы безопасности так тесно переплелись с интимностью, что в любой миг можно нарушить и то и другое. Скажи ему кто-нибудь заранее, что по долгу службы ему придется выяснять, от кого забеременела женщина и на каком она месяце, он бы, наверно, решил, что его разыгрывают. И тем не менее, трезво глядя на вещи, следует признать, что именно этот вопрос может на данном этапе оказаться ключевым: установить, когда и с кем небезызвестная дама вступила в тот — несомненно интимный — контакт, последствия которого приводят к состоянию, именуемому беременностью. Ну, а поскольку безопасность госпожи Фишер (и даже безопасность ее брата, хоть тот и сам являет собой фактор повышенной опас-

ности) он принимает очень близко к сердцу не только по долгу службы, но и чисто по-человечески, что в данном случае и понятно и допустимо, ему, видимо, все же следует попытаться пролить свет на это загадочное дело, ибо «обременитель» — пока что назовем его так — под сколь бы привлекательной, социально безупречной маской он ни таился, вполне может оказаться — не в нравственном аспекте, а сугубо в плане безопасности — фигурой по меньшей мере столь же двусмысленной, что и этот молодой Шублер, весьма сомнительный тип, который тоже ведь состоял в интимном контакте с соседкой госпожи Фишер, хотя и без аналогичных последствий — на сегодняшний день, по крайней мере, таковые не установлены.

Случай, что и говорить, довольно щекотливый. Расследование, а тем более доказательство фактов супружеской неверности совсем не по его части, его дело — безопасность, а госпожа Фишер принадлежит к кругу наиболее «подверженных» лиц, и вот выясняется, что она в интересном положении, но не от мужа, сейчас это установлено совершенно точно. Газетчик, что позвонил ему с утра, еще ни разу его не подводил. Это он в свое время сигнализировал о более чем странных оружейных поделках старика Шрётера, из мастерской которого, как ни крути, замок простреливается просто идеально, он же обратил внимание на озлобленность старика Беверло и крайнее ожесточение доктора Цельгера, все сплошь пожилые люди, старики, каждого из которых он прежде считал фигурой второстепенной, в крайнем случае объектом контактов, но уж никак не потенциальным преступником. Но очень может быть, что их ожесточение, гнев, злоба чреватой вспышкой насилия.

Как-никак эта Фишер — урожденная Тольм, а значит, подвержена опасности вдвойне, и все эти люди каким-то боком связаны с Тольмами, которых так трудно держать в узде, просто невозможные старики, оба легкомысленные, иногда просто недопустимо беспечные, особенно она, хотя он лично ни при каких обстоятельствах не усомнится в безобидности этой милой, такой любезной пожилой дамы; их сын Рольф тоже вне подозрений, хоть он и... ну, да это дело прошлое, к тому же на собеседовании он обнаружил незаурядные способности в анализе обстановки; вот другому сыну, Герберту, он, пожалуй, не слишком доверяет: с этими его «три А» (анти-автомобильная-акция) дело может обернуться куда хуже, чем парень предполагает. А теперь, вдобавок ко всему, еще и новая, абсолютно надежная, информация: Сабина Фишер, урожденная Тольм, оказывается, беременна, и не на третьем месяце, а на шестом; но шесть

месяцев назад ее муж Эрвин был бог весть где и отсутствовал почти три месяца, чем, кстати, доставил им уйму хлопот — он просто помешан на сомнительных ночных клубах, отсюда и наивные плейбойские замашки, и идиотская бравада, а одно с другим, бравада с безопасностью, не очень-то вяжется. Только зря людей задергали. Впрочем, это больше касалось местной полиции, а детали его не интересуют. Конечно, пришлось проверять все его шашни, каждую случайную интрижку, теперь иначе нельзя, и притом изволь соблюдать — да вдобавок еще и гарантировать — строжайшую секретность! Но больше всего хлопот из-за Блямпов: она только и знает, что титьками трясти и всем прочим, у его людей от этой порнографии уже в голове мутится, к тому же бесконечные магазины, поездки, вечеринки, — ну, а он ни одной юбки не пропустит, всех его шлюх просто невозможно досконально проверить. А между тем сейчас и в этой сфере тоже повеял «левый ветерок», все из-за этих эмансиписток, будь они неладны, раньше хоть на шлюх можно было положиться, надежный народ, неколебимо реакционный, но «эмансы» и тут поработали на славу, так что теперь и за шлюхами надо смотреть в оба; и с Кортшеде тоже забот хоть отбавляй, милый старикашка, но окончательно и безнадежно — не иначе как «бес в ребро» — втрескался в этого расстрелятого подонка Петера, который хоть и не «подрывной элемент», но головорез первостатейный, от такого всего можно ждать, довольно жуткий парнишка, что и говорить.

А теперь вот еще и эта Фишер, чья беременность, помимо всего прочего, задевает его лично, поскольку ставит под сомнение профессиональную безупречность охраны; значит, кто-то все-таки проскочил у них под носом — ведь где-то она с ним встречалась, как-то об этих встречах улавливалась? А между тем они стерегли каждый ее шаг, для ее же блага, разумеется, и с ее ведома, даже по телефону она не могла бы с ним — с кем? с кем? — договориться, ибо что-что, а уж телефон они перекрыли на все сто, да и не могли иначе из-за этой болтушки, которую они между собой прозвали «Царицей Небесной» и рано или поздно все равно сцапают; к тому же и сама Сабина Фишер знает, что телефон прослушивается, что это совершенно необходимая мера безопасности; а кроме того, он разочарован ее, так сказать, моральным обликом; такая милая, такая серьезная молодая особа, ревностная прихожанка, чьи набожность и благонравие общеизвестны, такая скромница и красавица, можно сказать — почти Мадонна, к тому же с прелестным младенцем, а на поверку, судя по всему, оказалась столь изощренной потаскухой, что сумела даже от них укрыть своего любовника! От

строки до строки он перечитывал все, буквально все отчеты, протоколы, рапорты: с кем встречалась, к кому ходила, кто приходил в гости — ничего, ни намек на след! О том, чтобы lover¹ проник к ней под покровом ночи, разумеется, и речи быть не может. Мало какой дом охраняется так, как этот, и потом, черт побери, если у нее и появился некто, кого она полюбила, что неудивительно при таком, между нами говоря, поганце муже, ему-то, Хольцпуке, она могла довериться, могла все рассказать, ведь они столько раз беседовали, — но, видно, печальный опыт соседки, которую они в своем кругу дружно прозвали «падкой Эрной», научил ее предельной осторожности. Ибо меры, которые пришлось применить при расследовании амурных тайн этой самой Эрны — с точки зрения безопасности меры совершенно необходимые и оправданные, — увы, повлекли за собой семейный крах. Нет, расследование супружеских измен и разрушение браков вовсе не по его части; в конце концов, у него серьезная государственная служба, а не детективная лавочка, но встречаются такие вот деликатные сюжеты и щекотливые, рискованные ситуации, в которые приходится вникать. Все-таки удивительно, что ее супруг, судя по всему, начисто забыл азы простейшей арифметики. Или она все еще кормит его баснями насчет «третьего месяца»? Тогда по меньшей мере странно выглядит роль семейного врача, доктора Гребницера. Потребовалось вмешательство вышестоящих — довольно высоких — инстанций, чтобы разъяснить ему, что в данном случае разглашение врачебной тайны совершенно необходимо. Этот наивный, но ужасно милый старикан, в свое время, так сказать, принимавший молодую госпожу Фишер на свет Божий, — еще из тех старомодных докторов со стетоскопом на шее, что присаживаются на кровать больного со словами: «Ну-с, как мы себя чувствуем?» — был просто как громом поражен, когда ему — не без труда и совсем не сразу — втолковали, что ребенок, вызревающий, и, судя по его словам, «отменно, отменно» вызревающий в лоне Сабины, вовсе не от мужа. «Сабина — никогда! Сабина — никогда!» — вскричал этот старец, а потом, хотя в конце концов подтвердил и шестой месяц беременности, и согласился признать длительное отсутствие Фишера в соответствующий период, по-прежнему упрямо стоял на своем: «Сабина? Никогда!» — и даже пробормотал что-то вроде: «Одними подсчетами тут тоже ничего не докажешь...»

А чем же еще, как не подсчетами, когда дело идет об

¹ Любовник (англ.).

установлении отцовства? А коли так, если столь бдительно охраняемой молодой особе тем не менее удалось тайно завести роман, значит, Люлер, Цурмак и Тёргаш — зачатие пришлось как раз на их время — чего-то недоглядели. Может, она повстречала «обременителя», когда шла к Беерецам за молоком, и тут же — простецки вульгарные выражения как-то к ней не подходят — «отдалась», да, видимо, женщины ее типа называют это «отдаваться», отдалась ему где-нибудь в сарае или в хлеву, но тогда, значит, среди Беерецев у нее должен быть сообщник; впрочем, все это весьма маловероятно, ведь когда она ходила за молоком, все подходы к двору Беерецев строжайшим образом контролировались, а сарай и хлев подвергались предварительному осмотру; да нет же — с нее вообще не спускали глаз: ни в ту пору, когда она еще выезжала верхом, ни в магазинах, ни даже в душевой теннисного клуба. Телефонные разговоры с намеками на предстоящее свидание непременно и немедленно были бы взяты на заметку, уж что-то, а ее телефон — с ее ведома и согласия — был на строжайшем контроле, ведь они все еще надеялись засечь «Царицу Небесную». И тем не менее где-то тайно от них она совершила тот акт, который, как известно, необходим для возникновения беременности. Опять, снова и снова, протоколы, отчеты, списки — ничего; один и тот же круг подозреваемых лиц: снова этот Бройер и этот Клобер, Шублер, Хельмсфельд, крестьяне в деревне — весьма маловероятно, хотя и не исключено, молодой Беерец, к примеру, очень даже симпатичный парень, с прекрасной фигурой, к тому же почти образованный, а она всего только человек, женщина, часто и подолгу одна, нет, ей тоже не позавидуешь, видит Бог. Среди дам, которых она иногда приглашала к чаю, не исключены лесбийские поползновения, разумеется, не с ее стороны и не по отношению к ней, да и вообще от этого, как известно, не забеременеешь. А помимо этого в интересующий период она почти не отлучалась из дома, разве что раз-другой сходила в гости на вечеринку, но в одном он уверен свято: она не из тех, кто готов заняться этим в любом углу, нет, только не она, такая скромная, тихая, серьезная молодая женщина, о чьей религиозности даже писали в газетах. И коли он способен догадываться, что набожность еще никого не оградила от греха, то способен догадываться и еще кое о чем: этой женщине, если уж на то пошло, нужна душевность, а не вульгарный порнографический зигзаг, из-за которых у его людей подчас столько мороки.

На этой коварной ничейной полосе между безопасностью и деликатностью, в этих джунглях неразрешимых

противоречий впору не только самому шею свернуть, но и разрушить еще один брак, да притом такой, что пресса оповестит об этом аршинными заголовками. Тот же газетчик прозрачно ему намекнул: брак Фишеров, который во всех журналах, газетах и газетенках прославлен как идеальный, больше того — идиллический, этот образцовый союз между «Листком» и «Пчелиным ульем», в котором, как беспрестанно подчеркивалось, «царит и полное идейное согласие», — такой брак не может рухнуть без шума и скандала. Впрочем, не исключено, что беспредельно самоуверенный и, видимо, до сей поры ни о чем не подозревающий Фишер так и не удосужится заняться элементарными арифметическими подсчетами или в последний момент извлечет на свет божий романтическую сказку о тайном randevu с женой — на Багамах или еще где-нибудь; ну, эту-то версию он в два счета опрокинет.

Да, это дело требует величайшей деликатности. Тот газетчик никогда раньше не подводил, у него самая надежная информация. Ведь это он обратил его внимание на гомосексуальные склонности Кортшеде, и таким путем они вышли на Петера Шлумма, который на все способен (хоть и пришлось ради этого подслушивать, как Кортшеде нежно шептал ему «моя пташечка»). Этот Шлумм — вот уж кто действительно фактор повышенной опасности, хотя ни в малейшей мере не «подрывной элемент», зато в шантаже и попытке убийства считай что изобличен, сутенерство само собой, плюс гашиш и героин, — и это в свои двадцать лет, притом писанный красавчик, белокурые локоны, а лицом суший ангел. От такого только и жди сюрпризов, да притом куда похлеще, чем сюрприз молодой Фишер с ее внезапно «продвинувшейся» беременностью. Наверно, все-таки надо еще раз с ней поговорить, ознакомить ее с результатами своих разысканий и просто попросить — ради ее же блага и блага ее ребенка — поделиться с ним ее сокровенной тайной; он пообещает ей строжайшую секретность, сообщит о результатах проверки «обременителя», и вообще он вовсе не желает создавать какие-либо препоны в ее интимной жизни, ведь, в конце концов, он не какой-нибудь частный сыщик, чтобы рыскать по постелям и комодам. Но если она откажется — тогда придется поговорить с Дольмером, а Дольмеру, вероятно, со Стабски, прежде чем начать энергичные розыски «обременителя».

Нет, тут сюрпризов быть не должно, и если этот брак пойдет прахом, то никак не по вине полиции. Как-никак один из Фишеров сидит у самого Цуммерлинга, так что падение невестки Фишера мгновенно и неминуемо обернется

скандалом для оберегавшей ее полиции — в нескольких газетенках и так уже были намеки на «семейные трения».

Досадно, что к телефону в Блорре подошла горничная, сообщила, что госпожа Фишер только что уехала вместе с дочкой и своей мамой; еще более досадно, что Кюблер рапортовал ему об этом лишь пять минут спустя, добавив, что «взят кой-какой багаж» и все это «смахивает на маленький переезд», вскоре после этого Тёргаш из Тольмсовена — и, что поразительно, почти теми же словами — доложил о прибытии двух дам с девочкой, добавив, что все это «похоже на маленький переезд»; Ронер, который ехал за дамами следом, попросил новых указаний: возвращаться ли ему в Блорр или оставаться в Тольмсовене? Тут как раз Кюблер из Блорра сообщил, что почти сразу после отъезда жены объявился Фишер, забрал кое-какие бумаги и, так и не выгрузив из машины многочисленные чемоданы, снова укатил. Ему, Кюблеру, он, Фишер, в обычной своей оскорбительной манере изволил сообщить, что на несколько недель уезжает; поскольку, продолжал Кюблер, Блюм тоже ушла и ей поручено всего лишь время от времени — то есть нерегулярно — присматривать за домом, то, видимо, объект не требует теперь столь неукоснительного наблюдения, а потому нельзя ли ему, Кюблеру, уехать домой? На что Хольцпуке, неожиданно разозлившись, в резкой форме велел Кюблеру оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Впрочем, было от чего разозлиться: Сабина Фишер всегда относилась к их работе с пониманием и тактом, заранее сообщала обо всех изменениях, что позволяло ему спокойно и без спешки перераспределить людей; теперь же все, особенно это «безоглядное бегство» из Блорра вместе с матерью и дочкой, свидетельствовало о каких-то трениях, неладах, если не о панике; отъезд Фишера, впрочем, может, просто случайность; и уж совершенная неразбериха воцарилась после того, как Ронер доложил из Тольмсовена, что Сабина Фишер после кратковременного отдыха в замке отправилась вместе с дочкой дальше, в Хубрайхен, к брату, ввиду чего он, Ронер, поскольку решение требовалось принять незамедлительно, отрядил для ее охраны Тёргаша, а сам вплоть до окончательного прояснения задач Тёргаша остался на его месте в Тольмсовене, где после заседания все относительно спокойно, и будет ждать, пока его не сменит Люлер, а тогда уж поедет обратно в Блорр. Он подтвердил распоряжение Ронера, вызвал Кюблера, извинился за недавнюю резкость и при этом поймал себя на мысли, что расстроен из-за того, что доверительный разговор с Сабиной Фишер за чашкой чаю не состоится. Вре-

мя от времени ему случалось беседовать с ней, иногда что-то объяснять, иногда самому наводить справки,— и он, что скрывать, любил посидеть в обществе этой очаровательной молодой женщины: было что-то непередаваемо детское и в ее смехе, и в самой манере смеяться над некоторыми вещами, отчего сразу забывалось ее пресловутое «положение в обществе»; она всегда сама заваривала чай, а иногда даже извинялась за то, что причиняет столько беспокойства. Он-то думал, что всецело заручился ее доверием, возомнил, что сумеет обсудить с ней даже эту весьма щекотливую тему, объяснить ей, что и в самом оборотительном любовнике — либо за этим любовником — могут скрываться элементы, нуждающиеся в проверке. Он уже заготовил кое-какие формулировки, вроде: «Сопоставление некоторых фактов привело меня к выводу, что ребенок, которого вы ждете,— поймите, на эту мысль меня натолкнули отнюдь не моральные соображения, а исключительно соображения безопасности,— так вот, этот ребенок, вероятно, проистекает (нет, «проистекает» нехорошо, тут надо еще подработать) не из вашего супружеского, а из иного любовного союза; ну, а поскольку я несу ответственность за вашу безопасность, то, прошу прощения...» — вероятно, она покраснеет, примется подливать чай, а может, наоборот, рассмеется или разозлится, будет возмущена, оскорблена, укажет ему на дверь, а то и пожалуется начальству, и тогда жди выговора — могла бы разозлиться, могла бы пожаловаться... Ибо теперь, когда она обосновалась у брата в его тесной хижине, ни о каком доверительном разговоре, тем более на такую тему, не приходится и мечтать.

Чем больше он об этом размышляет, тем менее вероятным представляется ему роман за пределами Блорра. Ведь если бы она захотела встретиться с «обременителем» не в Блорре, ей бы неминуемо пришлось на два-три часа уехать, какое-то время отсутствовать, а это обязательно отразилось бы в протоколе, пусть только вопросительным знаком, но вопросительный знак потребовал бы разъяснений, как это было, например, когда она зачистила с дочкой в Хетциграт к этой Гребель, или в другой раз, когда она вдруг сменила парикмахера, вместо Шуманского в Блюкховене стала ездить к Пикзене в Хурбельхайм; рано или поздно вопросительный знак в протоколе все равно снимается; теперь она вообще не затрудняет больше парикмахеров, сама моет и укладывает свои роскошные, тяжелые, золотистые волосы, на которые ему так хотелось бы полюбоваться во время доверительной беседы за чашкой чаю. Если брать соседей, то на первых порах его за-

интересовали Блёмеры, весьма разбитное семейство, к тому же устраивающее иногда более чем непринужденные вечеринки — сплошная морока, ведь особо сомнительных гостей тоже приходилось, пусть выборочно и наспех, проверять, — и в первую очередь шурин Блёмера, некто Скульч, человек явно состоятельный, хотя источники его доходов не до конца ясны: считалось, что он якобы сочиняет и публикует под псевдонимом ходкие порнографические романы. Однако оба они — и сам Блёмер, и его шурин, — пожалуй, совсем не в ее вкусе, слишком легкомысленны, слишком развязны, ни намек на «душевность», а кроме того, ему только сейчас пришла в голову важная деталь, позволяющая вовсе сбросить Блёмеров со счетов: ведь они поселились в Блорре месяца два-три назад, а она на шестом и прежде никаких контактов с Блёмерами не имела, это установлено. Значит, остаются молодой Беерц, старик Херманс, Клобер, Хельмсфельд и еще — в интересующий период — Бройер; все до крайности маловероятно, но он давно усвоил, что в оценке любовных коллизий категории вероятности, основанные на анализе склонностей, вкусов и возможных симпатий и антипатий — инструмент более чем ненадежный: взять хотя бы Кортшеде, этого, мало сказать, тонкого — утонченного господина преклонных лет, который как-никак женат, отец взрослых детей, играет на клавесине, — если уж заподозрить за ним какие любовные грешки, то, сообразуясь с его вкусами, следовало бы подобрать ему культурную, ухоженную особу лет тридцати восьми, актрису или вокалистку (сопрано), а он втюрился в распоследнюю дешевую потаскуху, к тому же мужского пола, в этого вульгарного подонка Шлумма; а Блямп, которому подошла бы, скажем, танцовщица (чардаш или, на худой конец, фламенко), когда в третий раз женился, выбрал себе тихую, добрую, необычайно приветливую югославку — уборщицу, это был просто ангел кротости, правда, больше двух лет даже она с ним не выдержала. В конце концов, после того, как он доподлинно убедился, что она действительно совершила то, что на ее языке, очевидно, именуется «прелюбодеянием», он никого не имеет права исключать из числа возможных партнеров — ни пожилого Хельмсфельда, у которого, впрочем, на такое вряд ли хватит духу, хотя желания, наверно, хоть отбавляй, ни даже кривоногого Клобера; оба, кстати, зафиксированы в списке посетителей — Хельмсфельд, вероятно, приглашался на чаепитие с «литературным уклоном», а Клобер заходил ненадолго, чтобы сбыть овощи «со своей грядки» — салат, цветную капусту, «ручаюсь, госпожа доктор Фишер, никакой химии!» — никак не мог

отучиться от церемонного обращения «госпожа доктор», и хотя не отказывался от предложенной сигареты и рюмочки коньяка, но чувствовал себя явно не в своей тарелке, сигарету обычно не докуривал, и вообще ни один из его визитов по продолжительности не превысил 15—17 минут; пожалуй, Клобера со спокойной совестью можно вычеркнуть.

Ну, и потом, — всякое дело надо продумывать до конца — оставались еще и его люди. Самый подозрительный, пожалуй, Цурмак — подозрительный, если смотреть его, Цурмака, глазами: этот хоть и женат, но малый не промах, своего не упустит даже на службе — во всяком случае однажды, притом в крайне неприятной ситуации, которая могла кончиться плохо, он вступил в интимные отношения с родственницей одного из задержанных. Он арестовал паренька, торговца гашишем, а потом отправился к нему на квартиру, чтобы как следует все обыскать, и там, как он сам потом признался, «лег» с матерью мальчишки.

«Да, у меня с ней было. Хорошая баба, Элли ее звали, фамилию не помню, и вовсе не шлюха. И потом, бывало, заходил, да, в рабочее время, потому как тянуло очень, и сейчас, как мимо ее дома пройду, тоже тянет, и сердце щемит, ведь я знаю, что и ее старик, и ее мальчонка — оба в тюрьге, а мне она нравится, даже, может, не просто нравится, а еще сильнее, и когда бываю около ее дома, не могу устоять, да и она каждый раз так и млеет, а Лисбет, жена моя, ничего не знала и ни разу ничего не заметила. Но потом я все-таки сам струхнул, опасность шантажа и все такое, хотя у нее этого и в мыслях не было, нет, Элли хорошая баба, душевная, баба что надо...»

И все-таки Цурмака он исключил, не потому, что считал его на такое неспособным, а из-за нее, из-за Сабины Фишер. Не мог он представить ее с Цурмаком, ну никак, пожалуй, тогда уж скорее с Клобером, хотя Клобер — кривоногий старый сморчок, а Цурмак — видный, статный полицейский, есть в нем даже что-то от добропорядочного жандарма былых времен, ладный, спортивный, открытый и, видимо, на женский взгляд, отнюдь не лишен шарма. Люлер — он перебирал их, так сказать, в порядке вероятности — теоретически, конечно, запросто и в сей же миг, этот тоже не боится приключений и пережил их предостаточно, к тому же холост, одно только: эта «пчелка» — ни в любовном, ни в чисто социальном аспекте — не его поля ягода, слишком уж шикарно и слишком рискованно. Она же из тех, кто «фигурирует в прессе», да еще как! А это означает скандал и крупные неприятности. Нет, Люлер на такое не пойдет, только не он; и потом, ведь

если это кто-то из его подчиненных — а они, черт возьми, тоже люди, и, между прочим, мужчины,— значит, нарушения безопасности тут исключены; остается еще Хуберт Тёргаш. Этого он до сих пор так и не раскусил, вообще-то он ему нравится, один из самых надежных сотрудников, и даже в теории на высоте, юридические, правовые аспекты всегда в полном ажуре, вообще ни малейшей промашки, даже когда стажировался в полиции нравов. При поступлении Кирнтер ручался головой и за него, и за его стабильный брак, а проявляющуюся временами нервозность, которая иногда почти переходила в раздражительность, объяснял финансовыми трудностями: парень слишком много на себя взвалил — новый дом, новая машина, престижные покупки,— но Кирнтер указал и на необычайно важный, даже, как он выразился, «неоценимый стабилизирующий элемент» — жену Тёргаша Хельгу, милую, спокойную, умницу, к тому же «почти красавицу»; правда, среди родственников имеются и некоторые отнюдь не стабильные элементы, как-то: сестра Хельги Моника и особенно ее друг Карл Цурмайен, тоже из таких, социолог-недоучка, но у них на него ничего, ровным счетом ничего нет, хоть он и находился в Берлине в довольно подозрительный период, так что вполне могло и быть. Только одно указывает на Тёргаша как на вероятного «обременителя» — из всех подозреваемых лиц он единственный если не идеально, то по крайней мере приблизительно подходит под «ее тип». Очень серьезный молодой человек, набожный, как и она, притом не без юмора, хоть и кажется иногда сухарем, к тому же преисполнен спокойной мужественности, которая ей наверняка нравится; религиозен, временами до фанатизма, чего в ней нет, чертовски «справедлив», не самоуверен, но одержим идеей справедливости, ради которой кое-кому в обход инструкций кое-что спускал, а кое-кого даже и отпускал. Среди них он отчасти как бы инородное тело, сальных анекдотов не терпит, непристойностей на дух не переносит, что прежде давало повод для насмешек, иной раз даже небезобидных, но при этом среди сотрудников, включая самых циничных зубоскалов, он сумел завоевать и уважение, и даже расположение. Но неужели Тёргаш — даже мысленно что-то мешает назвать его «обременителем», поэтому на сей раз он предпочел слово «любовник», — неужели Тёргаш был или, чего доброго, все еще остается ее любовником? Впрочем, само это слово «любовник» хоть и прибавляло вероятия невозможному, но все же не настолько, чтобы уверовать в его вероятность.

Значит, один из его подчиненных? Аршинных заголовков тут будет хоть отбавляй, и от первого же он мигом

слетит, так что, наверно, лучше покамест это дело не трогать и уж ни в коем случае не подключать ни Дольмера, ни Стабски, а газетчику так и сказать: интимная жизнь госпожи Фишер может заинтересовать его лишь в той мере, в какой она содержит в себе риск нарушения ее безопасности, а в данном случае этот риск исключен: в самом деле, если этот кто-то из соседей или один из его людей — какой же тут риск? Разве что моральный, но моральный риск — это уже не по его части. Тёргаш? Да, он как раз из таких, из «душевных». Но ведь у него же Хельга, такая превосходная, милая, да и красивая жена, с которой он, Хольцпуке, даже имел удовольствие несколько раз станцевать, однако, как ни крути, а в данное время Сабина Фишер пребывает у брата в Хубрайхене в сопровождении Тёргаша и под его охраной; сад священника за высокой стеной, укромная хижина, могучие деревья, густой орешник; если у них и вправду роман, обстановка для влюбленных лучше некуда. Разумеется, ее брат Рольф вовсе не разбитной поборник порнопрогресса, как, кстати, и его капиталистическая сестрица, он-то скорее тип социалиста-пуританина, но, конечно же, не станет читать мораль и вообще как-то портить жизнь любимой капиталистке-сестре, если застукает ее за любовным тет-а-тет где-нибудь в укромном уголке старого сада. Да, ситуация скверная, просто взрывоопасная, и, наверно, лучше всего для начала отправить всех троих, Цурмака, Люлера и Тёргаша, на сборы в Штрюдербекен. А что — и лес, и поле, и кормят хорошо. Утром кросс, футбол, немножко теории, немножко стрелковых занятий — им такой отдых только на пользу, да они и заслужили; а после сборов он их всех представит к повышению, давно пора, это они тоже заслужили, особенно Цурмак, которого жена Блямпа просто вконец доконала, так что он, бедняга, теперь наотрез отказывается когда-либо впредь «сопровождать хоть какую-нибудь бабу в магазин даже по приказу, и на курорт тоже, где она в баре будет накачиваться и титьками трясти, а ты только глазами да облизывайся. Нет уж, дудки! Все что угодно, только не это». Значит, сборы, потом отпуск, а потом и перевод: им совсем не повредит вспомнить о том, что сам он называет нормальной полицейской работой; правда, возникнут, конечно, кадровые проблемы. Четвертая жена Блямпа изъявила желание отдохнуть на каком-то острове в Северном море, и Блямп уже просил «обеспечить соответствующие меры». Значит, надо срочно переговорить с Дольмером, в случае чего даже пробиться к Стабски и потребовать подкрепления; а о беременности этой Фишер даже не заикаться — это ее дело, дело ее мужа

и ее любовника, если тот вообще в курсе. С нее ведь станется — такая никому, никому ни слова не скажет, пока на нее не набросится вся свора Цуммерлинга, и тогда, видимо, ей крышка, но ему, Хольцпуке, — нет уж. Надо сейчас же позвонить этому газетчику и твердо сказать, что беременность госпожи Фишер «не сопряжена с каким-либо риском нарушения ее личной безопасности»; уж он-то сумеет ему втолковать, что не уполномочен давать более подробную информацию.

VIII

Может, ей даже удастся доказать, что Бройер знал про ее связь с Петером, знал и терпел. Пусть, если дело действительно дойдет до суда, пусть выложит путевые листы, которые он всегда так внимательно, так придирчиво изучал и в которых регулярно, раз, а то и два раза в неделю помечены ездки в 23 километра, а потом два, а то и три часа стоянки. И разве не он, подмигнув, спросил у Петера: «Что, навещаете кого-нибудь?» — и разве Петер не кивнул в ответ и не согласился произвести перерасчет, записав эти злосчастные 46 километров — 23 туда и 23 обратно — как поездки по личному делу? Неужто Бройер так сразу запомнил, что от его фирмы до дома ровнехонько 23 километра, ведь они вместе много раз специально — и не просто из спортивного интереса, а из-за налогов — это проверяли? И свидетели есть, если, конечно, они согласятся подтвердить: бухгалтер Пляйн, он и счета предъявить может. О чем же, о чем Бройер раньше-то думал? Как он на суде все это объяснит: 23 километра туда, 23 обратно, два часа стоянки — и все это «по личному делу»? Разговора об этом у них, конечно, не было, но ведь у него есть и бухгалтер и учетчик, а это продолжалось больше двух месяцев и могло бы спокойно продолжаться дальше, если бы проклятые ищейки из безопасности не совались куда не надо, а в личном деле Петера не значилась пара мальчишеских глупостей и если бы еще не этот идиотский допотопный пистолет, которым в наши дни и ребенка не напугаешь, — старинный револьвер с барабаном, образца 1912 года, правда, с патронами.

Адвокат, впрочем, ее предупредил: Бройер запросто может все отрицать, он, мол, знать ничего не знал, а даже если он, что маловероятно, и согласится рассказать о кое-каких своих догадках, все равно он имеет полное право заявить: дескать, прежде терпел, но, когда все оказалось официально запротоколировано, терпение его лопнуло, тем более что стараниями прессы, для которой, очевидно,

одного соседства с Фишерами уже достаточно, чтобы ославить человека на всю страну и увековечить для истории (последнее, впрочем, спорно, но в том-то и завыка, что тут все «спорно и неоднозначно»),— дело приобрело столь широкую огласку. Как супруг он вполне мог «терпеть скрепя сердце» (ни черта он не «терпел», извращенец несчастный, небось еще получал и от этого свое удовольствие!), но трепать свое доброе имя, свою репутацию коммерсанта не позволит, потому и подал на развод. Огласку она не отрицает, что да, то да, но если разобраться, тут тоже не все так гладко, во всяком случае ее или Петера вины тут нет, скорее уж сам Бройер виноват, если бы он помалкивал, а не пытался объяснить свое банкротство каким-то там «моральным ущербом», может, и не было бы никакой огласки. Очень даже может быть, что он сам позвонил какому-нибудь газетчику, а что, с него станется, она же его знает, и если до дела дойдет, она все выложит, про все его свинства и мерзости расскажет; а в случае чего, если Бройер все-таки процесс выиграет, можно — адвокат уже намекал — объявить себя «потерпевшей от безопасности». Это, как растолковал адвокат, а маклер Бройера подтвердил, выводит дело на совсем иной уровень и в случае чего позволяет начать совсем иной, прямо-таки показательный процесс. Что ж, если он так настаивает на разводе — пожалуйста, но без установления виновности сторон: пусть раскошеливается, уж она-то знает, сколько у него в банке.

И Клобер наверняка согласится участвовать, после проверок его гостей вскрылись весьма неприятные вещи — контрабанда и еще какие-то махинации с нефтью, она в этом не разбирается; но главное, из-за чего Клобер был просто взбешен,— многие его посетители, с которыми он проворачивал свои, скажем так, не вполне законные делишки (и Бройер тоже проворачивал — с часовщиками-итальянцами, очень подозрительные типы!), теперь наотрез отказались его посещать — кому же охота по доброй воле «лезть полиции прямо в лапы». А для делишек, которые раньше обделывали с Клобером, они мигом подыщут другого партнера, и Клобер достаточно ясно дал ей понять, не прямым текстом, конечно, но более чем прозрачно намекнул, что теперь со страхом ждет налогового инспектора. Как бы там ни было, Клобер уж точно «потерпевший от безопасности», и, оказывается, создана инициативная группа адвокатов, которая собирает сведения о потерпевших по всей стране, даже если ущерб выражается в столь пустяковом и, казалось бы, неизбежном неудобстве, как постоянное присутствие полиции возле дома

или просто на улице. Уже документально подтвержден случай с одной школьницей, родители которой жили по соседству с неким высокопоставленным лицом и которая, хотя до поры до времени училась вполне прилично, даже хорошо, что подтверждено и отметками, затем в результате нервного срыва провалилась на экзамене и покончила с собой. Снижение цен на участки, «охваченные мерами безопасности», — тоже документально зафиксированный факт. И если не вранье то, что говорят насчет «гарантий секретности»: что, дескать, нарушения по части налогов, всевозможные сомнительные делишки и «особенности сексуального поведения», выявленные в результате контрольных мер безопасности, но не связанные с «фактором риска», не подлежат разглашению, более того, сохраняются в тайне, — тогда как же быть, если они все-таки через какие-то дыры и прорехи вышли наружу, и кто в таком случае обязан возместить ущерб?

На этот счет адвокат ее совершенно успокоил. Он только снова и снова заклинал ее ни намеком, ни полсловом, упаси Бог, не обмолвиться, что она, вероятно, в один прекрасный день все равно сбежала бы с Шублером, — тогда всему конец, процесс считай что проигран, и этот и другой, по части «ущерба от безопасности».

Да, после роскошного дома в Блорре — квартирка Петера, конечно, это было потрясение, которое стоило ей многих вздохов и слез; после восьми комнат с двумя ванными, после сада и бассейна — тридцать восемь квадратных метров, и только душ, а она так любила поблаженствовать в ванне, из ванны в бассейн, из бассейна в ванну, и вообще. Безденежье, теснота, а тут еще эти мужики, соседи по этажу, из холостых, есть и вполне приличные на вид, с их бесстыдными предложениями «понежиться за полсотни», слово-то какое нашли, хотя не сказать, чтобы оно ей не нравилось, особенно при ее безденежье, но нет, по этой дорожке она не покатится. Раньше, еще до замужества, иногда бывало близко к тому, когда она еще продавщицей у Бройера работала, богатые клиенты, особенно из иностранцев, так и норовили зазвать к себе в гостиницу «на рюмочку». Нет. Она никогда этого не делала, за деньги — никогда, да и Петер наверняка заметит и не простит, хотя сам-то за полсотни иной раз целый день вкалывает, да еще как: грузчиком, упаковщиком, и притом нелегально, а при нынешнем спросе на работу насчет оплаты особенно не покочевряжишься — их просто медленно душат. И хоть он никогда не ворчит, она же видит, как его это гложет, ведь у Бройера он уже вот-вот «пошел бы в гору»: до управляющего ему, конечно, еще далеко, но закупщи-

ком или там координатором вполне мог бы стать, как-никак он все-таки изучал экономику. Нет-нет, надо следить за собой и продержаться, он действительно ее любит, и она с ним счастлива, а он и не ругается, не ворчит никогда, только временами какой-то тихий и очень уж серьезный, да и читает многовато, к телевизору его не затащишь, разве что иногда в кино сходят, а потом что-нибудь выпить, на танцы — редко, говорит, что для танц-баров он уже староват. Слава богу, хоть эти идиотские допросы кончились и газеты оставили их в покое.

Одно только, но это всего хуже: шум с улицы, от него даже снотворное не помогает. Эти сволочи — знать бы, кто, кто именно? — проложили через город скоростную автостраду, а в центре, прямо под окнами, еще и транспортную развязку, день и ночь в квартире только гул, гул, гул, а если на минуту-другую, в лучшем случае на три, гул умолкает, она все равно ждет, когда он возобновится, наплывами, то тише, то сильней, среди ночи она встает, в халатике выходит на крохотный, смехотворно жалкий балкончик, курит и думает, что надо бежать — но куда? Как прекрасно было в Блорре, и, как знать, быть может, Бройер в конце концов согласился бы на какой-нибудь «тройственный вариант», если бы эти проклятые ищейки не совались куда не надо. Этот гул, иногда переходящий в рев, — от него просто спасу нет, окна закрывать бесполезно, а звуконепроницаемые стекла слишком дороги, да и душно. Спать с закрытыми окнами — нет, без воздуха она задохнется. И ничего, ничего нельзя сделать: протесты, гражданские инициативы, собрания в кафе на углу, где им приходилось выслушивать скользкие отговорки ответственных лиц, — все бесполезно, против этого только одно верное средство — переезд, бегство. Бывали ночи, когда она, одурев от бессонницы, сигарет и шнапса, в бесильной ярости молотила кулаками по голове и готова была уйти, просто уйти куда глаза глядят. Затычки в уши тоже не помогали, гул преследовал ее неотвязно, даже если вдруг на минуту становилось тихо, в голове все равно гудело, гудело и тогда, когда она в автобусе ехала в Блорр, чтобы повидать прежних знакомых, те хоть и ухмылялись, но были с ней милы, Бесрецы, к примеру, которых она умоляла сдать ей комнату, любую, хоть самую убогую конуру, можно даже чуланчик, лишь бы поспать, лишь бы наконец выспаться. Но те начинали ставить условия: конечно, они могли бы «несмотря ни на что» — на что? — освободить и даже обставить для нее комнатенку в мансарде, не совсем задаром, но по знакомству, разумеется, дорого бы не взяли. Смущает их только одно: что она, возможно, будет

спать там «с этим мужчиной», этого они не могут допустить, а так — ради бога. Но на это она не пойдет, без Петера — ни за что, тот выматывается, как каторжник, не гнушается самой грязной работы, и так уже работает почти исключительно с турками, редко когда — с итальянцами, он до того дошел, что месту мусорщика обрадовался бы как величайшему и престижному поощрению. И ему нельзя с ней спать? Нет уж, коли так, и не надо.

А к этой Фишер она не пойдет. Зря, конечно, обругала ее по телефону: она милая, и соседка хорошая, да и, в конце концов, она-то при чем? И, наверно, у Фишеров им можно было бы погостить в субботу — воскресенье, если бы не муж Сабины, который во время танцев дал-таки волю рукам и вообще повел себя как последний потаскун, а Клоберы, которые, наверно, все-таки на ее стороне, не очень-то ей симпатичны, сразу начнут лезть в душу, выпрашивать подробности о разводе и отпускать пошлые шуточки насчет разницы в возрасте между ней и Петером. И на ее бывший дом в Блорре, который до сих пор пустует, смотреть больно, даже издали. Бройер, наверно, и сад совсем запустил, в бассейне тина, салат зацвел, фасоль тля заела. Вот уж действительно, все пошло прахом, а на обратном пути она с ужасом думала о предстоящей ночи, о гуле и реве за окном, об этом аде, который днем не казался таким уж страшным, но ночью доходило до того, что она, лежа рядом со спящим Петером, плакала в подушку, потом вставала, опять шла к бутылке и уже под утро проваливалась в тяжелое забытье, но тут же просыпалась от плеска воды: Петер принимал душ. Пошатываясь, она плелась в кухонный уголок приготовить *завтрак*, даже после кофе клевала носом, но Петер все равно каждый раз на прощанье прижимал ее к груди, целовал, и было очень приятно слышать его шепот: «Я делаю что могу, вот увидишь, мы обязательно отсюда выберемся. Ты только разводишься скорей, и мы поженимся. Я тебя очень люблю».

Хорошие, добрые слова, особенно от Петера, он ведь не слишком-то разговорчив. Но он же не слепой, не может не замечать, что кожа у нее портится, лицо по утрам серое и в морщинках, что никаким мытьем, никакими кремами и массажами не удастся добиться той «молочной мягкости», которая прежде исторгала из его уст столь пыльные, хотя и немногословные, хвалы. Она стареет, старится, каждая бессонная ночь старит ее, наверно, на целый месяц, если не больше, и алкоголь совсем не бодрит, тут, сколько ни втирай, сколько ни массируй, все равно остается ненавистный серый налет, а ей ведь не хочется, чтобы она своему Петеру разонравилась. Такой молодой, почти студентик — и любит ее, от него ей это во сто крат приятней слышать, и потом,

он ей тоже дорог, и это правда — то, что она сказала адвокату: в один прекрасный день она бы все равно с ним сбежала, но лучше бы не в такую тесную квартирку и не в этот район, где она от шума рано или поздно свихнется. Еще бы годик, может, даже полгода,— и она бы выбила из Бройера деньжат, открыла бы мелочную лавку в тихом районе, а что, ей бы это подошло, или галантерейку. Петер смог бы доучиться и *получить* диплом, а ребенка они бы усыновили. Она же вполне нормальная женщина, и в сексуальном отношении тоже, в конце концов, вся история с Петером это лишь подтверждает. Вот только сосредоточенности недостает, из-за этого ни во что играть не умеет — в шахматы там или еще во что, даже в несложные игры, которые он так любит, даже в лото или в уголки, не может сосредоточиться, и все тут. А из-за телевизора в первые недели чуть до скандала не дошло: ну что делать, если она привыкла в семь часов посмотреть новости, потом поужинать, полистать телепрограмму и что-нибудь себе выбрать «на вечер». А у Петера только крошечный переносной телик, черно-белый, и к тому же барахлит — то мигать начнет, то звук пропадает. А ночью шум, прямо хоть беги, и даже телефона нет, а она целый день одна-одинешенька, иногда так хочется позвонить кому-нибудь из старых подружек, Элизабет хотя бы, у которой теперь свой кабачок, или Герте — та и в самом деле открыла-таки галантерейку. Старым приятелям, пожалуй, звонить не стоит, начнутся намеки, заигрывания, воспоминания бог весть о чем — нет, она не хочет обижать Петера. А из автомата звонить никакого удовольствия. Обязательно кто-нибудь стоит над душой, некоторые даже стучат. То ли дело развалиться в кресле, поболтать всласть, заодно и сигаретку выкурить.

И деньги кончаются, понемногу, но кончаются. Конечно, у нее есть своя сберкнижка, давно, еще до замужества, и из хозяйственных денег случалось кое-что выкраивать, Бройер ведь раньше никогда не мелочился, это он сейчас стал мелочным, а она теперь подсчитывает, сколько раз в день можно проехать на автобусе или трамвае. Хорошо еще, дел у нее здесь куда больше, чем в Блорре; Бройер ведь ей ничего делать не разрешал — а тут стирка, уборка, покупки,стряпня,стряпня особенно, потому что Петеру очень нравится, как она готовит, оно и неудивительно, после стольких лет холостяцкой жизни, когда он питался всухомятку или, в лучшем случае, разогретыми консервами. Да, она любит готовить, к тому же это отвлекает от шума за окном и от мыслей об очередной бессонной ночи. Любит к его приходу красиво накрыть на стол — хоть приданое, слава богу, Бройер ей отдал — и смотреть, как он ест, и слушать его нежные слова.

Он такой милый мальчик, не очень, правда, разговорчивый, и телевизор, к сожалению, не любит, и хоть он и просит обязательно его будить, когда она не может заснуть, у нее рука не поднимается, такой он во сне тихий и так сладко спит, видно, привык к шуму. И лицо у него во сне такое доброе, и, конечно, она знает: вечно это продолжаться не может, нет, не может, и она снова шла к зеркалу и пристально изучала свою кожу; вечно это не может продлиться, и даже долго не может, скоро никому и в голову не придет предложить ей «понежиться». Тогда, наверно, она все-таки поедет домой, к своим в Хубрайхен, куда вернется не Эрной Бройер и не Эрной Шублер, а все той же Эрной Гермес, ведь она не забыла, как обращаться с электродоилкой, и подать еду в постель больному отцу тоже сумеет, и поухаживать за ним, и убрать. Вместе с Бройером ее там никогда особенно не привечали: для домашних он был «больно шустрый», брат так напрямик и сказал: «Скользкий какой-то», а появиться с Петером — нет, у нее духу не хватит. Но ее комната всегда ее ждет: ореховая кровать с высокими спинками, умывальник с тазиком, ночной горшок, «комната в любое время твоя, но только для тебя одной». И еще: «Если вернешься, не вздумай снова выкидывать свои фокусы».

Какие такие фокусы? Это уж скорей Юпп Хальстер выкинул фокус, когда однажды воскресным утром ни с того ни с сего застрелил жену, или молодой Шмерген, который тоже ни с того ни с сего однажды воскресным вечером взял да повесился. Ну да, да, было у нее «кое-что» с одним женатым, с Хансом Польктом, а он не сумел развестись, и пришлось ей уехать в город. Было, было! Но этому сыночку Тольма, брату Сабины Фишер, за которым грешков небось куда больше, чем за ее Петером, они преспокойно позволяют у них жить, а он ведь тоже не женат на этой девчонке, коммунистке, у которой от него ребенок!

Из автомата звонить — просто никаких нервов не хватает. После того как у Фишеров и в третий раз никто не ответил, она все-таки позвонила Блюм, узнала, что Сабина уехала в Тольмсховен, позвонила туда, ей сказали, что ничего говорить не велено, нет, по телефону никаких сведений, но она не уступила, пока не вытребовала к телефону мать Сабины; в конце концов, старушка должна ее помнить, чай вместе пили и вообще прекрасная женщина, ничего не скажешь, но и та сперва что-то мямлила, потом все-таки ее вспомнила и после долгих колебаний и уговоров — «не могу, право, не могу, поймите, милочка моя, меня и так без конца ругают» — сообщила, что дочка «переехала» в Хубрайхен, она так и сказала: «переехала», не «поехала», — к ее

сыну, и даже дала номер телефона. Но нет, туда, пожалуй, она звонить не будет, лучше съездит, может, даже на велосипеде, и Петера с собой возьмет, а что?

Наверно, у Сабины можно и денег попросить. У нее ведь есть. Трое юнцов, позвякивая мелочью, давно торчали возле автомата, а когда она вышла, присвистнули и один негромко, но отчетливо сказал:

— Вот уж не знал, что телефонные шлюхи теперь и из автомата работают...

Неужели она так выглядит? Уже так? Может, слишком зазывно? Да, пора уходить, уезжать. Может, Хальстер возьмет ее в экономки, хозяйство-то теперь у него запущено. Силенок у нее вполне хватит, и коже это только на пользу, а Петер смог бы там приложить свои знания в экономике, да и не боится он грязной работы, лишь бы спальни у них были отдельные, тогда все будет в порядке, ведь это совсем не значит, что они должны спать врозь. Молодому Тольму — тому вот отдельные спальни иметь не обязательно, тому можно сколько угодно миловаться со своей коммунисткой, да еще прямо возле дома священника, не говоря уж о том, что он сам «подрывной элемент». Он-то в любом случае и сейчас гораздо опасней, чем ее Петер был тогда, по молодости. Мальчишки все еще нахально свистели ей вслед.

IX

Сабина — вот о ком у него душа болит. Тут не только огорчение и не только мысли о возможной ссоре с Фишером и «любовном внимании», которым его снова одарят люди Цуммерлинга, — нет, его беспокоит сама девочка, ее дальнейшая судьба. Если Фишер вдруг вздумает признать ребенка своим, она, вероятно, на это не согласится, и тогда возникнет множество почти неразрешимых юридических заковык. И мысль о неизбежном прощении с Тольмсовеном тоже уже укоренилась, вгрызлась в него и начала расти. А кроме того, он устал, до смерти устал и уже сожалеет о том, что пригласил Блуртмеля и его Эву к ужину. Приглашение было принято неожиданно быстро, скорее всего по настоянию этой Кленш, которая оказалась даже милевидней, чем на фотографии, и, похоже, не чужда любопытства к жизни сильных мира сего. И гораздо бойчей, чем он предполагал, было в ней что-то почти хваткое, назойливости, правда, никакой, но и застенчивости или хотя бы намек на застенчивость — тоже. Блуртмелю все это, видимо, было довольно неприятно, но он и в этой ситуации был безупречен, проявляя и скромность, и такт, и по-

истине виртуозность канатоходца в балансировании на грани между слугой и гостем, умудрялся помогать по хозяйству, никак не дав почувствовать свое зависимое положение. Он даже стол накрыл, пока Кэте с Эвой Кленш чему-то смеялись на кухне, и даже эта акция выглядела у него как помощь внимательного и любезного гостя, а вовсе не приглашенного в гости слуги. Но было в этой поразительной способности к перевоплощению, в этой почти непостижимой, но в то же время вполне внятной смене нюансов что-то каверзное: словно все это игра, спектакль, представление, и легко было вообразить, как Блуртмель на вечеринке в кругу друзей с блеском играет всевозможные роли, «показывая» гостеприимного хозяина, его слугу, потом прислуживающего хозяина и его гостя, из вежливости согласившегося позабыть, что он слуга. Блуртмель тем временем сбил для него коктейль, который и в самом деле развеял усталость и все тревоги: Сабина, съезд, интервью, Блямп, судьба Тольмсховена,— а Блуртмель уже поставил кассету, Шопен, негромко, а сам пошел на кухню резать лук, совсем другой человек, веселый, почти сияющий, и даже ни чуточки не смутился, когда Кэте предложила его Эве все-таки, раз уж Сабина уехала, перебраться в гостевые комнаты, добавив: «Так вы, по крайней мере, будете хоть не на разных этажах». С кухни то и дело доносился веселый смех: там изготавливался какой-то фантастически изысканный омлет, откупоривались бутылки, Кэте, в виде исключения, так и быть, согласилась на суп из консервов, а Блуртмель сознался, что вообще-то обожает икру, но купить ни разу не отважился, и даже это замечание, недвусмысленно напоминавшее о социальных различиях, ничуть не омрачило общего радостного оживления.

И все же у него чуть голова не пошла кругом, когда пожаловали еще и Шрётеры, которых, оказывается, Катарина — «наконец-то удалось затащить!» — тоже пригласила: как-никак и односельчане, и родственники, пусть и неофициальные, но внук-то у них общий. Тут опять возникла проблема, как к кому обращаться, которую они после трех, если не больше, встреч у Рольфа так и не смогли решить. Шрётер ни в какую не хотел говорить ему «ты». Самое большее, на что его удалось сподвигнуть, было «Тольм» и «вы», тогда как Луиза, его жена, снизошла до «Фриц Тольм» и «вы»; Кэте, со своей стороны, тоже проявила упорство, категорически запретив называть себя «госпожой Тольм» или «госпожой Кэте», просто «Кэте» и «вы» — еще куда ни шло; но поскольку они так редко виделись, Шрётеры поначалу то и дело сбивались, «госпо-

дин» и «госпожа» все равно у них нет-нет да и проскакивало. Тогда Кэте воззвала к добрым старым временам:

— Вы представьте, что мы познакомились, когда я еще жила у свекрови в доме учителя и с Рольфом на руках ходила по деревне, или когда я жила у графини, или еще раньше, когда я была просто Кэте Шмиц из Иффенховена, ведь мы же могли познакомиться на карнавале или на танцах, и я бы вам сказала: зови меня просто «Кэте».

— Так-то оно так,— возразил Шрётер со своей мягкой, но чуть горькой улыбкой,— только ведь не было этого. «Тольм» и «вы» — это еще куда ни шло, но «Кэте» и тоже «вы», нет, язык не поворачивается, а просто «вы» вроде как невежливо, да и глупо, ну а звать вас тоже «Тольм» и «вы» — это уж совсем ерунда получается; и вообще все эти штучки-дрючки с именами не для меня, слишком по-американски, нет, язык не поворачивается.

— А я,— сказала Луиза Шрётер,— слишком мала была, когда он у нас в деревне в школу ходил, чтобы ему тыкать, да и потом тоже, а так, наверно, могла бы говорить ему просто «Фриц» и «ты». Да, шампанское я люблю. А по какому случаю? Ах да, ну конечно, извините, как же я забыла. Что ж, тогда поздравляю и... счастья вам.

Шрётер настоял на пиве, закурил свою трубку и, когда стол был окончательно накрыт и Эва Кленш внесла суп, сказал:

— Ну, сейчас я навалюсь. Только о политике не надо, ладно?

— Ладно,— ответил Тольм.— О политике не буду, обещаю.

Кэте заранее определила, кому с кем сидеть: Кленш со Шрётером, сама она с Блуртмелем, а он с Луизой Шрётер. У них нашлось о чем поговорить. Он осторожно осведомился об Анне Пюц и о Берте Кельц, услышал в ответ, что одну разбил паралич, другая померла, узнал о том, что Кошьрёдер теперь уж вряд ли долго продержится, потому что он, ну... тут бедная, милая Луиза, которая всегда была, так сказать, одной из главных опор священника, покраснела,— словом, что-то там вышло с девушками, со школьницами, которые то ли сами перед ним «обнажались», то ли он заставлял их обнажаться. Луиза ограничилась констатацией, что «все это слишком далеко зашло».

Стараясь укрепить Блуртмеля в сознании, что он здесь только гость, Тольм иногда вставал, подливал вино, открывал минеральную воду, принес бокалы из посудного шкафа, а потом принялся объяснять и показывать Луизе Шрётер все тонкости смакования икры: как надо сперва дать прожаренному кусочку хлеба остыть, чтобы масло

на нем не плыло, но остыть не до конца, чтобы он оставался хрустящим и внутри теплым, а уж тогда на него икру, «как следует, Луиза, как следует, полной ложкой!» — а сам краем уха слушал, о чем говорят другие, удивляясь, что Шрётер очень даже оживленно беседует с Эвой Кленш, причем первый же начал о политике: социализм, католицизм, история христианско-демократических профсоюзов, как он сидел при нацистах, предательство Аденауэра, о ХДС вообще говорить нечего, СДПГ слабаки, — удивился и тому, как спокойно, но энергично Эва защищает и свою СДПГ, и католическую церковь. Он пожалел, кто Кэте не посадила его с Эвой, с удовольствием заглянул бы поглубже в глаза этой на диво хорошенькой особе, но если бы его посадили рядом с Эвой, Луизе пришлось бы сидеть со своим Шрётером.

Он и посуду помог убрать после закусок, разлил по бокалам красное вино, однако в голове временами уже слегка мутилось, слишком много всего для одного дня: выборы, интервью, бредовые мысли насчет птиц, история с Сабиной. Он извинился перед Луизой Шрётер за то, что, наверно, не очень-то разговорчив, но потом, собравшись с силами, все же развлек ее рассказом о графе Хольгере Тольме, просто так, болтовня, но она слушала с явным и непритворным интересом.

— Жалко, — только и сказала она под конец. — Всего не такой уж плохой был парень.

С растущим изумлением наблюдал он за Блуртмелем, который, утратив всякую робость, но не достоинство, виртуозно соблюдая дистанцию и ничем не давая ее почувствовать, мило разговаривал с Кэте, без малейшего подобострастия и фамильярности, но при этом сохраняя в поведении и жестах, во всей манере держаться легкий оттенок профессионализма, который позволит ему завтра без тени смущения приступить к обязанностям слуги, снова готовить ванну, делать массаж, не вступать без спроса в беседу. Даже в том, как Блуртмель любезно, но строго запретил ему дальнейшее участие в сервировке, и в той подчеркнутой, как ему показалось, слегка утрированной демократичности, с которой он вызвался разрезать омлет и раздавать тарелочки для салата, в той отнюдь не приказной, но деликатной и дружелюбной твердости, с которой он без слов, одним только взглядом прервал метафизические разглагольствования Эвы со стариком Шрётером, отправив ту на кухню, где они с Кэте тут же опять начали хихикать, во всем чувствовалось что-то такое, что он, Тольм, мог назвать только одним словом: личность. Это была решимость, способность принимать решения, кото-

рой так недоставало ему самому: Блуртмель, вне всяких сомнений, был бы замечательным президентом. В осанке и движениях Блуртмеля ему вдруг отчетливо бросилось в глаза что-то, чему он так долго искал подходящее определение, и теперь нужное слово наконец-то нашлось: молодежное движение начала века, видимо, в Силезии оно продержалось дольше. Наверно, именно это и навело его — ошибочно — на мысль о педагогическом зресе.

Вечер, судя по всему, совершенно удался: еду нахваливали, все разговорились, Блуртмель даже «выдал» несколько смешных историй о своем интернате, тепло вспомнил епископа, а Луиза до того «расслабилась», что без стеснения стала говорить о денежных заботах: как ее брат — «вы же знаете, какой он всегда был бессердечный», — повысил квартирную плату, даже на воде норовит их обжудить, а пенсия у Шрётера — гроши. Он уже чуть было не решился предложить ей денег, разумеется, якобы в долг, так они ни за что бы не взяли, но помешал страх, его неискоренимый страх, старый и новый. С этими деньгами все ужасно сложно, вечно одно и то же: одни норовят урвать поскорей и как можно больше, а те, кому сам предлагаешь, с ледяной миной отказываются; нет, пусть уж лучше Кэте возьмет это дело в свои руки. Луиза даже спросила, сколько стоит икра, но потом спохватилась, зарделась, и ему пришлось, успокоительно положив руку ей на плечо, признаться, что он и сам толком не знает, сколько она стоит, потому что — сейчас она удивится — икру ему дарят, и кто? Конечно же, русские, с которыми у него, правда, прямых деловых связей нет — «им мой «Листок» ни к чему, в Советском Союзе его не продашь», — но встречи бывают, на приемах там, конференциях. Он рассказал и о том, как не любят эти русские общаться со своими же товарищами, о которых иногда, особенно под хмельком, говорят пренебрежительно, почти с презрением, — ну, почти как наши епископы о причетниках или кардиналы о рядовых прелатах. Что же до икры, то точно таким же манером он получает и сигары с острова Фиделя Кастро: опять-таки русские дарят, сам бы он ни за что покупать не стал, как и икру, и он признался Луизе Шрётер, что никогда, никогда ему не избавиться от некоторых своих травм и комплексов, никогда: в нем все еще сидит вечно голодный сын сельского учителя, и он никогда, хотя давно уже в состоянии себе это позволить, никогда не сможет выложить шесть-семь марок за одну сигару или там, «ну не знаю», сорок марок за несколько ложек икры. Стараясь незаметно вернуть ее к денежной теме, он продолжал: пусть она только, ради бога, не думает, что он скупердяй, чего

нет, того нет, машина, замок — это пожалуйста, но вот через цену на икру или сигары он переступить не сможет. Это так просто, чтобы она знала, какими прихотливыми путями гаванские сигары доходят до западногерманских капиталистов — и икра из вспоротых осетров.

Пить кофе перешли в салон, который Кэте с тех пор, как им настоятельно отсоветовали чаевничать на террасе, называла «чайной каморкой»; Эва Кленш вызвалась приготовить кофе и настояла на своем. «По-восточному, если не возражаете». Никто не возражал, у Кэте в хозяйстве нашлись и маленькие медные джезвы. По-восточному? Где она этому научилась? В Ливане? А может, в Турции или в Сирии? Догадывается ли она, что он доскональнейшим образом о ней информирован? Ознакомлен с ее биографией, осведомлен о ее походах в церковь и воскресных завтраках, о коммерческих операциях и даже об увлечении стрельбой из лука. Ему вдруг стало так стыдно, что он даже покраснел. Эта хорошенькая молодая женщина, оказавшаяся чуть более раскованной, чем можно было предположить по фотографии, эта милая, прилежная, миниатюрная особа, столь явно наслаждавшаяся приятным вечером, знает ли она, что на нее заведено досье и что он в это досье заглядывал, в обход всех правил, исключительно из любопытства к Блуртмелю, потому что с Блуртмелем он как-никак ежедневно общается больше, чем с кем-либо другим. Ну что, что ему до личной жизни Блуртмеля, до его мотоциклов, друзей-приятелей и любовных дел? Да, ему стыдно, но любопытство оказалось сильнее стыда.

В салоне пары перегруппировались: Кэте села с Луизой, Шрётер с Блуртмелем, а он — наконец-то — с Эвой Кленш, которая ненамного старше Сабины. Кофе был отличный, может, слишком крепкий, но он все равно выпил, потом, с улыбкой извинившись, снова встал, чтобы предложить гостям сигареты и сигары, а Кэте поставила на столик коньяк и ликер, призвав всех угощаться без церемоний. Шрётер долго и с наслаждением нюхал сигару: «Вот это вещь, даже курить жалко!» Эва закурила сигарету, не отказалась и от рюмочки ликера, спросила его о внуках, тут же покраснела, осеклась, но он ее успокоил:

— Да,— ответил он,— мой старший где-то бог весть где, вероятней всего в Северной Африке. Не вижу причин об этом молчать, с какой стати? А сейчас у меня четвертый на подходе — от дочки, от Сабины.

Он удержался от вопроса, хочется ли ей иметь детей, удержался и от признаний, которые так и вертелись на языке и облегчили бы душу — невзгоды Сабины, невзгоды из-за Сабины, спросил только, чем она занимается, поин-

тересовался, как идут дела, сделал комплимент ее мужеству и предприимчивости, и все это, не решаясь по-настоящему взглянуть ей в глаза. Она охотно поведала о превратностях моды, о риске — «это как овощи-фрукты, скоропортящийся товар», — о конкуренции, борьбе, подсчетах, боязни прогадать, неизбежных убытках, и ему подумалось, что ее бойкость, наверно, просто обратная сторона застенчивости; сказала и об Алоизе, «спутник жизни, любимый и верный», а еще призналась, что очень тоскует по Берлину.

— Господи, Берлин, вот уж действительно город так город!

Кэте и Луиза, похоже, хватили лишку, беседа их давно перешла в неприкрытое шушуканье, сквозь которое то и дело прорывались знакомые деревенские фамилии, особенно часто — Кольшрёдера, но тут Шрётер, да, именно он, без слов, но энергично — мол, пора и честь знать — встал, тоже, кстати, слегка пошатываясь и все еще с потухшей сигарой в руке, которую ему явно жаль было бросить. Нет, не может он предложить старине Шрётеру еще одну сигару, так сказать, на вынос, это будет выглядеть подачкой, благотворительным жестом. Угостить — да, а с собой — никак, но если обставить это поделикатней, можно будет послать ему коробку, да, коробка, наверно, сойдет, это уже не подачка, это подарок. Обе дамы, судя по всему, все-таки преодолели церемониальные трудности и при всех говорили друг другу «ты», иначе Кэте не спросила бы на прощанье:

— Может, тебе еще чего-нибудь хочется?

И Луиза ответила:

— Да, прокатиться разок в вашем автомобиле.

— Прямо сейчас?

— Да, если можно.

Что ж, это можно устроить, только вот ехать-то до дома Коммерцев всего ничего, решено было просто немного прокатиться, на что Блуртмель тотчас же согласился. Эва Кленш, несмотря на все уговоры, осталась на кухне мыть посуду, сам он тоже с превеликим удовольствием пошел бы в спальню, но нет, ему, наверно, надо ехать, да и охрану известить. Луиза, не таясь, восхищалась «шикарной» машиной: «Мурлычет что твоя кошка, даже и незаметно, что едешь, честное слово». Она, как ребенок, наслаждалась недолгой поездкой, которую Блуртмель, выбрав кружной путь и назвав его «кругом почета», постарался растянуть, с интересом разглядывала все комфортабельные приспособления, которые демонстрировала ей Кэте, — автоматически открывающиеся окна, мини-бар

и даже телефон, которым она тут же захотела воспользоваться, позвонила Катарине, сперва поговорила с Рольфом, потом с дочерью:

— С ковра-самолета, да! Ну, всех целую и дорогую госпожу Фишер тоже. Только не принимайте все это слишком всерьез. Как что? Политику эту вашу!

Блуртмель, которому детские восторги Луизы доставляли огромное удовольствие, включил стереосистему, поставил Баха: «То жених грядет небесный, агнец божий к вам грядет!» Тут у Луизы и вправду увлажнились глаза. Шрётер, испытывая, по-видимому, некоторую неловкость, отер ей слезы, ласково бормоча: «Ишь, детка, как тебя проняло», на что она сказала:

— Да, ведь столько раз сама в хоре пела, а вот чтобы так — ни разу не слышала.— И приняла в подарок кассету, когда они остановились перед воротами Коммерцев и Кэте попросила Блуртмеля прокрутить ленту обратно, а потом снять.

— Господи, в жизни не видела, чтобы так чувствовали Баха, нет, ты должна взять, я тебя прошу.

— А я и не знала,— ответила Луиза,— что такое на пленке бывает. Возьму с удовольствием, спасибо.

Следом тут же подрулила машина охраны, откуда выскочили двое полицейских, — лай собак, замешательство и прощальные слова Луизы:

— Вы к нам тоже как-нибудь обязательно заходите, все-таки мы родня, пусть они и не женаты, но ведь они наши дети и живут по-людски.

Больше всего ему хотелось бы сейчас, взяв Кэте под руку, пройтись до замка на своих двоих — ведь тут рукой подать, но, подумав, он направился назад к машине: переполох, который вызовет такая прогулка, да еще в темноте, заранее лишал ее всякой радости. Тольмсховен со всех сторон как на ладони, а по пути деревья, рощицы, кустарник, излучина ручья, обзор плохой, улица освещена тускло. Он почувствовал нервозность охранников, их вежливую скованность, когда на секунду замешкался у машины, потом помог сесть Кэте и следом за ней, с помощью Блуртмеля, сел сам; нет, эти семь-восемь минут ночной прогулки по деревне — для него несбыточная мечта.

Блуртмель снова находился в стадии перевоплощения, еще не вполне шофер и слуга, но уже и не совсем гость, во всяком случае в заботливой, почти участливой нежности его прикосновений чувствовалось нечто гораздо большее, чем профессиональная исполнительность. «Человек,— подумал Тольм,— чью душевную тонкость, все

богатство нюансов я открыл слишком поздно, а ведь считал его скорее холодным».

Всего две минуты — и они уже подъехали к залитому огнями замку, снова вылезать, снова ладонь Блуртмеля, его рука, а Кэте опять побледнела и посерьезнела, покачала головой, когда в лифте он захотел что-то сказать, глазами показала на потолок: дескать, микрофон,— уголки губ устало опущены, видимо, все-таки многовато выпила. Блуртмель, взбежав по лестнице, ждал их наверху, озабоченный, милый, мягким голосом предложил свои услуги — растирания, легкая гимнастика, массаж? — а когда они, поблагодарив, отказались, попросил все-таки «звонить, если что».

Эва Кленш уже удалилась к себе, в салоне, на кухне и в столовой все сверкало чистотой. Кэте прошла в ванную, отворила окно, выглянула на улицу.

— Я только сейчас сообразила,— сказала она,— что из окон Шрётеров нас, наверно, прекрасно видно, вон там, внизу,— видишь? — свет горит. Сейчас Луиза сидит в комнате Катарины и на дешевеньком магнитофоне слушает Баха. Ты когда-нибудь заходил в бывшую комнату Катарины?

— Нет.

— Что ты, это почти как маленький музей. Там ее фотография после первого причастия, рядом репродукция лохнеровской Мадонны, потом Мао, Че Гевара, Маркс, конечно, и еще этот итальянец, все время забываю его фамилию, а на ночном столике старый кассетник, или как там он еще называется. И вот она сейчас там сидит, наша милая Луиза, и со слезами на глазах слушает «Страсти по Матфею». Надо подарить ей магнитофон получше, красивый, с хорошим звуком и, конечно, новый. Я очень устала, Фриц, ужасно устала, а ты вообще, наверно, еле живой после всей этой суеты, толкучки, а потом еще и интервью — ты, кстати, отлично справился.

Он подошел к ней, обнял за плечи, посмотрел в ту сторону, где вдалеке светились окошки Шрётеров.

— Знаешь, во время пресс-конференции мне пришла в голову одна идея: для радио и телевидения интервью можно давать впрок, про запас, будет что-то вроде консервов — по вопросам консолидации, заработной платы, по проблемам культуры, по внутренней и внешней политике, по вопросам безопасности. Можно заранее заготовить незначительные вариации, чтобы придать всему видимость злободневности.

Ведь пока я там что-то болтал, я же совершенно о другом думал, почти ни на один вопрос не ответил прямо, кроме тех, что касались детей. Надо обсудить с Амплан-

гером, может, это стоит организовать: посвятим как-нибудь полдня изготовлению консервированных интервью. Конечно, придется то и дело переодеваться: костюм тут важнее слов, одеждой можно подчеркнуть разнообразие ситуаций. Ну, и фон тоже придется варьировать, но это устроить легко: то книги, то картины, то современный интерьер, то что-нибудь античное — зато сколько сил, времени, хлопот сэкономим, — а для радио можно слегка изменять голос, то с хрипотцой, то помоложавей, то усталый, а то бодренький... Таким манером за каких-нибудь семь-восемь часов ничего не стоит накрутить интервью на несколько лет вперед. На всякий случай я бы мог и некрологи наговорить — на Кортшеде, допустим, на Поттзикера, на Плифгера, может, и на Блямпа, на кардиналов и президентов, как ты считаешь? Конечно, если и от профсоюзов кто-нибудь сделает то же самое...

— Они не согласятся, им же все подавай — как это у них называется? — живьем.

— У них это называется live, но — как знать? — может, в записи на пленку все окажется куда живей, чем live, ведь не зря Вероника пыталась мне втолковать, что игрушечные заводные птицы бегают гораздо «натуральней», чем настоящие, — меня это до сих пор занимает, — если это и вправду так, тогда и запись на магнитофон или видеозапись тоже воспринимается куда натуральней всяких там live: ведь то, что они подают «живьем», на самом деле мертвей мертвого. Такая же мертвечина, как «Листок», который почил у меня на руках, но продолжает пухнуть.

— Опять страх, да?

— Страх скуки, Кэте, — болезнь, которую Гребницер еще не распознал. Страх перед экспансией, которую, как пожар на ветру, не остановишь. Теперь вот пришел черед Кюстера кидаться мне в ноги или на грудь, уж не знаю. Компьютер неумолимо предвещает падение Кюстера. Амплангер в этих делах пока что ни разу не давал промашки. Значит, после Блюме мы сожрем Кюстера, потом Боберинга, все они пойдут в общий котел, в липкую серую газетную кашу, приправленную для вида щепоткой либерализма. Я запустил, я погубил «Листок»...

— А если взять да и бросить — совсем?

— Да я уж было собрался, но теперь — Блямп, наверно, что-то почувствовал, а то и просто от Амплангера узнал. Вот и подцепил меня на крючок, в последний момент, так сказать, ухватил за полу. Кто бы объяснил, почему у Рольфа и Катарины мне не скучно, даже у Герберта не скучно, тот, по крайней мере, меня злит, — а вот у Блямпов — у Кортшеде тоже не скучно, и у Поттзикера, и у Плифгера, — зато

уж у Фишеров,— ну, и с тобой, конечно, не соскучишься. Если бы еще нам почаще гулять, я бы тебе много порассказал, а тут — неохота увековечивать это на пленке.

— И я тебе. Думаешь, и сейчас тоже? Нет, не может быть, мы ведь говорим в окно. Рольф мне объяснял, что если высунуться из окна, тогда...

— Вполне возможно. Что ж, тогда поговорим?..

За окном все тонуло в тумане, поднялся ветер, рваные серые клочья пронеслись мимо, даже деревьев не различить, все поглотила влажная, серая мгла, из которой уже начал сочиться мелкий дождик. Свет в окошках Шрётеров тоже куда-то сгинул.

— Вот, значит, как: чтобы пооткровенничать с собственной женой, надо, оказывается, высунуться под дождь, и ей тоже... Ты по-прежнему мое самое лучшее лекарство от скуки, а еще дети и дети детей; я просто передать тебе не могу, как я рад, что Сабина ушла от этого Фишера. Ведь страшно сказать — я иногда даже у нее скучал, у родной дочери: не по душе мне эти дома, которые они строят «по своему вкусу», не по душе мне их вкус. У них любая картина — даже самая лучшая, некоторые мне просто нравятся,— все равно выглядит подделкой, несмотря на документально заверенную подлинность, а может, именно потому. Есть что-то в них самих, что убивает искусство, даже музыку, и я рад, что девочка от них сбежала. Пусть поживет немного у Рольфа... Пошли, а то еще простудимся... Слышишь сову? Да не бойся ты...

Он закрыл окно, усилившийся дождь забарабанил по стеклу, Кэте прошла в угол комнаты и прибавила отопление.

— Может, тебе все-таки уйти в отставку? Не завтра, конечно, а месяца через три-четыре? По состоянию здоровья или просто так. А они наконец выберут Амплангера, ты-то им на что?

— У меня бесценная репутация, чуть ли не ореол, ты же знаешь. А кроме того, я уязвим и незащищен — из-за Рольфа, Вероники и Хольгера-старшего. Лучшего им не надо, ты же знаешь. А я вдобавок еще и везучий...

— Ты? Везучий?

— Ну, послушай, сама посуди: унаследовал скромную газетенку — и тут же получил лицензию, бумагу и даже журналистов в придачу. И с тех пор неудержимо рос, разбухал... замок купил, президентом вот выбрали... Я не только везучий, я еще и трудяга...

— Ты? Трудяга?

— Но, Кэте...

— У тебя отняли Айкельхоф, ты и пальцем не пошевельнул, Тольмсховена у тебя тоже считай что уже нет, ты не можешь пробить для своих сыновей даже самое жалкое местечко в «Листке», твоя дочь несчастлива...

— Несчастлива? Давно не видел ее такой счастливой. Правда, не стану утверждать, что это моя заслуга...

— Ты дрожишь перед Блямпом, боишься Цуммерлинга, ах, Тольм, милый мой Фриц! Давай уберемся отсюда, переедем, все равно куда.

Кэте, уже в ночной рубашке, помогла ему снять ботинки, распустила шнурки, сняла носки, с остальным он справился сам, даже повесил пиджак, рубашку и брюки, исподнее бросил на стул, надел пижаму...

Он лег с ней рядом, взял ее за руку, молча — знает, что она молится, — послушал дождь за окном, дождался, пока она перекрестится и пошлет вслед молитве напутственный вздох.

— Грустишь, старичок?

— Да, из-за ног. Наклоняться совсем не могу. Но все равно чудный был вечер. Хорошо, что посидели со Шрётерами, надо как-нибудь и к ним сходить. А за детей я спокоен: Сабина на верном пути, ей-то я сумею помочь, Рольф тоже в порядке, Катарина тем более, вот разве что Герберт — его я не совсем понимаю: наверно, не надо было отдавать его в интернат, хоть он и сам просился. Может, нам к нему перебраться, в этот высотный дом, который каким-то боком нам принадлежит...

— И ужасен...

— Да, отвратителен. Но мы могли бы занять целый этаж и небольшую квартирку для Блуртмеля. Но тогда над этой машиной день и ночь будет кружить вертолет и по меньшей мере полроты полицейских будут торчать на балконах, на лестницах, в лифте — жильцы начнут разбегаться, все съедут. А что, Кэте, совсем неплохая мысль — переехать самим, пока нас не выжили отсюда, — поищи маклера, какой-нибудь дом, большой, но не слишком.

— Старый дом священника, красивый, чуть-чуть подремонттировать, слегка перестроить, сейчас много таких, священники строят себе новые, помодней, вроде коттеджей. Я так устала, Тольм, но прошу тебя: помни о Дрездене, о детях и о твоём четвертом внуке.

Рука ее разжалась, она заснула. Он еще долго слушал шум дождя, потом встал, приоткрыл окно, убавил отопление, постоял у открытого окна, выкурил еще одну. Надо переговорить с Хольцпуке. Переехать — а что, хорошая мысль. Тольмсховен — он уже прощался с ним — и даже

без особой боли. Может, перебраться пока в гостиницу, апартаменты для них, что-нибудь поскромней для Блурт-меля. Но гостиницы так трудно охранять...

Х

Дождь не перестал, со вчерашнего вечера, пожалуй, даже усилился, сквозь стылую утреннюю мглу он разглядел за окном лужи в саду — там же, где они бывают всегда, и охранника, что расхаживал взад-вперед под стеклянным навесом между церковью и часовней, но не вчерашнего, а другого, помоложе, с рацией, автоматом, в наброшенной плащ-палатке.

Прижав трубку правой рукой к уху и выслушивая странненькие извинения Хольцпуке, он, не вставая с табуретки, собрал щепу для растопки, скомкал обрывки бумаги, сунул в холодную печь, сверху положил лучину и попытался, поставив коробок на чугунную плиту, левой рукой зажечь спичку. Получилось — бумага вспыхнула, сухие щепки сразу же затрещали, он подложил еще, придвинул несколько поленьев побольше, разогнулся, наконец-то как следует сунул ноги в шлепанцы, запахнул халат, прислушался — справа, где спала Сабина с детьми, и слева, где спала Катарина, все тихо. К счастью, он сразу услышал телефон и никто не проснулся; было еще рано, полседьмого, не больше, и он то и дело повторял: «Да», «Ну конечно», потом снова: «Конечно, да, приезжайте». Эта смесь крайней нервозности, почти возбуждения и любезности, с которой Хольцпуке снова и снова пытался объяснить свой ранний звонок и срочно просил о встрече, — все это было, пожалуй, неудивительно. Удивила его какая-то грусть в голосе Хольцпуке, который все еще продолжал расспрашивать, не переполошил ли он в столь ранний час весь дом, и, похоже, не находил утешения в его успокоительных заверениях: «Нет-нет, правда нет».

— Наверно, мне проще приехать к вам, только вот где бы нам побеседовать с глазу на глаз?

— Дом священника со вчерашнего вечера пустует, у меня есть ключ, и я даже уполномочен им пользоваться.— Тут он не удержался и добавил:— Может, в епископской?

— Где-где?

— Потом объясню — приезжайте.

Он подложил дров, поддел кочергой и сдернул с плиты конфорки, поставил воду, осторожно отворил дверь в спальню и выудил со стула свою одежду, бросил ее на скамейку к печке, потом нашарил под кроватью ботинки

и носки. Катарина, похоже, все еще спала, он поправил одеяло, которое, когда он вставал, слегка сползло, обнажив ее плечи, аккуратно закрыл окно.

Было холодно, его слегка знобило, и он не удержался от соблазна еще чуть поправить, подтянуть одеяло, — ужасно хотелось поцеловать ее в затылок, в шею, туда, где сквозь пышные волосы пробилась теплая прогалинка загорелой кожи, но не решился, побоялся разбудить.

Только теперь, одеваясь, он обнаружил и второго охранника — возле садовой калитки: уже немолодой, рация, автомат, такая же плащ-палатка поверх штатского костюма; с автофургоном им придется помыкаться: ворот-то нет, только калитка. И тут же подумал, что пора рвать орехи и собирать тоже, вон их сколько валяется, но это можно поручить детям, им одно удовольствие.

Сегодня он будет завтракать первым; он достал молоко, масло и яйца из холодильника, хлеб из хлебницы, молотый кофе с кухонной полки, поискал в ящике комода ключ от дома священника, нашел и вспомнил о горстке прихожан, которые регулярно являлись к заутрене: как правило, восемь-девять человек, редко больше, но старуха Гермес почти каждый божий день — кто встретит их сегодня у запертой церкви, кто сообщит, что Ройклер уехал? Хоть причетника-то Ройклер известил о своем отъезде? Неужто впервые за много столетий в Хубрайхене без четверти семь не зазвонит колокол? И почему, с какой стати он думает, беспокоится о вещах, до которых ему совершенно нет дела? Он заварил кофе, поставил греть молоко для детей, нарезал хлеб, взглянул на часы: через несколько минут должны зазвонить.

Еще вчера вечером, когда он наблюдал за Ройклером в церкви, на него вдруг накатила необъяснимая печаль, сродни той, на которую, бывало, жаловался отец и которую он, Рольф, прежде всегда считал блажью: они только берут у людей, ничего не давая взамен. Он подумал о Кэте и Сабине, для которых отъезд Ройклера будет горькой вестью, налил себе, когда кофе отстоялся, полную кружку, закурил сигарету, кивнул, завидев Хольцпуке у калитки, и, с кружкой в руке, с сигаретой в зубах, вышел на порог, приложил палец к губам, вернулся, подбросил дров в печку и налил еще одну кружку. Две кружки в одной руке — это он умеет, научился, когда подрабатывал официантом и разносил пиво.

Он протянул Хольцпуке кружку, жестом остерег не поскользнуться на раскисшей, усыпанной мокрыми листьями дорожке, тот благодарно улыбнулся:

— Очень мило с вашей стороны, я действительно не успел позавтракать.

У дверей церкви, смотри-ка, и вправду стояла старуха Гермес, а еще угловатый, бледный парень, которого в деревне прозвали «святошей» — имя его Рольф позабыл.

— Что случилось, господин Тольм? Закрыто и не звонят — разве службы не будет?

— Господин священник уехал вчера, что-то срочное. Не знаю, может, причетник?

— Причетник в отпуске, а когда у него отпуск, господин священник всегда сам звонил...

— Не знаю,— сказал он,— не знаю, наверно, вам лучше пойти домой, все устроится...

Старуху было не просто жаль — на нее было больно смотреть, в пальто и шляпке, с молитвенником в руке, она стояла как потерянная.

— Думаю, нам лучше вернуться,— сказал он Хольцпуке.— Если вы сейчас войдете со мной в дом священника, они решат, что тот что-нибудь натворил, поползут слухи, потом хлопот не оберешься, вас же здесь все знают.

А люди все подходили: прихожане, просто соседи — он испытал облегчение, когда калитка снова захлопнулась у них за спиной.

— Как ваша сестра?— тихо спросил Хольцпуке, согрев руки у печки и отхлебнув кофе.

— По-моему, хорошо, хоть тут и становится тесновато, вы не находите? Особенно если еще и родители попросят у меня убежища, а потом и брат, и мы всем табором, в тесноте, да не в обиде, заживем на каких-нибудь сорока квадратных метрах, пока триста метров в Блорре, четыреста в Тольмсховене и сто десять в Кёльне будут пустовать, в доме священника тоже метров сто восемьдесят — двести, чудно,— не правда ли?— особенно если учесть, что прибыли от «Листка» постоянно растут, а уж о «Пчелином улье» и говорить нечего.

— У вас же тут уютно,— прошептал Хольцпуке,— так что насчет убежища я не удивлюсь. Но теперь о деле, из-за которого я вас побеспокоил, вынужден был побеспокоить в такую рань. Произошла странная, очень странная вещь, странная и тревожная, и кроме вас, мне, пожалуй, больше не к кому обратиться за помощью.

Он оглянулся на обе закрытые двери, Рольф успокаивающе кивнул головой, сказал:

— Полчаса у нас, наверно, еще есть. Жена в восемь застывает, а сестра — впрочем, не знаю, когда она теперь встает.

— Так вот,— начал было Хольцпуке, потом сел, снова встал, не выпуская чашку из рук.— Ваша первая жена, Вероника, снова звонила: вашей сестре, вашей матушке и священнику в Тольмсховен, но ни по одному номеру ей

никто не ответил. То есть, конечно, у нас нет доказательств, что звонила именно она, магнитофон записал только длинные гудки, но затем последовал еще один звонок, опять вашей сестре и снова безуспешно. И тогда — тут-то и сюрприз, — хотя она прекрасно знает, что все прослушивается, она все равно произнесла, трижды повторила: «Мы приедем на колесах — мы приедем на колесах — мы приедем на колесах», — некое закодированное сообщение, причем явно адресованное нам. Непонятно только, почему она никогда не звонит вам.

— Просто знает, что я буду с ней не слишком любезен. А она этого не выносит.

— Этого она, значит, не выносит. — Хольцпуке хмыкнул.

— Да, это так. Я бы на нее наорал, просто наорал, и не только из-за этих безумств, в которые она впуталась, но, главное, из-за сына, ведь она уже три года таскает мальчишку по всему свету, — но тем не менее это так: она не выносит грубости, даже невежливости, спросите у матери, сестры, отца, у моего брата, спросите у ее отца. И теперь вы, конечно, хотите знать, что означают «колеса»?

— Понимаете, под «колесами» можно подразумевать практически любой вид транспорта, иногда в переносном смысле, но здесь, похоже, имеется в виду что-то совершенно конкретное.

— «Колесами» мы называли велосипед, машину — если удавалось раздобыть машину — никогда. Следовательно...

— Следовательно, Беверло прибудет на велосипеде. Может, уже едет. Это подтверждает вашу гипотезу...

— Просто я постарался вжиться в его мысли. Как-никак я его знаю. Правда, распознаю ли я его сейчас — нет, не внешность, а все хитросплетения его расчетов...

— Велосипед... — Хольцпуке задумался. — Если не ошибаюсь, в стране их сейчас больше двадцати пяти миллионов. Надо сообщить Дольмеру, а может, даже Стабски; места вокруг Тольмсковена просто рай для велосипедистов, почти как в Голландии, и... — Он осекся: из комнаты Сабины донесся неясный шорох.

Рольф подложил поленце в печь, потом успокаивающе махнул рукой:

— Сперва все пойдут в ванную, в клозет, а это там, с другой стороны. — Он подлил Хольцпуке, который напряженно застыл у двери, еще кофе, подвинул поближе к огню кастрюльку с молоком, кивнул на печь: — Теплушка и кофейня для высших полицейских чинов, убежище для заблудших жен богатых и влиятельных граждан — все это тоже будет отражено в моем досье?

— Меня не пугает, что будет отражено в вашем досье у нас. Куда страшнее то, что может оказаться в вашем досье у них. После того, как вы отбыли наказание, никакой негативной информации на вас не поступало. Но к вам подозрительно часто наведываются легавые, к тому же высшего ранга, вы поите их кофе, даете им справки. Не знаю, понравится ли это вашему приятелю Генриху Шмергену? И другим приятелям...

— Генрих учит у нас испанский, я помаленьку наставляю его в азах политэкономии, преимущественно финансовые отношения. А что до остальных моих друзей и подруг — не волнуйтесь, я сам им все расскажу, даже эту историю о «колесах», они поймут.

— Я бы очень просил вас сохранить наш разговор в тайне, даже от жены...

— Этого я вам обещать не могу, я не вправе иметь подобные тайны от друзей и тем более от жены.— Он вздохнул, последняя тень любезности исчезла с его лица, и он почти прошептал:— Относительно «колес» я вам сообщу еще кое-что, это очень важно, но сперва вам придется выслушать вот что: нам — если не преследуемым, то по крайней мере изгоям,— во всяком случае моим друзьям и мне, нечего скрывать, даже в помыслах. Мы и не *помышляем* о каких бы то ни было формах насилия, не помышляем больше даже о разрушении вещей, и каждый волен знать, с кем встречаюсь я, с кем встречаются они. У нас очень мощная группа, мы даже толком не знаем всех, кто к нам примыкает. И объединяет нас одна, но твердая, решимость — не поступаться своими убеждениями, мы не испытываем ни отвращения, ни гнева,— только презрение к тем, кто снова и снова ворошит старые сплетни, и к тем, кто отдает нас на откуп молве наших сограждан с помощью слежки, сыска, запретов на профессии; самое опасное в нас — это наша гордыня, наше высокомерие. И если я, дражайший, милейший, глубокоуважаемый господин Хольцпуке, соглашаюсь иногда немножечко вам помочь, то только потому, что вижу в этом хоть крохотную надежду защитить жизнь, пусть даже жизнь несравненного, дважды почетного доктора господина Блямпа, равно как и сохранность — я имею в виду физическую, отнюдь не моральную,— сохранность вовсе не столь уж безупречного бюста четвертой жены господина Блямпа, созерцанием которого я мог бы услаждаться в каждом третьем иллюстрированном журнале, если бы считал, что он того стоит,— впрочем, защиту этих округлостей, думаю, можно спокойно вверить автоматам ваших людей. А теперь нам пора идти, жена уже зашевелилась, дети просы-

паются. В доме священника есть черный ход, между часовой и церковью. Что-то нет у меня желания продирааться сквозь возбужденную толпу, покинутую своим пастырем. Еще кофе?

— Нет, спасибо.

— Тогда я провожу вас в епископские покои.

Он набросил на плечи куртку, распахнул дверь и первым, не оглядываясь на Хольцпуке, зашагал к дому священника, мимо часового, который хотел было его остановить, но после секундного замешательства и, вероятно, кивка Хольцпуке проворно посторонился.

В пустых коридорах было холодно, на улице перед домом, судя по всему, тихо, но едва они ступили на лестницу, где-то в глубине, в кабинете, зазвонил телефон. Рольф остановился, Хольцпуке мимо него прошел в комнаты, пробормотав:

— Это ведь может быть...— Снял трубку, сказал:— Слушаю?— И, немного помолчав, ответил:— Господин священник уехал, надолго, советую вам обратиться в соседний приход. Кто я такой? Это не имеет значения.— Он положил трубку.— Последнее причастие,— пояснил он чуть позже, поднимаясь с Рольфом по лестнице.

Епископские покои были обставлены скромно, но очень мило: белая мебелировка, медового цвета ковер, на стене — репродукция Шагала, небольшая, но изысканная деревянная статуэтка Мадонны в нише, тут же лампадка; диванчик, два кресла, круглый столик — все плетеное, из бамбука; телефон, ни намек на пепельницу, Хольцпуке уселся, вздохнул:

— Вы сегодня заготовили для меня целую речь, господин Тольм, и весьма пространную...

— Было бы неплохо, если бы вы довели ее до сведения господина Дольмера, а при возможности и господина Стабски, желательно дословно. Я готов произнести ее перед этими господами и сам, так сказать, из первых уст, объяснить этим господам, в чем разница между гордыней и динамитом, втолковать им, сколько тысяч, а может, сотен тысяч душ они изымают из жизни, видимо, вполне осознанно, дабы иметь резерв, чтобы в случае чего было что бросить на прокорм цуммерлинговской прессе — и банкам. Но сперва о динамите: это имеет прямое отношение к «колесам». Помнится, много лет назад Беверло — мы тогда еще дружили, вместе организовывали демонстрации, да и акции тоже, — вынашивал идею «велосипеда с начинкой», а проще говоря, производил подсчеты, сколько взрывчатки можно набить в трубчатый каркас велосипеда, где и как приспособить взрыватели, ну и так далее и тому подобное. Идея — в ту пору

она рассматривалась чисто теоретически — состояла в том, чтобы зарядить таким образом пятьдесят или, скажем, сто велосипедов и спокойно оставить их на месте операции. Мы все были против, все, эта его задумка так и осталась в теории. Но, как знать, может, сейчас он воплотил теорию в практику. Так что «колеса» — велосипед, на котором он прикатит, — вполне могут оказаться самоходной миной, или — такая идея тоже теоретически рассматривалась — после несложной и быстрой разборки превращаться в стрелковое оружие, например, в катапульту. Если уж Веронике так приспичило предупредить вас насчет «колес», не знаю... — Он оглядел потолок и стены. — Здесь прослушивается?

— Нет, — ответил Хольцпуке устало. — То есть телефон, конечно, а так нет.

— Видите ли, я не хотел бы, чтобы эта информация фигурировала в ваших бумагах со ссылкой на меня.

— Обещаю, — заверил Хольцпуке. — Это важная подсказка, необычайно ценная, хотя и — жуткая. Значит, проверять не только велосипедистов, но и велосипеды, на всех подъездах к Тольмсховену, к Хорнаукену, к Тролльшайду, к Бретерхайдену...

— К Хубрайхену, если моя сестра останется тут...

— А она останется? Надолго? Вам она ничего не говорила?

— Пока нет. Ей тут нравится. И разумеется, она пробудет здесь сколько захочет, если, конечно, нам вообще разрешат здесь остаться. У меня впечатление, что в ее жизни многое переменится, а что до нас, то теперь, после отъезда господина Ройклера, совершенно неясно, как поступят с нами церковные власти. Кстати, вы знали, что Ройклер?..

— Да, мы знаем об этом его... о его отношениях с этой госпожой Плаук, знаем и... словом, мы знали, что он вчера... сбежал. Кстати, глубоко порядочный человек.

— Значит, у вас есть информаторы в деревне?

— Конечно. Уж вас-то это не должно удивлять. А теперь — если вас не затруднит — нельзя ли раздобыть где-нибудь пепельницу: видно, эти епископы все как один некурящие.

По соседству, в ванной комнате, Рольф углядел настенную керамическую мыльницу, которую удалось снять с крепежей, поставил ее на стол, взял предложенную Хольцпуке сигарету, прикурил от его зажигалки, но садиться не стал.

— Качается немножко, но другой нет. А по всем комнатам рыскать неохота. Я только внизу знаю, где что. Вы, наверно, хотите теперь побеседовать с сестрой?

— Нет, пока с вами — о ваших друзьях. То, о чем вы тут говорили: эта гордыня, эта неподатливость, это изгойство или, если угодно, чувство изгнанности, убеждения, мысли, — насколько велика, по-вашему, группа, о которой вы рассказывали?

— О, это очень просто определить: достаточно подсчитать число досье в вашем ведомстве и, так сказать, в смежных службах. Ведь мы же все на учете, то есть мы-то сами себя никак не учитываем, мы не знаем, сколько нас, а вот вы должны знать, так что проведите смотр, призовите эту армию призраков, пусть эти сотни тысяч молодых мужчин и женщин, равно как и их детей, строем пройдут хотя бы перед вашим мысленным взором, а вы спросите себя: неужели их умственные способности, образование, духовный потенциал, силы, наконец, красота нужны только для того, чтобы шпионить за ними? Разнорабочие нации, сборщики орехов, упаковщики яблок... что ж, если у вас больше нет вопросов — мне здесь как-то не по себе, но зато по крайней мере епископские покои хоть однажды на своем веку кому-то сослужили службу... Значит, теперь весь ваш охранный табор перекочет из Блорра сюда?

— Внезапное решение вашей сестры застигло меня врасплох. Вокруг Блорра у нас было два кольца безопасности, внешнее и внутреннее, так сказать, интимное, два кольца охраны, людей, которые у всех на виду, а здесь... мы не ждали этого переезда, и внезапность подобных эскапад, чтобы не сказать — выходов... Словом, признаюсь вам как на духу: сейчас я вынужден импровизировать и больше уповаю на стены вокруг вашего сада... Так что если ваша сестра...

— За молоком ей по крайней мере можно ходить?

— Лучше не надо. И если вы в состоянии этому воспрепятствовать — прогулки и все прочее тоже нежелательно. К несчастью, пресса тоже уже что-то пронюхала, поговаривают о семейных неладах, о кризисе...

— Значит, вы приставляете меня вроде как тюремщиком к собственной сестре?

— Называйте как хотите — и к малютке, разумеется, тоже. Эта затея с велосипедами не идет у меня из головы, хотя, если верить вашей теории, вашей сестре они ничего не сделают.

— Не очень-то на это полагайтесь.

— Если разрешите, еще один вопрос: ваши предположения относительно одежды?

— Пристойно. Без пижонства, не в стиле золотой молодежи, но и не как оборванцы. Пристойно, как милые, нормальные молодые люди, отправившиеся на велосипедную прогулку.

В ванной Рольф вытряхнул окурки из мыльницы, ополоснул ее и снова укрепил на стене. Расставил по местам кресла, поправил скатерть и следом за Хольцпуке спустился вниз. Дождь лил по-прежнему, часовой кивнул, как нахохлившаяся птица. Мокрые яблоки в траве, стук падающих яблок о землю; когда они вошли в теплый дом, часы били восемь. Идиллия: теплая печка, коричневые разводы какао на детских подбородках, выеденные скорлупки яиц, женщины, обе с сигаретами, чему-то смеются, перед каждой чашка кофе.

— Придется сегодня остаться в зале,— сказала Катарина.— Сабина мне поможет, она ведь так хорошо поет и рисовать умеет. Начнем готовиться к дню святого Мартина.

При виде Хольцпуке Сабина покраснела, кивнула и сказала:

— Мне очень жаль, на сей раз все так неожиданно вышло... Какие-нибудь возражения против моей новой деятельности?

— Да,— ответил Хольцпуке.— Да. Вы знаете, я не могу ничего вам запретить, я могу только посоветовать; так вот, советую вам не выходить из дома, а тем более и ни под каким видом — из сада, и, конечно, еще я хотел бы знать, просто обязан знать ради вашего же блага, как долго вы намерены здесь оставаться. Все мои мероприятия, вы же понимаете, прошу вас, мы же так прекрасно сотрудничали...

— Не знаю,— сказала Сабина,— честное слово, не знаю.— Она вздохнула.— Одно я знаю совершенно точно: в Блорр я не вернусь, так что там, что касается меня и дочки, никакие мероприятия больше не нужны, а муж уехал, и, наверно, надолго. А у родителей — понимаете, Кит здесь лучше, но сколько я здесь пробуду... Мне правда нельзя с Катариной в детский сад?

— Можно... Придется временно снять обоих часовых отсюда и направить туда. Не могу же я вам отказать.

— А если я пошлю Кит одну?

— Тогда, пока не прибыло подкрепление, одного оставим здесь, а другого там.

— Тогда я пока останусь, за печкой посижу, обед приготавливаю и буду думать о нашей вилле под Малагой, где всегда пустуют двенадцать комнат, и за месяц не успеваешь разогнать тоску, которая там скапливается за год, это как пыль, скапливается и скапливается, представляете?

Хольцпуке глянул на нее как-то смущенно, достал сигарету, Рольф поднес ему спичку, он благодарно кивнул.

— Тоска,— продолжала Сабина,— честное слово, она там скапливается, ложится слоями, плотная, густая, чуть было не сказала — осязаемая. Вот и вычерпываешь ее, с

утра до вечера, горсть за горстью, комната за комнатой, и испанские полицейские в форме, и немецкие у дверей, в штатском, море шумит, ну и пальмы, они, надо полагать, колышутся. Нет, останусь тут, буду сидеть у печки и жарить каштаны.

Катарина уже оделась, Хольгер тоже.

— Мне пора,— сказала она,— дети, наверно, уже заждались, да и мамашам некогда. А разговоров сегодня будет из-за Ройклера! Еще нас во всем обвинят, вот увидишь, так и будет, ты идешь, Рольф?

— Да, я вас провожу. А потом к Хальстерам пойду, просили подсобить, у них все вверх дном, тоже затеяли модернизацию. Обещали мне двойную плату и весь старый хлам в придачу. Ну, привет, сестренка. К обеду будем дома, а где книги и игрушки, сама знаешь. А телефон вот: может, маме позвонишь или брату, не скучай и не бойся.

Кит расплакалась, со злостью глядя на Хольцпуке, который все еще мешкал уходить. К счастью, девочка плакала тихо, не в голос, почти про себя, и он, откашлявшись, хрипло произнес:

— Есть еще кое-что, о чем мне нужно с вами переговорить, желательно наедине.

— Я знаю,— ответила Сабина, но и не подумала встать, ласково глядя по головке дочку, уткнувшуюся ей в колени.— Я знаю: злосчастные три месяца лишили вас покоя, а быть может, даже и сна.

— Да,— подтвердил он,— поскольку дело касается возможной брешы в системе безопасности.

— Никакой брешы нет. Имени я не назову, ни вам, ни кому-либо еще, но брешы никакой не было. То есть в моей-то душе была брешь, но теперь она закрылась. Это останется между нами, между им и мной, но вам не в чем себя упрекнуть. Совершенно не в чем — вы честно выполняли свой долг, и выполняли его вежливо и со всей возможной деликатностью... У меня к вам только одна просьба: моя соседка, госпожа Бройер...

— С ней ничего не будет, больше ничего, и с ее... с ее другом тоже, она, кстати, возможно, вскоре снова станет вашей соседкой, здесь, если вы здесь останетесь, так что, очень может быть, вы скоро ее встретите, когда пойдете за молоком. Ведь ее девичья фамилия Гермес — вы не знали? Да, она из Хубрайхена и, видимо, скоро сюда вернется... А с господином Шублером — понимаете, я не мог этому помешать, мы просто обязаны были его проверить, точно так же, как обязаны были навести справки о здешнем священнике.

— О господине Ройклере? А это еще зачем?

— Видите ли, в современной теологии есть очень странные течения, а симпатии господина Ройклера к вашему брату, энергия и настойчивость, с которыми он за него вступился и, можно сказать, адаптировал его здесь,— все это требовало проверки. Но заверяю вас — он был и остается совершенно вне подозрений.— Он подошел к Кит, робко потрепал девочку по волосам и тихо спросил:— Ну что, Кит, все еще на меня дуешься?

Но Кит не ответила, только пнула его ножонкой, и он медленно побрел к двери, на прощанье еще раз кивнул Сабине и вышел в сад. «Колеса,— думал он устало.— Господи, как же мне проверить все эти миллионы велосипедов и велосипедистов. Взвешивать,— пришло ему в голову,— их можно взвешивать и по разнице в весе установить, с начинкой они или нет. Велосипеды с начинкой...»

XI

В иные дни он совсем уж было собирался позвонить Тольмам — поговорить наконец по душам, может, их пригласить или к ним съездить, даже угостить чаем, на худой конец и самому выпить чаю. Пора кое-что прояснить, устранить предубеждения, высказать окончательные суждения — предубеждения, взаимные, разумеется, которые шлейфом тянутся вот уже тридцать три года, суждения, от которых, сколь бы сурово они ни прозвучали, всем станет легче: пора Тольму распрощаться с «Листком», пора лишить его последних иллюзий. Старик все, решительно все вконец запустил, да и сам распустился, «Листок» для него давно уже все равно что темный лес, вечно он только «что-то предчувствует» и ничего, решительно ничего не знает и не смыслит, нет уж, пусть тешится своими искусствоведческими игрушками — мадоннами или фламандцами; бесценный, можно считать, идеальный президент, который теперь еще бог весть почему возомнил, будто его хотят уничтожить, господи, да кому он нужен! Наоборот, ему только желают долгих лет жизни, которую надо всячески хранить и беречь и окончательно избавить от «Листка», этого тяжелого и ненужного бремени. Пусть займется своими мадоннами или там соборами, ему это не только вполне заменит все его вздорные «предчувствия» относительно «Листка» и экономической ситуации, но, вероятно, еще и будет доставлять удовольствие, а президент, который разбирается в мадоннах и соборах и даже способен изрекать по этому поводу что-то вразумительное, да о таком президенте можно только мечтать, он поистине незаменим, и именно поэтому надо всемерно об-

легчить ему бремя президентства: представительство — да, речи — да, но больше ничего, решения — ни в коем случае; нет, тут мало одного Амплангера, мало и прежней референтуры, тут нужны по меньшей мере еще два новых помощника, которые его разгрузят, так сказать, будут расчищать ему путь, может, для этого стоится — хотя не рискованно ли? — Кольцхайм и Грольцер, но это надо еще обдумать. Какая жалость, что сын Тольма пошел — теперь уже иначе не скажешь — по кривой дорожке и, видимо, с этой дорожки его уже не сбить. Мальчик вполне мог бы стать новым Амплангером, а пожалуй, и получше Амплангера, в нем больше чувства, и юмора тоже, да и улыбка человеческая, тогда как над улыбкой Амплангера изощряются шутники («Заменяет любой нож: режет хлеб, сыр, ветчину, колбасы — пригласи Амплангера, и о ножах можешь не беспокоиться»). Молодой Тольм наверняка не был бы столь безупречен, столь до смешного «на уровне», как Амплангер, который неизменно в курсе не только новых, самых новых, но и наиновейших танцев и, к радости обожающих танцы дам, чьи мужья давно уже не слишком ретивые танцоры, отплясывает с ними только по самой последней моде. Есть что-то почти устрашающее в его манере пересказывать свеженькие передовицы из «Франкфуртер альгемайне» или из «Вельт», ловко выдавая их за собственные сокровенные мысли, — нет, Амплангер «в порядке», в своем роде незаменим, и все же ему недостает чего-то, что в этом Рольфе Тольме есть: личность, оригинальность, эта проклятая «изюминка». Это пресловутое «чуть-чуть», которому не научишься, которое не купишь ни за какие деньги, это поганое, почти мистически неуловимое и недостижимое «нечто», что в избытке есть у его матери и, пусть в зачатке, есть у отца: обаяние. А кроме того, он, младший Тольм, понял то, чего никогда уже не усвоит папаша: борьба — вот их лозунг, а вовсе не примирение. Даже в ту пору, когда он швырялся камнями и поджигал машины, в нем все равно было обаяние, и сейчас есть, ничуть не утратилось. И, конечно, он давно сообразил — а может, как и его старик, пока только «предчувствует», — что есть лишь одна страна, где для него, вероятно, подыщется более стоящее занятие, чем собирать яблоки и ремонтировать крестьянские развалюхи: Куба. Вопреки всему, несмотря ни на что — опять эта проклятая Куба, эта огромная вошь в теплой заокеанской шкуре. Да, Хольцпуке успел ему нашептать: молодой Тольм учит испанский у какой-то чилийки, изучает и экономику Кубы, обложился справочниками и даже обзавелся учеником, крестьянским парнем из Хубрайхена. Что ж, он считай что

отрезанный ломоть, его уже никогда, никогда не залучить, не залучить обратно, даже если он, допустим, уедет, а потом вернется, вернуть его все равно нельзя. Даже если из кубинских планов ничего не выйдет — этот предпочтет и дальше собирать орехи, окучивать картошку и плодить детей со своей коммунистической полюбовницей, из одной только гордыни, из ледяного презрения к Цуммерлингу, хоть и не поджигает больше его машины; нет, этот никогда уже не подпалит ни одной машины, не поднимет с земли камень, будет торчать в своей дыре, пересчитывать груши, ремонтировать трактора, будет, как сотни и тысячи ему подобных, соблюдать все законы и хранить каменное презрение к системе. Жаль, что такой принц отпал от короны, а ведь был бы куда лучше Амплангера; был бы. Расточительство: такой сильный ум, такие организаторские способности, да еще в сочетании с такой изобретательной фантазией, притом в удачном, выверенном сочетании. Даже странно — при таких родителях, при таком происхождении... Хотя что-то ведь в них есть; наверно, это и называется «стиль»: никогда, нигде, даже в этом своем замке, они не выглядели выскочками, никогда, — просто удивительно, на нем, Блямпе, а он примерно такого же происхождения, это прямо-таки написано и уже не стереть: грубая рожа, в которой все читают жестокость, хотя жестокости сначала и в помине не было, это потом — раз уж все равно постоянно приписывают — она прорезалась: кто, например, поверит, что по натуре он скорее трусоват? А он одинок, одинок и трусоват. Хильда — вот та верила, и не только верила, понимала. И угораздило же его с ней развестись, после чего и пошла полоса неудачных браков. Кэте Тольм, как всегда, права: его четвертая, Эдельгард, — просто «дура набитая»; у нее даже тело какое-то глупое, нескольких трюков, которые она где-то — где? — разучила, если не поднабралась случайно, хватило недели на три, не больше. Вся эта показушная страстность, сексапильный шепот — все подсмотрено в идиотских фильмах и не доставляет радости ни ему, ни ей; а с недавних пор еще и привычка напиваться, прямо с утра, и наигранная меланхолия, в которой ни на грош, ни на гран подлинности; и вечно одна и та же поза «несчастной женщины», которая ей самой прискучила, и вульгарность — вот она-то как раз чуточку слишком подлинная, чтобы выглядеть просто данью моде. Дура набитая, может, и просто нескладеха, но все равно дура, даже руки — и то глупые, и испорчена насквозь, вероятно, еще школьницей в залах ожидания и дешевых забегаловках пошла с колес, влипла во всю эту мерзость, гашиш и порно, а кро-

ме того, это поколение, судя по всему, просто не способно жить без музыки, если, конечно, это можно назвать музыкой; с утра до вечера, и ночью тоже, если ей не спится,— музыка, музыка, все под музыку! Вероятно, это вполне потянет на уважительную причину для развода: в каждой комнате, даже в туалете,— всюду она понаставила этих проклятых магнитофонов и приемников, которые включает, как автомат, не успев даже отпустить дверную ручку; и в ванной, разумеется, и в спальне, во всех салонах и даже в подвале, когда ей взбредет в голову изображать хозяйку дома и заняться бельем и съестными припасами,— всюду музыка, всюду разбросаны кассеты. К счастью, скоро она, слава богу, уедет куда-то на Кампен или в Нордерней, он не помнит точно, и, конечно, потащит за собой целую свиту охраны, ей это нравится, она уже стала завидовать Тольмам, у которых «охрана еще шикарней»,— это ее последнее увлечение, вроде спорта: по многочисленности охраны определять собственный «ранг» и подсчитывать, на каком она месте — на втором, третьем или четвертом...

Значит, скоро придется с ней расстаться — хорошо бы без особых каверз с ее стороны. Родителей ее жалко, они милые, славные, простые люди, эти Кёлерсы, зачем-то держат наперекор всякому экономическому смыслу свою лавочку, и ничего им не надо, вкалывают по восемнадцать часов в сутки, имеют с этого, наверно, марку восемьдесят — от силы две марки в час, и если все подсчитать — свой дом, за жилье, значит, не платят, хотя проценты с капитала за дом наверняка в расчет не берут, плюс еда и все прочее по оптовым ценам,— набежит что-то около — но это при более чем сточасовой рабочей неделе на каждого, да еще трясись за сроки хранения молока и всего остального,— да, набежит тыщи две с половиной — три в месяц, и они еще убеждены, что «прилично» зарабатывают, хотя в среднем-то за час получают меньше любого турка, а сам-то он эти три тыщи, больше трех, играючи делает за день. Но им, конечно, об этих подсчетах говорить не стоит, такие милые, скромные трудяги, зачем их расстраивать? Живут себе в своем захолустье, их там все уважают, в церковь ходят, в хоре поют, хорошие люди, в своем роде даже культурные. И потом — у них есть стиль: когда пригласили на обед, как все было обставлено, как стол накрыт, и сам старик помогал на кухне, а она, подавая очередное блюдо, всякий раз снимала передник и вешала на стул — да, в этом был стиль. И вино было отличное, и кофе отменный, а домашние эклеры — наверно, старик делал, он когда-то вроде на пекаря учился — вообще объеденье. Конечно, они сдержанные немножко, но

не робкие, нет, ни намек на робость перед всемогущим, богатым, известным зятем, про которого в газетах пишут и который одной своей охраной переполошил всю деревню — там часовые, тут часовые, прямо государственный визит. А ему все это напомнило детство, родителей, у них, пожалуй, было еще поскромней, ну, и по-протестантски, здесь-то все католики — скромней-то скромней, но если сравнивать, надо бы еще знать, каково жилось Кёлерсам лет сорок — пятьдесят назад, пока родители не померли и не отказали им лавочку. Славные люди, они не слишком-то верили в карьеру своей беспутной дочери, и правильно делали, а потом, когда подали кофе и ликер, заставили ее «что-нибудь сыграть», и она сыграла со скучливо-капризной гримаской, в которую вложила все презрение к так называемой классической музыке: надругалась над Шубертом, Шопена исхитрилась испоганить до неузнаваемости, да еще посмела что-то вякнуть насчет «музыкального десерта»; нет, Кэте Тольм права, его четвертая — просто дура набитая; про Кэте ему Амплангер доложил — ему иногда удается перехватить кое-что интересное, наверно, и по телефону тоже.

Пусть едет в Нордерней, пусть ошеломляет там всех своими формами сколько душе угодно. А он позвонит Тольмам, съездит к ним на чай или позовет на чай к себе, на худой конец и сам выпьет; давно пора кое-что прояснить. Да, конечно, это он «зафиндилил» Тольма, но вовсе не для того, чтобы уничтожить, наоборот — чтобы разгрузить, чтобы окончательно избавить от «Листка». Ведь это «Листок» сидит у него в костях, наливает свинцом ноги, по его же, кстати, вине — не надо было все так запустать. Вот и пусть насладится покоем, отдохнет, получит помимо Амплангера и штаба референтуры еще двух помощников, пусть живет и здравствует. Ну и, конечно, предубеждения, что тянутся шлейфом вот уже больше тридцати лет, еще из лагеря. Разумеется, он вовсе не был там «милягой», таким кротким агнцем, но и не прикидывался «кротким», никогда не выставлял напоказ свою кротость наподобие герба, однако не надо и передергивать, путать невольную суровость с жестокостью, сеять легенды, будто он с детства жил на всем готовом.

На чем готовом? Может, на «доходах» от жалкой текстильной лавчонки в Доберахе, где мать зимой скрюченными от мороза пальцами перебирала грошовый хлам, продавая пуговицы и нитки, в хороший день — в лучшем случае — моток резинки, чтобы подлатать трико или кальсоны, где, бывало, покупали одну, в скобках прописью — одну иголку, редко-редко пару носков, и где шла

тайная, но беспощадная битва за каждый пфенниг, когда приближался день конфирмации: поднять цены, еще чуть-чуть поднять — да пропади оно все пропадом! Ну и конечно, он рано записался в штурмовые отряды, в СА, а как же иначе, хотя бы ради отцовских заказов, которые после действительно обеспечили им более или менее вольготную жизнь, почти процветание, потому что папа получил что-то вроде монополии на форменные рубашки и кителя, брюки и галстуки, а потом и на сапоги, но и на вечные склоки с сапожниками и владельцами обувных магазинов, шляпных дел мастерами и владельцами шляпных салонов, потому что помимо сапог папа получил еще и монополию на фуражки, но кто, кто в ту пору помышлял об убийствах? Кто? Даже добренький старый пастор Штермиш, принявший его в лоно церкви, и тот попался на удочку, тоже подпевал, тоже сюсюкал что-то национальное и антисемитское, а отцу во время ариизации прямо посоветовал «не слишком усердствовать в милосердии». Штермиш за счет общины направил его в университет, ну, а диссертацию и докторский диплом — это уже отец смог финансировать и сам, «Проблемы текстильного производства в периоды сырьевых кризисов» на опыте первой мировой войны — тема, пришедшаяся «в масть», когда и впрямь разразилась вторая мировая война. Тут он уж точно был — и остается — незаменим, ему предоставили все возможности применять, совершенствовать, подправлять и развивать свою теорию, рук он не запятнал ни кровью, ни взятками, но когда американцы его посадили, что ж, это было логично, даже как бы почетно, — ведь они приняли его за куда более важную шишку, чем он сам о себе когда-либо мог возомнить. Об этом — чтобы он не слишком о себе возомнил — Хильда позаботилась, его жена, про которую сейчас с оттенком почтительности говорят «его первая»: вот уж кого никак не назовешь «дурой набитой», чего нет, того нет, ни в чем, даже по хозяйству, бережлива — да, но не скаредничала, скупала земли, абсолютно легально, все как у людей, и даже успокаивала его, когда груды кровавого, спекшегося, изодранного, изрешеченного «вторичного» текстиля — штатской и военной одежды — мало-помалу начали действовать ему на нервы, ведь там были и детские вещи. Такое было время, такие законы: одежда расстрелянных и повешенных, из тюрем и с плацев, доставлялась на фабрики и шла в «переработку», не говоря уж о «вражеском текстиле», под которым подразумевался отнюдь не только готовый трофейный текстиль, но и детская одежда — а у него ведь у самого дети, Мартин и Роберт, — тут по-

неволе станешь суровым, а иногда, быть может, и жестоким, может быть. Но Хильда была с ним, хорошая, умная жена, и по хозяйству, и в делах, и даже по музыкальной части — и сыграет так душевно, и сама же споет, да, она была ему хорошей женой, и в готовке, и вообще во всем.

Да вот беда: после войны, когда он вышел из лагеря и по настоянию Бэнгорса снова стал текстиль-уполномоченным, — они ведь ничего, ни единой капли пролитой крови не смогли ему предъявить, ничего! — у него не получалось, он не мог с ней спать, не находил подступа, не находил доступа к ней. Со шлюхами, к которым его иногда брал с собой Бэнгорс, получалось, даже и потом, после той жуткой истории в банке, о которой он до сих пор так ни с кем и словом не обмолвился, даже с Бэнгорсом, хоть тот и был свидетелем, безмолвным свидетелем: ночью, когда они в государственном банке буквально лопатами гребли деньги и содержимое сейфов, гребли и загружали в мешки, вдруг, откуда ни возьмись, женщина, молодая, в одеяле, бог знает, какая нелегкая ее принесла, видно, пряталась, — ну, он хватанул автомат Бэнгорса и уложил ее на месте. Он вообще тогда первый раз в жизни стрелял, первый и последний, а та женщина, распластавшись на куче денег, превратила их в «кровные» деньги, кровные в буквальном смысле слова. Они так все и оставили, и тело, и деньги, только одеяло набросили, деньгами присыпали, — и прочь, скорее прочь, в машину и в лагерное казино, напиться, напиться, и больше ни слова об этом, никогда ни слова! Потом он еще долго со страхом изучал газеты, все ждал заметку про труп, потом про скелет, обнаруженный в подвале государственного банка, — нигде ничего, ни строчки. Может, ему все только привиделось, может, это был сон, призрак? Но видение преследует его всю жизнь, неотвязно, оно вставало перед глазами, едва он обнимал Хильду, вставало, когда Мартин и Роберт приходили целовать его перед сном, — суровые, мучительные годы, когда он сколачивал свою империю, текстиль с Фишерами, которые в политическом смысле абсолютно вне подозрений, недвижимость с помощью Хильды, потом бумага — это уже с Кортшеде — и печать с Цуммерлингом, он поднимал целину, надо было спешить, покуда матерые волки снова не вышли из своих клеток. Нет, ему ничто не досталось даром, ничто не свалилось прямо в руки, отцовское дело не в счет, это так, хлам, жалкая лавчонка, где после войны долго еще истлевали несколько сотен форменных коричневых рубашек СА, они даже в перекраску не годились.

С Хильдой в конце концов все же пришлось разойтись. Но он прилично ее обеспечил, она до сих пор его сопра-

вительница. Мартин стал учителем, очень славный малый, честный, прямой, а Роберт — даже трогательно — пастором, оба от него далеки, оба, как и их жены, бывают слегка смущены, когда он вдруг нагрянет в гости. Другая, совсем чужая жизнь, как слайды, которые снимали без тебя, — а ведь это его дети, сынки, родная кровь, но оба совершенно непригодны к тому, к чему пригоден, мог бы быть пригоден Рольф Тольм; и, конечно, он навещает Хильду — та поселилась в глуши, в горах, но, несмотря на возраст, сумела выучиться на налогового инспектора: воспоминания, которых уже не оживить, застывшие, как под стеклом, и здесь и не здесь, легкая волна былой теплоты, когда он склоняется пожать ей руки, и все тот же, все тот же немой вопрос в ее глазах: «Почему?» И ничего не объяснишь, не скажешь про кошмар, который преследует тебя неотвязно, гонит и гонит из попойки в попойку, из борделя в бордель, из одной мечты о счастливом браке в другую, хотя все они рушатся.

Нет, баста, «пятого номера» не будет. В шестьдесят пять не зазорно и отказаться от брачных иллюзий. Но почему, черт возьми, подобными кошмарами вовсе не мучится Тольм, а он, судя по всему, вовсе не мучится, этот лощеный эстет, скользкий как угорь, этот размазня и болтун, который как-никак целой батареей командовал и жажал в русских почем зря, сколько народу небось в клочки разнес, в том числе, наверно, женщин и детей, когда обстреливал несчастные мирные деревни, а при отступлении просто приказывал палить куда попало. Вообще, эти армейские хлыщи, которые так много воображают о себе и о своей вонючей офицерской чести, — а на чьей, позвольте спросить, совести все это кровавое, ссохшееся, изрешеченное пулями тряпье? Нет-нет, разумеется, эти господа на войне не «наживались». Он, что ли, наживался? Да кому были нужны эти ворохами сваленные деньги, давно списанные со всех счетов, эти бумажки, которых было бог весть сколько миллиардов и которые каждый тогда считал мусором? Так почему бы не купить на них дома и участки, на законных основаниях, корректно, почему не дать денег тем, кто срочно в них нуждался, и притом далеко не рыночную, не официальную цену, а много больше? Кому и какой от этого вред? Вон Тольм — конечно, всего лишь мелкая рыбешка, старший лейтенант артиллерии, чьими вероятными преступлениями никто и не подумал поинтересоваться, его и выпустили сразу, через каких-нибудь восемь месяцев, да еще преподнесли в подарок «Листок», из которого он ничего, абсолютно ничего путного не сумел сделать, — разве он ничего не выгадал на войне?

А недавно Бэнгорс пожаловал, уже на пенсии, весь седой, конечно, благообразный, дослужился до генерала — Корея, Вьетнам, ну и прочее. Пришлось отужинать с ним в «Эксельсиоре» и с Эдельгард, конечно, от нее не отделаешься,— милый вечер, так это, кажется, называется, действительно милая жена Бэнгорса, которая даже могла себе позволить деликатно шепнуть на ушко Эдельгард несколько тактичных советов по части хороших манер. «Да,— похвастался Бэнгорс,— это и есть Мэри, моя первая и единственная». Сам — спортивный, подтянутый, но без этой омерзительной моложавой «стройности», к которой столь упорно — и тщетно — стремится Эдельгард, так до сих пор и не усвоившая, что от пьянства тоже толстеют, а тем более от сладостей, если поглощать их беспрерывно, расхаживая из комнаты в комнату и всюду включая эту свою чертову музыку. А вообще — ничего, милые, эти Бэнгорсы, она милее, чем он, но он тоже, что называется, джентльмен, хоть рисуй — а ведь своими ногами подгробал тогда деньги к трупу, там, в подвале банка, подгробал, как листья в лесу, когда набредешь на какую-нибудь падаль, а потом, сощурился, понюхал ствол автомата — и прочь, прочь. И ни слова об этом, ни намек, даже не подмигнул ни разу, когда ужинали в «Эксельсиоре», и потом, в баре, где пили кофе с коньяком, а дамы воздавали должное ликерам,— тоже ни гугу. И все равно — вечно этот кошмар, этот ужас, перехвативший горло, когда Кортшеде в свое время его спросил: «Подумай, Блямп, хорошенько подумай, ведь они перевероят всю твою жизнь,— не спрятан ли у тебя труп в подвале?» Спросил, конечно, в переносном смысле, но он-то мог ответить и в буквальном: да, спрятан, спрятан труп в подвале государственного банка в Доберахе. Он, наверно, сразу сам побледнел не хуже мертвеца, потому что Кортшеде потрепал его по плечу и сказал: «Ну-ну, спокойно, спокойно, я же не о том, что записано в твоём денацификационном деле,— может, что по молодости, партия или еще что-нибудь, мало ли что могут раскопать...» Нет, ничего, только труп в подвале. Но труп так и не раскопали, а свидетелей не было, вернее, был один, но он за это время, вероятно, повидал, а может быть, и взял на душу столько трупов, что о том, давнишнем, начисто позабыл. Кофе и коньяк, дамы за ликером и даже там, в баре, опять эта проклятая, вездесущая музыка, там, правда, хоть танцевали.

С Маргарет, его второй женой, об этом тоже нечего было и заикаться: нет, не то чтобы совсем дура набитая, но все же порядком с придурью, одна из его секретарш, вообще-то даже ничего, но трех лет ему хватило за глаза;

Маргарет была помешана на культуре, Флоренция и Венеция, Джотто, Мантенья и все такое, к тому же — «Господи, Ассизи, ради чего же еще приезжать в Ассизи!» — перешла в католичество, окружила себя любомудрыми монахами, основала журнал, ну ладно, непременно хотела квартиру на Пьяцца Навона, ладно, все лучше, чем эта телка с музыкой, его четвертая, но потом все-таки зашла слишком далеко, дальше, чем он даже в мыслях мог бы ей позволить, закрутила с модным итальянским леваком, — правда, красавчик, ничего не скажешь, — и не просто там шашни, а всерьез, и все обнаружилось, стало достоянием гласности, а уж это никуда не годится, то есть, пока все ограничивалось слухами, безвредной и даже лестной светской болтовней, — это еще куда ни шло, но когда всплыли фотографии, где она с этим мозгляком на пляже в чем мать родила, нет, увольте. Было в ней, в Маргарет, что-то от декоративного украшения, да и сама она умела украшать себе жизнь. Флоренция, Венеция, Джотто, Мантенья, Ассизи — разве он против? Но это уж ни в какие ворота, даже друзья и те советовали развестись, а особенно настойчиво Цуммерлинг, именно он, который первым опубликовал фотографии; и хотя вина однозначно была на ней, на Маргарет, он проявил великодушие: пусть оставит себе и дом во Фьезоле, и машину, и еще кое-что в придачу, пусть выходит за своего итальяшку, может, у них и вправду любовь, которой он так никогда и не встретил, пусть, ему не жалко, — они даже обвенчались в церкви, все по закону, чин чином, как у людей, она до сих пор шлет ему иногда открытки, в конце всегда чудная приписка: «Я тебе все простила, все». Умора, да и только, — не иначе как это она о пощечине, которую он ей влепил, когда однажды за завтраком она вдруг ни с того ни с сего буквально взвыла в голос, и все потому, что какой-то псих где-то расцарапал какого-то Рембрандта. Нет, столько культуры — это уж правда не для его нервов, вот он и вмазал. А она, значит, простила. Ну ладно.

С третьей он сам, что называется, не по чину хватил: эта деревенская девочка с модильяниевским лицом и вправду была не про его честь; тут он пал жертвой предрассудков, о которых сегодня прямо-таки смешно говорить, но она, Элизабет, вовсе их таковыми не считала. И не потому, что работала уборщицей — а она действительно однажды вечером, когда он засиделся в кабинете, предстала перед ним с ведром, совком и веником, — нет, в наши дни уборкой добывает себе хлеб множество женщин, которые отнюдь уборщицами не являются, беженки, безработные всех мастей, нет, тут другое: она действительно

была уборщицей, самой настоящей, эта деревенская девочка из Истрии, и заполучить ее он смог только после свадьбы; ну, и настали тяжкие времена, он сделался всеобщим посмешищем, как-никак ему было уже к шестидесяти, а ей двадцать четыре. «Блямп влюбился, подумать только, это ж надо — Блямп». Издевались все кому не лень, пожалуй, только Кэте да еще Фриц Тольм не участвовали, они, наверно, тихо дивились про себя, что на сей раз он действительно влип. Для прессы это было самое настоящее пиршество, и он щедро подбрасывал прессе кусок за куском: еще бы, он вместе с Элизабет, тестем и тещей на пороге жалкой крестьянской лачуги, сельская свадьба с таким обилием плясок, какое ему при всем желании уже не потянуть, и тут же нелады, затруднения из-за того, что он разведенный, а Элизабет католичка, сетования родителей, их горестный отказ от церковного венчания, который и сама Элизабет приняла очень тяжело, — а в итоге продержался совсем недолго, этот третий его брак, меньше всех остальных, не устоял, и не столько перед видением, которое по-прежнему его не отпускало, сколько перед неколебимым достоинством Элизабет — господи, какой-то уборщицы! Лишь с очень немногими людьми его круга она согласна была общаться, а меньше всего с Фишерами, которым он по текстильной линии и по «Пчелиному улью» все-таки многим обязан, и тут не помогли даже многократные напоминания, что Фишеры — действительно католики, самые настоящие, и что это не только доказуемо, но и доказано, даже удостоверено вполне серьезными церковными инстанциями; все бесполезно. К Фишерам ее нельзя было затащить никакими силами, к Тольмам — сколько угодно, но те сами от него нос воротят. Как ни удивительно, ей понравился Кортшеде и даже Плифгер. Но всех остальных она считала «скверной компанией, очень скверной», а про многих говорила, что «они воняют, ты просто не чувствуешь», а когда он едва-едва начал пестовать нечто вроде дружбы между ней и Сабинной Фишер, было уже слишком поздно, брак рухнул, она уехала в Югославию; под конец она до того дошла, что и правительственных бонз высокого, а то и высшего полета тоже стала называть «вонючками». «Они все воняют, вы просто не чувствуете». А потом призналась ему, что и он тоже воняет, «не всегда, но часто», твердила это даже в интимные минуты, когда он забывал с ней и свое жуткое видение, и всех своих шлюх, а просьбы объяснить, в чем именно и как вонь проявляется, ответом не достаивала. Под конец с ней стало просто опасно появляться на людях: сморщив носик, она обнюхивала всех подряд, бросала лаконич-

ное «воняет», «не воняет», причем вовсе не в каком-то там моральном смысле, а прямо и во всеуслышанье говорила о «вонючей немецкой чистоплотности». Пришлось ее спровадить обратно в Истрию, он дал ей денег на маленький, но шикарный отель, где ей, надо надеяться, не понадобится принимать других вонючих немцев, но все еще мечтает, тоскует о ней, тоскует о Хильде, о своих милых и честных сыновьях, а теперь вот с содроганием думает об ответном приглашении, которое он Бэнгорсам задолжал: все-таки была — или почудилось?— у Бэнгорса этакая нехорошая искорка в глазах, хитроватый огонек сообщничества, но ничего он не сделает, не станет же себя топить. В конце концов, тот труп в подвале не за ним одним числится. Видно, кто-то уже после них прибрал к рукам «кровные денежки», а заодно прибрал и труп.

Да, от Эдельгард так легко не отделаешься. Вздорная баба и, как последняя идиотка, обожает роскошь, к которой бог весть почему относит еще и охрану; а охрану у нее, конечно, либо вовсе снимут, либо очень сильно сократят. Добро бы, в ней самой хоть что-то было, так нет, а все равно — роскошь ей подавай: просиживает целыми днями в дорогих отелях, листает журналы, слушает свою проклятую музыку, доводит полицейских до белого каления и упивается своим «протокольным рангом», дурит голову мужикам, вот только ни один так и не захотел попользоваться, ни один всерьез не клюнул, но ей, похоже, и не больно надо. Нет, эта хуже всякой шлюхи, испорчена на корню, еще с малолетства, на вокзалах, в дешевых закусовых, а вот его окрутила, сперва прикинулась, будто так по нему и сохнет, а потом запела про честь, девственность и даже родителей не постыдилась вовлечь в этот могучий хорал, хотя сама небось еще в двенадцать, а в тринадцать-то уж точно приняла «боевое крещение». И ведь знала, когда подступиться, — Элизабет только-только уехала, потаскухами он был сыт по горло, вот и балдел допоздна в своем кабинете, а она тут как тут со своими дешевыми трюками: свеженький кофеек, и ручку невзначай на плечо, и, конечно же, эти бездарные груди, щедро разложенные в вырезе платья. Ну, а потом крик, слезы, честь, девственность, родители и снова свадьба, четвертая. Нет, от нее так легко не отделаешься, а уж дешево и по-давно. Все, баста, пятой не будет. Спутница жизни, вот кто ему нужен, вроде Кэте Тольм, которая даже глупости и те совершает очаровательно. Хольцпуке намекнул ему, что она со своим сыночком Гербертом, у которого не поймешь, что на уме, видимо, все-таки помогала деньгами этой Веронике. У Кэте даже набожность и то без обмана,

нет, такая женщина — это чистое золото, как и ее дочь, Сабина, которая и на коне, и с младенцем на руках, и в церкви, и на танцах, даже у плиты,— всюду диво как хороша, нет, такое не купишь, пришлось однажды с глазу на глаз, по-мужски так и объяснить молодому Фишеру, чтобы не очень-то дурил, не вздумал обижать девочку ни словом, ни действием, ни, чего доброго, в спальне, а то он тоже в последнее время малость сдвинулся, так сказать, на порнопочве. Малютка Тольм — это же драгоценность, гораздо более хрупкая, чем кажется на вид, тут надо тонко, с душой, и уж ни в коем разе не с обезьяньими плейбойскими ухватками, которыми этот балбес, судя по всему, ее замучил,— нет, нельзя допустить, чтобы такая девочка зачахла или, еще того хуже, отбилась от рук и сбежала куда-нибудь, нет, он не даст в обиду ни ее, ни ее прелестную, ангельскую дочурку. И старика поддержать надо. Остается, правда, еще Герберт, которого никому, включая полицию, не удалось раскусить. Философией занимается, а это не к добру; надо, обязательно надо при случае обсудить все эти вопросы с Дольмером, а то и со Стабски, тут ведь затронуты не одни только интересы объединения, тут дело государственное.

Но сперва неплохо бы выяснить, как там эти молодцы, Кольцхайм и Грольцер,— перебесились наконец или до сих пор дураят? Эти-то в свое время и впрямь отбились от рук, обрыдло им петь и подпевать с чужого голоса, обрыдла стальная улыбка Амплангера, вот и пустились во все тяжкие, запили по-черному, спутались с бабами, да еще как-то неудачно спутались, без толку, подлые попались твари: и квартиру им, и меха, и вообще купай их в шампанском. А потом, видно совсем уж с тоски, стали баловаться новомодными извращениями: втроем, вчетвером, а то и дюжиной. В общем, хватили через край, и из кассы тоже: командировочные, представительские, короче — финансовые злоупотребления. Ну, а уж тут пеняй на себя, и никакой пощады — на фронт, на передовую; поставили их перед выбором: либо суд, либо «испытание огнем», и не в штабах — в окопах. Либо три-четыре годика за решеткой, либо разжалование; они выбрали второе, ну, их и уpekли в супермаркет, и не в обычный, а куда подалее, в глубинку,— пусть покопаются в грязи, узнают, каково воевать за повышение оборота, школить продавщиц, орать на уборщиц, всучивать покупателям пожухлый салат, ломать голову над уценкой, каждое утро точнехонько, минута в минуту, являться на работу в белом, но слегка заляпанном халате и каждый вечер снимать кассу. Там, в глубинке, если охота не пропала, могут и пораз-

влечься: вступить в местный туристический клуб, отплясывать на карнавалах и стрелковых праздниках, вместе с клубом в соответствующей экипировке — красные гетры, посох, рюкзак — ходить в походы «по полям, по лесам», а по части секса сколько угодно доказывать свою моральную стойкость на провинциальных вечеринках. Да, уже года три-четыре, как они на передовой. Надо бы узнать, насколько успешно идет боевая закалка, удалось ли им продвинуться — без посторонней помощи, в рамках скромных возможностей окопного героизма. Хорошие были ассистенты, эти Кольцхайм и Грольцер, образованные, с дипломами, и шустрые социологи, владевшие левацкой терминологией и правой аргументацией. Жаль, если они совсем пропадут, погрязнут в пучках салата и жалких интрижках с продавщицами. Надо бы запросить у Амплангера рапорт, и надо, надо позвонить Тольмам, пора наконец поговорить по-людски, тридцать три года они таскают за собой предубеждения, как вериги. Может, и Хильде стоит позвонить, попросить ее вернуться — если не спутницей жизни, то хотя бы экономкой; сколько можно выглядеть таким чурбаном, надоело, да и без надобности уже, а от баб он устал, даже от шлюх. Но первым делом надо внушить Тольму: никто и не думает его уничтожить. Наоборот, его хотят охранить и уберечь, и пусть, наконец, сколько душе угодно цацкается со своими мадоннами, соборами и распятиями, пусть живет и здравствует — чем дольше, тем лучше, а если Кольцхайм и Грольцер образумились, пройдя очистительное горнило, то лучших помощников не сыскать: ребята молодые, элегантные, с юмором и после трех-четырёх лет закалки уж точно не избалованные. Наверно, Кэте Тольм — единственная живая душа, кому он смог бы рассказать про труп в подвале, про свое одиночество.

ХП

После завтрака, подумать только, и в самом деле пожаловала депутация от «Листка», с цветами и увеличенной, наклеенной на лист картона первой страницей утреннего выпуска, посвященного его избранию. Очень трогательно, он и в самом деле не на шутку расчувствовался, тем более что делегировали всего троих: старика Тёниса, формально он все еще главный редактор, из старой эмигрантской гвардии, которую подобрал тогда майор Уэллер, ведь от одной лицензии да бумаги проку мало; благодаря Тёнису и коммунисту Шрётеру, что потом столь бесследно исчез, он хоть что-то понял в журнали-

стике, они беспрестанно жужжали ему это словечко «жур, жур, жур» — день, днем, ради дня. Понять-то понял, а вот освоить не сумел, о чем бы ни писал, так и не смог избавиться от академической обстоятельности и многословия. И Блёрля прислали, одного из первых наборщиков, и его секретаршу Биргит Цатгер, тоже далеко не первой молодости, все из старой гвардии, давно привязаны к нему, а он к ним,— и он и они это знают. Тёнис и вправду где-то раскопал его диссертацию, «Развитие прирейнской сельской архитектуры XIX века» — об этих угрюмых, чопорных, холодных домах с их неизменным глухим квадратом подворья, скукота... Одна надежда, что эту не слишком лестную диссертацию, где так много сопоставлений с северной и южнонемецкой сельской архитектурой, никто так и не удосужился прочесть. Чем-то эти нудные фасады неизменно напоминали ему исповедальни, ну а уж тут он бессилен...

Старые фотографии: вот он, мальчишкой, на велосипеде на фоне замка, потом студент, а вот и после войны, возвращенец; про Кэте тоже не забыли — молодая жена с Рольфом на руках, во главе стола в гостях у Цуммерлинга; а вот опять он сам — в послевоенных орденах, в окружении улыбчивых министров. «Состоявшаяся жизнь, счастливая жизнь». Он и правда пустил слезу, когда чокался с Тёнисом, Блёрлем, секретаршей и Кэте — та хоть и не плакала, но глаза тоже на мокром месте. Шампанское, сигары, обещание предстать перед сотрудниками редакции, которые тоже чувствуют себя совиновниками торжества, для поздравлений, а он еще во внезапном порыве чувств зачем-то предложил Тёнису перейти на «ты», это после тридцати трех лет совместной работы, мучительно пытался припомнить его имя, понимая, что ситуация неловкая, момент выбран неудачный; Тёнис смутился, никак не отваживался назвать его Фрицем, а тут его наконец, но слишком поздно, осенило, что Тёниса зовут Генрих, а сам все время думал о Сабине, ее будущем, думал о пророчестве Кортшеде, о новом, неизбежном изгнании — куда? куда?

Да, в душе он уже прощался с замком и вдруг понял, что дети никогда особенно не любили сюда приезжать, даже Сабина. Замок остался для них чужим, они тоскуют по Айкельхофу, это их потерянный рай, хотя какой там рай: огромный, сырой, полусгнивший склеп, отремонтировать — напрасный труд, а все попытки возродить здесь, в замке, айкельхофские обычаи и привычки потерпели полный крах. Иногда он всерьез подумывал, не снять ли апартаменты в одном из кёльнских отелей, специально для встреч с детьми, но Кэте отвергла этот план как «совсем

уж дикость». И все-таки это гораздо проще, чем всякий раз, отправляясь к детям, тащить за собой всю свиту охранников; может, и надо бы купить часть отеля в Кёльне. Тем более что Кёльн-то они уж вряд ли станут сносить. Хотя город наверняка тоже стоит на «буром золоте», а современной технике, несомненно, вполне по зубам разобрать Кёльнский собор и поставить его где-нибудь в другом месте.

Когда Кэте, еще бледнее, чем вчера, явно напуганная, позвала его к телефону, он первым делом подумал о Рольфе, потом о Цуммерлинге. С таким же вот белым от испуга лицом она передала ему трубку, когда арестовали Рольфа и когда Вероника с Беверло и Хольгером исчезли — тоже; и оба раза горевестником был Цуммерлинг, который не только сообщал ему новость, но и с церемонными извинениями уведомлял, что не в состоянии помешать ее публичной огласке. Его не удивило, что это опять Цуммерлинг: как-никак у того самая оперативная служба информации, повсюду ищейки, и только тут ему пришло в голову, что это, может быть, что-нибудь с Гербертом, у которого хватит ума не только придумать, но и наделать глупостей. У него достало присутствия духа, уже с трубкой в руке, махнуть на прощание Тёнису, которому Блуртмель как раз подавал пальто в прихожей. Кэте сняла параллельную трубку и кивнула. Только тогда он произнес:

— Слушаю.

— На сей раз, мой дорогой Тольм,— начал Цуммерлинг своим теплым, приятным баритоном,— чтобы вы не слишком пугались, сразу скажу: вашей семьи это не касается. Но новость достаточно тяжелая: Кортшеде застрелился, в своей машине, в лесу под Тролльшайдом. Вы меня слышите, дорогой Тольм?

— Да-да, слышу... просто... я... как-то в голове не укладывается...

— Обезображен до ужаса, а в кармане письмо — вам. Хольцпуке, а может, сам Дольмер скоро вам его вручат. Это бомба, а не письмо, Тольм, и оно никогда, ни в коем случае не должно стать достоянием гласности, вы меня слышите?

— Письмо, адресованное мне, которое я еще не прочел, и содержание которого вы, как я понимаю, уже знаете,— вам не кажется, что это несколько странно? Кортшеде был моим другом, настоящим другом, одним из немногих моих друзей...

— Конверт нашли у него в кармане, он не был надписан. Пришлось вскрыть. Из обращения «Дорогой Фриц» и из дальнейшего явствует, что письмо вам. Разумеется, конверт вам тоже вручат. Письмо, кстати, все равно при-

шлось бы вскрыть, оно ведь могло содержать указания на убийцу или сообщников,— там, кстати, есть крайне щекотливые пассажи, связанные с этим мальчишкой, которого он называет Пташечкой. И вообще — это документ, пронизанный неким эсхатологическим безумием. Так что я взываю к вам не только как к нашему новоизбранному президенту, но и как к владельцу «Листка» со всеми его ответвлениями... Дорогой Тольм, вы меня слышите?

— Да, я вас слышу. Неужели вы не понимаете, что я хотел бы сам прочесть письмо, прежде чем выслушивать от вас его конспективное изложение... и уж тогда, после того как я его прочту, мы бы, возможно, вместе подумали, что предпринять с адресованным мне письмом. Мне к тому же не вполне ясно, с какой стати меня информируете вы, а не Хольцпуке или Дольмер, ведь вы, прошу прощения, сколько мне известно, лицо не уполномоченное.

Цуммерлинг рассмеялся:

— Так ведь Дольмер меня и попросил поговорить с вами, прежде чем сам с вами побеседует и, возможно, вручит вам письмо...

— Возможно? Письмо, принадлежащее мне?

— Видите ли, это настолько взрывоопасная штука, что — поверьте, я тут совершенно ни при чем — Дольмер решил сперва позвонить мне, не исключено, что даже Стабски уже в курсе. Тут такое дело, дорогой Тольм, что вряд ли следует быть излишне щепетильным, тем более что вам и без того предстоит семейные неприятности... Вы слушаете, Тольм? Алло...

— Да-да, я слушаю. Значит, ваши специалисты по беременности и зачатиям все-таки не утерпели?

— Ах ты господи, Тольм... Возможные шалости вашей дочери у меня лично вызывают скорее симпатию, беда в том, что ваш зять рвет и мечет. И вовсе не из-за возможных шалостей, о которых он, по-видимому, не желает догадываться, а из-за окружения, в котором соизволит пребывать ваша дочь.

— Со вчерашнего вечера.

— Да, со вчерашнего вечера, но, вероятно, еще не на один вечер и не на один день: вашей дочери, судя по всему, там очень нравится. А ваш зять, по слухам, крайне опасается, что его дочери там тоже может понравиться, слишком понравиться, и, видимо, уже готовит иск, а точнее — отшлифовывает с помощью своих адвокатов формулировку иска. Нашему представителю в Ванкувере...

— Где?

— В Ванкувере, это в Канаде, он заявил нашему представителю, что он — цитирую дословно — этого дела так

не оставит и предъявит иск в ущемлении его родительских прав; но вернемся к Кортшеде: вынужденная изоляция, синдром тюрьмы, психоз, а потом разлука с этим мальчишкой, которому все-таки намотали пять лет,— тут все сошлось. И конечно, Тольм, вам как его другу и коллеге, в вашем новом качестве надо бы произнести надгробную речь, не забывайте, чьей жертвой он, в сущности, пал... А что касается вашей дочери, то мы, разумеется, обеспечим полнейшую снисходительность. Наш человек в Ванкувере...

Тут Кэте включилась в разговор и спокойно произнесла:

— Кортшеде был его другом, даже близким другом, и он произнесет надгробную речь, и мы, конечно же, будем терпеливо ждать письмо, которое когда-нибудь, вероятно, даже сможем прочесть, хоть оно и адресовано Фрицу. Что же до нашей семьи, то вашим заверениям я не верю и никакой снисходительности не жду, нет, благодарю, пожалуйста, не надо. Кстати, у нас ведь, кажется, свобода прессы, или я ошибаюсь? Вот и обеспечьте прессе полнейшую свободу.

— Не плачь, Тольм,— спокойно сказала она, кивнув Тёнису, который испуганно ретировался вместе с Блёрлем и секретаршей.— Пошли, давай-ка выглянем на террасу.

— Так ведь дождь.

— От дождя, я слышала, укрываются под зонтиком, а кроме того, Рольф мне объяснил, что зонтик спасает и еще кое от чего,— она усмехнулась,— так сказать, от всепроникающего любопытства.— Она прошла в спальню, вернулась с большущим желтым зонтиком от солнца, очень глубоким, открыла дверь на террасу и потянула его за собой. Ему было зябко, он колебался, но она твердо взяла его под локоть и раскрыла зонтик.— Вообще-то надо было отломать или отпилить спицы,— прошептала она,— но я все не решаюсь, потому что тогда он, по-моему, не будет раскрываться. Рольф мне говорил, что под таким вот глубоким зонтиком — пусть даже со всеми этими спицами и железяками — они почти ничего не могут услышать. А теперь скажи-ка: ты знал про этого Пташечку, или как его там?

— Да, и давно, Кортшеде поверял мне и это, он поверял мне много всего, о чем я не имею права рассказать — печальные семейные тайны. Да, я знал, что он такой, и про мальчишку этого он мне говорил, и про то, как с его ведома их подслушивали, потому что мальчишка-то преступник. Но любить преступников, по-моему, не преступление. Как ты считаешь? Даже преступников-сыновей.

— А преступниц-невесток?

— Нет, Веронику я не люблю, я был к ней привязан, это верно. И все-таки мне немного жутко: Блямп и в са-

мом деле пригласил нас на чай, как они могли об этом узнать, заранее, понимаешь? Он сегодня с утра позвонил, у него был такой... теплый голос.

— Может, его четвертая много болтает в барах, а кто-нибудь слушает. В конце концов, стены имеют уши, а свои люди, наверно, есть и у тех.

— Судя по всему, у него исповедальный зуд — это я о Блямпе, — что-то я за ним такого не припомню. И чая он, по-моему, сроду не пил, я, во всяком случае, не видел. Да и она не похожа на завзятую чаевницу. Впрочем, он сказал, что ее не будет.

— Она пьет джин с тоником, с утра, и чистый виски. Кроме того, она помешана на туфлях. Верно, что она была продавщицей в обувном магазине? Ты замерз? Принести тебе плед?

— Нет, спасибо. А что, отличное изобретение: прятаться под зонтиком на собственной террасе и шептаться с собственной женой в надежде, что вас не подслушают. Хотя, по мне, пусть слушают. Нет, продавщицей она не была.

— Знаешь, как подумаю о туфлях, всегда вспоминаю Генриха Беверло.

— Он — и туфли?

— Ну да. Он знал толк в женских ножках.

— В чем, в чем?

— В женских ножках, я же сказала. А почему бы преступнику, даже особо опасному, не знать толк в женских ножках? В Айкельхофе он мне всегда помогал выбирать туфли. Ты же знаешь, я до сих пор верна Кутшхеберу, может, из сентиментальности или из благодарности: ведь раньше, когда у меня было туго с деньгами, он всегда продавал мне со скидкой, ах, господи, «всегда» — раз, от силы два раза в год, — сейчас я покупаю чаще, плачу дороже и только наличными, но все равно храню ему верность. Так вот, когда мы жили в Айкельхофе, Кутшхебер присылал мне обувь на дом, у меня же свободной минутки не было: трое детей на руках, всякий день гости. Вот тогда-то и нашелся у меня отличный консультант — Беверло. Да, он знал толк в женских ножках. Он чувствовал грань между удобством и элегантностью и знал, где ее можно переступить, а где нельзя. И всегда порицал меня за мою слабость к слишком удобной обуви, он, кстати, и Веронику тоже консультировал уже тогда, как сейчас, не знаю. А ты в ту пору и дома-то почти не бывал, вот и не помнишь. Он считал, что мои ноги обидно уродовать «какими-то шлепанцами». И из дюжины пар безошибочно выхватывал то, что надо: и удобно и элегантно. А если два эти требования — удобство и элегантность — вступали в кон-

фликт, всегда решал в пользу элегантности. Он, кстати, и варенье варит замечательно, а его ежевичное вообще было вне конкуренции — ты, между прочим, частенько едал и нахваливал. Да знаю, знаю я, что он убийца, опасный преступник, но что он тонкий, интеллигентный и очень деликатный мальчик — это тоже факт.

— Ты еще скажи «милый»...

— И милый тоже, но не это в нем главное, это так, сбоку припека,— а вот что испорченный, это да, до мозга костей. И нечего на меня так смотреть — еще бы не испорченный! Слишком много позволяли ему возиться с деньгами, с деньгами и больше ни с чем, как и Рольфу, которого эта банковская белиберда и довела до ручки. Но Рольф-то хоть образумился, а вот Беверло нет, он все считает, считает, считает без конца, и не ради выгоды, а ради идеи — тут недолго свихнуться. Тольм, может, все-таки принести плед? Зато наконец-то можно поболтать вволю.

Он только качнул головой, улыбнулся, поцеловал ее руку, сжавшую рукоять зонтика, и обвел глазами парк, пожалев, что совсем не видно птиц.

— Пусть Фишер подает в суд, то-то газетчики отведут душу на заголовках. Мне сейчас совсем не до того, даже не любопытно, я все думаю о надгробной речи: наверно, буду говорить о любви, а почему бы и нет? И еще я думаю о том человеке, с которым Сабина, от которого у Сабини... может, он тоже знает толк в женских ножках?

— Фишер, во всяком случае, ничего в этом не смыслит.

— А я?

— Ты... Ты мог бы смыслить, если б захотел. Ты даже в газетных делах мог бы смыслить, если б хоть чуточку ими интересовался. Старик Амплангер прекрасно умел пользоваться твоей ленью, твоим безразличием, все стращал тебя Цуммерлингом, хотя и сам человек Цуммерлинга, а может, именно поэтому. А потом вы начали покупать и стращать, стращать и покупать, куда тебе самому не стало стыдно заглядывать в собственную газету. Ведь больше всего ты любил читать «Гербсдорфский вестник», верно?

— Да. А теперь, когда он перешел в мои руки, я его читать не буду. Все потонет в спорте и вонючей трепотне, плюс местные сплетни, плюс развлекалочка. Сыновья мой «Листок» в руки взять брезгуют — никакой информации, что ж, они правы. А еще я тревожусь о дочери, которая вдруг, как гром среди ясного неба — или оно было не такое уж ясное? — как бы это сказать: связалась с другим...

— Брось, какая она прелюбодейка, ей на роду не написано, и никто ее прелюбодейкой не сделает. О воспита-

нии я вообще не говорю, от него проку мало, считай что почти никакого,— просто, видно, такая уж это штука, таинство брака, что иной раз начинаешь верить в него, лишь преступив. Ну-ну, не красней, мой старичок, ты тоже не уродился грешником, не вышел из тебя прелюбодей — забудь, тебе нечего стыдиться и хватит краснеть. К тому же у тебя достало и вкуса и такта, перестань, забудь, это не позор. Я вот тоже не сподобилась, и соблазна не было, даже от скуки; всякое бывало, сам знаешь, и Айкельхоф, и «Листок», и вообще — но скучать я никогда не скучала... Да, женские ножки, Кутшхебер ведь даже предлагал мальчику заведовать секцией женской обуви. Сколько способностей, даже странно, при таком-то отце,— не потому, что он был почтальоном, но зануда страшный, да и мать тоже, дальше своего Блюкховена ничего не видела. А старик, конечно, нас теперь ненавидит, сам знаешь: дескать, это мы, богачи, во всем виноваты, поманили сыночка сладкой жизнью, университетом, который ты ему оплатил, стажировкой в Америке. Он-то предпочел бы видеть сына почтальоном в Хетциграте, ну, а уж как предел мечтаний — почтовым инспектором в Блюкховене. Возможно, не так уж он и неправ. Меня даже в дом не пускает, только на порог ступлю — крик, проклятья, под ноги мне плюет. Ну он-то хоть не нацист, это точно, мой отец хорошо его знал...

— Как, ты тоже... ходила к нему? Разве ты раньше его знала?

— Людвиг Беверло? А как же! И сестру его, Гертруду, мы с ней со школы на «ты», она в магистрате работает: ох, и натерпелась она из-за своей фамилии, она ведь не замужем. Она же в Айкельхофе часто у нас бывала, неужто не помнишь? Хотя тебя ведь никогда не было дома.

— Не любил я этот гроб: помесь необарокко с неоренессансом, плесень, гниль, запустение, сырость... А ломать да переделывать — нет, это не по мне. Одно я знаю точно: твой знаток женских ножек уложил бы меня на месте, если б мог.

— Не может, да и сомневаюсь, хочет ли: Вероника будет против. Может, все-таки войдем в дом, я сварю тебе кофе?

— Нет, лучше останемся: так приятно стоять с тобой под зонтиком, мерзнуть под ноябрьским дождичком, ждать птиц и размышлять о том, что мои сыновья и друзья моих сыновей брезгают взять в руки мою газету и не любят ездить к нам в замок. Ты права, конечно: никогда меня не интересовали газеты, только ты, дети, их друзья, а еще мадонны, архитектура, деревья и птицы. Хотя нет, ты — это совсем другое, ты слишком часть меня, чтобы можно было сказать «интересуешь». У меня всегда

замок был на уме, Айкельхоф никогда не любил, а «Листок» все-таки солидная газета, которую, если взять все издания, читают или, во всяком случае, выписывают миллионы читателей, — но для детей это пустой звук и для их приятелей тоже. Информация, если она исходит от системы, сама механика этой информации никого из них не занимает, вероятно, даже Сабину. И Фишера лишь тогда, когда упоминается он сам или его лавочка. Герберт интересуется еще меньше, чем Рольф. Каждый заголовок в «Листке» вызывает у него какой-то изумленный, радостный смешок — не злой и не циничный, а именно радостный: так дети радуются лопающемуся мыльному пузырю. И они будут смеяться — нет, не над смертью Кортшеде, они его любили, не над его изувеченным лицом, не над забрызганной кровью машиной, — они будут смеяться над пышными, помпезными похоронами, на которые, конечно же, непременно пожалуют Дольмер и Стабски: еще бы, чуть ли не государственное событие, почести по высшему разряду, охрана — тут уж меньше чем полком не обойтись и вертолеты прикрытия с воздуха. А мне говорить речь, моя первая официальная миссия. Ты ведь пойдешь?

— Конечно, я пойду, но только если тебе к тому времени дадут ознакомиться с письмом. Кстати, ты не находишь, что это вполне убедительный повод уйти в отставку: сокрытие от тебя письма, которое тебе адресовано? Не волнуйся, я пойду и, что называется, буду соответствовать: пожму руку госпоже Кортшеде и даже выкажу скорбь, к тому же неподдельную. Мне он правда нравился, среди них попадаются действительно милые, Плифгер и Поттзикер, вероятно, даже и Блямп. Кстати, как с ним быть, идти к нему на чай или, может, к себе позовем? Видно, что-то у него на сердце, если у него вообще есть сердце.

— Конечно, у него есть сердце, иначе он бы не был так щедр ко всем своим женам. По-моему, с четвертой, с этой Эдельгард, у него тоже все кончено, — наверно, он потому такой бабник, что у него нет хорошей жены. Пусть лучше приходит к нам. Может, он сумеет нам помочь, если Фишер и впрямь начнет дурить — один день ребенок провел у Рольфа, а этот псих уже испугался красной заразы. Неужели их, то есть наша, система столь малоубедительна, что им страшно подвергнуть ее даже тени сомнения. Тогда пусть защищают систему, наши убеждения и перспективы от этих проникающих влияний. Ведь посылают же Рольф и его друзья своих детей в наши капиталистические школы, у них нет выбора, и ничего, не боятся, уверены в своих силах. Помнишь сборище, которое устроил Кортшеде еще до того, как его дочь покончила с собой. Всех пригласил: дочь и дру-

зей дочери, Рольфа и друзей Рольфа, Фишера и друзей Фишера, он лелеял мечту о примирении, ему горько было видеть эти два, а то и три враждующих лагеря, вот он и устроил вечер — танцы, иллюминация в саду, пунш, холодные закуски, коммунисты танцевали с дочками миллионеров, миллионеры с анархистками, это было еще до эпохи великой безопасности. Так и вижу их всех: Сабина с одним из приятелей Герберта, Фишер с какой-то подругой Катарины. Пока танцевали, все шло гладко, но едва дело дошло до разговоров, тут-то и началось: сытая практика против голодной теории, аргументация против преуспеяния, и эти три гордыни, что сшибались, как бильярдные шары, гордыня друзей Герберта, гордыня друзей Рольфа и эта барская гордыня друзей Фишера, которым нечем было козырять, кроме своих прибылей...

— А еще якобы трудолюбия и даже мужества. Да, кошмарный был вечер, какое там примирение, стенка на стенку, чуть до драки не дошло.

— Да, поставщики сырья против потребителей сырья, Куба против Америки. Я тоже считаю, что за кофе и чай мы платим слишком мало, а за бананы вообще гроши. Что меня тогда поразило: друзей Герберта друзья Фишера желали понимать еще меньше, чем друзей Рольфа, — три совершенно разных мира.

— А еще есть четвертый, которого мы не знаем, мир равнодушных, и пятый — мир алкоголиков и наркоманов.

— И еще один, который потихонечку загнивает сам по себе — таких, как граф Хольгер фон Тольм. И Эва Кленш — тоже совсем особый мир. Ума не приложу, куда ее отнести. Мы не нашли и не найдем с ними общего языка, не готовились и не готовы к контакту, все они прошли мимо и живут помимо нас, а еще есть ведь эти паломники в страну Востока, вроде дочери Кортшеде, которую потом бросил тот студент и она покончила с собой, там, в Индии, в отеле, — Кортшеде лично ездил, чтобы забрать тело. Ах, это незабываемое кладбище под Хорнаукемом, прямо в лесу, где каждая вторая могила — могила Кортшеде, все они там лежат, любых разрядов и достоинств: поденщики и мелкие лавочники, купцы и крестьяне, и нынешние великие Кортшеде тоже, те самые кузнецы своего счастья, что разбогатели на бумаге, стали и угле, — все они из этого рода-племени застенчивых белокурых мечтателей с грустными глазами. Священник-северянин, напирая на согласные — вместо «т» у него получалось «д», — говорил о Господе: «двой жезл и двой посох». А теперь, значит, мне там говорить — в кольце охраны, конная полиция в лесу, танки на аллеях, вертолеты над головой, и

наверняка тот же священник снова будет твердить: «двой жезл и двой посох».

— У тебя хватит мужества огласить письмо Кортшеде? Ведь это наверняка в своем роде завещание.

— Нет, Кэте, у меня не хватит мужества. Я это знаю, даже не прочитав письмо. У меня никогда не хватало мужества, даже той крупницы мужества, которая требовалась, чтобы не позволить сделать из «Листка» бульварный листок; крупницы мужества, чтобы обуздать старика Амплангера или избавиться от присмотра его сыночка. Я только глядел — или проглядел, — как они вырезали всю мою старую гвардию и всегда мне подсовывали один и тот же аргумент: публика, читатели, которые якобы от нас отвернутся, если мы не будем «на уровне». Конечно, меня манили деньги, ведь успех оправдывал Амплангера и иже с ним, вот я и шел навстречу. Кому? Да самому себе, пока не стал таким, как читатели «Листка». Чего ради? Чем я рисковал? Да ничем. На жизнь, на нормальную жизнь мне бы всегда хватило, и, наверно, было куда лучше сразу отдаться на съедение Цуммерлингу, за соответствующую мзду, разумеется, чем самому заглатывать других, которым «Листок» казался чуточку либеральней, а сам я — немножечко симпатичней. А теперь что уж, я сброшу с себя «Листок», останусь только в наблюдательном совете, тогда Цуммерлингу даже не понадобится меня глотать, ведь он и так давно внедрил к нам Амплангера. Нет, правы сыновья: мне не удалось обмануть систему, система обманула меня.

— Сбросишь с себя «Листок»? Это что-то новенькое.

— Смысла нет и дальше прикрывать его своим именем, а значит, и флером либеральности. Надеюсь, что они нас все-таки засекли — тогда, быть может, я все-таки получу письмо, несмотря на то, что оно адресовано мне. Пойдем в дом, выпьем кофейку, отогреемся и поедем в Кёльн: я слышал, там опять выставили мадонн, хочется взглянуть. Кстати, не пригласить ли нам с собой эту Кленш? Может, мне удастся ликвидировать кое-какие пробелы в ее образовании, как тогда со второй женой Блямпа. Заодно могли бы и пообедать с Гербертом, только не в этом омерзительном доме, который нам принадлежит. Вдруг у Герберта тоже есть кое-что интересное, о чем можно сообщить под зонтиком. — И он шепнул так тихо, что ей пришлось подставить ему ухо: — Скажи-ка, ты часом не приложила руку, а точнее, деньги к этой анти-автомобильной-акции?

Она прильнула губами к его уху, нежно его чмокнула и прошептала:

— Мне удалось их отговорить. Они даже вернули мне сдачу — ну, что осталось. У них был ужасно простой, вернее — ужасный и простой — план: в разных городах, причем довольно далеко друг от друга, они взяли напрокат контейнеровозы — здоровенные такие махины, метров по пятнадцать в длину, а то и по двадцать, если не все тридцать. Этими фургонами, строго по графику, который, между прочим, по минутам был расписан твоим сыном Гербертом, они хотели перекрыть все мосты, все выезды из города, все главные перекрестки, просто поставить эти штуковины поперек дороги, по-моему так, и на четверть часа превратить город в автомобильный ад. Забрать ключи и смыться. Но я им объяснила, сколько будет обмороков, нервных срывов, инфарктов, даже смертей, ведь «скорая помощь» тоже не сможет проехать, ну, и так далее и тому подобное. Нельзя ратовать за жизнь чужими смертями — словом, отговорила. Фирмам им, конечно, пришлось заплатить, кому только первый взнос, кому еще и неустойку, а остальные деньги я у них забрала от греха подальше, и все равно, когда Цуммерлинг позвонил...

— Ты решила, что они все-таки это провернули, и нас ждет новый скандал, теперь уже с Гербертом?

— Ну да, денег им мог дать кто угодно, да они бы и сами раздобыли. Знаешь, одно время я прямо тряслась перед каждым выпуском новостей. Я не скандала боялась, а самой затеи. А придумал все Вильгельм Польш, помнишь, красавчик такой, ну прямо ангел во плоти.

— И Пташечка, любовь Кортшеде, еще один ангел во плоти. Он мне показывал фото.

— Ну вот, найдется о чем подумать, пока ты будешь показывать мне своих мадонн. У них тоже почти у всех ангельский вид. Нет, правда, Тольм, я как могла постаралась им внушить, что может произойти, если они внезапно и надолго заблокируют центр города: человеческие жертвы, психические расстройства, драки... Нет, страшен не скандал, но впутываться в затею, последствия которой совершенно непредсказуемы, — это, право, нехорошо. И все равно тех, кого следует, этим не проймешь: у каждого небось вертолет во дворе или на крыше. В конце концов, Рольф поджигал только те машины, в которых точно никого не было. Да, это неплохая мысль, пообедать с Гербертом и лишний раз удостовериться. Но, знаешь, они были настолько благородны, что не взяли у меня чек с подписью, только наличные. Значит, я приглашаю Блямпа на чай и заказываю на сегодня столик на пятерых, у Гецлозера, в кабинет, он приготовит нам что-нибудь вкусненькое. Блуртмеля тоже, конечно, надо пригласить.

Бедные мадонны: надеюсь, их ангельские лики не передернутся при виде стольких автоматов. Неужели тебе в самом деле так приспичило в музей, непременно сегодня, после вчерашних выборов, и опять вся эта кутерьма?

— Не могу же я потребовать доставить все сто двадцать мадонн ко мне на дом. А взглянуть хочется. Так что предупреди Хольцпуке. Кстати, знаешь, было очень приятно с тобой под зонтиком. Прямо как запретное свидание.

— Так оно и есть.

XIII

Мальчика доставил турецкий инженер, прибывший рейсом из Стамбула и сразу после посадки во франкфуртском аэропорту передавший его полиции, которую командир корабля заранее вызвал по рации. Семилетний ребенок, который вполне мог бы сойти за маленького турчонка, черноволосый, смуглый, худой, в джинсах, сандалиях, накидке типа пончо и круглой соломенной шляпе — вид не то чтобы слишком экзотический, но достаточно «восточный»; спокойный мальчик, который даже улыбнулся, когда турецкий инженер, передавая его полиции, заявил:

— По-моему, это очень взрывоопасный ребенок. Меня попросили провезти его по моему паспорту, у меня тоже сын, восьми лет, но он остался в Турции. Попросила женщина — я бы даже сказал, дама, — в Стамбуле, в аэропорту, она вручила мне билет, пятьсот марок и вот это письмо, письмо, по ее словам, чрезвычайно важное и адресовано вам, полиции. Вот письмо, вот пятьсот марок, гонорар за столь ничтожную услугу мне не нужен. Позволю себе добавить, что дама очень плакала.

— Это была моя мама, — сказал мальчик. Больше он ничего не сказал, даже когда в отделении, сразу после ухода турка, оставившего свой домашний адрес, поднялся сперва легкий, а затем и нешуточный переполох. Затрезвонили телефоны, сдергивались и нервно швырялись трубки, забегали люди — полицейские в форме, полицейские в штатском, а потом и мужчины в штатском, вовсе не похожие на полицейских. В конце концов мальчик согласился принять из рук какой-то доброй тети стакан молока и пирожное, хотя у него и были с собой в полиэтиленовом пакете (непрозрачном) бутерброды и бутылка апельсинового сока.

— Господи, деточка, — шепнула тетя, — ты, наверно, и по-арабски говоришь?

На что он с вежливой улыбкой только покачал головой, не спуская глаз с двери, ведь Вероника ему сказала:

«Если вдруг появятся фотографии — прячься, в крайнем случае закройся пакетом», но фотографии не появлялись, хотя полицейских в штатском было уже явно больше, чем полицейских в форме. Потом один из тех, что в форме, подвел его к телефону, и он взял трубку и сказал:

— Да?

— Хольгер, это Рольф. Ты еще меня помнишь? Голос мой узнал? Берлин помнишь? Франкфурт? Хольгер, мальчик мой!

— Да, Рольф. И дедушку — утки в пруду, замок. И бабушку Паулу — варенье. И бабушку Кэте — печенье. Берлин, да... Как ты?

— Хорошо, хорошо, все хорошо. Я рад, что ты вернулся. Вероника — хотя нет, можешь не говорить.

— Я и не скажу. Ты приедешь за мной?

— Конечно, ведь никто не должен знать, что ты здесь. Тебе об этом сказали?

— Да.

— Тебя сейчас на вертолете отвезут к дедушке, сядете в парке, ничего, у него в парке часто садятся вертолеты, никто и внимания не обратит, а уж там я тебя заберу, часа через полтора. Хольгер! Я ужасно рад, мы устроим большой костер, у нас теперь сад огромный, а Катарина... Ты знаешь, кто такая Катарина?

— Нет. То есть... у меня ведь есть брат... братик...

— Ну да, его тоже зовут Хольгер. Придется что-то придумать, чтобы вы не перепутались. Ну ладно, ты только приезжай, иди сейчас с полицейскими дядями, они тебя отвезут. У тебя все в порядке? Ответь мне!

— Да. Я пойду с ними. У меня все в порядке. Мне сразу надо будет в школу?

— Да нет. Это не к спеху. Не бойся, приезжай скорее. Ну пока!

— До свиданья, Рольф.

Полицейские дяди впоследствии утверждали, что мальчик вел себя не просто спокойно, а прямо-таки хладнокровно. Строго придерживаясь инструкции, они «ни о чем таком» с ним не говорили: показывали ему сверху автостраду, Рейн, впадение Мозеля и Лана, и он вроде бы очень живо всем интересовался — внимательный, можно сказать, даже смысленный мальчик, про каждый мост спрашивал, как называется, жевал между делом свои бутерброды — хлеб, кстати, явно восточной выпечки, вроде лаваша, но колбаса вполне обычная, типа салями, — и даже сказал, что так лететь гораздо интереснее, чем «совсем

высоко», потому что «почти все видно, даже как курицы крыльями хлопают». Нет, бутылка с соком самая обыкновенная, ничего особенного, никаких особых примет. Мальчик даже угостил пилота, и тот отхлебнул из бутылки пару глотков: сок как сок, нет, не самодельный, самый обычный, какой можно попить в любом супермаркете — ну, а уж супермаркеты, наверно, в Стамбуле есть, как и киоски с соками, нет, в соке тоже ничего особенного. Тем не менее ни пакет, ни бутылку мальчик оставить не пожелал, забрал с собой, да и что там, на той бутылке обнаружишь,— известно ведь, кто собрал его в дорогу, и то коротенькое письмецо они все читали: «Вы горько пожалеете, если сообщите прессе о возвращении Хольгера и если попытаетесь его расспрашивать. Доставьте его к его отцу. Телефон прилагается. И без фокусов! Бев.». Даже не на машинке, а самым наглым образом написано от руки, на стандартной почтовой бумаге, какая стопками валяется во всех отелях, с недавних пор даже в дешевых.

Милый мальчик, нисколько не агрессивный, но и не общительный; любознательный, сообразительный, пытливый — да, но доверчивости — никакой; слушает хорошо, и Нидервальдский монумент, и крепость Эренбрайтштайн, мосты, замки и даже малые притоки вроде Ара и Вида — все ему было интересно, но на самые невинные вопросы, вроде: «Что, там-то небось жарко было, а?» — не отвечал. Вернее отвечал, но, так сказать, с многозначительной улыбкой: «Ой, я так потел. Но и снег тоже был, и дождь...»

В одежде — на основании поверхностного осмотра, а всякий иной им же строго-настрога запретили — тоже ничего определенного не выявлено: джинсы — ну, это уж действительно ширпотреб, продается всюду, рубашка — желтая, европейского покроя, но на Востоке тоже научились такие делать, сандалии — самые заурядные, носки — недвусмысленно домашней вязки, если и куплены, то с рук, у какой-нибудь старушенции, так что интерес представляли разве что пончо и шляпа. Пончо — не настоящее, явно не латиноамериканского производства, так, барахло, подделка, впрочем, чистый хлопок — им удалось незаметно выдернуть пару ниточек. Но и такого добра сейчас везде навалом: в галантереях, в сувенирных киосках, даже в солидных универмагах. Оставалась еще шляпа, в которой, впрочем, тоже не было ну совершенно ничего арабского, на вид довольно дешевая, из тех соломенных нахлобучек, какие повсюду норовят всучить иностранным туристам,— с равным успехом она могла быть куплена на Крите и в какой-нибудь дыре вроде Вальцпорхайма. На-

конец, сам мальчишка: все-таки скорее хладнокровный, чем просто спокойный, явно какой-то замороженный, вероятно, даже специально натасканный, чтобы не проговориться; был неизменно вежлив, приветлив, но, увы, неприступен, выболтал, а вернее, сказал только, что он потел от жары, но потеть от жары можно в любом месте южнее Афин и Сиракуз. В карманах, судя по всему, кроме нескольких смятых бумажных носовых платков, тоже ничего. Некие чувства он обнаружил, только когда увидел сверху Кёльнский собор, сказав: «Сразу видно, какой он большой и какой маленький!» — засмеялся, когда они медленно подлетали к замку, закричал: «А вот и утки, утки!» — и заплакал, когда отец стиснул его в объятиях, но только тогда. Из него ничего нельзя было выжать, но плакал он по-настоящему, и отец тоже: как и было приказано, они приземлились возле самой оранжереи, так что мальчик, никем не замеченный, на крыльце оранжереи был с рук на руки передан отцу, через оранжерею отведен в замок, тут же, во дворе, усажен в отцовскую машину — и был таков. Стариков, слава богу, решили не извещать, оставили их любоваться мадоннами. И правильно, они бы непременно что-нибудь учудили, они ведь «без фокусов» не могут.

XIV

Имелось семь фотографий, на которых можно было разглядеть обувь Вероники Тольм, в общей сложности четыре пары, обладавшие, впрочем, одним несомненным сходством: все туфли были дорогие, в равной мере солидные и элегантные, для бунтарки весьма буржуазная обувь, к тому же фирменная, а снимки сделаны в разное время на протяжении пяти лет, из чего нетрудно было заключить, что она сохранила стойкую привязанность к туфлям одной фирмы, ну, а уж после этого оказалось достаточно одного телефонного звонка, чтобы установить, где именно в Стамбуле можно приобрести обувные изделия данной фирмы: в пяти магазинах и ни на одном из базаров, разве что без ведома фирмы, ибо только Богу известно, что и как попадает на базар,— да, 38-й размер, едва ли не самый ходовой, так что в одном из этих пяти магазинов дама наверняка найдет то, что ей нужно.

Самолет с мальчишкой совершил посадку в 10.35, а у турецкого инженера, слава богу, хватило ума не полагаться на бдительность паспортного контроля, незадолго до посадки он проинформировал первого пилота, тот, в свою очередь, уведомил полицию, так что примерно в 10.50 им

уже все было известно о «нежном грузе» из Стамбула, о письме и предупреждении; остальное, как говорится, было делом техники, между коим делом он, Хольцпуке, потом целый день насвистывал мелодию песенки, застрявшей в памяти еще с двадцатых годов: «Вечером под зонтиком», но поскольку он только насвистывал мелодию, так сказать, без слов, мысленно, ничуть не погрешив против мелодии, он слегка переиначил текст на свой лад: «Утречком под зонтиком», при этом блаженно улыбаясь, а иногда и посмеиваясь: ну и чудачка же эта Кэте Тольм, ну и наивная душа, неужели она и вправду могла подумать, будто он ничего не знал о подготовке достославной анти-автомобильной-акции! Как будто интерес любой группы лиц к такому количеству контейнеровозов мог остаться вне их поля зрения! Да они бы мигом порушили все эти шалости, и сидеть бы тогда парнишке за решеткой! Ну и хорошо, что она это пресекла: он тоже не хочет скандалов, вот только почему-то она не шепнула на ушко своему благоверному, что в свое время финансировала изрядную партию молотовских коктейлей, которые потом градом сыпались на крыши машин, а иногда залетали и в салоны. Конечно, деньги не бог весть какие, но все-таки — нет, за ней надо присматривать, больно щедрая у нее рука,— впрочем, не только на противозаконные цели, это надо признать. Она многих поддерживает — стариков Цельгеров, к примеру, да и старику Беверло пыталась подбросить денюжат, правда без успеха. Но неужто это ее сыночек Рольф дал ей совет насчет зонтика? Быть не может, уж он-то должен разбираться; наверно, он советовал ей как раз наоборот, мол, никогда не секретничай под зонтиком, а старушка перепутала, ну конечно, так оно и было! Со всем нелишнее знать и о том, что старик начал пошаливать, поздновато, конечно, но тут не до шуток, с него станется, он на похоронах такого может нагородить, а если бы он еще видел письмо! Кстати, письмо, наверно, придется ему отдать — как-никак последняя весточка от лучшего друга, но это еще денек-другой потерпит. Да, «утречком под зонтиком» старик со старухой — ну точно влюбленная парочка! — много всего друг другу нашептали. Дольмер после телефонного разговора Цуммерлинга с Тольмом — наверно, все из-за того же письма Кортшеде — объявил «всеобщую мобилизацию»; и то правда — старик взбунтовался, возвращение мальчишки, видимо, означает, что «те» тоже изготовились к походу, ну, а раз так, совсем не исключено, что его разлюбезной мамаше в дорогу потребуются новые туфли. Ведь они — это уж почти наверняка — долго, может годами, обретались в таких

краях, где совсем не просто раздобыть фирменную обувь, тем более определенной марки.

Было уже без чего-то двенадцать, когда он наконец разыскал своего человека в Стамбуле — он там как рыба в воде, город вдоль и поперек знает, уж сколько лет мыкается с хипарями да гашишниками, к тому же у него там целая команда отлично сработавшихся людей, включая и женщин, которые иногда, надо полагать, покупают себе дорогие туфли и знают, где таковые — в том числе и определенной марки — имеются в продаже. Уж они-то излазили все ходы-выходы, все углы и закоулки, от самых шикарных и дорогих отелей до трущобных лачуг, необходимый фотоматериал и документация у них тоже есть, так, на всякий случай, хотя Турция по этому делу прежде не слишком-то принималась в расчет. Объяснить человеку в Стамбуле все нюансы проблемы «знает толк в женских ножках» оказалось непросто: тот счел, что все это «малость жидковато», и к идее постоянного наблюдения за пятью магазинами поначалу отнесся как-то кисло, без должного энтузиазма; пожалуй, только перспектива поймать крупную, может быть, самую крупную рыбу отчасти, да и то под конец, его убедила, но все равно пришлось не только пригрозить ему Дольмером, но и непосредственно подключить Дольмера, дабы расшевелить его неповоротливое стамбульское воображение. Дольмер, так и быть, снизошел — и тоже лишь после неоднократных и энергичных упоминаний о «большой рыбе» — до телефонного разговора с Турцией, сообщив инициативам стамбульского агента достаточный заряд расторопности, а заодно и распорядившись обеспечить поддержку местной полиции. В конце концов, не бог весть какая трудоемкая задача — прощупать пять обувных магазинов в Стамбуле, ну и, может быть, еще парочку в Анкаре или Искендеруне, где, судя по всему, тоже успели оценить достоинства европейской обуви данного фасона. А что до трудоемкости — да это ж курам на смех! С кучей людей они угробили несколько месяцев — а результат? Какой-то жалкий Шублер, любовник этой Бройер, со своим пугачом образца 1912 года. Здесь же, конечно, нужно подкрепление: обувные магазины не связаны обязательством содействия полиции, да и «те» небось уже не в Стамбуле, куда теперь из-за мальчишки потянулся след.

Турок-инженер опознал Веронику Тольм без особой уверенности, утверждение мальчишки («Это моя мама») еще ни о чем не говорит, могли подучить, как и слезам «понарошке», так что, вполне возможно, все это блеф, и они просто-напросто переправили его через ливанскую

границу с какой-нибудь сообщницей. Взять бы мальчишку как следует в оборот, но нет, рискованно, он, как видно, и в самом деле крепкий орешек.

Тесновато станет в Хубрайхене, мальчишку там вряд ли удастся спрятать, да и происхождение не скроешь: просто поразительное сходство с отцом, а люди в деревне тоже не слепые, заметят, задумаются, начнут вопросы задавать, ну а уж газетчики не заставят себя долго ждать и налетят со всех сторон как воронье. Вывод: с идиллией в Хубрайхене надо кончать, пора распустить этот сельский рай, тем более что еще и Фишер, убоявшись «нездоровых влияний», с минуты на минуту может напакостить. Качает, видите ли, свои «родительские права».

Только пригрозив нашествием людей Цуммерлинга, он подвинул Дольмера на энергичные шаги в «обувном деле» и даже на запрос о сотрудничестве с турецкой полицией. Нет, это не пустая трата времени и сил, да и не бог весть какой труд: обойти в общей сложности четырнадцать магазинов в трех городах, расспросить о покупательницах обуви тридцать восьмого размера, показать фотокарточку и установить наблюдение. В конце концов, турецкая полиция всегда охотно с ними сотрудничает, на отношениях ФРГ с Турцией столь скромная услуга никак не отразится, тем более что и лавры успеха будут поделены честно.

На Богоматерном фронте, как он про себя окрестил поход к мадоннам, было спокойно, все шло чинно, гладко, из зала в зал. Эва Кленш, похоже, слегка нежилась в лучах всеобщего внимания, пока ее нареченный читал в кофейне газету, а наивная зонтопоклонница, милая старушка Кэте, выслушивала пояснения своего Фрица, который по такому случаю, судя по всему, впал в раж,— впрочем, вероятно, не без влияния все той же Кленш, не спускавшей со старичка зачарованных глаз и даже не выпускавшей его руки,— трогательная картина, которая, в свою очередь,— продолжал распинаться Гробмёлер, чья бригада специализируется у них по музеям, галереям, концертам, вернисажам и т. п.— слегка забавляла его супругу, милейшую госпожу Тольм. Вероятно, многочисленные посетители, окружившие чету Тольмов и почтительно следовавшие за ней по пятам, наподобие свиты, или, по выражению Гробмёлера, «гроздью», принимали смазливую Кленш за их дочку или невестку. Впрочем, Вишенка — конспиративная кличка Кленш — держалась настоящей пай-девочкой. Словом, на Богоматерном фронте без перемен, а кабинет в кафе Гецлозера — это уж дело техники, тут хватит, как обычно, четырех человек: двое при кухне, один на входе и еще один во дворике.

И в Хубрайхене не то чтобы совсем спокойно, но ничего тревожного: там молодой отец Тольм, по имени Рольф, поговорив по телефону со своим хладнокровным сыночком, побросал малярные кисти, срочно отпросился с работы и уже успел незаметно забрать сына из Тольмсховена; как ни странно, при встрече оба расплакались, впрочем, плакала и Катарина Шрётер, и Сабина Фишер, которая — без малейшего успеха — пыталась расспросить мальчишку о Веронике.

— Но ты же должен знать, где твоя мама, что с ней, как хоть она выглядит?! И потом — как она обходится без своих туфель? Все время по песку да по камням — там же все мгновенно снашивается!

Ребенок — хотя и более сердечно, чем недавно с полицейскими, — отвечал ей с прежней непроницаемостью:

— У нее все хорошо, а туфли у нее пока есть. Босиком я ее, во всяком случае, не видел. Бев к ней очень добр.

— Кто?

— Бев. — О «Беве» никто ничего не спросил, видимо, все оцепенели от страха. По своей же воле, без понукания, мальчишка, судя по всему, ничего говорить не хотел. Даже за едой — суп, гуляш, салат, хлеб — на расспросы о том, как его кормили и где вкусней, он ответил только, что сыт был всегда, а когда спросили, всегда ли было вкусно, честно сказал, нет, не всегда, но и здесь, мол, ему раньше тоже не все нравилось; на вопросы, с кем и во что играл, отвечал спокойно и уклончиво, как, впрочем, и на все остальные, пока отец — не то чтобы разъярившись, но весьма решительно — не потребовал «оставить его в покое: сразу столько событий — это вам не шутки». За столом обсуждались и планировались также предстоящие встречи с бабушками-дедушками, с Цельгерами и Тольмами. В это он, Хольцпуке, встречать не намерен, в конце концов, это их личное дело. Уложить мальчика сперва было решено на кухне, посчитав, что епископские покои ему не подойдут, однако, осмотрев последние, этот юный принц милостиво согласился там обосноваться на первых порах, «пока все не образуется», как заявил его отец, который около 15.30 как ни в чем не бывало снова отправился на работу к Хальстерам. Оставалось ждать и надеяться: может, теперь, в присутствии женщин и детей, мальчишка разговорится. Вплоть до 17.30 ничего похожего не зарегистрировано, даже «Бев» больше не упоминался; потом последовали телефонные переговоры с Хетцигратом и Тольмсховеном, взрыв ликования у всех четверых стариков, несколько омраченный, правда, скудостью новостей о Веронике. Да, конечно, утки в замковом пруду,

и ежевичное варенье в Хетциграте, и сова, как же, конечно, он помнит и очень рад,— а у них, да-да, разумеется, все хорошо; настоятельные просьбы обеих женщин не приезжать, нет-нет, не сегодня, для мальчика и так слишком много всего сразу, а старику Беверло они, разумеется, позвонить не могли, у того нет, да и отродясь не было телефона. И тишина. По-видимому, вязанье, игры на полу, треск каштанов на огне, потом пение, вернее, тихий напев, слов не разобрать, но на слух что-то религиозное.

Обед у Гецлозера протекал без особых происшествий. Разговор о христианстве в его католической разновидности, Кленш и молодой Герберт Тольм попеременно задавали тон беседе, причем единство было достигнуто лишь в вопросе об уникальности Иисуса, все остальное Вишенка ревностно отстаивала, а Герберт подвергал сомнению: причастие и богослужение, обет безбрачия и священнослужители как таковые, но ничего, что представляло бы хоть малейший интерес для расследования, даже ни намек на бесславно лопнувшую анти-автомобильную-акцию; вообще-то прелюбопытная компания: любезная, к тому же новообращенная Вишенка, ее суженый, тихоня, о котором, впрочем, известно, что он обожает народную музыку, танцы, даже сам поет под гитару — народные песни, не какую-нибудь там поп-дрянь,— и этот Герберт, в сущности, милый парень, малость с заумью, конечно, в Христа он, видите ли, верит, а вот в новомодное «пробуждение Христа» — нет, его спор с Кленш даже любопытно было послушать, но для расследования — ничего, абсолютно ничего интересного.

Экспертиза почтовой бумаги ничего нового не дала: разумеется, отпечатки пальцев Беверло — это, конечно, наглость, но не сюрприз, тем более что почерк его они и так знают, что же до самой бумаги, то тут ни малейшей зацепки: ширпотреб, лежит навалом во всех отелях и в писчебумажных магазинах, в Турции, на Ближнем, Среднем и даже Дальнем Востоке...

В Хорнауен, для непосредственной, ближайшей охраны, так сказать, вокруг могилы, он, будь его воля, конечно, послал бы Гробмёлера с его «бригадой по культуре»; люди все интеллигентные, приученные к хорошим манерам, ни на одном из вернисажей не испортили погоды, никому не бросились в глаза, и, в конце концов, похороны тоже можно считать событием культурной жизни. Мест-

ность там трудная: вокруг лесопарк, тропинки, осушительные каналы, велосипедные дорожки, палаточный городок, детские площадки, поляны для пикников — словом, излюбленная зона отдыха их ближайших голландских соседей. Еще два-три дня — а «колеса», быть может, уже катятся. По счастью, есть там небольшая укромная гостиница «Чтобы мама не узнала» — охотничий ресторанчик, уютные комнаты, и если удастся выкроить часа три, а лучше бы полдня, вполне можно все продумать, разметить по карте дислокацию постов и пунктов наблюдения, сверить с местностью и самому за всем проследить. Весь «цвет» там будет, ни один не упустит такого случая, хорошо еще, Кортшеде протестант, обойдется без католических вельмож. Хотя наперед никогда нельзя знать: вдруг кардиналам по протоколу тоже «положено»? А уж эти-то свое урвут — явятся, презрев любой риск, не щадя живота: иной раз кажется, что у них прямо похотливый зуд, так манит их атмосфера публичных торжеств и щекотка опасности. Жаль, конечно, что он отпустил Цурмака, Люлера и Тёргаша. Ни за что не отправил бы их на сборы, если б знал, сколько тут всего навалится. Но отзывать их сейчас обратно — нет, не годится. Они, наверно, уже пакуют чемоданы, и потом, в конце концов, Хорнаукен вообще не в их земельном подчинении.

В Хубрайхене, судя по сводкам, Бройер со своим любовником все еще ходит по домам, ищет жилье и работу; в остальном там тоже все спокойно. Правда, судя по тем же сводкам, вернулся блудный священник, хочет говорить с приходским советом и вообще со всей паствой. Что ж, это даже к лучшему, хотя бы на время отвлечет внимание от хладнокровного барчука, который, судя по сводкам, пока что не нарушает запрет выходить за ограду, — впрочем, ему, наверно, к подобным запретам не привыкать.

Когда он позвонил Дольмеру, чтобы сообщить о своем отъезде в Хорнаукен, в голосе начальника ему послышались вальяжно-покровительственные нотки, которые его сразу бы должны были насторожить. Дольмер был сама любезность, с милым смешком заметил:

— Операция «Турецкий мед» продолжается! — с удовлетворением выслушал его отчет о спокойном развитии событий на Богоматерном фронте, еще раз энергично отсоветовал брать мальчишку в оборот, а в ответ на опасения по поводу ожидаемого нашествия в Хубрайхене хмыкнул и пошутил: — В конце концов, придется подыскать для всей этой честной компании какой-нибудь монастырь.

Тогда даже Фишер не посмеет заикнуться про «нездоровое окружение». Ну что ж, счастливого пути, и постарайтесь, если получится, хоть немного отдохнуть.

В Блорре тоже без перемен. Там тишина. Мертвая тишина.

XV

В этот день, глядя на мальчика, она с каждой минутой пугалась все больше: какой-то препарированный, неживой, будто заводная игрушка или робот, и так все время — за столом, на прогулке в парке, на балконе и даже когда бегал по коридорам и во дворе. «Замороженный внук» — так она его назвала. Ни о чем не рассказывал, ничего от него не добиться. Где он жил эти два с половиной года, как? Ничего. Еще больше похорошел, но эти глаза, серо-голубые, напоминали ей поверхность застывшей лавы — ледышки. («Глаза у него твои», — утверждал Тольм.) Утки исторгли из его груди странный смешок, почему-то они показались ему «фаршированными». Но когда она спросила, ел ли он там фаршированных уток, он только засмеялся и стал рассказывать про варенье бабушки Паулы, а еще про вертолет; перечислил все притоки Рейна, все памятники, церкви, соборы, мосты — не память, а какая-то застывшая географическая карта. И забавлялся тем, что с разбегу бодал дедушку головой в живот, снова и снова, непрерывно. Нет, не в сердце, пока что нет, но все равно как баран, самый настоящий баран. А тут еще проклятый телефон, на котором она провисела, можно сказать, полдня: Дольмер явно от нее прятался. Стабски заявил, что он не в курсе, заместитель Дольмера — что некомпетентен, Хольцпуке якобы уехал организовывать кордон безопасности на похоронах Кортшеде, а эти двое, Кульгреве и Амплангер, в один голос, будто стоворившись, непрерывно твердили свое «к сожалению» — никому не дозвониться. Тольм сперва нервничал, потом разозлился и в конце концов накричал на Амплангера: «Где мое письмо? Отдайте мне письмо!» В такой ярости она его еще не видывала за все тридцать пять лет: разгневанный, прямо-таки яростный Тольм — это что-то новенькое. Он отменил ежедневную ванну, отказался вызвать Гребницера, курил, жестом велел Блуртмелю заняться мальчиком: не иначе как тоже стал побаиваться своего родного внука, по которому так тосковал. А этот совершенно чужой ребенок невозмутимо таскал с кухни эклеры, решительно не хотел пить чай, вытребовал лимонад, как заведенный, носился по коридорам и нервировал охранников, целясь в них из воображаемого автомата, стрекот которого воспроизводил с поразительным правдоподобием.

Охранников теперь было уже восемь: трое на дверях, двое на лестнице и еще трое во дворе, только одного из них она знала в лицо, он был с ними утром в музее, спокойный, сосредоточенный мужчина, который при виде хладнокровных проделок Хольгера I с большим трудом сохранял самообладание и выражение застывшей вежливости на лице. Именно он возник как из-под земли, укоризненно покачивая головой, когда Эва Кленш извлекла из багажника лук, стрелы и мишень и предложила мальчику пойти с ней в оранжерею поупражняться в стрельбе. Но она стоит в стрелковом клубе, сказала Кленш, и всегда возит с собой лук, она любит потренироваться в дороге, делает это при малейшей возможности, а мальчик все «обычные игры» отверг, зато стрельбу из лука приветствовал с крайним воодушевлением. Подчиненный Хольцпуке потрогал тетиву, убедился в невероятной силе натяжения, тщательно изучил стрелы, особенно металлическую окантовку наконечников, выразил холодное удивление по поводу того, как это Кленш вообще удалось «проскользнуть» через контроль с таким багажом, заявил, что разрешать или не разрешать подобные забавы только в компетенции начальства, отошел в сторону, не забыв прихватить с собой весь пучок стрел, и начал длительные переговоры по рации. С кем же он говорит? Значит, Хольцпуке все-таки где-то поблизости и они что-то замышляют? Тогда что? Лица у всех охранников разом посерьезнели, почти застыли, а Кленш, эта очаровательная и энергичная хохотушка, которая так мило помогала ей печь эклеры и взбивать сливки, стояла с таким растерянным, даже оскорбленным видом, что на нее больно было смотреть.

— Господи, — горячилась она, — пусть это и стрельба, но ведь без малейшего шума. — И с упоением стала рассказывать о почти бесшумном, свистящем полете стрелы, о том, как трепетно она дрожит, вонзаясь в мишень, вообще о необычайной «духовности» стрельбы из лука, лишь с трудом сохранила выдержку, когда охранник объявил ей, что, как ни прискорбно, он вынужден «временно эту вещь конфисковать, мало ли что дети могут натворить, как-никак это все-таки оружие». Эва Кленш не то чтобы язвительно, но весьма надменно настаивала на слове «спортивный инвентарь». Охранник с таким определением согласился, но со своей стороны уточнил, что иной спортивный инвентарь может оказаться и оружием либо использоваться в качестве оружия: копьё, молот, хоккейные клюшки и даже мячи в зависимости от их твердости.

— А у нас здесь район повышенного риска — так что сожалею, но... Когда будете уезжать — разумеется...

В голосе Кленш уже почти не было иронии, только звонкая дрожь, когда она спросила, не должна ли сообщить свои анкетные данные, место жительства и род занятий. На что охранник уже почти ласково ответил:

— Нет, не нужно, это и так известно, и мне тоже.

На секунду показалось, что Кленш убьет его на месте, но она разревелась, бросившись Кэте на шею и шепча сквозь слезы:

— Ну что за жизнь!.. Ах, вы... Никуда от них не деться...

Блуртмель, не выказавший на протяжении этой сцены никаких личных чувств, и сейчас сохранил полное спокойствие, даже улыбнулся и сказал:

— Тогда, наверно, я лучше отвезу молодого господина обратно в Хубрайхен, тем более что вы — извините за напоминание — ждете гостей.

Да, только сейчас она вспомнила, для кого пекла пирожные: для Блямпа, который в ответ на вопрос, что он любит к чаю, может, эклеры?— сыто пробасил: «Эклеры к чаю? С удовольствием!»

Она удержала Кленш, когда Блуртмель с мальчиком направились к машине:

— Оставайтесь, прошу вас. У нас сегодня тяжелый день, а будет еще тяжелее.

Тольм застыл у окна, наверно, ждет своих птиц, совы-то уж точно, но она так рано не полетит; ее не обманет ни насупленное небо, ни пригорюнившийся парк — сова вылетает в сумерки, а до сумерек еще час, если не два. Разве что ворона какая пролетит, для ласточек уже не время. Он не обернулся, у него была какая-то сухая, почти сердитая спина, когда он, едва повернув голову, сказал:

— Я ему дозвонился, Дольмеру. Я не получу письмо. Никто не получит. Это, видите ли, динамит.

— Тогда, значит, никаких похорон, никакой речи?

— Никакой речи, нет, но похороны — не в Хорнауkene, нет, другие, в Хетциграте... да, Кэте.— Тут он наконец обернулся, обнял ее, припал к плечу, слабо улыбнулся Кленш и сказал:— Они его подловили. Он покупал туфли в Стамбуле. Убит. Сказали, что застрелился. Вероника — нет, она исчезла, скрылась, ее там не было.

— Туфли,— выдохнула она,— тогда... под зонтиком... Тольм, я отрежу себе язык. У меня даже слез нет. Эва, пожалуйста, заварите чаю, самого крепкого и побольше.

— Придется общаться, как тогда, в московской гостинице: писать записки и спускать их в унитаз. Но они, на-

верно, изобретут специальные отстойники, чтобы вылавливать бумажки, отмывать их от дерьма и склеивать. Пожди, мне нужно тебе кое-что сообщить.— Он отпрянул от нее, подошел к столу, оторвал клочок бумаги от листа, что-то написал и принес ей. Она прочла: «Я люблю тебя, всегда любил, и детей тоже, и даже его, молчи».

Она поцеловала его, порвала записку, пошла в ванную и спустила клочки в унитаз.

— Его тут похоронят?

— Да, я оплатил перевозку, я настоял, чтобы его похоронили здесь; его отца они вынуждены были упрятать. Дольмер назвал свою цену: ни слова о письме. Молчи, Кэте, молчи, давай-ка снова привыкать к запискам. Кстати, дом священника в Хубрайхене как раз освободился, и, быть может, навсегда. Места всем хватит — и Герберту, и Блуртмелю. И перестраивать почти ничего не надо, а для охраны и слежки он идеально подходит. А старые деревья...

— Совы на колокольне, сычи на сеновале... Как подумаю — аж трясет.

— А здесь не трясет?

— Да. Но меня и в Хубрайхене теперь будет трясти, всюду. Я...— Она выхватила ручку из его жилетного кармана, подошла к столу, оторвала клочок от того же листа и написала с краешка: «Никогда в жизни не смогу больше купить себе туфли, никогда. К счастью, у Сабины тот же размер, да много туфель мне уже и не понадобится. Кому угодно, только не мне».

Блямп явился минута в минуту, с роскошным букетом: белая сирень, алые розы и легкая пена — или брызги, так ей подумалось, — желтых мимоз. Он внес букет собственноручно, сам освободил его от бумаги, и она даже удивилась, какое серьезное, почти задумчивое у него лицо. Будто подменили — как и Тольма, как и мальчика; день великих перемен, день замороженного внука, расшевелившегося Тольма, задумчивого Блямпа, который даже — что было уже не совсем комильфо — помог ей поставить цветы в большую вазу. Она впервые обратила внимание на его руки и снова удивилась: сильные, ловкие, они совсем не вязались с его и правда грубым лицом, шишковатой картофелиной носа и абсолютно голой лысиной, обтянувшей отнюдь не красивый череп. Он с нескрываемым интересом оглядел Эву Кленш, которая подала чай и свежие эклеры на фарфоровом, с розами, блюде.

— Я правда буду пить чай, — сказал он и, кивнув им, тихо добавил: — Слышал, все слышал, и о перемене кладбищ тоже. Сам знаешь, это будет стоить тебе головы.

— Да,— ответил Тольм,— знаю и рад от нее избавиться, от такой головы.

— Стабски просил меня еще раз с тобой поговорить. Но я знаю, это бесполезно — или?

— Бесполезно, Блямп, не трудись.

— Странно, почему-то я был уверен, что ты заупрямишься, хотя из всех, кого знаю, ты самый покладистый человек. Но сегодня, сам не пойму отчего, я уверен, что ты не уступишь. Я рад за тебя — не за нас, нет, не за нас, и, конечно, не из-за того, что все так быстро. Хотя, конечно, президент на один день — что уж тут хорошего, но дело даже не в этом: ты нам очень подходил, и у меня никогда, никогда в мыслях не было тебя уничтожить. Я только всегда хотел пробудить в тебе стойкость, ну, воспитать, что ли...

— Как видишь, тебе это удалось... Не слишком-то на эклеры налегай, куда тебе толстеть. Может, все-таки виски?

— Нет, потом, я хочу поговорить с вами на трезвую голову.— Он с неприкрытым вожделением проводил глазами Эву Кленш, которая подала молоко, лимон, сахар и снова вышла.— Кто эта женщина?

— Забудь, она уже занята. Подруга Блуртмеля.

— Я бы с ходу на ней женился.

— Ты...— Кэте покраснела и принялась разливать чай.

— Слишком часто женился с ходу? Ты это хотела сказать?

— Примерно. Не совсем, но... И прошу тебя, Блямп, ее не трогай, пожалуйста.

— Я никогда в жизни не уводил чужих жен и чужих женщин, никогда, ясно вам? У меня уводили — этот левак, эстет несчастный, «Боттичелли! Боттичелли!» — вот он, да.

— Ты все еще тоскуешь по Маргарет?

— Я? Ни капельки. Уже нет. Можете смеяться, но я всегда уважал чужие чувства, так что не бойтесь: пусть ваш массажист держит сей редкостный цветок при себе.— Было странно, почти жутко видеть его слезы, он разревелся, грубая, столь зверская с виду физиономия вдруг расплзлась, под тяжелой верхней губой неожиданно обнаружилась нижняя, тонкая и беззащитная, все лицо дергалось от нахлынувшей обиды и боли.— Кортшеде,— всхлипывал он,— а теперь еще и этот проклятый мальчишка, и если бы вы знали, что у меня в подвале, у меня в подвале такое...— Нет, было не смешно, совсем не смешно видеть, как он, весь в слезах, только кивнул, когда Тольм вопросительно поднес бутылку виски к его стакану.— Вот черт, вы хоть знаете, как этот жуткий мальчишка, этот математический гений себя угрохал, нет? Что, вам такие тайны не рассказывают? Дольмер для этой штуки уже и название придумал: самострельная машина марки «Руки вверх!». Что,

не дошло? Он жилетку себе смастерил, которая по команде «Руки вверх!» сразу стреляет. Одна пола вовнутрь, другая, левая — от себя: что-то вроде портативной «катушки», под пиджаком совсем незаметно, как спасательный жилет, но потоньше. Они до сих пор изучают, что там к чему. Турка-полицейского наповал, другого, немца, тяжело ранил, ну, и сам — можете представить, во что он себя превратил. Чистое безумие — хотя на Дольмера он страху нагнал. Попробуй, покричи теперь «Руки вверх!». А тут еще письмо Кортшеде, видно, и вправду скверное.

— Ты его читал?

— Нет. Его никто не читал, только Дольмер, Стабски, Хольцпуке и те двое полицейских, которые Кортшеде нашли. Засекречено под самым грозным грифом. Кстати, Цуммерлинг тоже не читал.

— И адресовано мне?

— Ну да, начинается как будто: «Мой дорогой Фриц!» А дальше, конечно, мрачные пророчества — насчет окружающей среды, атомной энергии, прирост, экспансия, банки, промышленность — словом, мрачней некуда. Адресовано тебе, и ты вправе его получить. Сам смотри, как тебе дорваться до своих прав, и имейте в виду: никто, слышите, никто не должен узнать про похороны в Хетциграте. В Хорнауkene, наверно, придется выступить мне. Ты не возражаешь, если мы объявим, что ты болен — тяжело болен? Других родственников у него, по-моему, нет? На отца-то пришлось буквально надеть смирительную рубашку.

— Есть еще тетя... Надо бы...

— Не надо... — Он говорил совсем тихо, и снова со слезами на глазах. — Забудьте про тетю, не надо никого звать! Даже детям не говорите, пожалуйста, прошу вас, умоляю, не надо шума, не надо столпотворения. Сабина, если только она... — Он сам налил себе чаю и взял еще один эклер.

— Да, — сказал Тольм, — Сабина может и пойти.

— Фишер возвращается, он из-за Кортшеде прервал поездку. Так что в Хорнаукен она вряд ли поедет. А вам он еще устроит, после похорон тем более, и ему есть чем козырять: такой дядя, да еще с такой подружкой, плюс теперь и бабушка с дедушкой туда же! Дать Сабине уйти — какой позор! Господи, вот идиот-то, такую женщину — и оставлять одну! Да я бы с такой женщины глаз не спускал, я и Хильду-то никогда не оставлял одну, если бы не этот подвал, куда я не мог брать ее с собой — я был один в этом подвале, один как перст, и никто ничего

не заметил, столько страха, и никто ничего... И вот что странно: сегодня, когда я поговорил с Дольмером, а потом Стабски мне позвонил, когда я узнал, как этот жуткий тип среди картонок с обувью пустил в ход свою мини-кастюшу марки «Руки вверх!» — там было полно дамских туфель тридцать восьмого размера, он велел доставить их в отель, — я вдруг понял, что могу наконец выбраться из подвала, и я ревел, все утро ревел, ревел и радовался, что этой девочки — вашей Вероники — там не было... радовался, можно сказать, наперекор убеждениям, и надеюсь, что она отыщется где-нибудь, живая и невредимая, надеюсь наперекор убеждениям, вопреки всем моим принципам. Вам будет очень одиноко после этих похорон, очень — хоть это-то вы понимаете?

— Да, — ответила она. — Собственно, мы всегда были одиноки, просто не знали, не хотели замечать.

Она налила ему еще виски, но он как-то дернул головой, даже весь передернулся, не таясь отер платком слезы, потом взял чашку, поднял ее, поставил, даже не пригубив, оглянулся на дверь, за которой исчезла Эва Кленш. Господи, сколько же в нем горя, и что это за подвал, где он так долго сидел, а теперь будто бы выбрался? И кто его просил с налету жениться на всех подряд, детей ни от одной, только от Хильды, от первой, которая все-таки самая милая из всех, даже милее третьей, чей крестьянский гонор даже она, Кэте, переносила с трудом; под конец эта сельская красавица презирала все и вся, кроме себя, конечно, да и продалась совсем недешево.

Тольм по-прежнему держался недоверчиво, почти холодно, слезы Блямпа были ему явно противны; вид у него был, как никогда, решительный.

— Ладно, — сказал он спокойно, — можете объявить меня больным, формулировку придумаете сами. И мы забудем про тетю. Только мы двое — и могильщики.

— Без священника?

— Без. Он был бы против, и я считаю, это надо уважить. А кроме того, тамошний священник на могиле Беверло, — он рассмеялся, — да он, чего доброго, помрет со страху. Нет уж, не надо. Кэте справит молитву, тут, думаю, он не стал бы возражать. Может, Вероника объявится или позвонит. Я уверен: Кортшеде понял бы меня.

Тридцать три года, думала она, и не сказали друг другу ни единого путного слова, ни единого, все только банальности, анекдоты, шутливое соперничество из-за нее да еще — как там это у них называется? — «баланс взаимных интересов». Доллар, видите ли, упал в цене, а золото

поднялось, потому что где-то путч, кто-то кого-то сбросил, даже неясно, кто и кого, она редко заглядывает в «Листок», и то лишь в экономический раздел, да и какая разница, если потом доллар поднимется, а золото упадет, потому что будет новый путч и опять кто-то кого-то сбросит, не важно кто, не важно кого.

— Можешь поужинать с нами,— сказала она,— можешь, разумеется, и заночевать, если хочешь: комната твоя свободна, Кульгреве уже навел порядок.

— Нет-нет,— ответил Блямп,— спасибо, но нет. Вы даже представить не можете, что вы натворили с этими похоронами, какой переполох подняли, по меньшей мере сотню полицейских вы лишаете отпуска или выходных, Дольмера и Стабски лишаете сна, а Хольцпуке вас просто проклянет, у него и в Хорнауkene дел по горло. Это безрассудство, Тольм, то, что ты затеял, чистейшее безрассудство,— может, я тебя еще отговорю, а? Или тебя, Кэте, а ты его?

— Нет. Ты для этого приехал, или потому... потому, что выбрался из своего подвала?

— Я приехал повидать вас, поговорить с вами, мы условились еще до того, ты же знаешь, но потом Стабски и Дольмер настоятельно меня просили воспользоваться случаем... Ты даже вообразить себе не можешь... это безрассудство, Тольм. Даже если администрация кладбища не проболтается и могильщики тоже — из ста полицейских хотя бы один проболтается наверняка.

— Ты, видимо, не вполне меня понял. В данном случае меня совершенно не волнует ни сохранение тайны, ни ее огласка. Я просто иду на похороны. Я всего лишь хочу предать мальчика земле, из которой он вышел и из которой я вышел тоже, вот и все. Никаких демонстративных намерений — ни таких, ни сяких; кроме того, я знаю, что Кортшеде написал мне письмо в расчете, что я его получу, прочту и, возможно, сделаю выводы из прочитанного. Так что теперь я могу почтить его память и посмертную волю, только не поехав в Хорнаукен. А Генриха мы как-никак знали еще мальчиком, ребенком, нет, меня ты не переубедишь — может, тебя, Кэте?

— Нет, я бы, если позволите, даже сказала: меня и по-давно. Я все равно бы пошла на эти похороны, даже без тебя. Лучше, конечно, с тобой.

— Учтите, это будет превратно истолковано, в корне превратно, вольно или невольно, все равно. Через три дня после выборов! А если, допустим, ты получишь письмо, тогда передумаешь?

— Может, оно у тебя в кармане?

— Да не злись ты так! Нет, у меня его нет, и я его не читал. Просто я прикидываю варианты. Ты в Хорнауен. Кэте в Хетциграт — что же, ради бога, по мне, так пусть. Думаете, я, что ли, люблю эти пышные похороны?

— Поздно, Блямп, слишком поздно. Письмо так и так мое, но даже если бы мне его отдали, нет, я решился...

— Все-таки в Хорнауене тебе надо быть по долгу службы...

— Которым я пренебрегу, что, как ты сказал, будет стоять мне головы. Брось, Блямп, хватит, пошли, поужинай, выпей с нами, отметим подвал, из которого мы оба выбрались, ты и я. Я знаю, меня объявят маразматиком. Да перестань, я не собираюсь чинить вам никаких затруднений с моей отставкой, дайте наконец Амплангеру дорваться. Я рад, что ты пришел, останься еще немного, может, картишки организуем? Я бы совсем не прочь.

— Нет, спасибо, мне пора. Надо еще с Хильдой поговорить,— кстати, у меня просьба. Ты не могла бы замолвить за меня словечко, Кэте?

— Могла бы, но не стану. Тебе это не поможет, а Хильду только обидит. Пора тебе понять: никто, кроме нее самой, это не решит. И кроме тебя. Потом, если придете к согласию, пожалуйста, а сейчас нет. Не забудешь к нам дорожку? Я имею в виду: после похорон.

— И ты еще спрашиваешь? Нет, ты правда сомневаешься?

— Уже нет. Теперь нет. Только не пытайся снова нас отговаривать.

— А я как раз хотел.

Она поцеловала его на прощанье, и они оба проводили его по лестнице до двора, где он сел в машину. Напоследок еще раз махнул рукой. Она подивилась, как бодро, почти не касаясь перил, Тольм одолевает лестницу.

— А теперь звони своему епископу,— сказала она и в ответ на его озадаченный взгляд добавила:— Насчет дома в Хубрайхене. Здесь нам оставаться нельзя.

XVI

Через час после сообщения о гибели Беверло, которое они выслушали по радио, разразилось нашествие: были усилены караулы, нагрянули журналисты. Часовые оцепили стену со всех сторон, с каждой стороны по трое, и он тотчас же позвал детей из сада, где они собирали орехи и яблоки, обратно в дом. Ясное дело, они охотятся за мальчиком, а может, думают, что Вероника объявится, и ждут,

ждут — чего? Незадолго до этого пришла Эрн Бройер со своим любовником. Он сразу узнал ее по внешнему сходству с матерью и братом — несчастная, растерянная женщина, которая жаловалась на этот проклятый шум, шум, шум в городе и закрылась вместе со своим другом и Сабиной в спальне, откуда теперь доносились шепот и причитания. Он посоветовал ей пока что не выходить, переждать — на крайний случай в доме священника: ее вместе с другом мигом «отщелкают», вспомнят о ее деле, и она, хоть и совершенно ни при чем, угодит в такой переплет, из которого в жизни не выберется. После долгих и безуспешных попыток удалось наконец дозвониться до Ройклера, который разрешил в случае чего разместить нескольких гостей у себя в доме.

— Лучше я сам приеду и приму ваших гостей. Ну конечно, я знаю Эрну Гермес, разумеется, она может жить у меня, и друг ее тоже. Я скоро приеду, не волнуйтесь. Вам всем лучше из дома не выходить. Нет, Анну я не беру.

Катарина предложила позвонить Гермесам и попросить, чтобы прислали молоко с кем-нибудь из внуков. Он на это не согласился. Нет, он пойдет сам, даже если его зафотографируют до смерти. Пойдет хотя бы ради того, чтобы разведать настроения в деревне, а может, и ради того, чтобы высунуть им язык или, вскинув кулак, крикнуть: «Социализм победит!» С четырехлитровой молочной посудинной в руке.

Мальчик сообщение о гибели Беверло сперва не понял, потом задал очень странный вопрос:

— Сам?— И когда он кивнул, разрыдался, спросил про маму и, вцепившись в него, сквозь слезы прокричал:— Рольф! Рольф! Ты же мой папа!

— Да, я твой папа, и я останусь с тобой, и никуда не уйду. Вероника жива. Ты с ней скоро сможешь поговорить... Бев, он хотел, чтобы все так вышло. Поверь мне, он сам так хотел. А сейчас можешь пойти с господином Шублером наколоть дров, печку всю ночь придется топить.

Звонки, звонки. Отец, мать, Герберт, он всех успокаивал и умолял не приезжать.

— Нет, прошу тебя, Герберт, пожалуйста. Ты только угодишь под обстрел фотовспышек.

«Не волнуйтесь». Легко сказать, когда в довершение всего позвонил еще и Фишер, на которого напоролась Катарина. Он слышал, как она тихо сказала:

— Да, Эрвин, она у нас, сейчас я тебе ее дам,— и по ее лицу сразу понял, что Фишер сморозил какую-то глупость.— Ну, конечно, *господин* Фишер, если вы сами не тыкаете коммунистам и тем более не позволите, чтобы коммунисты тыкали вам, в таком случае, *господин* Фишер, я вам сейчас ее дам.— Но Сабина протестующе подняла руку, затрясла головой, и Катарина сказала:— Но ваша госпожа супруга не желает говорить с вами. Да, я ей передам: вы озабочены, родительские права.

В конце концов он распорядился печь пончики, ставить кофе, строго-настрого приказал никому не выходить из дома, схватил бидон, не показал язык, не вскинул кулак, только выбросил навстречу орудийным разрывам фотовспышек красную эмалированную посудину и двинулся в путь, к Гермесам. Было темно, холодно и сыро, сеялся мелкий дождь, он забыл куртку и торопился. Но все равно опоздал, пришлось идти к Гермесам на кухню, чтобы кого-нибудь вызвать, он остановился в дверях, смущенно усмехнулся, покачал бидоном. Ему было неловко нарушать их трапезу — так дружно-весело расположились они за столом перед тарелками и кастрюлями, и он не понял толком, что — недоверие, любопытство или изумление — отразилось на их лицах. И испытал облегчение, когда молодой Гермес поднялся, кивнул и направился вместе с ним в молочную кухню.

— Надо бы вам сперва обогреться,— сказал он, когда они шли по двору.

— Да нет, я спешу. Они там все напуганы. Ждут.

— Скажите моей сестре, если хочет к нам — всегда пожалуйста, будем рады. У вас-то, наверно, тесновато.

— Я не хочу, чтобы ее сфотографировали и впутали в эту историю. От таких снимков потом век не отмоешься. Пусть переждет, пока вся свора не уберется — завтра, послезавтра. Священник обещал нам помочь.

— Он что, вернется?

— Да, хочет с вами со всеми поговорить — ради вас и приезжает.

— А тот — ну, этот, он был ваш друг?

— Да. Семь лет назад. В одном классе учились, потом в армии вместе, в артиллерии, потом в университете. Да, я его хорошо знал.

— А его жена?

— Была моей женой, раньше. Мы разошлись.

Он был рад, что Гермес вот так, в лоб, его расспрашивает, и не стал спорить, когда тот отмахнулся от денег за молоко и сказал:

— Сегодня нет. Скажите сестре, это для нее... и для ее дружка. Все обойдется, день-другой — и они отстанут. Вы-то знаете, что это за народ.

— Да, пришлось познакомиться, даже два раза. Я только за вашу сестру боюсь, за господина Шублера и за сына. Они там все время на изготовку, того и гляди калитку разломают или стену снесут — и все из-за мальчика. Спасибо вам, и от вашей сестры тоже. Ее, бедную, совсем допек шум, только и твердит: шум, шум, шум.

— Если совсем припрет, я скажу мальчикам, чтоб носили вам молоко.

На сей раз, ныряя под фотообстрел, он даже не стал закрываться бидоном. На секунду остановился, так его ослепило — перед глазами только силуэты, вспышки, — потом, почти наугад, рывком, распахнул калитку.

Шублер и Хольгер I в углу у печки укладывали дрова, Эрн Бройер пекла пончики, неужто и правда у нее такое блаженное лицо или это просто от жары? Сабина и Катарина вязали, Кит и Хольгер II ползали по полу со своими зверями и кубиками, кофе уже стоял на столе, а он, усаживаясь между двумя женщинами, подумал о деньгах. Никого, судя по всему, финансовая сторона не волнует, но ведь прокормить столько ртов будет непросто: сперва пятеро вместо троих, потом шестеро, теперь вот уже все восемь, а ведь он никогда не брал денег у Кэте и отца, сколько ни предлагали. У Сабрины, ясное дело, ничего нет, она из тех, кто вообще живет без наличных, а от Фишера, это уж как пить дать, она и гроша не получит, разве что ежемесячное пособие на ребенка, если этот болван не выколотит свои родительские права. Пожалуй, Сабина все-таки слишком наивна, слишком не от мира сего. Есть тысяча способов и трюков, чтобы с ней разделаться — и с помощью «общественного мнения», и через суд, а Хольгер I, как ни крути, действительно «выкормыш террористов». Никак он не пробьется к мальчику, они на славу его поработали, да и застращали, наверно, а уж Веронике-то точно пришлось выдержать настоящий бой за его освобождение. Ни звука, ни слова из него не вытянешь, мальчик держится с безупречной, но холодной вежливостью, говорит «спасибо» и «пожалуйста», с гордостью продемонстрировал, что уже умеет писать по-немецки, и только однажды, в ответ на какой-то случайный вопрос о Бебе, сказал: «Он всегда был такой добрый, и...» — и тут же при-

кусил язык. Может, теперь, когда все накрылось из-за этих проклятых туфель, перестанет отмалчиваться. Странно, что Хольцпуке не появляется и не звонит. В конце концов, сейчас ведь под угрозой безопасность ребенка, а он один просто не в состоянии ее гарантировать. В окружении Бева и Вероники наверняка найдется группа психов, которые с самого начала не соглашались возвращать мальчика. И «колеса» наверняка уже крутятся, а Хольцпуке, вероятно, тешит себя иллюзией, что операция «колеса» не состоится. Хотя хорнаукенское кладбище расположено в самом центре зоны отдыха, где велосипедисты кишмя кишат, и голландская граница рядом. Они прикатят и в холод, и в ноябрьский дождь, там и финские домики, и крытые палаточные городки, и спортплощадки, и костровые поляны, а велосипедные прогулки под дождем сейчас стали чем-то вроде модного спорта — он же сам видел целые орды велосипедистов на похоронах Верены Кортшеде; он с ней в Берлине познакомился, вместе с Вероникой они иногда забегали к ней на чашку чая. Хорошая девчонка, но втрескалась в модного левака и наложила на себя руки, когда выяснилось, что тот нацелился только на ее деньги. Мерзкий тип, прихлебатель вонючий, бросил эту тихую, грустную белокурую девчонку в Индии, оставил на бобах, когда понял, что совсем не так уж много у нее монет; а она губной помадой на гостиничном зеркале написала: «Социализм все равно победит!» — и приняла яд.

Сабина сдержалась, не заплакала, когда услышала о смерти Бева, только притянула к себе Хольгера I и прошептала:

— Вероника жива. Жива и вернется.

Шублер с Хольгером, как видно, отлично поладили, принесли еще дров, женщины совершенно спокойно сидели с ним рядом, дети возились на полу. Эрна крикнула от плиты:

— Дюжина готова, можем начинать! Каждому по полтора. С сиропом!

Снова стало уютно. Он помог Эрне разрезать пончики и разложить по тарелкам, передал ей привет от брата, рассказал о подаренном молоке и о «всегда пожалуйста».

— И Петер? — спросила она.

— Молоко предназначалось и ему.

— А «всегда пожалуйста»? Нет, правда?! Кстати, он вас знает, по Берлину, он тогда тоже швырялся камнями и помидорами.

— Да, я читал в газете. Именно поэтому ни ему, ни вам нельзя подходить даже к двери, пока эти щелкунчики не убрались. Там ведь не одни журналисты.

— Что же нам делать?

— Лучше провести ночь здесь на стуле, чем завтра утром красоваться в газете. Пойдемте на кровать сядем. Тарелок хватает, а вот со стульями проблема.

Сабина уступила Шублеру свое место на кухне, а сама подсела к Эрне Бройер и тихо спросила:

— Так это правда? Вы уверены?

— Да, я специально так долго ждала, чтобы уж наверняка, и только вчера пошла к врачу. Все совершенно точно — четвертый месяц. Получается, Бройер и тут меня надул: это не я, это из-за него. Интересно знать, откуда брались дети у его первой жены. Наверно, он ей тоже много чего позволял, «терпел», видите ли. Выходит, наш брак вроде как недействительный, может, теперь и отец с матерью подobreют. Я так хочу здесь остаться, не могу больше в эту квартиру, я там просто не выдержу.

— Найдется, найдется для вас и угол и работа. А я — я, наверно, и в самом деле уеду в Париж. Мне так жаль, так горько, что с вами все так получилось.

— Я сейчас по-другому об этом думаю, наверно, все это к лучшему. Неприятно, конечно, было, особенно Петеру. Но зато и для него кое-что прояснилось, и мы оба рады. Чудно, даже вслух сказать боязно, но ведь в конечном счете мы за все должны благодарить этих психов, преступников этих сумасшедших. Как подумаю — просто голова кругом, — а я все равно думаю: да, их, а еще полицию, это ж смех. Скорей бы только кончилась эта осада.

Но тут грянули колокола, выхватилась из темноты ярко освещенная церковь, в доме священника одно за другим позажигались все окна, даже в саду разом стало светло; все, как по команде, отодвинули тарелки, поставили чашки, кинулись в прихожую, Шублер распахнул дверь, дождь стало не только слышно, но и видно — и постового между домом священника и часовней.

— Не выходить и не высовываться! — резко крикнул Рольф, отгаскивая Шублера от двери. — Они же на стену залезли, только и ждут, чтобы кого-нибудь увековечить. Если кому и можно выходить, так это мне — мой портрет у них уже имеется. Это Ройклер вернулся, завтра будет произносить свою — уж не знаю — речь или проповедь.

А вы,— он повернулся к Эрне,— выпитесь сегодня на широ- роченной постели. В тишине и полном покое.

Когда Эрна спросила, нет ли какой игры — такой, что- бы всем сыграть,— он предложил «монополию». Она гля- нула на него с изумлением, смутилась, спросила:

— Как? «Монополия»? У вас?

Катарина, которая уже достала игру с полки и раскла- дывала на столе, засмеялась:

— Нам-то в первую очередь надо знать «монополию» и играть, играть без пощады, для детей это лучший ввод- ный курс в ужасы капитализма. А то в школе они только ужасы социализма проходят.

Обычно серьезный Шублер улыбнулся, сказал, что пой- дет взглянуть, как там дрова, не надо ли еще наколоть, на что Хольгер I огорченно заметил:

— Тогда придется тебе идти без меня, я буду играть, мы часто играли там, в...— Осекся, покраснел и, увидев, что все вопросительно на него смотрят, пояснил:— Ну, там, где я был, мы в это играли...

Сабине во что бы то ни стало приспичило «выйти на воздух», и она, невзирая на его неодобрительный взгляд и покачивание головой, все равно пошла; он отодвинул занавеску, приоткрыл изнутри ставень, и все увидели, как зарево фотовспышек полыхнуло поверх садовой ограды. Сабина приостановилась, потом двинулась дальше, к ча- совне, но, немного не доходя, свернула к стене и показала фоторепортерам язык. Хорошо еще, подумал он, не вски- нула кулак, это повлекло бы за собой ряд недоразуме- ний,— впрочем, не столь уж крупных. Так или иначе, она все равно попадет на первые полосы, густой сад, ярко освещенная церковь, охранник на посту,— краси- вый будет кадр. Катарина, уже с игральными костями в руках, сказала:

— Ну, давайте бросим, кому начинать.

XVII

Нет, он не ограничился обычным инструктажем по карте, он сам, лично провел разводящих по маршрутам, с каждым подробно обсудил выбор постов, проверил поле обзора, шагами промерил перекрестки велосипедных до- рожек, палаточные городки, костровые площадки. Дождь, конечно, многих велосипедистов удержит дома, многих,

но не всех — некоторые, по сведениям, уже в пути. Он приказал проверять всех без исключения. Его предложение перекрыть вплоть до окончания похорон всю зону отдыха, к сожалению, не прошло. Дольмер посмеялся над его «турусами на колесах» и после разговора со Стабски отказал окончательно: будут, мол, неприятности с Голландией, плохая пресса, «чокнутые немцы» и все такое. Он же определил дислокацию двух бронетранспортеров: один в лесу за кладбищенской часовней, другой — там, где сразу несколько велосипедных дорожек выходят на проселок. Гробмёлер прибудет только завтра, в день похорон, ему с его людьми поручается охрана часовни изнутри, путь к могиле и сама могила. Кроме того, кто-то, по выражению Дольмера, «опять затянул экуменическую волюнку», так что без католиков не обойтись, вероятно, и епископ пожалует, а уж он-то своего не упустит и наверняка скажет несколько слов — ведь телевидение будет обязательно; и конечно же — он уже несколько раз имел удовольствие такое слушать, — будет говорить «об участии в страданиях», как всегда без понятия. Он-то уж точно знать не знает о Пташечке, видеть не видел изувеченного лица, слыхом не слыхивал про кошмарное письмо, которое уже стало чем-то вроде высшей государственной тайны. Все, кто знает о Пташечке, об изуродованном лице, о существовании письма, но не о его содержании — хотя он уверен, что те двое полицейских проболтались, своим-то сослуживцам уж точно, — все, кто хоть что-то об этом слышал, в очередной раз испытают чувство неловкости. Жертвенная жизнь, жертвенная смерть... Нет, такие вещи никак не укрепляют моральный дух его подчиненных, от этого только ненужные сомнения, стыд и цинизм.

Он чертыхнулся, он чуть не лопнул от злости, когда, и не от кого-нибудь, а — это надо же — от хозяйки гостиницы, узнал, что они и вправду взяли Беверло в Стамбуле и что ему велено срочно звонить Дольмеру, который, разумеется, уже успел провести без него пресс-конференцию; хозяйка слушала пресс-конференцию по радио и запомнила что-то вроде «благодаря сведениям о некоторых традиционных покупках, которыми мы располагаем из собственных информационных источников».

Черт возьми, ведь есть же рация, есть вертолеты, но Дольмер, ясное дело, не пожелал ни с кем делиться таким жирным куском, а ведь смеялся, когда выслушал

его гипотезу относительно этих самых «традиционных покупок». И уж вовсе он не выдержал, чертыхался громко и от души, когда Дольмер рассказал ему о безумной затее старого Тольма: не меньше полусотни полицейских придется согнать в эту вонючую угольную дыру! Ведь там, чего доброго, соберется вся орава, будет столпотворение, а если еще и двое старикашек заявятся, это будет — да, скандал, а милых старичков это просто доконает.

— Этого нельзя допустить, господин Дольмер, — сказал он. — В крайнем случае силой: перекрыть проезд, подстроить легкую аварию, как угодно, но этого нельзя допустить. Если уж вы не в состоянии убедить его разумными доводами...

— Может, прикажете мне его арестовать?! — взвился Дольмер.

— Да нет, я же говорю: перекройте проезд, инсценируйте парочку аварий, несколько обгорелых колымаг поперек проезжей части — и все в ажуре.

— Он пойдет пешком.

— Не успеет — похороны кончатся. Мне и так придется отменить все сборы, отозвать людей из отпусков, но дело даже не в наших служебных затруднениях, нам не впервой, тут надо думать о политических последствиях.

— Ну, все-таки они знали этого Беверло чуть ли не с пеленок, он был им почти как сын, во всяком случае долгие годы. Вы кое о чем забываете, милейший Хольцпукке... вы меня слышите? Вы забываете о письме! Какое из политических зол для нас хуже: если он получит и опубликует письмо или если он, скажем так, в меланхолическом помутнении рассудка отправится не на те похороны? Письмо, если он его напечатает — а он его напечатает, — это крышка всем нам, всем, кто ни на есть, а не те похороны — это крышка только ему. Стабски совершенно со мной согласен, мы уж тут думали-гадали, и так и эдак крутили, а письмо, стоит хоть кому-то разнюхать, что оно вообще существует, тут же будет предано огласке. Ну, что скажете?

— И все равно я бы притащил со свалки несколько ржавых колымаг и побросал на всех подъездах к кладбищу. Разумеется, привинтив свежие номера. На всякий случай я все равно прикрываю сборы. А как вам понравились тувельки тридцать восьмого размера?

— Великолепно, почти гениально! Этот факт не пройдет бесследно для вашей карьеры. Но от одной заботы,

полагаю, мы теперь избавлены: операция «колеса» не состоится.

— Вот в этом я не совсем уверен. Она-то ведь улизнала, и не забудем: есть еще сообщники, окружение.

Он много раз порывался позвонить в замок, то и дело вздыхал, снимал и снова клал трубку, пока наконец, собравшись с духом, буквально не заставил себя набрать номер и обмер от ужаса, услышав ее голос, сказавший:

— Да?— Он все еще медлил, и она повторила:— Да? Я слушаю! Кто это?

Он робко назвал себя и торопливо добавил:

— Не пугайтесь. Хотя вы, наверно, догадываетесь, зачем я звоню.

— Да, я догадываюсь. Но на сей раз даже вам со всем вашим шармом не удастся нас отговорить. Нет, дорогой Хольцпуке, нет, мой славный боевой товарищ, меня другое интересует: когда я получу вознаграждение? Вы же знаете, за туфли, благодаря которым в конечном счете... да, странно, я оплакиваю его смерть, но не скорблю о том, что он умер, понимаете? Ну, а уж туфли, вознаграждение — так я могу рассчитывать?

Черт подери, думал он, только не плакать. Он еле сдержал слезы, ведь он все слышал, все, о чем тогда, точно влюбленная парочка, шептались старики: прелюбодеяние и таинство, мадонны и дети, все. Хотя все, буквально все резоны, даже те, которые принято называть человеческими, были на его стороне. Он тоже до конца дней не забудет эти туфли, тридцать восьмой размер, да и потом — он просто полюбил этих стариков, его, пожалуй, даже больше, чем ее, и если отбросить политические и служебные соображения, получается, что это правильно, просто замечательно, что они идут на эти похороны. Он уже раскаивался, что подбросил Дольмеру идею насчет аварии. С того станется, он, чего доброго, и вправду воспользуется этим трюком, а потом не постыдится — перед Стабски или еще кем — приписать себе авторство. Хотя ведь и дураку ясно, что все это пустой номер: старик тогда вытребует письмо, а там такое понаписано — атомные станции, круговая порука, взятки, прибыли, прирост, «прогнозы», экспансия,— это если не полный крах, то уж наверняка начало краха. А старик, как ни крути, все еще владелец «Листка». Ну, а «Листок» — это полторы дюжины влиятельных газет, которые — чего не бывает? — вдруг да и тиснут разок что-то крамольное, как знать.

— Вы меня слушаете? Или вам слишком стыдно?

— Мне очень стыдно, дорогая госпожа Тольм, и я не стану, хотя и мог бы, докучать вам дежурными оправданиями: мол, так было надо,— нет, не стану. Мне очень стыдно, а насчет вознаграждения — вознаграждение полагается за добровольное содействие, а не за невольное, увы...

— Так вы завтра у нас будете?

— Нет, я не могу отсюда отлучиться. Но послезавтра мы обязательно увидимся. Я не стану от вас прятаться, и... простите меня.

— Могу я просить вас об одном одолжении?

— Да, разумеется.

— Позвоните в Хубрайхен. Пусть никто не выходит из дома, никто, слышите, и гости тоже. Цуммерлинг готов открыть огонь в любую минуту.

XVIII

В кафе, когда он помогал ей снять пальто, Хельга взяла его за руку и сказала:

— Это хорошо, что мы пока на три недели расстанемся. Эти сборы в Штрюдербекене тебе только на пользу, да и мне тоже. Я уже все уложила.

— Придется, родная моя, все распаковать обратно. Плакали сборы. Ты же слышала новости?

Он заказал кофе и чай, попросил меню, взял у нее из рук зажигалку, дал ей прикурить, выудил сигарету из ее пачки.

— Раз уж ты опять начинаешь курить, плохо твое дело, а новости я, конечно, слышала. Они взяли этого Беверло, он убит, а она сбежала. Вот только что с мальчиком?

— Мальчика они вернули. А она вскоре объявится. Так что не миновать очередной акции, Хельга, ведь это не просто два человека, это целая разветвленная сеть, огромный лабиринт со своими потайными ходами, лазейками и ловушками. Надеюсь, они отменят сборы сразу, уже сегодня, чтобы не поднимать нас, как тогда, среди ночи.— Он умолк, переждал, пока официантка поставит кофе и чай.— Да, немножко кросса, футбол, стрельба, теория — отдохнуть мне бы, наверно, сейчас не помешало. Но в эту пору в Штрюдербекене не больно-то весело: в лесу холодно, мокро, голо. И вообще, по мне, лучше бы настоящий отпуск: никуда не уезжать, посидеть дома. Отоспаться, поговорить по душам с Бернхардом, в кино прошвырнуться, с Карлом подискутировать... с тобой поговорить. Что ты имела в виду, когда сказала, что мои сборы и тебе на пользу?

— Просто расстаться с тобой по-настоящему, а не как сейчас, когда ты и здесь и не здесь, а где-то далеко-далеко, чуть ли не в Африке. Не говорить — просто так, без конца, ни о чем. Не знаю, зачем тебе это: ведь она в тебе, а ты в ней, я это не о ребенке, которого она ждет, и потом, если бы не мальчик, если бы не Бернхард, ты бы давно к ней ушел, разве нет? Меня одну быстро сбросили бы со счетов, очень быстро. Нет, лучше я пока обожду распаковать твои вещи, может, они тебе пригодятся... когда ты надумаешь к ней уйти.

Она улыбнулась, он придавил в пепельнице недокуренную сигарету. Потом передал ей меню.

— Будешь что-нибудь есть?

— Нет, спасибо, а ты?

— Нет.— Он взял у нее меню и положил возле своего стакана.— Расстаться, говоришь?

— Да. Может, тебе надо какое-то время пожить с ней, чтобы понять, что с ней ты жить не сможешь. Ты ведь мечтаешь только об одном: быть с ней.

— Да,— ответил он,— да,— вспомнил Сабину, ее мокрые волосы, когда она ночью принесла ему поесть и поцеловала его, а потом еще раз и еще, уже после, когда он, перед тем как сменяться, поставил пустую мисочку на ее подоконник.— Да, но — ты можешь смеяться — у меня сердце разрывается, когда я думаю о тебе, когда я думаю о Бернхарде... и еще о том, что придется оставить службу.

— А я и не думаю смеяться, уж немножечко-то я тебя знаю, но в одном я уверена: ты уйдешь с ней, уйдешь за ней.

— Может, ты уверена и в том, что я вернусь?

— Нет, не уверена, хотя, конечно, надеюсь, да. Да, я надеюсь. А тебе, наверно, страшно — вот так, решиться?

— Да, страшно, но я решусь. Меня только заботят... ну, практические вещи: наши долги и еще — как мне быть, если придется бросить службу, уйти из полиции?

— Что ж, в одном можешь быть уверен и не сердись, что я так говорю: тогда тебе, наверно, не придется платить алименты. Странно, у меня на нее совсем нет зла, у нее такой приятный голос, и она так счастлива со своей дочуркой. Пойду работать, поживу сперва у Монки, у нее и работа для меня найдется, и Бернхарду будет хорошо. А ты — нет, из полиции ты не уйдешь. Я к Хольцпуке пойду, к Дольмеру, если надо — к Стабски прорвусь, в конце концов, торчать целыми днями у бассейнов, на приемах, по обувным магазинам таскаться, нет, тут не только твоя

вина, если это вообще твоя вина. Нет уж. В конце концов, я вышла замуж за полицейского, и когда он ко мне вернется, если он ко мне вернется,— пусть полицейским и останется. Пусть засунут тебя в какое-нибудь акулье отделение, я имею в виду — где ловят и тех финансовых акул, которые и нас облапошили. Только прошу тебя, Хуберт, уходи поскорей.

— Да,— ответил он.— Сегодня же. Отправлюсь прямо туда и увезу ее, ведь пока что я ее телохранитель. Машину оставляю в Хубрайхене, ты потом заберешь.

Он оставил машину у ворот, помог Хельге отнести покупки. Навстречу выбежал Бернхард с запиской в руке:

— Папа, тебе нужно позвонить по этому номеру.

Он потащил сына с собой к телефону и, набирая номер, обнял его за плечи.

Это был домашний телефон Люлера, он вспомнил, хотя почти не общался с ним вне службы, да и не хотел общаться.

— Ты, конечно, уже в курсе?— спросил Люлер.

— Догадываюсь,— ответил он.— Сборов не будет.

— Точно. Кладбище, и не в Хорнаукуене, а в Хетциграде. Нам поручено закупорить эту дыру. Совершенно секретные похороны с участием абсолютно засекреченных лиц включая покойника. Ради такого случая даже в форме. Сбор в 7.30 возле выезда на Тольмсховен. Хольцпуке шлет привет. Командовать парадом будет Дольмер собственной персоной, незримо, разумеется, наверно с ратуши, а то и с вертолета. Весьма важный покойник, и отважный, я тебе скажу,— не в гробу, разумеется, а при жизни. Так что до завтра. А сборы не отменены — откладываются.

— Меня не будет... я буду уже далеко... я...

— То есть как? Заболел, что ли?

— Нет. Я уезжаю.

— С Хельгой и парнем?

— Нет.

— Один?

— Нет. Скажи Хольцпуке, пусть ищет мне замену.

Хельга уже вынесла к машине чемодан и сумки, открыла багажник.

— Форма тоже там,— сказала она.— Я не стала вытаскивать,— она улыбнулась,— вдруг понадобится, мало ли

что, наперед не угадаешь. Ну, а теперь тебе больше всего на свете хотелось бы остаться, верно?

— Да, но я поеду.

— Только с Бернхардом не слишком торжественно прощайся, не так серьезно, ладно? Я ему скажу, что у тебя особое задание, что-нибудь секретное.

— Ну да, пока газеты не пронюхают и не раззвонят, какое это «особое задание». Нет уж, что-нибудь другое придумай, без этих слов, ладно?

Он посмотрел ей прямо в глаза, не узнавая этого голоса, в котором перемешались горечь, грусть и бодрое напускное безразличие.

— Не забывай,— сказала Хельга,— ей тоже нелегко, ей совсем не так просто.

Он только махнул мальчику, который как раз вышел на крыльцо, вскочил в машину, завел мотор и рванул с места.

XIX

Не отрываясь она смотрела на газетную фотографию, а слез все не было. Сперва ей бросились в глаза обувные картонки, много, целая куча коробок, некоторые прострелены, а на одной она отчетливо разглядела проштампованную цифру 38; сотрудник безопасности, явно немец, стоял за этой грудой картонок, склонившись над чем-то, и этим чем-то был Бев. С самого начала она твердо решила неукоснительно выполнить все, все пункты инструкции, кроме самого последнего, и вот теперь спрашивала себя, имеет ли право, порядочно ли это — сейчас, почти у цели, пойти на попятный; не в том ли теперь ее долг, чтобы отдать Беву последние почести, последнюю дань верности, доказав ему, доказав на краю его могилы, что его план осуществим во всех пунктах, от начала и до конца, что никакая мышьяная возня с безопасностью им не поможет, не помогла бы, если бы она заранее не решила самый последний пункт инструкции не выполнять: сунуть им бомбу — заряженный велосипед — прямо под дверь, а уж после объявить отбой.

Дождь нудно барабанил по пластиковой крышке киска-закусочной на восточной окраине Энсхеде; она заказала еще порцию биточков, попросила хлеба, взяла себе горчицу, заказала еще кока-колы. Всего десять километ-

ров до Хорнаукуена, а ей не дает покоя одна мысль: кого из полицейских — голландца или немца — ошастливить славой ее ареста или ее добровольной сдачи? Бывают случаи, она сама читала, когда такая слава отнюдь не приносит счастья: человек совсем теряет голову — кутежи, скандалы, порно, развод. К тому же она не вполне уверена, сумеет ли объяснить голландскому полицейскому всю опасность велосипеда. Еще примут ее за сумасшедшую, а с этой штуковиной шутки плохи; немцы же, наверно, все-таки получили ее сигнал насчет «колес» и быстрее сообразят, что к чему.

Пока все шло по плану: велосипед, как и было условлено, с нежно-голубым бантом у седла, в самом деле стоял в Энсхеде перед зданием главпочтамта; чем-то жутким, даже потусторонним дохнуло на нее при мысли, что у него столько тайных помощников и он со всеми поддерживал связь. Бев настойчиво вбивал ей в голову, что велосипед «начинили не голландцы, а именно немцы». «Это на тот случай, если тебя сцапают и ты расколешься. Так что запомни: немцы! Чтобы они не вздумали затеять экспорт своей вонючей безопасности». Ее паспорт не вызвал ни малейших подозрений, а в голубой ушанке искусственного меха, в круглых очках и желтой нейлоновой куртке она и впрямь запросто сойдет за голландскую учительницу или студентку. Ее завораживала игра, но и верность его безупречному плану, хоть сам он и не позаботился вовремя отослать обувные коробки обратно в магазин. В Хорнаукуене ей надо как ни в чем не бывало ехать напрямик к кладбищу и требовать, чтобы ее пропустили. В конце концов, у нее паспорт на имя Кордулы Кортшеде, она родственница по голландской линии и приехала навестить могилу бабушки. Уж там видно будет, хватит ли у них жестокосердия запретить скорбящей внучке доступ к могиле любимой бабушки, но если жестокосердия у них все-таки хватит, она должна закатить сцену и спокойно дать себя увести. Главное было не это, главное — приткнуть велосипед под буками между воротами и часовней, а самое главное — не забыть сперва освободить фиксаторы на ручках руля и до отказа закрутить обе ручки вовнутрь, левую направо, правую налево. Он дал ей слово, что ничего, абсолютно ничего не случится, пока фиксаторы не сдвинуты и ручки не закручены вовнутрь до отказа, да и тогда лишь через сорок пять минут.

Главное было — независимо от того, пропустят ее или нет,— что в предполагаемом столпотворении на велосипед никто не обратит внимания. Она удостоверилась, что фиксаторы на месте, но, конечно, она и не подумает их сдвигать, ни за что. Просто уж больно заманчиво и в самом деле доехать до кладбища и только там потребовать к себе главного полицейского босса: заманчиво и в самом деле навестить могилу Верены Кортшеде, но это наверняка не пройдет, она ведь лежит в семейной могиле, куда сегодня положат и ее отца. Она вспомнила о тех похоронах, на которые они все тогда поехали, все, и Бев тоже, и Рольф, и Катарина,— солнечный день, роща,— наверно, это с того раза он так четко запомнил кладбище, что даже описал ей местонахождение могилы ее мнимой бабушки: «В правом углу, в сторону леса, предпоследний ряд, так что прямо туда и иди, а потом ныряй в лес».

Еще заманчивей телефонная будка возле закусочной: надо срочно позвонить Рольфу или Катарине, объяснить, что мальчик, ее сын, Хольгер I — это живая бомба; он стал ей совсем чужой, наверно, даже своим родителям и родителям мужа она не кажется настолько чужой, слово «отчуждение» воплотилось в нем и вошло в ее жизнь каким-то совсем новым смыслом. Будто они — только кто? кто? кто? наверно, и Бев тоже — напшиговали его чем-то, что гораздо опасней вещества, из которого мастерят бомбы. Хольгера надо срочно — да, лечить, приручать. Как, кому — это уж пусть Рольф думает, может, Катарина ему посоветует. Ведь обронил же кто-то «бомба в мозгу», тут не нужны ни динамит, ни взрыватели, и, должно быть, у мальчика в мозгу бомба, которую обязательно надо — но как? как? как?— обезвредить. Приручать — не слова, только руки, наверно, способны его исцелить.

Но на этом расстоянии ее, видимо, сразу запеленгуют, а она не даст себя схватить, она явится сама, она им докажет, как просто было докатить колеса досюда и как просто было бы докатить их до самого кладбища. Наверно, все-таки лучше последнюю партию этой игры даже не начинать, да, отказать от последней подачи — ведь это может затянуться не на один час, а то и не на один день. Лучше всего, наверно, сдать на границе, на немецкой стороне. А так хотелось зайти напоследок на могилу к Верене Кортшеде. Жалко, жалко ее до слез — и все из-за этого поганого псевдолевака, который подобрал ее и снова бросил, как только выясни-

лось, что совсем не так много у нее денег. Ах, этот неизменный жиденький чай у Верены Кортшеде, тогда в Берлине,— и это при том, что ее отец, по слухам, один из крупнейших чайных магнатов; ее с детства держали в черном теле, у них в доме скупались не из скупости, а из принципа, это так похоже на ее желчно-бледного папашу, которого сегодня хоронят. А Тольм, наверно, произнесет замечательную речь. Нет, последнюю партию играть не стоит, она выходит из игры.

Она пристроилась к группе из четырех велосипедистов, которые дружно катили по направлению к границе. Дождь, как видно, был им только в удовольствие, они даже пели, крутя педалями. На голландской границе их пропустили небрежным взмахом руки, на немецкой остановили и подвергли строжайшей проверке: удостоверения личности, багаж, даже велосипеды. Нет, это были не только пограничники, но и полиция, с мотоциклами. Рация, переговорные устройства. Она отделилась от группы и подошла к полицейскому, который стоял в сторонке с мотоциклетным шлемом в руках и наблюдал за проверкой. Сбросила капюшон, сняла очки, ушанку и сказала:

— Я та, кого вы ищете. Дело серьезное и очень срочное, свяжитесь с вашим шефом и скажите ему: колеса прибыли, Вероника Тольм доставила их до самой границы.

— Бросьте эти шутки,— ответил полицейский.

— Это не шутка,— сказала она.— И пожалуйста, осторожней с моим велосипедом, он заряжен. Пожалуйста, свяжитесь...— Он все еще колебался, и она тихо добавила:— Ну, смелей, вы не опозоритесь. Честное слово. Это правда я.

Тогда он наконец взял переговорное устройство и произнес в микрофон:

— Я Вернер-восемь, Орхидею-один срочно.— Голландцы тем временем проехали, ее обступили остальные полицейские. Она услышала, как он докладывает:— Тут одна женщина, молодая, уверяет, будто она Вероника Тольм, и просит вам передать: колеса прибыли, она доставила их до самой границы.— Он протянул ей прибор и сказал:— Говорите.

— Алло,— услышала она голос,— с вами говорит Хольцшукке, вам теперь часто придется иметь со мной дело. Что с велосипедом?

— Он заряжен, не знаю как, я умею только снимать предохранитель. Прикажите его забрать, и пусть никто ничего не крутит.

— Я буду через несколько минут. Полагаю, вам нужно позвонить. Я узнал вас по голосу.

— Да, я хочу позвонить, если вы позволите.

— Разумеется. Дайте-ка мне еще разок нашего сотрудника.

Она вернула прибор полицейскому, услышала, как ему что-то приказали, потом полицейский тронул ее за плечо и произнес:

— Пойдемте, я провожу вас к телефону... Остальное потом...

XX

Она повернула ключ, вынула его из замка, опустила в карман и только тут услышала тишину. Охранников нет, фотографии и журналисты тоже куда-то подевались, и Хольгера-старшего не видеть — не слышать, как, впрочем, и Сабины, и Кит, и Бройер с ее другом, — вообще ни души. Рольф с Хольгером-младшим отправился к врачу, потом за покупками, раньше часа они не вернуться. По-прежнему шел дождь, правда, уже не такой сильный, и она на миг замерла, прислушиваясь: ни звука, даже яблоко не упадет с ветки, орех не стукнет по цементу дорожки; откуда-то издали, казалось, бог весть откуда, слабо доносились голоса двойняшек Польктов, мать уводила их домой, и они что-то радостно щебетали. Она зачем-то еще раз проверила, заперта ли дверь зала в доме священника, и почувствовала, что ей страшно — страшно пройти эти сто двадцать шагов через сад. С опаской, как по тонкому льду, она двинулась по садовой дорожке, а в голове сами собой уже прокручивались нехитрые логические комбинации: раз нет охранников — значит, нет и Сабины, а раз нет фотографов — значит, нет и Хольгера-старшего, а раз... Она вздрогнула, когда из лачуги навстречу ей вышел Ройклер, и ей почему-то сразу подумалось: «горевестник». Он и вправду как-то вымученно улыбнулся, подойдя к ней и беря ее за руку; вид у него был изможденный, и от него пахло сигарой.

— Да, — сказал он, — не волнуйтесь. Тут много всего произошло. — И стал рассказывать: сперва о том, как отправился с Бройер к ее родителям, и о том, что «блудным дочерям приходится куда тяжелее, чем блудным

сынам»; поведал — еле слышно, почти шепотом — о том, что Вероника сдалась полиции и уже звонила, умоляла глаз не спускать с Хольгера-старшего, но слишком поздно, мальчонка к тому времени, сразу после ухода Рольфа, успел улизнуть и, словом — ну да, сумасшедший дом,— упросил какого-то фотокорреспондента отвезти его в Тольмсховен, а там, ну, словом, устроил поджог, пока господин Тольм с женой хоронят в Хетциграте Беверло.

— Много всего произошло,— сказал Ройклер,— но ни с кем ничего не случилось.— А в довершение всего ее невестку с дочкой увез какой-то полицейский в форме, охранники приветливо с ним поздоровались, явно признав в нем сослуживца и даже не спросив, какое у него задание, а сейчас как раз выяснилось, что это если не похищение, то, во всяком случае, несколько сомнительная акция, не то чтобы уголовно наказуемая, но сомнительная, и «степень ее наказуемости в дисциплинарно-правовом отношении сейчас уточняется». Ройклер улыбнулся и повторил:— Да, произошло много всего, но ни с кем ничего не случилось. Правда, дома вас поджидает гость, который не имеет ни малейшего отношения ко всему, что произошло, но с ним-то как раз кое-что случилось: это ваш приятель Генрих Шмерген. А самое главное: ваша невестка Сабина очень хотела вас за все поблагодарить и попрощаться, но обстоятельства не позволили — все было очень спешно. Она,— он снова улыбнулся,— просила меня непременно вас дождаться, все вам объяснить и передать, что она очень надеется на скорую встречу. Кстати, если вы еще не догадались: этот полицейский — ее любовник, отец ее будущего ребенка. Ну что, немножко много всего, да?

— Да,— согласилась она,— пожалуй, многовато.

Придерживая под руку, он повел ее к дому, поведав по пути о долгом телефонном разговоре с большим полицейским начальником, который охарактеризовал «этого господина Тёргаша» как особенно надежного сотрудника, известного своей набожностью, снискавшей ему как насмешки, так и уважение. Потом Ройклер как бы ненароком поразмышлял вслух о том примечательном обстоятельстве, что все четверо действующих лиц, замешанных в этой истории, или, скажем так, причастных к ней «в таком странном сочетании — ваши родители, ваша невестка и этот молодой полицейский,— теперь, надо полагать, вне опасности».

— Ну, а сейчас мне пора домой, к жене. А вы позаботьтесь о молодом человеке, он давно вас ждет.

Сидя перед полной пепельницей и пустой кофейной чашкой, Генрих Шмерген, заикаясь, рассказывал, как он ехал в автобусе из Кёльна в Хубрайхен и читал книгу под названием «Путь Кастро»; сидел, никому не мешал и совершенно не обратил внимания, что все вокруг читают сегодняшние газеты с сообщением о гибели Беверло; и вдруг, на подъезде к Хурбельхайму, его поразила мертвая тишина в автобусе, он поднял глаза и увидел, что все безмолвно и враждебно уставились на него и на его книгу — молча, угрюмо, тяжело, «будто готовы удавить меня на месте», и он испугался, по-настоящему испугался, нет, честно, он со страху чуть в штаны не наложил, в Хурбельхайме сразу же вылез и остаток пути прошел пешком, а теперь хочет только одного: уехать, просто уехать, все равно куда.

— Куда-нибудь, где можно читать книги, даже в автобусе, не пугаясь вот так, до смерти. Я все понимаю: можно спорить, можно ругаться, можно — ну я не знаю что, — но хоть как-то аргументировать! Но эти молчаливые взгляды... о, господи! Катарина, по-моему, вы обманываетесь, мы все обманываемся, нет, уеду, хотел только вот попроситься, поблагодарить и, если можно, попросить немножко денег. Буду искать страну, где каждый может читать в автобусе что ему заблагорассудится.

— Куба? — вырвалось у нее, и она чуть не прикусила язык от досады: вопрос получился подлый.

— Нет, — ответил он. — Может, Испания. Не знаю — лишь бы прочь, прочь отсюда. Немедленно. Сегодня же, сию же минуту, я даже домой не зайду проститься. Передай привет Долорес и Рольфу и одолжи мне немного денег, на первые дни, я сперва в Голландию поеду, а уж там я готов до конца дней делать самую черную работу, по мне, так и дерьмо возить, но я тебе все вышлю.

Она достала из сумки кошелек, положила рядом с его чашкой, раскрыла и сказала:

— Бери половину. — А когда он сконфуженно потупился, подбодрила: — Ну, живо, нечего стесняться, давай, — потом сама вынула деньги, вытряхнула мелочь на

стол, быстро, одним пальцем отсортировала направо и налево одинаковые бумажки и монеты, поделила полсотни, ткнув купюру в одну кучку и переправив оттуда двадцать пять марок в другую, подсчитала — по шестьдесят восемь на брата — и придвинула к нему оставшиеся медяки, тринадцать грошей.— Это тоже тебе, пригодится, глядишь, чашка кофе, а может, и буханка хлеба или десяток сигарет, я не знаю, почему в Голландии сигареты, и спички, много спичек, бери.— И поскольку он все еще смущенно жался, сунула все ему в карман и сказала:— Умеешь просить — умей и брать. Ничего, еще научишься, как и многому другому. Жаль, мы тебя очень полюбили. Может, вернешься еще...

И заплакала, увидев, как он под дождем понуро бредет к калитке в нелепо сплюсненной шапчонке, спрятав голову в воротник куртки. Книгу — «Путь Кастро» — он забыл, она лежала на столе подле кофейной чашки.

Сабина все-таки успела напоследок порезать овощи для супа и почистить картошку, ей осталось только поставить кастрюли на огонь и вынуть сардельки из холодильника. Когда Рольф с малышом показался у калитки, она все еще плакала.

XXI

Со стороны казалось, что население Хетциграта срочно эвакуировано и обезлюдившая деревня взята под строжайший контроль: на всех углах полицейские, в форме и без, на подступах к кладбищу — конная полиция, и даже школьный двор, что на полпути от церкви к кладбищу, будто вымер. Вероятно, по такому случаю в школе отменили занятия. За оконными стеклами черно, ни шевеления, ни звука; на рыночной площади только несколько полицейских с рациями. И тишина. Очевидно, здесь готовились встретить нашествие, которое не состоялось: орды длинноволосых юнцов, девиц в длинных плащах, так называемое «окружение» — но страхи явно не подтвердились. Он был совершенно спокоен. Кэте — с венком на коленях — нервничала. И Блуртмель был сам не свой: на всех перекрестках озирался по сторонам, направо, налево, будто все ждал чего-то, удивляясь, почему ничего не происходит. За вит-

ринным стеклом мясной лавки Брайлига промелькнул сам Брайлиг, один из его школьных друзей; рядом с Брайлигом — покупательница.

— Надо было тебе пальто надеть, — беспокоилась Кэте. — Вон холод какой, да и сырость.

— На пальто ордена не нацепишь, а я подумал: сегодня как раз подходящий случай покрасоваться в орденах.

Блуртмель, большой дока в вопросах протокола, сказал ему, что, разумеется, вообще-то на похороны можно надевать ордена, но на такие похороны — это уж не по его части. Вот орденские ленты, сказал Блуртмель, ни в коем случае, ленты и Кэте отсоветовала, зато решение надеть ордена одобрила.

— Я просто диву даюсь, Тольм, сколько прекрасных идей родилось у тебя за эти два дня, — сказала она. — А идти там, слава богу, недалеко, от покойницкой до могилы Беверло всего метров тридцать, от силы пятьдесят. Там рядом и мои родители лежат, и родители родителей, и родители тех родителей, а предков Беверло там лежит не меньше, чем Шмицев, это ведь один из старейших родов в деревне, они тоже из крестьян.

Вертолет сперва кружил, потом завис над ними, когда Блуртмель помог им выйти из машины. Все-таки ордена — довольно громоздкие штуковины, золото с красным, а один, какой-то иностранный, вообще пестрый, почти с блюдце величиной. Вопреки правилам он снял их с лент и попросил Блуртмеля приколоть английскими булавками.

Она не захотела отдать ему венок — сирень и желтые розы, без ленты, — но когда один из могильщиков построил венок на голую, без единого цветка, повозку с гробом, возражать не стала. Дальше все пошло опроретью, они едва поспевали за повозкой, и вот уже могильщики, приподняв гроб на заранее приготовленных канатах, опустили его в землю. Вертолет висел точно над ними. Тольм шепнул:

— Твори молитву, Кэте.

И она вполголоса прочла «Отче наш», а вслед за ним еще и «Аве», маленькой лопаткой бросила в могилу первые комья земли, передала лопатку Тольму, посмотрела на надгробный камень. Большинство надписей закрыл холмик свежерытой земли, и только самую верхнюю строчку можно было разобрать: «Ульрих Беверло, крестьянин из Айкельхофа, 1801—1869».

— Пойдем,— позвала она, но Тольм не двинулся с места. Он заглянул в могилу, посмотрел на небо, потом оглянулся на Блуртмеля, который о чем-то тихо беседовал с полицейским у часовни.

— Кэте,— произнес он,— мне надо тебе кое-что сказать.

— Да?

— Ты знаешь, я всегда тебя любил. Так вот, ты должна знать еще кое-что.

— Что именно?

— Что социализм победит, какой-нибудь социализм победит обязательно...

Вертолет улетел, едва они дошли до часовни. Блуртмель бросил своего полицейского — Тольм теперь признал в нем молодого Люлера, которого в свое время представил ему Хольцпуке. Но он видел его только в штатском, в форме тот выглядел моложе.

— Ты забыл отблагодарить могильщиков,— сказала Кэте.

Он снова пошел к могиле, достал бумажник и протянул одному из парней сотенную.

— Это вам на двоих.

Он успел заметить, как вертолет приземляется на школьном дворе. Но едва он обернулся, как из часовни выскочил нахальный мальчишка-фотограф. Должно быть, он там прятался, не иначе как с санкции Хольцпуке, а то и Дольмера. Тот самый шкет, который совсем недавно, в день выборов, отщелкал его с сигаретой в зубах, ну, а уж сейчас он, Тольм, считай что нарвался на прямое попадание: с цилиндром в руке, вся грудь в орденах, за спиной — надгробья и могила, на которой явственно можно прочесть фамилию Беверло. Мальчишка не улыбался, не гримасничал, он хладнокровно отстрелял свою серию, потом отщелкал его еще раз, теперь уже вместе с Кэте, когда они подходили к машине,— щелкал, щелкал, щелкал...

— Этот сделает карьеру,— сказал он Кэте и Блуртмелю.— Этот далеко пойдет.

По-настоящему он испугался, только увидев возле машины Дольмера рядом с Блуртмелем, который приготовился открыть им дверцу. Вид у Дольмера был потрепанный, изрядно потрепанный. На секунду он замешкался, не зная, к кому подойти — к нему или к Кэте, выбрал Кэте, подошел и сказал:

— День плохих вестей, дорогая госпожа Тольм. Мало того что ваша дочь, так сказать, в пожарном порядке удрала с одним из наших сотрудников, ваш внук — словом, пожар, замок горит,— как-то он исхитрился прошмыгнуть мимо охраны.

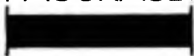
— Кто-нибудь ранен или в опасности?

— Нет.

— В таком случае, я знавала вести и похуже,— сказала она, садясь в машину.— А что касается дочери, так эта весть и вовсе не из плохих.

И все же она не ожидала, что Тольм рассмеется.

РАССКАЗЫ



ERZÄHLUNGEN

© Перевод. Вильмонт Е. Н., Городинский И. И.; Каган Г. Е., Михелевич Е. Е., Шлапоберская С. Е., 1996 г.

ДОНЕСЕНИЯ О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НАЦИИ

1. КРАСНОЗОБИК — КРАСНОКРЬЛУ

Тем временем я устроился очень недурно, и хотя мое ателье было закреплено за мной договором еще несколько месяцев назад, я, как мы условились, приехал сюда за шесть недель до вступления его в силу, чтобы с помощью списка, который вы мне дали, разыграть материально стесненного человека, ищущего квартиру. Если учесть, какая мне предшествовала слава — ни много ни мало три допроса и арест, — то я бы сказал, что мне все же достаточно охотно шли навстречу. Чему это следует приписать — сочувствию к моей сомнительной деятельности или моему публичному раскаянию, репутации «блудного сына», — сказать трудно. Так или иначе, чтобы вы немного уяснили себе обстановку, я посылаю вам спецпочтой список лиц, открыто выражавших мне симпатию. Поскольку мы условились имен не называть, то я пользуюсь в данном случае уже испытанным нами «двухпалубником». Людей мне сочувствующих я склонен рассматривать как сочувствующих моему *раскаянию*, а не моей прежней деятельности, однако сделать окончательный вывод предоставляю вам, ибо для этого необходимо заглянуть в их досье, а я к ним доступа не имею. То же самое относится и к лицам, открыто выражавшим мне антипатию: вызвано ли их отвращение ко мне моим *раскаянием* или недоверием к этому раскаянию — судить об этом я мог бы, только располагая столь же полной информацией, какой располагаете вы. Не завидую вашей задаче: проанализировать, в чем коренится здесь симпатия или антипатия, ибо и в одном и в другом случае вам придется все время иметь в виду возможность перемены убеждений, какая произошла у меня.

Лаконичная рекомендация, которую вы дали мне к здешнему члену ЦК, оказалась очень полезной: передо мной сразу открылись кое-какие двери и чьи-то объятия. Я нигде не отрицал той спорной роли, какую играл в анархическом движении Берлина и Дортмунда, а свое кодовое имя «Краснозобик» обнародовал совершенно сознательно как прозвище.

После моего первого выступления на сцене (которое организовал тот самый член ЦК) все сложилось, как я и предвидел: мне не пришлось искать сближения с людьми — они сами искали сближения со мной. В очень красивом зале церковного прихода я показал свой лучший номер: пиротехническое представление «Францисканско-иоаннитская огненная цепь». Потом состоялись дискуссии, тема обычная: «Ангажированное искусство». Был спор, небольшое сообщение в прессе, интервью, в ходе которого я ввел и определил понятие «воспламеняющее искусство», а поскольку здесь не только католическая среда, но и все круги общества буквально изголодались по искусству, то меня переправили дальше. Так что дело завязалось хорошо (и развяжется, надеюсь, так же). У меня есть почва под ногами, я приобрел репутацию, какой добивался, — человека непроницаемого, выдаю себя за умеренного реакционера, — так, за мною уже закрепилось прозвище Бейс Союза учащихся.

Никак не пойму, почему вы упрекаете меня в «филологизме»; я же на самом деле вынужден расшифровывать тарбарский и уголовный жаргон людей, с которыми мне необходимо встречаться. Так что если я кого-либо обозначаю словом «красноломкий», это вовсе не значит, что это сломленный красный, а лишь то, что на изломах его жизни и сознания просматривается красный цвет. Соответственно обстоит дело и с «черно- и коричневоломкими». Такие краткие обозначения я нахожу весьма полезными и предлагаю зашифровать их следующим образом: «кл», «чл», «крл». Для пометок в деле это очень удобно. Если же о каком-то человеке я говорю, что он «красноплесневый», то это выражение отнюдь не фигуральное, подразумевающее, что это вялый и ленивый красный; оно означает, что человек этот заражен «красной плесенью» — я имею в виду плесень не в смысле лень, а в смысле тлен, и шифр предлагаю «кпл». Стало быть, не исключено, что кого-то я могу обозначить буквами «чл/кпл» или даже «кл/кпл».

Хоть я и знаком с соответствующим жаргоном, пусть только до 1972 года, у меня все же возник известный языковой барьер с одной здешней группой, которая, можно сказать, навязалась мне сама. Они называют себя «Крас-

ногузками» и действуют совершенно сепаратно от *определившихся* левых сил, соединяя жесткий догматизм с показной общительностью. Мне понадобилась почти неделя, прежде чем я выяснил, что когда они говорят о «предводительнице банды анархистов, нечаянно забившей мощнейший гол», то имеют в виду совсем не У. М., а одну пробивную фабрикантшу, которая всего-навсего слишком произвольно истолковала закон о налогах. А когда говорят о «потянувшей миллионы коробке», построенной для «преступного объединения», то имеют в виду не новостройку в Штаммхеймере, а резиденцию федерального объединения союзов работодателей в Кёльне, конечно не называя ни то, ни другое здание. Такие догадки и толкования вытекают просто из тщательного (и утомительного, да к тому же требующего расходов) изучения умонастроений и лексики. Сколько времени понадобилось мне, пока я выяснил, что под преступным объединением ЕКА подразумевается не Евангелическая кооперативная ассоциация, а Епархия кёльнского архиепископа; что Лекаки — сокращение, презрительно употребляемое в отношении некоторых лиц, причастных к церкви, это вовсе не замуфлированное слово «лакеи» (что было бы легко предположить), а просто-напросто сокращение слов «левокатолические круги». Тогда, по логике, должны существовать и «Каки» — правокатолические круги, причем намек на коричневый оттенок цвета ХАКИ здесь отнюдь не случаен. Конечно, у меня возникли кое-какие сомнения в значительности этих «Красногузок», но нельзя недооценивать их роль как кристаллизующего вещества. Это группа из пяти человек: редактор на радио, студентка — она, по-видимому, у них за главаря, — секретарша и двое рабочих, для которых МС оказались слишком правыми (список фамилий, как условлено, вы получите через «двухпалубник»!). Они конфликтуют со всеми левыми группами, не примыкающими к ГКП, с церковными молодежными группами обоих вероисповеданий и с военнослужащими. Позволю себе заметить, что, может, имеет смысл намекнуть об этом военной контрразведке. Получается, что молодые словоохотливые офицеры, для которых слово «демократия» не пустой звук, а свободно-демократические основы государства, — не выхолощенное понятие, сами, как овечки, лезут под нож, ввязываются в дискуссии, которые им не по зубам и в которых откровенно высказываются доводы против НАТО. Крайне неохотно сообщаю вам одну подробность, которая, в сущности, относится к компетенции ИНТИМНОЙ СЛУЖБЫ, но, пожалуй, могла бы от нее ускользнуть: молодой и чрезвы-

чайно общительный майор из министерства обороны явно состоит в связи с некой особой, именующей себя Красногузкой I (позволю себе заметить, что это особа *женского* пола); во всяком случае, я нечаянно стал свидетелем совершенно недвусмысленных нежностей, которыми эти двое обменивались в саду молодежного центра в перерыве дискуссионного вечера. В течение шести недель я имел также полную возможность наблюдать некоего господина, которого мы условимся называть псевдодатчанином. Он тихо, робко, почти молча приглядывается к происходящему, а так как я оказался в сфере его культурно-политической деятельности, то при случае он обращается ко мне, просит интервью (которое я в надлежащее время ему дам), собирает данные, информацию. Вдруг он *активизировался* и предложил мне (как нарочно, во время приема, устроенного ХСС) учредить «Комитет в пользу жертв классовой юстиции». Я выразил свое одобрение, но прямо в это дело еще не ввязался. Он уверяет, что в одном монастыре неподалеку отсюда у него есть единомышленники, поэтому я все-таки хочу при ближайшей возможности отчетливее выразить ему свою солидарность, не исключено, что это наведет нас на международные круги сочувствующего этому движению монашества. Псевдодатчанин намекнул также, что в монастыре мне скорее всего обещено выступление, так как некий Фармфрид (патер?) внимательно следит за моей артистической судьбой.

На такого рода выступления и встречи мне, видимо, следует соглашаться, они сами вытекают из моей здешней ситуации и, так сказать, вырастают из моей почвы и на моей почве. К тому же они вводят меня в среду, смежную с интеллектуальной, в которую вы настоятельно рекомендовали мне внедриться: министерская бюрократия с высшим образованием, публицисты, комментаторы, церковная *кпл. арена*, журналисты, дипломаты. Чтобы пробиться в эти круги, я непременно должен стать «интересным».

Насколько автоматически действуют здесь предрассудки, я обнаружил недавно, когда во время вечерней дискуссии на тему «Является ли искусство политической акцией — может ли политическая акция быть искусством» у меня завязался разговор с тем самым столь же любезным, сколь и алчущим нежностей майором. Он заметил, как, в сущности, жалко, что мы — он имел в виду артистов вообще и меня в частности — так упорно уклоняемся от военной службы. Каково же было его удивление, когда я ему сообщил, что в 1969—1970 гг. честь честью отслужил в армии, где был пиротехником, так что своими ремесленными навыками я обязан бундесверу, а уж их дальнейшим

художественным развитием — самому себе. Что майора это удивило, для меня неожиданным не было, еще менее неожиданным было бы, если бы он *притворился* удивленным. Вызывает беспокойство, что он в самом деле этого не знал и, хотя мы с ним встречались уже добрый десяток раз, не позаботился навести обо мне справки. Я полагаю, Краснокрыл, что у нас снова появилась возможность вставить перо военной контрразведке! Подумайте только, ведь этот симпатичный парень меня спросил, не смогу ли я при случае продемонстрировать мое искусство караульному батальону, а когда я шутливо осведомился, не сможет ли он помочь мне раздобыть для этого черный порох и фосфор, он засмеялся и сказал, что хоть армия и не располагает этими средствами в чистом, непереработанном виде, ибо времена пороховых рожков безвозвратно миновали, но, наверно, можно будет как-нибудь договориться с заводами боеприпасов. Должен признаться, что такая наивность меня просто потрясла. Представьте себе, что я принял бы его предложение! Какой-то случайно встреченный, едва знакомый ПИРО-боевик получил бы тогда прямо от бундесвера материал, с помощью которого мог бы взорвать все ведомство федерального канцлера (что при нынешнем канцлере — чисто абстрактно — было бы не так уж вредно!).

Все же у господина майора хватило ума во время этого мероприятия наконец-то проявить оперативность. Он без конца звонил по телефону, однако потом неосторожно, из тщеславия, выдал, какого характера были его звонки, ибо, прощаясь со мной, сказал: «До свидания, камрад артист!» Очевидно, он выяснил, что я не рядовой военнообязанный, а после сборов в 1971—1973 годах был произведен в лейтенанты запаса.

В «двухпалубнике» вы найдете фамилии, адреса и цитаты из высказываний студентов, шестнадцати будущих педагогов, четырех теологов и двух социологов; все они ярко выраженные кл/кпл; кроме того, мнения четырех министерских чиновников, трех журналистов, чьи слова я снабжаю пометкой откл. (напоминаю вам, что откл. означает не отключение, а только отклонение). К тому же обращаю ваше внимание на то, что строжайший надзор я устанавливаю исключительно за теми, кто высказывается не публично, а лишь в частном порядке, то есть даже не на дискуссионных вечерах, а в пивных, на вечеринках, в кафе, во время коротких встреч на улицах.

Краснозобик.

Как выяснилось, это была все же удачная мысль — внедрить меня сюда в качестве внештатного сотрудника датской радиостанции, а так как мое задание (датское) довольно широкого профиля, тему ограничить трудно, поиски материала тоже дело долгое, то у меня оказалось достаточно и времени, и простора для деятельности. Многочасовая серия передач о «Культурно-политическом развитии послевоенного общества Германии» обеспечивает мне доступ именно в те круги, которые мы условимся называть «кандидатами на строгий надзор». Считаю своим долгом вам сообщить, что люди здесь очень и очень недоверчивы: едва я успел представиться в федеральном ведомстве печати, посетить несколько журналистских пивных, как к моему работодателю Ф-сену сразу же полетел встречный запрос. От кого исходил запрос — от ведомства печати, от датских коллег или так вообще заведено в этой конюшне, вам лучше знать; возможно, запрос делался на всех этих уровнях. Так вот, Ф-сен все подтвердил — и данное мне задание, и подлинность моего удостоверения, и после некоторой путаницы (здесь у меня есть однофамилец, журналист, которого, похоже, не очень любят, прозвище — Стукач!) я могу считать себя принятым и признанным. Поскольку мне к тому же не надо ничего подправлять в своей *vita*¹ (как условлено, я откровенно сообщаю свои биографические данные: год рождения 1940, окончил торг. училище — заочно, потом учился на факультете журналистики, внештатно сотрудничал в редакциях по разделу «Образовательная политика», свободный журналист, имею публикации на соответствующую тему, некоторые привлекли к себе внимание), то мне нечего опасаться встречных вопросов. После того как я добрых десять лет без помех бороздил свое поле, мне потребовалось всего две недели, чтобы войти в здешнюю *атмосферу*, еще две, чтобы очутиться в окружении «кандидатов», а после третьей пары недель, то есть в целом после шести, я здесь, можно сказать, уже свой парень. Для первой серии передач я выбрал такое название: «Столица и искусство». Мои тезисы одобрены, и я усердно собираю информацию, делаю заметки, наброски, понемногу переписываю их набело и нисколько не дергаюсь оттого, что Ф-сен (ничего не подозревающий) уже слегка торопит. Ведь когда первая серия пойдет в эфир и, как вы мне сулили, датская пресса не совсем обойдет ее молчанием, я смогу передать и пе-

¹ Жизнь (*лат.*).

реслать «обрезки» ведомству печати и отделу культуры министерства иностранных дел, после чего буду окончательно легализован.

Вы знаете, что я ни во что не ставлю известные «почтовые ящики», зато ящики федеральной почты считаю самыми надежными. Так как отправка «до востребования» кажется мне тоже слишком ненадежной, то я адресую письма прямо нашей общей приятельнице, в чьем семейном пансионе в Вестервальде мы сживали уже не раз и мирно резались в скат. Я предполагаю, что вы по-прежнему проводите там свои уик-энды, а если мои донесения станут драматичными или срочными и потребуют немедленных мер, то у меня под боком все еще имеется некий монастырчик, доброе старое «Гнездо» наших совещаний, где патер Фармфрид — предлагаю для него шифр Фф — предоставит нам свой «красный» телефон (и свою неизменно охлажденную можжевеловку). Предполагаю, что внутримонастырскую информацию он передаст непосредственно вам, так что я ничего об этом сообщать не буду, если не получу других указаний. Во всяком случае, как отзовется постановление о радикальных элементах на монастырском пополнении — это дело внутрицерковное и щекотливое, а Фф находится как раз на этом фронте. Как и раньше, все данные, фамилии, цитаты пойдут отдельно, в «слизистую сумку».

Соответственно моему заданию, сначала я занимался выявленными или уже уличенными сторонниками радикалов, следил за ними или даже с ними беседовал и предлагаю (в наказание) не мешать им предаваться собственным душевным терзаниям. Возьмем для начала господина, которого мы уговорились называть Рюффлин, — он ведь не только признал свои ошибки, но искренне в них раскаивается и даже слегка тронулся. Чуть что, он бормочет: «Я же в самом деле это знал, знал же, знал», намекая на то, что в свое время бросил некой собаке (если мне не изменяет память, это был боксер) целый кулек отменных бараньих костей, хоть и *знал*, что она принадлежит какой-то родственнице Гудрун Энслин. Нам не стоит здесь заниматься вопросом, который уже не раз служил темой газетных комментариев, — купил ли он кости специально для *этой* собаки или же вначале предназначал их своей собственной (кажется, спаниелю). Пусть все останется как есть: он *раскаивается* и так откровенно выражает свое раскаяние, что мне его даже немножко жалко, хотя *вообще* в таких случаях я безжалостен. Этого Рюффлина можно изо дня в день видеть в одном довольно многолюдном кафе, где он сидит и читает либо передовицу в «*Рейнише меркур*», одобрительно и ритмично

кивая головой в знак, так сказать, полного своего согласия, причем из кармана пиджака у него торчит ФАЦ, либо он читает передовицу ФАЦ, точно так же кивая головой, а «*Рейнише меркур*» торчит у него из кармана. Между тем ему удастся — сначала он делал это под псевдонимом — время от времени помещать обзоры в одной газете, не внушающей никаких подозрений, и если даже псевдоним, какой он себе избрал — Супертье, говорит в его пользу, то содержание его обзоров — тем более. Так что давайте выпустим Рюффлина-Супертье из-под строгого надзора. Прочитайте «Колонки обозревателя», подписанные Супертье, и вы со мной согласитесь.

Совершенно по-другому обстоит дело с парнем, которого мы с вами в свое время, когда он произвел некоторый переполох на берлинской и дортмундской анархической сцене, прозвали за его испанскую внешность Мендосой. Здесь он фигурирует под шуточным (или кодовым?) именем, которое взял себе сам, хотя уверяет, что им наградили его другие. Его называют Краснозобиком, но в результате моих трудоемких (как вы можете себе представить) розысков выяснилось, что это прозвище пустил в ход он сам: на двух-трех сборищах как бы невзначай заметил: «Такая-сякая шпрингеровская свинья на днях обозвала меня Краснозобиком» — или: «Такой-сякой реакционный тип из ОХДС вчера обозвал меня Краснозобиком». Таким образом он ловко подбросил окружающим свое прозвище. Думаю, что к этому Мендосе-Краснозобику мне надо будет присмотреться поближе. К счастью, полученное радиозадание дает мне возможность прямо обратиться к нему, не внушая никаких подозрений: теперь он называет себя «артистом-боевиком», его специальность — «воспламеняющее искусство», или искусство зажигания. Поскольку эстрада здесь представлена слабо, можно сказать, почти никак, то ему за два месяца удалось создать себе положение, которое можно было бы обозначить словом «вездесущий». Беспардонность, с какой он, без всякой причины, а значит, демонстративно, носит в кармане, скажем, книжку издательства «Вагенбах», да так, что она торчит оттуда ровно настолько, чтобы ее сразу можно было узнать, граничит с неприличием. После нескольких выступлений, которым нельзя отказать в известной привлекательности, он здесь так «вписался», что его приглашают даже на приемы Центрального комитета немецких католиков, и я недавно его там видел, на сей раз с торчащим из кармана экземпляром «*Дасда*». Он болтал с нунцием Бафиле, пытаюсь, как я уловил мимоходом, разъяснить ему мистические видения Екатерины Сиенской. Надо вам было видеть сухое, удивленное лицо прелата, хотя он еще и не казался шокированным. Несомнен-

но одно: Краснозобик обнаружил некий дефицит искусства и сознательно обустроивается в этой просторной нише. Пропасть, отделяющая ХДС/ХСС и близкие к ним клерикальные круги от общеинтеллектуальной и артистической среды,— это вакуум, который может оказаться опасным! Опасность я здесь усматриваю нешуточную: объявился наконец молодой артист, успевший уже составить себе имя; «артист-боевик», даже с некоторыми литературными претензиями, и, хотя он ведет себя как откровенный анархист, на него клюют. Боюсь, что все это чревато бедой, ведь Краснозобику для его выступлений требуются ингредиенты, которые в таких изделиях, как хлопушки и прочие карнавальные и новогодние атрибуты, хоть и не вполне безопасны, но политически совершенно безобидны, однако при другой композиции и других амбициях становятся уже далеко не безобидными: черный порох, сера, сурьма, фосфор и т. п. Вам известно, что слово «фейерверк» достаточно многозначно, это огненные игры самого разного свойства, а Краснозобик играет с огнем в двух смыслах: его искусство заключается в огненных представлениях, а за кулисами у него тлеет пламя анархии.

Хотя мне известно, что ни на сцене, ни за сценой службы безопасности не дремлют, я все же позволю себе серьезно предостеречь: за искусством этого «боевика», возможно, много чего кроется. Во всяком случае, спички имеются в свободной продаже, и если с тысяч и тысяч спичек соскрести головки, образуется потенциальный взрывчатый материал, а это совсем не смешно. Мой совет: взять под контроль продажу спичек в розничной, в оптовой торговле, в супермаркетах. Не то чтобы заставить непременно отчитываться за их покупку или продавать по талонам, но здесь нужен глаз да глаз!

Я осторожно закинул обговоренную нами удочку: мой план основать «Комитет помощи жертвам классово-юстиции». Можно ли считать случайностью, что первым на нее клюнул Краснозобик, и к тому же обещал мне поддержку некой группы, именующей себя «Красногузками»?

Рабочая лошадь.

Р. С. На сей раз «слизистая сумка» будет полна до краев.

Раб. л.

3. КРАСНОГУЗКА I — МАЙОРДОМУ

Весь материал лежит наготове в надежном месте, единственная трудность — печатник, которому нам пришлось щедро заплатить, обязав его молчать. К счастью, это не-

общительный, скупой на слова человек определенного сорта — ожесточившийся левый католик, не расставшийся с романтикой двадцатых годов. При необходимости тебе придется выставить его в качестве главного свидетеля. Он готов просидеть полгода, не больше, но я думаю, тебе удастся свести дело к четырем месяцам. В его случае можно даже зацепиться за параграф 51 — в свое время он полгода просидел в концлагере. Пожалуйста, сделай все, все возможное, чтобы материал не обнаружили до его использования.

«Викинг», в чей «Комитет помощи жертвам классовой юстиции» мы вступили, предложил мне «взрывчатые штуки». Еще не знаю, что он имеет в виду — взрывчатку, бомбы и т. п. или известный сорт забористого порноматериала, который до либерализации порносферы тоже называли «бомбами». Проверь-ка ты его. Я бы не хотела рисковать. Без всякого повода вдруг заговорил со мной об Орхусе, но ведь там сидит Дучке, а может быть, следующим будет Б 7. Похоже, что он радикал, значит, надо устроить ему провал. Я не знаю, насколько надежна датская служба безопасности, но ты все-таки справишься там у них.

Что касается другого, Краснозобика, то его приглашение на чашку кофе я приняла. Соответствует ли круг его чтения — Вальраф и проч. — его убеждениям или это маскировка (маскировка от кого?), я пока решить не могу. Кроме того, он не стесняясь показал мне довольно большой запас пиротехнических средств, заметив, что если кому-то вздумается ими «злоупотребить», то их вполне хватит на то, чтобы «разнести» парламент. Новый Гай Фокс? Туалетная вода для волос у него из ГДР, все осветительные приборы тоже. Он довольно долго рассуждал о динамитчике из романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», при этом ужасно смешно скалился, уверяя, что он, мол, тоже динамитчик, артист-динамитчик.

Попозже, когда он показал мне свои запальники, запальные шнуры, запасы химикалий и батареи, то мне стало немножко не по себе. Его попытки за мной поухаживать я отменяла самым вежливым образом. «Увильнула» от него, не слишком его обидев. Не вздумай ревновать. Нам и без того надо соблюдать осторожность. У меня создалось впечатление, что он что-то подозревает, — спросил напрямик о моих «личных отношениях с бундесвером» и как это сочетается с моей политической ангажированностью и т. д. Приглашение прийти на его ближайшее выступление в одном восточноазиатском посольстве я приняла.

Еще два сообщения: к «Комитету» самостоятельно примкнул некий Лифтерхолт, студент теологии. Кроме того, тут еще вертится один ирландец по фамилии Мак-Нальти. Происходит что-то имеющее отношение к сыру. Может, ничего опасного и нет, но лучше бы копнуть. По мне, этот ирландец слишком уж психованный. Мак-Н. играет на гитаре, поет всякую душещипательную дребедень, а посреди песни то и дело выкрикивает — ни к селу ни к городу — «Cheese». Я это воспринимаю как лозунг, пароль, может, это пароль для контрабандного экспорта или импорта внутри ЕЭС? Разве Ирландия производит много сыра? В данном случае я ничего не *знаю*, а только *чую носом*, а тебе известно, что нюх меня редко подводит. Викинга и нашего глуповатого Краснозобика я считаю не вполне безобидными. Печатник мне совсем не по душе, так же как мрачный Лифтерхолт. Зато веселый Мак-Нальти в каждой своей песне каждый раз выкрикивает слово «сыр» как боевой клич и каждое свое выступление заканчивает такими двумя строчками:

I want to go to Parma,
I want to get some Cheese!¹.

Постарайся через НАТО в Лондоне и Белфасте и через ЕЭС в Дублине разузнать, что это за сыр из Пармы. Может, он имеет в виду пармезан, притом тертый?

Сделай так, чтобы нас арестовали только через шестнадцать часов после акции. Несколько недель нам с тобой, наверно, придется обходиться без ласк.

Красногузка I.

4. КРАСНОЗОБИК — КРАСНОКРЫЛУ

Тем временем вы уже, наверно, поняли, что воспользоваться телефоном «двухпалубника» мне было крайне необходимо. Мое выступление в восточноазиатском посольстве оказалось под серьезной угрозой срыва, база для моих операций могла быть преждевременно разрушена — ничто здесь не действует так губительно, как подобный провал. Артист, не способный достать необходимый ему материал! А если этот материал у него конфискуют? Мерзкие трудности, с которыми я столкнулся при закупке большой партии спичек, абсурдно противоречат тому количеству черного пороха, который

¹ Хотел бы я поехать в Парму,
Хотел бы я отвесть сыра (*англ.*).

мне предлагает сама армия. После того что я, как всегда, в полном неведении заказал у оптовых торговцев свои обычные 60 000 коробков, ко мне неожиданно нагрянули три представителя службы безопасности (мужского пола), которые пусть и не грубо, но весьма энергично обыскали мои жилые комнаты и ателье. Они забрали два номера журнала «*Конкрет*», три публикации издательства «*Вагенбах*», а также экземпляр «*Франкфуртер хефте*». После того как они с величайшим недоверием, чуть ли не с отвращением, просмотрели «*Франкфуртер рундшау*», «*Шпигель*» и «*Зюддойче цайтунг*», у меня создалось впечатление, что и ФАЦ, особенно раздел фельетона, показалась им крайне подозрительной. Лишь случайно газеты «*Цайт*» у меня в доме не было.

Что же касается спичек, то мой деликатный намек на личное знакомство с министрами культов двух земель, управляемых ХДС,нисколько мне не помог, а робкое упоминание о том, что и министр культов земли, управляемой ХСС, мне тоже не совсем чужд, они вообще пропустили мимо ушей. В конце концов я сослался на Министерство иностранных дел, на серьезные дипломатические осложнения, могущие возникнуть, если они вздумают помешать выступлению артиста в восточноазиатском посольстве. Я долго беседовал с этими господами об искусстве и о спичках, и хотя имел возможность показать им кое-какие журналы по искусству со статьями обо мне, даже заметку в разделе культуры ФАЦ, все было тщетно. Смягчить их не удалось, а один и вовсе заявил, что искусство, зависящее от спичек,— это не искусство. Представьте себя на моем месте! И это за пять часов до выступления, за три часа до репетиции! Под конец я посоветовал им подумать, как на это будет реагировать иностранная пресса. Никакого впечатления! Что было бы, убеждал я их, если бы у художника отобрали краски, у писателя — карандаши! Или запретили бы продавать эти необходимые для искусства предметы! Что случилось бы тогда с искусством, не говоря уже о гарантированной конституцией свободой?

Можете вы себе представить, что я был уже почти готов себя раскрыть? Я этого не сделал. Впрочем, насколько небрежно искали у меня эти господа, несмотря на видимость усердия, вы можете судить по тому, что ими не были обнаружены три экземпляра «*Дас да*» и две книжки Гюнтера Вальрафа, а ведь они лежали у меня под подушкой!

Оставшись наконец один, я пошел в телефонную будку и в виде исключения вызвал «двухпалубный». Кроме того, я позвонил в восточноазиатское посольство, та-

мошный культурный атташе меня успокоил, сославшись на экстерриториальность, на свободу искусства и на имеющийся у них значительный запас беспошлинных спичек англо-ирландской фирмы «The friendle match»¹. Тем временем сработал «двухпалубник», и мое выступление — кстати, оно имело фантастический успех — было спасено.

Прошу вас теперь ничего, решительно ничего по этому поводу не предпринимать — это происшествие сослужило хорошую службу моей легенде и весьма удобряет мою здешнюю почву. К тому же оно дало мне повод для составления прилагаемого списка сочувствующих и не сочувствующих, которые объявились у меня в связи с этим происшествием, подходили ко мне и т. п. Вы удивитесь, узнав, кто и как высказался по этому поводу, и моя скромная информация, обогащенная вашими негласными сведениями, может оказаться весьма полезной для принятия постановления о радикальных элементах. Прежде всего обратите внимание на легкомысленную симпатию к либералам в Министерстве иностранных дел. Там никто не подозревает, насколько опасны спичечные головки на самом деле! Полное отсутствие понимания при чрезвычайных обстоятельствах.

Краснозобик.

5. РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ — ЗАВ. КОНЮШНЕЙ

Успех в экзотическом посольстве развязал ему язык. Уже на следующее утро он дал мне интервью. Спесиво, гордо, важно. Сказал также, что ввиду его растущей популярности он все-таки должен еще подумать, вступать ли ему в Комитет. Сначала он разыгрывал из себя антишовиниста, хвалил качество англо-ирландских, шведских, даже итальянских спичек (просил в разных посольствах оказать ему «деловую помощь» спичками) и заявил, что прискорбное вмешательство в его дела, необходимость коего он, безусловно, понимает, навело его на мысль пользоваться в будущем только заграничными спичками. Когда я его спросил, как обстоит дело с советскими спичками и спичками из ГДР, Венгрии и т. д., он довольно глупо усмехнулся и сказал, что намерен их испробовать и «принять в расчет».

Я забрасывал всевозможные удочки: не фашизм ли это уже, что это за страна, где ставят преграды искусству, не стоит ли мне рассказать об этом скандале по датскому

¹ «Дружественная спичка» (англ.).

радио. Он не клонул, сослался, в полном соответствии с той псевдореакционной личиной, которую он на себя надел, на «пусть горькую, но осознанную необходимость». Гегель? Он не попался ни на какую приманку.

Потом мы долго и подробно беседовали о воздействии спичечной акции (которую он все же назвал «спичечной истерией») на торговлю продуктами питания, косметикой и аптекарскими товарами, на всякого рода мастерские, на изготовителей приспособлений для фейерверка и прочих забав и на торговцев, розничных и оптовых, этими предметами. Ему уже было известно, что посольство Китайской Народной Республики заявило протест МИДу и уведомило, что будет изготавливать ракеты самостоятельно: древние китайские традиции никоим образом не могут быть нарушены, точно так же не может быть нарушено и соблюдение этих традиций. Кроме того, поступило — это он тоже знал — заявление от обиженных офицеров запаса, которые собирались в своем союзе отметить какой-то юбилей (а может, производство своего председателя в генералы запаса?) и устроить по этому случаю фейерверк. Заверения в документально подтвержденных патриотических убеждениях и в прямо-таки безупречном политическом прошлом, настоящем и будущем их председателя ни к чему не привели. Даже вмешательство председателя ХДС было оставлено без внимания. Нет уж! Порох есть порох, и кто знает, не придет ли в голову какому-нибудь чокнутому майору (а такие есть!) шальная мысль. Жаль, конечно, потому что этот союз сам по себе достоин поощрения, но на данном этапе исключения могут вызвать недовольство. Искусству-де ставят палки в колеса, а милитаристам полная свобода!

Лишь позднее, когда мы с ним волей-неволей коснулись актуальных вопросов, зашла речь о его взглядах на искусство. Его ателье, расположенное, кстати, на заднем дворе бывшей фабрики, выглядит отнюдь не по-спартански, а наоборот, очень даже уютно. Стены оклеены старыми планами выступлений дортмундского и берлинского периодов его жизни, основная тема — «поставить свечи», зажечь огни, зажигательные мысли, революция с небес. При этом аргументирует он очень ловко: у всех религий, говорит он, в обычае «возжигать» свечи или огоньки. Праздник св. Люции, Jul¹, солнцестояние, рождественская елка, свечи в церквах, алтари с приношениями по обету и т. д. Это одинаково распространено как на Востоке, так и на Западе. Потом он заговорил об «Интернационале огнезажигания». Зажигание должно за-

¹ Рождество (шведск.).

тем продолжаться и передаваться дальше в форме «зажигательных мыслей». Вместо телефона надо проложить огнепроводный шнур. В этом принципе однозначно просматривается модель «запального шнура», которым он хочет «опоясать весь мир». Подземные зажигательные устройства, огнепроводы, зажигательные системы с дистанционным управлением, сплошь произведения искусства, «корневая система воспламенения и юмора». Должен признаться, что юмор этого господина, который за портвейном, сигарками и под очень тихую ирландскую народную музыку проповедует о революции с небес, рассуждает об огнепроводных системах, кажется мне весьма кладбищенским.

У него хватило смелости включить в свою зажигательную схему даже нефтепровод, а «поскольку НАТО располагает целой системой разнообразных и широко разветвленных трубопроводов», то враждебное отношение к НАТО он считает прямо-таки реакционным.

Вы мне поверите, что я ушел от него с весьма смутным чувством. Слова, сказанные им на прощанье, я счел явной издевкой. Он проводил меня до дверей, предложил во всякое время давать мне дополнительную информацию о состоянии искусства в столице. А потом шепнул: «Сыр, тертый сыр, тертый. Вы же связаны со страной, где изготовление сыра имеет давнюю традицию!» Я не мог понять, к чему эти намеки, но спрашивать не стал — не хотел унижаться, так что прошу вас, разузнайте, что за всем этим кроется. Возле его ванной комнаты я, между прочим, обнаружил груды батареек разного напряжения. Разумеется, все это нужно ему для «произведений искусства». Существуют ведь художники, которые разбрызгивают краску из пистолета. Советую его взять.

Конечно, я и сам не слишком рад тому, как подействовало мое предостережение насчет спичек. Слух, что для покупки спичек вскоре надо будет иметь специальное разрешение, разнесся с ошеломляющей быстротой, их начали панически скупать, потом в магазинах вдруг стали припрятывать зажигалки, а когда под угрозой изъятия оказались еще и газовые баллончики для зажигалок (по ошибке, но пока выяснилось, что это ошибка, и принятые меры были отменены, ушли бесценные часы), люди стали гоняться за фитильными зажигалками, но разве фитили не так же опасны? Моментально образовался черный рынок, отмечались проявления истерии не только из-за нехватки спичек, скорее даже из-за связанной с ними опасности. Сделали несколько обысков, не у одного нашего приятеля. Теперь обстановка почти нормализовалась — с тех пор как соответствующие

инстанции сообщили, что вовсе не все спички будут изъяты. Один из моих английских коллег тут же спроворил антинемецкую статью под названием «German matchbox revolution»¹, где описал, как у известной в городе бельгийской журналистки, заядлой курильщицы, славящейся тем, что она терпеть не может зажигалки, сделался сердечный приступ. Представителям правительства было совсем не легко отвечать на вопросы по этому поводу; один корреспондент из Восточного блока (кстати, очень злобный) спросил, не пора ли уже обучить немецкий народ добывать огонь трением? Прозвучали слова «каменный век», даже «ледниковый период». Пошли разговоры о «произволе властей», о «чрезмерной осторожности». Но разве осторожность может быть чрезмерной?

Раб. лошадь.

Чтобы подытожить мои наблюдения за двумя другими лицами, сочувствующими радикалам: дама, которую мы условились называть Поцелуйчик (в свое время она подвезла в своей машине на вокзал дядю одной родственницы У. М., гостившего у ее соседа, хотя прекрасно *знала*, кто это!), ни малейшего раскаяния не выражает! Она отказывается от интервью, от заявлений, от какой бы то ни было информации, *хотя* ее муж — средний чиновник Министерства внутренних дел. Этот человек, когда с ним заговаривают о странном поведении его жены, только прикидывается смущенным. Никаких выводов он сам из этого делать не желает. Сделает ли выводы МВД, для меня весьма сомнительно, особенно после того, как наша очаровательница, Поцелуйчик, недавно все-таки заявила, что упомянутый господин был очень обаятелен, к тому же он инвалид. Вот и все. Раскаяния — ни малейшего! Никаких последствий — и непоследовательное Министерство внутренних дел.

Случай 4-й. С Руффино, по-видимому, все ясно. Он отказался от своего прихода и был вынужден взять отпуск. У него тоже — никаких признаков понимания или раскаяния, наоборот: он говорит, что сделал бы это еще раз, и если детям когда-нибудь снова в жаркий летний день придется ждать машину (они ждали, как установлено, машину К II) возле его дома (*как* они очутились возле его дома, выяснить так и не удалось), то он опять купит им мороженое, и уж теперь со взбитыми сливками и со всеми возможными «добавками». Когда его спросили, что он имеет в виду под «добавками», он ответил: «А сверху еще шоколадный соус!»

¹ «Немецкая спичечная революция» (англ.).

Этому типу пришлось выехать из дома, так что теперь он в отпуске, к сожалению, «с полным содержанием» (лишить католического священника его материальной базы, по всей видимости, почти невозможно!), и он подался в Майнц, где собирается «наконец получить степень доктора теологии». Я предлагаю поручить Обезьяне IV пасти Руффино. Он, похоже, не вполне равнодушен к женским чарам.

Р. л.

6. КРАСНОГУЗКА I — МАЙОРДОМУ

В истории с сыром нюх меня, как видно, не подвел! За это время выяснилось — из соответствующих английских публикаций это явствует тоже, — что тертый пармезан — важнейший ингредиент при изготовлении бомб определенного сорта, а Мак-Нальти постоянно вращается в определенных кругах. Что касается банка АПТ, то могу тебя успокоить. Правда, осторожности ради я порасспросила компетентных людей, где помещается этот суперлевый банк, но повсюду встречала недоумение, пока случайно (на вечеринке медиков) не выяснила, что банком АПТ называют действительно существующий Аптекарско-врачебный банк в Кёльне. Нетрудно было также разузнать, что подразумевается под «M-Brothers»¹: речь идет о депутатах бундестага Марксе и Мертесе (оба из ХДС), так что опасности никакой. Я, правда, не знаю, как у вас работает эротический отдел, но могла бы подсказать кое-что полезное: одна девчонка из расчетного отдела ФЛЕРОПЫ — к нам она пока не примкнула, но уже на подходе — на днях сказала, хихикая: «Если б мне можно было болтать!» А когда мы немножко на нее нажали, прибавила: «Вы не поверите, кто и кому посылает цветы, и куда! И не только мужчины женщинам!» У меня словно пелена спала с глаз. Если не удастся ее разговорить или добиться от нее толку за деньги (надо, чтобы для нее игра стоила свеч), то проще всего забраться к ним в бюро и сфотографировать копии счетов за цветы, где указаны отправитель, адресат, цена, вид цветов и т. д. Красногузка 4 готова взять это на себя. О Краснозобике и Викинге ничего особенно нового. Первый раздуплся от важности, с тех пор как у него было что-то вроде домашнего обыска и успешное выступление в одном восточном посольстве — этого даже я не могу не признать. Викинг начинает теперь собирать деньги для своего Комитета.

Операция «Учительский стол» завершилась если и не полным, то значительным успехом. В нескольких окрест-

¹ Братья М. (англ.).

ных деревнях и городках мы организовали вечерние дискуссии учителей и учащихся реальных училищ и гимназий. Тема — «Загнивание капитализма». Пока я вместе с Красногузкой 3 участвовала в дискуссии, Красногузки 2, 4 и 5 незаметно покинули зал и обшарили в классах учительские столы, те, что были не заперты. В целом в семи школах было обследовано 112 столов. Результат: 4 фотографии Розы Люксембург, довольно много пособий по Крестьянской войне, по 1848-му, 1918-му годам, брошюры из ГДР, соответствующие газеты. Плакаты и открытки Стэка. «Вагенбах», Вальраф, «Конкрет», «Дас да». Детали — фамилии, места находок, точная опись найденного, как обычно, в «слуховом рожке». Полагаю, что нашим преемникам стоит продолжить эти операции. Категорически не советую взламывать замки. Искушение было сильным, особенно при виде шкафов в учительских. К счастью, Красногузке 5, руководившему этой операцией, удалось соблюсти дисциплину. Писала второпях.

Поцелуйчик от твоей Красногузки.

7. ЗАПИСЬ В ДЕЛЕ, СДЕЛАННАЯ ЗАВ. КОНЮШНЕЙ

(не дословно, а конспективно после звонка Фф из «Гнезда» по «красному» телефону и разговора о Рабочей лошади)

Рл арестован и допрошен. Фф имел возможность посетить его как духовник. Допрос Рл длился пять часов, пристрастный и малоприятный. Фф находит тревожным тот факт (я также), что пароль «Краснохвост», по-видимому, ничего не говорит ни арестованному, ни тем, кто его допрашивает. Фф и Рл намекают на донос со стороны Кз. Репутация Рл подмочена и должна быть немедленно восстановлена (лучше всего с помощью МИДа и Ведомства печати). Арест был произведен после их общего с Кз визита в «Гнездо». «Гнездо» обшарили тоже. Кз по нашему указанию был в тот же вечер арестован тоже, но это слабое утешение. Связь между гербицидом «Экс», сахарной пудрой и тертым пармезаном еще не выяснена. «Красный» телефон в келье Фф обнаружен не был. Необходимо выяснить также, какая служба ответственна за арест Рл. Каким образом можно всыпать этой службе за обнаружение телефона, не лишаясь при этом незаменимого Кт. Фф считает вероятным, что в «Гнезде» ведется контр-разведработа.

Фф обещал «плотно набитую слизистую сумку» с разнообразнейшим материалом о внутренних делах «Гнезда».

Арест и строгий допрос мне нисколько не повредили, ни физически, ни психически, моей легенде — тоже. Такие происшествия усиливают неразбериху с обеих сторон. Ничего не предпринимать.

(ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ — ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ)

Обещаю, что «двухпалубник» будет полон до краев! Какое сочувствие выражал мне тюремный персонал в том соседнем городке! Единственный надежный человек — тюремный священник, гнувший свою линию последовательно и безжалостно. Никакой сентиментальности. Стоит взять его на учет как пригодного для использования. Он был кадровым офицером и политические дискуссии считал «просто антихристианскими». Спросил меня, почему я не уезжаю в ГДР. Очень хороший человек. Вечером, после того как меня освободили, я пошел в театр на постановку Клоделя. Демонстративно надел черный костюм, побрился, вымыл голову и повязал белый галстук. Там я встретил одного влиятельного члена ЦК (не клерикала), который представил меня редактору «*Нойе бильд-пост*» и «*Вельт*», потом одному высокопоставленному функционеру ХДС, весьма остроумно сравнившему пироксисму с пироманией. Он говорил о баварских «поджигателях», всячески подчеркивая, что имеет в виду не Штрауса, а кое-какой опыт в делах страховых компаний против крестьян-поджигателей.

Об акции «Красногузок» и об их аресте мы узнали только позднее, около полуночи. После предпринятых мною ночных розысков в разных направлениях это скандальное происшествие представляется в следующем виде.

На рассвете «Красногузки» установили в городе, на всех местах, где образуются транспортные пробки (локализовано 10—12 таких перекрестков!) самодельные стенды, умело сработанные из фанеры и легкого металла, на которые они наклеили (примерно на уровне глаз водителя) сравнительно небольшие плакаты. Содержание плакатов:

1-я строка: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (красными буквами)

2-я строка: против преступных объединений в кельнской верхушке.

Строки 3—6 — явная фотокопия из Кельнской телефонной книги:

Федеральный союз Немецких промышленников.

Федеральный союз Немецких банков.

Федеральное объединение Немецких рабочих союзов.
Федеральный союз оптовых торговцев предметами личной гигиены.

Последняя строка (опять красными буквами): Просьба в эти учреждения *взрывчатку не подкладывать*.

Большинство водителей, проезжавших там в ранний час, явно не поняли, в чем дело, и приняли эти плакаты за обычные объявления о розыске. Только позднее, когда образовались большие заторы и людям пришлось подолгу ждать, один депутат от ХСС, которому что-то показалось подозрительным, вышел из машины, прочитал текст, сигнализировал службе безопасности, и та необычайно оперативно вмешалась и убрала стенды. На беду, корреспондент одной иностранной газеты на другом оживленном перекрестке тоже внимательно прочитал плакат. К счастью, это был корреспондент не из Восточного блока, а испанец, лояльный роялист, который в свою очередь известил полицию. Казалось, все обошлось сравнительно благополучно, но вечером, около 19 часов, этот плакат был экстренной заказной почтой доставлен во все местные и иностранные корпункты. И уже в 20.30, когда я находился в театре, Красногузки были арестованы, а часом позже — и печатник, некий Цвейкамнер, личность которого еще выясняется.

Только часам к 22—23 это происшествие стало темой разговоров в пивных, барах, на вечеринках и спешно созванных совещаниях. У нас есть все основания отметить эту отчаянную акцию Красногузок как радостное событие: за одну эту ночь, переходя с вечеринки на вечеринку, без приглашения являясь то туда, то сюда, в холлах отелей, в квартирах, ресторанах я узнал больше, чем за предшествующие два месяца. Общий итог: устрашающий! Циничные комментарии, веселье, выражаемое в неприятно откровенной форме, и лишь совсем редко — искреннее и глубокое возмущение. Даже один внештатный сотрудник еженедельника «*Вельт ам зоннтаг*» и один обозреватель, близкий к «*Рейнише меркур*», сочли эту историю «все же весьма забавной». В «двухпалубнике» вы найдете полный список лиц, чьи фамилии мне удалось узнать, с точным описанием их реакции. Из-за множества поездок на такси, выпитого спиртного, коробки шоколадных конфет, на которую мне пришлось потратиться, эта ночь, конечно, обошлась в копеечку, но дело того стоило. Я зафиксировал реакцию *почти* всей здешней прессы. После всего, что я узнал, я задаюсь вопросом, достаточно ли будет процитировать только словесные отклики людей, не следует ли приложить к ним еще и физиономическое доказательство (фильм или фото). Образ мыслей, подмеченный кое у кого, можно подтвердить

только с помощью фото, поскольку многие реагируют молча и выдает их лишь выражение лица. Прошу принять к сведению это легко осуществимое предложение и обсудить его в соответствующей инстанции.

Единодушное возмущение царило только в церковных кругах. (Характерно, что среди кк, но не св.) (Должен сделать исключение для некоторых лиц в «Монастырчике»: они довольно-таки однозначно проявляют себя как чл/кп. Все, все — фамилии, данные, детали, цитаты и т. д.— вы найдете в «двухпалубнике».)

Домой я пришел только к семи утра, принял ванну, переоделся и сразу отправился в город, чтобы понаблюдать реакцию населения. Неприятный сюрприз: здесь тоже почти все только ехидно улыбаются, возмущения не чувствуется, всюду подчеркивают: так ведь *кровапролития не было*. Эту оговорку надо хорошенько обдумать. Правда, ни местная, ни надрегиональная пресса даже не упомянули о происшедшем, но одна бульварная газета не могла удержаться, чтобы целиком не перепечатать плакат: уже поползло словечко «студенческий розыгрыш», пушенное именно той газетой. Наверно, Совету по печати придется этим заняться.

Я побывал на рынках, в супермаркетах, втирался в похоронные процессии, посетил профсоюзное собрание кельнеров, несколько раз прокатился на пароме, раз, наверное, десять ездил на такси, смешивался с толпой приезжающих и отъезжающих на разных вокзалах, там и сям пил у стойки пиво, в закусовых — кофе, досиживал до обеденного перерыва на некоторых крупных предприятиях. Общий итог — отрицательный. Только те круги населения, что морально укреплены церковью, были действительно возмущены (но, чтобы не возникло недоразумения, не студенты теологии, я обеспечил себе доступ на лекции, семинары и в студенческие столовые). Либеральная, левوليберальная и левая (там, где она есть) часть населения явно веселилась или, по меньшей мере, выражала удовлетворение. Если обобщить высказывания, то они колеблются от «Хорошо, что им тоже разок досталось» до «Хорошенько их, этих господ!». Особенно меня беспокоит то, что в умонастроении профессиональных таксистов произошли явные перемены: я заметил у них куда больше веселья, чем возмущения, никто даже не заикнулся о смертной казни. Только одна таксистка сказала: «Это уж слишком». Но это не политически сознательное возмущение, а скорее в смысле: «Так не делают».

Я счел уместным тестировать также два массажных салона — дорогой и дешевый. Итог отрицательный. Конеч-

но, Краснокрыл: расходы, расходы, расходы, но я думаю, что дело того стоило.

Краснозобик.

9. СЕКРЕТНЫЙ ОТЧЕТ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ ТРЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ ПЕРЕД ИНСТРУКТАЖЕМ АГЕНТУРЫ

Не приходится отрицать, что в ходе акций двух информаторов и одной информационной группы имели место кое-какие осечки. Следует, однако, отметить, что ущерб от них незначителен, дополнительных затрат не потребовалось и что осечки неизбежны, так как имеется в виду не информация о выявленных поступках, а *мировоззренческая разведка*, последняя же не может быть обеспечена «висением на хвосте». Возможный арест, строгий допрос предусмотрены характером работы и, таким образом, опасности не представляют, кроме того, надо подчеркнуть, что осечки даже в известной степени желательны:

1. Чтобы убедиться в абсолютной надежности информаторов.

2. Чтобы испытать их твердость, то есть обнаружить точку, где они готовы себя раскрыть.

3. Осечки необходимы для того, чтобы выявить недоработки в координации.

В рассматриваемых здесь случаях все участники выдержали тест на надежность и твердость. Прежде чем будет более подробно сообщено об отдельных успехах, следует еще раз настойчиво подчеркнуть разницу между информацией о выявленных поступках и мировоззренческой разведкой. При разведке мыслей определенные виды подстрочки намеренно исключаются.

Критика общественностью ряда распоряжений, которые она ошибочно окрестила «спичечной истерией», решительно отвергается, так как дальнейший успех оправдал эту акцию, неизбежно вызвавшую недовольство публики.

По указанию одной кассирши в супермаркете «Мондиаль», а затем и мелкого торговца товарами для шуток и розыгрышей удалось тем временем арестовать студента теологии Николауса Лифтерхольта. В его комнате нашли значительное количество хлорида калия, черного пороха, раствора декстрина, фосфора, а также разрубленные монеты в один, два, пять и десять пфеннигов на общую сумму 18,80 марки. Лифтерхольт между прочим признался, что замышлял покушение на некоего кардинала. Он собирался надеть себе на спину два специальных плоских рюкзака с особо взрывчатой смесью, содержащей разрубленные монеты, и во время своего рукоположения в сан (оно

должно было состояться приблизительно через полгода) взорвать себя и достопочтенного монсеньора кардинала. Неясен лишь мотив Лифтерхольта: он заявил, что его «вынудила вмешаться прогрессирующая прогрессивность» кардинала. А подобный мотив как прогрессивные, так и консервативные церковные круги, опрошенные порознь, находят «странным». То, что при аресте Лифтерхольта и необходимом осмотре всех студенческих комнат общежития там удалось основательно «проветрить», оказалось дополнительным эффектом пресловутой «спичечной истерии», который нельзя недооценивать. Список изъятых книг, журналов и т. п. будет приложен позднее, как только закончится его составление. Но уже и сейчас можно считать доказанным, что студенты читали и Сартра.

Изъятие перед ежегодным приемом в ХДС полутора килограммов тертого пармезана тоже квалифицировали как проявление «истерии». Однако имеются доказательства, что радикальные элементы сумели обеспечить себе доступ на этот прием и что с помощью тертого сыра можно быстро изготовить самодельные бомбы. И если какой-то фермер-одиночка, состоявший на учете из-за своей «чрезмерной задумчивости», перестрелял у себя коров, потому что цепочка «коровы — молоко — сыр — тертый сыр» показалась ему угрожающей, то этот единичный экстремальный случай не должен сорвать уже намеченные мероприятия. То же относится к гербициду «Экс» и сахарной пудре: там, где *оба* эти вещества покупаются в больших количествах (свыше одного килограмма), бдительность должна быть неусыпной, а наблюдение за уровнем запасов — неукоснительным. Мы отдаем себе отчет в том, что подобные меры существенно вредят вошедшему ныне в моду садоводству и консервированию фруктов, но приходится сознательно идти на непопулярность. Употреблять на больших приемах тертый сыр решительно не рекомендуется.

Ввиду дела Лифтерхольта нам представляется бесспорным, что контроль за количеством покупаемых спичек должен оставаться в силе.

В итоге можно сделать вывод, что трехмесячная работа по разведке мировоззрений, проводившаяся двумя информаторами и одной информационной группой, благодаря достигнутым результатам оправдала себя сверх ожиданий и что немногие осечки можно считать пустячными.

В общей сложности проверкой мировоззрения охвачено и зафиксировано поименно 736 человек — журналистов, студентов, министерских чиновников, не в их публичных, а в частных высказываниях. Лица и группы лиц, подвергнутые проверке, но не зафиксированные поименно, составляют не

одну тысячу. Как отдельные лица, зафиксированные поименно, так и анонимные группы разграничены со скрупулезной точностью. У всех проверяемых лиц и групп определялась прежде всего готовность к отклонению (на жаргоне — «компоненты размягчения»). Признаки: неоткл., откл., свертоткл., супероткл. Подобным же образом устанавливалась и подверженность радикальным настроениям. Кроме того: круг чтения, склонности, куда предпочитают путешествовать (на данном этапе особенно важно: кто ездит в Португалию?). Как предварительный результат работы группы по определению круга чтения можно уже приложить данные о сторонниках Сартра: из 736 человек, зафиксированных поименно,

знали Сартра 204,
из них ценили Сартра 78,
защищали Сартра 3.

Эти детали только подтверждают важность проверки мировоззрения, приобретающей особый вес при оценке профессиональной перспективности человека. Возбуждается ходатайство об увеличении средств на мировоззренческие операции.

Кроме того, возбуждается ходатайство о выделении средств на физиономическую фиксацию мировоззрения. Давно известно, что отпечатки пальцев, цитаты, обычные методы дознания в определенных случаях, ситуациях должны быть дополнены доказательствами *по выражению* или *из выражения* лица. Это относится особенно к зрителям демонстраций, участникам дискуссий, которые никогда не берут слова, однако выражением лица выдают или проявляют свои убеждения, свои симпатии или антипатии. Как предварительное условие следует учитывать, что физиономические доказательства мировоззрения целесообразно использовать только в сочетании с точной характеристикой ситуации, с употребляемой в дискуссии фразеологией. Для обеспечения фиксации мировоззрения должно быть заготовлено достаточное количество фото- и киноматериалов, должны быть тщательно обучены опытные фотографы-портретисты и психологи, чтобы ими можно было располагать как физиономическими экспертами. Серия закрытых опытов вышеописанного характера под девизом «Свободно-демократические основы государства» была уже проделана над лицами из всех возрастных, профессиональных и социальных групп, чью реакцию на эти слова фиксировала скрытая камера. Научно обоснованная оценка этого эксперимента еще не представлена, однако можно заранее рассчитывать на ошеломляющий результат.

На тот случай, если возникнут непреодолимые финансовые трудности, предлагается вместе с Министерством науки и исследований и Министерством юстиции учредить научно-исследовательский институт под названием «Мировоззренческая физиономика».

Тройка

1975

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

*Посвящается памяти
Георга Веерта и Гюнтеру Вальрафу*

Странные вещи случаются в нашем мире, это звучит вроде банально, и тем не менее, когда они случаются, то застают нас врасплох, и, пожалуй, едва ли за последнее время какое-либо событие оказалось большей неожиданностью, чем поступок сельскохозяйственного рабочего и лесника Генриха Зольвега, который не демонстративно, а *по убеждению* вернул своему работодателю графу Клеро разницу в деньгах, полученных вследствие повышения заработной платы. Долгое время этот факт принимали за утку, сфабрикованную силами реакции и с ликованием подхваченную прессой, даже газеты правого толка очень робко подключились к этой истории — им она тоже показалась малоправдоподобной. Однако, оставаясь верными девизу «правда правдой останется», мы подтверждаем, что эта правдивая история, которую, как и все правдивые истории, сначала принимают за ложь, есть сущая правда.

С какой бы стороны ни въезжать в Гросс-Клеро, даже в дождливый день, нельзя не увидеть хотя бы один автобус для богомольцев, который ждет их между церковью и замком на специально оборудованном под стоянку земельном участке трактирщика Хойшнайдера. Не все эти автобусы принадлежат организации, называющей себя «Спасите Европу от материализма» (сокращенно RAM, не путать с RAF!), достаточно часто какие-то из них наняты по случаю и не только сельчанами. И достаточно много любопытных приезжает отнюдь не из чисто благородных побуждений. Может быть, тот или иной богомолец действительно жаждет спасти Европу от материализма, но тем не менее и самому благочестивому богомольцу, будь он хоть идеалист из идеалистов, покажется странным рабочий, который отказывается от прибавки к зарплате только потому, что эта прибавка есть результат переговоров профсоюзов о величине тарифных ставок. Ведь вначале и непосредственным участникам, и озадаченным ок-

ружающим было довольно неприятно, что поступок Генриха Зольвега получил огласку из-за злонамеренной болтливости бухгалтера графского лесничества — противника профсоюзов. Было предпринято все возможное, чтобы сохранить этот случай в тайне, и здесь надо особо похвалить необыкновенное рвение молодой графини Клеро, испробовавшей все средства, чтобы воспрепятствовать публикации о поступке Зольвега. Но так как мы живем в свободной стране со свободной прессой и так как упомянутый бухгалтер, противник профсоюзов, тоже свободный человек, живущий в свободной стране, ничто не помогло: в печати появилось сообщение, что Генрих Зольвег после последнего тура тарифных переговоров, принесших ему увеличение заработка на 67 марок 80 пфеннигов чистыми, не только не принял их, но не задумываясь швырнул эту сумму бухгалтеру через весь стол, заявив, что не желает брать «красные деньги».

Когда Зольвега спросили, на что потратить эти деньги, он с жаром ответил, что нет уж, они принадлежат господину графу, и никому другому, и поэтому господин граф должен получить их обратно. Лично для себя? Как дополнительный доход, так сказать? Да. Они принадлежат господину графу, и он должен ими владеть. Тот, кто когда-либо имел дело с бухгалтерским учетом или был хотя бы немного с ним знаком, может себе представить, что не только моральная сторона этой истории была неприятной, но и техническая тоже. Каким образом учесть сумму? Как дар? Как дополнительный доход? Даже когда молодая графиня Клеро, которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к левым, пояснила Зольвегу, что больше половины суммы так или иначе попадет к финансовым органам ввиду принадлежности графа к определенной группе налогоплательщиков, он продолжал упорно настаивать на возвращении денег, и после скучных устных переговоров их учли как «отказ от повышения заработной платы».

Надо еще раз подчеркнуть, что даже откровенно реакционные силы и круги, враждебные профсоюзам, к которым можно причислить и молодую графиню Клеро, отреагировали на поступок Зольвега чрезвычайно сдержанно, в то время как более или менее левая печать твердо придерживалась версии «газетная утка реакции». Неужели добропорядочный Генрих Зольвег, шестидесяти трех лет, женатый, отец двоих детей, римско-католического вероисповедания, сел между двух стульев? Ни в коем случае. Граф Клеро с невозмутимостью принял возвращенную заработную плату, положил наличные деньги в бумажник, мелочь, соответственно, в кошелек и пропустил пару бутылок доброго

мозельского вина, а когда Зольвег узнал об этом (ходят слухи, что граф пригласил его посидеть за кружкой, но Зольвег, убежденный трезвенник, приглашение не принял), то нимало не подосадовал на графа, наоборот, воспринял известие с радостью и сказал: «Так должно быть, господин граф — мой хозяин, а моему хозяину все должно идти во здравие. Не мой хозяин должен мне подчиняться, а я ему, и пусть он в знак моего подчинения выпьет доброго вина на красные деньги, принадлежащие не мне, а ему». Кое-кто из читателей в эту минуту протрет себе глаза и спросит себя, не спит ли он, не попался ли он на удочку лжеца или сказочника. На этот вопрос здесь дается безусловно отрицательный ответ: история с Зольвегом — *чистая правда*, и хоть она — при подробном анализе — может показаться ложью, тем не менее это правда, в смысле: что было, то было. Зольвег отказался и от последующих, прошедших за это время прибавок, и если можно верить отчетности главного бухгалтера управления графских поместий и лесничества, то сумма отвергнутых прибавок достигла в настоящее время тысячи восьмисот семидесяти марок, суммы, о которой фрау Зольвег якобы сказала: «Да это же третья часть автомобиля». Дети Зольвега, двенадцатилетняя Бригитта и девятилетний Клаус Антон, якобы высказались с таким же цинизмом. Бригитте, зараженной левацкими настроениями, приписывается фраза, якобы сказанная ею в дискотеке в Клей-Клеро: «Вернуть бабки этой свинье, феодалу-кровопийце!» В то время как Клаус Антон, пока еще ученик католической начальной школы, якобы только и прохныкал: «У графа денег полно, а у меня еще нет велосипеда».

Все эти фразы, приписываемые членам семьи Зольвег, — *сущие небылицы*. Фрау Зольвег полностью одобряет жертву мужа, дети отрицают приписываемые им высказывания и, чтобы подправить скудные доходы семьи, продолжают собирать остающиеся после уборки колосья и картошку, ежевику и грибы, они отказались принимать деньги и подарки, которые молодая графиня при случае пытается им всучить.

Можно предположить, что семья Зольвег лицемерна и даже брюзглива: в действительности все наоборот. Они распевают веселые песни и лихо танцуют, хотя единственное настенное украшение семьи — это табличка, на которой можно прочесть: «Я служу».

В трактире Хойшнайдера, в хорошую погоду за столиками в саду, Зольвег радостно излагает перед небольшими группами богомольцев — он не желает участвовать в массовых мероприятиях — свою философию: так уж

получилось, говорит он, что граф — его хозяин, собственность графа для него, Зольвега, священна, и каждый грош, который красные выуживают, уменьшает возможности хозяина, которому он добровольно и с радостью подчиняется, и, кроме того, он действительно не нуждается в деньгах; его семья и он сам вдвойне одарены Господом: скромностью и прилежанием, а скромному и прилежному на этой земле всегда неплохо. Должен же быть наконец подан знак, который положит предел материализму и зарплатному эгоизму рабочих, и он, Зольвег, хотел подать этот знак. Ни больше ни меньше, а когда после этого богомольцы, столь же смущенные, сколь тронутые, хотят внести свою скромную лепту — они не привыкли получать что-либо даром, — Зольвег отправляет их к церковной кружке в ближайшей церкви: он не принимает ничего, даже пива; если уж ему совсем влезть в печенки, то он, может быть, соблаговолит взять сигарету.

А тем временем RAM поставил историю с Зольвегом на солидную основу, пока, правда, с вербовкой последователей Зольвега дела обстоят неважно, что вызвано, как показали исследования, застенчивостью тех, которым «по душе идеи Зольвега». Среди служащих зольвегизм до сих пор не нашел никакого, даже чисто теоретического, понимания; духовенство колеблется; определенные круги клерикалов его одобряют, другие опасаются морального ригоризма. Граф Клеро никогда не высказывает своего отношения к поступку Зольвега: он по-прежнему невозмутимо принимает из рук своего бухгалтера дополнительный доход или, точнее говоря, возвращенный недорасход, как причитающийся ему непосредственно дар, который он превращает в вино. И все-таки: кое-кто в Гросс-Клеро не очень доволен этой историей. По последним сведениям, будет якобы высказано предположение, что Зольвег не слуга реакции, а наемник профсоюзов. RAM предпринял соответствующее расследование. Достоверно одно: очень уж неудобен Зольвег всем участникам, заинтересованным и задетым этой историей лицам, но, может быть, и не следует ждать от правды, чтобы она была приятной.

1975

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ ВАС

Первая спичка погасла у нее на сквозняке от раскачивающихся створок парадной двери, вторая сломалась от чирканья по коробку, и любезность адвоката, протянувшего ей свою зажигалку и прикрывшего огонь другой рукой, пришлось весьма кстати; наконец-то она могла закурить; сигарета и солнце — приятно было и то и другое.

Все продолжалось не более десяти минут — целую вечность, — по-видимому, из-за беспредельности этих бесконечных коридоров циферблат уже не доверял своим стрелкам; а вся эта толчея, эти люди, разыскивающие нужные им номера комнат, напомнили ей распродажу у Штрёсселя в конце летнего сезона. Впрочем, кое-какая разница между процедурой развода и сезонной распродажей пляжных полотенец все-таки имелась. И в том и в другом случае приходилось стоять в очереди, но при разводе все решалось гораздо быстрее, правда, ей и хотелось быстрее. Господин и госпожа Шрёдер — брак расторгнут. Господин и госпожа Науман — брак расторгнут. Господин и госпожа Блутцгер — брак расторгнут.

Интересно, скажет ли и в самом деле этот симпатичный адвокат то, что ему в таких случаях сказать полагается? То единственное, что он может сказать? И он сказал: «Не принимайте этого так близко к сердцу». Произнес, хотя знал, что она вовсе не так уж близко принимает случившееся к сердцу, и все же сказать ей это он был обязан, и он сказал это просто и мило, и было мило, что он сказал это так мило. И тут же заторопился, разумеется, ему необходимо было к определенному часу, назначенному для следующей пары, возвратиться в суд, чтобы там снова томиться в очереди: господин и госпожа Чурбански — брак расторгнут.

Нечто похожее происходило и на сезонной распродаже; терпеливо, предупредительно, не поторапливая, и все же чуть напряженно дожидаться, пока какая-нибудь покупательница, слишком старая, чтобы истрепать хотя бы одно пляжное полотенце, вдруг решится на целую дюжину; потом заняться следующей клиенткой, отхватившей сразу три купальника. В конце концов, обслуживание у Штрёсселя было еще достаточно индивидуальным, не какая-нибудь там мелочная лавка, где по дешевке спускают лежалый товар. И в конце концов, не мог же адвокат торчать возле нее часами, когда сказать уже нечего, кроме: «Не принимайте этого так близко к сердцу!» И пока она стояла здесь, на верхней ступени парадной лестницы, ей как-то очень уж ярко припомнилась другая сцена, семилетней давности — на верхней ступени парадной лестницы ратуши: ее родители, свидетели жениха и невесты, родители жениха, фотограф, очаровательные детишки Ирмгард — Уте и Оливер, державшие фату; букеты, такси, украшенное белыми розами, и все еще звучащие в ушах слова: «Пока смерть не разлучит вас!», потом в такси на следующую церемонию, и еще раз уже в церкви: «Пока смерть не разлучит вас!»

И вот жених снова тут — только теперь на нижней ступени другой лестницы, сияет от своего очередного завоевания, хотя и смущен немного, и явно гордится еще одним своим сегодняшним завоеванием: удалось втиснуть машину прямо перед зданием суда, на одной из самых занятых стоянок города. Завоевания разного рода вообще сыграли в их разводе большую роль.

А разлучила их не смерть, а суд, и менее торжественной церемонии трудно себе вообразить. Но если суд, вынося решение о расторжении брака, устанавливает тем самым факт его смерти, то почему в таком случае не устраивают похорон? Катафалк, похоронная процессия, свечи, надгробная речь? Или хотя бы не прокрутят вновь всю свадебную церемонию — только теперь в обратном порядке? Очаровательные мальши, на этот раз, возможно, дети Герберта — Грегор и Марика — снимают с нее фату и венок; белое платье сменяется на костюм — некий род свадебного стриптиза на глазах у почтенной публики, прямо на парадной лестнице суда, раз уж не получилось похорон.

Разумеется, она знала, что он будет ждать ее, чтобы в очередной раз выяснить отношения, хотя смерть уже засвидетельствована; глупо, потому что он так и не сумел понять, что с тех самых пор, как она с сыном переехала в маленькую квартирку, ей от него абсолютно ничего не надо: ни денег, ни ее доли в «совместно нажитом имуществе», ни даже этих бесспорно ее, доставшихся ей в наследство от бабушки, шести стульев в стиле Людовика — какого именно, черт побери? Вполне возможно, что в один прекрасный день эти самые стулья он выставит перед ее дверью, поскольку просто-напросто не переносит никаких невыясненных «имущественных отношений». Ей не нужны ни стулья, ни мейсенский сервиз (из тридцати шести предметов), никакая «материальная компенсация». Ничего. Ведь у нее есть ее мальчик, пока есть, потому что бывший муж пока еще не оформил свои отношения с этой — как ее? — Лоттой или Габи. Но вот когда он женится на этой самой Лотте или Габи (или, может быть, Конни?), вот тогда сына им придется «поделить» (без всякого Соломона, державшего меч над мальчиком, которого вознамерились поделить), потому что эти отвратные крючкотворы уже расписали до мелочей все, что касается права опеки, и вот начнутся эти обязательные посещения: ребенка будут забирать на «откорм» («Ты в самом деле не хочешь больше взбитых сливок? Тебе ведь нравится твоя новая куртка, а авиамодель я тебе непременно куплю»). На день, на два или полтора, а потом возвращать («Я, правда, не могу купить тебе новую куртку, и с переносным телевизором

пока ничего не получится. Может быть, к первому причастию или к конфирмации?»).

Еще сигарету? Не стоит, пожалуй. Из-за этого сквозняка от раскачивающейся парадной двери — симпатяги-адвоката с его изящной зажигалкой под рукой больше нет — новую сигарету пришлось бы прикурить от старой, а такая мелочь только усилила бы впечатление, что она потаскуха, и уж эту-то вольность ей наверняка припомнят, когда будут окончательно решать вопрос о сыне. Эта ее привычка курить на улице уже зафиксирована в деле о разводе, и поскольку к тому же она в его присутствии признала себя виновной в нарушении супружеской верности (что, собственно, и требовалось доказать), то в материалах судебного дела явно характеризуется как шлюха. А чего стоит вся эта тягомотина и бесконечные споры о том, можно ли, следует ли, дозволено ли курить женщине на улице — эту ее привычку адвокат мужа обозвал «псевдоэмансипированным» жеманством, не соответствующим уровню ее образования.

Хорошо, что он не стал подниматься по лестнице, ограничившись лишь приглашающим жестом, и хорошо, что он неодобрительно покачал головой, когда она все-таки прикурила вторую сигарету не от первой, а от спички, на этот раз не погасшей, хотя из-за «летней распродажи» парадная дверь по-прежнему ходила ходуном. И раз уж сюда не являются ни священники, ни служащие магистрата, ни рыдающие матери и свекрови, ни фотограф и прелестные детишки, то следовало хотя бы присылать кого-нибудь из похоронного бюро, кто бы увозил отсюда нечто — что? — в гробу, кремировал и тайно где-нибудь — где? — предавал земле.

Возможно, ради нее он пожертвовал какой-нибудь деловой встречей (предположим, переговорами о слиянии с фирмой «Табуреттер и Табуреттер», где ему надлежит решать кадровые вопросы), но неужто он и в самом деле ради нескольких стульев пропустит переговоры со своими Табуреттерами? Он не понял, не осознал того, что она не испытывает к нему никакой ненависти, что ей от него ничего не нужно, что он ей не просто безразличен, он чужой, некто, кого она когда-то знала, за кого когда-то вышла замуж, но кто стал совсем другим. Им удалось все — карьера и обустройство дома, все, кроме одного-единственного: остановить смерть, и умер не только он, но и она тоже; ей не удавалось даже вспоминание о нем. И, возможно, все эти церковники и чиновники не могут и не желают осознать, что это «Пока смерть не разлучит вас» подразумевает вовсе не смерть физическую, или, вернее,

смерть до физической смерти, а всего лишь состояние, когда в супружескую спальню входит совершенно посторонний человек и требует исполнения обязанностей, на которые у него больше нет никаких прав. Роль суда, оформляющего это свидетельство о смерти, которое он называет расторжением брака, столь же второстепенна, как и роль священника или чиновника: никому не дано оживить мертвых и отменить смерть.

Она бросила сигарету, затоптала ее и энергичным жестом отвергла его предложение окончательно. Обсуждать больше нечего, а уж куда он собирается ее отвезти, ей прекрасно известно — в кафе, что в парке Гайдна, где именно сейчас кельнерша-турчанка расставляет по столам крохотные медные вазочки, а в каждой по тюльпану и гиацинту, и расправляет скатерти, и именно сейчас в глубине кафе еще что-то пылесосят: он его всегда называл «кафе воспоминаний»; добавлял покровительственно, что оно «ничего себе, не изысканное, конечно, а уж тем более не аристократическое». Нет, она повторила свой жест — окончательный отказ — раз, другой, пока он, покачивая головой, наконец не сел в свою красную машину, вырулил со стоянки и, ни разу не кивнув ей больше, уехал, как всегда, «осторожно, но энергично».

Не было еще и половины десятого, и она наконец-то могла спуститься вниз, купить газету и войти в кафе напротив. Хорошо, что он уехал. У нее оставалось время, и надо было еще кое-что обдумать. В двенадцать, когда малыш придет из школы, она приготовит ему оладьи с вишневым компотом, а к ним — помидоры-гриль, он их так любит; потом она с ним поиграет, поможет сделать уроки, они сходят в кино, а может, даже в парк Гайдна, чтобы выяснить, окончательно ли умерли воспоминания. Когда он будет есть компот, оладьи и помидоры, то наверняка спросит, не выйдет ли она снова замуж, а она ответит: нет, нет! С нее хватит и одной смерти. И еще он спросит, не станет ли она снова работать у Штрёсселя, где он мог бы в задней комнате делать уроки или играть с лоскутками-образцами материй и где этот славный господин Штрёссель иногда ласково гладил бы его по голове. Нет, нет.

Скатерть на столике в кафе нравилась ей, была приятна на ощупь — чистый хлопок, темно-розового цвета в серебристую полоску, и ей вспомнились скатерти в кафе в парке Гайдна: первые, семь лет назад, были цвета спелой кукурузы, довольно грубые, потом зеленые с набивными маргаритками и напоследок ярко-желтые, однотонные с бахромой, и он беспрестанно перебирал (и перебирал бы сегодня) эту бахрому и

пытался ей втолковать, что она и в самом деле имеет право на известную компенсацию, как минимум в пятнадцать или, может, даже в двадцать тысяч марок, которые он без труда может (и ведь смог бы) взять под залог дома — ведь, в конце концов, она была ему «хорошей, осмрительной, экономной и при том не скупой, хотя и неверной женой» и внесла свой «весьма весомый и положительный вклад в строительство их семейной жизни», и эти стулья в стиле Людовика, и мейсенский фарфор — все это бесспорно принадлежит ей. Когда она сказала, что ей ничего не нужно, это взбесило его больше, чем известие об измене со Штрёсселем, и, в конце концов, он оторвал от этой дешевой скатерти несколько кистей (и сегодня сделал бы то же самое) и бросил их на пол; осуждающий взгляд кельнерши-турчанки, которая в этот самый момент принесла кофе и чай, чай ему, ей — кофе, послужил лишним поводом к гневному замечанию относительно ее здоровья и ехидному жесту в сторону пепельницы (которая, кстати, была безобразной, темно-коричневая, цвета пола, и в ней действительно лежало уже три окурка!).

Да, кофе. Она снова пила его и листала газету. Здесь в кафе она могла безмятежно курить, не опасаясь, что какой-нибудь идиот уставится на нее или даже изругает последними словами; она вспомнила всю эту толчею и беготню в бесконечных коридорах суда, где все эти люди, оскорбленные или оскорбившие сами, обманутые домовладельцы или незаплатившие жильцы, сновали по лестницам вверх и вниз; где все решалось и ничего не разъяснялось симпатичными адвокатами и симпатичными судьями, которые не в силах остановить смерть.

Она вновь и вновь ловила себя на том, что улыбается, вспоминая момент наступления смерти, разлучившей их. Началось это еще год назад, когда они были приглашены на ужин к шефу, и муж вдруг сказал, что она «специалист по текстилю», это звучало так, будто она была ковровщицей, ткачихой или художницей по росписи тканей, хотя она была всего лишь обыкновенной продавщицей в магазине тканей, и ей это нравилось, нравилось разворачивать и сворачивать рулоны, красивые и приятные на ощупь, а в перерывах между наплывом покупателей снова все приводить в порядок, раскладывать по полкам, ящикам и ящичкам: полотенца, скатерти, платки, рубашки и носки, — и вот как-то раз является некий приятный молодой человек, теперь, правда, уже почивший вечным сном, и просит показать ему несколько рубашек, хотя не имеет намерения (и денег тоже) купить какую-нибудь из них, является просто потому, что ему немедленно надо расска-

зять кому-нибудь о своем завоевании: всего через три года после окончания вечерней школы («Я, знаете ли, специалист по электротехнике» — при этом он был просто монтером) он уже получил диплом и тему диссертационной работы. Ну, и это нынешнее его заявление — «Моя жена — специалист по текстилю» — вполне логично должно было подразумевать если не искусство, то по меньшей мере художественный промысел, и как же он разозлился, прямо-таки чуть не задохнулся от ярости, когда она сказала: «Да, я была продавщицей в магазине тканей и теперь еще изредка там помогаю». В машине на обратном пути домой — ни слова, ни единого звука, ледяное молчание, руки, судорожно сжимающие руль.

Кофе оказался поразительно вкусным, газета скучной («Доходы фирм чересчур низки, заработная плата слишком высока»), а все, что творилось вокруг нее, почему-то напоминало о суде («Искажение фактов», «Кушетка бесспорно принадлежит мне», «Я не позволю отнять у меня сына»). Адвокатские мантии, адвокатские портфели. Посыльный из конторы принес бумаги, которые кто-то разложил и листает с серьезным видом. И снова кафе: молодая официантка, принеся сейчас вторую чашку кофе, положила ей руку на плечо и сказала:

— Не принимайте так близко к сердцу. Это пройдет. Я сама ревела несколько недель, честное слово, несколько недель. Она чуть было не рассердилась, но потом сказала, улыбнувшись:

— Уже прошло.

А официантка добавила:

— Я тоже была виновата.

«Тоже? — подумалось ей. — Разве я виновата? И если да, то почему это так заметно — может, потому что я курю? Пью кофе, читаю газету и улыбаюсь?» Да, разумеется, она была виновата, ведь она не решилась засвидетельствовать смерть намного раньше и прожила с ним и у него несколько убийственных месяцев. Пока он однажды не принес ей новое вечернее платье, кричащее красное, с большим декольте, и сказал: «Надень это сегодня вечером на балу фирмы. Я хочу, чтобы ты потанцевала с шефом и показала ему все, что у тебя есть». Но она надела свое любимое серебристо-серое с вышивкой из стекла, и как же он расвирепел, когда месяц спустя всплыла эта история со Штрёсселем, как он вопил, задыхаясь от ярости: «То, чего ты не хотела показать моему шефу, ты так показала своему!»

Да, так оно и было. А вскоре после того, как он перелазил из спальни в комнату для гостей, он как-то утром

явился в спальню со всем этим порнографическим хламом и плеткой в руках и затеял этот кошмарный разговор о том, что она-де отказывается содействовать ему в его завоеваниях в сексуальном плане и это находится в столь резком противоречии с его завоеваниями в профессиональном плане, что он подвергается опасности впасть в невроз и чуть ли не в психоз; она же не сочла возможным способствовать его завоеваниям в сексуальном плане, отобрала у него плетку и выставила за дверь; все это она проделала с ледяным спокойствием, и вина ее состояла в том, что она и в тот момент еще не засвидетельствовала наступление смерти, не взяла сына, не заказала такси и не уехала и потом даже продолжала обустраивать дом: комнату и ванную для гостей, телегостиную, библиотеку, сану, детскую, и это ей принадлежала идея пойти к Штрёсселю и попросить его продать со скидкой полотенца для дома и пляжа, простыни и наволочки, материал для портьер. Конечно, ей стало немного не по себе, когда Штрёссель посмотрел ей в глаза долгим взглядом и вместо двадцати процентов скидки пообещал дать сорокапроцентную, и, когда глаза его подернулись поволокой и он попытался облапить ее через прилавок, она пробормотала: «Господи, ну не тут же, не тут!»— и Штрёссель неправильно (или правильно?) понял ее и решил, видно, что где-нибудь в другом месте она будет согласна на это, и она в самом деле пошла с ним наверх, с этим тучным и лысым холостяком, старше ее на двадцать лет, который был совершенно счастлив, когда она легла с ним. И на все это время он оставил магазин открытым, а кассу без присмотра, и даже неизбежное расстегивание и застегивание пуговиц и крючков не было ей неприятно. И когда он после внизу завернул ей покупки, о скидке не было речи, и ей пришлось уплатить за весь товар полную цену, и, придерживая дверь, он даже не попытался ее поцеловать.

Адвокат мужа хотел было привлечь Штрёсселя в качестве свидетеля из-за этого ее утверждения о «непредоставлении скидки после оказанной услуги», однако ее симпатичному адвокату удалось все же этого избежать. Да, потом она не раз ходила к Штрёсселю. «Чтобы купить что-нибудь?»— «Нет».— «Сколько раз?» Этого она не помнит, в самом деле не помнит. Не считала. Разговоров о женитьбе не было, слово «любовь» не упоминалось. От этого трогательного тихого блаженства, от этой умиленности Штрёсселя ей становилось страшно, страшно задохнуться в этих розовых подушках.

Нет, она не может вернуться к нему, и все же его старомодный магазинчик был бы для нее самым подходя-

щим местом, где она знает каждый ящичек, каждую полку и склад, где и в самом деле только шерсть и хлопок, для нее, с ее-то руками, которые безошибочно могут определить в любой ткани малейшую примесь синтетики. Нет, она не смогла бы работать в какой-нибудь «паршивой мелочной лавчонке», как обычно их называл Штрёссель.

Нет, и замуж она еще раз не пойдет, не хочет еще раз присутствовать при смерти того, кто еще жив, и не хочет, чтобы снова их разлучала смерть. Пожалуй, настало время, когда мужья стали зверски жестокими и развратными, а любовники блаженно-ласковыми, на старомодный, чуть ли не радужный лад.

— Знаете,— сказала официантка, когда она расплачивалась,— теперь нам уже легче. А ведь вы еще молодая и красивая женщина и...— она так и сказала,— у вас еще вся жизнь впереди, и ребенок будет к вам привязан.

Она еще раз улыбнулась официантке с порога кафе.

Она испечет сынишке торт с орехами и купит по дороге домой все, что для этого нужно. И если он спросит: «Мне правда нужно будет идти к той тете?» (Конни, Габи, Лотте?)— она скажет: «Нет». И в конце концов, есть еще фирма «Хауншюдер, Кремм и С⁰», давние конкуренты Штрёсселя, где безошибочная чуткость ее рук тоже могла бы пригодиться. Теперь там, правда, большей частью отправляют товары почтой, и ей не придется так уж часто разворачивать и расправлять рубашки, как в тот раз, когда вошел симпатичный молодой человек со свежеспеченным дипломом и темой для диссертации. Может, вместо вишневого компота взять для оладий копченой селедки, ее он тоже любит и будет стоять рядом, пока оладьи на сковороде не покроются светло-коричневой хрусткой корочкой. Она могла бы работать у Хауншюдера, Кремма и С⁰ на закупке товара — на ее руки действительно можно положиться, от них не ускользнет ни одна синтетическая ниточка.

1976

ВЕЖЛИВОСТЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕИЗБЕЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА

Представляется излишним превозносить само собой разумеющиеся формы вежливости, как-то:

придержать дверь ребенку, входящему в дом;

не отгалкивать ребенка, когда он что-то покупает, а, наоборот, пропускать вперед;

дать возможность школьнику, усталому и измученному стрессами, спокойно сидеть в трамвае, автобусе, элек-

тричке на пути домой, не задевая его ни словесно, ни даже назидательным, воспитующим взглядом,— он заслужил свой отдых;

считаю также само собой разумеющимся не заставлять голодать своего ребенка, свою кошку, собаку или птицу и в крайнем случае быть готовым пойти ради них на кражу съестного, и, конечно же, нельзя заставлять мучиться от голода и жажды свою жену или подругу, как нельзя их бить, даже если они об этом попросят, поскольку вообще вежливость рук — одно из главнейших проявлений вежливости;

почетному гостю следует наливать не первую, не вторую и лучше даже не третью, а четвертую чашку, памятуя китайскую поговорку: вежливость — на самом дне чайника...

К само собой разумеющимся проявлениям вежливости относится и то, что обращение с людьми обоих полов, которые ощущают себя подшефными,— поскольку понятие «подшефности» как *таковое*, естественно, недопустимо,— должно быть на несколько тонов спокойнее и сдержаннее, чем обращение с теми, кто считает себя шефами; естественно, понятие шефства как *таковое* также недопустимо, ибо нельзя ведь в конце концов заполучить человека себе в шефы, как тарелку супа от шеф-повара, и вести себя с этими шефами следует не то чтобы шумно и нагло, а лишь чуть потише и не столь деликатно; действуя таким образом, можно было бы несколько изменить структуры.

Не следует также говорить прямо в глаза тому, кто вам несимпатичен, к примеру, такое: «Мне не нравится ваша рожа!» Можно выразить свою неприязнь и в достаточно вежливой, по возможности, письменной форме, поскольку устное общение всегда чревато опасностью срыва на грубость:

«На основании непостижимых, не поддающихся анализу, если не сказать космических, констелляций — поскольку я не хотел бы взвалить всю ответственность на нынешнее положение звезд и зодиакальных созвездий,— стало быть, на основании обстоятельств, которые не одни только ответственны и судьбоносны — скажем так — узы симпатии между нами, к сожалению — я прошу Вас расценивать это «к сожалению» как знак огорчения, а также уважения в целом к Вашей особе,— узы эти более не поддаются возрождению. Хотя Вы как таковой являетесь в высшей степени приятной особой, считаю тем не менее уместным и даже необходимым свести число наших встреч до минимума, вынуждающего нас из деловых соображений обмениваться порою рукопожатием или обсуждать проблемы, неизбежно возникающие в процессе

производства (здесь можно вставить название соответствующей продукции, как-то: романов, гаек, сельди в желе), роль которого постоянно растет. За пределами этого минимума общения мы стараемся избавиться друг друга от звука наших голосов, вида волос и кожи, от источаемых нами запахов. Сообщаю Вам это не без сожаления, в надежде, что вышеупомянутая непостижимая конstellация изменится, узы симпатии между нами возродятся, и в целом благоприятно для нас изменившееся соотношение данных позволит расширить наши неизбежные деловые контакты и перенести их на сферу личных отношений.

Примите уверение в моем совершеннейшем почтении...»

Подобные формы вежливости представляются мне столь очевидными, что я хотел бы лишь назвать их, не останавливаясь на них слишком подробно.

И напротив, мне представляется столь же трудным, сколь и необходимым говорить о вежливости в необщепринятых, даже незаконных ситуациях. Следует подчеркнуть, что действия, о которых я хотел бы здесь сказать, *сами по себе* не только не общеприняты или безнравственны, но имеют ярко выраженный преступный характер. Возьмем, к примеру, такое *само по себе* противозаконное, сколь и невежливое действие, как ограбление банка или нападение на банк, и вспомним некую бывшую дотеле весьма законопослушной, приличную и почтенную даму, которая средь бела дня — точнее сказать, в 15.29 — «облегчила» сберкассу в предместье одного немецкого города на семь тысяч марок.

Вы только представьте себе: дама за шестьдесят, из тех, кого называют хрупкими, при взгляде на которых приходит на ум пасьянс или бридж, вдова подполковника, входит в сберкассу, чтобы незаконно присвоить себе деньги. И если эта дама стала известна как «вежливая налетчица» и даже значится таковой в полицейских документах, то прилагательное «вежливая» подразумевает в данном случае ее особую опасность. Дама эта инстинктивно поступила так, как и должен поступать вежливый грабитель: и не помышлять об оружии, насилии, крике — вовсе не принимать в расчет столь грубые приемы. Ведь не только невежливо, но и опасно размахивать пистолетом или автоматом и орать: «Гони бабки, а не то получишь пулю в лоб!» — и, конечно же, такая дама, как наша, пойдет в первый попавшийся банк не из одной только абстрактной надежды поживиться или потому, что потеряла вдруг душевное равновесие, а именно потому, что в сложной ситуации обрела это самое равновесие. Она тщательно продумала свои действия и знает, зачем это делает!

Здесь необходимо обрисовать в общих чертах стесненное положение, в котором оказалась эта дама, вынудившее ее к вышеупомянутым, мягко говоря, необщепринятым действиям: у нее есть сын, сбившийся с пути, отсидевший несколько небольших сроков по разным тюрьмам, и вот теперь, выйдя опять на свободу, он нашел подружку, которая благотворно влияет на него и добивается того, что ему обещают место агента в фармацевтической фирме, и мать тратит последние деньги на оплату телефонных переговоров, писем и телеграмм, пускает в ход все свои связи — в том числе знакомство с двумя влиятельными генералами, — чтобы он получил это место. И в последний момент, нежданно-негаданно, фирма требует пять тысяч марок залога. Мать — та самая дама, которая стала известна как «вежливая налетчица», — уже сняла для сына небольшую квартирку, она чувствует симпатию к его подруге, все складывается наилучшим образом, и вдруг происходит нечто непредвиденное — пять тысяч марок залога! Представьте себе только: на банковском счету дамы значительный перерасход, большая часть ее пенсии возвращается в банк в погашение долга, себе она оставила лишь прожиточный минимум; она заняла денег у кого только смогла — у приятельницы по бриджу, у бывших сослуживцев мужа, в том числе у двух полковников и одного генерала — все сплошь славные люди, — ей пришлось даже отказаться от яйца на завтрак, — и вот она стоит посреди квартиры, и в голову ей приходит только одна поговорка: «Не своруешь — не проживешь!» — и эта известная поговорка становится в определенном смысле роковой для той самой сберкассы.

«Не своруешь — не проживешь!» — тут уж, так сказать, мысль о краже напрашивается сама собой. Нужно добавить, что дама эта не только хрупка, но и горда. Ей пришлось постоянно унижаться, выслушивать тысячи поучений и добрых советов, проглотить массу язвительных замечаний в адрес ее любимого сына, она продала большую часть мебели, избавилась от колье, к которому была очень привязанна, и поссорилась из-за этого со своей лучшей подругой, которая так и сказала: «Овчинка выделки не стоит!» Она навещала сына в разных тюрьмах, платила адвокатам, тратилась на разъезды. Единственной роскошью, которую она могла себе позволить, оставался телефон: чтобы сын в любое время мог позвонить ей, а она ему, если у него будет под рукой телефон. Порой ей не просто *кажется*, будто она его понимает, но она действительно понимает его. Социальный опыт истекших четырех лет принес ей *внутреннее* ощущение отверженности,

хотя внешне она пока держалась — дама, которая следит за собой и выглядит моложе своих лет,— и вот теперь, после тревожного телефонного звонка сына, в голову ей приходит роковая поговорка: «Не своруешь — не проживешь!» — и мораль этой поговорки задевает ее за живое в том месте, которое не предусматривалось распространителями подобных речений.

«Выход один — украсть!» — думает она, вспомнив около 14.30 о том маленьком, ухоженном филиале сберкассы в близлежащем пригороде рядом с парком. Перед тем как выйти из дома, она успевает еще покормить своих прелестных карликовых зябликов — это такие крошечные птички ростом в полмизинца,— единственное, что она еще может себе позволить.

Слово «кража», столь чуждое ей, становится для нее все привычней, пока она идет к парку в близлежащем пригороде, куда она добирается около 15.05. «Кража,— думает она.— Где крадут хлеб? В булочной. Где крадут колбасу? У мясника. Где крадут деньги? В кассе магазина или в банке».

Касса магазина тотчас исключается, это носит слишком *личный* отпечаток, она не хотела бы красть у кого-то конкретно, к тому же вряд ли в кассе какого-нибудь магазина найдется пять тысяч марок. И еще грабить кого-то непосредственно кажется ей слишком уж грубым, почти наглым.

Совість уже давно перестала ее мучить, теперь она занята соображениями тактического и стратегического характера; она глядит из-за кустов на маленькую, весьма импозантного вида сберкассу напротив, которая, как ей известно, закрывается в 15.30. Кассовый зал пуст, и в голове у нее проносятся разные странные мысли: она, разумеется, смотрит иногда телевизор, изредка бывает и в кино и вспоминает не оружие, пусть даже игрушечное, а чулок, который натягивают на лицо,— это всегда вселяло в нее ужас, поскольку искажение человеческого облика таким манером оскорбляло ее эстетическое чувство, и, кроме того, она считает ниже своего достоинства здесь, в этих кустах, лишать чулка одну из своих ног, к тому же это обратило бы на нее внимание случайных свидетелей. В этих рассуждениях неповторимо *соединились* — как это уже успел понять благосклонный читатель — эстетика, мораль и тактика! В сумочке у нее — огромные солнцезащитные очки (подарок сына, полагавшего, что они ей к лицу), она надевает их, лохматит свои обыкновенно очень аккуратно уложенные волосы, выходит из кустов, пересекает улицу, входит в сберкассу; молодая дама за правым окошком, занятая оформлением финансовых документов, любезно улыбается ей, хотя и немного вымученно, так как

до закрытия кассы осталось несколько минут. Среднее окошко закрыто, за левым стоит молодой человек, примерно тридцати четырех лет, и считает дневную выручку; он поднимает на нее глаза, вежливо улыбается и спрашивает как обычно:

— Чем могу служить, милостивая госпожа?

В этот момент она сует руку в свою сумочку и вытаскивает ее с таким видом, будто в кулаке у нее что-то зажато, подступает вплотную к окошку и говорит шепотом:

— Чрезвычайно затруднительные обстоятельства заставляют меня, к сожалению, совершить это нападение. В моей правой руке нитритная капсула, которая может причинить много вреда. Я крайне сожалею, что вынуждена угрожать вам, но мне немедленно нужны пять тысяч марок. Дайте их мне, иначе...

Трагизм ситуации возрастает оттого, что служащий банка, как и большинство его коллег, тоже человек вежливый, это «иначе» ничуть его не пугает, но ему моментально становится очевидным отчаянное положение этой дамы. К тому же налетчики-профессионалы обычно требуют не определенную сумму, а всю наличность. Он перестает считать деньги — а под рукой у него как раз банкноты в пятьсот марок — и также шепотом отвечает:

— Вы поставите меня в крайне затруднительное положение, если не продемонстрируете большую степень насилия. Никто не поверит мне, что была нитритная капсула, если вы не будете кричать, угрожать и вообще не устроите правдоподобную сцену. В конце концов, и в ограблении банков существуют свои правила игры. Вы делаете это совершенно неправильно.

В этот момент молодая дама выходит из-за своего окошечка, запирает дверь в кассу изнутри на ключ, однако оставляет его в замке. Старая дама, решимость которой не только не убавилась, но, напротив, возросла как никогда, мгновенно оценивает ситуацию в свою пользу.

— Эта капсула... — говорит она угрожающим шепотом.

— Нитрит, — перебивает ее кассир, — не взрывается, он всего лишь ядовит. Вы, видимо, имеете в виду нитроглицерин?

— Имею не только в виду, но и в руке...

Уже ясно, что кассир или деньги, что (в данном случае) одно и то же, пропали. Вместо простого нажатия кнопки сигнала тревоги он затевает дискуссию, на лбу и верхней губе у него между тем выступают бисеринки пота, и он ломает голову, для чего же так понадобились деньги этой даме: алкоголичка? наркоманка? карточные долги? капризный любовник? Он размышляет слишком долго, не воспользовавшись своим правом поднять тревогу, и в

мгновение этого, так сказать, медитативного интермеццо старая дама быстро протягивает руку в окошко кассы, правильно сообразив сделать это левой рукой, хватает сколько может банкнот в пятьсот марок, бежит к двери, отпирает, пересекает улицу, исчезает в кустарнике — и лишь когда ее и след простыл, кассир дает наконец сигнал тревоги. Вполне вероятно, что *этот же* кассир повел бы себя более решительно и бесстрашно с невежливым грабителем — стукнул бы его по кулаку, немедленно дал бы сигнал тревоги.

Дело это не обошлось, разумеется, без разного рода последствий. Стоит упомянуть наиболее важные из них: даму так и не выследили, кассира не уволили, а лишь перевели на другую должность, где он не имел дела непосредственно с деньгами и клиентами. Когда дама обнаружила, что вместо пяти тысяч марок схватила семь, она переслала тысячу девятьсот марок обратно в банк, однако справедливо решила не отправлять их по телеграфу, поскольку таким образом ее могли опознать; она позволила себе взять такси, доехала до вокзала и отправилась ближайшим поездом к сыну — это стоило ей примерно девяносто марок, оставшиеся десять марок она истратила в вагоне-ресторане на кофе и коньяк, полагая, что заслужила это.

Передавая деньги сыну, она знаком велела ему молчать и сказала:

— Никогда в жизни не спрашивай меня, где я их взяла.

Потом она позвонила своей соседке и попросила накормить зябликов. Наверное, излишне говорить, что у сына ее все кончилось благополучно: разумеется, он прочел в газете о странном нападении на банк «вежливой» налетчицы, и этот акт солидарности — совершение уголовного преступления его матерью — подействовал на него позитивно в моральном плане больше, чем тысячи добрых советов и даже чем подруга с ее благотворным влиянием; он стал вполне надежным агентом фармацевтической фирмы с перспективой роста, но зачастую при встречах с матерью не мог удержаться, чтобы не повторить: «И ты пошла на это ради меня!» На *что* именно — никогда не говорилось. После некоторых внутренних колебаний дама решила выплачивать свой долг банку в рассрочку по одной марке в месяц, объясняя незначительность суммы тем, что «банки могут ждать». Время от времени она посылала кассиру цветы, книги или билеты в театр и завещала ему единственную ценную вещь из сохранившейся у нее мебели — резную домашнюю аптечку в неоготическом стиле.

Итак, мы воочию убедились, что вежливость одинаково полезна и для банковских служащих, и для грабителей бан-

ков, и если эти последние в своих действиях совершенно откажутся от оружия или взрывных капсул, грубых слов и наглых повадок, то, пожалуй, в один прекрасный день можно будет говорить не о грабеже банков, а лишь о выдаче ссуды под принуждением, и речь тогда будет идти лишь о безоружном поединке двух разных форм вежливости.

Необходимо лишь добавить, что ограбление банка, когда оно происходит без насилия и кровопролития, является довольно популярным преступлением: каждое удавшееся ограбление банка, при котором никто не пострадал, вызывает ощущение удачи, а также зависть у тех, кто каждую минуту готов был бы совершить столь же удачное и некропролитное ограбление, имей они на то мужество.

Гораздо сложнее установить какую-либо связь между таким же наказуемым проступком, как *дезертирство*, и вежливостью. Как ни странно, дезертиров считают трусами, но суждение при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. Дезертир на войне рискует быть расстрелянным — своими или чужими, — и ведь ему никогда не известно, в чьи руки он попадет, даже если он считает при этом, что знает, из чьих рук он вырвался. И как бы ни оценивалось это в разных странах — а в этом вопросе все нации на удивление единодушны, — дезертир на войне кое-чем рискует, и риск его заслуживает уважения. Здесь, однако, речь пойдет о «*вежливом*» дезертире в *мирное время*, о некоем неизвестном молодом человеке, который оставляет военную службу, не воспользовавшись своими правами, — хотя бы правом на отказ от нее, — который смывается, скрывается, по возможности, за границу просто потому, что у него пропала охота и ему надоело главное бремя солдатской жизни — скука; которого не прельщает ни в большей или меньшей степени вынужденное товарищество, ни так называемая служба, которому безразличны деньги, еда, водительские права, перспектива образования или роста по службе, короче — славный немецкий юноша, который, скажем так, еще в школе прочел Эйхендорфа и нашел его «потрясным», симпатичный парень, который так и не закончил школу, потому что она ему осточертела; который стал столяром, и это занятие доставляет ему удовольствие; который вскоре после сдачи экзамена на помощника мастера был призван на военную службу; он не проявляет ни малейшего интереса ни к танкам, ни к какому-либо другому виду оружия, ни к политике, но зато — довольно большой интерес к ремеслу краснодеревщика, которое ему случалось наблюдать в поездках по Италии

в столярных мастерских на первых этажах домов в Риме, Флоренции, а может, и в Сиене (моральная сторона дела, а именно то, что кое-где старинная мебель регулярно подделывалась, его не интересовала), он хочет, он хотел туда, но вместо этого неожиданно оказался в пехотной казарме, скажем, в Ной-Оффенбахе. Разумеется, этого юношу можно всерьез упрекнуть в отсутствии гражданского сознания или сказать ему, что лучше было бы смываться, скажем, в Болонью до, а не после призыва; можно упрекнуть его в отсутствии чувства долга, хотя это не так, поскольку мастер, у которого он был в учениках, ставший между тем жертвой изменений экономической структуры, дал ему отличный отзыв; родители, учителя, даже его друг постоянно пытались втолковать ему, что нужно думать *«реалистически»*, но этот симпатичный паренек как раз думает *реалистически*, он думает о таких реальных вещах, как выдержанная древесина, клей и тиски, верстак и гнутые ножки стульев, он думает, разумеется, также о девушках, о вине и подобных им вещах. *Только вот* армия ему не по душе, она ничего ему не дает.

Такое бывает. Нет смысла сожалеть об этом, хотя *само по себе* это достойно сожаления. Парень такой, какой он есть, и — нужно отдать ему должное — он вел себя сравнительно порядочно, поскольку так называемый основной срок он честно отслужил, он не то чтобы осознал его необходимость, но все же проявил к нему любопытство, однако так и не понял, зачем ему, собственно, нужна эта служба.

Но теперь он сыт по горло, однако не обращается в какое-нибудь учреждение за консультацией — в государственное, церковное, независимое, — нет, он попросту смывается, но поскольку он вежливый человек, то смывается не бесследно, он посылает своему ротному командиру с безопасного расстояния письмо со сбивающим с толку швейцарским штемпелем на конверте:

«Уважаемый г-н капитан!

Не обижайтесь на то, что меня больше не привлекает перспектива еще целый год заниматься Вашей профессией, и вообще Вы не должны принимать мое дезертирство лично на свой счет или тем более как оскорбление. Просто я никакой не солдат и никогда им не стану, и мне вряд ли придет в голову упрекать Вас в том, что Вы не столяр и, возможно, не знаете, что такое царга и уж, тем паче, как ее делают. Разумеется, я знаю — прошу Вас всегда иметь это в виду, — что хотя и существуют законы, по которым можно заставить человека на год с четвертью быть солдатом, но нет таких, по которым можно заставить кого бы то ни было разбираться в царгах, и, конечно же, я понимаю, что мое сравнение «солдат — столяр» хромает.

Ну и пусть себе хромает, и если уж есть закон, принуждающий меня еще целый год скучать самым кошмарным образом, то настоящим сообщаю Вам, что я этот закон нарушаю. Меня огорчает то, что я сообщаю это Вам, славному, симпатичному и чуткому начальнику, я, разумеется, предпочел бы причинить неприятность, которую, возможно, причиняю Вам, какому-нибудь дрянному и грубому офицеру. Вы не раз спасали меня от наказания, меня, столь плохо разбирающегося в абсурдных воинских предписаниях. Вы так сочувственно улыбались по поводу множества моих глупостей, раздражавших моего унтер-офицера и даже моих товарищей, так сочувственно, что я подозреваю в Вас тайного дезертира, и Вы опять-таки не должны принимать это за оскорбление, а скорее за комплимент. Скажу кратко: *как шеф* Вы были даже лучше моего мастера, но *то*, что предоставили Вашему подшефному Вы или, точнее сказать, армия — было просто невыносимо. Это относится не к еде или карманным деньгам, а ко всей этой невозможной деятельности, которая называется: «убивать время». И я просто не желаю больше убивать мое время, я хочу пробудить его к жизни — не больше и не меньше.

Одно только было разумно и доставило мне удовольствие: когда нас использовали в течение четырех дней для ликвидации последствий наводнения в Обердүффендорфе. Когда мы гребли на надувной лодке от дома к дому и доставляли отрезанным от мира жителям Обердүффендорфа горячий суп, кофе, хлеб и «Бильдцайтунг», на многих лицах светилась благодарность, и это приносило удовлетворение, но, помилуйте, господин капитан, разве не будет зловещим или даже кошунственным дожидаться очередных катастроф, чтобы найти смысл в армейской службе?

В надежде, что Вы поймете некоторые из моих мыслей и сочтете мои мотивы вескими, остаюсь уважающий Вас Ваш...»

1977

ТЫ СЛИШКОМ ЧАСТО ЕЗДИШЬ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Клаусу Штэку, который знает, что эта история выдумана от начала до конца, но вместе с тем правдива.

Сидя в пижаме на краешке постели, он курил в ожидании ночного выпуска последних известий и старался припомнить, с какого же, собственно, момента пошло на-смарку так прекрасно начавшееся воскресенье. Утро было

ясным и, несмотря на июнь, по-майски свежим, но уже чувствовалось, что день выдастся жарким. Эта ясность и свежесть напомнили ему те дни, когда он тренировался перед работой с шести до восьми утра.

В это утро он часа полтора гонял на велосипеде по окраинам, меж огородов и промышленных территорий, вдоль зеленых полей, дачных участков, мимо большого кладбища до леса, который теперь далеко отодвинулся от города; на асфальте он прибавлял ходу, делал рывок, пробовал дать максимальную скорость и чувствовал, что не совсем потерял форму, подумал даже, не рискнуть ли ему опять попробовать себя в любительских соревнованиях; он буквально ногами ощущал радость оттого, что экзамены позади, и хотелось снова начать регулярные тренировки. Последние три года было не до того — работа и вечерняя гимназия отнимали уйму времени. Понадобится новый велосипед, но это не проблема, если завтра он поладит с Кронзоргелером, а с ним он поладит, тут уж нет никаких сомнений.

После тренировки он сделал зарядку у себя в комнате на ковровой дорожке, потом пошел под душ, после душа надел свежее белье; завтракать он поехал на машине к родителям — кофе и поджаренные хлебцы, масло, яйца и мед; завтракали на терраске, которую отец пристроил к дому, а Карл подарил родителям симпатичные жалюзи; пригревало солнышко, и на душе было как-то спокойно оттого, что родители чуть не ежеминутно приговаривали: «Вот ты вроде и добился своего», «вот ты почти и добился своего». Мать говорила «вроде», отец — «почти». Теперь их даже веселили прежние страхи за сына, которыми они скорее не попрекали друг друга, а просто вместе вспоминали их — ведь ему, бывшему чемпиону округа по велогонкам среди любителей, электрику по профессии, нелегко дались закончившиеся вчера экзамены; потихоньку эти пережитые страхи переходили в родительскую гордость, и старики то и дело спрашивали, как будет по-испански «морковка» или «автомобиль», «царица небесная», «пчела» и «трудолюбие», «завтрак» и «завтра»; они так обрадовались, когда он сел с ними за стол, а потом пригласил их на вторник к себе отпраздновать сдачу экзаменов; отец быстро съездил за мороженым на десерт, а он выпил еще чашку кофе, хотя знал, что через час опять придется пить кофе у родителей Каролы; он не отказался даже от рюмки вишневой настойки и поболтал с родителями о своем брате Карле, его жене Хильде, их детях Эльке и Клаусе, про которых старики в один голос заявляли, что их, дескать, забалуют модными тряпками и кассетными магнитофо-

нами; и снова они вздыхали, приговаривая: «Вот ты вроде и добился своего», «вот ты почти и добился своего». Теперь эти «почти» и «вроде» как-то встревожили его. Ведь дело, в сущности, сделано. Осталось переговорить с Кронзоргелером, который всегда выказывал ему свое расположение. К тому же испанский факультет народного университета и немецкое отделение испанской вечерней гимназии закончены и впрямь успешно.

После завтрака он помог отцу вымыть машину, матери — прополоть грядки, а когда он собрался уезжать, она дала ему с собой морковку, шпинат и свежемороженную вишню; все это она уложила в большую сумку-холодильник и велела подождать, пока нарежет в саду тюльпаны для матери Каролы; тем временем отец проверил, хорошо ли накачаны шины, попросил включить двигатель и придирчиво вслушался в работу мотора, затем подошел поближе к опущенному окошку и спросил:

— Ты все так же едешь в Гейдельберг... по автостраде?

Вопрос прозвучал так, будто отец сильно сомневается в старенькой, разбитой машине, которой два-три раза в неделю приходится проезжать эти восемьдесят километров.

— В Гейдельберг? Да, еду; что поделаешь, «мерседес» мне пока не по карману.

— Кстати, о «мерседесе»... Тот человек из окружного управления, он еще вроде культурой заведует, привозил сюда на осмотр свой «мерседес». Доверяет его только мне. Как его звать-то?

— Кронзоргелер?

— Вот-вот. Приятный человек, я бы безо всякой иронии сказал, что у него изысканные манеры.

Тут пришла с букетом мать и проговорила:

— Передавай привет Кароле и ее родителям. А во вторник все увидимся.

Перед тем как он тронул машину с места, отец снова наклонился к окошку и буркнул:

— Не ездил бы так часто в Гейдельберг... на этой развалюхе.

Когда он приехал к Шульте-Бибрунгам, Каролы еще не было дома. Она звонила и просила передать, что еще не закончила отчет, но постарается не задерживаться — пусть садятся за стол без нее.

Терраса была тут гораздо просторнее, а жалюзи хоть и подвыцвели, но казались роскошными, и вообще все выглядело как-то изящнее, даже то, что садовая мебель местами облупилась, а на дорожках меж красных плиток кое-где пробивалась трава; эти мелочи немного злили его, как и разговоры, которые ему иногда доводилось слы-

шать на студенческих сходках: из-за этого и из-за его одежды они спорили с Каролой, которая упрекала его, что он слишком уж следит за собой и одевается чересчур буржуазно. Он поговорил с матерью Каролы о делах в саду, с отцом — о велогонках; кофе ему показался тут хуже, чем дома; он нервничал, но старался, чтобы нервозность не перешла в раздражительность. Ведь родители Каролы были людьми милыми, вполне современными и приняли его в семью без всякой предубежденности, даже дали в газету официальное сообщение о помолвке; в общем, со временем они пришлись ему по душе, хотя сначала мать Каролы действовала ему на нервы своим вечным «прелестно!».

С некоторым, как ему показалось, смущением доктор Шульте-Бебрунг повел его в гараж, чтобы продемонстрировать свой велосипед, на котором он каждое утро делал пару кругов по парку или вокруг Старого кладбища.

— Роскошная машина! — похвалил он велосипед доктора, похвалил горячо и без всякой зависти; он проехался для пробы по саду, объяснил Шульте-Бебрунгу, как правильно распределять нагрузку на мышцы (ему вспомнились жалобы ветеранов из велоклуба на то, что у них сводит ноги); когда он слез с велосипеда и прислонил его к стене гаража, Шульте-Бебрунг поинтересовался:

— По-твоему, за сколько я мог бы добраться на этой роскошной, как ты выражаешься, машине — ну, скажем, до Гейдельберга?

Сказано это было вроде бы просто так, без намека, к тому же Шульте-Бебрунг поспешил добавить:

— Я ведь учился в Гейдельберге и в молодости добирался на велосипеде отсюда часа за два с половиной.

Он улыбнулся действительно без подвоха и заговорил о перекрестках, светофорах, заторах, о том, что прежде движение на дорогах было не таким интенсивным; он специально проверил: на машине можно доехать до работы за тридцать пять минут, а на велосипеде — за тридцать.

— А сколько тебе ехать на машине до Гейдельберга?

— Полчаса.

Упоминание Гейдельберга в связи с машиной показалось ему уже не случайным, но тут пришла Карола, как всегда мила и хороша, правда, немного растрепана, и по ней было видно, что она действительно сильно устала, поэтому теперь, сидя на кровати со второй, еще незажженной сигаретой, он не мог припомнить — то ли у него самого к этому времени нервозность все же перешла в раздражительность, которая передалась от него Кароле, то ли это она заразила его своей нервозностью и раздражительностью. Карола поцеловала его, но тут же шепну-

ла, что сегодня к нему не поедет. Потом они разговаривали о Кронзоргелере, который его весьма хвалил, о вакансиях, о границах административного округа, о велогонках и теннисе, об испанском языке и о том, заслужил ли он «отлично» или только «хорошо». Ей самой едва натянули за испанский «удовлетворительно». От приглашения поужинать он отказался, сославшись на дела и усталость, впрочем, никто особенно и не настаивал; вскоре на террасе стало прохладно; он помог отнести в комнаты стулья и посуду, а когда Карола проводила его к машине, она неожиданно сильно поцеловала его, обняла, прижалась и сказала:

— Ты же знаешь, я тебя очень, очень люблю, я знаю, что ты отличный парень; только есть у тебя один маленький недостаток. Ты слишком часто едешь в Гейдельберг.

Она быстро вернулась к дому, помахала ему, улыбнулась, послала воздушный поцелуй; отъезжая, он видел в зеркальце, что она не уходит, а все смотрит ему вслед и машет.

Не ревнует же она его в самом деле! Она ведь прекрасно знает, что он ездит к Диего и к Терезе, чтобы помогать им составлять объявления о поисках работы, заполнять всевозможные формуляры и анкеты; он писал многочисленные прошения и перепечатывал их на машинке; требовались бумаги для иммиграционной полиции, для отделов по вопросам труда и социального обеспечения; он устраивал их ребят в школу и в детский сад, хлопотал о стипендиях, пособиях, одежде, доме отдыха; она отлично знала, чем он занимается в Гейдельберге, ездила с ним туда несколько раз, сама усердно стучала на машинке и обнаружила удивительное знание казенных формулировок; она даже ходила вместе с Терезой в кино и кафе и однажды выпросила у отца деньги в фонд помощи чилийцам.

Неожиданно для себя он поехал не домой, а в Гейдельберг, но не застал там ни Диего, ни Терезы, ни Рауля — приятеля Диего; на обратном пути он попал в затор; около девяти вечера он заехал к брату Карлу, тот достал из холодильника бутылку пива, а Хильда зажарила яичницу; они вместе посмотрели по телевизору репортаж о гонке «Тур де Сюис», где Эдди Меркс выступил довольно слабо; перед уходом Хильда дала ему бумажный мешок с ношенной детской одеждой: для твоего симпатичного тощего чилийца и его жены.

Наконец начались последние известия, но слушал он их вполуха; вспомнилось, что надо сунуть в морозильник морковку, шпинат и вишни; он все-таки закурил вторую сигарету; где-то — кажется, в Ирландии? — состоялись

выборы; сообщили о гигантском оползне; кто-то — неужели сам федеральный президент? — сказал что-то одобрительно о галстуках; некто выступил с решительным опровержением какого-то сообщения; курс акций повысился; Иди Амина так и не нашли.

Выкурив вторую сигарету лишь наполовину, он затушил ее в стаканчике с недопитым кефиром; он действительно жутко устал и вскоре заснул, хотя в голове у него непрестанно вертелось слово «Гейдельберг».

Утром он выпил лишь стакан молока и съел кусок хлеба, убрал постель, вымылся под душем, тщательно оделся; повязывая галстук, он вспомнил о президенте (или это был канцлер?). За четверть часа до назначенного срока он уже был в приемной Кронзоргелера; рядом с ним сидел модно одетый толстяк, который неожиданно шепнул:

— Я коммунист. Ты тоже?

— Нет, — ответил он. — Правда нет. Извини.

Толстяк пробыл у Кронзоргелера совсем недолго, а когда вышел, то махнул рукой, что, видимо, означало — «все кончено». Потом секретарша пригласила его; она была немолода, всегда приветлива с ним, тем не менее его удивило, когда она вдруг ободрительно подтолкнула его — прежде казалась какой-то чопорной. Кронзоргелер принял его дружелюбно; что ж, он в общем-то неплохой человек, немного консерватор, но неплохой; в суждениях объективен, не стар, едва за сорок; Кронзоргелер интересуется велоспортом, этим объясняется его дружелюбие; вот и сейчас зашел разговор о гонке «Тур де Сюис» и о Мерксе — не блефовал ли Меркс, чтобы расхолодить соперников к предстоящим гонкам «Тур де Франс» или же впрямь сильно сдал; Кронзоргелер считал, что Меркс блефовал, а он возразил, что Меркс, пожалуй, свое отъездил, так как есть такие признаки, которые выдают человека, когда он по-настоящему выдохся. Затем поговорили об экзаменах; комиссия долго думала, не поставить ли ему все отличные оценки, но по философии он все же недотянул; в остальном все прекрасно — народный университет закончен успешно, вечерняя гимназия тоже, в демонстрациях не участвовал; вот только есть — Кронзоргелер приветливо улыбнулся — один маленький минус.

— Знаю, — догадался он. — Я слишком часто езжу в Гейдельберг.

Кронзоргелер, кажется, даже покраснел, во всяком случае не сумел утаить смущения; он был деликатен, тактичен и не любил излишней резкости и прямолинейности.

— Откуда вы это знаете?

— Ого всех только и слышу. От своего отца, от Каролы и от ее отца. Все в один голос: «Гейдельберг». Мне уже чудится, спроси я по справочной время или расписание поездов, а мне ответят: «Гейдельберг».

На какой-то миг показалось, будто Кронзоргелер сейчас встанет и положит ему руку на плечо, чтобы успокоить; он уже приподнялся, но потом опустил руку, положил ладони на стол и сказал:

— Вы даже не представляете себе, до чего мне все это неприятно. Я вам очень симпатизировал, у вас был нелегкий путь, но ко мне поступили материалы на вашего чилийца. Игнорировать их я не имею права. Ведь я должен не только руководствоваться законом и постановлениями, есть еще и устные распоряжения, рекомендации. А ваш друг... ведь он, наверное, ваш друг?

— Да.

— У вас будет несколько недель свободного времени. Чем займетесь?

— Начну тренироваться. Опять сяду на велосипед и буду часто ездить в Гейдельберг.

— На велосипеде?

— Нет, на машине.

Кронзоргелер вздохнул. Было заметно, как он страдает, действительно страдает. Подавая руку, он шепнул:

— Не ездите в Гейдельберг. Это все, что я могу вам сказать.— Потом он опять улыбнулся.— И не забывайте об Эдди Мерксе.

Закрыв за собой дверь и проходя через приемную, он быстро перебрал в уме другие возможности: переводчик, руководитель тургруппы, инкорреспондент маклерской фирмы? За профессионалов на велогонках ему уже не выступать, возраст не тот, а электриков теперь и без него хватает. Он забыл попрощаться с секретаршей, поэтому вернулся и махнул ей рукой.

ПРИЗНАНИЕ УГОНЩИКА САМОЛЕТА

«Товарищ Господин, после обстоятельных консультаций с той инстанцией, которая контролирует мои низменные инстинкты — должен признаться, не всегда успешно,— после интенсивного, вконец меня измотавшего вслушивания в то внутреннее пространство, что я хотел бы именовать своим гражданским сознанием, я решил во всем сознаться.

Да. Я пытался угнать самолет. Да. При этом я использовал огнестрельное оружие, и пусть оно было всего лишь

подделкой — немножко дерева, много ваксы, — но призвано было внушить страх. По счастью, его у меня отняли еще прежде, чем я мог бы пустить его в ход. Я прошу Вас, товарищ Господин, обратить внимание на мою формулировку «прежде, чем я мог бы пустить его в ход», и не обвинять меня в связи с этим в формализме — ведь как можно всерьез пустить в ход поддельное оружие из дерева и гуталина? Данная формулировка отнюдь не означает, что я действительно пустил бы в ход оружие или хотя бы намеревался это сделать; для меня это оружие выполняло исключительно функцию ключа, нет, мне не хотелось бы возводить поклеп на такой достойный инструмент, как ключ, нет, оно выполняло для меня функцию отмычки, с помощью которой я хотел вломиться в священную зону, доступную лишь иностранцам и особо заслуженным товарищам. Можно ли совершить что-нибудь более предосудительное? Нет. Движущей силой при этой попытке угнать самолет — а я не делаю никаких оговорок и прошу поступить со мной по всей строгости закона — явилось нечто такое, что раньше принято было называть страстью, и более того — разумеется, это удваивает мою вину и потому закон должен покарать меня с удвоенной силой — страстью к несоциалистической стране. И все-таки здесь я должен по справедливости слегка смягчить свою вину: не сгорал я от страсти к этой стране, ибо она не является, нет, именно потому, что она не является социалистической... но между этим «не сгорал, ибо» и «потому что она не кроется», как справедливо заметил прокурор, «идеологическая неустойчивость» и, как он — опять-таки справедливо — отметил, моя «податливость на капиталистическую пропаганду». Так оно и есть.

Действительно, я самым недопустимым, можно сказать, мерзопакостным образом завладел этим проспектом города Копенгагена... простите, здесь у меня текут слезы стыда за мой грязный поступок, но прошу, не сочтите эти слезы притворством... я выудил проспект на улице Горького из урны, над которой наклонился, чтобы сунуть в нее скомканную «Правду», — прочитанную, однако, от корки до корки. Теперь-то я отлично понимаю, что, уже выбросив «Правду», навлек на себя подозрения, но я подчеркиваю: она была прочитана вдоль и поперек, от корки до корки, я и сегодня мог бы изложить вам содержание передовой статьи, но куда хуже то, что я прельстился неодетой женской фигурой, которую углядел в мусоре, и моя правая рука сквозь мусор сама потянулась к этой картинке.

Я женат, товарищ Господин, у меня подрастают трое детей, я веду бесконфликтную супружескую жизнь, и мне

не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто именно это фото неодетой женщины побудило меня попытаться угнать самолет; нет, эта женщина была лишь ловко насаженной порнографической приманкой на крючке капиталистической пропаганды; на самом же деле я — поскольку мои темные инстинкты не были полностью приглушены социалистическим воспитанием — совершенно разочаровался в этой женщине; я дал себе слово быть откровенным, товарищ Господин, а потому хочу быть искренним и в этом пункте.

Наконец, я не какой-нибудь неуч, в школе я получил прекрасные знания в области географии, я страстно любил рассматривать географические карты... и вот как-то веду я пальцем от Ленинграда через Балтийское море, пока не натыкаюсь на Копенгаген, и тут, товарищ Господин, во мне и проснулась страсть, которую внушил мне этот дивный город, и я клянусь всем, что мне свято: я жаждал попасть туда вовсе не ради порнографических фильмов и магазинов, нет, все дело в красоте архитектуры, что пленила меня, в каналах, в старых амбарах, которые я увидел в проспекте, когда первое волнение, вызванное неодетой женской фигурой, углеглось, и притом очень быстро, правда, не только в одной архитектуре дело, но и в философии.

Я простой советский рабочий, однако меня всегда тянуло к философии, да, она меня околдовала, и этим я опять-таки обязан великолепному школьному образованию. В библиотеке одного знакомого моей покойной тетушки мне довелось прочесть небольшую работу этого самого Кьёркегора, как известно, современника несравненного Карла Маркса, и тут вы можете спросить, и даже с полным правом упрекнуть меня в том, что страсть моя была направлена не на прекрасный старинный город Трир.

Теперь я должен сделать еще одно признание: по национальности я еврей и определенные — или лучше сказать — известные исторические события, касающиеся судьбы еврейского народа, значительно подорвали мое стремление посетить страну, населенную немцами, основательно подорвали, и вовсе нет нужды особо подчеркивать то, что для любого советского гражданина само собой разумеется, а именно, что я исключаю из числа этих немцев жителей ГДР, только вот Трир-то находится не в ГДР, а в Дании немцы не живут, и, кроме того, Трир расположен не у моря, и там нет Тиволи, там нет такого чудесного цирка, как в Копенгагене, а мне хотелось в Копенгаген не только ради Кьёркегора, а также ради красоты и уюта этого города, но, если я даже и тоскую

по датским циркам, это вовсе не значит, что я презираю наши великолепные советские цирки; у нас самые лучшие клоуны, у нас великолепные артисты, просто мне хотелось один раз увидеть несоветский цирк, хотелось один раз провести отпуск среди несоветских людей.

Я не отрицаю красот Крыма или Кавказа, к которым я отчасти приобщился, не отрицаю красот Балтийского моря у наших братских народов — латышей, литовцев, эстонцев; все это я видел, и мое чувство прекрасного исторгло у меня слезы радости, более того, восторга. Но мне хотелось разок побывать в Дании, однако все мои многочисленные попытки посмотреть эту дивную страну легальным путем, в качестве туриста, терпели неудачу, все заявления отклонялись, и тогда я самым недопустимым образом использовал свои способности опытного и неоднократно премированного механика по точным работам. Из букового полена я — тайком, пока мои домашние спали, и под предлогом повышения квалификации — вырезал пистолет, точь-в-точь как настоящий, и при помощи нашего черного советского гуталина, не имеющего себе равных, придал изделию металлический блеск, поехал в аэропорт, чтобы все посмотреть на месте, записал все рейсы на Копенгаген и однажды попытался силой прорваться сквозь ограждение к самолету САС; попытка не удалась благодаря бдительности нашей милиции, которой я хочу здесь выразить мою благодарность.

Товарищ Господин, я клянусь, клянусь жизнью моей жены и детей, жизнью всех, кто мне дорог, жизнью всех моих друзей и товарищей: я обязательно вернусь бы, я бы раскаялся, явился бы к властям, и, понеся заслуженное наказание, вернулся бы к своей профессии механика по точным работам, и остаток дней провел бы в своей любимой стране трудящихся, и сейчас мне абсолютно ясно, что в Копенгагене я уже через несколько дней был бы по горло сыт ихним декадентством. И наконец,— только прошу, не усматривайте в этом и тени иронии,— как же замечательно поставлено у нас преподавание географии, как великолепно преподается философия, если у людей могут возникать такие страстные желания!»

Обвинитель оценил признание обвиняемого соответствующим образом, но, так сказать, реферативно, что называется, принял к сведению, однако, как он потом подробно разъяснил, ни в коей мере не счел его смягчающим вину, все это, сказал он, абсолютно неосновательные причины, что толку признаваться в том, что уже доказано, запротokolировано и подтверждено подписью обвиняемого; слабость этого признания, по его словам, в ссылках

на вещи само собой разумеющиеся, как-то: преимущества советских методов преподавания географии и философии, в похвалах этим само собой разумеющимся вещам есть что-то подхалимское, лицемерное; особенно же отягчающим обстоятельством в определении характера обвиняемого выглядит восхваление советского сапожного крема, о котором все — и партийное и государственное руководство и не в последнюю очередь весь советский народ — знают, что если он и не вовсе плох, то и не так уж хорош, как его расписывает обвиняемый; имеющиеся сведения — и отнюдь не тайные — об этом самом креме изобличают обвиняемого как лжеца и подхалима и... тут обвинитель вытащил из своей папки поддельный пистолет и положил его на стол перед судьей, кроме того, результаты химических анализов свидетельствуют — и он положил заключение экспертов рядом с пистолетом, — что предназначенное для шантажа изделие смазано сапожным кремом американского производства, благодаря чему и была достигнута обманчивая схожесть с вороненой сталью.

Для полноты доказательств он выложил на стол — опять достав из своей папки — поддельный пистолет, смазанный советским сапожным кремом, чтобы все видели, как сквозь вакуум просвечивает дерево. Краска эта, по его словам, не имеет черного металлического блеска, а лишь черноватый, отчего создается впечатление не серого стального блеска, а сероватого. Обвиняемого уличают в преступлении не только и не столько его действия, сколько эти восхваления советского сапожного крема вкупе с космополитической иронией, разлагающей насмешкой, и суд не должен позволить сбить себя с толку покаянными словами обвиняемого, и посему обвинитель потребовал определить ему если не высшую, то строжайшую меру наказания.

1977

НОСТАЛЬГИЯ, ИЛИ ЖИРНЫЕ ПЯТНА

Вечером накануне свадьбы Эрики я все-таки поехал в отель, чтобы еще раз поговорить с Вальтером; я знал его уже давно, и Эрику, его невесту, тоже; как-никак я четыре года прожил вместе с Эрикой в Майнце, когда работал на стройке и одновременно учился в вечерней гимназии; Вальтер тогда тоже работал на стройке и учился в вечерней гимназии. То было малоприятное время, и я вспоминаю его без всякой ностальгии: тихое высокомерие наших учителей, пекшихся больше о нашем произношении, неже-

ли о наших знаниях, ранило большее самой громкой брани. Очевидно, большинство из них невыносимо страдало при мысли, что мы, с нашим столь явным диалектом, сможем занять какое-то положение в науке; они заставляли нас говорить на языке, который мы называли «вечерним» или «выпускным».

Придя с работы — зачастую вместе с Вальтером, — мы первым делом принимали душ, переодевались, приводили себя в порядок, и все-таки под ногтями у нас всегда была известка, а на ресницах цементная пыль. Мы принимались зубрить математику, историю, даже латынь, а когда наконец мы выдержали экзамены, у наших учителей был такой вид, будто нас, по меньшей мере, причислили к лику святых. Во время дальнейшей учебы какое-то время в волосах у нас еще были следы извести и цемент за ушами, а иногда и в носу, даже если Эрика придирчиво оглядывала меня со всех сторон; в таких случаях она качала головой и шептала мне на ухо:

— Как был пролетарием, так им и останешься!

Я не горевал по работе на стройке ни когда получал стипендию, ни потом, когда в конце концов окончил институт: дипломированный специалист по экономике торговли, с правильным произношением, прекрасными манерами, вполне приличной работой в Кобленце и видами на отпуск для написания диссертации.

Я так толком и не понял: Эрика ушла от меня или я от нее, и даже не помню, было это до или после получения диплома; мне вспоминаются только горькие обрывки фраз, которыми она укоряла меня в том, что я стал для нее уж слишком утонченным, я же упрекал ее в том, что она осталась такой же вульгарной — слово, в котором я и по сей день раскаиваюсь; ее вульгарность с годами потеряла свою естественность, стала демонстративной, особенно когда она вдавалась в подробности работы в корсетной мастерской или же подгрунивала надо мной в ответ на мои просьбы помочь обнаружить следы цемента за ушами, хотя я давно уже не работал на стройке. Еще и сегодня, за восемь лет ни разу не побывав ни на одной стройке, даже на своей собственной — мы строимся, Франциска и я, — я подчас ловлю себя на том, что очень пристально разглядываю в зеркале свои брови и ресницы; Франциска в таких случаях укоризненно качает головой; она полагает, что я уж слишком суетен, не подозревая об истинных причинах столь пристального внимания к своей внешности.

В Майнце, когда мы вместе занимались зубрежкой, Вальтер частенько приходил к нам обедать: на столе кое-

как вскрытая пачка маргарина, покупной картофельный салат или покупная жареная картошка, майонез в картонном стаканчике, а в лучшем случае — яичница из двух яиц, поджаренная на электрической плите, которая обычно плохо работала (Эрика всегда боялась этой плиты: как-то раз через ниточку яичного белка ее ударило током); на столе коврига хлеба, обкромсанная со всех сторон... и мой вечный страх перед жирными пятнами на книгах и тетрадях, лежавших рядом с майонезом и маргарином. И еще я постоянно путал Овидия с Горацием... А на книгах, конечно же, появлялись жирные пятна. Я и по сей день ненавижу жирные пятна на книгах и даже на газетах: еще ребенком меня тошнило, когда надо было нести из лавки завернутую в газету селедку, соленую или копченую; отец в таких случаях говорил матери с насмешкой:

— И в кого это он такой чистюля, вроде не в меня и уж точно не в вашу породу.

Было уже поздно, почти десять часов, когда я явился в отель. Идя по коридору восьмого этажа, в поисках номера Вальтера, я по расстоянию между дверьми старался угадать, двойной у него номер или нет: к встрече с Эрикой я был не готов; за семь лет я лишь раз получил от нее весточку — видовую открытку из Марбельи, на которой она написала только: «Долго-долго, скучно-скучно — и никаких жирных пятен!»

Номер оказался на одного; но прежде чем я увидел Вальтера, мне бросился в глаза его черный костюм на плечиках, висевший на дверце шкафа, черные туфли под ним, серебристо-серый галстук на перекладине плечиков; потом, через открытую дверь ванной, я увидел размокшую сигарету, валяющуюся в лужице на полу, от табака лужица стала желтой; вероятно, Вальтер переоценил величину гостиничной ванны и напустил туда слишком много пены. На пластмассовой табуретке я заметил стакан виски с содовой и лишь потом, за хлопьями пены, обнаружил Вальтера.

— Заходи, — сказал он. — Ты, похоже, пришел меня предостеречь. — Он стер пену с лица и шеи и засмеялся, глядя на меня. — Только не забывай академическую табель о рангах — как-никак я доктор, а ты — нет, и если дело дойдет до дуэли, не знаю, пристало ли мне с тобой драться... Только не думай, что сможешь отговорить меня от этой женитьбы. Но одно ты должен знать, только одно: в Майнце у нас ничего с ней не было, ничего.

Я был рад, что он при этом не засмеялся, я закрыл дверь ванной комнаты, сел на кровать и уставился на его черный костюм. Вечером накануне моей свадьбы в Кобленце мой костюм точно так же висел на дверце гостинич-

ного шкафа, и галстук у меня тоже был серебристо-серый.

Я увидел, как Вальтер вышел из ванной комнаты, вытираясь купальным халатом, затем надел пижаму, бросил халат на пол и с улыбкой пропустил через ладонь серебристо-серый галстук.

— Правда,— сказал он,— я встретил ее снова только год назад, случайно, и... ну вот, теперь мы женимся, ты завтра придешь?

Я покачал головой и спросил:

— И венчание будет?

— Да, и венчание, из-за ее родителей, они любят плакать на свадьбах. Гражданского бракосочетания недостаточно для их слезных желез, и она по-прежнему вульгарна, но зато у нас уже есть масленка.

— Оставь это,— сказал я и взял предложенный мне стакан виски.

— Мне очень жаль, правда,— сказал он,— но давай лучше обойдемся без ветеранских разговоров — никаких объяснений, никаких признаний и никаких предостережений.

Я думал о том, что собирался ему сказать: какая она неряха, как она не умеет обходиться с деньгами, а в маргарине я нередко находил волос, и повсюду были эти проклятые жирные пятна — на книгах, газетах, даже на фотографиях... С каким трудом удавалось поднимать ее с постели по утрам... А ее наивно-пролетарские представления о завтраке в постели как о высшей роскоши, отчего на простынях оставались джемовые кляксы и коричневатые кофейные пятна на перине; да, она была лентяжкой и грязнухой, стирать я заставлял ее силой, а иной раз буквально волоком тащил ее и загонял в ванну и мыл, как моют малых детей, а она визжала и отфыркивалась... Да, а порой она приходила в ярость, но при этом никогда не бывала в дурном настроении, в дурном настроении — никогда... А потом мне вспомнилась наша стройка, на которую я ни разу даже не заглянул, я все доверил Франциске и архитектору.

1980

НА КАКОМ ЭТО ЯЗЫКЕ — ШНЕКЕНРЁДЕР?

Он все это представлял себе иначе: в худшем случае белая машина с красной штуковиной — как же она называется? Из белой машины в белую постель, из белой постели в белую операционную; зеленые шапочки, маска, одинокие глаза над нею, красная кровь в пластиковых трубках, быстрым шепотом отдаваемые команды, пока он

не окажется далеко, очень, очень далеко. Кровать? Белизна? Машина? Представление? Ухо? Ухо? Тут он вдруг что-то вспомнил, ухватился за это, убедился, но не нашел, не смог взять себя за уши, и все-таки он слышал: женское хихиканье, мужские стоны за..., как же это называется, как это все-таки называется: прямоугольное, выкрашенное небесно-голубой краской, в розовой раме, а над этим голубоватая голая лампочка, как в бомбоубежище, черт возьми, это он все-таки помнил: бомбоубежище, помнил кровать, белизну, машину, но как же называется этот небесно-голубой прямоугольник в розовой раме? Вход — не совсем верно, насколько он знает, вход ведет снаружи вовнутрь, а здесь это вело изнутри еще дальше вовнутрь. Может быть, заход? И там, за этой штукой, сейчас слышится мужской смех и женские стоны, и, черт возьми, кто-то шепчет: «Отче наш», отчетливо; совершенно определенно там шепчут «Отче наш» и «Аве Мария», должно быть, католики, да, наверняка. Католики, протестанты, иудеи; тут он нашел уши, они у него еще были, и даже нос. Он чувствовал свой нос и уши, но не чувствовал этих, как их, которыми берут, хватают, их он не чувствовал, не знал, как называется красная штукovina на белой машине. Что-то произошло с машиной. Нос различал даже запахи: супа, соуса, уши различали даже легкий шум, голос женщины, сказавшей «сколько ос», это «о» в слове «ос» звучало чуждо, когда-то он уже слышал такое «о», это не по-русски, не по-французски, не по-итальянски, нет, как же называется язык, которого ему никак не вспомнить... не английский, не шведский, не датский, не голландский; вот, все языки вспомнил, даже арабский... только тот единственный, название которого он искал, никак не приходил на память, лишь слово, в котором он уже слышал это «о», впечаталось в мозг: «Ольвивадос», и это был испанский. Разве он в Испании? Прямоугольник, который не вход, но все же ведет куда-то, штуки, которыми хватают, красная штукovina на белой машине, язык, на этом языке он как-никак думал и ругался, но названия не мог вспомнить, вот те штуки, которыми смотрят, он вспомнил сразу: глаза... они не открывались, никак не поднимались эти... и их он тоже вспомнил сразу — веки! — веки не поднимались, он схватился за них и стал поднимать, еще, еще, совсем как те проклятые гаражные ворота, свинцовой тяжести ворота в доме, где он когда-то жил, проклятые тяжелые ворота. Ворота? Нет, не ворота, этот небесно-голубой прямоугольник в розовой раме тоже открывается, но это не вход и не ворота. Штуки, которыми хватают, с трудом удерживают веки, и он в самом деле видит: алюминиевые кот-

лы, в которых булькает что-то острое, ложки, тарелки, а рядом холодные закуски: огурцы, помидоры, горчица. Да, это называется горчица, желтая масса в заляпанной банке с деревянной лопаткой, все эти слова он помнит: суп, горчица, соус, огурец — эти все слова он помнит, но никак не может вспомнить, чем же все это берут, и красную штурковину на белой машине, в которую ему так не хотелось, тут были просто ложки и разливательные ложки, и женщина, милая, не худая, не старая и вовсе не опрятно причесанная, это она на испанский лад произносила «о»; а вот и кастрюля с дымящимися макаронами; разве испанцы едят макароны? А мексиканцы? Едят макароны? А как же называются те, что едят так много макарон? «Отче наш», «Аве Мария» — проклятье, что там творится за этим небесно-голубым прямоугольником, на молитву не похоже, или они при этом еще и молятся? Это несомненно католики. Очевидно — как чудесно, что ему пришло в голову это слово «очевидно» — очевидно, там все-таки закусочная... да, именно так это называется, и заодно... ах, он вспомнил и слово «заодно»... одна из тех штук, в которых обычно происходит то, что происходило сейчас за входом, который вовсе не вход. Одного он не может, того, что делала женщина, сказавшая «ос», — говорить, вот этого он не мог, нет, или всё: стоны, хихиканье, хохот, молитвы не имеют вообще никакого значения? Может, там что-то вроде молельни или исповедадьни? Да, то, что делала женщина, сказавшая «сколько ос», — называется «говорить»... говорить он не мог... ему пришлось отнять от глаз эти штуки, которыми хватают, веки стали слишком тяжелыми, как свинцовые жалюзи, и он читал на бутылках и рекламных плакатах это проклятое «ос...»... так много... «ос». А как же он мог видеть этот небесно-голубой прямоугольник до того, как поднял веки? Он это видел раньше, а штука, которой говорят, называется рот, во рту язык... Он схватился за рот, но хватать было нечего, ничего не чувствуется... однако он мог ощущать запахи, слышать, видеть, наконец, но говорить не мог, а язык, на котором говорят люди, которые тоже едят макароны, как же он-то называется? Совершенно ясно, главные едоки макарон — итальянцы, но те, на чьем языке он говорил бы, если бы мог говорить, тоже едят макароны, белые макароны, дома тоже их подавали... белые макароны, белая машина, белая постель, белая операционная, зеленые шапки, скорее даже колпаки, одинокие глаза; голубоватый свет за голубым прямоугольником, прежде... прежде чем началось то, что он представлял себе совсем иначе. Ведь прежде чем он опустил веки, прежде чем исчез рот, он все-

таки прошел через этот голубой прямоугольник — голубоватый свет от плохо ввинченной лампочки, плохой контакт, это он еще помнил — плохой контакт: улыбающиеся трупы в голубоватом зыбком свете... Лучше всего дома, в постели... постель? Желтое белье, синие подушки, оранжевый абажур ночника, а возле кровати... кто бы это мог быть? Жена, его жена? А есть ли она у него? Должна быть, ведь есть же те, что бывают вместе с женой... как их, да, дети, все-таки у него есть жена и дети, у нее есть дети, и у него есть дети, один или одна... а как называется то, что делают... чем занимаются... чем зарабатывают деньги? Чем он зарабатывал деньги? В дороге... он часто был в дороге на своей — это он вроде бы помнил... как называется то, что видишь, открыв ворота гаража: красный крест? нет, белая машина, без красного креста. Как он на машине попал в Мексику? А в эту закусную? Ворота гаража, дверь гаража, нет, не дверь, ворота... дверь, наконец-то он вспомнил, теперь не надо так обстоятельно описывать небесно-голубой прямоугольник в розовой раме. Дверь куда проще. Дверь гаража... нет, так нельзя сказать. Здесь за дверью наливают из котлов супы и соусы и все, что написано на бутылках и плакатах, все кончается на «ос». Кто он, испанец, мексиканец? Тогда откуда макароны и как зовут женщину, с которой у них дети? Как ее зовут? Ведь он с ней очень давно. Одно ясно: штуки, которыми хватают,— пальцы, а пальцы на руках. Дверь, пальцы, руки, а красная штука на белой машине называется крест, и, конечно же, он был за этой дверью, кто-то вдвинул его туда и кто-то выдвинул оттуда. Где-то далеко-далеко плавало разбитое вдребезги слово, как будто в небесах, на лунных равнинах... и эти разрозненные осколки слетались к нему: отта... ли... лез... и это «лез» как-то связано с «ос»... Связано, связь?... Тут он даже рассмеялся, от смеха заболело вокруг рта, которого больше не было... исчез рот вместе со всем содержимым, а больно было и внутри и снаружи. Больно? Болело все, все: и уши, и глаза, и нос, и эти, как их, пальцы, только рот не болел, его ведь не было, рот лишь причинял боль, когда он смеялся, смеялся над словом «связь»... Он сумел даже перевернуть это «лез», получилось «зел». Ли... отта... зел, теперь наоборот, наоборот не получалось, только крутилось, взвихривалось где-то далеко-далеко, среди звездных трасс, космической мишуры, лунного сияния... супы и соусы были слишком острыми и пряными, пряность, острота, небесные пути, космическая мишура, лунный свет, а когда он вновь поднял веки, с трудом, с великим трудом, как эти проклятые ворота гаража, которые у него когда-то были,

он вдруг увидел, что милая женщина за котлами с супом и соусами прячет одну грудь в синюю блузку. И никакого «Отче наш», никакой «Аве Мария» за этой дверью, тишина, гараж. Отта? Рота? Забота? Шарлотта? Гаротта? Забота? Шарлотта? И тут осколки стали слетаться, сталкиваясь и стыкуясь, как луноходы, как летательные аппараты, и вот оно: его жену звали Лизелотта, и это не испанское, не мексиканское имя, и это на языке, в котором, кажется, нет окончания «ос». Карлос. Ольвидадос.

Как же называется этот язык? Как зовут его детей? Лизелотта была лучше, чем женщина за стойкой, а женщина за стойкой была лучше, чем женщина за дверью. Он испачкан, он испачкался? Чем? Джем? Это по-английски мармелад, и он уже мог бы пальцами, которые на руках, залезть во внутренний карман своего перепачканного пиджака, но пальцы этого не могли, он не мог глубоко проникнуть, крепко схватить, не мог дотянуться туда, где лежали деньги, документы и чеки. Лизелотта, воображал он, она держала бы его руку, а другая, младшая Лизелотта, дочка, положила бы свою руку ему на лоб, это прекрасно, когда детям дают имена родителей. Две Лизелотты, старшая с черными волосами, хоть и не испанка, а младшая Лизелотта блондинка, красивые волосы, с настоящим золотым отливом — одна положила бы руку ему на лоб, а другая держала бы его руку, вернее, локоть, именно так он это себе представлял, если... если... да, но там были еще дети, их было больше двух. Они стояли у постели вчетвером, две Лизелотты и мальчики, молодые мужчины. Как же называется этот чертов язык, никак не вспомнить язык, в котором есть слово макароны, в стране, где тоже едят макароны, но это не Италия. Нет, он не итальянец, он и не австриец, пусть даже австрийцы и едят макароны.

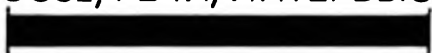
Штуки, которыми хватают, оказались пальцами; небесно-голубой прямоугольник — дверью, красная штукovina на белой машине — крестом. То, что видишь за воротами гаража, стоит только их поднять, машина. У старшей Лизелотты черные волосы, у младшей белокурые, она, пожалуй, слишком долговяза; мальчик стоял слева от старшей Лизелотты, другой — справа от младшей. Желтое постельное белье, синие подушки, оранжевая лампа, а на стене напротив висит штукovina... на белой машине она была красной... черный простой прямоугольный крест... и вновь из космической мишуры и лунного света, из пересечения небесных трасс явились имена юношей: Рихард, так звали того, что стоял слева от старшей Лизелотты, и Генрих, тот, что справа от младшей. Проклятье, на каком же это языке — Генрих? Лунная прохлада, солнечный жар,

кружение, нет, скорее разворот, как при заходе самолета на посадку. Самолет? У него все-таки была своя машина в самолете. У Рихарда каштановые волосы, и он очень серьезен, а Генрих белокур и весел. На каком языке все это? Жилы земли, застывшие, глубокие, твердые... но в то же время лава, горячая, текучая — все кружилось и взвиривалось, одно, другое... младшая Лизелотта, она еще нальется, и эта ее долговязость, торчащие ключицы... она нальется и в один прекрасный день окажется статной блондинкой без всяких острых углов; старшая Лизелотта, она совсем в другом роде, нежная и все-таки крепкая, крепкая женщина, за этой нежностью поразительно много всего, хорошая жена, как бы ни повернулась жизнь. Не неприступная крепость, а крепкая женщина, не атлетически крепкая, не спортивная, нет; за дверью было спокойно, словно кто-то дышал там, чья-то гигантская грудная клетка. Крепость, крепкая женщина — от смеха вновь накатила боль, от ушей до живота, от глаз до колен. Слабость и боль, все больное и слабое, только ниже колен — ничего... Колени, это слово чем-то очень похоже на Генриха. Опять надо поднять веки, а они еще тяжелее прежнего, с трудом поднять веки... и тут он увидел слова на рекламных плакатах: цигариллос, лотериллос, Карлос — это парень рядом с быком. Значит, все-таки он в Мексике? Он мексиканец? Разве в Мексике есть имя Генрих? По воскресеньям, когда ему приходилось в одиночку поднимать эти гаражные ворота, они были словно свинцовые жалюзи и то и дело падали вниз, пока наконец, с превеликим трудом, ему не удавалось их закрепить. Машина. Он редко садился за руль, по большей части сидел сзади, а впереди — Шнекенрёдер с его почти гениальным умением ездить быстро и в то же время неторопливо. На каком это языке — Шнекенрёдер?¹ И ползет и мчится одновременно. Но Шнекенрёдер не сидел за рулем, а сам он тоже не вел машину, а, как обычно, сидел сзади. А как называются эти штуки, в которых можно ездить, даже когда Шнекенрёдер не сидит за рулем? Наемная машина? Нет, разница такая же, как между воротами и дверью. В этих штуках приходится иногда ездить на небольшие расстояния, из аэропорта в отель, из отеля в ресторан, или в кино, или к людям, с которыми есть какие-то дела. Тут он опять рассмеялся: крепость, крепкая женщина... никогда он так ее не называл, но это была она, он лишь теперь вспомнил... и в машине он все-таки ехал, но не за рулем, и Шне-

¹ От Schnecke — улитка (нем.).

кенрёдера тоже не было. Такси, вот как называются эти машины, а вовсе не наемные, и парень сам вытащил деньги из его бумажника. Бумага, бумажка, бумажник? Пальцы его не слушались. Лотериллос, цигариллос, Карлос, Ольвидадос, по пути в карман пальцы совсем ослабли. Но хуже всего — смеяться, так больно, такая слабость... и накатывает эта колышущаяся лава, течет по окаменелым асфальтовым жилам... Никакой белизны, нет ни оранжевой лампы, ни белокурой девочки, костлявой и угловатой, ни крепкой женщины, ни креста цвета красного дерева на стене, ни серьезного Рихарда, ни веселого Генриха... немножко, совсем чуть-чуть белизны было бы неплохо, так, самую малость, тут нет ничего белого, ничего, даже грудь милой женщины, которую та спрятала под блузку, не была белой; и еще это слово на «ос» на одной из бутылок за стойкой, и тут, тут все стало ясно, где-то рядом, прямо у него над ухом кто-то шептал «Отче наш» и все, что за сим следует, все, что полагается, а вот и «Аве Мария», это не испанский, это латынь, а в крепости, во всяком случае в своей крепости, он не больно-то разбирался в ней, нет, это и в самом деле папистский лепет, и очень возможно, со всякими суеверными глупостями; ни чуточки, ни пятнышка белизны. Где же Шнекенрёдер? Такси, вот как называются эти штуки, а вовсе не наемные машины. Лава, что бурлит в нем, эта горячая, болезненная мучительная бесконечность, в тонкой, как воздушный шарик, оболочке, что вот-вот лопнет, и лава прольется слабостью, болью, жаром. Что такое Лотериллос и кто это произнес над ухом: «Для врача слишком поздно, для священника никогда не поздно». Это все-таки тот самый язык, в котором есть имя Генрих! (и его имя тоже Генрих). Он представил себе, как могло быть, как было бы в лучшем случае или как было... как могло бы случиться и не случилось, но не так, только не так. Не так! Кто-то полез во внутренний карман его пиджака, куда его пальцы не могли проникнуть, и сказал: «Сейчас мы все выясним». И это был тот самый язык, язык Генриха и Шнекенрёдера, его язык, на нем говорил кто-то, произносивший «о» совсем как та женщина, сказавшая «сколько ос»... Но помогал ему поднять веки кто-то другой, и теперь он отчетливо прочитал на бутылке: «Кальвадос», — и все не мог взять в толк, с каких это пор в грязной закуской с небесно-голубой дверью в розовой раме, ведущей в глубь здания, с каких пор тут пьют кальвадос и на каком это языке — Шнекенрёдер или Генрих, его тоже зовут Генрих...

ЭССЕ, РЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ



ESSAYS, REDEN, INTERVIEWS

© Перевод Бунин Н.Н.,
Вильмонт Е.Н., Городин-
ский И.И., Дранов А.В.,
Карп М.Н., Кацва Е.А., Михеле-
вич Е.Е., Фридланд С.Л., Хари-
тонов М.С., Хлебников Б.Н.,
1996 г.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА

Среди публицистов, издающихся в Федеративной Республике, Гюнтер Вальраф с его репортажами находится в исключительном положении. Его нельзя назвать репортером в традиционном смысле — репортером, который выискивает факты, берет интервью и на основе всего этого пишет свои корреспонденции. Нельзя его назвать и эссеистом, который, получив определенную информацию, предается абстрактным умозаключениям и рассуждениям. Не принадлежит он и к литераторам, в своих романах и рассказах изображающим ту социальную среду, которую у нас принято несколько снисходительно называть «миром труда». Все это общепринятые, так сказать, законные жанры публицистики. Вальраф же избрал иной метод, он проникает внутрь ситуации, которую намерен описать, «внедряется» в нее, полностью растворяется в ней, язык, которым он пишет свои репортажи, чужд каких бы то ни было «преувеличений», он даже не прибегает к жаргонным словам и выражениям, которые, что бы там ни говорили, несут определенную художественную нагрузку. То, что его корреспонденции вызывают столько споров, связано, видимо, с тем, что он не пользуется ни языком повелеваемых, который обычно называют «языком рабов», ни языком повелевающих. Если Вальраф и цитирует выражения сильных мира сего, щедро демонстрируя их манеру изъясняться, — например, язык канцелярских служащих, военного священника, руководителя курсов гражданской обороны, — то цитата выполняет определенную функцию: она показывает, что скрывается за покровительственным пренебрежением или лестью. Самый неприятный экземпляр из этой компании — военный священник, изображенный в очерке «Убийство именем Божиим», где он — чтобы добиться расположения «малых сих» — весьма примитивно использует солдатский жаргон времен второй мировой войны. Здесь «господин» снисходит к «рабам», разыгрывая из себя такого же сирого и неимущего ради того только, чтобы «всучить» солдатам свою в высшей степени сомнительную «весть»; но что самое отвратительное — жаргон; он без-

надежно устарел, священник опоздал на несколько исторических эпох.

Людей, находящихся в экстремальной социальной или политической ситуации, которым теле- или радиорепортеры чуть ли не засовывают в рот микрофон, помогаясь от них высказываний на ту или иную тему, всегда упрекают в том, что их-де словарный запас крайне ограничен. В сущности говоря, это означает одно — то, что они не владеют языком господствующих классов. И по причине вполне понятной нерешительности, возникающей оттого, что им постоянно внушают, будто их язык вульгарен и неприличен, не отвечает никаким общепринятым разговорным и литературным нормам, и поскольку они это ощущают, они вообще отказываются говорить на своем жаргоне. То, что этот жаргон очень сочен или воспринимается таковым, замечают всегда те, кто не испытывает на самом себе власть ситуации. Жаргон сутенеров, проституток или налетчиков, естественно, воспринимается теми, кто не зарабатывает себе на хлеб в роли сутенера, проститутки или налетчика, в высшей степени «поэтически». Определенному сорту молодых нахальных, что называется, «шикарных» женщин, которым посчастливилось выйти замуж за преуспевающего бизнесмена или промышленника, очень нравится в доверительной беседе нет-нет да и вернуть в свою речь словечко, заимствованное из жаргона проституток, например, такие восхитительные выражения: «А мой фрайер заколачивает вовсю». Такие вещи очень нравятся любителям сладкой жизни.

В очерках Вальрафа нет ничего, что удовлетворяло бы таким вкусам, в них нет ни следа пикантности, ни тени «шика». Они ни в коем случае не рассчитаны на то, чтобы поставлять скучающим прожигателям жизни экзотические словечки и обороты. Репортажи Вальрафа вовсе не написаны «лихо» или элегантно, они с трудом «перевариваются». При ближайшем рассмотрении в них можно обнаружить крупницы неподдельного юмора (правда, самого мрачного, самого горького), — не успев произнести слово «юмор», я тотчас же спешу взять его обратно, поскольку оно может быть превратно истолковано, допуская всякого рода увертки. Интересно, кто захотел бы оказаться в ситуации, которую неоднократно описывал Вальраф, кто пожелал бы очутиться в полной зависимости от капризов и прихотей баронессы фон Карловиц, в беспрекословном подчинении у военного священника, требующего подать ему (ха-ха-ха!) вместо чашки кофе порцию «негритянского

пота», кому понравилось бы слоняться по Берлину с рекламными щитами на спине и груди, где написано: «Студент, исключенный за участие в демонстрациях, ищет жилье и любую работу». Да, весьма небезопасная для жизни игра.

Не исключено, что кое-кто за границей склонен думать, будто западногерманские студенты и интеллигенция раздувают опасность, связанную с феноменом Акселя Шпрингера. При этом легко забывают о том, что излюбленным полем деятельности г-на Шпрингера является Берлин; что его газеты, расходящиеся по Западной Германии наряду с множеством других изданий, в Берлине оказывают решающее влияние на формирование общественного мнения и почти безраздельно господствуют на газетном рынке. Подвергнутое направленной демагогической обработке население Берлина, с которым Гюнтер Вальраф, скрывающийся под маской «человека-рекламы», вступает в небезопасный для жизни контакт, целиком результат шпрингеровских манипуляций.

Разумеется, не все репортажи Вальрафа типичны только для Федеративной Республики. Проблемы людей, отторгнутых обществом, бездомных, помещенных в лечебницы для алкоголиков, существуют и в других странах. В констатации этого факта мало утешительного. Разумеется, специфически западногерманскими являются репортажи «Убийство именем Божьим», «Вестфальские порядки», «Напалм? — Да, и аминь», «Чистый Берлин».

Я не могу анализировать каждый репортаж в отдельности, они сами говорят за себя и способны произвести на иностранцев самое экзотическое впечатление. Как нечто экзотическое воспринимаю их и я. Примером такого рода экзотики мне представляется репортаж «Убийство именем Божьим». Те грубые, на удивление непристойные приемы, посредством которых служители католической церкви влезают в душу своей пастве, напоминают аналогичную процедуру, которую мне довелось пережить в 1938 году. В утешение мне приходится ограничиться банальным комментарием — ничего не изменилось. Ничего. На этом социальном уровне, среди таких людей склонность к рефлексии, к размышлению воспринимается как подозрение в интеллигентности, а быть интеллигентом — это самый тяжкий грех, в каком только можно подозревать человека. В этом репортаже показано, как используемый в демагогических целях жаргон становится средством отвратительного, полного экстибиционистского сладострастия заигры-

вания с отверженными, способом — надеюсь, неудачным — «снизойти» до них. И того и другого — заигрывания и пренебрежительной снисходительности — избегает Вальраф.

В Федеративной Республике вызывает споры прежде всего сам метод сбора информации, используемый Вальрафом, его проникновение в определенного рода ситуации и положения под каким-либо предлогом или под чужим именем. Если тщательно вчитаться в его репортажи, рассмотреть их по существу, то становится ясно, что в них, во всех без исключения, вскрываются тайные пружины механизма власти, той власти, которая одни формы журналистского расследования считает вполне джентльменскими, а другие — в том числе и метод Вальрафа — неприемлемыми. Не только пресса, падкая на сенсации, но и серьезные издания, в том числе и те, которые пользуются репутацией «остро критических», придерживаются определенных правил игры. Но не Вальраф. Он не *наблюдает* факты, даже если и приглашает высказаться противную сторону. Он погружается в ситуацию и освещает ее с позиций человека, занимающего в обществе подчиненное положение. Он всегда действителен. Особый шум, конечно же, вызвали его методы сбора информации, когда он писал очерк о напалмовых бомбах. Его упрекнули в том, что он нарушил тайну исповеди. Но это не выдерживает никакой критики даже с чисто теологической точки зрения — ведь тайну исповеди может нарушить лишь тот, кто исповедует, а уж никак не тот, кто исповедуется, пусть даже и притворно. Премилую роль во всем этом сыграло КИА (Католическое информационное агентство), цитировавшее высказывания Вальрафа о Вальрафе, который в свою очередь привел отзыв врачей бундесвера о самом себе — они уволили его как «человека с отклонениями от нормы, негодного к военной службе ни в военное, ни в мирное время». Разумеется, все это — совершенно законные приемы, принятые на вооружение современными журналистами, в том числе и тонко рассчитанный ход — донос на самого себя, который нельзя даже опровергнуть, так как приведенное высказывание соответствует истине.

Я нахожу лишь один недостаток в методе Вальрафа — им нельзя пользоваться достаточно долго, поскольку его автор приобрел слишком широкую известность. Напрашивается единственный выход — нам нужен не один, а много — пять, шесть, десятков Вальрафов!

А тем временем даже один западногерманский суд одобрил — не мог не одобрить — его метод, отклонив выдвинутое против Вальрафа обвинение в незаконном присвоении полномочий должностного лица.

1971

ДОСТОЕВСКИЙ — СЕГОДНЯ?

Ответы на анкету от 12 ноября 1971 г.

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ МАНЕСОМ ШПЕРБЕРОМ

I

1. Когда вы впервые услышали о Достоевском? Когда впервые взяли в руки его книгу? Какую?

2. Могли бы вы припомнить, что произвело на вас самое сильное впечатление при первом знакомстве с ней? И что в этом же произведении привлекает ваше внимание сегодня — в литературном отношении или по какой-либо иной причине? Что вам больше всего запомнилось оттуда?

3. Когда вы впервые читали эту книгу, вам наверняка уже были известны и другие произведения, в особенности немецких авторов. Возникло ли у вас впечатление, что между Достоевским и другими писателями существует какое-то сходство, по содержанию или по форме? Или он показался вам единственным в своем роде?

4. Испытывали ли вы в начале вашей писательской деятельности какое-либо влияние Достоевского, которое проявилось бы в выборе темы, формы повествования, каких-то особых чертах в изображении главных или второстепенных персонажей?

5. Прошло много лет с тех пор, как вы впервые прочли Достоевского. Не исключено, что вы знакомы со всеми его произведениями. Какие-то из его книг навсегда остались с вами — какие? И почему именно они?

6. Некоторые литературные критики и эссеисты утверждают, что Толстой и Достоевский представляют собой два типа мироощущения, в основе своей различных, если вообще не противоположных. В таком случае — кто из них вам ближе? И почему?

II

1. В вашем творчестве нашло свое отражение наше время со всеми его трудностями и опасными противоречиями, с его желанием веры, его сомнениями и его агрессив-

ным безверием. Относите ли вы Достоевского к тем писателям, которые глубоко затронули фундаментальные проблемы человечества — современные и, может быть, будущие? Или вы считаете, что его чувства и оценки слишком тесно связаны с его временем, народом и страной?

2. Если вы полагаете, что Достоевский затронул существенные вопросы человеческого бытия, то не смогли бы вы — размышляя о своеобразии его творений — прийти к выводу, что он писатель вне времени именно потому, что связан со временем, и принадлежит всему человечеству потому, что так и не смог отрешиться от всего русского, не перестал быть русским человеком?

3. Из всего того, что Достоевский как писатель отстаивал, и того, против чего он — порой с ненавистью — выступал, что представляется вам сегодня столь же актуальным, как и при его жизни?

4. Могли бы вы назвать Достоевского политическим писателем? Почему? Из-за романа вроде «Бесов»? Из-за его политического прошлого? Из-за позиции, занятой им в «Дневнике писателя»?

5. Достоевский был непримиримейшим противником революционеров, атеизма, западной цивилизации. На него нападали со всех сторон как на реакционера и царского холопа. Как расцениваете вы его политическую миссию сегодня?

6. Враждебное отношение Достоевского к Западу нашло свое выражение, наряду с прочим, и в его путевых заметках. То, что он написал о Флоренции, Париже и Лондоне, не поднимается над уровнем обывательского восприятия. Кроме того, он испытывал отвращение к католикам, полякам, французам, евреям и т. д. Полагаете ли вы, что при оценке Достоевского необходимо учитывать эту своеобразную ограниченность его взглядов? Или о ней можно позабыть?

III

1. Некоторые полагают, что Достоевский прежде всего и по преимуществу был религиозным писателем. Как бы вы определили его особую религиозность? Что она означает для вас? В какой мере Достоевский имеет отношение к теологам, заявляющим сегодня во всеуслышание, что «Бог умер»?

2. Может быть, то особое религиозное чувство, которым был исполнен Достоевский, и заставляло его уступать склонности, если не сказать — влечению, измышлять крайние, экстремальные ситуации, из которых его герои пытались вырваться с помощью крайних, экстремальных поступков. Трудно найти у него произведение, в котором

бы глубочайшая ненависть, непреоборимая любовная страсть, насилие, преступление и убийство не определяли бы развитие действия. Как вы объясните этот экстремизм? Как воспринимаете его с точки зрения читателя? И что он значит для вас как для писателя?

3. У Достоевского преступление гнездится повсюду, но повсюду неотвратимо, и это зачастую определяет дальнейшую судьбу главных героев. Тем самым грех и раскаяние — основополагающие мотивы этого писателя. Это можно объяснять психологически-биографическими причинами или рассматривать как конкретизацию фундаментальных религиозных идей. Что, по-вашему, имеет здесь решающее значение?

4. Достоевский думал, что символом, отличительным признаком его времени является безбожие, что его победа неминуемо приведет к несчастью, поразительно напоминающему то тоталитарное уничтожение и безграничное унижение, которому подвергается человек в наше время. Думаете ли и вы, что безбожие было — и осталось — главным вопросом?

5. Как нам известно, у Достоевского был замысел романа — к которому он то и дело приступал и который так и не сумел осуществить, — великого романа о раскаявшемся грешнике, который становится мудрецом и святым. Старец Зосима — такой святой, грешник Ставрогин должен был стать им. Кто знает, проживи Достоевский дольше, может быть, он и достиг бы этой цели. Считаете ли вы, что такого рода тема в наши дни вообще могла бы найти себе «применение» в литературе? Что святой мог бы быть воплощен в образе литературного героя? Что, скажем, сегодняшнего революционера можно, при определенных условиях, отождествить с одним из святых Достоевского?

6. Затрагивали ли вы в своих собственных произведениях когда-нибудь проблему преступления и наказания? Испытывали ли вы при этом прямое или косвенное влияние Достоевского?

IV

1. Некоторые считают, что Достоевский был великолепным психологом, который с глубочайшей психологической проницательностью создавал образы своих героев со всем кругом волновавших их проблем. Вы того же мнения? Если да, то в какой степени роман нашего времени является психологическим именно *в этом смысле*? Или он,

наоборот, анти- или апсихологичен, поскольку зачастую отражает лишь отдельные стороны или даже фрагменты в жизни действующих лиц? И поэтому Достоевскому, может быть, место на складе анахронизмов?

2. Другие считают, что герои романов Достоевского никоим образом не должны восприниматься в психологическом плане, что их следует рассматривать с точки зрения мифологии. Выражаясь более понятным языком, главные герои не являются ни типами, ни личностями определенного индивидуально-психологического склада, они — экстремальные конкретизации «имаго», подсознательных представлений; это не индивидуумы, а люди, отражающиеся в разбитом зеркале, осколки которого еще не вывалились из рамы. Если это верно, согласны ли вы с мнением, что Достоевский одним из первых создал тип героев, присущих философскому, то есть эссенциальному или экзистенциальному, роману и не имеющих ничего общего с реалистическим или натуралистическим романом?

3. В философском романе страсть героя обычно соотносится не с предметом любви, не с властью, не с деньгами, а с идеей. Можно ли называть романы Достоевского в этом смысле философскими? Не противоречит ли этому то, что деньги и корысть играют во многих его произведениях такую большую роль? Вспомнить хотя бы «Игрока» и «Подростка». Хотя в обоих случаях жажда наживы в высшей степени проблематична, все же почти в каждой его книге имеется персонаж, одержимый жаждой денег. Раскольников убивает не из жажды наживы, а стремясь избавиться от унижений, связанных с бедностью, и найти путь к свободе. Смердяков убивает, чтобы избавиться от унижений; другие мечтают сделать это. Так верно ли утверждение об идее-страсти?

4. Что представлял бы собой роман в духе Достоевского, будь он написан сегодня, на закате нашего столетия? Например, вами?

5. Кто из героев Достоевского стал для вас настолько близким, родным, что вы могли бы представить его, соответствующим образом преобразив, в одном из своих романов в виде современника?

6. Раскольников, Мышкин, Долгорукий, Ставрогин, Иван и Алеша Карамазовы — какими были бы они сегодня, кем? Этот нелепый вопрос подразумевает высказывание, согласно которому каждый из них существует и сегодня, живет среди нас, — и в жизни, и в литературе, — полностью изменив, однако, свое обличье. О ком из них это можно сказать?

I

Думаю, это произошло году в 1934—35-м. В эти годы по инициативе Католического союза выпускников высшей школы в Кёльне был организован курс лекций, читавшихся очень часто, чуть ли не каждый день, куда школьники и студенты допускались за очень небольшую плату. Скорее всего, я услышал фамилию Достоевский на лекциях о Соловьеве и Бердяеве. Может быть, я услышал это имя впервые от Райнхольда фон Вальтера, специалиста по русскому языку и литературе и переводчика, жившего тогда в Кёльне. В вышеупомянутом курсе было прочитано несколько лекций и о православной литургии. Читал их католический священник по имени Тычак. Кроме того, в эти годы шел фильм «Братья Карамазовы», сам я его не видел, но о нем мне рассказывал мой старший брат. Анна Стэн играла в этом фильме Грушеньку. Точно сказать, от кого я впервые услышал в те годы о Достоевском, я не могу. Его первую книгу я купил в 1935 году у букиниста за бесценок. Это было «Преступление и наказание».

2

Сам Раскольников произвел на меня *не* самое сильное впечатление: я воспринял его как некую идею, получившую весьма абстрактное воплощение, как некую конструкцию, необходимую для того, чтобы служить фоном всем остальным персонажам — да и его поступок, убийство, показался мне неправдоподобным, нереальным, хотя он и был задуман и осуществлен по всем правилам преступного искусства и смог какое-то время оставаться нераскрытым. Все прочее в «Преступлении и наказании», напротив, показалось мне в высшей степени реальным и правдоподобным; может быть, это произошло потому, что было с чем сравнивать: так, со средой, в которой жила семья Мармеладовых, я немногим позже встретился у Диккенса, в жизни семьи Микоберов — та же пришедшая или приходящая в упадок мелкая буржуазия, с присущей ей специфической истеричностью, играющей роль самозащиты. Наибольшее впечатление произвели на меня Соня, Свидригайлов, Разумихин, сестра Раскольниковы, следовательно и тот безымянный мещанин, который то и дело

заговаривает с Раскольниковым на улице. Я должен добавить, что с тех пор я, разумеется, не раз перечитывал «Преступление и наказание», и на мое первое впечатление наслоились другие, более поздние.

3

К тому времени я прочел не очень много других писателей, в том числе и немецких. Я читал Вильгельма Раабе, Теодора Шторма, кое-что из Гете. Все это показалось мне довольно бледным по сравнению с Достоевским. Первыми немецкими писателями, которых я ощутил писателями одного с ним уровня — это случилось одним-двумя годами позже,— были Клейст и Гёльдерлин. Я знал также сказки братьев Гримм, в которых порой встречается что-то демоническое, бесовское. Когда я читал Достоевского в первый раз, он показался мне единственным в своем роде, неповторимым. По каталогу дешевых изданий, почти за бесценок, я приобрел полное собрание его сочинений, своего рода пиратское издание, без года и места издания, без имени переводчика, очень плохо напечатанное: это было как раз в то время, когда мы в школе на уроках немецкого проходили главное в списке обязательной литературы произведение — «Мою борьбу»,— сопровождавшееся, впрочем, весьма ироническими комментариями нашего учителя языка и литературы.

4

Немного позже, в 1937—1938 годах, я сам начал писать. Материал своих первых рассказов я черпал из знакомой мне среды мелкой буржуазии, все более приходящей в упадок, в качестве защитной реакции использовавшей иронию, истерию и богемное отношение к жизни. У моего отца была тогда мастерская скульптурных и столярных работ, располагавшаяся в классическом доходном доме XIX века с флигелем на заднем дворе — это был дом, в котором вполне могли жить Раскольников и Мармеладовы — мрачный, запущенный. Вне всякого сомнения, в своих первых писательских опытах я находился под влиянием Достоевского — но существовало и еще одно, совершенно противоположное влияние. В те годы мы почти одновременно открыли для себя Честертона,— его эlegantное, с католическим привкусом остроумие было чем-то совсем новым, необычным для нас, познакомились с Бернаносом, Блуа и Мориаком. Среди посвященных особым доверием

в то время пользовался «тайный посланник» современной немецкой литературы — роман Эрнста Юнгера «На мраморных утесах». Вокруг всех этих писателей велись бурные дискуссии не только у нас дома, но и в рабочем кабинете изгнанного из Кёльна пастора д-ра Роберта Гроше, одного из первооткрывателей и переводчиков Клоделя.

При этом нельзя забывать об историческом фоне — мы выросли, нам исполнилось восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет, и одно было нам совершенно ясно: война будет и мы примем в ней участие. По улицам маршировали штурмовики. Многие авторы отошли в тень, остались Достоевский, Бернанос и Блуа.

5

«Бесы» и «Идиот». «Бесы» не только потому, что сцена убийства Шатова навсегда врезалась в мою память с 1938 года, с того момента, когда я впервые прочел «Бесы» — но и потому, что теперь, через тридцать с лишним лет, эта сцена стала классической и в то же время пророческой моделью слепого, абстрактного фанатизма различных политических групп и течений. Это совершенно точное предсказание того явления, которое впоследствии назвали сталинизмом. «Идиот» — из-за обоих «конкурентов», Мышкина и Рогожина, а также Катерины Ивановны, предмета этой «конкуренции». Эти три образа ясно дают понять, что антиподом здоровья является не болезнь, а страдание. Я прочел «Идиота» в то время, когда в Германии во всех возможных вариантах пропагандировалась идеология здоровья. «Здоровый человек», человек, который не страдает, представлялся мне с тех пор ужаснейшим чудовищем — таким же как «здоровое народное чувство» и «здоровое искусство».

6

Разумеется, как прототипы, в основе своей они различны и противоположны, и все же оба они вне всякого сомнения — русские, они писали по-русски, выражали русскую натуру. Я считаю, что они дополняют один другого: Достоевский был тем, чем Толстой всю жизнь хотел стать — человеком, связанным с народом — с народом в русском понимании этого слова; Достоевский происходил из народа, жил с ним, народ был его «материалом» в самом широком, единственно возможном смысле. Толстой искал народ, который для Достоевского был непреложной

реальностью. Поскольку я не стою перед *необходимостью* выбирать между ними — ведь оба они существуют, — я затрудняюсь представить себе, кого бы я выбрал, если бы мне пришлось осуществить этот гипотетический выбор. Пожалуй, сегодня я выбрал бы Достоевского — в другое время, может быть, Толстого. Мне кажется, у каждого человека есть свое — постоянно меняющееся — время Достоевского и время Толстого.

II

1 и 2

Именно по той причине, что он тесно связан со временем, народом и страной, Достоевский — писатель вневременной, то есть всегда современный. Может быть, эта современность приобретает особенную отчетливость в переживаемый нами исторический момент потому, что Достоевский одним из первых или первым среди писателей включил *«большой город»* и его обитателей, его пролетариат, мелкую буржуазию и чиновничество в круг тем, заслуживающих внимания литературы. Его «бедные люди», его «униженные и оскорбленные», такие разные по своим национальным и социальным особенностям, населяют большие города наших дней, а ведь не составляет особой тайны то обстоятельство, что именно в наших городах-сверхгигантах будет решаться судьба человечества. Для Диккенса большой город, несмотря на все нарисованные им картины нищеты, все-таки исполнен романтического обаяния — Достоевский первый изобразил враждебность и отчуждение, которым встречают человека большие города, может быть, именно потому так убедительно изобразил, что не исповедовал никакой идеологии, связанной с сельской жизнью, землей и природой. Бедность, трущобы, ростовничество, асоциальность в их крайнем выражении — все это проблемы большого города, да и проблема социальных меньшинств, ютящихся в доходных домах, в трущобах, стоит куда острее, чем в сельской местности. То, что в пятидесятых — шестидесятых годах прошлого века выглядело ошеломляюще новым, почти сенсационным — *«большой город в современном романе»*, — в наши дни стало в высшей степени актуальным.

5

Многие политические высказывания Достоевского я считаю обусловленными чисто психологически и не придаю им абсолютного значения. Его нападки на атеизм и

революцию порождены, быть может, его страхом перед самим собой. Представьте себе его творчество в целом, со всеми образами, проблемами, ситуациями — этот внутренний космос, видимо, пугал его и пробуждал в нем тоску по вере и порядку, по всему тому, чего он никогда не находил в самом себе. Поэтому многое могло быть реакцией на хаос в нем самом, на тот хаос, который он хотя и стремился упорядочить в своих романах, прибрать, так сказать, к рукам, но который его наверняка страшил и обступал со всех сторон, когда в творчестве наступал перерыв. Чтобы иметь возможность оценить отношение Достоевского к царской власти, мне бы следовало знать то, чего я знать не могу: как бы он отнесся к такому царю, как Николай II, фигуре в русской истории совершенно невероятной, абсурдной и печальной. Его антизападничество, как мне представляется, тесно связано с его антиатеизмом. Он, видимо, предчувствовал, что с Запада придет великое безбожие, прячущееся за «христианскими» правительствами, церквями, за христианским индустриальным обществом, даже за христианскими партиями — безбожие, лишенное той силы, которой обладала Соня Мармеладова, — смирения, о котором Достоевский говорит, что оно «наиужаснейшая сила, какая только есть на земле». Если подходить упрощенно к понятию «Западная Европа», причем Германию можно считать относящейся как к западной, так и к восточной части континента, то его можно (глядя на него с европейского Востока) рассматривать как «христианский мир» в чистом виде, который никогда не смирялся, а всегда лишь смирял и подавлял.

Я рассматриваю политическую позицию Достоевского — из-за которой его называли реакционером или слугой царя — как порождение страха перед самим собой. Он обладал колоссальной, безукоризненно четкой и отточенной преступной фантазией и разрушительной силой — в конце концов, всех своих героев он вывел из недр своей души. Видимо, он был очень одинок, страшно одинок, один на один со всеми этими людьми — вот откуда его страсть к порядку.

6

Я не считаю его путевые заметки проявлением обывательского мышления. Ведь он не любил и не понимал и российских, отечественных достопримечательностей. О таком прекрасном и полном достопримечательностей городе, как Санкт-Петербург, в котором он долго жил и где происходит действие многих его романов и рассказов, он

не написал почти ни одного доброго слова, не описал ни разу какую-либо из его достопримечательностей, он всегда лишь называл и перечислял их, не удостаивая описания и уж тем более похвалы. В самом дешевом, самом плохоньком путеводителе по Петербургу о достопримечательностях говорится с большим почтением, чем у Достоевского. Удивительно во всем этом то, что он получил образование инженера и ему наверняка приходилось делать чертежи зданий и изучать архитектуру. И, несмотря на это, он ни словом не отозвался об архитектуре Санкт-Петербурга. Столь же мало привлекали его и достопримечательности общества — генералы, высокопоставленные чиновники у него всегда нарисованы карикатурно, в виде шаржа, и, как правило, злого шаржа — и если автор к ним порой и снисходителен, то лишь в тех случаях, когда они окончательно опустились, пришли в полный упадок. Да и в архитектуре его интересовало лишь то, что обветшало, пришло в упадок. Достопримечательности Западной Европы он воспринимал как нечто заносчивое, высокомерное, они порой вызывали в нем личную обиду, словно были построены для того, чтобы внушить ему чувство неполноценности. Единственное произведение искусства, о котором он отзывался с глубоким уважением, даже благоговением, ради которого он так долго прожил в Дрездене, была «Сикстинская Мадонна» — произведение, написанное в полном соответствии с канонами рационального искусства, как это ни парадоксально. Для себя я объясняю его неприятие западной архитектуры, его невнимательность ко всем этим достопримечательностям — которые были ему, в силу его образования, наверняка известны — его отчужденностью, его затравленностью, ведь в конце концов он постоянно от кого-то бежал, чувствовал себя постоянно униженным всеми — от ничтожнейшей хозяйки меблированной комнаты до гостиничного портье. Его от случая к случаю выказываемое неприятие по отношению к католикам, полякам, французам, евреям и немцам, а может быть, и к англичанам я объясняю самому себе страхом перед унижениями, — видимо, он ощущал превосходство всех этих народов, — и в те моменты, когда он переставал писать, он, возможно, становился совершенно беззащитным. Уязвленным, уязвимым, да и больным, как известно. Я расцениваю все это не как обывательскую ограниченность, но и не склонен считать чем-то малозначительным, о чем стоит забыть. Он сам окружал себя барьерами — ограничивал себя, ограждал, не давал всему этому проникнуть внутрь себя.

Никто не вправе сомневаться в личной приверженности Достоевского идее христианства, и все же как писателя его можно упрекать и в чрезмерной религиозности, и в полном ее отсутствии. В его романах есть все — от глубочайшей веры до тотального нигилизма. И то и другое он изображает *убедительно* — например, в образах Ивана Карамазова и Сони Мармеладовой и во множестве других вариантов. Как христианин и писатель он никогда не старался найти себе убежище в кругу предустановленного, предначертанного порядка, нет, он превращал и самого себя, и своих героев в жертву — страха, абсурда, отчуждения — не в географическом, а в метафизическом смысле, в том смысле, в каком и Сын Человеческий оставался чужим для этого мира: «мир его не принял» — эти слова можно отнести и к «Чужому» Камю, и к Кафке. Многочисленные персонажи Достоевского — «чужие» или, по меньшей мере, «странные», «не от мира сего» — как самый что ни на есть земной Митя Карамазов, невинно осужденный. До той поры, пока люди воспринимаются обществом как «чужие», «странные» или отчужденные (в том числе и в марксистском смысле этого слова), Сын Человеческий не станет человеком или, говоря языком теологов, не воскреснет или не воскреснет вновь — то есть пребудет «мертвым». Теологи, провозглашающие в наши дни «Бог умер», в большинстве своем лишь констатируют тот факт, что Бог — ставший человеком Бог — остался «чужим». Достоевского такое заявление — поскольку эта идея родилась на Западе Европы, тогда как в ее восточной части Бог вновь обретает жизнь — не поразило бы, ведь для него «западный Бог» уже тогда был мертв. Странность, отчужденность князя Мышкина, равно как и Рогожина, внешне столь грубого и неотесанного, но в действительности страшно чувствительного и ранимого, отчужденность Катерины по отношению к ним обоим и к самой себе — да ведь это самая настоящая религиозная литература, какую только можно себе представить! Это разрушение иконологии, канонического образа «святого мира» и «святого». За всеми этими многочисленными изображениями отчужденности человека от мира скрывается тоска по братству, по избавлению. Развитие всех разновидностей социализма и коммунизма, думается, доказало, что эта тоска невозможна без Бога, без близкого всем людям, ставшего человеком Сына Человеческого. То, что в Советском Союзе Бог, похоже, «возвращается» — не случайность и не мода, после всех преступлений и ошибок догматизированного социализма это будет очеловеченный Бог, а

не Бог церкви и власти. Может быть, теперь для Советского Союза после долгого времени Толстого наступит время Достоевского — разумеется, независимо от властей предрержащих.

Это предполагаемое «время Достоевского» будет, возможно, столь же склонно к крайностям, как и он сам, только в обратном смысле — оно будет ненасильственным, неполитическим, свободным от ненависти, убийств — временем «страстей Господних», целиком и полностью возложенных на людей. Это время вряд ли сможет понять идею «смерти Бога», исповедуемую теологами Западной Европы, поскольку ему не достанет ни понимания общей взаимосвязи событий, ни осознания того факта, что здешнюю теологию, провозглашающую «Бог умер!», нужно оценивать исторически, как результат особого, крайне христианского, крайне капиталистического и крайне безбожного развития Западной Европы. Это новое русское время страстей Господних с куда большей вероятностью найдет себе единомышленников в Соединенных Штатах. Оно связано с неисчислимым количеством невероятных страданий или, может быть, даже порождено ими — я называю эту эпоху временем Достоевского потому, что для него реальными были только страдания, потому, что он предвидел страдания. Дальнейшее развитие идей Достоевского, да и всего его творчества имело бы своим следствием лишь одну крайность — беспредельную человечность как средство преодоления отчуждения, преодоления господства одного человека над другим. Ведь безбожие, столь долго пропагандировавшееся в Советском Союзе, явилось следствием господства православной церкви со всей ее церковностью, всем церковным укладом, господства «носителей Божественной идеи», «представителей Бога», «провозвестников Бога», для которых преступление и наказание являлись принципами удержания своего господства, наподобие принципа «*divide et impera*»¹. (Почти полное отмирание исповедальной практики в римско-католической церкви показывает, что и там этот принцип сохранения господства больше не действует.)

Да, символом (шиболетом) и Запада, и Востока можно было бы считать «безбожие», но не то безбожие, которого страшился Достоевский, а, пожалуй, то, которое кроется в его творчестве — и наиболее ярко изображено в легенде о Великом инквизиторе; люди не могут не стать «безбожниками», если они ощущают атеизм «христианской» власти, никогда не «опускающейся» до смирения, а лишь смиряющей и унижающей. Видимо, многие люди — и

¹ Разделяй и властвуй (*лат.*).

настоящие атеисты, и атеисты в кавычках — почувствовали в папе Иоанне смирение, ту могущественнейшую силу, какая только есть на земле, и почувствовали даже через третьи-четвертые руки — через телевидение, газетные фотографии и т. п. Может быть, он был первым папой «безбожников», который не хотел больше терпеть ничьих унижений — ни иудеев, ни протестантов, ни безбожников.

5

Я считаю, что Достоевскому — признавал, сознавал он это сам или нет — удалось воплотить замысел великого «романа о святом», и не где-нибудь, а в «Идиоте». Мышкин — самый смиренный из всех героев Достоевского, обладающий в то же время тончайшей чувствительностью и глубочайшей пронизательностью; он не «разумен», он именно пронизателен. Эпилепсия, которой страдал и сам Достоевский, наделяет Мышкина даром проникновения в первопричины преступления, сострадания, греха, вины, в том числе и в столь неосязаемую материю, как невинность души. Образ Мышкина — это самая смелая попытка воплотить в литературе Сына Человеческого в облике страдающего человека. Мышкин всецело обладает чувством реальности, и тем не менее он чужд этому миру. Однако и абсолютно чужим ему Мышкина не назовешь: он беден и богат, его любят и над ним насмеваются, мучают, угрожают, не понимают.

Что касается «святых» и «грешников», то я считаю эти типы вполне «пригодными» для литературы. Правда, не мешало бы как следует обсудить содержание этих понятий, их иконологический подтекст. Вся наша культура, мне кажется, в значительной степени развивалась под влиянием иконографических и иконологических представлений. Ведь герой — это всего лишь синоним святого; наши традиционные иконография и иконология имеют своим источником мифы и легенды, христианские Жития святых были не более чем вариациями различных мифов; второе открытие античности и язычества — с точки зрения истории искусств и литературы — было всего лишь возвращением к старому иконопочитанию. Мне думается, что первым художником, разрушившим каноны в живописи, был Винсент Ван Гог; может быть, Достоевский двигался в том же направлении. «Отрицательный герой» современной литературы тем временем снова стал героем, ибо он живет отрицательными ценностями и чувствует себя при этом великолепно. Герои и святые Достоевского — за исключением Мышкина — все еще слишком идеальны. Ре-

альный «герой», плоть от плоти материальной действительности — Сын Человеческий всегда вещественно конкретен — еще не найден; он не должен быть ни иконологичен, ни антиконологичен, ему бы следовало быть естественным — такого рода герои и святые, обретшие материальную непреложность реальности, встречаются уже у Дж. Д. Сэлинджера — в данный момент никого другого мне не удастся припомнить. Если не ограничивать значения слова «материальный» только наличием или отсутствием душевных качеств, то герои и святые вновь займут достойное место в литературе.

IV

1—3

Мне кажется, слово «психологический» — поскольку психология как целое получила полное развитие лишь после появления произведений Достоевского — вызывает слишком много научных ассоциаций, которые неизбежно приведут к недоразумениям. Мне представляется, что в классическом раздвоении тела и души тоже кроется принцип «divide et impera» — так же, как в классическом разделении «формы и содержания», практикующемся нашей эстетикой. Христианская традиция Западной Европы — во всех ее конфессиональных вариациях — с помощью жестокой муштры приучила людей к мысли о «спасении души», к заботе о ее «чистоте», о постоянном «очищении» и т. д.; эта традиция, проникнутая педантизмом, превращала в муку все разговоры о душе — в конце концов уже весь массивный поток рекламы моющих и стиральных средств всех видов, рекламы, которая — во всяком случае, в наших краях — неустанно апеллирует к «совести», представляется мне конечным пунктом, к которому нас привела традиция очищения души. Я слишком мало знаю о традициях православной церкви, чтобы утверждать, что и там «чистая душа» значила столь же много. В рекламе моющих средств — этом конечном пункте, к которому мы пришли, в рекламе вообще я вижу проявление коррумпированности нашей психологии, которая подвергается — или проявляет (помимо своей воли) готовность подвергнуться — самому безжалостному обращению. Вполне вероятно, что циники от фармакологии захотели бы прописать крайне экзальтированной и истеричной Мармеладовой или Катерине Ивановне сильное успокаивающее средство или сеанс психоанализа. Именно такой анализ и проводит писатель Достоевский, так как он знает души

созданных им лиц и образов, равно как и их телесную оболочку. По моему мнению, писатель всегда присутствует во всех своих героях, представляющих собой некую сумму его духовных и физических свойств, сумму, которую нельзя ни сложить, ни разделить, ибо никто — в том числе и сам автор — не знает ни коэффициентов сложения, ни значения цифр в числе. Герои Достоевского — это его космос, в котором ему известно все — в том числе и души людей. Поэтому я не считаю 1-й и 2-й вопросы взаимоисключающими, поскольку не вижу противоречия между «психологией» и «мифологией».

Я вижу взаимосвязь между не поддающейся какой-либо классификации религиозностью Достоевского, его «психологией» и «мифологией». Конечно, он предвосхитил экзистенциализм и литературу абсурда, все одиночество человека, все большие и малые страсти людские, среди которых и такая — столь же рациональная, сколь и иррациональная «нематериальная» материя, как деньги. Деньги в той же мере абстрактны, в какой и конкретны, они грязны, чисты и божественны. Они ничто, если на них ничего нельзя приобрести, и они все, что на них можно приобрести. До сих пор имеющие хождение взгляды на деньги слишком буржуазны: о деньгах не говорят, но их имеют и зарабатывают по возможности побольше — их презирают за их грязь и молятся на них. Я нахожу у Достоевского новый, поистине пролетарский взгляд на деньги. Они играют у него почти такую же роль, как *Моби Дик*, белый кит, у Мелвилла: Достоевский и почти все его герои постоянно охотятся за деньгами и никогда не становятся их обладателями. Экономисты убеждены, выдвигая эту мысль в качестве предпосылки всех своих прогнозов, что деньги — это нечто исчислимое. На свете мало вещей — собственно говоря, их и вовсе нет, — которые были бы *только* рациональны. Заблуждение классического безбожника XIX столетия и безбожного капитализма состоит в том, что они превратили деньги в нечто нереальное, скрываемое на банковских счетах, а не пресуществленное в «хлеб и вино». У Достоевского, пожалуй, нет ни одного письма, ни одной записи в дневнике, где не говорилось бы о деньгах — как нет у него и ни одного героя, который не имел бы отношения к деньгам, в большинстве своем это или страшно бедные, или страшно богатые люди; и это не случайно. Мне думается, что Достоевский, говоривший о себе, что он писатель-пролетарий, на самом деле силой своей фантазии предугадал появление пролетариата денег; деньги являются неотъемлемой частью его религиозного мироощущения. Мне кажется, «корыстолюбие» здесь не самое подходящее слово; скорее — и на удив-

ление точно — подошло бы то, что писал о деньгах молодой Маркс — и еще один, совершенно неожиданный в этом контексте автор — Леон Блуа, пытавшийся проникнуть в метафизику пролетарского отношения к деньгам и к безбожникам, которые управляют этими деньгами и придают им абстрактный характер. В конце концов, в деньгах тоже скрывается принцип «divide et impera», отделение содержания от формы, буржуазный эстетизм, способствовавший развитию худших форм унижения, проникший даже в конфликты и недоразумения наших дней, связанные с забастовочным движением. До сих пор считается мещанским, вульгарным говорить о деньгах — тем более публично. Достоевский говорит о деньгах открыто и откровенно, — мне думается, это было для него неотъемлемым качеством полноценной человеческой личности. Поэтому я рассматриваю страсть к деньгам многих его героев — и его собственную, личную — не как идею, не как философское понятие. Я вполне допускаю, что может существовать философия денег, мне неизвестная. Но чего еще не существует, так это теологии денег, может быть, потому, что существовавшая до сих пор теология была «теологией господ», а господам нет нужды говорить о деньгах, даже если у них и нет ни гроша. Они могут себе позволить роскошь быть бедными и сохранять чистоту души. Отношение к чистоте и к чистоплотности, то, как оно проявляется в литургическом обряде омовения рук, является классическим выражением разобщенности, несолидарности — ибо ведь всем людям суждено «запачкаться» о деньги, за исключением тех, кто умывает свои руки в знак невинности.

4

Этот роман мог бы быть написан только в России, только в Советском Союзе, человеком, пережившим не тайное, а явное, открытое безбожие, который мог бы ощутить сострадание к этим безбожникам и не осуждать их. Это должен быть роман, в котором никого не унижают, то есть роман, свободный и от сатиры, иронии или ненависти.

5

Их несколько. Мышкин из «Идиота», Рогожин, разумеется, Шатов и Кириллов из «Бесов», Катерина Ивановна; в данный момент мне ближе всех Лизавета, слабоум-

ная сестра убитой Раскольниковым старухи процентщицы, так как порой в разговорах, ведущихся вокруг аборт-ов, вокруг противозачаточных средств, порой — далеко не всегда — я вновь узнаю знакомые рассуждения фашистов об эвтаназии, жертвой которой Лизавета стала бы вне всякого сомнения. Уничтожение или воспрепятствование появлению на свет «малоценной жизни» относится к величайшим унижениям, каким только подвергается человек в наше время.

6

Конечно же, все они существуют на свете и сегодня. Алеша Карамазов сменил свой пол, теперь это юная девушка, живущая на московской окраине, страдающая своему погрязшему в мещанстве окружению и в то же время солидаризирующаяся с ним; у нее темные, блестящие глаза, которые могут показаться фанатичными, но если повнимательнее приглядеться, обнаружишь, что этот человек не лишен остроумия и даже юмора; она бывшая учительница, уволенная с работы за то, что не только чересчур открыто демонстрировала свою религиозность, но и пыталась внушить это чувство другим. Она много читает — Флоренского, Библию; несмотря на свое мещанское окружение, она не чувствует себя одинокой, у нее есть друзья. Я не знаю, что с ней станет; она перебивается репетиторством и небольшими переводами, она вовсе не презирает деньги и при этом отнюдь не материалистка, впрочем, и идеалисткой ее не назовешь. Я нисколько не боюсь за нее, ведь ей самой за себя не страшно. Не исключено, что человек, время от времени тайком посещающий ее, не кто иной, как Ставрогин, этаким современным Никодим, наносящий тайные визиты. Ставрогин занимает довольно значительную должность на философском факультете, он кандидат наук, очень неплохо зарабатывает, но слишком застенчив, чтобы порой принести молодой девушке что-нибудь — чай, шоколад, цветы, может быть, сигареты. Он считает ее идеалисткой, он умен, порой в смехе его слышится злая ирония — но умен не настолько, чтобы догадаться, что она с удовольствием приняла бы от него что-нибудь в подарок, ведь дела ее идут хуже некуда и лишняя пачка чаю ей никак не помешала бы. В этом для нее нет ничего унижительного. Когда у нее собираются друзья, иногда заходит и Иван Карамазов. Он студент-математик, на войне потерял руку, в конце войны был арестован, так как называл несовместимыми с принципами социализма попиравшие человеческое достоинст-

во методы, которые применялись при оккупации Германии, десять лет просидел в лагере, но после реабилитации не вернулся в институт — у него небольшая пенсия, он очень неприхотлив, неразговорчив и при случае подрабатывает в издательстве музыкальной литературы, рецензируя рукописи; некоторые считают его «стукачом»; на его лице появляется вымученная улыбка, когда кто-нибудь начинает вслух читать Библию.

ЧЕГО ХОЧЕТ УЛЬРИКА МАЙНХОФ — ПОМИЛОВАНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Пока полицейские власти ведут расследование, предполагают, комбинируют, «Бильд» не ждет — он решительно опережает полицию. Он уже все *знает!* Жирный заголовок на первой странице кёльнского издания журнала от 23 декабря 1971 года гласит: «Группа Баадера-Майнхоф продолжает убивать!»

В напечатанной значительно более мелким шрифтом корреспонденции об ограблении банка в Кайзерслаутерне сообщается о четырех налетчиках в масках, среди которых, «как предполагается», находилась женщина; подозревается, читаем далее, «наряду с прочими» и группа Ульрики Майнхоф. Улики: информация, которой располагает полиция о местонахождении группы, «красный» Альфа Ромео, которого использовали при нападении на банк, похищенный за несколько дней до этого в Штутгарте и попавший в поле зрения полиции, выслеживавшей группу Майнхоф; имеется и еще кое-что — «бесчеловечность», с какой было совершено нападение, и профессиональная подготовка операции, проведенной «по всем правилам военного искусства».

Но ведь большинство налетов на банки осуществляется весьма бесчеловечными способами — для этого вовсе не обязательно принадлежать к группе Ульрики Майнхоф. А благодаря тщательной подготовке ограбления, планируемого прямо-таки на уровне специалистов из генерального штаба, в большинстве случаев как раз и удается обойтись без жертв.

Правда, все же приводится высказывание г-на Раубера, начальника криминальной полиции Кайзерслаутерна: «У нас пока нет конкретных данных, указывающих на то, что ограбление совершено бандой Баадера-Майнхоф. Но мы, разумеется, ведем расследование в этом направлении». Это уже звучит несколько иначе — трезво, по-деловому, достаточно убедительно в свете имеющихся улики, в пол-

ном соответствии с законом, если вообще можно считать соответствующим закону тот факт, что служащие полиции за 1373 марки в месяц рискуют жизнью, в том числе и ради охраны банковских сокровищ. Опасная, плохо оплачиваемая профессия.

В манифесте группы Майнхоф, отпечатанном на гектографе впервые после ее ухода в подполье и опубликованном в 26-м выпуске вагенбахской «Красной книги» (в статье Алекса Шнайдера под заголовком «Партизанская война в городе»), по поводу этой проблемы можно прочесть следующее: «14 мая (1970 года при освобождении Баадера в Западном Берлине), так же как и во Франкфурте, когда двое наших дали деру, потому что нам вовсе не улыбалось попасть за решетку, легавые первыми открыли стрельбу. Они всегда в таких случаях ведут прицельный огонь. Что касается нас, то мы очень редко стреляли, но уж если приходилось, то стреляли наугад, не целясь: так было всегда — в Западном Берлине, в Нюрнберге, во Франкфурте-на-Майне. Это легко доказать, потому что это — чистая правда».

«Мы вовсе не применяем огнестрельное оружие «самым безжалостным образом», как это нам приписывают. Легавый, постоянно находясь в противоречии сам с собой,— с одной стороны, он «маленький человек», с другой — наемный слуга капитализма, он и мелкий служащий, живущий жалованьем, и чиновник исполнительной власти монополистического капитала,— отнюдь не является жертвой чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих его открывать огонь. Мы стреляем только в случае; если стреляют в нас. Легавых, которые не трогают нас, мы тоже не трогаем».

Если сравнить оскорбительную кличку «легавые» со словом «банда», подсчитать, сколько преступлений — из всего множества преступлений, инкриминируемых террористам Баадера-Майнхоф,— действительно совершено ими, если наконец сопоставить вышеприведенный отрывок из манифеста с его заключительными строками, дышащими дикой яростью — «Поддержку вооруженной борьбе! За победу в народной войне!», — то группа Майнхоф предстанет далеко не такой одержимой и кровожадной, какой ее до сих пор изображали. Если дополнить процитированный выше пассаж другим, написанным по поводу тяжелого ранения, нанесенного служащему Георгу Линку, то складывается впечатление, что революционеры вряд ли такие уж ярые приверженцы «револьверной» идеологии: «На вопрос, согласились бы мы освободить своих товарищей даже в том случае, если бы заранее знали, что

при этом пострадают люди, как пострадал в данном случае Линк,— а этот вопрос встает перед нами достаточно часто,— мы можем ответить только отрицательно».

Война, объявленная в манифесте, со всей определенностью ведется против системы, а не против ее исполнительных органов. Было бы неплохо, если бы г-н Кульманн, председатель профсоюза полицейских, позаботился о том, чтобы его коллеги, выполняющие столь опасную и плохо оплачиваемую работу, получили возможность прочесть этот манифест.

Авторы этого документа, провозглашающего объявление войны,— отчаявшиеся теоретики, преследуемые и отверженные обществом, зашедшие в тупик, загнанные в угол, куда большие сторонники насилия в теории, чем на практике. Освобождение ими Баадера никак нельзя назвать убедительным (ни для наблюдателей, ни для участников) воплощением этих теоретических принципов в жизнь, удачным «скачком» от теории к практике. Манифест содержит нечто вроде признания в этом: «Ни та малая толика денег, которую нам пришлось похитить, ни угон автомобилей и кража документов, из-за которых против нас начато расследование, ни попытка покушения, в которой нас стараются обвинить, сами по себе не оправдывают возню, затеянную вокруг нас». Не подлежит ни малейшему сомнению — Ульрика Майнхоф объявила этому обществу войну, она ведает, что творит, но кто может ей сказать, что ей делать теперь? Неужто и впрямь ей лучше явиться с повинной, чтобы, как и подобает классической «красной» ведьме, угодить в кипящий котел демагогии?

«Бильд», пребывающий во власти предрождественских настроений, убежден: «Группа Баадера-Майнхоф продолжает убивать». «Бильд» жертвует половину своей драгоценной первой страницы и половину столь же драгоценной последней сообщениям о кайзерслаутернском налете.

На последней странице журнала (в номере от 12 декабря 1971 года) мало что сказано о результатах полицейского расследования. Зато помещены две специальные колонки — «Жертвы банды Баадера-Майнхоф» и «Добыча банды Баадера-Майнхоф». В число жертв «Бильд» включил не только Георга Линка (вполне доказанное преступление, которое признают сами нападавшие), но и тех, относительно кого еще не установлено, кто именно стрелял в них,— это Хельмут Руф и Норберт Шмид, и — раз уж «Бильд» решился на жертвы — ради простоты дела к пострадавшим причисляется и старший полицейский Херберт Шонер из Кайзерслаутерна.

Правда, о пенсионере Хельмуте Лангенкемпере из Килия говорится только, что он «встал на пути налетчиков». Каких налетчиков? Ладно, не будем придирааться, к чему этот педантизм, главное, чтобы предрождественская литания, оглашающая список жертв, вышла правдоподобнее! И уж не потому ли «Бильд» заносит в число жертв еще и Петру Шельм и Георга фон Рауха (называя его при этом фон Хаухом)? Ну это, конечно же, шутка! «Бильд» шутит.

Мне хочется надеяться, что эта шутка застрянет в горле у господина Шпрингера и его клеветов костью рождественского карпа. Читать такое — выше всяких сил, по крайней мере, у меня их на это недостает. Не исключено, что скоро «Бильд» пойдет еще дальше и назовет жертвой фашизма беднягу Германа Геринга, который, к сожалению, покончил с собой.

Во второй колонке, также целиком выдержанной в жанре литании — «О добыче банды Баадера-Майнхоф», — без долгих слов сообщается сумма ущерба, причиненного поджогом универмага во Франкфурте-на-Майне — 2,2 млн. марок. К «добыче» отнесены также побег Баадера и перестрелка 24 декабря 1970 года в Нюрнберге. Разумеется, деньги, похищенные при налетах, — относительно которых полиция всего лишь строит предположения, а «Бильд» знает все досконально, — приплюсованы к «добыче». Сюда же отнесены сто тридцать четыре тысячи марок из крайслаутернского банка, хотя эта сумма и не учитывается при итоговых подсчетах — вполне логично, потому что и старшего полицейского Шонера ухитрились присовокупить к числу жертв. Что-то явно не срабатывает в счетной машине, которой пользуется «Бильд» в своих подсчетах, — в общей сумме недостает 2,2 миллиона из Франкфурта, но, как бы то ни было, колонка, повествующая о «добыче», получилась что надо — разве не так? Впрочем, те, кому что-нибудь неясно, могут задавать вопросы.

Я не думаю, что полицейские власти и министры будут счастливы обрести таких помощников, как «Бильд», или я заблуждаюсь? Я не могу себе представить, как политический деятель вообще может давать интервью подобного рода журнальчику. Это уже не тайно фашиствующий листок, не профашистские настроения, это чистой воды фашизм со всеми его атрибутами — разжиганием низменных страстей, натравливанием людей друг на друга, ложью и грязью.

Заголовок «Группа Баадера-Майнхоф продолжает убивать» — призыв к суду Линча. Миллионы людей, для которых «Бильд» является единственным источником информации, становятся жертвой дезинформации. Мы уже

вдоволь наслушались сообщений г-на Циммермана о лицах «подозрительных» или «показавшихся подозрительными».

Сам термин «правовое государство» начинает звучать сомнительно, когда вся общественность, чьи инстинкты по меньшей мере становятся неконтролируемыми, превращается в орудие исполнительной власти; когда качество приносится в жертву количеству, право — успеху и популярности. Сделанные по материалам следствия «экранизации» преступлений, которые г-н Циммерман демонстрирует в своей передаче в качестве иллюстрации, — это всего-навсего низкопробные «фильмы ужасов», рассчитанные на обывателя, расположившегося в домашних шлепанцах у телевизора, потягивающего пиво и воображающего, будто благодаря таким фильмам он становится очевидцем преступления, тогда как на самом деле перед ним на экране — невообразимая мешанина из фактов и вымысла, где в роли главных героев порой выступают расчлененные трупы. Интересно, что вышло бы, попробуй г-н Циммерман с помощью своей телепередачи — священного для всей страны «Криминального часа» — разыскать кого-нибудь из скрывающихся до сих пор нацистских преступников? Только в порядке эксперимента, чтобы проверить, как на это отреагируют немцы с их знаменитым криминальным чутьем?

Население Федеративной Республики Германии насчитывает 60 миллионов человек. Число членов группы Майнхоф в ее лучшие времена не превышало тридцати. Соотношение, таким образом, один к двум миллионам. Если же предположить, что в настоящее время группа уменьшилась до шести человек, то пропорция станет еще более разительной — один к десяти миллионам.

Да, Федеративная Республика Германии на самом деле находится в опасности! Пора объявлять в стране чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение для общественного сознания, постоянно возбуждаемого публикациями наподобие тех, что появляются в «Бильде». Каковы могут быть последствия появления в печати заголовка вроде того, что приведен выше? Кто привлечет «Бильд» к ответственности, если предположения полиции не оправдаются? Напечатает ли «Бильд» опровержение, исправит ли он свою ошибку или господин Шпрингер предпочтет утешиться колонкой на странице 5, озаглавленной «Как много любви!». Там публикуются цифры рождественских пожертвований. Да благословит Господь это почтенное ремесло! Я надеюсь, что кости в рождественском карпе оказались не слишком мягкими и впрямь встали поперек горла...

Я повторяю — нет никаких сомнений в том, что Ульрика Майнхоф живет в состоянии войны с этим обществом. Любой мог прочесть ее передовицы, любой может ознакомиться в издаваемой издательством «Вагенбах» «Красной книге» (в 6-м выпуске) с манифестом, написанным после ухода группы в подполье. Шесть человек ведут войну против шестидесяти миллионов. Войну бессмысленную — не только с моей точки зрения, не только с точки зрения всего общества, но и в свете концепции, обнародованной группой.

Я считаю психологически бесперспективной попытку убедить мелких бюргеров, рабочих, служащих, чиновников (в том числе и полицейских), на всю жизнь напуганных опытом двух тотальных инфляций, в том, что достигнутое ими относительное благополучие не ахти какая ценность, если сначала не объяснить им с исчерпывающей полнотой, в масштабах национальной экономики, сколь ужасающе «равны» были шансы для различных слоев общества при проведении денежных реформ. А кто-нибудь знакомил полицейских последних наборов с историей их организации, от лица которой они выполняют свою действительно тяжелую работу? В правительство христианских демократов одно время — очень недолго — входил федеральный министр, которого в одночасье изъяли, так сказать, из обращения, а вскоре заставили уйти в отставку, как только выяснилось, что в свое время он был судьей в Шнайдемюле.

Даже к такому отвратительному сатрапу, каким был Бальдур фон Ширах, пославший миллионы юных немцев на смерть, было проявлено милосердие. Похоже, Ульрике Майнхоф не приходится рассчитывать на это — ей предстоит пасть жертвой тотального немилосердия. Бальдур фон Ширах не отсидел столько, сколько придется отсидеть Ульрике Майнхоф. Задумывались ли когда-нибудь полицейские чины, юристы, журналисты над тем, что все члены группы Ульрики Майнхоф, все без исключения, знают жизнь общества на практике и прекрасно понимают сущность отношений, которые, может быть, и заставили их решиться на объявление этому обществу войны? В конце концов, об этом можно было бы узнать из 24-го выпуска «Красной книги», вышедшей в издательстве «Вагенбах» под заголовком «Бамбуле», составительница — Ульрика Мария Майнхоф. Полезное, поучительное чтение — пока еще не ставшее телефильмом.

Много ли молодых полицейских чиновников и юристов знают, кто из военных преступников, осужденных в полном соответствии с законом, по рекомендации Конрада Аденауэра «втихую» был выпущен из тюрьмы, чтобы

никогда больше не предстать перед судом? Все это — достоинство нашей правовой истории, в свете которой такие выражения, как «классовая юстиция», выглядят столь же оправданными, сколь и теория уголовного права, приведенная в соответствие с требованиями политической целесообразности.

Ни у Ульрики Майнхоф, ни у остальных членов ее группы нет ни малейших шансов выглядеть в чьих-либо глазах «политически целесообразными». Никто — ни крайняя левая, ни крайняя правая, ни левый и правый центр, ни консерваторы и прогрессисты всех оттенков — не ведает больше никаких партийных различий, все они отныне — просто немцы, исповедующие единство, единство во что бы то ни стало, чтобы в конечном счете безмятежно предаваться традиционной немецкой страсти к многоглаголению, озабоченные лишь тем, чтобы никто не помешал им упиваться своей фракционной китаищиной, даже если произойдет то, что произойти никак не имеет права, даже если в один прекрасный день мы прочтем в газетах, что с Ульрикой Майнхоф, а затем и с Грасхофом, Баадером и Гудрун Энсслин «покончено». Покончено так же, как с Петрой Шельм, Георгом фон Райхом и служащим полиции Норбертом Шмидом. Покончено, с глаз долой — из сердца вон, если можно так выразиться, из немецкого сердца, сколько бы оно ни убеждало себя в своей левизне.

Нам придется услышать немало древней как мир болтовни — мол, это должно было случиться, к этому шло, ничего не попишешь, жаль, конечно, но я всегда это предвидел — и так далее, в таком же духе. Ах, эта проклятая правота задним числом, крепость задним умом, каким крепки бывают родители, причитающие над своими ушедшими детьми! Можно и дальше спокойно вертеть свои молитвенные мельницы — ведь мы были правы, мы всегда знали, что что-нибудь обязательно случится, что добром все это не кончится, ведь Паулинхен был единственным ребенком в семье...

А должно ли это случиться? Хочет ли Ульрика Майнхоф, чтобы это случилось?

Хочет ли она помилования или, по крайней мере, гарантий безопасности во время суда? Даже если она не хочет ни того, ни другого, ей необходимо предоставить обе возможности. Этот судебный процесс должен состояться, он должен быть осуществлен над живой Ульрикой Майнхоф, в присутствии представителей мировой общественности. В противном случае погибнет не только она и остальные члены ее группы — вся немецкая журналистика, все немецкое правосудие окончательно превратятся в смердящий труп.

Неужели все те, кто сам когда-то подвергался преследованиям,— некоторые из них заседают в парламенте, а кое-кто и в правительстве,— неужели все они забыли, что это значит — подвергаться преследованиям и травле? Кто из них представляет себе, что это такое — подвергаться травле в правовом государстве со стороны журнала «Бильд», тиражи которого неизмеримо выше тиражей «Штюрмера»?

Неужели те, кто некогда подвергался преследованиям, не были в свое время откровенными противниками государственной системы, неужели они забыли, что скрывалось за прелестным выражением «убит при попытке к бегству»? Неужели они — в той крайне тревожной ситуации, которую все мы переживаем, в обстановке взаимной травли и вражды — намерены предоставить решение этого вопроса исключительной компетенции полицейских чиновников, переутомленных, перегруженных делами, нервы которых — может быть, об этом здесь стоит упомянуть — давно на грани срыва.

Неужели никто не представляет себе, что это такое — противоборство с безжалостным обществом? Неужели те, кого некогда преследовали, и впрямь собираются выяснять какие-то качественные различия между различными формами и методами преследований, всерьез считая возможным с абсолютной четкостью разграничить содержание терминов «уголовный» и «политический» — и это применительно к людям, черпавшим свой жизненный опыт в асоциальной и уголовной среде да еще имея за плечами правовую историю, знающую великое множество случаев, когда даже кража одной морковки — если ее совершали поляк, русский или еврей — приравнивалась к тяжкому уголовному преступлению? Подобные взгляды далеко отстают от интеллектуального уровня, присущего подлинно ответственным политическим деятелям.

Вполне возможно, что Ульрика Майнхоф не хочет никакого помилования, очень может быть, что она не ждет от этого общества никакой справедливости. И все же, несмотря на это, ей следовало бы предоставить возможность выступить на открытом процессе, с участием общественности, равно как следовало бы устроить такой же процесс и над г-ном Шпрингером, предъявив ему обвинение в разжигании ненависти среди населения.

А господа прагматики — давно уже не первой молодости, повсеместно заседающие в различных совещательных комиссиях, занимающие посты экспертов и консультантов, а кое-кто и правительственные должности, самым чудовищным образом путающие пошлость с прагматиз-

мом,— сменили фашистский режим на свободный демократический строй очень легко и безболезненно; до 1945 года они или искренне верили в правильность и необходимость всего, что происходило, или же ничего не понимали, ни над чем не задумывались; в 1945 году они были слишком молоды, чтобы счесть себя виновными за прошлое. Они расстались с «иллюзиями», испытывая даже нечто вроде покаянных настроений, и очень быстро перешли в новую веру — чаша «испытых» ими страданий вполне исчерпывалась небольшой дозой ностальгической тоски по годам, проведенным в «гитлерюгенде».

Эти «механики» с очень хорошо подвешенными языками, знающие все на свете лучше всех, и сейчас, когда они наслаждаются всеми преимуществами своего положения, не устают с горькой улыбкой говорить о дефиците идеологии, духовных ценностей, о необходимости насаждения их в обществе (тоскуя по идеологии, как по какому-то аромату, которого им так недостает, которого они начисто лишены по причине своей полной стерильности) — не слишком ли хорошо они устроились, не кажется ли им, что сами они слишком смутно представляют себе такие вещи, как идеология, мировоззрение, философские проблемы бытия, чтобы они смогли понять то, что им никогда не было ведомо, понять, что это такое — быть преследуемым, подвергаться травле, постоянно находиться в бегах, скрываться? Все равно в качестве кого — политического преступника, уголовного или якобы «уголовного»...

Неужели они хотят, чтобы их свободный и демократический общественный строй оказался гораздо более немилосердным, чем феодальное общество, в котором существовали, по крайней мере, убежища даже для убийц, а уж тем более — для разбойников? Неужели их свободный и демократический общественный строй стремится выглядеть настолько непогрешимым, чтобы ни у кого не вызвать сомнений? Даже непогрешимее всех пап, вместе взятых, какие только существовали за всю историю церкви? Я знаю, что вопросов много, но ведь спрашивать пока еще не запрещено.

Федеративная Республика насчитывает более 60 миллионов жителей, группа Ульрики Майнхоф — всего шесть человек. Тираж «Бильда» достигает четырех миллионов экземпляров, число его читателей — не менее десяти миллионов. Рождественское послание г-на Шпрингера возвестило миру: «Группа Баадера-Майнхоф продолжает убивать». Продолжает... Убивать... Веселенькое Рождество, счастливый Новый год! Неплохой рождественский стол —

колючие кости, жесткая рыба... Столько любви сразу — и в том виде, в каком ее предлагает нам г-н Шпрингер, — трудно вынести. Особенно в правовом государстве.

1972

КТО ТАКОЙ ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА — В МОЕМ ВОСПРИЯТИИ?

Отделение Христа от Иисуса представляется мне недозволенным приемом, с помощью которого у *человекомставшего* отнимают его божественность, а тем самым и у всех людей, которые еще ожидают возможности стать людьми. Поскольку я не желал бы впредь называть себя христианином, равно как и не желал бы, чтобы другие меня так называли, исходя из того факта, что всякое служебное употребление слова «христианский» (у ХДС/ХСС, к примеру, у официальной церкви) все больше и больше обращает его в ругательство, я не хочу просто перейти к Иисусу, который был хоть и человек, но *человекомставший*. Я лично так же мало способен отделить человеческое от божественного, как и форму от содержания, как и то, что «подразумевается», от того, каким способом выражено это «подразумеваемое». Конечно же, не все именующие себя христианами обращают это слово в ругательство, легион имя тем, кто еще претендует на это звание. Я же не хотел бы далее употреблять в своих целях это слово ни как существительное, ни как прилагательное...

В реальности ставшего человеком я не усомнюсь никогда. Но только ли Иисус? Для меня это слишком туманно, слишком сентиментально, слишком напоминает некую «story», слишком представляет собой «трогательную историю». Все, что могло быть человеческим, «официальные» христиане превратили в циничное надувательство. Я даже и не могу воспринять это иначе как общественно-политическое. То обстоятельство, что я по чистой случайности (до сих пор) плачу все тот же самый церковный налог, как, может быть, д-р Франц Иозеф Штраус и Рихард Егер, я объясняю исключительно бесстыдством этой институции, которая все берет и берет с тех, кто не может, собравшись с духом, отречься от полученного крещения. Что кроме того объединяет меня с этими двумя приведенными в качестве примера господами? Хочу думать, что ничего, ничего, совершенно ничего! Вот почему я не могу ни назвать себя христианином, ни быть приверженцем Иисуса из Назарета. Я могу лишь верить в существование ставшего человеком. Не больше и не меньше.

1973

Обнадеживающий процесс, называемый «всемирной разрядкой», кажется, меньше всего пойдет на пользу тем, кто в условиях различных политических систем, постоянно рискуя либо стать жертвой доноса, либо попасть за решетку, горячее других выступал за него: писателям, ученым, интеллигенции вообще.

Ходят слухи, что Советский Союз ищет сближения с Испанией, что Греция в ближайшем будущем признает ГДР. Заболит ли в связи с этим Пападопулос словечко за Вольфа Бирмана или, может быть, Хонеккер заболит пару добрых слов за взятых под стражу и подвергнутых цензуре греческих писателей? Заступится ли генералиссимус Франко за Александра Солженицына или Владимира Буковского, а господин Брежнев за недавно оштрафованных на десять тысяч марок и лишенных паспортов издателей и писателей Каstellе, Кирики, Кукуруля, Фаули, Мане и Триаду, которые совершили неслыханное преступление — приняли участие в заседании жюри традиционных «Цветочных игр»? Ляжет ли костями президент Никсон за индонезийского писателя-романиста Тура и примерно сто тысяч политических заключенных в Индонезии? Скажет ли правительство ФРГ на переговорах о заключении договора с правительством Чехословакии хотя бы несколько слов в защиту чешских писателей, которым, по всей видимости, грозят террор и голодное истощение?

Боюсь, что на эти вопросы придется дать отрицательный ответ, ибо все писатели, ученые, интеллектуалы, на которых внутри преследующих их систем строчат доносы, независимо от того, называют ли их «красными», как в Испании, или «друзьями империалистов», как в ЧССР, и которых можно назвать «передовой интеллигенцией», вполне годились, чтобы подставить свои головы в качестве глашатаев и защитников новой, менее косной идеологии, но политически они, разумеется, абсолютно «иррелевантны», есть такое милое выражение. Хотя прекрасно известно, что без них и несметных поколений их предшественников ничто, в том числе и на нашей земле, не пришло бы в движение — пусть их погибают, даже в преддверии «всемирной разрядки». Главное — торговые отношения начинают развиваться, становятся возможными прибыльные капиталовложения, а если при этом что-нибудь не получается, такими людьми можно в любое время пополнить резерв козлов отпущения.

В Хорватии среди других осуждены Владо Готовач и Злато Томичиш. Чтобы только обозначить положение в Турции, нужно написать не одну книгу; и в самом деле,

из документальных свидетельств о пытках и политических преследованиях в Турции и Индонезии можно уже составить тома, а регулярно публикуемых в печати документов о Греции ежегодно набирается на целую книгу.

Уже не ежемесячно, а еженедельно в Международную амнистию, ПЕН-клуб и ассоциацию «Писатели и ученые» поступают сообщения об арестах, цензурных и судебных преследованиях писателей и работников умственного труда, по каждому из которых необходимо заявлять протест.

Спрашивается, имеют ли смысл эти призывы и резолюции, ратующие за признание свобод, которые считаются общепринятыми и гарантируются конституциями большинства стран — имеют ли смысл эти разрозненные призывы и резолюции, в то время как политики этих трех организаций и бесчисленных прочих групп и кругов, занимающихся судьбами гонимых и угнетенных на этой земле, не приходят к ним на помощь.

Все же эти организации и группы представляют собой ту инстанцию, которая на редкость трудно поддается определению и которую обычно называют совестью. Существует опасность, что эта совесть превратится в увядший цветок в петлице различных идеологий, если политики не поймут, что они, и только они, могут превратить моральное давление в политическое, если в конце концов не откажутся от лицемерной концепции невмешательства во внутренние дела других государств.

Кто беспокоится в наши дни за столами конференций, где ведутся переговоры о военной или экономической помощи, о парагвайском поэте Рубене Барейро Сагиере, об уругвайских писателях-романистах и эссеистах Хорхе Мусто и Карлосе Нуньесе, о сотнях юношей и девушек в Турции, которых пытки превратили в калек, в той самой стране, где среднегодовой доход составляет около шестисот марок, а на слезку расходуется от двух до трех тысяч марок.

Противоестественность духовной ситуации заключается в том, что именно те силы, которым торговые отношения с социалистическими и слаборазвитыми странами блоков НАТО и СЕАТО приносят прибыль, через свою печать все более гневно обвиняют тех, кто выступает за разрядку, открытость и т. п.

Конечно, если бы можно было уличить тех, кто говорит о западной демократии, которую якобы защищают в Греции, это вызвало бы эмоциональный всплеск, что само по себе является теперь криминалом. Мы, уже не очень молодые писатели, не слишком избалованные историческим опытом, еще высоко держим некое подобие знамени, пока не из последних сил, но все же с трудом, сохраняя

свои убеждения даже в безнадежной позиции, когда обстоятельства непреодолимы. Однако вскоре может наступить момент, когда мы признаем себя «полезными идиотами» не в ленинском понимании, а «полезными идиотами» той части мира, гражданами которой мы являемся.

Разговоры о неделимой свободе становятся фарсом, когда лицемерный принцип невмешательства сохраняется промышленными кругами постольку, поскольку от него зависит их прибыль. Большим подспорьем было уже то, что наконец хоть один-единственный, шведский министр Улоф Пальме (примеру которого затем последовали и другие), отважился энергично и откровенно пробить брешь в принципе невмешательства, когда американские ВВС ожесточенными бомбардировками хотели принудить Северный Вьетнам к заключению мира. Мужество Улофа Пальме заразило остальных и вселило в нас, писателей и интеллектуалов, надежду, когда эта зараза распространилась и мы почувствовали со стороны политиков поддержку наших призывов к неделимой свободе.

Мы, писатели, рождены, чтобы вмешиваться в чужие дела, мы вмешиваемся в юрисдикцию и культурную политику Советского Союза, ЧССР, Испании, Индонезии, Бразилии и Португалии; мы вмешиваемся в пугающие процессы, происходящие в Югославии, где в который раз ищут козлов отпущения и хоронят Надежду. Мы будем вмешиваться в дела Китайской Народной Республики, Кубы и Мексики. Это звучит идеалистически, но это не так. Вмешательство — единственная возможность остаться реалистом.

Наши чехословацкие друзья, которые не уступают ни пяди, никакие не идеалисты, они реалисты, ибо очень хорошо знают, что область духа завоевывается куда быстрее и окончательнее, чем область географическая.

Что относится к ЧССР, относится к Югославии, Турции, Греции, Бразилии, Испании: на счету политики прибылей либо интересов и какой-либо старшекласник, и молодая женщина, которые в Турции подвергаются пыткам палачей хунты. На табло, показывающем биржевые курсы, кровь не видна.

Я прекрасно знаю, что господа реальные политики будут надо всем этим смеяться: для них мы действительно «полезные идиоты», размахивающие красивенькими флажками. Пусть смеются.

Я пишу это не только для западных глаз и ушей, но и для восточных; для тех, кто несет там политическую ответственность, и для тех, кто стал жертвой безответствен-

ной политики: для Владимира Буковского, Александра Солженицына и других, многих других, кто занесен в списки Международной амнистии, ПЕН-клуба и ассоциации «Писатели и ученые». Они должны знать, против какого лицемерия мы здесь воюем. Они должны знать, что и мы, подобно им там, рождены, чтобы вмешиваться в чужие дела.

Меня могли бы неправильно понять и обвинить в желании разбавить эту статью порнографией, если бы я привел в ней некоторые подробности из практики надругательства турецкой политики над подругами, женами и сестрами арестованных оппозиционеров. Разумеется, в это нельзя вмешиваться, только не вмешиваться.

Есть еще резерв «полезных идиотов», которые высоко держат знамя свободы, человеческого достоинства, демократии, именно той, которую через НАТО и СЕАТО защищают в Греции, Турции, Испании, Индонезии и на Филиппинах.

Но я чуть было не забыл о некоей главной ценности, которую тоже защищают повсеместно: о христианском наследии, о западном культурном достоянии. Подумать только, я о них чуть было не забыл!

Я прошу о вмешательстве во внутренние дела Федеративной Республики Германии. И в этой связи хочу упомянуть о существовании страхового фонда ПЕН-клуба для писателей в заключении и их семей. Фонд управляется голландским ПЕН-центром и имеет счет в «ЭМРО-банке» в Гааге.

1973

ОПЫТ О РАЗУМЕ ПОЭЗИИ

Речь по поводу вручения Нобелевской премии
2 мая 1973 года в Стокгольме

Дорогой господин Гиров, уважаемые члены Шведской академии, прежде всего примите мою сердечную благодарность за гостеприимство, которое вы столь щедро оказываете мне вот уже во второй раз.

Дамы и господа!

Позвольте прежде всего сообщить вам, что я изменил тему своего выступления. Я намеревался говорить о связи русской и немецкой литератур, о политических и исторических связях России и Советского Союза с Германией, с обеими Германиями, но в тот момент, когда я начал готовиться к этой лекции, мне пришлось заняться тем, чем случается заниматься любому литератору, а именно чи-

тать корректуру, и, обнаружив среди прочего несколько статей, написанных мной в последние годы, я понял, что обо всем этом я уже писал.

В 1966—1968 годах, готовясь к съемкам документального фильма, я очень интенсивно занимался Достоевским и написал сценарий фильма о нем, сам текст и комментарий. Позднее я принимал участие в весьма представительной радиодискуссии, посвященной столетию со дня его рождения, а год или два спустя сочинил полуторачасовое выступление, которое было потом опубликовано в виде послесловия к изданию Толстого. Оно называлось «Попытка приближения», и в нем уже сказано все то, о чем мне пришлось бы еще раз говорить здесь. Именно поэтому — чтобы вы, да и я сам не скучали — я и поменял тему. Прошу вас понять меня — повторение мне и чуждо и скучно. Впрочем, случайно я набрел на тему, которая представляется мне очень интересной. Я попытался приблизиться к разуму поэзии, поскольку в ходе разговоров, дискуссий, а также читая публикации, убедился, что если быть слишком догматичным в понимании литературных или художественных проблем, то, очевидно, все сведется к формуле: информация или искусство. Поэтому я и назвал эту лекцию: «Опыт о разуме поэзии».

Люди сведущие утверждают, а другие — не менее сведущие — оспаривают, что в таком, на первый взгляд, рациональном, основанном на точном расчете и осуществляемом сообща архитекторами, чертежниками и рабочими деле, как строительство моста, какая-то величина — от нескольких миллиметров до сантиметра — всегда остается неучтенной. Эта крошечная, по сравнению с обработанным и оформленным целым, неучтенность, очевидно, объясняется тем, что невозможно безошибочно предсказать, как будут вступать в разнообразные реакции сложно связанные между собой химические и технические элементы и материалы, да еще под воздействием четырех классических стихий — воздуха, воды, огня и земли.

Проблема, очевидно, заключается не столько в замысле, не в постоянно перепроверяемом и контролируемом, технически и химически расчисленном устройстве, сколько в том, что я бы назвал его воплощением или осуществлением. А вот как назвать этот остаток, эту неучтенность, пусть она не больше миллиметра, соответствующую непредвиденному расхождению при деформации? Что скрывается в этом зазоре? Не то ли, что мы обыкновенно называем иронией, а может быть, поэзия, Бог, сопротивление

или, говоря сегодняшним языком, ирреальность? Один сведущий человек, художник, который прежде был пекарем, рассказывал мне как-то, что даже выпечка булочек, которой занимаются ранним утром, почти ночью, дело чрезвычайно рискованное, ибо на рассвете непременно нужно высунуть нос на улицу и более или менее интуитивно определить необходимую смесь ингредиентов, температуру и длительность выпечки, потому что каждый, каждый Божий день требует своих собственных булочек, этого важного священного компонента утренней трапезы для всех тех, кто взваливает себе на плечи тяготы наступающего дня. Назовем ли мы этот едва ли поддающийся учету компонент — иронией, поэзией, Богом, сопротивлением или ирреальностью? Как нам без него обойтись? А мы ведь еще не говорили о любви. Никто никогда не узнает, сколько романов, стихов, рассуждений, исповедей, страданий и радостей накопилось на континенте любви, а он все еще не исследован полностью.

Когда меня спрашивают, как или почему я написал то или это, я всякий раз чувствую себя чрезвычайно неловко. Я с удовольствием дал бы исчерпывающий ответ не только спрашивающему, но и себе самому, однако совершенно не в состоянии этого сделать. Я не могу, как бы мне ни хотелось, восстановить все взаимосвязи, чтобы сделать, по крайней мере, литературу, которой я сам занимаюсь, менее мистическим процессом, чем строительство моста или выпечка булочек. А поскольку, бесспорно, литература совокупностью своего содержания и формы способна людей освободить, рассказать о ее возникновении было бы чрезвычайно полезно, чтобы еще активнее в этом деле участвовать. Что же это такое, чем я, вне всякого сомнения, сам занимаюсь и при этом даже приблизительно не могу объяснить? Что это, что я собственноручно от первой до последней строки наношу на бумагу, многократно изменяю, обрабатываю, частично перекраиваю, а оно, по мере того, как разрыв во времени между нами растет, делается мне чуждым, как будто, покинув меня, оно уходит все дальше и дальше, становясь, вероятно, в виде оформленного содержания, важным для других? Теоретически можно представить себе полную реконструкцию процесса — нечто вроде протокола, достаточно подробного, который следует вести параллельно работе с тем, чтобы он отразил многомерный объем самого труда. Он должен был бы, конечно, вобрать в себя не только интеллектуальные и духовные, но и чувственные и материальные аспекты; представить, проанализировав питание, состояние духа, обмен веществ, настроение, а также роль окружающей среды не

только как таковой, но и в качестве фона. К примеру, мне иногда случается вполглаза смотреть спортивные передачи и в таком рассеянном состоянии размышлять,— довольно, должен признаться, загадочное занятие,— но тем не менее все эти передачи тоже должны быть внесены в протокол безо всяких сокращений, поскольку может оказаться, что какой-нибудь удар или прыжок сыграет в моих рассеянных размышлениях решающую роль — или, например, какое-нибудь движение руки, улыбка, словечко репортера, реклама. Следует, разумеется, учитывать и каждый телефонный разговор, и погоду, и принесенную почту, и каждую сигарету, а также и то, что мешает образованию связей — едущую мимо машину, пневматический молоток, кудахтанье курицы...

Высота стола, за которым я сейчас пишу, 76,5 см, размер столешницы — 69,5 на 111 см. У него точеные ножки и большой выдвижной ящик, лет ему семьдесят или восемьдесят, и принадлежал он двоюродной бабушке моей жены, которая, после того как муж ее умер в психиатрической больнице, переезжая в квартиру поменьше, продала его своему брату — дедушке моей жены. Так этот презираемый и достойный презрения, ничего не стоящий предмет мебели после смерти дедушки моей жены попал к нам и стоял где-то, никто точно не знает где, пока не обнаружился случайно во время переезда и оказалось, что он пострадал при бомбежке,— во время второй мировой войны столешницу пробил осколком,— и, помимо чисто сентиментальной ценности, это событие стало служить как бы входом в общественно-политическое, достойное упоминания пространство, а стол — средством в него войти. При этом убийственное презрение грузчиков, которых еле-еле удалось уговорить еще куда-то этот стол перевозить, оказывалось уже чуть ли не важнее сегодняшнего его применения, несомненно более случайного, нежели то упрямство, с которым мы — не из сентиментальных соображений, не как дань памяти, а почти что из принципа — уберегали его от свалки, а поскольку я между тем что-то за этим столом написал, мне даже была дозволена временная к нему привязанность,— ударение на слове временная. Мы уже не говорим о предметах, которые лежат на столе, они второстепенны и заменяемы, и к тому же случайны, за исключением, пожалуй, пишущей машинки марки «Ремингтон», изделие Travel Writer de Luxe, год изготовления 1957-й, к которой я привязан как к оружию производства и которая давно не представляет никакого интереса для финансового ведомства, хотя она и способствовала повышению его доходов и продолжает это де-

лать до сих пор. На этом инструменте, который любой знаток удостоит лишь презрительным взглядом или прикосновением, я написал приблизительно четыре романа и несколько сотен заметок, но дорожу я ею не столько поэтому, сколько опять же из принципа, потому что она еще работает и доказывает, сколь ничтожны возможности и тщеславие писателя как вкладчика. Я упоминаю стол и пишущую машинку для того, чтобы самому убедиться, что даже эти два предмета первой необходимости понятны мне не полностью, и если бы я попытался исследовать их происхождение с должной заслуженной ими тщательностью, а помимо происхождения еще и подробности их материальной, производственной и социальной истории, из этого бы получился практически бесконечный компендиум сведений об индустриальном и общественном развитии Англии и Западной Германии. А мы ведь еще не говорим о доме, о комнате, в которой стоит стол, о земле, на которой построен дом, и тем более не говорим о людях, которые — очевидно, на протяжении нескольких столетий — жили в этом доме, ни о живых, ни о мертвых, мы не говорим о тех, кто приносит уголь, моет посуду, разносит письма и газеты, и уж подавно не говорим о близких, о ближайших, о тех, кто ближе всех. А ведь следовало бы учесть все — от стола до лежащих на нем карандашей вместе с историей каждого предмета, включая, разумеется, и наших близких, и ближайших, и тех, кто ближе всех. Разве мало будет остатков, зазоров сопротивления, поэзии, Бога, ирреальности — даже еще больше, чем при строительстве моста и выпечке булочек?

Можно просто и не рискуя ошибиться сказать, что язык — это материал, и когда на нем пишут, нечто материализуется. Однако чем можно объяснить, что при этом — как порой утверждают — зарождается нечто вроде жизни — люди, судьбы, события, — и воплощение происходит не где-нибудь, а на мертвенно-бледном листе бумаги, причем воображение автора необъяснимым доселе образом вступает в связь с воображением читателя, и начинается их совместное движение, которое реконструировать невозможно, поскольку даже самая разумная, самая чуткая интерпретация всегда остается лишь более или менее удачной попыткой к нему приблизиться, да и как бы было вообще возможно с должной скрупулезной точностью каждый раз описывать и регистрировать переход от осознанного к неосознанному и у пишущего и у читающего — да к тому же еще учитывая их принадлежность к разным народам, материкам, международным объединениям, религиям и мировоззрениям, да еще постоянно меняющиеся

соотношение их обоих, пишущего и читающего, которое ощущают и тот и другой, и внезапную рокировку, когда один превращается в другого и в этой внезапной смене мест один от другого уже неотличим? И всегда будет остаток, как его ни назови — необъяснимостью или, если хотите, тайной, остается и будет оставаться хотя бы крошечная область, в которую разум нашего образца проникнуть не может, потому что он наталкивается на до сих пор нами не понятый разум поэзии и искусства воображения, чья обретенная плоть остается столь же непостижимой, сколь плоть женщины, мужчины и даже животного. Писание — во всяком случае для меня — это движение вперед, завоевание плоти, доселе мне неведомой, движение откуда-то куда-то, к еще неведомому, и я никогда не знаю заранее, чем оно кончится — кончится не в смысле развязки в классической драме, а в смысле результата сложного и многопланового эксперимента, в котором весь собранный, а также вымышленный духовный и интеллектуальный материал, наваленный беспорядочно, по ощущению, стремится — причем на бумаге! — к обретению плоти. В этом отношении вообще не может быть удавшейся литературы, как не может быть удавшейся живописи или музыки, потому что никто не в состоянии заранее увидеть плоть, к которой стремится, и в этом отношении всякое искусство, для обозначения которого пользуются поверхностным словом «современное», но которое лучше было бы называть «живым» — это эксперимент, и открытие, и временное явление, поскольку оценить и соотнести его с другим можно лишь в исторической перспективе, а говорить о вечных ценностях и отыскивать их не представляется мне сколько-нибудь важным делом. Как же нам обойтись без этого зазора, без этого остатка, который мы можем назвать иронией, а можем — поэзией, а можем — Богом, ирреальностью, сопротивлением?

Даже государства всегда лишь приближаются к тому, что объявляют уже существующим, и не может быть государства, в котором бы не было зазора между буквой конституции и ее воплощением, — того остающегося пространства, в котором растут — и дай Бог, чтобы расцвели! — поэзия и сопротивление. Ни одна форма литературы не может существовать без этого зазора. Даже самый точный репортаж все равно создает настроение и не может обойтись без воображения читателя, хотя бы пишущий себе ничего подобного и не позволял, и даже в самом точном репортаже обязательно что-то выпущено — например, четкое и подробное описание предметов, которые так или иначе связаны с воплощением жизненных обстоятельств... в нем непременно что-то будет перестав-

лено, сдвинуто, и снова ни его интерпретация, ни протокол, ведущийся во время работы, ничего нам не дадут, хотя бы уже потому, что языковой материал не может быть сведен к обязательной и всем понятной сути сообщения: каждое слово отягощено грузом истории, мифов, национального и общественного развития, исторической перспективы,— и все это тоже надо передать, что я и попытался показать на примере моего письменного стола. И установление объема сообщения — это не только проблема перевода с одного языка на другой, это еще более серьезная проблема внутри одного языка, где определения могут означать мировоззрения, а разные мировоззрения — войны, стоит вспомнить хотя бы о войнах после Реформации, которые, помимо борьбы за власть и политическое господство, были еще и войнами за религиозные определения. Замечу попутно: что, если пренебречь тем грузом, который каждое слово приобретает в ходе исторического развития данного края или даже места, окажется, что мы все говорим на одном языке, тогда как на самом деле немецкий, который я слышу или читаю, довольно часто представляется мне в большей степени иностранным языком, чем шведский, которым я, к сожалению, почти не владею.

Политики, идеологи, теологи и философы снова и снова пытаются предлагать нам варианты, где все решается без остатка, четко и ясно. Это их долг — а долг писательский, поскольку мы знаем: ничто не может быть решено без остатка и без сопротивления,— проникнуть в образующийся зазор. Их очень много, этих необъяснимых и необъясненных остатков, целые горы отходов. Те, кто строят мосты, пекут булочки и пишут романы, обычно со своими остатками как-то справляются, и не эти остатки представляют наибольшие сложности. Говоря о *littérature pure*¹ и *littérature engagée*²— противопоставление неправильное, и я к этому еще вернусь,— мы редко сознательно обращаемся — или подсознательно от этих мыслей отворачиваемся — к *l'argent pure*³ и *l'argent engagée*⁴. Если посмотреть и послушать, что политики и экономисты говорят о такой, на первый взгляд, рациональной вещи, как деньги, тогда мистическая или, по крайней мере, загадочная область внутри трех выше упомянутых профессий станет и менее интересной, и поразительно бесхитростной.

¹ Литература как таковая (*фр.*).

² Литература политическая (*фр.*).

³ Деньги как таковые (*фр.*).

⁴ Деньги политические (*фр.*).

Возьмем как пример недавнее чрезвычайно дерзкое наступление доллара (стыдливо именуемое кризисом доллара). Мне, безмозглому дилетанту, и то бросилось тогда в глаза нечто, что никто не хотел называть своими именами: два государства, сильнее других этим «кризисом» задетые, настойчивей, чем кто бы то ни было, вынуждались к такому в высшей степени странному делу — если, конечно, не считать понятие свободы просто фикцией, — как вынужденные покупки в поддержку доллара, то есть их попросту попросили расплатиться — причем именно их — те самые две страны, у которых есть и исторически нечто общее — проигранная вторая мировая война да еще приписываемые им общие свойства — усердие и старательность. Можно ли в таком случае не объяснить тому, кого это напрямую касается, тому, кто звенит мелочью в кармане или размахивает бумажкой с изображенными на ней многозначительными символами, почему, хотя работает он ничуть не меньше, эти деньги приносят ему меньше хлеба, меньше молока, меньше кофе и меньше километров в такси? Сколько зазоров обнаруживается в мистике денег и в каких сейфах хранится ее поэзия? Идеалистически настроенные родители и воспитатели всегда старались внушить нам, что деньги — вещь грязная. Я никогда не мог этого понять, потому что получал только те деньги, которые зарабатывал, — я не говорю здесь о той огромной премии, которую мне присудила Шведская академия, — а даже самая грязная работа для тех, у кого нет выбора, чиста. Она означает средства к существованию для его близких и для него самого. Деньги — это воплощение его труда, а труд чист. Между трудом и тем, что он приносит, остается, конечно, необъяснимый остаток, который еще сложнее заполнить туманными формулировками вроде — «хорошо или плохо зарабатывать», чем зазор, остающийся при разборе романа или стихотворения.

Непроясненные остатки в литературе по сравнению с необъясненными зазорами в мистике денег поражают своей бесхитростью, и все еще не перевелись люди, которые с преступным легкомыслием твердят о свободе, что лишь приводит к подчинению некоему мифу и подкрепляет его претензии на господство. В таких случаях взывают к политической зоркости, причем именно там, где зоркости, да и просто рассмотрению проблемы, чинятся всяческие препятствия. Внизу на моем чеке я вижу четыре разных группы цифр — всего 32 знака, из которых два напоминают иероглифы. Пять из этих тридцати двух знаков мне понятны: три — это номер моего счета, две — номер отделения банка, а как быть с остальными два-

дцатью семью, среди которых немало нулей? Я уверен, что все эти знаки имеют разумное, осмысленное или — как бы это по красивее выразить — прозрачное объяснение. Однако у меня в мозгу, у меня в сознании нет места для этого прозрачного объяснения, и мне остается лишь мистика цифр этой тайнописи, более непостижимой, более далекой от меня в своей поэзии и символической, чем «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста или «Вессобрунская молитва». Единственное, чего эти 32 цифры от меня требуют, — это полного доверия к тому факту, что все они правильные, что все ясно целиком, без остатка, и что даже я мог бы их понять, если бы хоть немного постарался, но в любом случае для меня сохранится какой-то остаток мистики, или даже страха, гораздо более сильного, чем может внушить мне любое проявление поэзии. Едва ли тем, о чьих деньгах идет речь, финансово-политические процессы когда-нибудь бывают понятны полностью.

А у меня еще тринадцать цифр в номере моего телефонного счета и по нескольку на каждом из многочисленных страховых полисов, а ведь есть еще и номер налоговой декларации, и номер автомобиля, и номер телефона — и я даже не стараюсь сосчитать все эти цифры, которые я должен держать в голове или, по крайней мере, куда-нибудь записать, чтобы в любое время точно обозначить свое место в обществе. Мы можем запросто умножить 32 цифры и шифр моего чека на 6 или сделать скидку и умножить на 4 и добавить еще дату рождения и несколько сокращений, обозначающих вероисповедание и семейное положение, — получим ли мы тогда наконец Европу в целостности и слитности ее разума? А может быть, этот разум, как мы его понимаем и принимаем — а нам это не просто разъяснено, но и абсолютно ясно, — всего лишь наше европейское высокомерие, которое мы с помощью колониализма, или миссионерства, или того и другого вместе, экспортировали по всему миру в качестве орудия подавления, и если бы даже для тех, кого это касается, различия между христианством, социализмом, коммунизмом и капитализмом ничего бы не значили, и если бы даже поэзия этого разума иногда была для них прозрачна, разве не одержал бы все-таки победу разум их поэзии? В чем состояло главное преступление индейцев, когда они лицом к лицу столкнулись с привезенным в Америку европейским разумом? Они не понимали ценности золота, ценности денег! И боролись против того, что мы считаем высшим достижением нашего разума и против чего сами сегодня боремся — против разрушения мира и окружаю-

щей среды, против безраздельного подчинения их земли наживе, которая была им чужда в еще большей степени, чем нам их боги и духи. Что могло дать им христианство как новая благая весть при том безумном лицемерном самодовольстве, с которым в воскресенье во время службы все поют славу Господу, называя его Спасителем, а в понедельник в назначенное время открывают банки, где единственными истинными ценностями провозглашаются собственность и нажива. Поэзии воды и ветра, буйволов и травы, в которой воплощалась их жизнь, была уготована лишь насмешка, и только теперь мы, западные цивилизованные люди, в своих городах, конечных продуктах нашего всепроникающего разума,— поскольку, справедливости ради, надо сказать, что мы и себя не пощадили,— начинаем понемножку ощущать, что такое на самом деле поэзия воды и ветра и что в ней воплощено. Трагедия церкви состояла и состоит вовсе не в том, что с точки зрения просветителей можно назвать ее неразумностью, а в отчаянной и отчаянно провалившейся попытке догнать или подчинить себе разум, который никогда не мог бы и не сможет примириться с такой очевидной неразумностью, как Бог во плоти. Предписания, уставы, заключения специалистов, лес цифр пронумерованных предписаний и предрассудки, вбитые в нас и поставленные на конвейер преподавания истории, и все для того, чтобы сделать людей еще более чужими друг другу. Ведь даже на западе Европы нашему разуму сопротивляется что-то такое, что мы называем неблагоразумием. Ужасающая проблема Северной Ирландии в том и заключается, что веками два вида разума противостоят друг другу в схватке, которой не предвидится конца.

История оставила нам огромные области, которые мы игнорируем и презираем. Под победными флажками нашего разума до сих пор скрыты целые континенты. Разные группы населения оставались чужими друг другу, даже вроде бы разговаривая на одном и том же языке. При том что брак европейского образца предписывался в качестве организующего начала, умалчивалось о том, что он был привилегией: то есть недостижимым, недоступным для крестьян, называвшихся батраками и батрачками, у которых просто-напросто не было денег даже купить себе пару простыней, а если бы они накопили или стащили где-нибудь эти деньги, не было бы кроватей, чтобы эти простыни расстелить. Им равнодушно предоставляли оставаться вне закона, при том что дети-то у них рождались! А если глядеть сверху или со стороны, казалось, все ясно и решается без остатка. Ясные ответы, ясные вопросы, ясные

предписания. Псевдокатехизис. Главное, никаких чудес, и поэзия всегда лишь нечто мистическое, ни в коем случае не земное. И потом удивляются и тоскуют по старым порядкам, когда презираемая и упрятанная подалее область выказывает признаки волнений, и, конечно, та или иная партия извлекает из этого материальную и политическую выгоду. Даже все еще неисследованный континент, называемый половой любовью, и то пытались упорядочить инструкциями, которые напоминали инструкции для начинающих филателистов, заводящих свой первый альбом. До мельчайших деталей определялись дозволенные и недозволенные нежности, пока внезапно теологи и идеологи в ужасе не обнаружили, что на этом континенте, который уже считался изученным, остывшим и приведенным в порядок, все-таки остались непотухшие вулканы, и даже самым опытным пожарным не под силу их потушить. А чего только не нагроутили на Господа Бога — на эту достойную сожаления инстанцию, которой постоянно злоупотребляют, чего только не спихнули на него, — все, все, что еще не имеет решения, все указатели из безвыходных состояний социального, экономического, сексуального толка направлены на него, все неприемлемое, презренное, все неприкаемые «остатки» валяются на него, и в то же самое время говорят о Боге во плоти, не задумываясь над тем, что даже если принять его воплощение, то все равно ни человека Богу, ни Бога человеку навязывать нельзя. Что же тогда удивляться, если Бог при этом уцелел там, где предписывалось безбожие, а убожество мира и собственного общества оправдывалось с помощью догматов столь же утопического катехизиса и все дальше и дальше отодвигаемого будущего, неизбежно оборачивающегося мрачным настоящим? И снова мы с невыносимым высокомерием позволяем себе осуждать этот процесс как реакционный, и высокомерие это того же сорта, что побуждает здешних чиновных служителей Бога считать Бога, который как будто уцелел в Советском Союзе, своим, а самим при этом не вычищать мусорных завалов, в которых он погребен у нас, и использовать появление Бога там для оправдания некоего общественного строя здесь. Кичась своими убеждениями, не важно — христианскими или атеистическими, мы все время жаждем получать выгоду от того или иного образа мыслей, декларируемого самым категоричным образом. Это наше безумие, это высокомерие *само по себе* хоронит и то и другое: и Бога во плоти, так называемого Богочеловека, и водруженное на его место светлое будущее всего человечества. Нам, столь легко усмиряющим других, не хватает одной важной ве-

щи, а именно смирения, которое не следует путать с послушанием, покорностью или тем более с безропотностью. А ведь как раз это мы и сделали с колонизированными народами: смирение, свойственное им, поэзию этого смирения мы обратили в их унижение. Мы всегда стремились к подавлению, к завоеванию, что, впрочем, не столь удивительно для цивилизации, в которой первым произведением, читаемым на иностранном языке, долгие годы оставалась «Bellum Gallicum» Юлия Цезаря, а первым упражнением в самодовольстве, в простых и четких вопросах и ответах был катехизис, любой катехизис, являющийся образцом непогрешимости, а также быстрого и исчерпывающего разрешения проблем.

Я несколько удалился от строительства мостов, выпечки булочек и писания романов и обозначил кое-какие зазоры, области иронии и фантастики, а также существующие остатки, богов, мистику и сопротивление в других сферах — они казались мне более сложными, требующими более тщательного разъяснения, чем крохотные необъясненные уголки, в которых таится не тот, поработивший нас разум, а разум поэзии, свойственный, например, роману. Те приблизительно двести цифр, которые я в точнейшем порядке, группа за группой, да еще в сочетании с парой шифров должен держать в голове или, по крайней мере, на бумажке, как доказательство моего существования, даже точно не зная, что они означают, воплощают всего лишь абстрактные требования и доказательства существования бюрократии, которая не просто притворяется разумной, но и является таковой на самом деле. Меня приучали и приучили слепо ей доверять, но, может быть, можно ожидать, что разуму поэзии будут не только доверять, но и способствовать его утверждению, что его не оставят в покое, а, наоборот, сумеют перенять от него немножко покоя и гордости, произрастающих из смирения, которое всегда есть смирение перед низшим и никогда перед высшим. В этом разуме кроется уважение, и утонченность, и справедливость, и желание признать другого и быть признанным самому.

Я не хочу здесь предлагать какие-то новые миссионерские пути или средства, но думаю, что, говоря о смирении, утонченности и справедливости, я должен сказать, что вижу много сходства и много возможностей сближения между чужим в понимании Камю, отчужденностью героев Кафки и Богом во плоти, который тоже остался чужим и которому — если не считать некоторых эмоциональных вспышек — тоже, безусловно, свойственны утонченность и точность в словах. Зачем же католическая церковь так

долго — не знаю даже насколько долго — преграждала доступ к точным словам святых текстов или просто утаивала их, оставляя без перевода на латыни или греческом, то есть доступными только посвященным? Думаю, затем, чтобы исключить опасность, которую она чуяла в поэзии воплощенного слова, и чтобы защитить разум своей власти от опасного разума поэзии. И не случайно важнейшим следствием реформаций явилось открытие языков и их плоти. Существуют ли империи без языкового империализма, то есть расширения сферы использования своего собственного языка и подавления языка побежденных? Именно в этой, и ни в какой другой, связи я рассматриваю отнюдь не империалистические, а, наоборот, антиимпериалистические на вид попытки опорочить поэзию, чувственность языка, его плоть и выразительность — поскольку язык и его выразительность едины — и выдвинуть в очередной раз по принципу *divide et impera*¹ новую ложную альтернативу: информация или поэзия. Это новое с иголочки и опять чуть не международное высокомерие нового разума, которое еще может допустить, пожалуй, поэзию индейцев как силу, призывающую к борьбе и необходимую тем классам в своей стране, которые надлежит освободить, но собственную поэзию предпочтет попридержать. Поэзия, однако, не классовая привилегия и никогда таковой не была. Каноническая феодальная или буржуазная литература возрождалась из того, что пренебрежительно называли народным языком, или, как мы бы сказали сегодня, из жаргона и сленга. Пусть даже мы назовем этот процесс языковой эксплуатацией, но, выдвигая ложную альтернативу «информация или поэзия», мы ничего в этой эксплуатации не меняем. Неприятие, смешанное с ностальгией, которое заключено в словах «народный язык», «сленг» и «жаргон», не дает еще основания отправить на свалку и поэзию, а заодно и другие формы и выразительные средства искусства. Тут много поповского: скрывать от других чувственность языка и его воплощение, а тем временем разрабатывать новый катехизис, в котором идет речь о единственно правильных и заведомо ложных способах выражения. Нельзя отделить силу сообщения от силы выражения, которое это сообщение обретает; здесь намечается нечто, что напоминает мне в теологическом плане довольно скучные, но важные споры о двух разновидностях причастия, в результате которых в католической части мира отрицание воплощения сводится к цвету облатки, которую на самом деле и хлебом-то не

¹ Разделяй и властвуй (*лат.*).

назовешь! Мы уже не говорим о миллионах гектолитров утаенного вина! Здесь дело не только в высокомерном непризнании материи, но и в непризнании того, что эта материя должна воплощать.

Нельзя освободить никакой класс, сперва от него что-то утаив, и пусть даже эта новая школа манихейства выдает себя за нерелигиозную или даже антирелигиозную, она все равно перенимает модель церковной власти, которая может привести к сожжению Гуса или отлучению Лютера. Можно сколько угодно спорить о понятии прекрасного и развивать новые эстетические теории — теории себя изживают, но ни в коем случае нельзя начинать с утаивания, и еще нельзя исключать возможность перемещения, предоставляемую литературой, — литература может перенести вас в Южную или Северную Америку, в Швецию, Индию, Африку. Точно так же она может перенести вас и в другой класс, в другое время, в другую религию и в другую расу. Никогда, даже в буржуазной форме, ее целью не было создавать отчуждение, наоборот, она стремилась его уничтожить. И пусть даже класс, из которого она до сих пор, по большей части, происходила, исторически себя изжил, литература, сама будучи продуктом этого класса, в большинстве случаев была и прибежищем для выступающих против него. И несомненно следует сохранить международный характер этого сопротивления, которое одному — Александру Солженицыну — помогает сберечь веру или обрести ее, а другого — Аррабаля — превращает в ожесточившегося и жестокого противника религии и церкви. И это сопротивление следует понимать не как простой механизм или рефлекс, который в одном случае порождает веру в Бога, а в другом безбожие, а как воплощение в истории духовных связей, обнаруживающихся среди всевозможных мусорных куч и игнорируемых нами областей, а кроме того, как признание солидарности, в которой нет места высокомерию и претензиям на непогрешимость. И хотя политзаключенному или просто оппозиционеру, оказавшемуся в изоляции, к примеру, в Советском Союзе, может казаться неправильным или вовсе безумным, что западный мир протестует против войны во Вьетнаме, — и это даже психологически понятно, если человек находится в камере или в общественной изоляции, — и все равно он должен признать, что вина одного не снимает вины с другого и что демонстрация в поддержку Вьетнама поддерживает и его тоже! Я знаю, это звучит как утопия, но мне в этом видится единственно возможный вариант нового интернационализма, нового нейтралитета. Ни один писатель не может согласиться с

ложными, навязанными противопоставлениями и оценками, и мне кажется совершенно самоубийственным то, что мы снова и снова обсуждаем вопрос о разделении литературы на просто литературу и литературу политическую. Не только потому, что, если человек признает право на существование чего-то одного, он именно поэтому из всех сил должен отстаивать и право на существование другого, нет, здесь мы вместе с ложной альтернативой перенимаем буржуазный принцип противопоставления, который нас разобщает. И это уменьшает не только нашу потенциальную силу, но и нашу потенциальную — рискну сказать не краснея — воплощенную красоту, ибо она может способствовать высвобождению не меньше, чем высказанная мысль, и может делать это как сама по себе, так и с помощью того вызова, который в ней содержится. Сила единой литературы не в нивелировании правлений, но в интернациональном характере сопротивления, и к этому сопротивлению относятся поэзия, воплощение, чувственность, воображение и красота. Новое манихейское иконоборчество, которое хочет ее у нас отобрать и которое хочет отобрать у нас вообще все искусство, грабит не только нас, но и тех, ради кого оно все это делает. Никакое проклятие, никакая жестокость и никакая информация об отчаянном состоянии того или иного класса сама по себе без поэзии невозможна, и даже для того, чтобы проклясть поэзию, нужно сперва ее признать. Прочтите, что писала Роза Люксембург, и обратите внимание на то, какие памятники Ленин распорядился поставить первыми: самый первый графу Толстому, о котором он говорил, что до этого графа в русской литературе не было мужика, второй — «реакционеру» Достоевскому. Любой, избрав для себя аскетичный путь перемен, может отказаться от искусства и литературы. Но нельзя это сделать за других, не доведя до их сознания, от чего им предстоит отказаться. Этот отказ должен быть добровольным, иначе это будет очередное поповское предписание, нечто вроде нового катехизиса, и снова целый континент, подобно континенту любви, будет обречен на засуху. Вовсе не для забавы и не для того, чтобы шокировать, литература и искусство постоянно используют новые формы, открываемые в ходе экспериментов. В самих этих формах воплощено нечто, что почти никогда не бывает констатацией уже существующего или уже обретенного, а если эти формы уничтожают, то остается еще одна возможность: хитрость. Искусство и по сей день является замечательным тайником, только прячут в нем не динамит, а духовную взрывчатку и социальные мины замедленного действия. Откуда бы

иначе взяли столь разные его проявления? И в самой своей презираемой, а порою даже и достойной презрения красоте и непрозрачности оно является наилучшим тайником для того крючка, который вызывает внезапное потрясение или внезапное открытие.

Здесь, подходя к концу, я должен сделать вот какую оговорку. Недостаток моих соображений и рассуждений неизбежно заключается в том, что традицию разума, в которой я сам — надеюсь, не слишком успешно, — воспитывался, я ставлю под сомнение посредством того же самого разума, и конечно, было бы более чем несправедливо порочить разум во всех его проявлениях. Очевидно, что ему, этому самому разуму, все-таки доводилось усомниться в собственной универсальности и в том, что я назвал высокомерием разума, а также сохранить впечатление и память о том, что я назвал разумом поэзии и что, на мой взгляд, неправильно считать чьей-то привилегией или каким-то буржуазным установлением. Его можно сообщить другим, и именно потому, что, воплощаясь в слова, он кажется чужим, диковинным, он эту диковинность и отчуждение может смягчить или даже преодолеть. Ведь чужой значит еще и чудной, удивительный, необычный. И тем, что я говорил о смирении — разумеется, очень приблизительно, — я обязан не религиозному воспитанию или памяти, подсказывающей, что всегда, когда говорят о смирении, имеют в виду унижение, но чтению Достоевского в юности и в зрелые годы. И именно потому, что я считаю крупнейшим литературным событием международное движение за бесклассовую или внеклассовую литературу и открытие целых областей, населенных теми, кто прежде был унижен и объявлен отбросами общества, я хочу предостеречь от разрушения поэзии, от сухости манихейства, от иконоборчества, свойственного, на мой взгляд, слепому фанатизму, который не то что выплескивает ребенка вместе с водой, но вообще не наливает воду. Мне кажется бессмыслицей порочить или восхвалять молодежь или стариков. Мне кажется бессмыслицей мечтать о старом порядке, который можно восстановить разве что в музее, мне кажется бессмыслицей выдвигать альтернативы типа консервативный — прогрессивный. Новая волна ностальгии, которая цепляется за старую мебель, платья, формы выражения и системы ценностей, указывает лишь на то, что новый мир кажется нам все более и более чужим. То, что разум, на который мы возлагали надежды и которому доверяли, не сумел сделать мир более близким для нас, свидетельствует, что альтернатива рациональный — иррациональный тоже была неверна. Я

многое здесь обхожу и пропускаю, потому что одна мысль тянет за собой другую, и если пытаться измерить целиком каждый из этих континентов, это заведет нас слишком далеко. Мне пришлось, например, опустить юмор, который тоже не является классовой привилегией и в котором не замечают ни поэзии, ни таящегося в нем сопротивления.

1973

УПОИТЕЛЬНАЯ ГОРЕЧЬ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

«Архипелаг Гулаг»: опыт художественного исследования
сталинистского прошлого
Советского Союза

Уже на второй странице забываешь (я забыл) все, что знал об этой книге из вторых, третьих или четвертых рук; все предварения, все комментарии, не к самой книге, а, так сказать, вокруг нее, комментарии и правых, и левых, и всякого рода центристов. И вот наконец эта книга, которую, я надеюсь, читали все, кто со знанием дела говорит о ней и кто интересуется ею самой, а не только событиями вокруг нее; я надеюсь также, что в Советском Союзе ее уже прочли все те, кто высказывался о ней в печати: господа Жуков, Чаковский, Симонов. Наверное, органы госбезопасности доставили им на дом фотокопии, дабы они могли не только вынести свои разгромные приговоры, но и обосновать их?

Все забываешь, преждевременные хвалы и хулы, стоит только открыть книгу и сквозь поразительный перевод слышать голос и постепенно различить инструментовку и композицию. Поскольку Солженицын называет «Архипелаг Гулаг» опытом художественного исследования, то в конце концов задаешься вопросом, удался ли этот опыт, и ответ может быть только один: да, да и еще раз да.

И этим художественным исследованием мы обязаны не столько разгневанному человеку, моралисту, сколько писателю Солженицыну, который, как бы между прочим, явил нам мастерский пример того, что принято называть документальной литературой. В этой книге ничего не придумано. Дан только фактический материал, и материал ужасающий! Он предназначен для сотен тысяч, для миллионов.

Из приблизительно 30 миллионов европейцев, участвовавших в войне, от силы три-четыре десятка создали книги о войне, документальные или художественные, которые заслуживают внимания, хотя материал — и ка-

кой!— был у всех 30 миллионов — вот он, только руку протяни, и ходить никуда не надо.

Вот и получается, что лежащий наготове — только руку протяни!— материал и даже кропотливые поиски его сами по себе еще ничего не значат. Пусть документы «говорят сами за себя», но им нужно еще «дать заговорить», как это и получилось с «Архипелагом Гулаг». Ведь именно автор делает материал, а не материал автора.

Хотя многое в книге Солженицына было давно известно, все-таки это открытие! Там, где Солженицын основывается на предположениях или «приблизительных величинах», они именно так и подаются, и некоторые, лишь предполагаемые статистические данные приводятся с точностью, вновь и вновь характеризующей автора как истинного ученого. Но и это еще ничего не объясняет, ибо ученых много, но лишь немногим дан язык, голос и абсолютный слух.

Это предуведомление кажется мне важным, ибо кто-то может сказать: весь фокус в теме, но сама по себе тема не может сделать вещь произведением искусства. У «Архипелага Гулаг» есть предтечи, и не только романы и рассказы самого Солженицына; есть «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург (именно эта книга в миниатюрном издании была таким постыдным и ужасным способом — ужасным для автора и постыдным для издательства и фанатиков от пропаганды — посредством аэростатов бундесвера переправлена на территорию ГДР). Есть «Софья Петровна» Лидии Чуковской, есть рассказ В. Шаламова о пресловутой 58-й статье, есть «Потерянная жизнь» Сюзанны Леонгардт и множество других публикаций.

Солженицынский «Архипелаг Гулаг» не умаляет значения и важности других публикаций. То, что ему удалось, то и удалось — создать монумент в память безымянной массы тех, кто не имел голоса или вынужден был умолкнуть прежде, чем успел возвысить свой голос. Терпимость или нетерпимость по отношению к советским властям — обе эти позиции и их разновидности — не главное в разговоре об этой книге. Здесь обвиняется не советская действительность, но тлеющее в ней прошлое.

Чтобы определить основной тон книги, мне недостает категорий. Сатира, сарказм, ирония — они, как мне кажется, несоизмеримы с темой. Если бы эпитет «упоительный» здесь не воспринимался неверно, как некая сибаритская вокабула (упоительная еда, упоительные женщины, упоительные вечеринки, платья, напитки), то я рискнул бы говорить об упоительной горечи. Юмор? Да, покуда он оставляет место надежде и человечности, но отнюдь не

гибельная злоба Вильгельма Буша, почти всегда унижающая человеческое достоинство.

В книге Солженицына возвращается достоинство тем бесчисленным людям, политическим заключенным, которых охранники и следователи в самых унижительных условиях объявляли «паразитами» (Ленин) и пытались извести и которых в конце концов безжалостно отдавали во власть уголовникам. И все-таки юмор, ибо автор ни в коей мере не считает себя праведником, я повторяю: ни в коей мере, и это уже само по себе мастерство, однако традиционное слово «мастерство» опять-таки лишь отчасти передает подлинный смысл явления; в этом полном отсутствии претензий на праведность нет ни грана лицемерия. Прочтите внимательно страницы со 160 по 170 и другие пассажи, например, рассуждения о «злодеях».

Кроме того, автор без обиняков говорит о губительных последствиях любых идеологических оправданий. Я цитирую: «Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличиванием родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы (ранние и поздние) — равенством, братством, счастьем будущих поколений». Отсутствие претензий на праведность, рассуждения о губительных последствиях любых идеологических оправданий — все это, конечно же, не может быть опубликовано в Москве. Или достославный господин Александр Чаковский посвятит этой теме передовую статью в своей «Литературной газете»?

Поскольку автор тут не просто исполняет свой долг, но должен еще обладать достаточной долей безумия, дабы помнить о всех возможных конфликтах, становится понятной та доскональность, с которой Солженицын пишет об армии Власова, о трагедии генерала, чья армия была позорно загублена, который и сам обманулся, и других обманул относительно природы нацистов; и, разумеется, в Москве проглядели или хотели проглядеть ключевую мысль: «Но еще горше посмеялась над ними судьба, еще худшими пешками они стали. С тупым верхоглядством и самомнением дозволяли им немцы лишь умирать за свой Рейх, но не дозволяли думать о независимой русской судьбе».

Разумеется, ничего этого нет: ни конфликтов, ни судьбы, ни рока, и уже в том, что он вновь вводит в обиход эти понятия, можно усмотреть главное преступление Солженицына. Есть еще весьма щекотливое сравнение МГБ с гестапо, которое видно хотя бы на одном-единственном примере — случае с эмигрантом и проповедником православия А. И. Дивничем. Я цитирую место, о котором идет речь: «Дивнич делал вывод не в пользу МГБ: истя-

зали и там и здесь, но гестапо все же добивалось истины, и когда обвинение отпало — Дивнича выпустили. МГБ же не искало истины и не имело намерения кого-либо взятого выпускать из когтей».

На мой взгляд, Солженицын здесь имеет в виду не гестапо вообще, а именно случай с Дивничем, который как-никак был эмигрантом и православным проповедником, и потому для допрашивавших его гестаповцев был, вероятно, не вовсе недочеловеком, а лишь наполовину. Быть может, Солженицын здесь в гневе слишком обобщает, но я отнюдь не собираюсь открывать два национальных счета, сравнивать и уравнивать их.

Как раз недавно я прочел труд Х. Г. Адлера «Управляемый человек. Исследование депортации евреев из Германии». В качестве информации о гестапо этой работы пока достаточно. Можно найти одного, двух или даже нескольких гестаповцев, которые были не такими уж скверными людьми.

Гестапо в целом было достаточно скверно, и, конечно, Солженицын в этом не сомневается. Подобные же сравнения не только щекотливы, они попросту невозможны, ибо здесь нельзя ни свести баланс, ни учесть все исторические различия, и вдобавок есть еще большая разница между пытками из идеологических соображений и убийствами из соображений мировоззренческо-расистских. Кроме того, существует некое ужасающее соперничество — особенно между немцами и русскими, которое выражается в том, что один говорит: «У нас было хуже», а другой: «Нет, у нас». Я вовсе не горю желанием уравнивать счета подобного рода.

Разумеется, нельзя сказать — и после прочтения «Архипелага Гулаг» вряд ли кто-нибудь так подумает, — что Солженицын недооценивает ужасы гестапо. Солженицын пишет: «Одно остается у нас общее и верное воспоминание гниловища — пространства, сплошь пораженного гнилью. Уже десятилетия спустя, безо всяких приступов злости или обиды, мы отстоявшимся сердцем сохраняем это уверенное впечатление: низкие, злорадные, злочестивые и — может быть, запугавшиеся люди».

Примем это определение и по-человечески примирительное, в два тире¹, упакованное «может быть» и откажемся в данном случае от национального соперничества русских и немцев, заключающегося в попытках определить, у кого было хуже. До чего же бессмысленно противопоставлять одни зверства другим, а для чилийцев, ис-

¹ В немецком переводе два тире. (Примеч. перев.)

панцев, греков или бразильцев, которых истязают сегодня, бесчисленные немецкие или советские зверства не могут служить утешением.

За исключением этой крохотной неточности, состоящей в том, что Солженицын вместо «гестапо» должен был бы написать «гестаповцы», я на протяжении почти 25 тысяч строк этой книги нигде не заметил фальшивого тона. Неповторимость этой книги еще и в ее композиции, интонации и инструментровке, в умении отобрать материал, отражающий развитие советского законодательства, судопроизводства и пенитенциарной системы, а также в точном отборе тех документированных деталей, иллюстрирующих каждую из стадий этого развития, которые, поскольку они по большей части «воспроизводятся», а не цитируются дословно, уже сами по себе — образцы стилистического мастерства, несмотря на их краткость.

Очень точны, хоть и редки, «чисто» литературные пассажи: «А видели только эту трубу (на крыше Лубянки, где заключенные гуляли.— Г. Б.), часовых на вышке на седьмом этаже да тот несчастливый клочок Божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой». И о Сталине: «Захотел он душеньку отмаливать?— так рано». Или: «День разделяет арестантов, ночь сближает». Или вот о своем арестантском чемодане, на котором он нащупывает старые шрамы: «Вещи памятьнее нас». Кому-то ведь нужно было открыть и выразить словами, что вещи памятьнее нас. В эту упоительную горечь перечислений и раздумий об ужасах происшедшего вплетается цитата из Маяковского:

И тот, кто сегодня поет не с нами,
Тот
 против
 нас!

Читая эту книгу, понимаешь, почему в Советском Союзе меньше, чем где бы то ни было, пишется об Уотергейтском скандале. Уотергейт — это так, жиденький супчик, и все-таки для его участников и жертв Уотергейт не так уж безобиден. Впрочем, сравнения всегда хромают. Если господин Жуков, комментатор советского телевидения, упрекал Солженицына в том, что он все еще роется в прошлом, то я позволю себе указать господину Жукову на небезызвестного графа Льва Толстого, который спустя пятьдесят лет после Бородина «рылся в прошлом», и то, что из этого получилось, называется «Война и мир». А когда бесценный господин Чаковский говорит и пишет: «Время работает на нас», то я могу лишь надеяться, что эта циничная шутка окажется весьма неудачной, и прав

будет Солженицын, который пишет: «Правда, она пробьет себе дорогу, кто же может ее удержать».

Вне всяких сомнений, в «Архипелаге Гулаг» развенчивается не только сталинизм, но и ленинизм. Оба «папочки» получают свое, и поделом! После первых глав, где заявлена генеральная тема, автор последовательно показывает развитие советского законодательства, судопроизводства и пенитенциарной системы в общем и в частности, глава за главой, с примерами и подстрочными комментариями. Все подтверждено документально, приводятся цитаты, в основном из Ленина и Крыленко и гораздо меньше из Сталина.

К примеру, смертная казнь отменяется, снова вводится, снова отменяется и снова вводится, но даже когда она якобы отменена, ее все-таки применяют. Выбор категорий наказуемых:

это могут быть бурят-монголы, казахи, татары, прибалты, а могут быть члены других партий, поток «стригущих колоски», жены «за неотказ от мужей», «не сдавшие радиоприемники и радиодетали», «африканцы» (русские, служившие в армии Роммеля в Африке и взятые в плен американцами), это и «генеральский поток», и поток «виновных москвичей», это и недоносители, повторники, «дети-мстители», «предельщики», кулаки, невозвращенцы, «непредрешенцы», Промпартия, ремесленники.

Есть рассуждение об искусстве ареста: «Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчлененные и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьезности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо еще и стариков в лагерь».

Разумеется, здесь не обходится и без нелепостей, иной раз даже комических, вероятно, они в самом деле характерны для Советского Союза: «При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их покойному посмертно присуждена Ленинская премия!)». После районной партийной конференции в Московской области в зале гремят «бурные аплодисменты, переходящие в овацию» в честь Сталина. Аплодируют три, четыре, пять минут — никто не отважи-

вается прекратить аплодировать, они аплодируют уже одиннадцать (!) минут, покуда присутствовавший там директор бумажной фабрики на этой одиннадцатой минуте ко всеобщему облегчению не перестал хлопать. Но в ту же ночь директора арестовали, он получил свои десять лет и предостережение следователя: «И никогда не бросайте аплодировать первый!» А вот еще знаменитый биолог Тимофеев-Рессовский (преступление — отказ вернуться на родину), которого, кажется, ничто не шокирует так, как чай, пролитый на пол на Лубянке: «Он увидит в этом разящий признак профессиональной незаинтересованности тюремщиков (как и всех нас) в делаемом нами деле. Он умножит 27 лет стояния Лубянки на 730 раз в году и на 111 камер — и еще долго будет горячиться, что оказалось легче два миллиона сто восемьдесят тысяч раз перелить кпяток на пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем сделать ведра с носиками».

И есть страшная и очень меткая шутка, когда начальник конвоя спрашивает заключенного, за что он получил двадцать пять лет, и тот отвечает: «Да ни за что», а начальник конвоя говорит: «Врешь. *Ни за что десять дают*». Незабываема юная эсерка Екатерина Олицкая, которая в 1924 году считала, что она *недостойна* сидеть в тюрьме, ведь она еще ничего для России не сделала.

Горчайшие главы посвящает Солженицын вернувшимся на родину или выданным Советскому Союзу военнопленным, и в самом деле: это особенно позорная глава отношений между Востоком и Западом. Солженицын: «Есть война, есть смерть: а плена нет!— вот открытие! Это значит: иди и умри, а мы останемся жить. Но если ты, и ноги потеряв, вернешься из плена на костылях живым (ленинградец Иванов, командир пулеметного взвода в финской войне, потом сидел в Устьвымыльаге)— мы тебя будем судить». И в другом месте: «За то, что не пожелал солдат умереть от немецкой пули, он должен после плена умереть от советской! Кому от чужих, а нам от своих. (Впрочем, это наивно сказать: за то. Правительства всех времен — отнюдь не моралисты. Они никогда не сажали и не казнили людей *за что-нибудь*. Они сажали и казнили, *чтобы не!* Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь...»)» И дальше: «Уцелевшие бухенвальдские узники *з а т о* и сажались в наши лагеря (за то, что выжили): как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения: тут что-то нечисто!» Тут уж и Чер-

чиллю с Рузвельтом достается, и по праву, за их «систематическую близорукость и глупость».

Я вспоминаю, как из внутренней *cade*¹ американского лагеря для военнопленных имел возможность наблюдать, как бывших русских военнопленных загоняли в вагоны и грузовики, многие из них кричали и сопротивлялись, но тщетно. Тогда нам еще не был ясен весь ужас происходящего, лишь позже мы поняли, в чем дело. Их везли в Архипелаг Гулаг.

О нет, здесь, в этой книге, вовсе не изливаются на советский народ потоки ненависти, эта книга призывает и требует очнуться наконец от глубоко укоренившегося в людях страха. Хоть эта книга создана на бесчеловечном материале, сама она глубоко человечна, и стиль ее уникален, и перевод выполнен кем-то, кто, видимо, говорит на обоих языках как на своем родном.

Чтобы читатель сразу же не впал в сострадательно-зادушевные раздумья, книга пересыпана грубыми и откровенными цитатами из жаргона заключенных — вроде «откупоренных женщин», «девяти грамм в затылок» и «четвертака» (что означает двадцать пять лет, а именно четверть столетия).

Здесь снято табу не только с истории генерала Власова, но и с истории Бухарина, который просто не мог поверить во все происходящее и все-таки вынужден был поверить. Какая драма, Сталин и Бухарин, все эти письма без ответа. «Дорогой Коба!» Всего вдосталь, и мрачности и абсурда. «Бывший чекист Александр Калганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма: «Шлите двести!» А они только что выгребли, и как будто «некого» брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея! Взятых милицией бытовиков переqualифицировать в 58! Сказано — сделано. Но контрольной цифры все равно нет! Доносит милиция: что делать? На одной из городских площадей цыгане нахально разбили табор. Идея! Окружили — и всех мужчин от семнадцати до шестидесяти загребли как Пятьдесят Восьмую! И — выполнили план!»

И конечно же, люди людям — рознь. Вот, например, командир Солженицына, вопреки предписаниям прощающийся с арестованным капитаном и желающий ему счастья. Цитата из Солженицына: «И вот удивительно: человеком все-таки МОЖНО быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников».

¹ Тюрьма (англ.).

Это каждого могло коснуться или *нет*, произвол был тотальным!

Реабилитация М. П. Я. была отклонена, «но в утеху назначена персональная пенсия за революционную деятельность! Каких только уродств у нас не бывает!».

Просто невероятно, что ответственные интеллектуалы вроде Жукова, Чаковского и Симонова не в состоянии постичь идею, заложенную в этой книге, а изо всех сил пытаются разыграть мрачнейшую из карт: народный гнев. Там, где каждого могут схватить, а могут и *не* схватить, нужно иметь какие-то нравственные устои, чтобы если уж не защитить автора, то хотя бы по меньшей мере не участвовать в его травле.

Меня эта книга поражает еще и тем, что, хотя чудовищнее темы быть не может, она не оставляет ощущения безнадежности или пессимизма. Не следует только ни на миг забывать, что кончается она 1956 годом, а с тех пор минуло уже восемнадцать лет. И если когда-нибудь выйдет третья часть «Архипелага Гулаг», то можно ожидать существенной разницы между нею и частями I и II, которые сейчас предложены нашему вниманию.

Ни один здравомыслящий человек на этом свете не может рассчитывать на переворот в Советском Союзе, но каждый может рассчитывать на перемены, и там, где все же существует помилование, может быть явлена и подлинная милость, милость к самим себе.

Поскольку Солженицын придает этому такое значение, нельзя забывать и о цене книги: 19 марок 80 пфеннигов за книгу такого формата и объема, тогда как любое издательство за милую душу и не моргнув глазом оценило бы ее в 32—34 марки. И это тоже вторжение в нашу треклятую систему калькуляции. Выходит, это возможно, и сделал это возможным не западный, а советский автор.

Так как автор ни в коей мере не претендует на праведность, то и сама книга не дает оснований для подобных претензий никому из ее читателей. Об этом не следует забывать, так же как и о том, что кончается она 1956 годом. Я позволю себе еще одну небольшую цитату с последней страницы этой книги: «Молодежь, сидящая в тюремных камерах с политической статьей,— это никогда не средняя молодежь страны, всегда немного ушедшая вперед». Только ли для Советского Союза это верно?»

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕГОДНЯ: ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

В конце двадцатых годов, когда мне было десять или одиннадцать лет, мой отец нанял себе помощника, который за убийство сидел в каторжной тюрьме и был помилован. За едой или встречаясь по вечерам мы спрашивали отца: «Ну, что подельывает твой убийца? Кого он отправил на тот свет сегодня?» Только через много лет я наконец-то понял, почему мой отец, далеко не лишенный чувства юмора, сердился на нас и запрещал нам подобные шутки. Он говорил приблизительно так: «Да, этот человек совершил убийство, но я считаю несправедливым то, что вы зовете его убийцей. Он раскаялся, начал новую жизнь, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы он узнал, как вы тут над ним подшучиваете. Да и над чем тут шутить — и убийство, и десять лет каторжной тюрьмы вовсе не подходящая тема для шуток! К тому же он очень одинокий человек». Как все это следовало понимать? Разве убийца не был убийцей, разве нельзя было его так называть? Разве могла быть лжесвидетельством правда, сказанная о ком-либо?

К самым ужасным людям я отношу тех, кто всегда говорит правду, всегда изрекает истины, в большинстве случаев неприятные, а иногда уничтожающие истины, почти всегда опирающиеся на неопровержимые факты; все, что они говорят, — голая, неприкрашенная правда — и все же на поверку она каким-то непостижимым образом оказывается ложью. Эти люди — не лжецы, они распространители истины, выполняющие функции судьи. Они говорят правду — и тем не менее клеветают. Неоспоримый факт, высказанный без полного понимания его сущности, вырванный из контекста, прозвучавший словно гром среди ясного неба, может оказаться куда вреднее и опаснее лжи. Правдолюбцы такого сорта могут на каком-нибудь званом вечере подойти к человеку и преспокойно сказать ему: «Вам наверняка известно, что ваша супруга обманула вас с тем-то и тем-то», — и такая правда может разрушить брак, стать причиной самоубийства, привести к настоящей катастрофе.

Вопрос заключается в том, кто имеет право на истину и кто правомочен ее произносить. Библейская заповедь — «Не лжесвидетельствуй против твоего ближнего» — справедлива для выступления перед судом и не имеет отношения к самозванным судьям, ревнителям чистоты нравов. Одно из умнейших требований иудейского закона заключается в том, что тот, кто возбуждает дело, предъявляет иск или доносит властям о совершенном преступлении, должен после уличения обвиняемого первым приступить

к исполнению смертного приговора, должен «бросить первый камень». О человечности этого требования говорит то, что благодаря ему в действительности приводилось в исполнение так мало смертных приговоров. «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Люди, таким образом, вправе представить себе каждого, кто выступает за какую-либо форму смертной казни, в роли палача.

Я думаю, вряд ли найдется более трудная профессия, чем профессия судьи, в каком бы деле ни приходилось ему устанавливать истину — в области жилищного, семейного или уголовного права, и я считаю, что вряд ли есть на свете что-нибудь более ужасное, чем самозванные судьи, стремящиеся по собственному почину предавать огласке людские слабости, преступления и неблагоприятные поступки и исправлять их. Конечно, можно попробовать улаживать конфликты, не прибегая к общепринятым юридическим процедурам, и не только посредством третейского суда. В сложных случаях можно спросить совета у друзей, обратиться к ним за помощью, можно даже проводить «допросы», если обе тяжущиеся стороны предоставляют такие полномочия и просят об этом; такая чисто совещательная, никоим образом не исполнительная функция может при случае оказаться весьма полезной. Кому из людей, хотя бы в отдаленной степени заслуживающих этого наименования, не приходилось в своей жизни сталкиваться с необходимостью выбора между «лжесвидетельством» и умолчанием, продиктованным чувством такта? Ведь люди не бывают только виновны или только невинны, их сущность никогда не исчерпывается лишь этими двумя категориями, у них есть еще и свои тайны, очень непростые, требующие весьма деликатного подхода, тайны, а не просто «секреты». Автору романа требуется не одна сотня страниц, чтобы хотя бы более или менее удовлетворительно изобразить с виду порой малозначительный конфликт.

Судья, всегда занятый свыше меры, в большинстве случаев не может позволить себе слишком глубокие обходные маневры или вдаваться в отнимающие слишком много времени тонкости; раз уж речь идет о «выяснении истины», для него не существует также никакого «такта», никакой «скромности», и нарушительница супружеской верности всегда будет нарушительницей супружеской верности, вор — воров, убийца — убийцей. Наша всеохватывающая и крайне запутанная судебная и пенитенциарная система не позволяет, чтобы человек, который доносит о совершенном правонарушении или обращается в суд с жалобой, обязан был «бросить первый камень» в осужденного. Может быть, существовай такое правило, наши суды

не были бы так перегружены, а тюрьмы — переполнены. Истины, добытые с помощью тщательного сыска, даже если они и представляют собой неопровержимые факты, должны скрываться в лабиринтах тактичного умолчания, их не следует использовать против кого-либо, в том числе и против политического или делового соперника.

Ни одна из десяти заповедей не представляется мне столь актуальной, как восьмая. В процессе обнаружения истины, связанной с возможным нарушением других заповедей, всегда, как известно, встает проблема свидетельских показаний, истинных или ложных свидетельств — кто уличает нарушившего супружескую верность, вора, убийцу? Тот, кто свидетельствует — ложно или истинно.

Широко известные, ставшие притчей во языцех, в большинстве своем вызывающие очень неприязненное чувство «моралисты», которых в Ветхом завете называли «пророками», никогда, в сущности, не действуют как частные лица — выполняемые ими функции всегда носят общественный характер. Мне вспоминается встреча Иисуса, который, согласно иудейской традиции, тоже ведь выступал в роли пророка, да, пожалуй, и считался пророком, с женщиной, уличенной в супружеской неверности; как мягко, как человечно обращался Он с ней — Он, который осыпал укоридами «прелюбодейный род». Стало быть, можно пользоваться в обществе репутацией моралиста, не обрушивая ни на чью голову проклятий, не унижая людей истинами, до которых никому нет дела. При этом не следует забывать, что и доносчики не всегда бывают лжецами — часто им вовсе и не нужно лгать. Когда кто-то шел в гестапо и сообщал о своем соседе: «Он бранил нашего фюрера, сидя в бомбоубежище», то ведь чаще всего это была чистая правда, но правда с убийственными последствиями.

Думается, и к восьмой заповеди, как и ко всем законам и заповедям, применима истина: «Суббота для человека, а не человек для субботы». В конце концов, альтернатива — говорить правду или лгать — далеко не единственная возможность, существует еще умолчание или просто молчание. Согласно трем из четырех Евангелий, Иисус, стоя перед судом, на большинство вопросов отвечал молчанием. Не знаю, было ли это молчание перед судом когда-либо достаточно подробно прокомментировано. Что это было — презрение к суду человеческому вообще или что-то вроде высокомерия «первого человека», человека в полном смысле слова; было ли это презрением к недостаточности, неполноте человеческого языка или осознанием того, что обвиняемый и судьи всегда говорят на разных

языках? Это молчание Иисуса перед судом заключает в себе какую-то тайну и в то же время полно смысла и значения; его можно было бы истолковать как «что вы можете знать!» или «не имеет смысла», и оно же может быть истолковано как результат знания, возвысившегося над временем и правом, правонарушением и молвой. И Тот, Кто молчал перед тем судом, знал, что решается вопрос о Его жизни и смерти. Можно ли назвать этого обвиняемого, по имени Иисус, только обвиняемым и подозреваемым — и никем больше, только человеком, подозреваемым в подстрекательстве к мятежу и свержению власти, в совращении, в предательстве, в ереси?

Почему Он молчал? Может быть, случилось так, что поэзия текстов и изречений, дошедших до нас из древности — не понятая ни в те времена, ни позже или, наоборот, слишком хорошо понятая, — была скрыта или погребена в перечне правонарушений? Вовсе не лжесвидетельствовали те, кто утверждал, будто Он сказал, что может разрушить храм и в три дня вновь построить его, разве мог Он предположить, что Его слова будут восприняты столь «реалистически»? Что, услышав о «строительстве», люди вообразят себе строительный раствор, мастерок, камни? Может быть, проблема ложного или истинного свидетельства — это, в сущности, вопрос о буквальном истолковании высказывания, и разве случайно, что одно время среди некоторых групп немецкого рабочего движения существовала традиция, предписывавшая принципиально хранить молчание на суде?

Я снова вспоминаю об убийце, которого отец запретил нам называть «убийцей». Может быть, мой отец не нашел бы, что возразить, если бы мы сказали об этом человеке — «человек, который однажды совершил убийство». Такое различие может показаться чересчур тонким, своего рода крючкотворством, и все же — я думаю, что люди как бы увековечивают наказание, навсегда связывая правонарушение — в данном случае убийство — с лицом, его совершившим, называя преступника «убийцей» и после того, как он отбыл наказание, — то же самое можно сказать и о любых других правонарушениях и проступках.

Очевидно, что буквальное значение определенных фраз и выражений далеко не ко всем применимо в равной степени. Вплоть до сегодняшнего времени, например, в порядке вещей называть двух политических деятелей, социал-демократов Вилли Брандта и Герберта Венера, «эмигрантами», придавая этому слову пренебрежительный, оскорбительно-клеветнический оттенок. Да, действительно, оба они на самом деле были эмигрантами, и один из них, Вилли

Брандт, вернулся в Германию в звании норвежского майора (об этом любят говорить — «в норвежской форме»!). Ведь были же не только «левые эмигранты», были и эмигранты правого, консервативного толка, и я не знаю, называли ли когда-нибудь, скажем, покойного барона фон унд цу Гуттенберга, который в свое время также эмигрировал, эмигрантом — в кавычках или без. Или взять одного из проповедников, читающих свои воскресные проповеди на политико-литературно-моральные темы, который интересен мне не своими проповедями, а тем, что он тоже был эмигрантом и вернулся в Германию одетым в американскую военную форму в качестве освободителя (я употребляю это слово без всяких кавычек, ибо испытываю уважение к судьбе, а не к воскресным проповедям!); его имя — Ханс Хабе. Услышал ли он от кого-нибудь хоть слово упрека в том, что вернулся на родину эмигрантом, одетым во «вражескую форму»? Как видим, одно и то же слово применительно к одному человеку звучит осуждающе, а по отношению к другому — если его вообще применяют — чуть ли не как почетное звание. В случае с Вилли Брандтом и Гербертом Венером упоминание неоспоримой, исторически доказанной, никем не опровергаемой детали их биографии превращается в «лжесвидетельство против своего ближнего», а в случае с господином фон Гуттенбергом и Хансом Хабе это не происходит.

Обладает ли буквальное значение слова «эмигрант» в одном случае менее, а в другом — более весомым качеством, служит ли так называемая «истина» или истина подлинная чьим-либо интересам? В данном случае она однозначно подчинена внутривнутриполитическим интересам, и вот что любопытно — в одном случае высказывание гарантировано приобретает клеветнический оттенок, в другом — этого с гарантией не происходит, и никто из тех, кто не подвергался диффамации, не пытается или не пытался возразить против злоупотребления буквальным значением слова «эмигрант» по отношению к своим политическим соперникам. Да, Герберт Венер был коммунистом, когда эмигрировал из Германии, а Вилли Брандт, как утверждают его недоброжелатели, был почти коммунистом. Я не считаю оскорбительным высказанное хотя бы в виде намека мнение о том, что человек является коммунистом или почти коммунистом, что он является или когда-то был эмигрантом. Только теперь, после того как по достоинству было оценено сопротивление, оказывавшееся Гитлеру консерваторами, либералами и социал-демократами, в Федеративной Республике робко пытаются воздать должное и коммунистическому Сопротивлению —

после почти тридцатилетнего отрицания этого факта. И по сей день само слово «коммунист» звучит как оскорбление или ругательство, адресованное и тем, кто разделяет идеи коммунизма, и людям, далеким от него, вовсе не считающим самих себя коммунистами. Что же происходит с истиной, если слово, по природе и по происхождению своему вовсе не имеющее бранного значения, приобрело столь негативную окраску, что его уже почти невозможно «отмыть»?

Мне вспоминается, что, когда я служил в частях германского вермахта, набранных из земель, где к католикам относились крайне отрицательно, меня, как католика и как человека, считавшегося «католиком», воспринимали с громадным недоверием, порой чуть ли не как изгоя, отверженного; вспоминается — не менее мучительно — и прямо противоположное — этакое похлопывание по плечу, символизировавшее тотальное всепринятие; я помню, как в детстве был свидетелем религиозных свар между протестантами и католиками, а также и социалистами, которые считались атеистами, а самыми вредоносными, самыми злонамеренными в той среде, из которой я был родом, слыли либералы. Совершенно верно отмеченное качество человека превращалось в «лжесвидетельство против ближнего своего», и отличительный признак, которым человек наделялся вне всякой зависимости от его личной вины или невинности, становился дискриминирующим фактором. Я испытываю некоторую робость перед названиями, хотя и должен признаться, что порой все же мне удается преодолеть ее. Со временем слова «профессор» и «студент» приобрели почти дискриминирующее звучание, они — так же, как слова «коммунист» или «реакционер», — стали играть роль, которую в годы моего детства играли слова, обозначающие принадлежность к тому или иному вероисповеданию. Дама, которая в определенном кругу людей признается, что любит готовить, тем самым уже совершит чуть ли не лжесвидетельство против самой себя, — своим невинным и безобидным признанием она вызовет целые потоки брани и несправедливых обвинений, которые обрушатся на ее голову, тогда как в другой компании реакция будет совершенно иной, что, вполне вероятно, столь же мало придется ей по вкусу, ведь вопросу о том, готовить или не готовить, она придает столь же мало идеологического значения, как и вопросу о том, какие носить волосы — светлые, длинные или короткие — это же признание вызовет столь же мучительные для нее симпатии, похвалы, ее, может быть, станут пре-

возносить как женщину, которая «открыто говорит о своем женском предназначении», — а ведь у нее и намерения такого не было, она просто хотела сказать, что любит готовить.

Необходимо освободить слова и их буквальные значения, прежде чем использовать их в качестве свидетельств. Необходимо вырубить обступившие их заросли, все, чторосло вокруг них, и убрать все, что свалено в этих зарослях. Говорить о таких примитивных и, как правило, трудно доказуемых вещах, как, скажем, клятвопреступление или беззастенчивая ложь, мне представлялось не столь уж неотложным делом. Они подобны внезапному нападению, от которого нет защиты. Последствия их, независимо от того, произошло ли это в ходе официального судебного процесса или частным образом, ужасны — от этого люди заболевают, нередко исход смертелен; в большинстве случаев против лжесвидетельства или лжи нет никакой защиты. Такого рода «лжесвидетельство против своего ближнего» в лучшем случае может стать темой романа или повести; клевета, против которой человек не менее беззащитен, также слишком очевидное «лжесвидетельство». Я же порой вспоминаю убийцу, действительно совершившего убийство, но которого нам не разрешали называть «убийцей», и еще чаще вспоминаю своего отца, который объяснял нам, почему мы не должны называть убийцу убийцей.

1975

ВРЕМЯ КОЛЕБАНИЙ — ЦАРЬ И АНАРХИСТЫ

О романе Юрия Трифонова «Нетерпение»

Парижская гадалка, цыганка, предсказала царю Александру Второму, что он переживет семь покушений. Шестое было совершено в феврале 1880 года, подтвердив истинность предсказания. Столяр Степан Халтурин сумел тайком пронести в Зимний дворец добрых полтораста килограммов динамита, — но после того, как в царских покоех прогремел ужасающей силы взрыв, выяснилось, что царь остался жив и невредим. Халтурин покинул дворец загодя, в те минуты, пока еще тлел зажженный им бикфордов шнур, — солдаты, дежурившие в тот день в дворцовой кордегардии, и несколько человек из дворцовой челяди уйти не смогли. А всего несколько недель спустя, 1 марта 1880 года, Александр Второй, вопреки всем дурным предзнаменованиям (накануне вечером, играя в вист, он случайно задел рукой и сбросил со стола свою собст-

венную фотографию), решил выехать из дворца, чтобы принять парад войск в манеже, а потом отправиться к любимой кухне на чашку чая. Мог ли он подозревать, что седьмое покушение тайло в себе следующее — восьмое (двойное покушение, планировавшееся как тройное, — девятым по счету должен был стать удар кинжалом, державшийся заговорщиками, так сказать, в резерве, — нанести его должен был Желябов, арестованный накануне, буквально в самый последний момент)? Царь благополучно пережил седьмое покушение, выстрел Рысакова, и погиб от восьмого — от бомбы Гриневицкого, брошенной несколькими секундами позже.

Подготовка и осуществление этого наконец-то удавшегося покушения (как и нескольких неудачных) и составляют сюжетную основу «Нетерпения», удивительной книги, написанной Юрием Трифоновым.

Трифонов продолжает русскую литературную традицию, сочетающую напряженный динамизм действия с «глубоким дыханием» эпоса, не впадая при этом в крайности банального бытописательства и отвлеченного философствования. Надо при этом отдать должное исключительно удачному переводу Александра Кемпфе, ибо читатель не перестает поражаться, что же это за страна, где писатели не только буквально на каждом шагу находят материал для написания таких романов, но и эти романы пишут. Мне кажется, есть вещи, на которые нам следовало бы обратить особо пристальное внимание, — и не только в творчестве Трифонова или Войновича. В романе Трифонова автор никого не судит, не казнит; он не придерживается никаких клише — ни идеологических, ни литературных. Образы революционеров, создаваемые им, менее всего напоминают иконы; Трифонов не ориентируется ни на какие критические стереотипы, заставляющие отнести роман к определенной жанровой категории. За трагивая практически неисчерпаемую тему — феномен «русского нигилизма и анархизма XIX века», — Трифонов изображает революционеров — крайне разнородную социальную группу, историческая роль которой давно стала предметом научного анализа, — далеко не только как людей, занятых исключительно подготовкой и осуществлением различных антиправительственных акций, хотя и показывает, как много сил отдают они этой деятельности, напротив, в гораздо большей степени его внимание привлекают бесконечные споры, которые ведут эти люди на своих вечеринках и сходках, переживающие и радостные

минуты единения и солидарности, и периоды разобщенности и распада организации, воссоздаваемой силами двух человек — Андрея Желябова и Александра Михайлова по кличке Дворник, образы которых, поражающие воображение, лишены малейшей агиографической окраски. Не только царь испытывает на себе власть «судьбы» и предсказаний таинственной «цыганки» — этой власти подчинены и революционеры — несмотря на все их планы, на всю их идеологическую вооруженность. Хотя в романе много событий, много поступков, мне все же кажется, что действию как таковому в нем отводится второстепенная роль; на первом плане — процесс распада группы революционеров, происходящий как в силу внутренних причин, так и под влиянием внешних обстоятельств. Трифонов соединил в этом романе черты различных жанров романа — исторического, психологического, исповедального и детективного; эти жанры образуют в его романе сложное единство.

Бесконечные теоретические дискуссии, соперничество, ревность, безрассудство, влюбленность — и в конце концов все это завершается серьезным, очень серьезным, единодушно принятым решением об убийстве царя; это деяние, которое по замыслу его исполнителей должно послужить делу освобождения, положить начало всенародному восстанию, приводит лишь к смене политического курса правительства, — вместо сывущего либералом Лорис-Меликова после воцарения Александра Третьего к власти приходит глава российских реакционеров, Константин Победоносцев, и еще накануне убийства царя на улицах начинают «хватать подозрительных, очкастых, длинноволосых».

С обеих сторон — не только шпики и лазутчики, но и предатели. Одним из важнейших персонажей романа является Николай Клеточников — невзрачный человек с типично мещанской внешностью. В качестве осведомителя революционеров он внедряется в службу тайной полиции, оставаясь надежнейшим соратником заговорщиков вплоть до своего печального конца; мотивы его деятельности и по сей день не выяснены. Во всяком случае, этот вызывающий чувство жалости человек с внешностью и манерами обывателя держится куда лучше, чем Гришка Гольденберг, человек блестящего ума, крайне высоко оценивающий свою роль в революционном движении, гроза царских сатрапов, убийца генерал-губернатора Кропоткина — попавшийся на удочку первому же шпику-провокактору, поверивший шитым белыми нитками посулам и гру-

бой лести прокурора. И в последний раз — перед тем, как невольное предательство Гольденберга вот-вот готово совершиться, — революционеров вновь объединяют их цель — убийство царя — и утопическая мечта: «Последнее убийство — какое искушение! А потом наступит царство Разума. Справедливость восторжествует».

Нетерпению заговорщиков соответствуют «колебания почти мистической силы», охватившие царя и его советников, которые вновь и вновь откладывают давно назревшие реформы. Накануне своей смерти царь подписывает указ о выборных людях! Насилие, полицейщина, страх, хаос, бестолковщина — вся эта почти не поддающаяся определению мешанина пронизывает «время колебаний», наполняет все поры этой эпохи. «Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат». Вот что Халтурин рассказывает о порядках во дворце: «Вообще, неряшество и бестолочь во дворце страшные. Это, конечно, нам на руку, но все ж таки удивляешься вчуже: до чего безмозглый народ поставлен руководить!»

Мрачно в царской семье. Даже любовные утехи не приносят императору былой радости. Давно стала уродливой и безнадежно больной старухой бывшая гессенская принцесса, когда-то покорявшая юной свежестью, — а тут еще изволь принимать ее родственников, явившихся с визитом! Как ненавистна царю эта «гессенская кислятина» на лицах чопорных посетителей. И все что-то витает в воздухе, что-то мерещится, словно подстерегает, — то ли несчастье, то ли нездоровье, то ли тлеющий бикфордов шнур...

По сравнению с мрачно настроенной царской семьей заговорщики бодры, почти безмятежны. Знать не желающие ни цыганок, ни их предсказаний, не верящие ни в сон, ни в чох, презирающие неряшество и бестолочь, они знают, что им предстоит. «Желябов, — звучит в романе «голос Фроленко», — спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь». Они отмечают праздники, поют, пьют, танцуют, они ведут свои словесные перепалки по всем правилам риторики, прямо-таки с профессиональным ораторским наслаждением, их листовки написаны блестящим слогом, их подпольные типографии, то и дело проваливающиеся, мгновенно возникают вновь и работают, как и прежде, на полную мощь. Конспиративные встречи превращаются в пикники. Через весь роман проходит тема любви между «юной генеральской дочерью», ныне ярой заговорщицей Соней Перовской, и Андреем Желябовым — тема, которой автор касается бережно, целомудренно и нежно. Именно так описывает он убогую комнату, где происходит встреча этих

людей: «И в этой комнате была любовь, не имевшая ни прошлого, ни будущего, ни надежд, ни рассвета. Очищенная от всего, она упала, как снег, и ее судьба была судьбой снега: исчезнуть».

Над ними витают не только призраки несчастья, невзгод и дымящегося бикфордова шнура, им угрожают и последствия предательства, совершенного Гришкой Гольденбергом,— жертва собственного тщеславия, сначала он совершает его на словах, в припадке болтливости, а потом на бумаге — обстоятельно, со всеми подробностями. Слишком поздно осознает он свою ошибку — а осознав, кончает жизнь самоубийством. В этот роковой день, 1 марта 1880 года, беда настигает не только царя, но и заговорщиков, которым Клеточников уже не в силах помочь. «Запальные шнуры» пролегли по обеим сторонам баррикады — взрыв поражает царя лишь несколькими часами раньше, чем его убийц. После их ареста возникает новая разновидность предателей — теперь предатель опознает заговорщиков, разглядывая их сквозь незаметное отверстие в стене, и рассказывает все, что знает об их роли, их деятельности. И делает это не кто иной, как престный Иван (Ваничка) Окладский — тот самый, чудесный, веселый, никогда не унывающий, всеми любимый мальчуган, мастер на все руки, готовый и бомбу под поезд подложить, и чем угодно услужить, куда угодно сбегать,— это он, официально приговоренный к смертной казни, целых тридцать семь лет, с 1880 по 1917 год, получал от департамента полиции жалованье и только в 1925 году был разоблачен как провокатор; к тому времени шустрый, живой Ваничка давно превратился в старика с пустыми и холодными глазами. Наконец, есть еще третий вид предателей, «коронных свидетелей», дающих суду и следствию показания о революционерах,— таков девятнадцатилетний Николай Рысаков, которому Трифонов также дает слово: «Но что я мог рассказать, какие тайны раскрыть? Одно я знал основательно, одну тайну постиг: тайну голода. Я голодал, если так можно выразиться, по всем статьям. Меня терзал обыкновенный голод по куску мяса, и голод по лишнему рублю, чтобы зайти в лавку и купить башмаки, и голод по людям, голод по женщинам. ...Даже за пять минут до казни Добржинский (тот самый прокурор, в чьи сети угодил Гришка Гольденберг) из меня что-то выпытывал. А я все верил. И уж саван надели, петлю накинули, а я еще верю, что мне сейчас будет пощада объявлена; палач из-под меня скамейку вышибает, а я за скамейку ногами цепляюсь — цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, потому что надеюсь до последней секундошки!»

А потом еще будет допрос Желябова, который объявляет себя «последователем Иисуса Христа, признающим сущность его учения»: «Это учение занимает почетное место в кругу моих нравственных принципов». А ведь такое, согласитесь, не очень-то отвечает требованиям канонического жанра «жития» заговорщика — классово и идеологически «чистого». Помимо того, Желябов, в глазах которого и этот допрос, и последующее выступление на суде в присутствии прессы и общественности — всего лишь неотъемлемая часть революционной борьбы, использует любую возможность для ведения пропаганды, чтобы тем самым сеять страх перед несуществующей гигантской организацией заговорщиков.

Одно понимаешь в конечном итоге — да это было бы ясно и тому, кто не имеет ни малейшего представления о последующем ходе истории, — весь этот ужас, весь этот мрак, все эти тлеющие запальные шнуры, все это будет продолжаться до последних дней этой несчастной империи, когда во главе ее будет стоять сумрачный кунктатор «Ники». Ошеломляющее воздействие романа Трифонова заключается в следующем: события современной истории, происходящие на наших глазах, оборачиваются предвосхищением; повинясь магии романа, читатель словно переселяется в год 1880-й, когда предугадывалось все, о чем мы сейчас «просто» знаем. Историческая хронология расплывается в месиве форм, в сплетении различных типов романа, где исторический жанр образует лишь рамку, окаймляющую вневременность проблем. И еще одним важным дополнительным знанием обогащаешься благодаря весьма содержательному биографическому комментарию автора к последующей судьбе своих героев, — избежавшие петли революционеры дожили до глубокой старости. Якимова — до восьмидесяти шести, Вера Фигнер, также появляющаяся в романе, — до девяноста.

1975

ПО ПОВОДУ ПРИСУЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА АНДРЕЮ САХАРОВУ

Интервью с Юргеном Рюле 9. 10. 1975

Ю р г е н Р ю л е: Сегодня получил Нобелевскую премию мира Андрей Сахаров, человек широко известный. Но в сущности мы знаем о нем только две вещи, впрочем, обычно немаловажные: что это, во-первых, один из крупнейших физиков-атомщиков Советского Союза, отмеченный многи-

ми орденами, орденом Ленина, Сталинской премией, а кроме того — что он уже в течение многих лет один из самых отважных борцов за права человека в Советском Союзе. Вы, господин Бёлль, знакомы с ним лично и, думаю, хорошо представляете условия, в которых ему пришлось работать. Для вас это неожиданность?

Г е н р и х Б ё л л ь: Да, присуждение такой премии, на которую претендуют очень многие, я думаю, всегда неожиданность. Но хотел бы подчеркнуть, что это весьма приятная неожиданность, это, по-моему, замечательно, и хотя я прямого отношения к таким делам не имею, я вместе со многими, многими другими даже позволил себе выдвинуть господина Сахарова на эту премию.

Ю. Р.: Да, я надеюсь, мы об этом еще потом поговорим, тем более что вы один из немногих, кто знаком с ним еще и лично. Но вначале нам хотелось бы привести запись одного телефонного разговора. В разгар кампании против Сахарова, в 1973 году, одной из многих кампаний против него, наша редакция беседовала с ним.

(Следует текст беседы.)

Ю. Р.: Господин Бёлль, вы слышали, это было два года тому назад. Сахаров считает, что ваша активность и вообще то, что делалось для его защиты на Западе, принесло пользу. Могли бы вы утверждать это и сейчас? Вы уже об этом упоминали.

Г. Б.: Конечно, я и сейчас продолжаю считать, что постоянные протесты, неослабное внимание к происходящему в конце концов дают результаты. Мы, например, убедились — говоря «мы», я имею в виду также своих коллег, — что, скажем, в случае с Амальриком международный массированный протест оказал даже воздействие почти непосредственное.

Ю. Р.: Мне кажутся обоснованными опасения, что присуждение Нобелевской премии Сахарову может иметь те же последствия, что и в случае с Пастернаком или Солженицыным, а мы ведь их знаем... нужно ли с этим считаться? Следует ли с этим считаться?

Г. Б.: Разумеется. Я думаю, Сахаров готов считаться и с такой опасностью... не думаю, что это непосредственная физическая угроза. Но в любом случае, когда ты в стране совершенно изолирован и удостоился такой чести, это добавляет нового немалого напряжения, но я совершенно уверен, что он готов к такому напряжению не только потому, что это честь для него, ведь он в данном случае говорит, он вообще говорит, что не придает лично себе

такого уж большого значения, и тут бы я с ним поспори́л... но с другой стороны, это честь для всей явной и неявной оппозиции в Советском Союзе. Существует же и неявная оппозиция. Так что он рад этому, как мы все, и я надеюсь, что Советское правительство не допустит вновь таких грандиозных глупостей, как с присуждением Нобелевской премии Солженицыну и Пастернаку.

Ю. Р.: Тут ведь в сущности еще и нет никакой логики. Коллеги Сахарова, входившие с ним в одну «атомную команду», которая, между прочим, работала над созданием водородной бомбы, получили Нобелевскую премию и удостоились, естественно, высоких почестей, в Советском Союзе ими очень гордились, то же самое было с Шолоховым, все были счастливы и горды, а в случае с Пастернаком — нет, с Солженицыным — опять нет, со следующим опять может быть что-нибудь, даже не знаю...

Г. Б.: Да, конечно, не следует забывать, что Сахаров получил не Нобелевскую премию по физике, которую он, возможно, тоже заслужил, он получил Нобелевскую премию мира, у которой совершенно другой статус, и обоснования тут тоже другие. Его деятельность в защиту прав человека в Советском Союзе, его значение для таких международных организаций, как Международная амнистия, которые занимаются подобными делами. Но мне кажется, получи он Нобелевскую премию по физике, из Советского Союза не прозвучало бы никакого протеста.

Ю. Р.: Надеюсь, и сейчас не прозвучит.

Г. Б.: Я так не думаю. Там умеют отделять одно от другого. Его заслуги и, очевидно, большой талант, его гениальность как физика. Ведь его значение и опасения, которые он вызывает, порождены именно этим сочетанием: он крупный ученый, занявшийся при этом политикой.

Ю. Р.: Да, конечно, о таком писателе, как Солженицын, в Советском Союзе можно говорить, что он плохой писатель. О политике можно что угодно писать, но о физике не очень-то.

Г. Б.: То-то и оно, если они сами же его и награждали и, очевидно, все еще нуждаются в нем как в физике. Я думаю, надо подчеркивать, что Сахаров, все еще являясь членом Академии наук, как физик очень важен и очень нужен в Советском Союзе.

Ю. Р.: Вы знакомы с ним лично. Я бы хотел с вами поговорить еще об этом. Итак, человек, участвовавший в создании водородной бомбы в Советском Союзе, теперь с необычайным мужеством борется также за гражданские права,

а главное, за мир и взаимопонимание. Тут с самого начала есть какое-то противоречие, коренящееся, видно, в его личности. Могли бы вы нам что-нибудь об этом сказать?

Г. Б.: Я не вижу никакого противоречия в том, что человек, являясь физиком, одновременно принимает участие в известных процессах. Можно бы только пожелать, чтобы еще больше физиков, занимавшихся атомным оружием, переключились бы во всем мире на проблемы защиты окружающей среды. Главной заслугой Сахарова было то, что он первый из мировых ученых, всемирно известных ученых, обратил внимание на экологические проблемы. Кажется, году в шестьдесят седьмом — шестьдесят восьмом он выпустил обращение, вызвавшее международный отклик. Я не вижу никакого противоречия в том, что физик одновременно выступает в защиту гражданских прав. А мог бы и врач... я этого не понимаю.

Ю. Р.: Вы безусловно правы. Наверное, ответственность тут даже больше.

Г. Б.: Конечно, он ведь, насколько мне известно, направил в свое время Хрущеву обращение, где рассматривал вопросы атомного вооружения в связи с экологическими проблемами, и Хрущев к нему прислушался, то есть воспринял это предостережение с пониманием. Я думаю, это и было началом его пути к борьбе за гражданские права, вообще против угрозы человечеству.

Ю. Р.: Хотел бы еще рассмотреть проблему уже с точки зрения Советского правительства. В последней книге Сахарова, с которой я знаком лишь отчасти и где даже в заголовке есть слово «Родина», содержится, однако, весьма резкая критика в адрес собственного общества. И Советское правительство, которое, как и всякое правительство, конечно, старается создать о себе хорошее впечатление, упрекает его — возможно, тут не следует обобщать, но и лучше ведь не стало, мало что изменилось — короче, я вам хочу задать вопрос, потому что у нас так тоже спрашивают: где же позитивное? Действительно ли это проблема для страны, для Советского Союза? Другими словами, Нобелевской премии удостоен человек, очень резко критикующий свою страну. Трудно ли это вытерпеть стране?

Г. Б.: Нет, это надо воспринимать как честь, надо наконец понять, и в Советском Союзе, и везде, что критика — это испытание. Сахаров подверг таким образом критическому экзамену положение дел в своей стране — социальные, политические, этнические проблемы — и на-

шел их такими, как он об этом пишет. У нас тоже критика сразу начинают считать врагом. По-моему, и во всем мире так. В Америке, Испании, Франции или Федеративной Республике. Разница лишь в том, что столь уважаемому человеку в любой другой стране разрешили бы выехать за границу, и я считаю крайне важным, чтобы Сахаров не только приехал в Осло, но чтобы он вообще получил право ездить, чтобы все его коллеги, и писатели и музыканты, кто угодно, могли свободно путешествовать по миру, не опасаясь, что их больше не пустят обратно.

Ю. Р.: Это, по-моему, действительно проблема.

Г. Б.: Эта невозможность ездить, необходимость получать информацию только из вторых рук, способна породить много ошибок и недоразумений, да, попросту говоря, недостойно, когда — возьмем ли мы физиков, писателей, врачей или актеров — выезжает сплошь и рядом отобранная клика функционеров, которая привозит фальшивую информацию нам и фальшивую же информацию привозит обратно. По-моему, это одна из главных проблем. И эта проблема, к сожалению, не нашла достаточно четкого выражения в третьей корзине Хельсинкского совещания. Вы понимаете меня?

Ю. Р.: Да, я как раз был в Москве, я только что вернулся. У меня сложилось впечатление, что, вопреки нашим подозрениям, Советский Союз все-таки довольно серьезно относится к этой третьей корзине, то есть к свободе поездок, свободе информации, а это дело нелегкое для такой страны, для тоталитарного государства.

Г. Б.: Да, по сравнению с тем, что творилось в последние пятьдесят лет, это было бы почти революцией. У нас уже есть опыт с Союзом писателей. Приезжают все время одни и те же люди, с теми же самыми аргументами, такие же двуличные; посмотришь, вроде бы вполне милые. Но как только доходит дело до речей, начинается та же идиотская, скучная жвачка. Настоящего разговора между интеллектуалами Востока и Запада еще не состоялось ни разу. Разве что как-нибудь в Москве, неофициально. Как я неофициально говорил с Сахаровым.

Ю. Р.: Да, я думаю, что в каком-то смысле для Советского Союза Сахаров хороший переводчик.

Г. Б.: Наверное.

Ю. Р.: Во всяком случае, лучше этих проповедников.

Г. Б.: Да, конечно. И, кстати, о разговоре, который был между нами, мне сейчас вспомнилось: он попросил нас, меня и мою жену, рассказать подробнее про Запад-

ную Европу, как там функционируют большие города, и маленькие, и промышленность,— как раз в той области, где мы живем, скажем, между Амстердамом, Антверпеном и Кёльном. Его такие вещи интересуют. И человеку такого ума приходится искать возможность узнать что-то из первых рук.

Ю. Р.: Мне кажется, Советский Союз вдруг, совершенно неожиданно подвергнется экзамену на Хельсинкские соглашения, без всякой, разумеется, провокации, но... то был Спасский со своей женитьбой или вот сейчас... этот экзамен для Советского Союза будет продолжаться непрерывно.

Г. Б.: Да, и будет позор, если Сахаров не сможет приехать в Осло и если потом он не получит возможности, во всяком случае, когда сам пожелает, познакомиться с Западом, с его позитивными и негативными сторонами.

Ю. Р.: Движение за права человека, за гражданские права в Советском Союзе, которое он возглавляет, в последние годы, говорят, оказалось перед лицом кризиса. По двум, собственно, причинам. С одной стороны, из-за того, что значительной части людей разрешили выехать или их выслали, как Солженицына. То есть множество деятелей правозащитного движения оказались на Западе. А как говорил Осецки, речи эмигранта не доходят до страны. Другая часть попала в лагеря, в психиатрические заведения, оказалась сломлена. Это привело к ослаблению правозащитного движения. Вы часто бывали там, вы знаете многих из них. У вас такое же впечатление?

Г. Б.: Нет, у меня нет такого впечатления. Конечно, движение ослаблено человеческими потерями, добровольной или недобровольной эмиграцией. Но я думаю, эти потери восполнятся, пополнения, то есть новой поросли, там больше, чем мы здесь думаем. И я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз напомнить о судьбе Буковского, молодого и храброго борца этого движения, который все еще находится в заключении.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БРАТСТВО

Беседа с Хансом Юргеном Шульцем (Зюддойчер Рундфунк)
24. 12. 1975

Х а н с Ю р г е н Ш у л ь ц: Господин Бёлль, почему все рассуждения о братстве (а их мы встречаем не часто) странным образом столь неудовлетворительны? Воз-

можно ли, что этому есть чисто языковое объяснение? Само понятие «братство» представляется недостаточно полным, производит впечатление затасканного, идеологизированного, порой фанатического либо сугубо официального: существуют люди, которые по службе называют друг друга «брат». И естественно задаться вопросом, покрывает ли слово «братство» это понятие и не следует ли подыскать иное, может быть, даже не одно, а несколько, которые бы лучше, точней, полнее выразили то, что подразумевается под определением «братство».

Г е н р и х Б ё л л ь: Тут, конечно, первым приходит на ум термин «солидарность», который — не случайно, надо полагать — взят на вооружение множеством политических групп, а также идеологией взамен слова «братство». Но сколько я могу вспомнить, в послевоенной Германии слово «братство» употреблялось лишь в сочетании со словом «неделя» — «неделя братства», повторяю — употреблялось, но не было наполнено живым содержанием. Поначалу думали ограничиться отношениями евреев — христиан-немцев, и братство никоим образом не воспринимали социально. В те времена «неделя братства» была, собственно, лишь флагом, который вывешивают ровно на неделю. За эту неделю происходило немало хорошего: много заслуживающих внимания докладов и дискуссий; но никто не прослеживал понятие «братство» до истоков, то есть хотя бы до Великой французской революции, и никто никогда не постарался раскрыть понятие во всей его полноте. Подозреваю, что по этой причине оно и захирело.

Х. Ю. Ш.: Братство размазали торжественными речами. А какую неслыханную провокацию таит в себе это слово, все больше и больше замалчивали. Сделать братство гвоздем какой-нибудь недели столь же прекрасно, но и столь же недостаточно, как заключать перемирие на период от Рождества до Нового года. Почему, собственно, не были сделаны выводы? Почему братство было низведено до уровня моральной и в конечном счете аполитичной категории?

Г. Б.: Вспомните, к примеру, общественные рамки, в которых проходили мероприятия: чего стоит эта пышность, туалеты, оформление! Присутствуют сплошь господа и несколько дам. Но вот уже и прозвучало ключевое слово. Я нахожу, что, когда говорят о братьях и братстве, надлежит говорить и о Господе, который отнюдь не брат. Надо уяснить себе и попытаться понять, как слово «Господь» вообще попало из Нового завета в нашу теологию

и наш церковный язык. У меня, между прочим, вызывает сомнение точность перевода — сперва с древнееврейского, потом с греческого. И если представить себе, как менялось значение слова «Господь» (господин, господин — помещик, господин — князь церкви, то есть речь идет о вполне четком классовом понятии), то можно, как мне кажется, сказать: Господь есть некто владеющий и повелевающий — и тем самым новозаветное братство или братское начало в лице Иисуса полностью утрачено. Словосочетание «Господь наш Иисус» мне совершенно чуждо, оно содержит внутреннее противоречие. Вот почему я думаю, что сперва надо подробно поговорить о господах, прежде чем перейти к братьям.

Х. Ю. Ш.: Если к понятию «братства» подойти с этих позиций, то оно оказывается чрезвычайно заострено и, возможно, не поддается полной замене другими понятиями, как, например, солидарность.

Г. Б.: Я того же мнения.

Х. Ю. Ш.: С другой стороны, опасность, что понятие «братства» может быть истолковано или, если угодно, ложно истолковано как некое ограничение, например, как мужское ограничение...

Г. Б.: И это верно.

Х. Ю. Ш.: Во всяком случае, под «братством» подразумевается конец отношения господин — слуга, которое наверняка играет среди нас роль куда более определяющую, нежели о том способен судить человек поверхностный и равнодушный.

Г. Б.: Да — но тем самым речь идет о конце обусловленной милосердием милости. Разумеется, «господин» может быть милостив. Он может быть милостив, потому что он господин; он может одарять, быть ласков и великодушен, он даже может прощать — тогда как между братьями, если воспринимать понятие «братство» всерьез, не существует подобной формы милости в смысле милосердия. Ведь недаром же говорят «милостивый господин», «милостивая госпожа». Все это надлежало бы тщательно исследовать с языковой точки зрения и выяснить происхождение. В ходе развития, иными словами, в связи с систематическим построением иерархической лестницы, структуры которой скопированы у государства, носят милитаризованный характер и, следовательно, могут, к примеру, брать начало в римской армии, произошло переосмысление старых значений новозаветных понятий. В церковной иерархии сверху от епископа через капеллана

до «верующего профана» вы можете без труда опознать армейскую структуру соподчинения от генерала через лейтенанта до стрелка имярек. Тут речь может идти единственно о милости господина к подчиненному, а никак не о братской милости. Потому и не приходится удивляться, что католические священники с самого начала воспитываются как господа. Я вспоминаю по рассказам знакомых либо из семейных преданий, что тех, кого в крестьянской семье предназначили для служения Богу, уже с детства называли «господинчик» и что в большинстве случаев для них — хотя застольные обычаи в деревне по-братски просты, там едят из одной миски и тому подобное — с десяти, с двенадцати лет отдельно накрывали на застеленном скатеркой столе, давая им салфетку, нож, вилку, тарелку. То есть всякое подобие братства тем самым бывало задушено в зародыше.

Х. Ю. Ш.: И вы считаете это типичным? Что же тогда из этого следует?

Г. Б.: Да нет, я вовсе не хотел бы так долго об этом распространяться или настаивать на этом. Но эту систему, эту структуру с ее более или менее тайными иерархиями, которые кое-кто охотно брал под защиту как демократический процесс, поскольку и впрямь в церковной среде крестьянский сын мог сделаться папой, — я как демократическую не воспринимаю. Если какой-нибудь так называемый выходец из низов попадает в класс более высокий, тогда его и воспитывают и преподносят как господина, и чем успешнее был его подъем, тем больше верноподданнических чувств он вызывает у остальных. Это совсем не по-братски, это лишь очередное утверждение до- или антибратского мира. Эти небратские структуры, в которых правит господская милость, а не милосердие, можно наблюдать везде, вплоть до монастырей. И так повсюду, в любой сфере. И в области литературы, и в живописи, и в актерской среде. Институт звезд по сути представляет собой не что иное, как сотворение господина. Слава богу, в сфере искусства это не столь ярко выражено и не столь опасно. Но это так задумано, так построено и должно приостановить и разрушить потенциальное братство. Я даже не думаю, что это делается сознательно. Оно получается само собой в силу стереотипов нашего мышления. Стоит кому-то внезапно стать знаменитым, и он уже не может по-настоящему непринужденно обращаться с людьми, ничем не знаменитыми. А для социалистических стран это, к сожалению, соблюдается еще более не-

укоснительно, чем у нас. Гут, можно сказать, совершается поистине процесс непрерывной разлуки, стоит кому-нибудь стать либо генералом, либо признанным писателем, либо прославиться в какой-нибудь иной области. Я всегда полагал, что Новый завет мог бы если уже не быть, то хотя бы когда-нибудь стать азбукой братства против всех этих «господствующих» тенденций...

Х. Ю. Ш.: Значит, вы видите в братстве нечто большее, нежели личную позицию. В эпоху Просвещения братство выдумали как некое политико-социальное равенство. При наличии мощного доверия к людям можно представить себе некую форму непринужденной и свободной от господства совместной жизни — *gouvernement by discussion*¹. Вот это были бы поистине радикальные идеи — но не слишком ли далеко мы от них ушли?

Г. Б.: И, как мне кажется, уходим все дальше. Но к этому я хотел бы добавить, что личное отнюдь не исключает политическое. Братство самым непосредственным образом касается отношений между работодателями и работниками. Но эта трезвая констатация никак не исключает религиозность данного понятия. Мы слишком альтернативно мыслим. Как часто один интерпретирует Бёлля с религиозных позиций, другой — социальных. Это вообще никакая не альтернатива либо альтернатива, но ложная.

Х. Ю. Ш.: Если понимать братство универсально, то есть как своего рода предупреждение и подготовку к миру между всем, что живет и существует, тогда во всех сепаратистских поползновениях, при брудершафтах, например, следовало бы видеть противоположность, извращение братства. Но мне лично кажется, что братство, если оно вообще существует, находит свое наилучшее выражение в кружках.

Г. Б.: Да, в группах. В родственных кланах тоже. Но слово «брат» до сих пор воспринимают слишком биологически — лишь как родственника первой степени, тогда как отцовство и материнство либо понятия отеческий и материнский и т. п. должны бы по сути восприниматься независимо от кровного родства, как основные формы человеческого бытия...

Х. Ю. Ш.: ...тем более, что биологическое влияние представляет собой отрицательный пример. Сторонники биологического подхода заранее извиняют и оправдывают человека, преимущественно сравнивая его с животным миром, и напротив, братство есть обозначение, предпола-

¹ Руководство, основанное на дискуссии (англ.).

гающее веру в возможность изменения и совершенствования человека. Просвещение черпало свой пафос именно в этой вере. Братство можно созидать, лишь разрушив зависимость, которая ему препятствует. И разве не следовало бы с этих позиций и в интересах братства (которое совпадало бы по значению с суверенностью) подвергнуть сомнению даже такие понятия, как Бог Отец?

Г. Б.: Отчего же...

Х. Ю. Ш.: В результате этого последовательная солидарность между людьми революционизировала бы все традиционные представления.

Г. Б.: Да. Только не надо сразу делать поспешные выводы. И незачем внушать страх кому бы то ни было. Надо только глубже вникать. Надо, к примеру, свести воедино религиозное понятие о становлении человека (Бог Отец покидает здесь свой небесный трон) с марксистским понятием о становлении. Я не вижу здесь альтернативы. Человек и брат в конечном счете суть синонимы. Вот только это очеловечивание так никогда и не совершилось. То, что социалистические общества понимают под выражением «бесклассовый», по сути и должно бы означать братство — но не означает.

Х. Ю. Ш.: С чего начинается братство? Отдельная личность видит себя в чрезвычайно небратском окружении. Как быть? Личность не может ждать, пока окружение само по себе делается братским. Как она с помощью собственных данных привносит братство в этот мир?

Г. Б.: Н-да. Поначалу, может быть, через отказ от предубеждений. Осуществить подобный отказ очень непросто. Но это дорогого стоит, если человеку, с которым ты еще не знаком по-настоящему, оставить для начала возможность быть таким, как он есть. Как много могла бы значить непредубежденность применительно к классовым различиям! Тогда пришлось бы оставить «другого» в покое, оставить в смысле — скажем — почти святой предмет, независимо от того, откуда он взялся, куда идет, какого он пола и какова его социальная позиция. Если это произойдет с обеих сторон, тогда, вероятно, и возникнет то, что следовало бы называть братством. Ибо при этом, возможно, появится нечто, связующее людей, дела повседневные, которые я считаю очень важными. Если осуществится этот процесс, результатом, предположительно, будет не равенство в смысле уравниловки, а, напротив, взгляду откроются новые, иные различия. Один лучше умеет одно, другой — другое, один лучше умеет организовать, другой — лучше мечтать, и от-

сюда возникает не господство, а братская передача тех либо иных способностей путем совета и обмена опытом. Я взглянул бы на это гораздо шире: некто действительно одарен как художник, либо как менеджер, либо как повариха или повар и по-братски делится с окружающими тем, чем он наделен больше, чем другие, или не так, как они. Он не спекулирует и не думает: я для тебя сварю, а ты за это заполнишь мою налоговую декларацию — нет, это «друг с другом» и «друг для друга» происходит совершенно естественно и вместо соображений выгоды приносит взаимоинформацию и взаимообогащение. Если некто умеет превосходно руководить большим предприятием, из этого не следует, что он стоит дороже того, кто превосходно убирает улицы. Все важно в одинаковой мере. Понимаете, если признать это обоюдно, то не останется места унижению. Доит ли кто коров или пишет книги — я не усматриваю здесь некую, определенную природой табель о рангах, которая неизбежно ведет к господину или к господству. Я сознаю, это звучит утопично, но полагаю, что это вполне осуществимо.

Х. Ю. Ш.: Вы, помнится, однажды желали нежности и восхваляли ее. Нежность есть определяющее понятие из лексикона нового человека. Можно ли ее также счесть проявлением «братства»?

Г. Б.: Да, разумеется, можно. Не только в сексуальном и эротическом смысле, но и в человеческой жизни вообще. Внимательность, тонкое понимание, такт. Если люди взаимно уважают друг друга без того, чтобы один претендовал на пост более высокий, нежели другой, это должно возникнуть само по себе. И вежливость тоже. Мне порой думается, что «господа» — а мы живем с вами в период, когда они снова выплывают на свет божий, если допустить, что они вообще когда-либо исчезали, — вероятно, должны быть очень признательны за братство. Оно могло бы облегчить им прощание с господским статусом. Нежность, вежливость, уважение или убеждение в том, что другой, исполняющий другую работу, не менее нужен обществу — таким путем можно бы без всякого насилия уничтожить устаревшие порядки. Но все публицистические и общественные построения загоняют очень многих людей в позицию господина. Наша социальная структура предусматривает «верх» и «низ». Я этого не приемлю. Со мной произошло нечто странное: какое-то время тому назад я был в Дюссельдорфе, по делам, собрался ехать домой, а перед этим зашел пообедать в нижний вокзальный

ресторан, съел сосиску, выпил кофе. Тут ко мне подошла одна дама и сказала: «Ах, господин Бёлль, как мило с вашей стороны, что вы бываете среди простого народа!» Я не был ни задет, ни обижен и объяснил ей: «Я вовсе не бываю среди простого народа! Во-первых, я и сам народ, а во-вторых, я хочу есть и пить, а потом сяду на поезд и уеду...» И тут мне открылись определенные стороны этой табели о рангах, которая складывается и существует независимо от человека. Дама была трогательна, она всерьез думала о том, о чем говорила. Но мне пришлось ей объяснять, что она исходит из ложных посылок. «Publicity business»¹ пестует подобные представления, «знаменитость» — это все равно как акция. Мой пример можно с одинаковым успехом применить и к генеральному директору, и к министру...

Х. Ю. Ш.: В том, что обстоятельства сложились именно так, как вы мне поведали своим маленьким рассказом, нет ни малейшего сомнения. Однако вполне можно усомниться в том, что они и должны быть таковыми. Позвольте мне еще раз вернуться к языку, из которого мы, собственно, исходили. Существуют ли уже хоть какие-то признаки того, что есть язык братства?

Г. Б.: Я покамест не вижу. Но вы правы: уже настала пора заменить, скажем, слово «господский» словом «братский». Ну, к примеру, говоря «прекрасный», мы подразумеваем нечто очень величественное. Хорошо бы разобраться, откуда возникла идея, что все высокопоставленное, господское, величественное непременно должно быть и прекрасным, а братское — совсем не обязательно. Вот и в связи с тем, что мы сказали по поводу нежности и вежливости, можно бы в словах «братский» и «братство» открыть наконец красоту, то есть эстетическую сторону дела. Меня наводит на грустные размышления мысль, что все, связанное с «господином», представляется нам сияющим и прекрасным, а все, связанное с сестрой или братом, все сестринское или братское, явно расположено на более низком эстетическом уровне. Этому должно бы все в нас противиться. Не только с точки зрения морали или религии, даже чисто формально братство более красиво, более привлекательно, более возвышенно как раз потому, что оно включает в себе вежливость, нежность, задумчивость, покой, терпение, ожидание, уважение, тогда как господство господствующее себя просто навязывает. Стало быть, язык вносит и еще одну мысль в наши

¹ Рекламный бизнес (англ.).

рассуждения, мысль, которая отнюдь не представляется мне случайной. Мы обязаны пристально следить за писателями, теологами, политиками, профсоюзными деятелями, чтобы понять, точно ли они говорят тем языком, в котором не «господствует» более старый миропорядок, или они пропагандируют братство лишь для вида.

Х. Ю. Ш.: В своем выступлении на одной из «недель братства» несколько лет назад вы вспомнили и привели дневниковую запись Че Гевары. Меня потряс и сам текст, и ваше толкование. Вы не могли бы зачитать его еще раз?

Г. Б.: Он произнес эти слова 3.6.1967, то есть за четыре месяца до своей смерти, за день до начала шестидневной войны. И гласят они следующее: «Часов около 17 снова появился вчерашний военный грузовик с двумя солдатами, которые лежали позади шоферского сиденья, завернутые в одеяла. У меня не хватило духу выстрелить в них, да я и не сообразил достаточно быстро, что их надо задерживать, — и мы дали им проехать...»

Х. Ю. Ш.: Ну и что здесь такого уж братского? Че Гевара признает, что у него не хватило духу. Для революционера это значит признаться в «слабости»...

Г. Б.: И тем самым в силе. Во многих отношениях не только интересно, но и поучительно, что у профессионального революционера, которому как раз и было дано задание «убрать», как это говорится, двух солдат, не хватило духу в них выстрелить. И я вовсе не думаю, что он подразумевает дух в его телесном значении или солдатский дух. Мне не знаком исходный текст, я не знаю, насколько точен перевод. Но мне кажется, что речь здесь идет о духе человеческом. И, признавая это отсутствие духа, эту нерешительность, Че Гевара делает выбор в пользу абсолютной недисциплинированности. А революционер не смеет проявлять нерешительность, не смеет иметь нехватку-духа и не стрелять в тех, кого ему поручили убить. Короче, эта маленькая выдержка допускает множество интерпретаций. Возможно, причиной его нерешительности является понимание того, что эти солдаты, в сущности, те, к числу которых принадлежит и он сам, что они — его братья. Я однозначно вывожу это из цитаты. Надо прочесть и следующую фразу: «Мы дали им проехать». Нарушение революционной дисциплины вследствие осознания братства. Вот как ненадежно, как опасно для всех блюстителей порядка это самое братство.

Х. Ю. Ш.: Где еще можно пожелать себе подобное отсутствие духа, подобную нерешительность, подобное неповиновение?

Г. Б.: Я полагаю, что нам следовало бы порассуждать о нерешительности. Стандартное воспитание — от кино и до армии — не оставляет места для нерешительности. Если мне грозит опасность, я должен оказаться проворнее, чем мой противник. Я должен немедленно реагировать, здесь и сотая доля секунды способна сыграть роковую роль. Это ситуация, которую можно встретить почти в любом вестерне: тот, кто проявляет нерешительность, гибнет. Вероятно, следовало бы заняться противоположным воспитанием, воспитанием нерешительности — и не только в стрельбе, в брани тоже, в крике — от учителя к ученику, от ученика к учителю, сверху вниз, снизу вверх. В данном случае это означало бы: я не делаю употребления из власти, которой я наделен. Ибо в такой ситуации иметь оружие значит иметь власть и господствовать над тем, кто проезжает мимо, не догадываясь, что ты притаился в кустах. Короче, отказ от власти, отказ от господства благодаря нерешительности. И тогда этот эпизод можно будет описать как братский, как начало братства. В прошлый раз я был очень удивлен, что эта цитата осталась не замеченной ни теми, кто тогда начал стрелять, ни теми, другими, кто был против стрельбы. Я сознательно привел эти слова в определенной внутривнутриполитической ситуации и при этом внимательно наблюдал за людьми, которые отнюдь не проявляют нерешительности при стрельбе. Не иначе они туговаты на ухо.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Послесловие к «Хранить вечно» Льва Копелева

При чтении этой книги, в которой есть черты «Симплициссимуса», нельзя ни на минуту забывать девиз: *Хранить вечно*. Так выглядела стандартная пометка на всех судебных актах, касающихся преступлений по статье 58, статье о государственных преступлениях. А после этой пометки идет личная, от автора: «Это — история одного «дела» и вместе с тем — попытка исповеди». Книга начинается также с заголовка: «Первые дни вечности», а ее заключительная глава носит название: «Вечность продолжается».

Если уже само понятие «вечный» и «вечность», как Лев Копелев толкует вполне конкретное бюрократическое указание «вечно», лежит за пределами всех и всяческих марксистских категорий и знаменует собой вполне неожиданный поворот к метафизике, то вся книга в целом сулит

еще больше неожиданностей. Между этими двумя заголовками располагается объемистый компендий и бестиарий, находят отражение различные процессы один в другом, один поверх другого, процессы в двойном смысле этого слова: в смысле судебного разбирательства и в смысле процесса развития, и это, последнее, тоже надлежит понимать в двойном смысле: процесс властей Советского Союза против автора и процесс автора против Советского Союза; развитие Советского Союза, развитие автора и развитие общества и сознания на разнообразных, практически на всех уровнях советского общества, от проституток и воров до генералов и прокуроров.

Во время чтения не следует также забывать, с чего все началось у этого майора Копелева, убежденного коммуниста, который никогда не смешивал убежденность и догматизм, уж подавно не отождествлял одно с другим, именно на этом споткнулся и был обвинен в отсутствии у него партийной твердости. История начинается в 1945 году при взятии первой немецкой провинции, Восточной Пруссии, армией, в составе которой был и Копелев. Он становится непосредственным свидетелем событий, которые не только входят в противоречие с его *социалистической* совестью и инстинктом, но для которых вообще нет оправдания ни в одной из марксистских теорий. Он протестует и в результате становится жертвой доноса. «Спасал немцев и немецкое имущество, а также проповедовал сострадание к немцам». Прежде чем процитировать решающее место из первой части книги, которая определена этим конфликтом, я хотел бы привлечь внимание к тому обстоятельству, что данная проблема не только немецко-русская, не только национальная, пусть даже для обеих сторон она превратилась в национальную сверхчувствительность. Как бы то ни было, и Федеративная Республика Германия, и Германская Демократическая Республика играют определенную роль в международной политике, при этом важно сознавать, что многие обстоятельства немецко-русского сближения развивались поверх Германской Демократической Республики и минуя ее. Нельзя понять развитие и возникновение, нельзя понять политику двух этих государств, не зная, что одно из них, ГДР, попросту отрицало или замалчивало те процессы, которые привели к суду над Копелевым, тогда как другое, Федеративная Республика Германия, почти всегда обходило предысторию, войну против Советского Союза с его неисчислимыми жертвами (одних убитых двадцать миллионов) и начинало думать и реагировать лишь с событий,

имевших место при занятии Германии. Если еще раз вернуться к тому, как звучало выдвинутое против Копелева обвинение, как возник донос и выглядели проходящие через всю книгу действия против него, можно понять, какую *интернациональную* значимость приобретает данная проблема, поскольку именно из-за этих событий в Восточной Германии в 1945 году в умах многих советских интеллигентов начался известный процесс переосмысления, который важен, интересен и мучителен для внутреннего развития Советского Союза и тем самым — для всего мира; понять можно и то, почему этот процесс переосмысления систематически подавлялся или, правильнее сказать, почему его разбору всячески препятствовали. Аналогичный процесс либо происходит, либо подавляется во всех социалистических странах, и не только обращение с немцами после 1945 года, но и обращение со всякого рода предателями и «предателями».

В большинстве стран, которые были вовлечены во вторую мировую войну, она, едва разразившись, замедлила или вообще прервала уже происходящее там развитие, и повсеместно возникло «необходимое» единство, заключавшееся в том, что сперва надо победить внешнего врага, а уж потом заняться внутренними проблемами. Для большей части земного шара было неожиданностью, почти шоком, когда вскоре после конца войны Черчилль не был переизбран на пост премьера; мне представляется, что внутреннее преобразование Советского Союза уже давно назрело, еще до того, как эта проблема обрела персональное воплощение в таких понятиях, как сталинизм и десталинизация. Эпохи при диктатурах неизменно завершаются либо смертью, либо свержением диктатора; периоды в парламентских демократиях кончаются поражением на выборах. А если говорить о России и Советском Союзе, здесь надо добавить еще кое-что: страх перед всем иностранным и боязнь презрения со стороны иностранцев. По сей день, спустя тридцать лет после конца войны, советские войска в ГДР, к примеру, живут почти в полной изоляции от местного населения. Взаимопроникновение царит лишь в интернационале интеллигентов. Из русской литературы, равно как и из западной, можно прочитать, из нее можно вычитать, сколько там было взаимного восхищения, влияний, а также и недоверия, ненависти, страха — взаимный перепад неприятия, высокомерия и восхищения, и я считаю одним из важнейших выводов в признаниях Копелева, что он истинный интернациона-

лист, которого любовь к Советскому Союзу, к России и преклонение перед ней, его глубокое знание великой русской литературы ни на мгновение не может побудить к восприятию других народов и их культур скопом, в традиционных, а то и вовсе навязанных какой-нибудь пропагандой клише. В конце концов, он был на германо-советском фронте и участвовал в борьбе против фашизма как германист, как знаток немецкого языка, литературы и культуры, как просветитель. Удивительнейшую — и не только для немца — сцену находим мы в главе четырнадцатой, когда он пытается познакомить немецких военнопленных с их собственной культурой, о которой они мало что знают; он рассказывает немцам, чем еще была Германия помимо Гитлера, он говорит им о Гутенберге, Дюрере, Кранахе, Гольбейне, о Гёльдерлине, Гейне и Лютере, Канте, Лейбнице и Гегеле; и эта лекция, прочитанная пленным, станет впоследствии одним из пунктов обвинения против него как «прославление» буржуазной немецкой культуры. То, что он поминал также Брехта, Вайля, Вайнерта, Зегерс и Тельмана, впоследствии вообще не будет упомянуто.

Копелев отлично знал, при каких условиях, набравшись какого опыта, Красная Армия вступила в Германию. «У нас в армии двадцать миллионов бойцов. Понятно, что среди них есть и какое-то число негодяев. К тому же многие наши люди очень ожесточены. Мы пришли сюда от Москвы, от Ленинграда, от Сталинграда по сожженной земле, по развалинам, пепелищам... У нас в каждой семье жертвы».

Сопоставим с этим позицию непосредственного начальника и главного врага Копелева Забаштанского в разговоре с Копелевым: «Чтоб солдат, во-первых, ненавидел врага, чтоб мстить хотел, да не как-нибудь, а так, чтоб хотел все истребить до корня... И еще нужно, чтоб он имел интерес воевать, чтоб ему знать, для чего вылазить з окопа на пулемет, на мины. И вот ему теперь ясно-понятно: придет в Германию, а там все его — и барахло, и бабы, и делай, что хочешь! Бей вщент! Так, чтоб ихние внуки и правнуки боялись!..» Копелев: «Что ж, значит, и женщин, и детей убивать?» Забаштанский: «Ну чего ты з детьми лезешь, чудак. Это крайность. Не всякий станет детей убивать... Мы ж с тобой не станем. А по правде, если хочешь знать, так те, кто станут, пусть сгоряча убивают хоть маленьких фриценят, аж пока им самим не надоест... Читал «Гайдамаков» Шевченко? Ведь Гонта своих — понима-

ешь, своих власных — сынов зарезал? Это война, брат, а не философия, не литература. Но в книгах, конечно, есть: мораль, гуманизм, интернационализм. Это все хорошо, теоретически правильно. Вот пустим Германию дымом, тогда опять будем правильные, хорошие книжки писать за гуманизм, интернационализм... А сейчас надо, чтоб солдат еще воювать хотел, чтоб в бой шел... Это главное звено!»

После этой части *одного* из многих диалогов между Копелевым и его командиром можно констатировать: превращение человека в человека социалистического еще не состоялось; человек, которому неведома месть и национальность, еще не возник. Человек, который не то чтобы «прощает», но в соответствии с марксистскими «максимами» способен «исторически думать» и сказать себе: эти люди, пусть даже многие из них фашисты, должны многому научиться, но они были подвластны собственному историческому процессу, и мы должны им доказать, что социализму неведома месть.

Копелев изображает далее страшные случаи, которые, к сожалению, соответствовали общей тенденции, и цитирует также приказ по армии командующего на данном участке фронта маршала Рокоссовского: «За мародерство, изнасилование, грабеж, убийства среди гражданского населения — военный трибунал, в случае необходимости — расстрел на месте». И даже встречались случаи, когда подобные преступления бывали наказаны, но это мало что меняет в общем отношении к немцам. И в рамках абсурдности оккупации представляется вполне логичным, что с единственным настоящим товарищем, членом нелегальной КПГ, которого Копелев встречает в Восточной Пруссии, обходятся точно так же, как и с остальной частью населения, и здесь я вижу еще один залог не только национального, но и международного значения книги Копелева. Задумался ли, осознал ли кто-нибудь из представителей коммунистических партий Запада и вообще из «левых» международной сцены, почему в Германии, имевшей некогда сильнейшую коммунистическую партию, на которую возлагались большие надежды, после 1945 года было наиболее слабое коммунистическое движение — *несмотря* на все и всяческое осознание безумия фашизма. Уж не оказался ли для оставшихся в живых и вернувшихся домой коммунистов этот наглядный урок куда более устрашающим, нежели весь проповедуемый антикоммунизм — и как много бывших коммунистов присоединили свой голос к этой проповеди?

Может ли это обойтись без искажений, без судорог в стране, которая располагает специалистами не только в смысле сведущих людей, но и глубоких знатоков иностранной культуры и литературы? На свете был не один майор Копелев, было много германистов, и есть много советских интеллигентов, больше сведущих в истории и истории культуры страны, чем какой-нибудь интеллигент, который из этой самой культуры приезжает в Москву, где — не без смущения, надо сказать, — встречается с цитатами, анализом, точным знанием его собственной культуры. Знание и сознание величия собственной литературы и культуры придает советским специалистам высокое превосходство, побуждающее их быть сведущими в чужих культурах, и делает советского читателя редкостным книголюбом. Это знание, эта информированность и это понимание увеличивают стыд, а также чувствительность.

У немцев мало оснований упрекать советских граждан в конфронтации и в допуске толковании не слишком-то радостных исторических событий. Как народ, как единое целое, мы слишком охотно выпячиваем то, что с нами делали *после* 1945-го, и слишком легко забываем то, что мы делали с другими до 1945-го; и если мы приемлем исповедь Копелева, тем паче, если мы хотим использовать или оценить ее с пропагандистской точки зрения, это значит, что мы проявляем по отношению к Копелеву такое непонимание, какое можно сравнить лишь с непониманием, проявляемым советскими властями. Должна быть восстановлена, сообще рассмотрена и проанализирована *полная* взаимосвязь; а этой цели книга Копелева может служить лучше, чем иные публикации. Его подход не есть критический пересмотр внутренних процессов в Советском Союзе, его рефлексия, за которой разворачивается последовательный ряд других рефлексий, начинается с того *исторически* значимого мгновения, когда Красная Армия впервые захватывает чужую страну и должна доказать, насколько она является социалистической и является ли вообще таковой. Что происходило в сознании солдат и офицеров Красной Армии после захвата Польши в 1939 году согласно пакту между Сталиным и Гитлером, как был преподнесен этот абсолютно «несоциалистический», чисто имперский акт, следовало бы проанализировать отдельно и в качестве психологической подготовки. В том, как поляки восприняли совершенный марксистами за компанию с фашистами четвертый раздел Польши (пятый был совершен уже после 1945 года), какие последствия он имел,

как он и по сей день определяет традиционно плохие отношения между поляками и русскими, уже ничего не способны изменить братские объятия и поцелуйчики на аэродромах и вокзалах.

Копелев устраивает процесс над Советской Армией и Советским Союзом, вот из чего, собственно, состоит его повествование обвиняемого, который становится обвинителем, поскольку его упрекают в чем-то человеческом и само собой разумеющемся согласно всем социалистическим теориям: в том, что он выступил против ненависти, насилия, мести, грабежа. Лишь когда он сам становится заключенным, этот процесс приводит его к осознанию проблематичности советской обвинительной и репрессивной политики, и с этих позиций он на свой лад занимается тем, что нам известно из других публикаций, посвященных эре сталинизма. Он русский — но он не русоцентрист, он не остается в пределах внутрисоветской проблематики, его толкает снаружи в центр, прямо на нее, и он рассматривает ее в интернациональной взаимосвязи, что и придает его исповеди международное значение.

Вся необозримая шкала абсурдных «проступков» и обвинений, советское общество, «вывернутое наизнанку» в тюрьмах и лагерях, где жертвы патологического недоверия либо ждут своих процессов, либо отсиживают свой срок: от генерала и прокурора до самого низа, до простого солдата или доярки, наглядно демонстрируется «бесклассовость» безумия. Здесь советская верхушка, все привилегированные слои, к которым может причислить себя и Копелев, оказываются лицом к лицу с собой и с невероятными судьбами своих менее обласканных жизнью соотечественников, здесь начинаешь понимать, какой страх царил в лагерях, в тюрьмах — и за их стенами. Здесь встречаешь Валю, которой дали семь лет за то, что она вынесла два мотка пряжи, другому дали пять за то, что он «хвалил технику врага». Здесь встречаешь прокурора, который заверяет всех в своей невиновности, как его заверяли многие, кому он раньше не давал веры. Любая разновидность политических заключенных: белые, красные, красно-белые, югославы, немцы, поляки, любая разновидность власовцев, любая разновидность предателей и стукачей и «стукачей» и «предателей» и уголовников, кого, в свою очередь, подразделяют на «настоящих», которые не занимаются стукачеством, и «неправильных», которые одновременно уголовники в законе и стукачи. Поистине джунгли, где никому не известно, кто — не важно с каких

позиций — правильный. «На передовой, — говорит один, — солдат хоть знает, где враг, где свой. А тут везде шпана. Откуда чего ждать — не угадаешь». «Правильный» ли комендант лагеря — в смысле — убежденный социалист, о котором приблизительно можно себе представить, как он поступит в определенной ситуации, — или вор, скатившийся до «стукача», он правильный? Бывают сражения, даже настоящие войны между уголовниками, полууголовниками, группами уголовников против политических заключенных и всевозможные варианты коалиций. Даже представить себе нельзя, сколько здесь возможностей для всяческих переплетений и вывертов.

Не обходя вниманием людей и судьбы (которые все живо остаются у него в памяти, сдобренные его неуемным любопытством и невероятной порцией легкомыслия), жертвы не только доносов, но и ревности (в некоторых местах книги следовало бы написать на полях: *chercher les femmes!*¹⁾), Копелев соскальзывает из одного несчастья в несчастье еще большее, потом обратно, где чуть больше счастья или чуть меньше несчастья, и снова вниз, где меньшее счастье или большее несчастье (нельзя забывать, что это немцы явились причиной его несчастий, после того как сперва ввергли в несчастье его страну), и, описывая свой путь после ареста через различные тюрьмы, камеры, лагеря, скользит все дальше по наклонной плоскости парадокса, какой она может открыться лишь упрямому и негибкому интеллектуалу, и нет здесь иной моральной позы, кроме позы социалиста и марксиста, который не скрывает свои слабости, низкую дисциплину, опасную для жизни спонтанность, свою наивность и свое легкомыслие. Он изображает свои перепаутья и одновременно, как «материалист», сознает их неизбежность. Так Копелеву приходится много страдать и много выстрадать, но его исповедь вовсе не есть хождение по мукам. Сам он не находится в центре своего повествования, и, однако же, он выступает в каждой фразе.

Не надо забывать: это пишет человек, который протестует против своего исключения из партии, который на собственном опыте испытал абсурдно лживую «корректность» большинства судебных разбирательств, с пухлыми папками дел, многочисленными показаниями свидетелей, причем вроде бы хорошие друзья оказываются вдруг доносчиками, а другие, кого он недооценивал, вполне надежными

¹ Ищите женщин (*фр.*).

людьми. Этим джунглям лживого формализма Копелев с помощью своей книги выносит обвинительный приговор, но все же — и в этом заключается главная неожиданность — Копелев отнюдь не Дон-Кихот и, соответственно, не Санчо Панса. Он бывает и тем и другим в одно и то же время, в нем, как и в Копелеве-человеке, каким я его знаю лично по многочисленным встречам и разговорам, сохранилась классическая раздвоенность, и я думаю, именно это и делает его особенно опасным, потому что он — в зависимости от времени — и то и другое. В этом смысле он и не «интеллигент», что означает: разумеется, да, но он понимает «народ», причисляет себя к нему, принадлежит к нему, понимает его язык и его проблемы, и, может быть, именно это делает его таким опасным. Идеологически, как теоретик, он Дон-Кихот без оговорок, он дискутирует и аргументирует согласно своему представлению об интернационализме, не прощает ничего, равным счетом ничего, и делает это бесстрашно, неутомимо и с помощью логики против сверхмощных и сверхнудных ветряных мельниц, прямо в лицо безжалостно лишенным фантазии функционерам. В «личном плане» и он подвластен человеческим слабостям, в чем и признается; в своем почти метафизическом материализме он понимает, что значат папиросы — пусть даже всего несколько затяжек — для того, у кого долго не было курева, он помнит до сих пор и вспоминает снова и снова, что означает вода для жаждущего и хлеб для голодного; его Дульцинеи, а их мы встретим несколько — тоже отнюдь не плод платонической фантазии, напротив, они — чего он никоим образом не отрицает — существа из плоти и крови. Он не замалчивает ни одну из своих слабостей, он признает их (а порой даже раскаивается в них) — и, однако же, его исповедь не была и не есть попытка оправдания, она была и есть обвинительное заключение, все проблемы советского судопроизводства и системы наказаний раскрываются перед нами на примере судеб и судебных дел, одновременно их анализируют с марксистской, интернациональной точки зрения как интернационализм; и не только «гуманистически», но — и в этом очередная сторона «опасности» Копелева — но и гуманно. А то, что все это разыгрывается после 1945 года, после победоносного завершения войны, лишь доказывает весь объем недоверия.

Процесс против Льва Копелева имеет много предварительных стадий: допросы, одиночка, пересылка — долго до первого официального разбирательства, и в

ходе его исповеди становится ясно, из чего на самом деле состоит «новый человек», это как после хорошей смазки добротный работающий, функционирующий функционер, это образец аппаратчика, который между тем уже утвердился на международном уровне в сфере других идеологий, образец формалиста совершенно особого склада, который тотчас навешивает на обвиняемого ярлык формалиста, едва тот начинает ссылаться на свои права, но в то же время пускает в ход против него формализм функционера. Потому ли «папы римские» от культуры так страшно гневаются на «формалистов»? А вот то, что в конце концов оказывается роковым для Копелева, но одновременно и спасает его во время заключения: это его несокрушимая наивность, его юмор и ненасытное любопытство ко всем формам и проявлениям человеческого бытия, вплоть до пролетарских и даже уголовных, и ко всякого рода формам проституции: как чистым, так и смешанным. Вдобавок некое качество, которое, как нам представляется, имеет восточноевропейские корни, а может, возникает исключительно в лагерях: феноменальная память.

Некоторые главы представляют собой характерные этюды особого рода; в других читатель узнает, как бессмыслен, с экономической точки зрения, как абсурден рабский труд в лагерях, это доказывается неопровержимо, и к бесчисленным абсурдным измерениям присовокупляется тем самым еще одно: часто даже и с экономической точки зрения этот гигантский аппарат недоверия ничего не принес; далее — приветливый и общительный вор Федя с безмятежным спокойствием рассказывает о случае каннибализма. То, что, несмотря на официальное ханжество, в военные и послевоенные годы в Советском Союзе, как и в его лагерях, имели место *camp-love*¹, зачатки *permissive society*², служит для нас очередной неожиданностью, и что комнаты (очередная неожиданность), отведенные в лагерях для двадцатичетырехчасовых супружеских свиданий, использовались не только в *этих* целях, становится совершенно очевидно. Масштабы рокового развития в сторону полновластного господства функционеров также становятся очевидными: именно функционеры стремятся отделить народ от интеллигенции; а если они сразу выступают и как

¹ Свальный грех (англ.).

² Общество вседозволенности (англ.).

Дон-Кихот, и как Санчо Панса, как клир и как паства, это, пожалуй, и делает их столь опасными.

Но у копелевской исповеди есть еще одно измерение, о котором я говорю без уверенности, ибо его обозначение чревато двусмысленностью и является, пожалуй, одним из самых двусмысленных: это измерение религиозное. Если решительно взяться за слово «религия», оно все еще означает связь: в этой исповеди Копелева ясно проступает связь с человеком, с человеческим, со слишком человеческим и даже более того: новое, я бы даже сказал сакраментальное культовое учение об элементарных привязанностях человека, наверно и ставшее возможным лишь после опыта материализма и не исключающее признание материала, из которого состоит человеческое. «Святость» нескольких папиросных затяжек, изведенная им на собственном опыте, звучит из уст военнопленного капитана Кёнига как торжественный гимн, ибо для него курение означает больше, чем просто табак для страждущего: табак — это братство, милосердие, воплощенная любовь. Этот пленный немецкий капитан, который ни в чем не знал недостатка и жизнь которого — по его собственным представлениям и представлениям его среды — была жизнью «счастливчика», сделав несколько затяжек, становится почти францисканцем. Встречаются и другие ситуации столь же сакраментального свойства: раздача хлеба и воды, например, в Брестской тюрьме, происходящая под руководством и наблюдением Копелева: он становится жрецом, почти верховным жрецом хлеба и воды. Кто хоть раз сидел в лагере или в тюрьме, тоже вспомнит, какое значение, отмеченное абсолютным, почти святым доверием, приобретает раздатчик хлеба (кто не оправдывает доверия, совершает поистине святотатство). Копелев становится Иосифом из Ветхого завета — и, возможно, качество раздачи в такие минуты важнее, чем количество: кстати, здесь мыслима совершенно новая интерпретация чудесного увеличения количества хлебов (ибо к хлебу *в придачу* дается братство и милосердие, каковые тоже делают по меньшей мере относительно растяжимым понятие насыщения). В эту ночь в Брестской тюрьме происходит и нечто более значительное: тут выпадают такие «мгновения», которые порой затягиваются на целых полчаса, когда охранники и арестанты становятся едины. «И теперь видно, что все же они — крестьянские сыновья... и уважают, даже чтут хлеб и знают, что такое голод, а сейчас поняли, что такое жажда (существует же некий Новый завет, где сказано, что голодные насытятся, а жаждущие напьются). Хлеб и вода — самые простые, незапамятно древние силы жизни. Хлеб и

вода нам сейчас желаннее любых сокровищ». Потом, в последующих частях, нам встретится удивительное достопримечательное богослужение, совсем нецерковного характера, и совершают его тетя Дуня и дядя Сеня, причем вопрос, веровал ли человек прежде или верует и сейчас, был ли он атеистом или *является* атеистом и сейчас, то есть переход от одного к другому, совершается в новой, по-братски милосердной человечности — разумеется, на тайной вечере имеется и свой предатель (в нашем случае его звать Степан). К этой, новой форме религиозности и сакраментальности можно, пожалуй, причислить и различные формы «сожителства», законного и незаконного, как изображает Копелев одно из них, полное нежности. Казалось бы, голый материализм достигает большего, гораздо большего, нежели абстрактное, начисто лишённое чувств святое учение, когда попутно за пределами справедливости, ибо речь все время идет о «неправомерных ситуациях», *воспринимается* братство и милосердие.

Религиозность Копелева не усвоена и не навязана, она выстрадана опытом — не как *deus ex machina*¹, который все улаживает и настаивает на своей «легитимности». К этой новой категории религиозности я причислю также бунт женщин и нескольких инвалидов войны на одной железнодорожной станции, которые, *вопреки* приказу охранников и функционеров и даже крича на них: «Вы здесь обжирались, а они были на фронте», раздают еду арестантам.

Исповедь Копелева рассказывает нам о множественных проявлениях бесчеловечности и одновременно свидетельствует о наличии глубокого, древнего запаса человечности, которая проявляется именно в этой сцене на железнодорожной станции.

1976

СОЛЖЕНИЦЫН И ЗАПАД

Беседа с Генрихом Формвегом в мае 1976 г.

Г е н р и х Ф о р м в е г: Итак, Солженицын уже два года на Западе. За это время представление о нем, его роль и значение изменились. И теперь вокруг него не утихают споры. Можно ли сказать, что от общепризнанного, знаменитого писателя остался лишь форсированный антикоммунист? В той или иной мере под видом повернувшего вспять пророка?

¹ Бог из машины (*лат.*).

Г е н р и х Б ё л л ь: Думаю, что это было бы несправедливо. И уничижительное определение «форсированный антикоммунист», по-моему, тоже не совсем подходит. Трудность позиции Солженицына и возможные споры вокруг него,— а у меня тоже есть что возразить ему, и я публиковал это,— объясняются, думаю, тем, что *здесь* он становится проводником определенных интересов. Таковым он являлся и в Советском Союзе. Но тогда он был еще там. А говорить *оттуда* — это совсем иное звучание, совсем иное значение (и для его личной судьбы), чем говорить *отсюда*. Лично меня он не беспокоит, разве что некоторые детали его высказываний; беспокоят трудности, которые должен преодолеть всякий литератор, высказывающийся на историко-политические темы, чтобы не дать втянуть себя в сферу ложных интересов. Но вот что я вообще не понимаю, так это то, как можно — грубо говоря — в оправдание капиталистической системы ссылаться на Солженицына. Если проанализировать все его высказывания, устные и письменные, все, что он написал раньше, пишет и говорит теперь, то вы увидите аскетическую принципиальную позицию. Я имею в виду аскетизм по отношению к материальной борьбе за существование на Западе. И если, будучи политиком, принимать всерьез этот аскетический принцип, эту аскетическую принципиальную точку зрения, то следует, коль уж хотите ссылаться на Солженицына, прежде всего изменить нашу экономическую систему, которая почти антиаскетична. Ибо она совращает нас потреблением, совращает все больше и больше, так как рост потребления и сбыта является, в сущности, одним из принципов нашей экономики. Чисто рыночный материализм. Если это ликвидировать, наша система хозяйства развалится. Поэтому мне непонятно, откуда здесь вообще берутся политики,— справа или в центре,— которые ссылаются на Солженицына. Я думаю, что он антиматериалист; при этом следует заметить, что ведь так называемый марксистский материализм — идеалистического происхождения. Здесь Солженицын говорит совершенно ясно. Например (в своих выступлениях в Америке) — о жажде наживы Запада, которая исключает возможность духовных разногласий с коммунизмом.

Г. Ф.: Но, с другой стороны, Солженицын все-таки встречался с Миэни. В США, Англии, Испании в его речах было немало раздражающего. Возможно, он хорошо разглядел рыночный механизм, и таковой ему совершенно не нравится — его право. Думаю, однако, что он не различает противодействующих сил внутри нашего общества, не в состоянии уяснить, что значит быть левым или пра-

вым в Западной Европе. Я где-то читал, что он уже окончательно списал со счета Западную Европу, так как она, с одной стороны, слишком пала нравственно, а с другой, погрязла в социализме. Употребляя слово «антикоммунист», — а это в некотором смысле включает в себя то, что можно назвать «антисоциализмом», — я не хочу сказать, что Солженицын пропагандирует буржуазно-капиталистическое общество. Боюсь только, что его тайная альтернатива — если ее приложить к общественному строю — представляет, насколько я помню историю, нечто худшее, а именно — своего рода религиозный и национальный феодализм.

Г. Б.: А я не обнаружил этого. И в его речах не вижу. Я очень внимательно читал их и писал об этом. Очень подробно. Я этого не нахожу. Когда говоришь о советских интеллектуалах, писателях, скажем, диссидентах, необходимо знать одно: для них, для большинства из них, все левое на Западе прежде всего подозрительно. И это касается не только Солженицына, но и людей, придерживающихся совсем иного мнения. Чтобы разобраться в этом, им необходимо учиться. Потому что так называемые у нас левые, говоря о завоевании рынка, по сути дела, не материалисты. Возьмите, например, молодых социалистов, их отношение к рыночной экономике, — я имею в виду не товарно-денежное хозяйство в смысле экономической политики, а экономику, где существует только рынок: тут у Солженицына и молодых социалистов почти полное согласие.

Г. Ф.: Но ведь именно этого Солженицын пока еще, очевидно, не понял.

Г. Б.: Тут сложный процесс. Во-первых, — я наблюдал это у многих советских интеллектуалов, противников и критиков системы, — левый рефлекс равнозначен безумию. И на это есть свои причины. Их надо понять и надо считаться с ними. Все же западные леваки в 50-е годы, с их экстремальной артикуляцией, вели себя весьма и весьма наивно по отношению к Советскому Союзу.

Г. Ф.: В их оценке СССР?

Г. Б.: В их оценке, в их надеждах, в их отрицании определенных вещей. Давайте перенесемся назад: вы сидите в лагере или живете свободно в Москве и как думающий человек размышляете о том, что случилось в 54-м, 55-м, 56-м вплоть до венгерского восстания, когда возникли известные сомнения, — каких только глупостей и надежд по адресу Советского Союза не высказывалось тогда, — и вы поймете этот антилевый рефлекс. Вы встретите

его почти у всех эмигрантов. Добавьте сюда естественные антирелигиозные рефлексy западноевропейских левых, скажем, их естественную атеистическую позицию, восходящую к XIX веку; с этой позиции они до недавнего времени высмеивали все по сути религиозные попытки изменить мир, быть может, даже повернуть его к социализму или рыночной экономике. Я вижу, что здесь, к сожалению, действуют одинаковые рефлексy, которые еще не проверены и еще не привели к диалогу. В то время как в Советском Союзе, скажем, с начала 50-х годов, возникли новые религиозные движения, здесь все еще пребывают в состоянии старого антиклерикально-рационалистического аффекта.

Г. Ф.: Но именно в это время церковь, хотя бы в ФРГ, вновь обрела силу. Это я главным образом почерпнул у вас. Кроме того, в 1950-м мне было 22 года, и я помню, что антикоммунизм начала 50-х годов (сейчас это наблюдается у более молодой группы людей) был чем-то само собой разумеющимся, так как весь мир в начавшейся холодной войне был совершенно уверен, что коммунизм — это просто фашизм с обратным знаком. Лишь значительно позже я это переосмыслил, — правильное, как мне кажется, — и потому меня удивляет ваше толкование именно 50-х годов.

Г. Б.: Я имел в виду не церковь, а религию. Церковь тоже не выступает против рынка, потому что она материально участвует в рыночном обороте. Вновь обретенная власть церкви, о которой вы упомянули, совсем другое дело, чисто административно-тактическое.

Г. Ф.: Но она формирует общество.

Г. Б.: Она уже его сформировала. И, пожалуй, продолжает это и по сей день. Западная интеллигенция с ее классически-атеистически-просветительски-антиклерикальными взглядами, по сути, не признавала рассуждений о религии (как католической, так и протестантской) в художественной и политической литературе. До недавнего времени, да и ныне, было, так сказать, позором считаться хоть чуточку религиозным писателем или интеллектуалом. Я испытал это на себе, ведь я всегда стоял между их лагерями. В этом отношении я до сих пор вижу только рефлексy, но не рефлексии. И у Солженицына. Рефлексy на левых, на таких и на этаких... И соответственные рефлексy левых на Солженицына. Для меня все это слишком «рефлексивно».

Г. Ф.: Остается вопрос: что кроется за представлениями Александра Солженицына, которыми он мотивирует свою критику; не есть ли это, в сущности, своего рода настоящий на религии национальный феодализм?

Г. Б.: Вы хотите сказать — каков будет вывод, если учесть все его высказывания? Это совершенно другой вопрос.

Г. Ф.: Я имею в виду социальный смысл. Во время избирательных кампаний это проявляется в лозунгах, но ведь когда делают социальные выводы, речь всегда идет о обобщениях. Так же, как обобщенное религиозное чувство воплотилось в структуру власти, им воспользовались и употребили во зло. Поэтому я считаю: такая личность, как Солженицын, обладает всемирным влиянием и стремится к нему, он берет на себя определенную роль, и тут, мне думается, напрашивается вопрос: что произойдет, если его слова будут иметь последствия? Он сам должен спросить себя об этом. Понимал он, что из этого может получиться?

Г. Б.: Пока что я ничего такого не усмотрел. Пока что не обнаружил у него никаких представлений о будущем.

Г. Ф.: Но не выглядит ли критика подобного рода немного беспечной?

Г. Б.: Нет, я этого не нахожу. Принципиально не вижу. Все зависит от того, какую ты позицию занимаешь и как ты с этой позиции говоришь. Ответственность — это другой вопрос. Я сомневаюсь лишь в том, действительно ли допустим и справедлив тот вывод, который следует из его высказываний. Вполне законно, когда писатель или философ критикует, однако не предлагает готовых концепций. И это правильно, так как предложенное решение очень скоро опошлится.

Г. Ф.: Возражение принимаю.

Г. Б.: Это законно. И его критику нашего морального упадка я нахожу вполне допустимой. Только вот Западная Европа, в сущности, всегда была декадентской. Я ничуть не возражаю против упрека в декадансе, только надо бы помнить, сколько сил и возможностей обновления постоянно порождалось этим течением. Когда я слышу слово «декадентский», то вспоминаю о нацистской пропаганде против французов и англичан: «Проклятый Альбион, прогнившие французы»... Все это было огромным заблуждением. Слово «декаданс» очень многозначно. Особенно в связи с Западной Европой, которая пережила и одолела страшные падения. Но — и это мне хочется подчеркнуть — вы, как критик, как автор, знаете, что писатели постоянно пребывают в кризисе. Состояние искусства — перманентный кризис. Банальность. Но в подобном кризисе, естественно, можно увязнуть. Может статься, что традиционный западноевропейский декаданс не удастся преодолеть. Если против рыночного материализма нет никакого противодействия, все равно какого — религиоз-

ного, политического, если угодно — любого неидеологического, то мы станем продавать на рынке уже не только самих себя, но и наших внуков. Рыночное мышление — Солженицын называет это не так, но я предполагаю, что он имеет в виду этот материализм, когда говорит об упадке, о жажде наслаждений и т. д., — это, конечно, может затянуться, потому что Западная Европа, как известно, вновь и вновь духовно обновлялась и в духовных спорах преодолевала упадок. Возьмем Реформацию как такую...

Г. Ф.: Но можно ли сегодня, да еще обладая информацией, полученной как будто от Маркса, рассматривать это в таком идейно-историческом аспекте? Например, упадок. Об упадке можно говорить только в отношении определенного класса в Западной Европе, а именно класса, который с обычным потребительством, собственно говоря, уже закончил и сейчас занят лишь потреблением роскоши. Меня всегда раздражало, когда критиковали маленьких людей за их потребительскую лихорадку. Эта критика несправедлива.

Г. Б.: Снобизм и элитарность. Вы тогда были еще слишком молоды и не застали пресловутую аргументацию против, скажем, холодильника. Я всегда считал это идиотизмом. Спорить об этом нет нужды.

Г. Ф.: Я заметил, что люди лишь тогда начинают разнообразнее чувствовать и размышлять, когда удовлетворены самые непосредственные их потребности. То есть когда наступает определенное насыщение. Вообще можно достичь самостоятельности, в том числе социальной, когда необходимость потребления больше не хватает человека за горло. А почему потребление так интересует множество людей? Да потому что они не могут потреблять неограниченно.

Г. Б.: Все допускаю. Эти предрассудки я никогда не разделял. Я рад, что у людей есть крыша над головой, есть хорошая постель, что они могут прилично и красиво одеваться. Тут никаких проблем. Но вот когда начинается другое? Когда наступает состояние, при котором люди замечают: потребление уже не цель, элементарные нужды удовлетворены, и теперь мы начнем жизнь, которая выше этого. Когда наступает такое состояние?

Г. Ф.: Мы в ФРГ уже не раз приближались к этому порогу. Но пугались и отступали. Вот у молодых социалистов есть то, что меня твердо убеждает: они пытаются оказывать всестороннюю помощь, помочь преодолеть невероятную растерянность в тот момент, когда подступаешь к упомянутому порогу. Возьмите хотя бы насыщение

автомобильного рынка. Эта беспомощность, когда всего в достатке, ужасна. Тут срочно нужна критика. То, что Солженицын говорит насчет упадка Запада, относится все же к идейно-историческим предрассудкам, а не к конкретным материальным процессам, и притом он не учитывает взаимосвязи и сцепления. Это напоминает давнишнюю критику культуры справа. Он полностью игнорирует, что согласно историческому материализму Лютер, например, дал приемлемую идеологию для совершения самых первых шагов индустриализации.

Г. Б.: Да, это можно интерпретировать так.

Г. Ф.: Вероятно, эмигранты слышали это раньше в Советском Союзе так часто, что считали совершенно невероятным посмотреть на вещи более или менее диалектически.

Г. Б.: Разумеется, это надо тоже знать. Во-первых, то, что я сказал выше о рефлексе на все, что слева. Затем, постоянный анализ и изучение исторического материализма, постоянные обещания, которые никогда не выполнялись. 50—60 лет — большой срок, почти три поколения. Полагаю, об этом всегда надо помнить, когда некоторые высказывания какого-нибудь эмигранта вызывают у нас раздражение. И также следует учитывать, какие высказывания западных интеллектуалов о Советском Союзе были им известны в то время, когда реально существовал Архипелаг Гулаг. О слепоте, порой глупости, с которой хотели пробудить надежды (или пробуждали их в самих себе), забывать нельзя. Но то, что вы называете идейно-историческим, мне кажется, невозможно отделять от конфронтации эмигрантов с рыночным материализмом. Я полагаю, что эмигранты рассматривают это как единое. Превращение в товар всего на свете: сексуальности, женского тела ниже пояса, выше пояса и т. д.— все это рынок. Для чего это делается? Ведь не для того, чтобы снабжать самым элементарным человечество, большая часть которого веками нравственно развращалась; идея рынка — постоянный сбыт, постоянное установление цен и, спокойно говоря, ценностей. А также определение цен на красоту и радость. Равнодушие, с которым продается сексуальность, продается раз, другой, несколько подновляется и продается еще раз, это ведь тоже развращение при одновременном благосостоянии. Откуда, стало быть, появятся идеи, которых мы ждем, или, скажем, духовное обновление, где оно? Его не видно.

Г. Ф.: Но ведь, как вы сами признали, эти зачатки есть у левых, у молодых социалистов?

Г. Б.: У некоторой части.

Г. Ф.: Итальянскую компартию почти совершенно не затронула коррупция, меж тем как христианские демократы в Италии коррумпированы в высокой степени. В Португалии — я хорошо знаю эту страну — старый режим был ужаснейшим. Закостенелый фашизм в своем худшем проявлении. А что говорит Солженицын об этом? Он предостерегает, что Португалия вскоре станет русской и т. д. Он склонен игнорировать или обвинять как «промосковские» именно те силы в Европе, которые пытаются разглядеть порог, через который, по сути, еще никогда не переступали. Например, развить новые взгляды на образование...

Г. Б.: Новой духовной ценностью, например, может стать солидарность. Да, это было бы новой ценностью и новым понятием, причем его надо избавить от идеологических пут. В самом деле, глупо не видеть, какой шанс был у Португалии в течение 500 лет — в Мозамбике и Анголе — создавать ценности, воспитывать людей, делать их христианами, научить их читать, что никому не вредно. Мы видим всегда только конечную стадию, то есть бессилие колониальной власти, полный крах, коррупцию и потерянный шанс. И вот тогда усматривают в социализме угрозу, не думая, что он, возможно (я не верю, что Ангола — коммунистическая), несмотря на Советский Союз, несмотря на Архипелаг Гулаг, несмотря на ужасы сталинизма, смог бы стать последней надеждой, из которой опять получилось бы что-то духовное и даже религиозное. Вот в Италии 33—34% коммунистов. Боже мой! Как там дошли до этого, как протекали последние 30 лет итальянской политики и истории? Об этом забывают. То же относится к Чили, к Португалии, примеров сколько угодно. И тут действительно проявляется своего рода слепота, если не хотят поразмыслить, как это могло получиться. Помоему, нехорошо, неловко говорить испанцам, как они свободны. Большая беда Солженицына и других эмигрантов в том, что они всегда все на свете сравнивают с Советским Союзом. Конечно, Испания свободнее СССР, не сомневаюсь, но дело самих испанцев решать, насколько они свободны сейчас, были свободны в прошлом и как захотят быть в будущем. А духовный и республиканский потенциал Испании очень большой. Я не позволяю себе судить, когда меня спрашивают не коллеги: что ты об этом думаешь? Это же глупости... Все на свете, все ужасы — относительны, если сравнить с Советским Союзом, с тем, что там происходило, не теперь, а во времена, описанные Александром Солженицыным...

Г. Ф.: А ужасы в Германии, их можно тоже соотнести?

Г. Б.: Нет, нет. Я говорю о современности. На днях я прочитал в газете, что в Чили миллиону детей угрожает голодная смерть. Советский эмигрант мог бы сказать: ну и что, у нас 50 миллионов погубили. К нам как бы переходит из СССР какой-то рефлекс бесчеловечности, который мы не в состоянии принять. Они также могут сказать: чего вы раскричались насчет вашего постановления о радикалах? Ну будет на 500 учителей меньше, а среди них есть коммунисты и террористы. Но ведь это принимает характер заразной болезни, симптома, — я могу сравнить это только с заразой, которая очень быстро распространяется, — тут нельзя закрывать глаза; эту опасность релятивизации несвободы в мире по сравнению с СССР я считаю самым скверным в позиции советских эмигрантов.

Г. Ф.: Причем, когда читаешь различные документы институтов и организаций, занимающихся третьим миром, той его частью, которая находится под буржуазно-капиталистическим влиянием, где количество лишенных жизни не косвенно, а прямым насилием составляет...

Г. Б.: Вьетнам. Почему возник коммунистический Вьетнам после 30 лет колониальной войны, об этом больше не говорят. Я упоминаю это сейчас для сравнения с Анголой, Португалией, Италией и т. д.

Г. Ф.: Я никогда не жил ни в ГДР, ни в Советском Союзе; но с тех пор, как начал лет 15 назад заниматься историей социализма и коммунизма, то, изучив прежде всего условия, существовавшие в СССР в ранней его стадии, я понял, что, несмотря на дефекты развития, обусловленные скорее царизмом, нежели коммунизмом, принятое у нас обращение со словами «коммунизм» и «социализм» весьма своеобразно и проблематично. Ведь Маркс и Энгельс представляли социалистическое и коммунистическое развитие как дальнейшую фазу после того, как капиталистическая система доказала — а тем временем улик собралось предостаточно, — что она не продвинет человечество вперед. Поэтому для меня представление о социализме и коммунизме — во всяком случае, со здешней точки зрения — исполнено надежды, и мне кажется весьма проблематичным, когда понятие коммунизма определяют тем, что происходит в СССР.

Г. Б.: Думаю, что этим понятиям, — социализм, коммунизм, — надо дать новые определения.

Г. Ф.: И вот я спрашиваю себя: знаком ли Солженицын с анализом мировой обстановки, данным Марксом, и его концепцией, которая вовсе не собиралась предлагать концлагеря и Архипелаг Гулаг, а была направлена на помощь людям, значительная часть которых как раз жила

в условиях, подобных лагерным. Например, рабочий класс в Англии. Ведь цель Марксовой концепции — добиться больше свободы именно для самых угнетенных из угнетаемых и дать анализ общественных отношений в мире, которые помогут этому осуществиться. При этом Маркс выстраивал свою концепцию для определенной категории угнетенных, а не в целях угнетения. В его трудах содержатся и другие аспекты будущего. Как вы считаете, способен ли Солженицын вообще увидеть различие — если, конечно, считать, что он читал Маркса, читал непредвзято, — между этой концепцией и тем, что Солженицын лично пережил в Советском Союзе? Представляет ли он расходы прежних религиозно-национальных обществ, какое тогда было угнетение, как были набиты тюрьмы? Знает ли он, сколько всего нужно было, чтобы поддержать иерархию? Иного представления об общественном устройстве, чем иерархическое, у Солженицына я не вижу, если обобщить его высказывания на эту тему, что он и сам делает.

Г. Б.: Я еще не обнаружил у него какой-либо общественной концепции. Слава богу. Намеков на царизм в сопоставлении с коммунизмом в СССР в XX веке достаточно, — и все они кажутся мне убедительными. Ибо СССР явно феодальное государство, в котором угнетение осуществлялось под другим знаком, и вы не должны забывать, что Солженицын по возрасту почти ровесник Советского Союза. То есть вся его жизнь протекала в ожидании исполнения обещаний, которые дал Маркс, в ожидании воплощения в жизнь утопии Маркса, постоянно конфронтировавшей с противоречившей ей действительностью. Для наглядного сравнения представьте себе монаха из XVI века, во времена Лютера, то есть когда вообще впервые возникли сомнения в тотальной иерархии церкви; у этого монаха точно пелена с глаз упала, и он подумал: значит, все, что мы до сих пор делали, не имело ничего общего с христианством. Эпохи и сроки разные, но, пожалуй, не стоит рассматривать их арифметически. 60 лет тоже вечность, почти целая человеческая жизнь. Советские люди живут в системе, которая постоянно пропагандирует новый мир, новое общество, новое братство и постоянно действует вопреки собственным целям. За исключением нескольких лет войны, когда необходимость изгнать нацистов и немцев из Советского Союза кое-что сгладила. Но как только война миновала, террор возобновился в еще большем масштабе, даже против тех, кто сражался за советскую власть, кто пострадал и был в плену. Очень страшный момент в «Архипелаге Гулаг» — это описание возвращения

военнопленных и как с ними поступили. Не думаю, чтобы от человека, который всю жизнь — с рождения до высылки — противоборствовал этому поповскому лицемерию, можно ожидать, что его обнадешат обещания и концепции Маркса. Такого ожидать нельзя. Я не собираюсь сейчас сравнивать произведения Маркса (не столь уж хорошо я их знаю) с Новым заветом, но попробуйте провести аналогичное сравнение с кем-нибудь, кто вырос и воспитан наивно верующим (в лучшем смысле) христианином и вдруг узнает, что всем этим злоупотребили, используя лишь как предлог, чтобы оправдать власть, угнетение и эксплуатацию, и тогда, я думаю, вы лучше поймете поведение советских эмигрантов. Очень тяжело, почти невозможно потом всерьез воспринимать в этой форме или из этого источника утопическое сосуществование людей, которое обещал Маркс, а Энгельс и другие, быть может, добросовестно разработали. Если вы постоянно конфронтировали с таким цинизмом феодального прелатского государства,— а для меня Советский Союз необычайно клерикален. И, разумеется, если вы вдобавок еще и жертва.

Г.Ф.: В таком случае наша беседа сводится к тому, чтобы резко подчеркнуть относительность позиции Солженицына и многочисленных его коллег и поставить под большое сомнение значение многих высказываний. К тому, что вы сейчас говорили, добавляется еще один момент (мы обсуждали это в другой связи), а именно то, что система, в которой они жили, продолжает жить в них, что, следовательно, они, по сути, не могут в полной мере реализовать иное сосуществование, нежели то, которое знали почти всю свою жизнь. Если бы, допустим, Солженицын разработал вариант общественного устройства, не было бы ли это опять своего рода феодальной формацией? Ведь он всегда жил в такой среде, с такими представлениями, и хотя восстал против них, но в то же время остался от них зависимым.

Г. Б.: Конечно. Оценке этой ситуации должен был бы предшествовать долгий разговор, касающийся понятий советских граждан о демократии. Мы в этом тоже не так сильны, не будем уж очень воображать о себе, но разговор затянулся бы до бесконечности. Советскому гражданину трудно себе представить даже частичную демократию. Мои очень хорошие друзья иногда ведут себя довольно странно: к примеру, они присылают мне оттуда какую-нибудь статью или письмо и говорят: постарайся, чтобы вот это или то непременно опубликовали, непременно. Они так привыкли, им кажется, что видному писателю, да еще нобелевскому лауреату, достаточно позвонить по телефо-

ну, и все будет в порядке. Да, отличные друзья, очень близкие, и мне бывает весьма трудно объяснить им: я такого никогда не делаю, я не занимаюсь проталкиванием. Если статья — или то, что тебе хочется опубликовать, — хороша, я с удовольствием попытаюсь ее поместить, all right, но у меня нет возможности позвонить в редакцию газеты или радио и сказать: вот, это немедленно опубликуйте. Я привожу вам этот пример, чтобы пояснить, какая сложная штука — демократия. Представление о всесии знаменитого писателя, будем объективны, — наивное. Там это действует. Причем быть нобелевским лауреатом — факт в Советском Союзе не решающий. Но у Солженицына, естественно, был авторитет. Вы не представляете себе, что думали некоторые мои советские коллеги о моем влиянии как президента международного ПЕН-клуба. Даже ту малость демократии, к которой мы здесь потихоньку привыкаем, они не в силах себе представить, и это одна из труднейших, сложнейших для меня проблем при общении с советскими друзьями. Доходит до мелочей, комических мелочей. Приезжая в Москву, я не останавливаюсь в самых шикарных отелях, и сей факт сразу вызывает подозрение у всех функционеров. Там есть небольшая старомодная гостиница XIX века, третьеразрядная, и я там поселяюсь. Мне нравятся комнаты, столовая. И получить в ней номер мне очень трудно, так как писателю моего ранга положено жить в лучшем отеле, в лучшем номере. В этом есть что-то ужасное, но и нечто трогательное. И почтение к писателю, естественно. Но если ваше поведение не соответствует их иерархическому клише, у них тут же возникает подозрение. Они думают: ага, он хочет в эту гостиницу, значит, он что-то замыслил. Он там с кем-то встречается, и вообще. Привожу эти примеры, чтобы вы уяснили: люди там не имеют никакого представления о демократии. Еще пример. Я дружу с одним очень хорошим художником, который официально почти совсем неизвестен в СССР. Я люблю его картины и очень с ним дружен. Это необыкновенно скромный, совершенно «незначительный» человек. И когда я бываю в Москве, я навещаю его раза два-три, и если собираюсь в четвертый, то функционеры этого не понимают: ведь я должен общаться с равными мне по рангу. Ранги, ранжиры... Хочу, чтобы вы поняли: Советский Союз — укомплектованное феодальное государство. И поскольку Александр Солженицын отвергает Советский Союз как модель, я не могу себе представить, что он грезит о феодализме другого сорта.

Г. Ф.: Но национально-религиозные общества в истории все были феодальными... Однако вот другой вопрос. Солженицын явно против политики разрядки, если я пра-

вильно понял его высказывания. Он считает, что Киссинджер распродает свободный Запад. Усматривает в этом капитуляцию. Стало быть, Солженицын инстинктивно, самопроизвольно отвергает просвещение, ибо политика разрядки содержит в себе фактор взаимного просвещения. Что он представляет себе вместо этого? Неужели его, мягко выражаясь, антипатия к советской системе достигла такой степени, что он видит возможной только конфронтацию? Но, вероятно, это у него уже прошло, так как он считает Запад слишком упадническим. Или он действительно верит, как Сахаров, Медведев и другие (они, на мой взгляд, убедительнее), в обновление Советского Союза своими силами?

Г. Б.: Думаю, что понятие «политика разрядки» слишком широко, слишком потрепано. Солженицын в одной из своих речей в Америке сделал хорошее предложение, очень хорошее. Я считаю его решающим, самым важным. Я сам как-то выдвинул аналогичное предложение в связи с так называемой третьей корзиной KSZE: обмен информацией и людьми. Солженицын сказал, — я не помню дословно, — почему бы просто не разрешить людям выезжать без того, чтобы КГБ или другая организация их отбирала, причем выезжать, не боясь, что их не впустят обратно. И это предложение, выдвинутое нами еще давно в ПЕН-клубе, мы хотели внести и в третью корзину, даже устроили в Бонне по этому поводу специальное мероприятие... думаю, что это решающее предложение будет способствовать политике разрядки. Что касается третьей корзины, то Советский Союз и ГДР до сих пор палец о палец не ударили. И что говорит в этом случае Солженицын, я считаю решающим: то есть чтобы советские деятели культуры выезжали на Запад не по выбору Союза писателей, Союза художников, Союза композиторов или Союза кинематографистов, а по собственному свободному решению — съездить, посмотреть, пообщаться. Такой процесс — я уже говорил об этом часами с господином Фалиным — не повредит СССР и внесет действительную разрядку. Ибо — это вы тоже должны всегда учитывать — из чего состоит информация о Западе, которую получает советский интеллигент? Из пропаганды «плюс» или пропаганды «минус». Реального ознакомления — никогда. Если вы три недели ездите по Америке, живете в отеле, разговариваете с людьми, видите их жизнь, вы получите впечатление об Америке. Таких впечатлений лишены почти все серьезные советские интеллигенты. Поездки на Запад — скупая раздаваемая привилегия немногих функционеров. Я теперь изучил эти игры. Уже двадцать лет

приезжают одни и те же. Я пытался лично пригласить нескольких моих друзей, — причем ручаюсь, что они вернуться, готов оплатить все расходы, — просто хочу показать этим людям, с которыми я общаюсь в Москве, переписываюсь, как выглядит Запад. И вот тут Солженицын сделал предложение, — не новое, но очень важное, — оно доказывает, что он отнюдь не за постоянную конфронтацию. Пока ничего не переменялось. Снова и снова появляются все те же скучные функционеры; скучные потому, что они тебе уже знакомы и ты заранее знаешь, что они расскажут в Москве. Например, члена ГКП, писателя «Икс» или «Игрек», они выставят как известного писателя ФРГ, это неправильно. Я ничего не имею против того, что у нас есть писатели — члены ГКП, и некоторые даже пользуются определенной известностью. All right. Но опять же тут создается искаженная картина ФРГ, подходящая под функционерское клише. А главное, они не показывают ни нашей закомплексованности, ни наших сложностей, ни фашизма, латентного фашизма, скрытого. И после того, как я прочитал об этом в одной из солженицынских речей в Америке, я не могу поверить, что он сторонник холодной войны, только антикоммунист и жаждет только конфронтации. Думаю, что некоторые его высказывания, спорные и воинствующие, вызваны тоской по родине и раздражением западными средствами массовой информации, которые и впрямь способны доконать любого тем, что стремятся загонять в угол или выматывать душу. Что касается политики разрядки, то я почти согласен с ним. Личная встреча со страной, с миром, который мыслящему советскому интеллектуалу совершенно чужд, который они знают по литературе да по двум-трем газетам, которые мы от них утаиваем, и это перманентное утаивание повышает напряженность, являясь, собственно, антиразрядкой. В Советском Союзе писателей, кажется, 5000 членов, — почему же разрешают ездить сюда только определенным лицам? Думаю, что это ограничение объясняется страхом перед встречей с Западом. И убежден, что этот страх необоснован. Вторая причина: подоплека поездок грубо материальная, с феодальными привилегиями, и распоряжается ими определенная клика, распределяя их как премии. Можно кое-что купить... Это по-человечески. Не книги, их дарят, а занавески, ткани, обувь, в общем, потребительские товары.

Г. Ф.: Может быть, вернемся немного назад, к Твардовскому? В статье Медведева говорится, что Солженицын «Иваном Денисовичем» явно форсировал развитие Советского Союза; тот же Медведев подвергает автора резкой критике за то, что он в «Бодался теленок с дубом» принижает роль широкой дискуссии об «Иване Денисови-

че», развернувшейся в СССР, изображает ее как незначительную. Не получилось ли так, что, возможно, он своей торопливостью, с которой шла его работа над «Архипелагом Гулаг», несколько повредил этому развитию, хотя оно и ему было желательно? Если взглянуть на то, что происходит в нашей бюрократии и средствах информации, то не был ли, скорее, прав Твардовский, когда он продвигался вперед медленно, шаг за шагом, порой отступая на шаг? Медведев говорит, что при обособленности Солженицына в СССР после его исключения из Союза писателей почти не было протестов в его защиту; и если я правильно понял Медведева, он хочет сказать, что отсутствие протестов свидетельствует о том, что Солженицын в самом деле обособлен и что коллеги молчали не из страха, а потому, что действительно были иного мнения.

Г. Б.: Не думаю, что это так. Ведь я был тогда в Москве и отчасти являюсь свидетелем тех событий. Протесты были, людей даже исключали из Союза писателей за то, что те протестовали против его исключения, а также против исключения Чуковской. Тут надо разобраться. Я не могу судить, что говорил Медведев о том, как изображает Твардовского Солженицын. Я трижды встречался с Твардовским, знаю, что он был горячим поклонником Солженицына, и я когда-нибудь напишу о своих впечатлениях. Твардовский очень уважал Солженицына, — не только поощрял, но прямо-таки почитал, — и я вовсе не вижу столь негативного изображения Твардовского в «Бодался теленок с дубом», как его интерпретирует Медведев. Но здесь имеет место определенная внутрисоветская чувствительность, с которой я должен считаться. Поговорим о более важном. Собственно, не следует вмешиваться в то, как воспринимают взгляды Солженицына в СССР. Существуют такие болезненные темы, когда можно рассуждать бесконечно — изобразил его верно, изобразил неверно. В «Теленке» ясно одно: Солженицын был готов на уступки.

Г. Ф.: Да, главным образом вначале.

Г. Б.: Был готов идти на уступки, еще когда предлагал «Раковый корпус». Однажды — в определенный момент — он сознательно вынул из письменного стола начатый «Раковый корпус» и сказал: эту безобидную вещь (я, как и прежде, убежден, что она безобидна для советских условий)... я теперь закончу и предложу им. То есть не «В круге первом» и не части «Архипелага Гулаг». Он показал свою готовность к уступкам, так как хотел расшатать закостеневший аппарат изнутри. Но я полагаю, что *больше* уступок, чем он предложил, как это видно из «Теленка», он не мог сделать. Есть предел. И следует

учесть одно — я это понял за последние годы,— если вы живете в тоталитарной системе с цензурой, слежкой, вы легко становитесь слишком скромным. Я не осуждаю точку зрения Медведева — «шаг за шагом», однако... У коллег из ГДР я заметил то же самое... Время от времени встречаешься с ними и слышишь: вот сейчас это вышло, то вышло, стихотворение этого напечатали, статью того, дело подвигается. Мне это кажется слишком скромным. Понимаю, нам, конечно, легко рассуждать.

Г. Ф.: *Здесь* тоже зачастую приходится быть очень скромным.

Г. Б.: Здесь тоже приходится быть скромным, но по-другому. С такой оговоркой. Значение Солженицына после публикации «Ивана Денисовича» все-таки было большим, и никто его не умаляет.

Г. Ф.: Значит, в самом Советском Союзе...

Г. Б.: Да. Его влияние было огромным, и тогда и потом. Но мне думается, что он утратил бы это влияние, если бы сделал больше уступок, чем предлагал. Я представляю, какое значение имела бы эта повесть в истории публикаций, сколько бы разговоров было, ах, сейчас он начал уступать...

Г. Ф.: Позвольте взглянуть в другом ракурсе. Первая жена Солженицына и некоторые лица упрекают его в «ячестве», в безмерной переоценке себя. Он непременно хотел создать себе высокий пьедестал. Кроме того, дочь Твардовского упрекала его, что он весьма вольно обращается с информацией из вторых и третьих рук. Сам я должен признаться, что кое-какие пассажи из «Архипелага Гулаг», на мой взгляд, звучат явно в духе правой пропаганды.

Г. Б.: Книгу его первой жены я читал. Это очень туманная книга, и я не сомневаюсь, что она явно сфабрикована советскими органами. При внимательном чтении видишь места, где Решетовская мнетя. Слишком много умолчаний. Что касается «ячества», или, если угодно, «пьедестализации», то же самое ставят в упрек Бирману в ГДР. Ведь что получается: советские начальники сами возвели его на пьедестал своим обращением с ним, запретом публикаций, постоянным преследованием и слежкой. Потом его выслали и тем самым демонстративно подняли на высочайший пьедестал, какой только возможен. Как могу я упрекать его за то, что он на нем стоит. Не могу. Это ведь старая тактика в некоторых социалистических странах, когда кого-то преследуют, не дают печататься, лишают покоя подлейшим образом, а потом ему же пеняют, что он мученик или стоит на пьедестале. Тут работает злая диалектика. Если бы в СССР опубликовали все

его произведения, не выслали бы за границу, не создавали бы ему препятствия, он, быть может, и не оказался бы на пьедестале. Я считаю все это жалким трюком. Во время моих первых визитов в СССР я часто беседовал о нем с функционерами, и они выдвигали именно тот же аргумент: он, мол, важничает и т. п. Это *вы* его сделали важным, говорил я им. *Вы* делаете его важным, и потому он таковым становится. Его нельзя в этом упрекать.

Г. Ф.: В таком случае Солженицын более или менее не виноват во многих действиях, которые он совершает вне Советского Союза.

Г. Б.: Разумеется! Наверняка.

Г. Ф.: А этот некоторый дух правой пропаганды в «Архипелаге Гулаг», он не действовал порой на вас?

Г. Б.: Нет, нет. Думаю, нам следует сравнить это, скажем, с нашей проблемой изгнанных и беженцев. Я сейчас обобщаю: мы, западногерманские интеллектуалы, тоже игнорировали эту проблему, потому что усматривали в ней политическую линию партийной пропаганды. Изгнание, беженцы, действительно жестокие вещи, которые происходили во время или после войны. Мы их — о себе я не могу этого утверждать, но тут есть и моя доля вины,— мы их игнорировали, ибо казалось, что они исходят из определенного политического сектора и опять же политически нам не подходили.

Г. Ф.: Вы имеете в виду политику союзов изгнанных?

Г. Б.: Думаю, мы были несправедливы, ибо независимо от того, кому это политически выгодно или вредно, необходимо было откликнуться на их беду, принять участие в их судьбе. Не только из общегуманных соображений, но и для того, чтобы лучше понять определенные политические изменения, которые возникли оттого, что большая группа интеллектуалов и органов информации просто задвинула эту проблему в правый и даже в фашистский сектор пропаганды. Аналогичными мне кажутся некоторые высказывания в «Архипелаге Гулаг». Было бы глупо не замечать этого, если даже сие нам не нравится. Точно так же мне хотелось бы, чтобы Солженицын и многие его друзья с пониманием восприняли бы здесь то, что им, возможно, не нравится. События в Италии, в Анголе развивались не вследствие постоянного злонамеренного нажима Советского Союза. Это абсурд. В Италии же свободные выборы.

Г. Ф.: Но как показывает история последнего полувека, не существует такой позиции, с которой можно отвлеченно рассуждать об «Архипелаге Гулаг», рассуждать об изгнанных в отрыве от того, что исходило из Германии.

Г. Б.: Это имеется в виду.

Г. Ф.: Ведь всегда остается проблема: держать открыто эти взаимосвязи в сознании почти невозможно.

Г. Б.: Необходимо всегда иметь в виду, как эти проблемы возникли, это ясно. Но о войне и возникновении войны написано много. Почему бы не рассматривать эту проблему также в связи с советской послевоенной политикой? Это ведь тоже было проблемой «Архипелага Гулаг». И потому я одобряю, что мой друг Копелев начал как советский автор, как социалист, разбирать эту проблему. Его книга «Хранить вечно» начинается с этого. Самое интересное для меня было то, что он, социалист даже теперь, несмотря на лагеря и «Гулаг», сказал однажды: сейчас напишу-ка я об этом, я хочу, чтобы знали, что мы, красноармейцы, и что я сам почувствовал при занятии Восточной Пруссии. Социалист должен разобраться и в этом.

Г. Ф.: Да, я разделяю это мнение.

Г. Б.: Прочитайте Копелева. Хотя бы первые пять глав, где об этом речь. Дальше тоже интересно, но там скорее похоже на вариант, очень человечный вариант «Архипелага Гулаг». Копелев — человек весьма не аскетичный. В его книге вот что для меня важно: он, кто сегодня еще считает себя социалистом и почти коммунистом, заявляет: мы не должны были этого делать. А мы сделали, и так было.

Г. Ф.: Вы встречаетесь с Солженицыным?

Г. Б.: Нет, с тех пор как он был здесь, я его больше не видел. Он все время в пути. Сейчас в Америке. Делает «1917». Боюсь, что он с головой зароется в эту историческую эпопею. Жаль, что в его планах нет ни романа, ни рассказов.

Г. Ф.: Жаль потому, что он все-таки признанный рассказчик?

Г. Б.: Да, это для меня по-прежнему наиболее импонирующая из его граней. Он и в «Архипелаге Гулаг» рассказчик. У этой вещи необычайная инструментовка, аранжировка и звучание. Я отношу ее к прозе. Но окунуться целиком в историю Советского Союза... не знаю, стоит ли. Что ж, ему виднее. Я увижусь с ним. Мы переписываемся, и он отнюдь не друг капиталистов, отнюдь.

Г. Ф.: Это заключительное слово нашей беседы?

Г. Б.: Нет, это слишком личное.

Г. Ф.: Но он очутился в таком обществе.

Г. Б.: Можете, конечно, считать так, поскольку он не предлагает альтернатив политических. Он только повторяет: Ангола капут, Италия, Португалия, Вьетнам... мы уже проиграли третью мировую войну... и кое-кто может

подумать, что решение только в войне, но в том-то и дело, что это не его решения.

Г. Ф.: Но когда высказываешься по политическим вопросам, надо же предвидеть последствия своих высказываний. Солженицын как человек, как писатель... известно, насколько можно обнадежить отдельного человека, ведь его все время разубеждают, и,— вы сказали вначале,— писатель так или иначе пребывает в кризисах. Солженицын, как всякий писатель, должен преодолевать свои кризисы. Несомненно. Однако он весьма склонен вещать голосом пророка. И когда он стоит на трибуне и делает политические заявления, зная, что к нему прислушивается весь мир, это как раз тот случай, когда ему надо либо помалкивать, либо взвешивать заранее свои слова с учетом последствий.

Г. Б.: Да, вы правы. Действительно, я совершенно неспособен поучать коллегу, совершенно, и не думаю, что это было бы хорошо. Нужно иметь опыт. Когда Солженицына выслали и он прибыл сюда и начал выступать, то многие коллеги просили меня: напиши ему, познакомь нас с ним. Я отказался и ответил: нельзя обрести чужой опыт. Эта фраза часто встречается в речах Солженицына. Нужно самому испытать и самому ошибаться. Я могу попросить у друга совета, могу, допустим, сказать: слушай, мне надо выступить в Лондоне с речью, вот я набросал текст, взгляни, пожалуйста. Это я могу сказать, это нормально, но в решающий момент вы должны решать сами, этого за вас никто не сделает. Со мной такое тоже случилось, но в другой ситуации. Коллеги писали мне: ну что ты за ерунду несешь, что ты опять городишь? Отчасти да, горожу. Но я должен сказать или должен написать сам, даже если это глупости. Я не могу опыт других людей передать своим языком. Писательский опыт мешает мне поучать Солженицына. Он иногда пишет мне. Мы обмениваемся мнениями, зачастую противоположного характера. Я надеюсь, что мы с ним еще увидимся и поговорим. Но давать непрошенные советы...

Г. Ф.: А непрошено дискутировать тоже нельзя?

Г. Б.: Нет, это можно. Буду дискутировать, если он тем временем овладеет немецким. Это такая проблема... Дискутировать через переводчика невозможно. Я, к сожалению, не знаю русского. Сложная проблема, языковая. Когда он говорит по-русски в Испании, Англии или Америке, никогда не знаешь, как это переводится. Все может зависеть от какого-то одного слова. Надеюсь, и это меня беспокоит, что он будет рассудительным и отнюдь не опрометчивым. Поймет, что в Италии происходит нечто совсем иное, чем в 1917 в России. Думаю, он еще способен

это понять. События в Италии, вероятно, политически самые важные в этом десятилетии или даже за последние двадцать — тридцать лет: как поведут себя итальянцы, если коммунисты станут самой большой партией. Для нас это будет иметь решающее значение. Надеюсь, что Солженицын взглянет на это и рассудит объективно. Без предубеждений и не по модели Советского Союза. И еще надеюсь, что он способен по возможности сам себя поправлять.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «НОЧИ НАД ГЕРМАНИЕЙ»

К пугающим достопримечательностям немецкой истории принадлежит и тот факт, что одну из самых известных и ходовых, самых распространенных книг — «Мою борьбу» Гитлера, книгу, которая по своему значению безусловно заслуживает того, чтобы быть внимательно прочитанной, — прочли очень немногие. В этом отношении ее можно сравнить разве что с Библией — в то время ее главным конкурентом: ведь и Библию прочли очень немногие. Пожалуй, и я не прочел бы «Моей борьбы», не будь она включена в школьную программу обязательного чтения, дело это оказалось нелегким, почти непосильным — я до сих пор поражаюсь мужеству нашего учителя немецкого языка и литературы, который сухо, бесстрастно — и если внимательно вслушаться — издевательски-презрительно, без малейшего трепета и благоговения проводил «разбор» этого к 1935—1936 годам ставшего священным текста; он разбивал его на части и предлагал нам дома сокращать до разумных пределов большие куски и целые главы, делая их таким образом «удобопонятными». Выполняя эти задания по немецкому, я прямо-таки сжился с этой книгой, до краев наполненной непереносимым вздором, — «редактируя» ее, я немало дивился собственному умению делать «сам по себе» нечитаемый текст вполне доступным для восприятия. Наш учитель немецкого, которого звали Карл Шмиц, — в нем не было ничего от того типичного немецкого словесника, «питомца муз», что выпускает в жизнь «мечтателей и поэтов», — не мог и предположить, чем он тогда рисковал, какой опасности подвергался. Тогда мне такое не приходило в голову, а теперь, когда я вспоминаю об этих рискованных уроках немецкого, меня мороз по коже подирает. Ведь все могло кончиться не просто неприятностью — последствия могли быть ужасными. Ведь «Моя борьба», со всем ее изуверским косноязычием, была не чем иным, как инструкцией, в полном соответствии с которой нацисты творили свои изуверства на глазах у всех, — инструкцией, которую почти никто не читал. Раз-

глядывая иллюстрации Клемана Моро к «Моей борьбе», я вновь переживаю этот кошмар — весь тот ужас, который владел нами на захваченных и разгромленных нацистами улицах. В наши дни мало-помалу вновь возрождается нечто вроде ностальгии по нацистским временам, наверняка где-то снова печатается и распространяется «Моя борьба». Сейчас самое время еще раз напечатать иллюстрации Клемана Моро, то есть наконец-то познакомить немцев с ними. Любой образованный немец, до сего дня так и не удосужившийся прочесть «Мою борьбу», позиция которого лучше всего выражалась хорошо известной формулой: «Если бы фюрер знал обо всем этом...», должен наконец убедиться, что фюрер не только знал обо «всем этом», но и хотел этого. Все, что происходило в те годы, совершалось с его ведома и по его воле — чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть «Мою борьбу». Эта книга — не пророчество, это конкретная программа. Читать ее невозможно, и тем не менее в ней есть все. Клеман Моро вычитал из этой книги все, что необходимо знать, и изобразил графически. Ведь уже само слово «фашизм» скрывает в себе опасность примирительного отношения к этому явлению. Нужно называть вещи своими именами — следует говорить «нацизм», «нацисты»; называть нацистов фашистами значило чуть ли не льстить им. Да и распространенное словечко «фашиствующий» чревато примиренчеством. Нужно сказать прямо — фашизм это зло, но нацизм — еще большее зло, и вполне обоснованным было бы пользоваться термином «нациствующий», поскольку немецкий вариант этого явления обладал своим особенным качеством, очень быстро перешедшим в свое особенное количество. Иллюстрации Клемана Моро делают наглядным и очевидным то, что лишь с немалыми усилиями удастся и удавалось вычитать из «Моей борьбы». Кто сегодня возьмет на себя труд засесть за чтение «Моей борьбы»? Ностальгия — об этом уже можно сказать смело — марширует широким фронтом, маршеобразные ритмы заполнили эстраду, с особой отчетливостью они слышатся в шлягере «Польская девушка», в котором поется о «самой шикарной девчонке в Польше». Что значила и должна была значить эта — эвфемистически названная «польским походом» — война с Польшей для поляков, для польских либералов, польских священников и социалистов — об этом можно прочесть в «Моей борьбе». Человек по имени Гитлер, написавший «Мою борьбу», который из «надерганных» отовсюду идей и цитат слепил чудовищную расовую теорию и в облике которого не было нордических черт, так что это не могло

не бросаться в глаза (впрочем, что вообще могло броситься в глаза немцам в те годы?), — этот человек хотел всего, что творилось его именем и под его ответственность, — и скорее всего, самая шикарная девчонка Польши была уничтожена в Освенциме или Трешлинке или погибла во время уличных боев в Варшаве. Кое-кто охотно цепляется за отговорку — мол, Гитлер воевал с большевизмом. Так что же, Франция, Англия, Норвегия, Дания, Голландия, Италия, Югославия — все это были большевистские страны? А где Гитлеру было оказано наиболее отчаянное сопротивление? Именно в тех двух странах, население которых вполне может быть зачислено в категорию «нордический», — в Голландии и Норвегии.

Иллюстрации Клемана Моро к «Моей борьбе» актуальны не только потому, что благодаря им немцы наконец-то познакомятся с книгой, сыгравшей в их истории столь значительную роль, но и потому, что ностальгические настроения, владеющие определенной частью немцев, наконец-то обратятся к предмету, не перестающему быть актуальным, — к антинацизму. И пусть примиренчество по отношению к нацизму набирает силу, пусть все громче и уверенней звучат с эстрады состряпанные на скорую руку шлягеры, стремясь заглушить голос истины, — наши лучшие, наши высшие помыслы и чувства будут, как и прежде, обращены к таким людям, как Клеман Моро, — к антифашистам, продолжавшим и в изгнании вести непримиримую борьбу за право поведать миру правду о тех ужасах и злодеяниях, которые все без исключения можно найти на страницах «Моей борьбы».

1976

СУДЕБНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ГОСПОДИНА Ф., ГОСПОДИНА Д. ИЛИ ГОСПОДИНА Л.?

Если бы человек хотел жить, ему пришлось бы преступить закон, ибо все законы приговаривают человека к смерти.

*Исаак Башеви Зингер.
Враги. История одной любви*

Я предпочел бы не выяснять, представляет ли мое дело профессиональный интерес для прокурора: я нетвердо усвоил, когда истекает срок давности, и потому лучше промолчу про свои послевоенные преступления, а поведаю лучше про военные и предвоенные; произнося: «военные преступления», я отнюдь не имею в виду тот *поистине*

криминальный факт, что я с оружием в руках слонялся по чужим странам, то наступая, то отступая, то оккупируя, а то и вовсе как представитель «дружественной страны» (Венгрия, Румыния). Нет, мои военные преступления другого рода, они совершены не в духе немецкого вермахта, а против него. Станным образом я лишь спустя двадцать пять лет после окончания войны начал видеть ее во сне (пусть психологи постараются выяснить, почему я так поздно начал видеть подобные сны и еще почему я нахожу это странным). Я очень редко вижу сны о том, что в войне есть истинно военного: пулеметы, бомбы, танки, которые едут на тебя, мимо тебя, над тобой, простые винтовки, огнеметы, снаряды, гранаты. Нет, воинственные приметы войны меня явно не интересуют даже во сне: мне явно ни к чему просматривать этот фильм, где усталые и грязные герои, сидя в каком-нибудь окопе, совместно выкуривают (делят) последнюю, самую распоследнюю сигарету; все это известно по кино: и болезненно сентиментальный блеск в глазах, и жадная (но в то же время по-дружески короткая) затяжка из горящего окурка, прежде чем разорвется снаряд. Нет, я даже не вижу во сне, как бомбят Кёльн, хотя мне довелось пережить несколько крепких бомбежек (но и тогда интереснее всего были не бомбы, а некоторые детали, к примеру, совместное исполнение карнавальных шлягеров, то ли «Голубые васильки», то ли «Это радует сердечко»). Теперь уж и не вспомню точно, какие еще. Нет, мои сны скорее напоминают того мальчика в стихотворении Гете, который прозевал воскресное богослужение, и за это его хватает сам колокол. Это стихотворение с соответственно выразительными иллюстрациями (в серии, которая, помнится, называлась «Немецкий музыкант») производило на меня в детстве большое и гнетущее впечатление (лишь много лет спустя его воспитательно-моральная, я бы даже сказал, *моралистическая* тенденция показалась мне совершенно не гетевской. Кто же станет так демонстративно вздывать перст указующий?). Короче, я видел во сне, что меня хватают, и тут они пришли, хоть поздно, но пришли, мои проступки с давно истекшим сроком давности, нарушения закона, возможно, даже преступления. Не потому, что меня мучит совесть, а потому, как мне теперь кажется, что риск быть тогда схваченным, риск, что тебя могут схватить, был столь велик, и во сне он превращается в свершившийся факт. Вероятно, можно бы сказать: риск, на который я шел, в большем или меньшем легкомыслии юности, догоняет меня под старость. Станным образом — внимание, психологи! — я никогда не вижу во сне те проступки,

которых уже тогда стыдился, которые уже *тогда* тревожили мою совесть, а это всякий раз случалось, если я «легально» крал что-то, иными словами, предавался той деятельности, для которой бюргерское сознание, свято чтящее собственность, выдумало идиотское слово «организовать». Эта форма ухмыляющегося воровства, которому так усердно отдавал дань немецкий вермахт, всегда вызывала у меня отвращение, впрочем, я и сам грешен: рубашки, сигареты, вино, шампанское, носки, картошка (сплошь проходящие предметы, ибо для непреходящих ценностей не было подходящего транспорта — грузовиков, самолетов, железнодорожных вагонов, — как ни крути, я был в пехоте, а тут много за собой не унесешь). Непреходящие ценности — это уже само по себе шутка: что непреходяще на этом свете? Нет, я не вижу снов про эти кражи, прикрытые все до единой идиотски ухмыляющимся словом «организовать». Что касается этих прегрешений, здесь моя совесть выздоровела, а может, и зарубцевалась. Хотя нет, не совсем, я часто вспоминаю дамский велосипед, который стоял перед домом в Сен-Омере, я забрал его, чтобы успеть на поезд для отпускников; я хоть и не *убежден*, но все-таки надеюсь, что он снова вернулся к своей хозяйке; этот велосипед таким тяжелым грузом лежал на моей совести, что пять лет спустя из-за другого, не украденного, а взятого взаймы велосипеда, который мне непременно хотелось вернуть, я угодил в плен, чего, не будь этого велосипеда, вполне мог избежать; как видите, я искупил свой грех: семь месяцев плена из-за одного велосипеда, который, возможно, и без того уже насквозь проржавел — но что поделаешь, я отличаюсь повышенной чувствительностью именно по части велосипедов, и конечно, надо учитывать, что велосипеды в военное и послевоенное время дороже, чем лошади (лошадей-то надо кормить), чем машины, а уж чем самолеты и подавно.

Я уже искупил то, что украл легально, в смысле «организовал», но почему, почему, спрашиваю я себя, мне еще и во сне приходится искупать проступки, которые никогда не отягощали мою совесть, при которых меня никто не схватил за руку, а только мог бы схватить? В каких глубинах здесь *что-то* происходит? Почему так поздно являются мне эти сны, сны, в которых меня попрекают моей бессовестностью, конечно, самими проступками и преступлениями тоже, но главное — тем фактом, что «совесть моя не шевельнулась»?

Было бы ошибочно предположить, что неумолимый председатель суда, который в моих снах неодобрительно покачивает головой и вздымает перст указующий, тем са-

мым пытается *разбудить* мою совесть, что ему недостаточно наказать меня, как положено по закону, что он придает столько же (либо еще больше) значения возможности с помощью профессиональных аргументов пробудить мою совесть к жизни; было бы также ошибкой утверждать, что этого господина зовут Фильбингер, еще ошибочнее, что он и *есть* Фильбингер, но не менее ошибочно, что он *не* есть Фильбингер или что его *не* зовут Фильбингер. Черт побери, ну конечно же это не господин Фильбингер во всей полноте своего импонирующего, реалистички-натуралистически высокопоставленного действительного бытия. О, эти бессмысленные разглагольствования о действительности! Это он, и это не он. Самое тягостное в нем, что он *искренне озабочен* моей судьбой. У него в голове не укладывается, почему в те времена моим единственным опасением было опасение, что меня схватят. А других опасений, значит, и не имелось? Разве мне был *на- столько* безразличен немецкий вермахт как таковой? «А правда ли, солдат (ефрейтор, обер-ефрейтор) Б., что ваше дезертирство *как таковое* не представлялось вам проступком, что лишь страх перед наказанием помешал вам вторично его совершить?» Я на все киваю, киваю и киваю, даже когда он обвиняет меня в самовольной отлучке из части, подделке документов, краже документов (отпускные свидетельства, приказы на марш), хищении печатей, продаже собственности вермахта, *раздаче* собственности вермахта людям низшей расы, попытке умышленного нанесения себе увечий, несвоевременном возвращении в часть. Я киваю и киваю, я во всем признаюсь, и поскольку этот достойный человек терзает себя больше, чем меня, я ищу и скребу, скребу и ищу внутри хоть что-то, напоминающее раскаяние, надеясь отыскать в моей испорченной душе хоть какое-нибудь подобие сожаления — и нет, не нахожу. И (тихо, почти шепотом): «А правда ли, обер-ефрейтор Б., что вы католик?» Я киваю. Он покачивает головой. Черт подери! Я что, должен предъявить ему свидетельство о крещении? «А разве вам не внушали, что приказы надлежит выполнять и неукоснительно им повиноваться и что нельзя торговать государственным имуществом, самовольно покидать расположение части, присваивать официальные бланки?» У него это не укладывается в голове, у меня не задевает совести. Полный раскаяния, я признаю, что украл две шелковые рубашки в деревне неподалеку от Амьена и еще похитил велосипед — но *это* его странным образом не интересует. То, что интересует *меня*, не интересует его, а то, что интересует его, не интересуется *меня*. Разве мы говорим на разных языках, испове-

дую разную веру? Черт возьми, разве ему неизвестно, что и немецкие, а не только итальянские или австрийские католики время от времени воруют? Звучит неизбежный вопрос: «Вы из Рейнланда?» Я киваю. Интересно, а швабы не воруют? К чему он клонит? О чем здесь идет речь: о вероисповедании, о месте проживания или просто о том, что мы оба даже приблизительно не согласуемся друг с другом, что мы просто чужды друг другу? Пожалуйста, если ему так надо, пусть он меня накажет, задним числом, пусть даже посмертно, но зачем ему вдобавок обращать меня в свою веру, зачем ему вдобавок переубеждать меня? Неужели трудно себе представить, как мучительны для меня такого рода военные сны. От меня требуют *понимания*, но я просто не в силах понять. Это господин Ф., но это не он. Бог мой, да когда же мы наконец пойдем, как обстоит дело с этой проклятой «действительностью»: как может господин Фильбингер взаправду и реально сойти со своего трона в сны своего современника, тронутого налетом анархизма? Это невозможно, этого не может быть. Тут в моих снах мешаются прошлое и настоящее, но не сюрреалистическим, а совершенно не реалистическим способом, и он шурует и роется, роется и шурует в моем нутре, он копается в моих «бумагах» и бормочет «рейнландец» (как будто и это преступление, природный изъян — оказаться родом из Рейнланда, где была «Стража на Рейне» и ферейн строителей собора). Или — тут у меня во сне сжимает сердце, очень больно сжимает, — может, это и вовсе господин Дреггер, мой потенциальный ротный или командир батальона, которому география моего происхождения так же мало нравится, как и мое вероисповедание, хотя оно, между прочим, является и его вероисповеданием. «Если уж вам совершенно безразличен (есть или был) немецкий вермахт, неужели вы не могли по крайней мере уважать его собственность?» Кто-то, кого я никак не могу узнать, бормочет слова о моральном слабоумии, которое почти попадает под § 51, но я опровергаю слова Неизвестного, поскольку не желаю принять упрек в «моральном слабоумии» (как ни безразлична мне эта попытка оправдания *сама по себе*), поскольку хотя я толкал на сторону все или *почти* все, но оружие — ни разу. Тут существовали границы, оружие — никогда, и опять-таки причиной была не моя совесть, не хотя бы отдаленно — моя мораль, которая мешала мне продавать оружие, а — помилуй меня Бог! — мое чувство прекрасного, может быть, даже моя фантазия. «То, что случается от оружия, — возразил я, — попросту некрасиво. Краденое одеяло или шинель — они вполне могут согреть двух худых русских ста-

рушек или *одну* толстую, пара носков всегда может пригодиться, сапоги — если вы, господа, вспомните о времени распутицы на русских проселках, чрезвычайно полезны, весьма желанны также и башмаки, меховой воротник может чудесным образом исцелить невралгические боли, но оружие, господа, оружие не производит ничего красивого. Возможно, я не так уж и далеко ушел от морального слабоумия, но с чувством прекрасного у меня все в полном порядке. И на этом я настаиваю. Шарф, отнятый у вермахта, может спасти жизнь мерзнущему младенцу, наушники могут творить чудеса, но оружие — ни-ког-да.

Всякий раз меня только обвиняют, но приговор не выносят, и всякий раз ковыряют ту точку в моей душе (какую «ту?»), где должна располагаться совесть. А иногда возникает запасной игрок, которого не только могли звать Лебером, но который мог им *быть*, и этот Лебер, черт подери, тоже католик, и он делает нечто совершенно ошибочное, нечто, лишь усиливающее чуждость, возникшую между нами всеми: напоминая мне про мою мать, он говорит примерно следующее: «Ефрейтор Б., подумайте только про свою достойную матушку, что бы она сказала, узнай она, как ведет себя ее достойный сын Г., воспитанный в добрых католических традициях? Что вы наделали? Неужели у вас в душе нет никаких чувств?» С этой минуты становится невозможным даже чисто теоретическое понимание между нами, чуждость (не отчуждение, а чуждость) воцаряется окончательно, ибо страшный сон превращается в комедию, от которой я с облегчением пробуждаюсь. Я смеюсь — во сне. Так как упомянутая выше господином Л. (?) дама, моя матушка, была бы, возможно, лишь разочарована ничтожностью моих прегрешений, ведь именно она просила меня, когда я был в самом нежном возрасте, при случае подделать на векселе подпись не то моего отца, не то старшего брата. Не слишком часто, раз шесть-семь, и не на пользу себе, и даже не во вред другим, тем, чью подпись я подделывал. Нет, мы делали это по одной-единственной причине — потому что нам действовал на нервы страшный трезвон, поднимаемый судебными исполнителями. Просто ужасно действовал на нервы. (Свидетельницей тому моя сестра И.) Мы сознавали, конечно, что эти люди всего лишь выполняют свой долг, и по большей части они держали себя очень мило (ей-богу, большинство исполнителей были очень милы), но *они* были вынуждены вести себя так, и *мы* были вынуждены вести себя так, и если они звонили у наших дверей слишком долго и слишком рьяно, вываливалась подушечка для иголок, которую мы затыкали между кол-

паком и языком колокольчика, и вот тут это начинало действовать на нервы — нервы на самом дне пропасти мирового экономического кризиса! Ну, тогда мы, конечно, открывали дверь, впускали господина исполнителя, и моя мать (она самая, недавно упомянутая во сне господином Л. дама) уговаривала его снова взять вексель (по-моему, это хоть и не разрешалось, но все-таки было «больше, чем ничего» и давало нам — не вообще, а только применительно к этой сумме — три месяца отсрочки, и поскольку еще ни один из наших векселей не был «опротестован», хотя мы постоянно проделывали эту операцию, такая бумажка все-таки, вероятно, стоила «больше, чем ничего»). В этом вопросе моя мать была начисто лишена совести — как и я. Мне это даже нравилось (те, кому из-за судебных исполнителей приходилось совать подушечку для иголок в дверной колокольчик, поймут меня и не осудят). Первый раз я при помощи карандаша и копирки перевел с оплаченного векселя подпись моего отца, а потом старательно обвел ее ручкой. Хочу подчеркнуть одно: в рядах немецкого вермахта я не подделал ни одной подписи. Я воровал отпускные свидетельства и приказы на марш, приказы уже с готовой подписью, подделывал же я только «направление» либо длительность отпуска. Возможно, это даже не считалось подделкой, а всего лишь «наказуемым изменением официального документа».

Не будем здесь торговаться из-за терминов; все это давно уже ненаказуемо за истечением срока давности — но явно не миновало. «Непреодоленное» настоящее, каким оно является лишь последние шесть-семь лет, rozumeeтся, *обновленное*, но не *реальное*, с физиономиями некоторых политиков, возникает в моих снах в форме допросов и попыток перевоспитания. Никогда не спрашивая меру наказания, едва ли произнося обвинительные речи, они всей душой хотели бы понять меня, но — не понимают. По мне бы, лучше они меня наказали — во сне, — тогда я избавился бы от них, они от меня, но их (не могу умолчать), их кисло-сладко-лихая манера *бередить* мою совесть действует мне на нервы, как колокольчик судебного исполнителя. О моих послевоенных преступлениях мы, может быть, поговорим в другой раз, после того, как я точно узнаю, когда истекает срок давности. Дело в том, что существует такое печатное издание, называется оно «Немецкий журнал» (это не политическая порнография, не думайте), и никогда толком не знаешь, кто обвиняет, а кто подает жалобу и что вообще представляют собой судебные процессы и заседания; во всяком случае, они всегда

тягостны. Но поскольку уж это-то преступление давно лежит за пределами срока давности, я хотел бы признаться и в нем: *разложение* боеспособности (хотя с ничтожным успехом!).

1976

НЕ БРАТСТВО, НЕ СОЛИДАРНОСТЬ, А ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

О «Предварительных итогах» Юрия Трифонова

Трифонов вновь подтверждает то, о чем посвященные уже давно догадывались, — оказывается, и Советский Союз населяют живые существа того особенного вида, которые по общепринятой привычке называют сами себя «людьми»; не исключено даже, что там проживают и коммунисты, хотя ни один из изображенных Трифоновым в его «Предварительных итогах» персонажей не отвечает нашим стандартным представлениям о людях этого сорта. Похожее, думается, ощущение могли бы испытать китайцы, которые, познакомившись с западноевропейской литературой, пришли бы к мысли, что в современной Европе еще обитают христиане.

В небольшом романе Трифонова поражает почти полное отсутствие экзотики — но именно благодаря этому обстоятельству Советский Союз раскрывается перед нами во всей своей неповторимой (московской) экзотике. Все в этой книге так знакомо, что кажется чужим, — ведь мы и не предполагали, что эти люди так чертовски похожи на нас.

И даже сама профессия главного героя, от лица которого ведется повествование (он переводчик, точнее, поэт-переводчик), не выглядит в трактовке автора чем-то исключительным. «Мне уже сорок восемь, а выгляжу еще лет на десять старше... Я перевожу громадную поэму моего друга Мансура, три тысячи строк. Называется «Золотой колокольчик». И дальше: «А что делать? Переводить стихи — моя профессия. Больше я ничего не умею... Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, которые немного знаю, — немецкого и английского, но тут у меня не хватает духу или, может быть, совести». В другом месте герой высказывается об этом несколько иначе: «Род — литературный пролетарий». От наших, западногерманских, переводчиков он отличается тем, что они, хотя и являются пролетариями по условиям своего труда

(то есть находятся в полной зависимости от работодателя), не знают этого или не желают знать.

Критика зачислила роман «Предварительные итоги» в категорию произведений, повествующих о «midlife crisis»;¹ мне такая формулировка представляется чересчур эвфемистической — ведь речь здесь идет не только о судьбе сорокавосемилетнего героя. Да и что такое «середина жизни» — значит ли это, что герой собирается дожить до девяноста шести, а его сорокапятилетняя жена — до девяноста лет? Почему не сказать откровенно о последней трети жизненного срока, которая внезапно может превратиться в его десятую или двадцатую часть? «Мыслей о смерти, — говорит наш герой, — не бывает. Мысли о смерти — это страх».

Житейских неприятностей, внушающих ему чувство страха, предостаточно. Вот сын Кирилл — молодой бездельник, которого лишь с большим трудом (да и то с помощью нужных знакомств!) удастся протолкнуть в институт, «просеяв» сквозь сито приемных экзаменов; он играет в молодежной битл-группе; испытывает разочарование, когда получает в подарок на день рождения не «Грундиг», а всего лишь «Комету»; ведет дневник, заполняя его довольно циничными записями (и куда отец не стесняется заглядывать!), а совершив какой-нибудь проступок, спокойно произносит «excuse me»²; вряд ли его голова занята чем-нибудь другим, кроме мокасин, джинсов, курток с алюминиевыми нашлепками; наконец он обкрадывает лучшего друга семьи, старую домработницу Ньюру, обманом заполучив у нее старинную икону, которую продает потом спекулянту, — в результате и отца и сына вызывают к следователю; отец, терзаемый угрызениями совести, вспоминает о собственных прегрешениях, среди которых взятки, скупка краденого, спекуляция заграничными товарами, кража (однажды за границей украл в отеле пепельницу!).

Имеются и другие негативные факторы — например, некая Лариса, подруга жены, охочая до сплетен злоязыкая дама, большая любительница вносить раздоры в семьи своих знакомых, хотя сама пребывает в благополучнейшем браке с домоседом и семьянином, умеющая «организовать» все — колготки, курортные карты, встречи с нужными людьми (при этом не брезгующая спекуляцией,

¹ Кризис в середине жизни (англ.).

² Извините (англ.).

взятками, скупкой краденого); это и совсем уж непереносимые «переводчики новой формации, люди деловые, прыткие, умеющие работать с быстротой и размахом. Некоторые из них знают по три, четыре языка. Молодые дельцы! У них не было прошлого, смутного от несостоявшихся надежд».

Но хуже всех этот ужасный Гартвиг, пролезший в их семью, угрожающий их счастью, — «ему тридцать семь лет, он смугл, жилист, на лыжах бегаёт как эскимос», при этом герой чувствует, что главная опасность для него со стороны Гартвига — превосходство не физическое, а духовно-интеллектуальное; возникнув первоначально лишь в роли репетитора «обалдуя» Кирилла (кроме того, приятель Гартвига оказался секретарем приемной комиссии института), Гартвиг приносит вскоре «сочинения Фомы Аквинского, Дунса Скотта и так далее», заражая страстью к такого рода литературе Риту, жену героя, также переживающую духовный кризис, в доме вспыхивает настоящая икономания, хотя сам герой считает, что «чтение таких книг теперь — ненужная роскошь, все равно что держать дома арабского скакуна».

То, что его жена, читая такие книги, еще и покуривает «Кент», удобно сидя в кресле, конечно, не способствует оздоровлению обстановки в семье, к тому же Гартвиг, изучающий хозяина дома, его привычки в одежде, еде, чтении, получает такую характеристику: «Истинный ученый, такие только и добиваются и творят. Но — подальше от них... Когда такой нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями».

А ведь есть еще и родственники, упорно зазывающие к себе на новоселье, всячески обхаживающие гостей, но, конечно, не забывающие и себя, заставляющие в принудительном порядке просматривать свои любительские фильмы о турпоходах, сопровождаемые «уж-жасно смешным» дикторским текстом; в конце концов они никогда не забывают и не стесняются откровенно выложить гостям главное, ради чего их, собственно, и позвали, не скрывают своего стремления извлечь максимум пользы из своих знакомств и связей (в высшей степени сложных, запутанных связей, на которые они — как это обыкновенно и случается между родственниками — смотрят, однако, весьма просто — как на инструмент для достижения поставленных целей), ибо их дочке тоже предстояло поступать в институт... Неудивительно, что после всего этого наш герой хва-

тает чемодан и уезжает из дома, чем вовсе не огорчает своих домочадцев — ведь он отнюдь не излучает любовь к ближним, этот хмуро-брюзгливый, вечно чем-то недовольный, недоверчивый и обидчивый человек, впрочем, довольно заботливый супруг и отец, регулярно оплачивающий жировки на квартплату и время от времени высылающий домашним небольшие суммы на жизнь... И вот он сидит теперь где-то далеко на востоке, в «райских куцах», куда привез его тот самый Мансур, добившийся для него места «в деревянном домике на территории дачи работников культуры», сидит и переводит поэму в три тысячи строк под названием «Золотой колокольчик». Только — «какой уж там магометанский рай! Вода с переборами, сортир во дворе, а вместо райских гурий — несколько пенсионерок из профсоюзного санатория».

Читая эту книгу, невольно задаешь себе естественный вопрос — к чему стремится этот человек, что ищет этот литературный пролетарий, чего он хочет, кто он такой? Несомненно одно — он продукт общества, в котором вырос и живет, а также всех своих собственных неудач, огорчений и невзгод. «Всю свою жизнь я делал не то, что хотелось, а то, что делалось, что позволяло жить. А мог бы, наверное...» Позвольте, позвольте... Я полагаю, что за внешностью переводчика скрывается душа поэта.

Что ищет он, чего жаждет? Сам он отвечает на этот вопрос одним словом, просто и вместе с тем глубоко доверительно: «Человечности...» Это же слово произносит молодая энергичная женщина-врач, которая, судя по всему, наверняка воспитывалась не в монастыре: «Это вопрос вашей совести, вашего человеколюбия». Странное слово, то и дело всплывающее в тексте. Герой не стремится к солидарности, не может он терпеть и давно ставшего для него затрепанным выражения «возлюби ближнего своего». «Если человек не чувствует близости близких, то, как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он начинает душевно корчиться и задыхаться — не хватает кислорода».

Да, все дело в душе. Не в «русской душе», в человеческой — вот чего ищет герой в бездушном мире. Он наверняка не обретет ни души, ни человеколюбия в той новой религиозности, с различными формами которой ему приходится сталкиваться. Для него вся эта лихорадочная охота за иконами, это разграбление деревень, обман людей, у которых хитростью выманивают действительно дорогие их сердцу реликвии, эти паломничества в Загорск и

Суздаль — «и все поближе к монахам, к старине» — все это «вздор, причуды полусладкой жизни».

Он не задает себе вопроса — хотя, может быть, молчаливо предполагает его возможность, — откуда взялись все эти «причуды», чем они порождены, на самом ли деле они — лишь дань «моде», и не является ли частую «мода» — даже на одежду — своего рода реакцией на невыполненные обещания, ведь, в конце концов, и учение св. Франциска Ассизского уже при жизни его основателя было довольно «модным». Всякая подделка, любой «эрзац» — об этом открыто не говорится (ведь Трифонов, в конце концов, не переводчик поэмы «Золотой колокольчик») — звучит в книге упреком обществу, делающему такие «эрзацы» необходимыми. И все же — все же вряд ли эта новая религиозность подлежит безоговорочному «списанию» только на том основании, что к ней приобщился такой приспособленец, как Гартвиг, — точно так же, как в наших широтах нельзя огульно и безапелляционно отказываться от понятия «солидарность», мотивируя это тем, что у нас слова «человечность», «душа», «любовь к ближнему» выглядят утратившими свой первоначальный смысл.

Рассказчик в романе вызывает мало симпатий — вряд ли кто из читателей захочет взять его себе за образец; ведь и он, наш герой, совершает предательство — предает единственного душевного — или лучше сказать: одушевленного? — человека из всех, кого он знает, свою домработницу Нюру — много лет она верой и правдой служила герою и его домашним, благодаря ей жена героя достает у ее искренне верующих деревенских родственников иконы, потом здоровье ее, еще в молодости подорванное войной и голодом, окончательно отказывает — Нюра заболевает шизофренией, и вот, через некоторое время, семье героя предстоит забрать ее из больницы (врач, лечившая Нюру, взывает ее хозяев к совести, к человеколюбию, тому самому человеколюбию, к которому наш герой так страстно стремится), но выясняется, что ухаживать за Нюрой будет очень нелегко, да и вообще она «свое отслужила», и вот наш нелюдимый герой-переводчик «забывает» позвонить в больницу, где ждут его звонка, чтобы решить судьбу Нюры, причем вину за содеянное он сваливает на жену.

И наконец, на той самой «даче для работников культуры» герою встречается Валя, молодая, симпатичная медсестра, умеющая так ласково, «благодатно» измерять

давление, — она прячется в комнате у переводчика от преследующего ее Мансура, автора поэмы «Золотой колокольчик», герой обнимает ее, она ласково гладит ему голову и утешающе шепчет: «В вас еще девушки будут влюбляться!» — но и в финале романа, неожиданном, ошеломляющем, фантазмагорическом, эта милая Валя (далеко не случайный человек в жизни героя, не проходной эпизод, не «скорая помощь») исчезает из сознания героя, отодвигается куда-то в сторону, герой возвращается в Москву, едет с женой отдыхать на Рижское взморье, где он окончательно приходит в норму и даже начинает немного играть в теннис. Счастье оборачивается простым «хэппи-эндом», хотя, впрочем, как знать — не начало ли это другого романа?

Стиль Трифонова сух, словно порох, лаконичен, под пером этого писателя даже такие слова, как «человеколюбие» и «душа», не режут слух; на ста с небольшим страницах текста он способен создать целый мир. Его периоды и придаточные предложения — это целые социологические исследования (вспомнить хотя бы информацию об условиях поступления в вузы или рассыпанные там и сям немногословные свидетельства зависимости современного человека от законов потребления); а взять всю эту историю с трехтысячестрочной поэмой «Золотой колокольчик»: только представить себе — не просто издать такое (как-никак — целый поэтический сборник в сто — сто пятьдесят страниц!), но и ухитриться перевести! И само название, и весь объем этой, с позволения сказать, поэмы, сильно смахивающей на провинциальную «колбасу», вышедшую из-под рук «мастера» несколько длинноватой, — что это, как не весьма резкий, хотя и отчасти завуалированный, «фланговый» выпад против определенных форм продажности в области культуры?

Если предположить, что публикация такого романа в СССР (и в ГДР, откуда мы заимствовали прекрасный перевод, сделанный Коринной и Готфридом Войтеками) — не случайность, то придется признать, что там еще, видимо, достаточно редакторов, критиков и издателей калибра Твардовского. Тот факт, что «Предварительные итоги» вышли в свет, а «Раковый корпус» Солженицына — нет, заставляет отнести прогнозы относительно перспектив советской литературной политики к области астрологии.

ПИСАТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ ЭТОЙ СТРАНЫ

Интервью Вильтруде Манфельд от 18.12.1977 г. на ЦДФ

Вильтруда Манфельд: Господин Бёлль, вы сейчас, в последние недели, прослыли наряду с другими, хотя, собственно, ни разу не высказались публично, интеллектуалом — уже само по себе довольно ругательное слово,— с одной стороны, это люди, имена которых упоминаются наряду с именами преступников, с другой — это те, кого ангажирует государство. Каково, собственно, ощущать себя в подобной роли?

Генрих Бёлль: Уже по одному этому можно диагностировать шизофрению общественного сознания в стране, я сознательно не говорю — в государстве, поскольку о Федеративной Республике Германии следовало бы поговорить особо, в стране, не выработавшей своего отношения к тем, кого называют интеллектуалами. Я хотел бы также несколько сузить это понятие. Как автор романов и повестей, а также рассказов, я только частично и потенциально принадлежу к интеллектуалам. То есть к тем, кто абстрактно подпадает под это понятие. А из этого проистекают, естественно, еще большие недоразумения. Я попытался недавно, когда произносил речь о Райнере Кунце, объяснить немцам — немедленно хочу снять с этого обращения заложенную в нем надменность,— что им надо не примиряться наконец-то со своими писателями или там... а найти форму взаимоотношений с ними, пусть не лишенную полемики, но без доносительства.

В. М.: А как в других, скажем, демократических странах, там иначе?

Г. Б.: Думаю, да. Конечно, во Франции, Италии, Испании, Великобритании, в Швеции, то есть в сравнимых по демократии странах, бывают разногласия. Случаются скандалы между самими писателями или между писателями и политиками. Но истинно клеветническая подоплека наших разногласий, скажем, последних двух месяцев немыслима ни в одной другой стране. Тут все не так, нас обвиняют не в том, в чем можно было бы. Мы уязвимы с очень многих сторон. Я уже как-то говорил: если бы меня читали по-настоящему, то у меня отыскались бы чудовищные вещи, гораздо хуже тех, что тут теперь цитируют. Но те, кто цитирует, не читают, а бегло просматривают, сводя все, скажем об этом спокойно, к попытке оклеветать, что, впрочем, сидит в человеке глубоко, не будем закрывать на это глаза. И глубоко про-

никло в душу народа. Но давайте оставим это — мы знаем, где мы живем. Мы ведь не собираемся предпринять попытку разобраться в таком отношении к интеллектуалам, скажем, с точки зрения духовного развития страны, не государства. Впрочем, я думаю, что сейчас метят вовсе не в нас, тех, кого так все время называют. Мы были мишенью, и она была поражена при учебной стрельбе, а главная цель — таков мой анализ сегодняшней ситуации, когда я смотрю на происходящее и мысленно делаю свои выводы,— главным было запугать людей, тех, кто не так независим, как мы; все, кого тут перечисляют, независимые люди, как в духовном отношении, так и с материальной стороны, что очень важно. Я думаю, что эти попытки запугивания были направлены против менее защищенных социальных слоев — школьных учителей старших и младших классов, молодых служащих, возможно, молодых офицеров, откуда мне знать, которых, конечно... на которых можно нагнать страху, раз уж можно нападать на таких, как мы. Вы понимаете, что я имею в виду? Это и было, думаю я, политической подоплекой. Она теперь очевидна. А знаете, самое ужасное во всей этой истории то,— меня лично это не волнует, у меня другие заботы, я лучше буду писать и т. д.,— что приходится бороться за неоспоримые права и истины.

Ни один человек, ни одна страна в мире — о социалистических странах разговор надо вести отдельно — не требует, не ждет от своих писателей — как это называется?— дифирамбов существующему режиму. Если взять всю мировую литературу, прошлую и современную, а там есть великолепные национальные литературы, например, в Южной Америке, в Северной Америке, в Швеции, ни одна из них не состоит из произведений, заменяющих собой государственные институты пропаганды. Это просто какое-то недоразумение по поводу назначения литературы, именно оно и лежит в основе данного конфликта.

В. М.: Если я читала вас по-настоящему, то, мне кажется, вы всегда воспринимали, назовем это так, основу нашего правопорядка, то есть конституцию, как очень хорошее дело?

Г. Б.: Даже прекрасное! Одно из самых лучших — это одна из лучших конституций, какие только есть.

В. М.: Но в том, как она реализуется в жизни, есть изъяны. Где...

Г. Б.: Разрыв наблюдается повсюду.

В. М.: Вот именно.

Г. Б.: Везде, во всем мире, начиная от Советского Союза, где это хуже всего, до Аргентины и Чили, есть разрыв между конституцией на бумаге и ее претворением в жизнь. И когда фиксируется такой разрыв, это не является оскорблением государственной системы, потому что такой разрыв есть везде и потому что везде писатели и интеллектуалы, скажем так, видят в этом сферу применения своих сил и ума, иногда даже целиком посвящают себя этому, что не возбраняется законом. С этой точки зрения Федеративная Республика Германия находится со своей литературой, со своей современной литературой ничуть не в лучшем положении, чем Соединенные Штаты Америки. Почитайте-ка Джозефа Геллера, Нормана Мейлера, Артура Миллера или Сэлинджера, Маламуда или Воннегута, все они обходятся с Соединенными Штатами Америки ничуть не вежливее, чем мы с Федеративной Республикой Германия. И именно это, эту самую ограниченность, проявившуюся в том, что данный факт рассматривают не как общую для всего мира проблему, я нахожу самым тревожным, потому что в основе всего лежит изоляция, провинциализм мышления и даже, грубо говоря, глупость.

В. М.: Господин Бёлль, в Реклингхаузене вы говорили об упадке политической культуры.

Г. Б.: Да.

В. М.: Сейчас это как-то связывают непосредственно с языком...

Г. Б.: Вот-вот.

В. М.: ...с тем, как мы разговариваем друг с другом. Не следует ли нам поучиться иному языку общения? Это уже вопрос к писателю.

Г. Б.: Да, конечно. Мы должны иначе разговаривать друг с другом, возможно, даже и мы, писатели, в своем общении с другими. К сожалению, все это обострилось до крайности и привело к противостоянию сторон. Виноватой никогда не бывает только одна из них. То есть и в данном случае тоже виноваты не одни политики, это я хотел бы подчеркнуть особо, внося ясность. Да, имело место неприятие друг друга, повлекшее за собой «обмен любезностями» с обеих сторон, конечно, это языковая проблема, потому что для начала нужно найти общий язык, выяснить, какая часть его осталась еще общей для всех, чтобы не случилось так, что один сказал «а», а другой понял «я». И потом, это еще и вопрос вежливости. Ведь и соблюдая китайские правила вежливости можно оставаться, ведя полемику, чудовищно язвительным и непримиримым. Я не вижу никакого шанса насадить здесь подобную культуру, развить ее, потому что

ведь все, все, все тотально лишено чувства юмора. Было бы прекрасно, если хотя бы молодые поколения политиков и литераторов справились бы с этими трудностями и нашли бы общий язык друг с другом, и я даже готов принять такую попытку общения со своими сверстниками среди политиков.

В. М.: Читая ваши произведения, мне кажется, что вы... что вы отвергаете абстрактный правопорядок, складывающийся из понятий, которыми околпачивают человека.

Г. Б.: Да.

В. М.: И взамен требуете как можно больше точности и конкретности. Это так?

Г. Б.: Я вовсе не считаю, что я отвергаю абстрактный порядок. Ведь существует не только государственный правопорядок, но еще есть, был, во всяком случае, в период нашего становления, нашего формирования, воспитания, моей жены и меня, церковный порядок, который тоже перманентно ломался, и в нем, с введением исповеди, собственно, тоже перманентно пробивалась брешь, ибо если я не совершил грехов, согласно церковному порядку, тогда нет надобности и в исповеди, и там, где исповедь так культивировалась, где она стала почти обязанностью, рождалось больше греха, так бы я сказал, иными словами, росло число правонарушителей. И вы, то есть мы, должны исходить из того, что существует много порядков. Есть государственный порядок, есть церковный и житейский, то есть как люди обращаются друг с другом и как живут один подле другого. Я вовсе не отвергаю эти порядки. Я только пытаюсь представить себе тот мир, в котором всеми соблюдаются все законы, церковные и государственные, и такой мир был бы мертвым миром. Все действительно послушные закону граждане лежат на кладбище, да, поистине так, они уже ни на что не способны. Я часто думаю, когда прохожу по кладбищу, смотрю на совершенно незнакомые мне могилы: боже мой, сколько всего в прошлом на совести у того или у другого, а теперь — с ними мир и покой. Представление о том, что больше вообще не будет никаких нарушений закона, могло бы повергнуть в ужас даже утописта, олицетворяющего собой абстрактный государственный порядок, ведь тогда, собственно, прекратится всякая жизнь. Я говорю совершенно серьезно, без всякой иронии... Пусть кое-кто из политиков задумается разок над тем, как бы все тогда было.

В. М.: Но вы ведь не хотите этим сказать, что законы следует нарушать.

Г. Б.: Нет! Боже упаси, как раз напротив! Я очень даже за то, чтобы законы соблюдались. Я вас сейчас очень удивлю. Я ведь тоже, насколько мне известно, вроде еще ни одного до сегодняшнего дня не нарушил — во всяком случае, я ни разу не привлекался к суду. Я исправно плачу налоги и пишу на немецком языке, и тем самым я, так мне кажется, живу и действую в высшей степени в соответствии с законом.

В. М.: Вы как-то сказали, что те... что для искусства, собственно, три... что искусство может быть трояким: свободным, ангажированным и безутешным.

Г. Б.: Да.

В. М.: Что значит — безутешным?

Г. Б.: Безутешность гнездится там, что мы только что обсуждали, где есть зазор между провозглашенным порядком и его непроведением в жизнь. Во всех странах и государствах мира — страны и государства это не одно и то же, поскольку во многих странах были разные государства в разные периоды их истории, разные государственные формы, — существует несправедливость, что одновременно весьма уродливо само по себе. Скажем, законы, которые, собственно, являются большой заслугой человечества, это следует сказать в дополнение к тому, о чем я только что говорил, поскольку право, устранение бесправия, есть грандиозное завоевание человечества, достижению которого, кстати, немало способствовали интеллектуалы, это так, попутное замечание, но ведь еще есть много людей, которые — я сознательно подбираю совершенно банальные, популистские выражения — не получили своих прав, даже таких, освященных законом, как одна свобода, другая свобода и т. д., а также и иных, по так называемым неписаным законам, — на жилье, на родину, любовь, хлеб и т. д., многие люди при разных общественных порядках лишены этого, разные группы людей, различающиеся также и по количественному признаку. И этот факт, собственно, не дает художнику — не суть, ангажированный он или нет, было бы слишком глупо скрывать это печальное обстоятельство, — никак не дает ему погрузиться в состояние душевной умиротворенности. Он ведь живет в этом разладе, ставшем ему родным, и ему безразлично, что мог бы иметь человек из того, что было обещано ему государством, а также и обществом, куда относятся институты семьи и брака и т. д., и чего из всего этого недополучили его сограждане. Тут требуется более четкое разграничение видов искусств: в музыке это не находит столь конкретного выражения, и в живописи тоже не настолько, как, скажем, в слове, то есть в литературу-

ре. Но я вижу то, что я назвал безутешностью и что, естественно, не может постоянно составлять содержание любого искусства, в каждом из них встречаются очень жизнерадостные формы самовыражения, даже и у ангажированных авторов, не это подразумевается под безутешностью, как часто путают одно с другим.

В. М.: Это можно... С другой стороны, это можно также назвать радикализмом.

Г. Б.: И так тоже. Можно и так назвать.

В. М.: Все эти требования и призывы сделать возможное реальным.

Г. Б.: Конфронтацию между декларированием и претворением в жизнь можно назвать радикализмом.

В. М.: Господин Бёлль, я думаю, вы — радикал именно в таком смысле. И если сейчас попытаться представить себе, ну, что ли, как некую игру воображения: как вы считаете, — исключая из внимания ваш возраст — была бы у вас сейчас перспектива поступить на государственную службу в качестве учителя немецкого языка и литературы? Если бы у вас появилось такое желание.

Г. Б.: Я не чувствую в себе ни призвания к этому, ни таланта, потому что, по всей вероятности, в роли педагога я наверняка бы провалился по причине своих, так сказать, бесспорно анархистских задатков. Но давайте предположим, что у меня нет никакой другой профессии, я германист и делаю то, что мне ближе всего, то есть учительствую... — нет, я не верю в это, потому что скорее всего первое, что я сделал бы, так это включил бы в учебный план пьесу «Буза» Ульрики Майнхоф. Именно сегодня, когда пытаются разобраться в причинах того ужасного размаха, который принял терроризм во всех его проявлениях, следовало бы, так я считаю, заняться тем, что написали все эти люди в своей жизни, все до единого, включая и все передовицы Ульрики Майнхоф, которая, пока газеты ее печатали, вообще отрицала любой вид терроризма, и поразмыслить потом, что же привело к такому скачку в ее суждениях. А то, что я слышу кругом, — узнаю из писем, которые я получаю, или из устных разговоров, все учителя, и те из них, кто серьезно воспринимает конфронтацию с террористами, сталкиваются с трудностями; ученики требуют ответа от них: пожалуйста, скажите нам, что это за люди, откуда они взялись, они что-нибудь писали, а что они писали? И учителя сразу попадают в сложное положение. Исходя из этого, вряд ли бы меня стали терпеть в качестве школьного учителя словесности.

В. М.: А если бы вы сами задумались над тем, что происходит и как такое стало возможным? Есть ли у вас ответ на этот вопрос?

Г. Б.: Нет! Мне кажется, это своего рода некий способ самозащиты, мне бы не хотелось называть это ханжеством, но, однако, что-то вроде страха от контакта с ними, который грозит нам всем. Мы ведь все в плену этого страха и того факта, что дом каждого — его крепость. В Бонне вы можете это видеть весьма конкретно, реалистично и грубо, кругом стоят танки с солдатами и служба полиции — вокруг федерального канцлера, министра, лидера оппозиции, — практически все они заключены в крепость, которую спокойно можно назвать и тюрьмой. А что касается нас, воспользуемся теперешним определением, интеллектуалов и писателей, мы тоже в плену страха необходимости контакта. Ведь никто, собственно, не желает разговаривать с нами. И причина этого страха кроется в том, что о подлинных причинах террора вообще еще даже и не начали задумываться. Ведь мало толку все время повторять: мерзко, отвратительно. Так, конечно, тоже можно, это отвратительное явление. Но затем нужно по-настоящему копнуть и вширь и вглубь, и всё, всё проштудировать еще раз, что было написано в период студенческих волнений и что тогда произошло, учитывая позицию обеих сторон. И вероятно, только так можно оградить молодых людей, которым сегодня восемнадцать — девятнадцать и которые полны апатии или, скажем мягче, подавлены, от того, чтобы они не чувствовали себя так, будто их толкают на тот же путь. Я нахожу бредовым этот страх перед контактированием. Если бы зависело от меня, я бы это сразу поломал. Не только... я стал бы читать в школе не только «Бузу», но и многое другое, Гегеля, например, и Клейста и мало ли что еще.

В. М.: Господин Бёлль, вы упомянули об анархистских задатках, кстати, вы уже не раз это делали. Я думаю, они ведут свое происхождение... они были заложены в вас еще в родительском доме.

Г. Б.: Да, конечно.

В. М.: Но мне кажется, сейчас нужно вновь вернуться к понятию «анархия», потому что это слово часто употребляют в последнее время не по назначению.

Г. Б.: Я думаю, что это действительно одна из самых роковых тенденций, как с точки зрения духовного развития общества, так и с точки зрения истории политики, когда анархию отождествляют с террором. Конечно, случилось, анархисты становились террористами, есть некоторые

примеры из истории политического анархизма, я, конечно, не принадлежу к анархистам такого типа, или как я там про себя сказал. В истории всех других традиций политического и духовного развития человечества тоже были террористы. Существовал христианский террор, в обоих направлениях вероисповедания, как со стороны католиков, так и протестантов, о чем можно читать только с содроганием. Существовал атеистический и социалистический террор, и среди анархистов тоже встречался кое-кто из политически организованных террористов. Но подобное отождествление носит роковой характер, потому что оно делает невозможным для многих людей найти выход из необходимости существовать между отчаянием и террором, понимаете?

В. М.: Так что же такое анархия?

Г. Б.: Это стремление не допустить господства власти над собой и одновременно стремление не господствовать самому. Это довольно трудно понять. Поэтому я каждый раз прихожу в ужас, когда меня принимают за «авторитет», то есть за «духовного властителя», это для меня просто чудовищно. И политически сознательный, организованно действующий анархист, каковым я не являюсь, отвергает любую форму диктатуры, в том числе и диктатуру пролетариата. Почитайте, что говорят анархисты, корнями уходящие в девятнадцатый век и живущие в наше трагическое столетие; что они говорят, например, про Кубу, про Советский Союз и т. д. Это, собственно, люди, я пытаюсь найти сейчас для них определение, импровизирую на ходу, это люди, которые мыслят плюралистически, но и на путях плюрализма стремятся все к тому же — не допустить господства власти над ними. Это не то чтобы нетерпимые люди и уж никак не террористы, и, я повторяю, они отвергают любую форму диктатуры.

В. М.: Н-да, любую форму господства власти.

Г. Б.: Да, да, и диктатуру в политическом смысле тоже. Как власть «черных полковников» в Греции, так и сталинизм, и другие формы коммунистического господства они отвергают решительно.

В. М.: За этим также кроется, конечно, сила утопического мышления.

Г. Б.: Да, конечно. И мечта тоже.

В. М.: Мечта, да. И вы тоже как-то сказали о себе, что вы, собственно, да это вообще всегда утверждают про вас, что вы, собственно, в своих произведениях тоже не являетесь реалистом, а... Ведь на примере многих ваших персонажей видно, как они в конце просто удаляются, чтобы

сохранить себе жизнь, и понимают на свой лад, что остались в целостности и невредимости перед лицом того, что двигается на них. Это тоже одна из форм утопии?

Г. Б.: Да, это частично утопические литературные попытки изобразить людей, ускользнувших из-под нависшего над ними господства власти. Назовем это так. Но я хотел бы пойти еще дальше. И то, что я делаю в области публицистики, в этом смысле тоже нереалистично. Вы понимаете? И из-за этого возникает тысяча недоразумений. Написанное мною тоже воспринимают как передовицу, хуже того, как передовицу из «Бильдцайтунг» или что-то в этом роде. А ведь если я когда-либо полемизировал в печати, и полемизировал достаточно энергично, так это я делал, ведя как раз полемику с «Бильдцайтунг», против которой я выступал, и никогда против государства, против полиции или против юстиции, естественно, исключая тот разрыв, о котором мы здесь говорили, между обещанной и данной действительностью, или, другими словами, жизненной реальностью, но никогда, и это как бы входит в само понятие «анархия», против полиции как таковой, поддерживающей порядок, поскольку подлинный анархист или охваченный идеей анархизма человек, естественно, имеет представление о порядке. Ведь это только в буржуазном, мещанском, извращенном понимании анархия всегда отождествляется с беспорядком. Что вовсе не соответствует истине.

В. М.: Если вы...

Г. Б.: Будучи автором, литератором или художником в любом другом виде искусства, вы никак не сможете творить без такого компонента, как анархия, потому что вам необходим свой собственный порядок в противовес беспорядку в мире. Это же какое-то безумие. Ведь мир охвачен беспорядком. Это мы слышим ежедневно, видим ежедневно, абсолютно все равно — где. А написать рассказ или стихотворение, роман или радиопьесу значит создать порядок, во всяком случае, в рамках своего творения. Политики, как правило, не привносят в мир порядка.

В. М.: Господин Бёлль, в ваших произведениях часто встречаются люди, которые, как это сплошь и рядом называется, просто смываются.

Г. Б.: Да.

В. М.: А вы этого не сделали, более того, вы находились сейчас, в конце октября, со многими вашими коллегами в Бонне, чтобы, как говорится, защитить правовое государство. Как это следует понимать?

Г. Б.: Это продолжение или, скажем так, возобновление борьбы по защите нечто само собой разумеющегося. И, по сути, это печальное занятие, поскольку сначала приходится называть, что подразумевается под этим нечто, а потом еще и отстаивать его. Так, например, само собой разумеющимся является то, что даже самый тяжкий преступник вправе требовать соблюдения законности по отношению к нему. Я специально заостряю внимание на том, что я только что сказал, чтобы избежать превратного истолкования моего представления о нарушении законности. То право, как оно существует у нас в Западной Европе и в западном мире, по меньшей мере такое же бесценное достижение, как и наша культура. Я хотел бы... или, скажем... Да, оно так и так часть нашей культуры. И оно, это право, продукт труда критически настроенных, аналитически мыслящих интеллектуалов, создавших его на протяжении исторического развития западноевропейских государств. И оно не должно нарушаться. В этом вопросе я, пожалуй, еще более чувствителен, чем когда нападают на литературу.

В. М.: А что конкретно вы намереваетесь предпринять, вы и ваши коллеги? Как будет выглядеть эта новая... Эта новая инициатива?

Г. Б.: Инициатива должна главным образом состоять в том, и это уже само по себе почти утопическое намерение, чтобы придать бодрости редакторам, публицистам, журналистам, занятым на радио и телевидении, и учителям. Но первой задачей будет не отступить и не дать всем этим нападкам, скажем так, не будем, пожалуй, пока еще называть это кампанией, ни в коем случае не дать оттеснить себя на оборонительные позиции. Не будет такого, чтобы кто-то из нас стал оправдываться и защищаться. А «придать бодрости», что действительно звучит утопически, я надеюсь, нам удастся, и это уже не утопия, именно благодаря нашей позиции, пусть она окажет свое воздействие на наших коллег, на тех, кто сидит в издательстве, работает на радио или телевидении, на редакторов, учителей и много кого еще. Потому что всякое перманентное отступление, когда оно практически еще неуловимо... Ведь самое ужасное то, что неуловимо, возьмем, например, цензуру — тут случай ясный, лежит, как на ладони, конец всему, — а вот то, что неуловимо, что происходит сейчас, это уныние, наблюдающееся у молодых учителей, и молодых рабочих, и служащих, и чиновников, его нужно поймать на лету, оборвать процесс, пока не поздно, иначе мы

скатимся — я говорю «мы», имея в виду Федеративную Республику Германия — мы действительно скатимся до уровня ущербного государства, чего никто не желает — я не хочу никому приписать такого,— но что незаметно происходит. И мы собираемся, конечно, поговорить с политиками, и в этом тоже будет состоять наша инициатива, надеюсь, не утопия с нашей стороны, и не только с депутатами от СДПГ и Св. НП, а также и от ХДС, мы очень хотели бы поговорить с ними о том процессе развития, которому они отчасти способствуют в регионах страны, то есть в федеральных землях, но, однако же, возможно, не отдают себе должного отчета в том, как глубоко зашел этот процесс. И тут мы должны активно проявить свою инициативу.

В. М.: Однако справедливости ради стоит сказать, что такие попытки уже были, попытки диалога, даже реабилитации...

Г. Б.: Да, конечно.

В. М.: Господин Бёлль, если правовое государство или меру соблюдения законности в нем определяют по тому, как оно обращается с теми, кто нарушает закон, тогда, возможно, качество самого общества можно определить по тому, как оно обращается с теми, кто еще не в полной мере вступил во владение конституционными правами или лишь частично пользуется ими. Вы на пороге своего шестидесятилетия. И я решаюсь спросить вас: что мы делаем с нашей молодежью, правильно ли мы строим свои отношения с ней?

Г. Б.: Да, это вопрос, который явно вызывает сильное беспокойство у всех политиков, они вдруг словно проснулись. Я участвовал во многих дискуссиях о том... о тех, кого называют молодежью, что само по себе тоже весьма расплывчатое и широкое понятие, и что меня тогда ужаснуло, так это факт, что почти все сходились на том, что у нас нет с ними общего языка, что они неуловимы, и у нас нет возможности обратиться к ним, к определенным группам, естественно, не ко всей молодежи, это абсолютно неверно, среди них есть способные к диалогу группы и даже активные группы, и не обязательно принадлежащие к партиям. И потом, было заявлено так: ну вот, вы, писатели, собственно, и должны это сделать. Меня очень напугало, что политики так говорят, мол, давайте попробуйте. Я готов пойти на это. Я не упускаю случая, чтобы писать и говорить об этом. Но я думаю, это взаимосвязано с тем, с чем мы только что попробовали разобраться, с так называемыми причинами террора. Нужно попытаться

ся внушить этим молодым людям, назовем их так, хотя я не люблю этого обращения, оно звучит как-то снисходительно-высокомерно, естественно, всеми возможными способами чувство ответственности, внушить по-настоящему, и сделать это на всех уровнях.

В. М.: Откуда, как вы думаете, идет это нежелание у молодых людей вести диалог? Это как-то ненормально.

Г. Б.: Да вы можете поговорить с кем угодно, хоть с крайне правым или крайне левым, хоть с центристом или лево- и правоцентристом, все сходятся на том, что общество не предложило этим молодым ничего, кроме материальной стороны, и мне даже хочется сказать, ничего, кроме чудовищного материализма. Это, конечно, не кончится добром. А ведь истина в том, и я повторяю это в сотый раз, истинная правда такова, что не хлебом единым жив человек, это действительно так, и давайте порадуемся этому от души!

ШУЛОМ!

Трижды — в 1969, 1972 и 1974 годах — я побывал в Израиле, где провел в общей сложности 30 дней — или 720 часов; минуты мне не хотелось бы подсчитывать, хотя в этом, может быть, и был бы определенный резон — ведь за все время моего пребывания здесь редко выпадали часы, а иногда даже минуты (да и то далеко не каждый день), когда я оставался безучастным к окружающему. Я завидую тем немцам, которые обладают способностью ко всему оставаться безучастными. Мне такое удавалось крайне редко — об этом необходимо сказать заранее, прежде чем я попытаюсь поделиться кое-какими впечатлениями от увиденного. И дело тут не в чувстве вины, испытываемом мною (иногда я просто завидую людям, в чьей виновности не приходится сомневаться), не в коллективной или индивидуальной вине — всему причиной сознание того, что я был не просто современником «окончательного решения», а современником-немцем, жившим в эпоху, когда с непостижимой основательностью осуществлялось массовое уничтожение людей, насколько до сих пор я мог судить об этом по книге Х. Г. Адлера «Управляемый человек», наиболее крупному, убедительному и глубокому на сегодняшний день исследованию этого вопроса.

Мои израильские друзья пытались оправдать меня, так сказать, персонально — среди них были Эммануил Бен Гурион, произнесший приветственную речь во время моего перво-

го визита, Эрнст Симон, Вернер Крафт и другие, с кем мне приходилось беседовать,— я ничего не имею против такого оправдания, тем более что оно ничего от меня не требует, не затрагивает глубин моей души, моей личности; по-моему, проблема заключается не в том, чтобы кому-то предъявить обвинение, провести расследование, объявить оправданным, чтобы кто-то был признан «виновным» или «невиновным», это не только моральная проблема, даже не только чисто человеческая, это даже не проблема свидетельства — это, в сущности, проблема сопричастности современников к преступлению; не исключено, что немало немцев, изо всех сил стремящихся оправдаться или быть оправданными, до сих пор так и не уяснили себе, современниками какой эпохи, какого времени они являлись; быть современником — не вина, поэтому не может быть и речи о каком-то отпущении грехов, о каком-то чисто-сердечном раскаянии. Когда меня попросили произнести речь по поводу международного конгресса в Йад-Ва-Шеме, где находится мемориал евреев, уничтоженных в Европе, я не смог произнести ни слова. Все происходившее произвело на меня столь сильное впечатление, что слова показались мне ненужными и бессмысленными.

Немецкую историю связывают с Израилем не только события, документальные свидетельства которых демонстрируются в Йад-Ва-Шеме, с ней тесно связаны и проблемы самого государства Израиль. Мне казалось, что Израиль — это страна, в которую люди должны ехать по своей воле, чтобы там работать, жить, осваивать землю, участвовать в общем деле. Слишком много евреев из Европы вынуждены были ради спасения своей жизни переехать в Израиль, стать изгнанниками, и боюсь, все арабское, все палестинское для них — чуждо, они остались в этой стране чужаками, и, быть может, этой-то отчужденностью и порождены некоторые проблемы Израиля. Покоя и безопасности, в которых Израиль так нуждается, он гарантировать не может — ни внутри, ни вокруг себя. Кто же сможет гарантировать и то и другое? Сами израильяне относятся достаточно критически к политике Израиля. Среди арабов раздается очень мало критических высказываний в адрес политики арабских стран по отношению к Израилю. В Израиле предпринимается немало усилий, свидетельствующих о стремлении к пониманию и примирению — в философии, теологии, литературе. Если бы только эти свидетельства были приняты и расшифрованы (впрочем, некоторые из

них никто и не зашифровывал), Эдом и Иаков смогли бы ужиться в новом Иерусалиме.

Мне нелегко писать об Израиле. История его возникновения, его развития, его проблемы — общеизвестны, попытки их решить — вызывают споры как в самом Израиле, так и за его пределами. Я не ощущаю за собой ни прав, ни необходимых знаний, позволяющих судить о положении дел, предлагать какие-то решения — не говоря уже о том, чтобы становиться при этом в менторскую позу. Единственное, пожалуй, в чем мне не откажешь, — это мое равнодушие, моя пристрастность.

Что меня больше всего взволновало и впечатлило в Иерусалиме, на Синае, на Масличной горе, на севере Галилеи — это почти везде та библейская стихия, образ которой — я сам не понимаю как — возник в моем воображении. Скучно и плохо иллюстрированные, с сокращенным текстом, урезанные, почти оскопленные школьные Библии никак не могли пробудить во мне этого образа; не могли этого сделать и университетские лекции по теологии, почти целиком посвященные проблемам апологетики и предопределения. Библейская стихия обоих Заветов — видимо, именно слово Писания, созданные им картины породили этот образ, достаточно мощный, чтобы прорваться сквозь недомолвки адаптированных текстов. И образ этот, возникший во мне, не разделился на сыновей Иакова и сыновей Эдома, на бедуинов и пахарей, я находил библейские черты на дорогах, опоясывающих Синай, в лицах бедуинских девочек, вязавших, присев на корточки у обочин дорог, я находил их на Масличной горе. Меньше всего я нашел их в священных для христиан местах. Ни борьба, которая велась там за камни и места, за право посмотреть и право получить благословение, ни демонстрация конфессиональных достопримечательностей и владений — ничего мне не говорили. Разумеется, я видел религиозное пылкое рвение паломников и глубоко уважал его — вот только разделить не мог: все это казалось мне тогда (да и сейчас кажется) чересчур демонстративным, совершаемым напоказ, и было слишком далеко от того, что породило во мне слово Библии. Мне все равно, где шел или стоял Сын Человеческий — здесь или там, на расстоянии четырех или пяти шагов, в каком точно месте он родился и умер; все это сделало предостережения одного из моих знакомых, желавшего оградить меня от разочарований, излишними. Детективная сторона евангельской истории, все эти чудеса, свидетельствующие о божествен-

ности Христа, никогда не трогали меня, а уж споры о каких-то там сантиметрах и метрах — и подавно.

Я не создан для этого, а на достопримечательности я реагирую лишь где-то на втором или даже третьем уровне восприятия. Конечно, я не только знаю, но и чувствую, что площадь вокруг Наскального храма — неповторима, что она дышит простором и пространством — так же, как Красная площадь в Москве и Кремль дышат многоликой историей; но вот однажды мы очутились посреди поля, лежавшего между двумя арабскими деревушками, на том месте, где когда-то стоял (или мог стоять) Сихарь, и рассматривали обломки стены, оставившие меня равнодушным, но когда мы наклонились и коснулись земли, мы увидели, что руки наши полны глиняных черепков, как будто кто-то засеял глиняными осколками эту каменистую пашню: черепки, кругом черепки, куда ни кинь взгляд, их было больше, чем камней, — и вот эта-то жатва, которую мы собирали с еще не ушедшего, еще продолжающегося прошлого, показалась нам более реальной, чем развалины, где велись реставрационные работы.

Какое множество людей жило когда-то здесь, где теперь на много верст окрест не встретишь обитаемого или пригодного для жилья здания; здесь, где когда-то находился (или мог находиться) колодец, у которого прелюбодейке в лицо было названо число ее мужей и любовников — и обещана живая вода. Сколько лет этим черепкам — полторы тысячи, две, три, ровесники ли они Иерихону или гораздо старше его? Я не предпринял ни малейшего усилия, чтобы выяснить это, — ни тогда, в Израиле, ни позже, мы просто насыпали несколько пригоршней черепков в пустой пакетик из-под хлеба, чтобы потом, дома, раздать эти сувениры из Святой земли: со следами земли, словно только что сотворенной, покрытые библейской пылью — почти исчезнувшее и все же нескончаемое, вечно длящееся прошлое. А Сихарь? Никто не знает, был ли такой город, и все-таки он существует.

Библейская жара в Хайфе: ощущение, будто ты посажен в калильную печь, жара на улице во много крат сильнее, чем в салоне автомобиля, палящее дыхание ветра, дующего из пустыни, и вновь Слово стало реальностью, воплотилось в жизнь, и вода, воды Израиля, стали не просто водами, а чем-то неизмеримо бóльшим; то же самое происходит с жизнью, спасением, благодатью, водой и омовением ног и с хлебом — это уже не просто хлеб, а что-то гораздо более важное, чем обычный хлеб, каким

его воспринимают (и воспринимали) люди. И Израиль — это уже не просто государство Израиль, а нечто большее — нет, не по размерам территории, по значению! Те, кто рвался, кто приехал сюда в самые первые годы, по зову сердца, ожидали найти здесь не просто современное государство со всеми присущими ему слабостями, ошибками, со всем его неразумием: они стремились обрести родину, а сейчас, похоже, многие вновь ощущают себя очутившимися в плену у государства. В чем совпадают эти понятия — родина и государство? Для израильтян, родившихся в Кёльне, у которых, как и у меня, от нестерпимой жары перехватывало дыхание, я был человеком, приехавшим «с родины», они ждали от меня немецких анекдотов, рассказов о Кёльне, прекрасном (если не прекраснейшем в мире) городе. Видимо, я казался им отщепенцем, чуть ли не предателем. Догадывались ли они, что Кёльн, переживший все то, из-за чего они вынуждены были отправиться в изгнание и чего большинство евреев пережить не смогло, уже давно не прежний «старый Кёльн»? Что и для меня он уже не может быть прежним? Я пытался объяснить им, что теперешний Кёльн — это уже не моя первоначальная родина, а третья или четвертая; что того Кёльна, который был их и моей прародиной, уже не существует — и не только потому, что он был разрушен; что я не могу — в отличие от отцов города, которые, щеголяя местным диалектом, демонстрируют напоказ всему свету свою кёльнскую самобытность, размахивая ею как знаменем, — кичиться своим кёльнским происхождением, своей «кёльнскостью». Что существует — помимо первого — еще и второй Кёльн, Кёльн военных лет, и третий — разрушенный, лежащий в руинах, как и четвертый — восстановленный Кёльн. Нет, что бы там обо мне ни говорили, твердо могу сказать одно — «добрым кёльнцем» мне не быть никогда, точно так же, как никогда не быть мне и «добрым берлинцем». Для меня в сегодняшнем Кёльне навсегда ушедшее, исчезнувшее реальнее сохранившегося — это школа (которой больше нет), булочная М. (она тоже исчезла) на П.-штрассе (где мы покупали булочки), кафе-мороженое (нет и его), а вот городской собор (существующий и по сей день), как и пасхальные песнопения, никогда не вызывал во мне подлинно теплого, родственного чувства. Исключением из того, что сохранилось, является Рейн, который не только сохранился, но, по всей вероятности, пребудет и впредь — но как мне объяснить им — тем, для которых вода — без малейшей сен-

тиментальности, самым реальным образом — есть то, что она есть — драгоценность, святыня, — как мне объяснить им, во что превращены воды Рейна, какими красками обрисовать им этот бульон, в котором, когда он еще был водой, можно было купаться? (Да-да, там, внизу, у колонны Бисмарка, у подножия цитадели, где когда-то располагались купальни, которые я так часто посещал.) Нет, даже в шутку не пообещаю я им захватить с собой в следующий раз бутылку рейнской воды. Ведь она содержит не меньше двухсот пятидесяти видов ядовитых веществ, часть которых еще не установлена. О, священные воды Израиля, целительное омовение в калильной печи Хайфы — кто это здесь рвется обратно на Рейн, зеленый Рейн, при виде которого в вечерние часы сладко щемит сердце? Мне грустно сознавать, что я так и не смог стать добрым кельнцем: мне не удалось ни заставить, ни убедить себя в необходимости сделать это, даже из чувства сострадания мне не суждено было сделаться пропагандистом его достоинств — «Кёльна на Рейне, прекрасного городка». Отцам города и земельным властям не мешало бы прихватить с собой сюда не только кельнскую, но и рейнскую воду и дать ее понюхать бывшим кельнцам! Может, тогда они поймут, что случилось с их Рейном, с их чудным, прекрасным Рейном.

В Израиле знают, какая это драгоценность — вода, и к этой стихии природы, о которой известно, что она — нечто гораздо большее, нежели просто жидкость, что она символизирует живую воду, жизнь, радость, исцеление, очищение, — относятся с разумной бережливостью, создав сложную, тщательно продуманную систему сбора, распределения и дозирования воды, предусматривая соответствующие наказания для нарушителей правил водопользования. Нам еще предстоит понять — что это такое — прегрешение против Воды. Всякий раз, когда я слышу, как в пакетике из-под хлеба погромыхивают черепки из таинственного города Сихарь, я вспоминаю о женщине, пришедшей к колодцу, о неподвластной времени, вечно живой приветливости Того, Кто обещал ей воду живую, и отсюда следы этих слов, этих чувств, этой учливой беседы ведут к другой женщине, к той, которую подвели к Нему на Масличной горе и в которую никто не захотел бросить камень первым, и мне кажется, что именно оставшееся в прошлом, не дошедшее до нас, на что невозможно сослаться как на цитату, те слова, которые Он писал в тот момент на земле — вот это-то и есть самое важное, куда

важнее и значительнее многого из того, что сохранилось до наших дней: эта как бы игра, l'art pour l'art¹ писания на земле, вежливость, с какой был совершен отказ не только от осуждения, но и вообще от высказывания какого-либо суждения — вот что мне очень хотелось бы обнаружить на Масличной горе. Но от прошлого там осталась только тишина, невероятная тишина кладбища, где нашли себе место, быть может, миллионы могил: камни, успешные снова стать частью ландшафта, это ужасное место ожидания нового Иерусалима (воздвигнуть его христианам тоже не удалось) — это кладбище, вполне измеримое и обозримое, совершенно земное, реальное, внесенное в земельный кадастр, в то же время как бы перерастает собственные рамки, раздвигает свое пространство ввысь и вглубь, это здание уже не измерить количеством этажей, бесчисленные камни, которыми здесь усыпана земля, «образовали» целую гору, кажется, словно эта гора сложена из надежд и упований на новый Иерусалим: великое множество иудеев, куда больше, чем все теперешнее население государства Израиль, погребено здесь, на этой горе, где Некто терпеливо и вежливо, может быть, даже с некоторой душевной мукой выслушивал дикие обвинения в адрес женщины, взятой в прелюбодеянии, и которую Он отпустил с миром, напутствуя тихими словами. Так что же написано на земле? Может быть, то, что иногда пишут на песке дети (да и взрослые) и что невозвратно пропадает без следа, слизываемое набегающей волной? Как бы мне хотелось узнать это! И как это никто не догадался подглядеть, чтобы передать потомкам: какой-нибудь детский стишок, случайно пришедшее на ум слово или вообще что-нибудь несусветное, какую-нибудь ахиною, не стоящую внимания серьезных людей? Что-нибудь вроде: «Вы что, спятили?» Или: «Секс — это не просто секс, а нечто большее!» Как Вода — нечто большее, чем просто вода, Хлеб — больше, чем хлеб, Вино — больше, чем вино, так и человек в своей сексуальности чуточку возвышается над животной природой. Вот что мне хотелось бы узнать — и это занимает меня куда больше, чем открытия всех археологов и детективов, вместе взятых. Больше, чем церковь Гроба Господня, превратившаяся в место, где церкви-соперницы, ревниво следящие друг за другом, ведут свою нескончаемую тяжбу, поделив между собой храм, как римские солдаты, бросившие жребий об одеждах Его.

¹ Искусство для искусства (фр.).

Но я не хочу быть несправедливым и к церкви Гроба Господня — на ее кровле идет жизнь, там обитают коптские монахи (а может, священнослужители?), ютятся в крошечных хижинах, почти конурках, посреди горшков с цветами и растениями, со своими женами (а может, это монахини?) — вдали от всех свар и распрей — какой покой, какой мир царит на крыше церкви Гроба Господня!

Я прошу извинить меня — мне просто не дано испытывать умиление в местах, священных для христиан. Умиление я ощутил, увидев гору (не знаю, правда, точно ли это была та самая гора или какая-нибудь другая?), с которой произносилась Нагорная проповедь, это воплощенная поэзия надежды, по сей день не осуществленная утопия — искаженная, оболганная, преданная на всех континентах, здесь она (действительно ли это та самая гора?) оставила после себя лишь слова, лишь названия, ставшие частью местного ландшафта. То же самое происходит и с озером (мы называем его Геннисаретским) — был ли я здесь уже когда-то или перенесся сюда по магии Слова? Почему, собственно, мне кажется, что передо мной То Самое Озеро? Почему я уверовал в него настолько, что даже автомашины (и моя, и все прочие) не кажутся мне здесь нелепостью? И ведь именно здесь (или где-то совсем рядом, неподалеку) впервые прозвучало «Отче наш» — почему же церковь Рождества Христова в Вифлееме волнует меня так же мало, как и церковь Гроба Господня? Почему я так равнодушен к достопримечательностям, которые охотно демонстрирует любая страна — ко всем этим историческим местам и современным достижениям, во всяком случае, они волнуют меня куда меньше, чем сихарские черепки, эти отформованные тысячелетиями комочки земли на ладони, готовые вновь стать землей, из которой некогда были сотворены.

Разумеется, заслуживает искреннего уважения то усердие, с каким люди работают в библиотеках, одержимые страстью к обретению истины, исторически и географически неоспоримой, взвешенной и измеренной истины: свидетельство таких усилий — камень с иероглифической надписью, выставленный в музее Хайфы, стеклянные кубки в Музее стекла в Тель-Авиве, где по одну сторону зала представлена история возникновения и развития стеклодувного дела, а точнехонько напротив — история денег и самое драгоценное из всего, что таили недра кельнской земли, — древнеримские стеклянные кубки. Распространенный во всех странах обычай демонстрировать историю

в виде экспонатов никогда особенно не волновал моей души и моего воображения, меня оставляли безучастным все эти доказательства, предъявляемые Фоме неверующему (еще в кёльнской гимназии, где нам до отказа набивали головы всякого рода сведениями, цифрами и датами, история окаменевшая интересовала меня лишь как исходный материал, как сырье). Но мое самое любимое (и в Кёльне тоже) было самым хрупким — стекло, и осколки, и целые изделия, эта ставшая явью мечта о прозрачности, обретшей твердость камня, тайна, еще не разгаданная до конца, воспринимаемая как что-то слишком привычное, само собой разумеющееся, к чему относятся с пренебрежением — так же, как к воде.

В те редкие часы, выпадавшие в поездках по стране, когда окружающее не захватывало меня, я думал: наверное, я был бы (или стал бы) неплохим евреем, но, разумеется, из меня не вышло бы то, что на языке государственных служащих или политиков зовется «добрый израильтянин», и уж наверняка я не стал бы образцовым израильтянином, которого впору на выставке показывать — качествами, необходимыми для этого, люди моего плана не обладают, — недостаток, общий для людей искусства и писателей всех стран. Как-то я написал сценарий, по которому был снят фильм о Достоевском; я считал — и до сих пор считаю, — что с моей стороны это было проявлением пиетета, который я испытываю перед русской духовной культурой и русской литературой: однако в официальных кругах Советского Союза этот фильм многих глубоко обидел; по моему сценарию был сделан также фильм об Ирландии — как мне казалось, да и до сих пор кажется, — в высшей степени доброжелательный, чуть ли не подобострастный. В Ирландии он был встречен в штыки, вызвав волну дикого негодования и ругани в мой адрес, так что, когда я нашел время, чтобы вновь посетить эту страну, женщина, жившая со мной по соседству, спросила меня: «А вы не боитесь, что вас побьют камнями?» В фильм об Израиле (который я никогда не сделаю, да и вообще теперь никогда больше не возьмусь за такие фильмы) вошли бы кадры (порой ужасающие) об отвратительных бензозаправочных станциях, которые кое-где можно встретить на границе с пустыней, — мерзость запустения, в которой они обретаются, вызвана не случайностью или печальной необходимостью, как мне казалось вначале, а создается с почти вызывающей откровенностью как результат мышления первооткрывателей и

землепроходцев, оставляющих после себя на заправочных станциях горы старых жестянок из-под машинного масла и канистр от бензина, заваливающих полагающиеся при таких станциях кафе и закусочные грудями пустых бутылок, банок, бумажных тарелок, чего никогда не увидишь в аккуратных, ухоженных кибуцах. В этих кибуцах, куда меня приглашали, во время бесед, дискуссий я постоянно ощущал, глубоко тронутый и взволнованный всем увиденным и услышанным, как трудно мне смыть с себя клеймо хорошего немца. Мне так хотелось избавиться от репутации хорошего немца, сбросить с себя этот груз; но сделать это мне страшно трудно, не то что людям другой национальности, желающим отделаться от чувства вины, порожденного сопричастностью времени и осознанием того факта, что они остались живы, — им это сделать не в пример легче; мне же освободиться от этого чувства не помогает ни поездка через пустыню, вокруг Синая, минуя Эйлат, вдоль очаровательного Акабского залива, ни прогулка на лодке со стеклянным днищем, сквозь которое можно любоваться жизнью морских обитателей, ни дивный вечер в Шарм-эль-Шейке, ни купание в море и возвращение через Абу-Родейс (откуда вся поездка занимает не больше шести часов), а ведь когда-то евреи, шедшие тем же маршрутом, вслед за Моисеем, потратили на этот путь сорок лет — или четыре, всего лишь четыре месяца (все блуждания по пустыне, обходные пути и маневры, самовольные отклонения от намеченного маршрута — все это происходило на замкнутой территории, где расположился один огромный военный лагерь) — нет, никуда не убежать, никуда не деться от этого стигмата, от репутации «хорошего немца», которая предполагает неизбежность другого клейма — «злого, плохого немца». У писателей это происходит иначе — им легко вообразить, что случилось бы с тем или иным персонажем, если один из них, допустим, еврей, а другой — нет, им легко превратить горожанина в крестьянина (и наоборот); я, например, вспоминаю, как кое-кто плакал, когда не удавалось промаршировать со всеми вместе в колонне гитлерюгенда, и как другой парнишка (это был я сам) готов был скорее заболеть, чем встать в этот строй. При известном наличии фантазии играть в эту литературную игру нетрудно, она забавляет, позволяет немного развлечься (правда, ненадолго!), это игра, ностальгически приукрашивающая прошлое, — но она не помогает, толку от нее нет никакого, потому что знаешь — ведь все было не так, совсем не так, и главное —

все вышло по-другому. Можно, конечно, сыграть в эту игру, чтобы лучше понять того или иного человека, заставить одного влезть в шкуру другого — и все же на всем этом лежит отпечаток очень дурного вкуса, ибо что значит «понимать»?— всего лишь глупое слово, не более того; да и никто не изгонял меня с моей родины. Из страны Израиль в государство Израиль, не способное защитить себя в одиночку, проложившее через Синай — вокруг него — такое множество дорог, ни одна из которых не проложена во исполнение завета: «Проложите Господу путь через пустыню».

Сомнения многих израильских писателей, философов, мыслителей, касающиеся будущего, конечно, намного весомее моих — человека со стороны, для которого все их проблемы далеко не столь реальны, и если бы их арабские коллеги высказали столько же сомнений относительно политической и пропагандистской деятельности их государств, сколько израильские писатели относительно политики своего, это было бы и впрямь чудом, это означало бы наступление новой эпохи.

Писатели сегодня настроены не пессимистически, они не стремятся отражать в первую очередь негативные явления (кучи отходов, мусора, трущобы), они исследуют имеющийся в их распоряжении материал, отыскивая позитивное не там, где его надлежит находить согласно расписанию экскурсий и визитов, — все эти экскурсии, осмотры, демонстрация достопримечательностей с их пунктуальностью и педантичностью порой (повсюду, во всех странах одинаково) заключают в себе что-то в высшей степени неприятное, мучительно неловкое: эти образцовые деревни, гостиницы, фабрики, плантации, — но ведь есть еще и бедуинский базар в Беер-Сехба, где меня напугали слепые нищие, есть внушающая страх и действительно опасная поездка в сектор Газа, посещение известных из истории мест Самсона и Далилы, а в заключение — ноябрьское купание в море у развалин Аскалона. «Просто великолепно», — записал я в дневнике. Да, так оно и было на самом деле, просто великолепно! Непринужденно, спокойно, будто все происходило где-то на юге Португалии или в Тунисе; а на исходе одного столь же насыщенного событиями дня оставшийся в моей памяти (и приснопамятный) обед в прохладной тени припортового рестораника в Кесарии (где мы сидели с Хавой Витан), в Кесарии, где студенты-археологи ныряли в море в поисках (и небезуспешных) древних амфор.

Незабываемо и восхождение на Масаду с двумя моими незаменимыми спутниками — Моше Тавером и Авигдором, который нес необходимую нам питьевую воду; стоя на вершине под палящими лучами солнца, обратив взгляд на Мертвое море, вдруг проникаешься пониманием того, что легенды могут стать реальностью, а реальность превратиться в легенду, чтобы потом снова стать реальностью, вопреки всем поверхностным репортерским представлениям, не имеющим ничего общего ни с легендами, ни с реальностью. Вещей, заслуживающих того, чтобы на них взглянуть, тех же достопримечательностей, хватает: я отнюдь не склонен презирать туристов или паломников, ведь не каждому это удастся — выкроить из программы, составленной по всем правилам индустрии паломничества и туризма, время, скажем, на то, чтобы не торопясь поболтать с продавцами роз и лука об их работе, их проблемах (например, выяснить, до какого срока европейский Общий рынок закупает лук... тут, если опоздаешь, уж нет смысла везти товар обратно, приходится вываливать его в море!); не забыть мне и семью марокканцев, выращивающих розы с длинным стеблем для рынков Лондона, Парижа, Мюнхена, гордящихся своим домиком, своими пластиковыми теплицами для выращивания роз, счастливых тем, что они живут, не боясь преследований, никем не презираемые, на земле своих отцов. Может быть, если бы, живя в Израиле, я занялся разведением роз, мне и удалось бы стать «добрым израильянином», но в качестве писателя рассчитывать на это не приходится. И в том, что человек, живущий в Париже, Москве, Нью-Йорке, Бонне (да и в Кёльне), критически воспринимает действительность, повинен вовсе не его «разлагающий интеллект»; тот, кто пишет романы и рассказы, лишь отчасти (да и то в весьма гипотетической степени) может быть причислен к «интеллектуалам», дело тут в творческом воображении, которое не позволяет писателю забыть прошлое и будущее, не разрешает ему замкнуться в рамках переживаемого момента, не думать ни о чем, кроме требований сиюминутной действительности, это воображение тяготеет над ним, словно проклятие, заставляя вечно помнить о прошлом и будущем, — вот в чем тут дело: в невозможности сбросить с себя этот груз, дать себе передышку; но здесь, в этом маленьком домике, где жили марокканцы, здесь все это куда-то исчезло — на все то время, пока я беседовал с ними, в моей душе, внезапно освободившейся от вечно терзающего ее скепсиса, не было ничего, кроме радостного, хотя

и горького сочувствия к беженцам, к тем, кто вынужден покинуть родной кров и все начинать заново — возводить, строить, осуществлять мечты... и я часто вспоминаю об одном и том же, о маленькой, энергичной молодой женщине, которая на безукоризненном французском знакомила нас с проблемами разведения и экспорта роз (необходимо сначала упаковать их, потом сломя голову мчаться в аэропорт, а сколько идет в отходы!), с гордостью показывала нам свою парадную гостиную, которой они пользовались, наверное, лишь по большим, очень большим праздникам — с кушеткой, сервантом, с креслами из мебельного гарнитура (одетыми в чехлы) и прелестной стеклянной статуэткой на серванте, изображающей повозку, — и в этот момент во мне уже не было ни капли «интеллектуальности» (которой во мне и так-то — если она вообще присутствует — немного), ничего, что заставило бы меня отнестись к этому убранству как к чему-то «пошло-обязательному», «мелкобуржуазному», чудовищному в своей претенциозной банальности, я понял — сколько в этом гордости и самоуважения, какая это роскошь — иметь незанятую комнату, пространство за пределами повседневности, «чистую половину», которую я привык презирать именно за ее «чистоту», — и вот теперь, спустя семь лет, меня все еще не покидает сентиментальное чувство — случается, что, когда я покупаю розы, мне вдруг начинает казаться, будто это те самые цветы, что выращивает под полиэтиленовой пленкой семья моих знакомых марокканцев. И я вспоминаю долгие, нескончаемые разговоры с Енни и Эзрой, с которыми мы так и не решили всех этих «отчего» и «почему». И я говорю: «Мир вам!» — «Шолом!»

1978

ЧИТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ САМЫЕ ПОСЛУШНЫЕ

Речь на открытии Центральной библиотеки в Кёльне

Господин премьер-министр, господин обер-бург-мистр, дорогой господин Нестлер, господин Тюммерс, дорогая Ютта Бонке.

Библиотеки существовали всегда, с тех пор, как люди научились писать или вообще как-то выражать свои мысли, хотя бы на камне. Это были обычно места, где могли получать информацию лица привилегированные, вроде, скажем, библиотеки Сената, о которой упомянул госпо-

дин Рау, княжеских библиотек, монастырских библиотек, научных библиотек — они известны давно; публичные же библиотеки, народные библиотеки вроде этой, которая сейчас открывается в новой и расширенной форме,— дело новое. Очень новое, поразительно новое, если подумать, как давно уже человечество пишет и издает. Первые библиотеки такого рода возникли где-то в середине прошлого века. Они были задуманы безумцами, мечтателями. Это плод революционных идей, которые обсуждались в кофейнях литераторами, всякими там теоретиками — сегодня бы сказали, левыми интеллектуалами, потом, через образовательные фрейны, читательские общества, они объединили свои силы с либеральным и просвещенным бюргерством, и так пришли к идее публичных библиотек; между прочим, этот трудный путь был довольно тесно связан с развитием немецкого рабочего движения. Не будем забывать этого и сегодня, открывая столь большую, внушительную и роскошную библиотеку. Политикам нужны числа, цифры, статистические данные. Я бы хотел лишь заметить, что один читатель может быть важнее целого списка. И еще я хотел бы заметить, что библиотека должна быть местом свободы, убежищем и что никто, кроме библиотекаря, выдающего книги, не вправе интересоваться, кто тут что читает.

Так что я надеюсь, кто-то в этой библиотеке сможет незаметно для других читать и Розу Люксембург, и это не будет зарегистрировано нигде, кроме библиотеки. Я слышал, господин Тюммерс, тут есть такие штучки для контроля, которые могут проверять, не украл ли кто книжку, да? Может, вы попробуете предложить какому-нибудь физику, какому-нибудь технику придумать аппарат, позволяющий установить, кто контролирует читателя. Кому хочется знать, кто что читает. Может же такое быть. Активные политики, любящие и умеющие действовать, я прошу вас, господин Рау, не принимать этого на свой счет, частенько посмеиваются чуть свысока над тем, что они называют книжной премудростью, к вам это, конечно, не относится. При этом, когда они, например, садятся в самолет, полные сил и желания действовать, они забывают, что и в этой штукловине заключена целая масса книжной премудрости. Даже в автомобиле, даже в самой незначительной речи, которую они произносят, скрыто очень много книжной премудрости. Когда я пытаюсь себе представить *некоего* читателя, мне вспоминается неизвестный Владимир Ильич Ульянов, называвший себя также Лениным, который, как убедительно описывает Солжени-

цын, ежедневно, регулярно читал, занимался в Цюрихской городской библиотеке. Вероятно, люди, встречавшие его там, считали его немного комичным, чудаковатым русским. Каковым он, возможно, в каком-то смысле и был. Мне вспоминается и другой весьма усердный библиотечный читатель, странный, уж наверняка кому-то казавшийся забавным немец по имени Карл Маркс, который занимался в Лондонской национальной библиотеке. И, подумав про них обоих, я вспоминаю еще одного, по имени Адольф Гитлер, которого уж совершенно не могу представить усердно занимающимся в какой-нибудь библиотеке. О его чтении кое-что известно. Насколько я помню, три, четыре, пять, шесть книг да еще иллюстрированная история Германской империи. И, сравнивая людей по способности к чтению, я прихожу к выводу, что социализм, несмотря на все ужасное, что совершалось его именем, несмотря на все ошибки своего развития, все-таки обладает и, видимо, всегда будет обладать большей притягательной силой, чем кровожадные пошлости нацизма, который я не хочу называть фашизмом, ибо это звучало бы более безобидно. Ведь не случайно же всюду, где социализм был принят добровольно или введен насильно, прежде всего начиналась война с неграмотностью, то есть воспитывался читатель. А это никогда не кончается добром для тех, кто делает читателей читателями. Читающие сограждане не самые послушные, а уж пишущие и подавно. И тем не менее это первое, что там делают. Для индианки из Колумбии и Боливии не нужна цензура, потому что она просто не умеет читать. Иное дело читающий гражданин, он становится бунтовщиком, менее склонным к послушанию. Я не могу раскрыть здесь эту тему во всей полноте, хочу лишь отметить, что чтение — первое, чему учат в таком государстве. Жаждающие чтения народы образуются там. Как писатель я хотел бы констатировать, что книга в библиотеке равносильна второй публикации. Она изымается с рынка, покупается библиотекой для общественности и отдается ей в пользование. Главное же, как указал уже господин Рау, она становится свободна от рынка со всеми его завихрениями. Иногда книга может даже запылиться, но запыленная книга — тоже книга, пыль можно стряхнуть, а в один прекрасный день явится кто-то, желающий ее читать. Вряд ли это утешит политиков и ответственных лиц, для которых важна статистика, посещаемость, но возьмем для сравнения посетителей музеев. В музее выставлены для обозрения гораздо более ценные вещи, чем

в библиотеке. Но может найтись какой-нибудь один посетитель, для которого создание музея окажется важней, чем для тысяч или миллионов других, его посещающих. Пожалуйста, не забудьте этого одного, неведомого нам, неведомого никому. Никто не знает, как воздействует чтение, мы этого просто не знаем. И если я привожу вам в пример Ленина и Маркса, этих усердных посетителей библиотек, то не в угрозу, а в утешение.

По этому поводу я хотел бы выразить благодарность городу Кёльну прежде всего в лице его бывшего заведующего отделом культуры господина Хаккенберга, а также земельному правительству, представленному здесь в лице господина премьер-министра Рау, который был тогда министром науки, благодарность за действенную поддержку гражданской инициативы, начатой несколькими кёльнскими гражданами, прежде всего Карлом Келлером, тоже здесь присутствующим, и уже упоминавшейся здесь *Germania Judaica*, библиотекой по истории немецкого еврейства. Двадцать лет назад это еще не называлось гражданской инициативой, но это была именно гражданская инициатива. И эта библиотека теперь вливается в городскую библиотеку. Можно даже сказать, поглощается ею, что звучит далеко не так добродушно, и я употребляю это слово также с известным сожалением.

Как один из основателей и многолетний председатель по необходимости образовавшегося союза я бы хотел поблагодарить и бюрократию. Я знаю, что это дело весьма непопулярное, поскольку бюрократию и бюрократов модно ругать, к тому же и эту проблему я не могу обсуждать здесь во всей ее полноте, можно, разумеется, немало сказать и против нее, но есть и за, потому что мне приятнее добиваться удовлетворения всех своих требований и прав в рамках некой бюрократии, чем быть зависимым от милости какого-нибудь господина или повелителя. До определенной черты прогресс и бюрократия идут рука об руку, нужно лишь четко определить рамки, и именно бюрократия в лице господина Хаккенберга и господина Рау спасла эту инициативу *Germania Judaica*. А это очень важный инструмент, который позволял узнать все о Holocaust еще до того, как сенсационный фильм сделал это действительно злобой дня. Особую благодарность я хотел бы выразить г-же д-ру Ютте Бонке-Кольвиц, ее сотрудникам, которые в течение двадцати лет очень напряженной работы, преодолевая какие-то странные препятствия, препятствия, порожденные шизофреническим отношением нашей общественности к этой теме, я имею в виду судьбу наших еврейских сограждан, сохранили эту библиотеку, спасли ее

в результате переговоров, а то и борьбы, сделали ее действительно реальным инструментом, который сегодня поглощается городской библиотекой, здесь всем желающим получить информацию, школьникам, студентам, журналистам, предоставляется богатый материал. А вот средства массовой информации организацию этой библиотеки никак особенно не поддержали, весьма странное отсутствие интереса. Оттого моя благодарность бюрократам, которые нам действительно помогли и спасли этот инструмент. Я также очень рад, что здесь теперь будет находиться и мой архив, не знаю, какая будет от этого польза и может ли быть от этого польза, я лишь надеюсь, что материалы, рабочие материалы не такого уж молодого писателя побудят, быть может, город Кёльн (и уже есть признаки этого) немного больше заботиться о писателях молодых. Может оказаться очень интересным, если здесь будет основан обширный литературный архив с рукописями и менее известных авторов, которые нередко более значительны, чем известные. В заключение я хотел бы еще сказать вам, господин Тюммерс, дорогая Ютта Бонке: если я здесь так подчеркнуто говорил об одном или двух читателях, или даже трех, или четырех, это вовсе не значит, что я вам желаю мало читателей. Я желаю их вам очень много и надеюсь, что среди этих очень многих найдется один или другой, который оправдывает существование всей библиотеки. Спасибо вам.

1979

ДИКТАТОР ВО МНЕ

Отчетливее всего диктатор во мне проявляется в обстоятельствах самых мирных, когда я, скажем, гуляю; устав, я начинаю желать, чтоб прямо там, где меня застигла усталость, появилась скамейка; хорошо, если б я мог приказать, чтоб она тут появилась; хорошо бы, чтоб там, где меня застигла усталость, появилась не только скамейка, но также чай или кофе, именно здесь и немедленно! Ох уж это нетерпение! Вот, думаю, что прежде всего отличает диктатора. Достаточно, чтобы телефон оказался занят, и мое нетерпение возрастает до такой степени, что я становлюсь опасным; будь моя власть, я бы тотчас прервал (приказал бы прервать!) идущий там разговор. Дорогу достойному! К счастью, существует контроль, внутренний и внешний; внутренним контролем может быть ирония, но ее недостаточно, она слишком приятна, этаким лимонный сок, тут скорей уместна сатира, нечто вроде соляной кислоты: надо представить себе

пейзаж, сплошь заставленный скамейками, ни травинки не осталось, только служители с термосами мечутся туда-сюда; путаница перерезанных телефонных кабелей, куча перерубленных гордиевых узлов.

Куда важней контроль внешний, тут уже нет ничего эстетического: представить в карикатурном виде себя самого все-таки несомненно приятней, чем видеть себя окарикатуренным в глазах других: суетливый комик, спешащий первым схватить газету, человек-государство, желающий быть одновременно властью законодательной, исполнительной, да еще какой-то третьей, и не подчиняться никакой конституции; Гитлер и Чаплин, соединившиеся в *одном* Гитлере — тут поможет лишь насмешка, — *со стороны*, и надежда, что она заденет диктатора. Бывают ли усмехающиеся диктаторы? Терпеливые диктаторы, которые не рубят, а пальцами распутывают гордиевы узлы? Наверное, терпеливые, усмехающиеся сами над собой диктаторы перестали бы быть диктаторами. Диктаторы ничего так не боятся, как выглядеть смешными, неужели бы они стали усмехаться сами над собой? В Гитлере был какой-то зловещий комизм, Сталин был достаточно зловец, жесток и страшен, но таким смешным, как Гитлер, он бывал редко. Гитлер очень старался выглядеть помпезно, Сталину это удавалось; зловещий комизм Гитлера ощущался в его стремлении к помпезной жестикуляции. Может, в них обоих, наложивших такую печать на эпоху, воплощалось еще и различие систем и идеологий, если — в чем я сомневаюсь — столь разношерстный конгломерат, как нацизм, можно назвать идеологией, не нанеся глубокого оскорбления другим идеологиям. Есть ли во мне какая-то крохотная частица Сталина, какая-то крохотная частица Гитлера? Боюсь, что да. Не стоит, конечно, особенно кокетничать с диктаторством во мне — это было бы проявлением диктатуры. Желание получить скамейку и чай — причем немедленно! — желание прервать телефонный разговор других людей одновременно и помпезно и комично; я не прочь бы *продиктовать* кое-что тому или иному литературному критику; но тут я обнаруживаю, что ставлю милость выше права и уже потому диктатор; от диктатора ведь не ждут справедливости, только милости. Самое для меня смешное во всех государствах без исключения, будь то красные, зеленые, черные или желтые — это парады, помпезные и комичные одновременно (да к тому же еще и дорогостоящие!) — но я тут же замечаю, что иной раз устраиваю парады перед самим собой; я марширую сам перед собой, изображаю парад и сам же его принимаю, вымуштрованно демонстрирую свою соб-

ственную муштру! Вот ведь достижение. Впрочем, стоят такие парады недорого, но все это очень сомнительно, достаточно сомнительно. Чтобы внести поправку во все это кривляние, недостаточно одной иронии, она слишком легко приходит и уходит, а парады становятся только приятнее. (Ишь ты, смотри, я способен сам на себя взглянуть иронически!) В иронии есть что-то зеркальное, она наводит блеск, полирует и интерполирует; нет, тут нужна сатира, нужна соляная кислота: пусть будет выметено из пейзажа все, что зеленеет и цветет, вместо деревьев пусть растут лишь скамейки, а вместо злаков кафе; все телефонные кабели, надземные и подземные, кроме одного, который необходим господину диктатору именно в этот момент, чтобы — прости Господи! — услышать от кого-то из своих информаторов какой-нибудь вздор о другом диктаторе: что? он курит сигары дороже моих? Как найти сигары еще дороже?

Лет семь тому назад мы — делегация президентов ПЕН-клубов разных стран — получили приглашение от Тито посетить по окончании международного конгресса ПЕН-клуба на Охридском озере один из его дворцов. Был прекрасный майский полдень, и поездка по Воеводине заслуживает особого описания (которому здесь не место). Чтобы не опоздать, но и не прибыть слишком рано, а именно в назначенный час, мы выехали заранее, делали остановки, стараясь добраться до места как раз вовремя. Тито встретил нас не просто любезно, а дружески. Визит затянулся, он постепенно стал даже по-настоящему приятным и длился дольше, чем было предусмотрено (гриль в саду, очаровательнейшие разговоры и даже соловьи в кустах!). Мы припозднились, назад поехали с «сопровождением», и на обратный путь нам понадобилось менее трети того времени, что было затрачено на поездку туда: улицы как будто повымело, ни курицы, ни велосипедиста, не говоря уже об автомобилях, так что мы прямо-таки влетели в Белград, и один из моих друзей сказал мне потом, что он только теперь понял, что такое тоталитарная система: когда на улице ни человека, ни курицы, ни автомобиля, ни велосипеда; в мгновение ока мы оказались в своей белградской гостинице — и сумели это оценить! Тито был дружелюбен, человечен, общителен — способен ли он был сам взглянуть на все свое величие по крайней мере иронически или даже скептически, а может, так на себя и смотрел? Пожалуй, в нем было слишком много детского, чтобы можно было дать ему в руки соляную кислоту. (Осторожно: детское не обязательно означает что-то «очень нежное и милое», есть жестокие дети, в которых полно детского!) Это возвращение по улицам, словно вы-

метенным подчистую, было ужасно, но в то же время мы им наслаждались, я, во всяком случае, наслаждался: как гармоничны были эти очищенные улицы! Диктаторов стараются уберечь от всего неприятного, что могло бы нарушить гармонию, их нельзя огорчать, надо поддерживать у них хорошее настроение: если диктаторов не уберечь от неприятного, они в плохом настроении могут быть сами ужасно неприятны: мир можно устроить так славно, а игрушки, которыми забавляется власть (вроде выметенных подчистую улиц), все-таки очень полезны.

Если во мне таится диктатор (во мне таится, кстати, и цыганка тоже), нет ли во мне и государства? Может, даже демократического? Способны ли государства улыбаться? Государственные деятели должны этой способностью обладать, и не только когда они гладят по головкам детишек или дрессируют собак. Когда они шествуют в лентах и бантах, они не должны только величественно улыбаться, они должны иногда сами себя «покусывать» и — что самое важное — показывать себе перед зеркалом язык. Улыбающееся государство, улыбающееся *германское* государство? Когда я чужими глазами обнаруживаю государство в себе самом и при этом вижу, до чего оно комично, дозволено ли мне иногда посмеиваться не над *государством*, а над отдельными его составляющими? К счастью — другие от этого страдают, — нашему государству не слишком удастся помпезность, разные там фанфары, торжественные ритуалы, но это все-таки не кажется мне смешным, я вижу тут скорей беспомощность, и эта беспомощность мне симпатична; это почтенная, можно сказать, достойная беспомощность. К счастью, государство во мне не срывается: ни скамейку никто не спешит поднести, ни чаю, и если телефон занят, мне приходится довольствоваться чертыханиями — как и при поездках в машине, когда на улицах пробки; никто не расчищает передо мной улицу, и при всем соблазне диктаторства я, чертыхаясь, между тем тихонько говорю себе: вот и поделом тебе! Потому что во мне живут не только диктатор и цыганка, но еще и демократ, он иногда поддается диктатору, но чаще восстает против привилегий, которые я сам себе не прочь бы устроить; привилегии, которые мне хотели бы устроить другие, демократ во мне диктаторски отклоняет: уж если привилегии, то лишь одобренные самим диктатором!

Укротить этого (приватного) диктатора в себе, который, к счастью, дает о себе знать лишь изредка, можно было бы, наверное, и самыми обычными средствами, знакомыми каждой семье и каждой супруге; будь у него настоящая власть, он бы не раздумывая покончил с нынешним стремлением строить себе помимо одного дома еще и такой же второй и третий, а еще решительней — с над-

гробьями на наших кладбищах: все это надлежало бы изменить по его вкусу; некоторые застройки слишком напоминают ему кладбища, а некоторые кладбища — застройки; может, существует нечто, что можно бы назвать *демократической строгостью*, она не посягает на социальную сеть, но вкус формировать может; тогда диктатор помог бы, и достаточно решительно, как-то укоротить мелочный псевдоиндивидуализм, а может быть, даже *диктовать* формы.

1981

ОБРАЗ ВРАГА И МИР

Речь на встрече в Венском институте Карла Реммера

Я не собираюсь говорить с вами о разоружении. Со времен «оверкилла» такие слова, как превосходство, слабость, равновесие, устрашение, звучат, право же, все более абсурдно. Я хотел бы поговорить с вами об образах врага, которые нужны не только для войны, но и для обоснования гонки вооружений. Образы врага возникают из наших представлений друг о друге, а говорить о том, как мы представляем друг друга, значит говорить вообще о совместной жизни людей, о семье, о соседях, и я спрашиваю себя, как представляют себе некоторые родители своих детей, а некоторые дети своих родителей, соседи — соседей, какие случайности определяют этот образ, если человек, допустим, однажды не поздоровался, потому что был в плохом настроении или озабочен. И я тоже с ним не здороваюсь. Образы складываются устойчивые, на годы.

Как представляют себе друг друга народы? Кого воображает себе немец, когда он видит человека, приехавшего из Кении, каким видится немец человеку, приехавшему из Кении? Проще народам, которые живут далеко друг от друга, но у тех, кто живет друг с другом рядом, возникают свои трудности. А если они вдобавок и родственники, дело оборачивается порой опасно, ведь родство — штука не мирная, да и семейная жизнь тоже.

Как возникают представления друг о друге? Боюсь, многое из того, что пишется в разных жанрах, журналистика, публицистика и так называемая художественная литература играют тут далеко не отрадную роль. Уже в момент, когда просто называется национальная принадлежность, возникают образы, которые мы чаще всего оказываемся уже не способны ни контролировать, ни исправить. Что испытывает немец, когда он читает: русский? Что испытывает русский, когда он читает: немецкий? Боюсь, немцам

вспомнится скорей пресловутый «недочеловек», Пушкин имеет у них меньше шансов, но у русских больше шансов имеет Шиллер, чем Гитлер.

А как насчет иконографии народов? Как чилиец представляет себе боливийца? Марокканец — египтянина? Часто, как это бывает в отношениях между соседями, этот образ определяют случайности, например, приветливый или не приветливый таксист, встретившийся вам по приезде. Возникает образ, который трудно вытравить. Что считать американским в США? Существуют американцы, но не существуют американцы вообще. Обычно национальность мы распознаем по внешним признакам — по походке, по жесту, которым человек закуривает сигарету или достает пачку из кармана.

Наши литераторы стараются избегать клише, которые запечатлеваются у нас в сознании благодаря кому-то или чему-то или сами по себе: это образы врагов, карикатуры да и сомнительные образы друзей.

Что будет, если я дам герою романа ярко выраженное швейцарское имя Беат или Урс, какой образ Швейцарии или швейцарца возникнет еще до того, как я наделю обоих индивидуальностью? В душе я надеюсь, что где-то, я не знаю где, существует секретный архив, и там мы однажды увидим подлинные образы себя самих. Те, которых мы по-настоящему не видим ни в зеркале, ни в глазах стоящего перед нами. И я пытаюсь на минуту-другую представить, как бы мы в литературе отказались от упоминания национальности, может, даже от слишком значащих фамилий, таких, как Разумов или Петронелли, Штольц или Кеннеди, хотя в случае Кеннеди еще возможны варианты, поскольку это может быть либо ирландец, либо шотландец, либо американец.

Я не обладаю достаточным усердием и знаниями, чтобы дать систематический обзор столь обширной темы, как образ еврея в немецкой литературе, в европейской литературе, в художественной, в богословской литературе, которая не так уж редко поставляла материал для самых грубых памфлетов и пропаганды, но потом от них открещивалась, говоря: это вовсе не имелось в виду. Но то, что не имелось в виду, становилось образом и мнением для других. Это можно доказать. И этот образ еврея из высоких богословских сфер скатывался до «Штюрмера», мы знаем, чему он послужил, к чему он привел.

Я произнесу только слово Освенцим, не прибавляя к нему никаких определений. Освенцим представлял за образ поляка, образ коммуниста, образ вредителя, за образ русского, большевика, образ гомосексуалиста.

Другой темой, которую я уже наметил, мог бы стать образ иностранцев в иностранных романах, испанца в итальянском, а может, и австрийца в итальянской и итальянца в австрийской литературе, немца в английском, русского в немецком романе и т. д.

Пока что у меня сложилось впечатление, может быть, поверхностное, и со временем я его изменю или углублю, что художественная литература, как мы ее называем себе в утешение, нередко, сама того не желая, участвует в распространении того, что перед войной и во время войны используется как самая низменная пропаганда. Я чувствую себя принадлежащим к народу или к нации, у которой есть веские основания, чтобы задуматься над образами врагов: образами врагов, которые создавала и распространяла эта нация, и образом врага, какой представляет собой она сама. В нашей истории и благодаря ей было достаточно причин, способствовавших возникновению такого образа. И все-таки меня всегда задевало, меня поражало, когда я как немец, просто потому, что я был немцем, вызывал ненависть и презрение. Хотя и знал, почему это так. Меня это даже задевало не лично, ведь я кое-что знал о немецкой истории, это задевало меня лишь как принадлежащего к роду, который называет себя человеческим, — каким бы там ни был немец, он ведь еще и человек, что, впрочем, относится ко всем нациям и не утешает.

Преступность всех степеней и разновидностей есть свойство человеческое. По отношению к животным не говорят о преступности. Бесчеловечность — тоже свойство человека. Возможно, мы все-таки ошибаемся, отождествляя человечность с добром.

Я встретился с этим образом врага — в, так сказать, позитивно-окольном смысле, — когда мне, и это случалось неоднократно, говорили, что я совсем не немец. Я чувствовал себя в странной ситуации, как будто мне надо было удостоверить свою немецкую принадлежность, поскольку я явно не соответствовал хорошему или плохому клише немца, и это меня — вы можете удивляться — это меня ранило.

Я никогда не понимал немцев, которые, приезжая в Голландию или во Францию, покупали себе французскую или английскую газету, лишь бы в них только не распознали немца, что, впрочем, дело довольно безнадежное, нас все равно узнают. Нас узнают все равно — хотя бы по тому, как мы достаем из кармана сигарету, нас узнают по ботинкам и брюкам, и маскироваться бессмысленно. Даже если мы потом купим себе французские или итальянские ботинки, нас узнают по манере носить их, снашивать, чистить, и уж в любом случае нас узнают по нашим повадкам.

Если иностранец не совсем уверен в национальности немцев, он чаще всего спрашивает, не голландцы ли они, потому что голландца, видимо, неудобно спросить, не немец ли он. Да, с немцами хлопот не оберешься.

Поскольку я, кроме того, еще и рейнландец, мне иногда выпадает сомнительная привилегия сойти за не очень удачного француза, ведь даже какой-никакой француз все-таки лучше полноценного немца. В восточных же провинциях нашего бывшего Германского рейха нас считают не совсем удачными немцами.

С подобным отношением, которое мы воспринимаем как прусское высокомерие, мне пришлось столкнуться года три назад у одного весьма образованного и умного немецкого журналиста, и я все еще жду возможности продолжить с ним дискуссию на эту тему.

Конечно, слово «рейнландец» тоже вводит в заблуждение, я чувствую, это тоже ложный образ, сопряженный с предрассудками, которые рейнландцы, увы, из коммерческих соображений все еще продолжают экспортировать. Не так уж чертовски жизнерадостны все поголовно рейнландцы, и не всегда они такие. При этом куда-то девается меланхолия Рейна и тамошних обитателей; на нижнем Рейне, я думаю, сочтут едва ли не за оскорбление, если их назовут рейнландцами.

Но кому я все это рассказываю? Вена — сладкая Вена, горькая Вена — ведь даже они порой спорят друг с другом.

Итак, существуют образы врагов, образы предателей даже внутри одной нации. Часто еще и с конфессиональной подоплекой, и если французы порой говорят о Германии как о l'outré Rhin, то есть о чем-то, что лежит по правому берегу Рейна, то это шутка, и весьма смелая. До сих пор я пытался говорить про образы, которые создаем друг о друге мы, одна нация о другой, про образы, которые в наши дни, возможно, не приведут к тому, к чему они приводили когда-то, к войнам, гражданским войнам, религиозным войнам, причем религия была здесь лишь маскировкой, она лишь оформляла образ врага и служила прикрытием для политики грубой силы.

Если я сейчас поведу речь о серьезном, усиленно пропагандируемом, опасном для всех регионов и для всех наций, часто используемом и внутри, и вне страны образе врага — коммунизме, необходимо иметь в виду — я, во всяком случае, буду исходить из этого, не знаю, согласитесь ли вы со мной, — что главным рассадником антикоммунизма является Советский Союз, со всей своей внутренней и внешней политикой, он придает это-му слову, которое здесь используется для создания обра-

за врага, подозрительный душок, потому что он *оккупировал* это слово.

И задуматься над образом врага, обозначенным словами «коммунист, коммунизм», следует вовсе не для того, чтобы преуменьшить или изобразить безобидной угрозой, которую действительно представляет собой такая держава, как Советский Союз. Особенно для народов и государств, которые живут внутри ее сферы влияния или граничат с ней, как Афганистан.

Не хочу залезать в высокую политтеологию и давать новое определение коммунизму. Пусть этим занимаются те, кому надо определить самих себя. Я только задаю себе вопрос, верно ли мы характеризуем державу, империалистическую во внешних делах, феодалистскую во внутренних, опасную, и не только своим вооружением, но и своей закрытостью, своим произволом, своей непредсказуемостью, которому, если судить по некоторым признакам, некоторым намекам, видимо, из-за коррупции грозит внутренний хаос, верно ли мы определяем это скопление силы, когда называем его коммунистической угрозой. Точно так же, как следует себя спросить, действительно ли можно считать христианскими государства и силы, называющие себя христианскими и рвущиеся в бой под этим самозванным определением.

Мне представляется сомнительным, что такие слова, как «христианский» или «коммунистический», действительно еще поддаются определению и пригодны для пользования. Если называть коммунистом господина Брежнева и всех, кого мы видим с ним, за ним, перед ним, под ним, в том же смысле, в каком коммунистом считается какой-нибудь бразильский епископ,— а, по-моему, ими считаются семьдесят или восемьдесят бразильских епископов,— только потому, что он одобряет не *всякое* убийство и не *всякий* грабеж. Даже если такой епископ заявит, что сам он себя ни в коем случае так не называет, его причислят к коммунистам и соответственно будут к нему относиться.

Я тоже удостоился чести быть помещенным в эту всеобъемлющую категорию и отношусь к этому спокойно.

Словом, которое, что ни говори, связано с причащением (Communion) и коммуникацией, обозначено все страшное и ужасное, что происходило, что творилось во имя коммунизма; может, это было сделано не просто из чисто политических соображений, ради власти, может, это был лишь предлог, лишь прикрытое для чего-то, что следовало бы точнее обозначить словами «империалистический, феодальный».

Как и слепой антикоммунизм может быть лишь прикрытием для чего-то, чему приносится в жертву бразильский епископ и шестьдесят его собратьев по вере?

В такого рода толковании антикоммунизм имеет право на все, антикоммунист может быть убийцей, палачом, тираном, жестоким эксплуататором, как, например, пресловутый Бэби Док, в чьем раю, где двадцать пять лет правило семейство Дювалье, насчитывается 25 000 мертвых, в Гватемале по 30 ежедневно, все разрешено, если обладаешь привилегией не называть себя коммунистом, что бы это слово ни означало. Недавно президент Рейган обещал Бэби Доку помощь из Карибского фонда, а на господина Хейга произвела сильное впечатление роль частного предпринимательства на Гаити.

Так что же я — коммунист, если считаю антикоммунизм Дювалье в какой-то мере оскорблением для человечества? Этот идиотский дуализм никуда нас не приведет и мира достичь не поможет. Думаю, Дювалье ко всему еще и католик. И это странное, наводящее на размышление обозначение конфессии, к которой я сам все еще хотел бы принадлежать, оказывается, по мне, слишком уж широким. Оно охватывает господина Пиночета, господина Хейга, Эрнесто Карденала, тех же самых бразильских епископов, папу Иоанна Павла II и большую часть населения Польши.

Я не претендую и не считаю себя вправе давать здесь новые определения, я только позволю себе несколько вопросов.

Кому, собственно, принадлежит эта земля? Если она сотворена, то для кого? Ее поверхность, на которой мы обитаем, ее пашня, с которой мы кормимся. Кому принадлежит то, что скрыто под ее поверхностью, кому принадлежат уголь, нефть, руда, золото, драгоценные камни? Кому принадлежит вода, кому принадлежит вода, которую больше нельзя пить, воздух, земля? Кому принадлежит то, что плавает в воде и покоится на дне морском? Чья это собственность? Для кого она предназначена? Не может ли оказаться так — я позволю себе одно лишь на вид, как мне кажется, фривольное предположение, — не может ли оказаться так, что Сын Человеческий и та, что его родила, тоже нашли себе место на том громадном возу, куда усадили всех этих коммунистов? Я только задаю вопрос.

Между тем в Деяниях апостолов рассказывается о супружеской паре, которую редко вспоминают, о супругах Анании и Сапфире, которые были поражены смертью, потому что они хотели утаить часть своего имущества от общины, не от общества, а от малой группы, общины.

И эта красноречивая история оправдывает мою кажущуюся фривольность.

Образ врага-коммуниста охватывает людей и целые движения, охватывает всех, кто не согласен мириться с

разбойничьими порядками на земле, поскольку земля и все, что на ней, утаивается от слишком многих.

Этот образ врага отвлекает от действительных угроз, которые порождает власть, чье единственное преимущество — не быть коммунистической, угроз и для тех, кто называет себя коммунистами.

А коммунисты ли они на самом деле — пусть решают те, кто себя так называет.

Это спорные вопросы, и, как я уже сказал, пусть ими занимается *высокая политтеология*. Да и самоопределения у коммунистов бывают такие же разные, как разными бывают сами коммунисты в кавычках и без оных.

Я не говорю о таких вражеских образах, как «социалисты» и «социализм», ведь существуют вполне уважаемые, респектабельные правительства, на гербе которых начертано это определение. Возможно, и эти слова станут когда-нибудь обозначать образы врага в интернациональном и национальном масштабе. Возможно, и господина Галтиери еще объявят коммунистом, поскольку он обнимался с Фиделем Кастро. Этот образ врага подвергся инфляции и среди тех, кто так себя называет сам, и среди тех, кого зачисляют в этот разряд, хотя сами себя они совершенно к нему не относят. Все больше государств и народов поневоле подталкивают, можно сказать, вынуждают сближаться с Советским Союзом, потому что они больше не в силах терпеть невыносимых оскорблений, называемых, допустим, Дювалье или Сомоса. Народы, чье терпение подходит к концу или уже исчерпалось, поскольку третьего, той самой мечты, что называется демократический социализм, действительно не удастся осуществить.

Мирное поведение человека, или народа, или группы зависит от того, до какой степени его оскорбляют. Сорок лет Сомосы, двадцать пять лет Дювалье — не знаю, хватило бы так надолго моего миролюбия.

И вооружение, обещанное нам или уже существующее, тоже ведь можно назвать оскорблением. Оно — вооружение — международное вооружение, этот абсурд, эта высокая боеспособность — наш общий враг.

Говорить на тему «образы врага» можно много, пусть этим займутся политологи, психологи, философы, меня беспокоит мысль, как мы представляем друг друга, вообще правильно ли мы представляем себе другого человека. Говоря «образ», я не имею в виду телевизионное изображение, и тут я обнаруживаю еще два слова, способных стать врагами, не ведающими границ, странные слова, которые звучат все чаще и выговариваются все хладнокровней; я не имею в виду господина Блеху, он их тоже упо-

требил, но не хладнокровно; эти два слова — давление обстоятельств.

Какие обстоятельства давят на нас? Иначе говоря, что нас вынуждает? Какое давление обстоятельств может привести к тому, что нам не нужна будет тоталитарная система, но само тотальное давление обстоятельств обернется тоталитаризмом?

Под давлением обстоятельств подразумеваются и вынужденная необходимость вооружения, и требования чести, которую нужно затем защищать до последней капли крови. Этим требованиям можно посвятить целую литанию (*голос с места*) — может быть, может быть, чаще всего слова «давление обстоятельств» звучат, когда заходит речь о работе и рабочих местах, и поверьте, у меня нет ни малейшего желания хоть как-то преуменьшить или недооценить значение безработицы. Я сам пережил времена большой безработицы в тридцатые и двадцатые годы, вот почему я думаю, мне кажется, что в связи с давлением обстоятельств проблему работы, рабочих мест, само понятие «рабочий» надо заново осмыслить, все это вообще надо, может быть, заново определить.

1982

РАДИКАЛ НА СЛУЖБЕ БОГУ

О Фоме Аквинском

Надо исходить из предпосылки, что я предпринимаю здесь своего рода фривольную авантюру, пытаюсь на несколько шагов, может, всего на один-единственный, приблизиться к этому удивительному человеку, когда их надо было совершить тысячи и тысячи, чтобы по возможности «воздать ему должное» и, как он того желал, подвергнуть его критике.

Вероятно, томисты и антитомисты настолько его исказили, что мы его вообще никогда (или лишь от случая к случаю, поверхностно и *спорадически*) не читали по-настоящему. От многого и многих текстов нас отвращают не тексты сами по себе, а те, кто пытался довести их до нашего понимания.

Итак, я заглянул — иначе это не назовешь — в его произведения, прочел кое-что из написанного им и кое-что о нем (среди прочего — еще раз знаменитую биографию Честертона, блистательная, неокатолическая эlegantность которой все же — как мне показалось — слишком бойко высвечивает некоторые моменты,— да, поистине светлая книга!).

Тут я должен нажать на тормоз, чтобы не цитировать непрерывно Фому Аквинского. Поистине отрадно в период, когда Рональд Рейган, и Александр Солженицын, и многие газеты, и все «моральные большинства» во всех странах Господа Бога нашего, когда все они точно знают, где добро и где зло — добро, разумеется, там, где капитализм, зло — где коммунизм, итак, очень отрадно в столь бедный на аргументы период прочесть у Фомы: «Добро бывает и без зла, но зло без добра не бывает». И еще: «Надумай Бог изъять из мира все, что дает человеку возможность грешить, вселенная оказалась бы несовершенной». И кроме того: «Пусть даже то, к чему греховно влечет воля, есть истинное зло и оно противоречит наделенному разумом естеству — воспринимают его, однако, как доброе и естественное» — и... и так далее.

Этого гения конкретности и основательности представляют нам как воплощенное спокойствие; лишь один-единственный раз он «вышел из себя», когда его семейство подослало ему в узилище грешницу, дабы та совлекла его с иноческого пути, и вот тут он не только разгневался, но и стал — чего вообще-то нам о нем слышать не доводилось, — стал невежлив. Он схватил горящую головню, ринулся на красотку и выгнал ее, вместо того чтобы затеять с ней диспут и совлечь ту, что желала совлечь его с пути истинного, с ее собственного пути. И если б рядом оказался кто-нибудь и кто записал бы их диалог, мы теперь располагали бы классиком антипорнографии.

Этот «молчаливый» вол, который, кстати, родом вовсе не с Сицилии, а из окрестностей Неаполя, вел весьма бурную жизнь. Как сыну графа и близкому родственнику Фридриха II ему был уготован высокий удел; если уж священнослужитель, то не меньше чем архиепископ, кардинал, а то и вовсе папа; а если уж монах, то непременно настоятель. Он и сам не желал гнущься и не позволял это делать другим, несмотря на целый год заключения в Сан-Джованни. Он состоял в ордене нищих и пожелал в нем остаться, служить Богу и науке, более Богу, чем науке, но Бог без науки? — это на его взгляд было невозможно.

Он был настолько тверд в своей вере, что позволил себе впасть сразу в две ереси: в одну — теологическую, «материализм» Аристотеля, каковой мог быть истолкован как враждебность к церкви, и в ересь светскую — орден нищих, что не только противоречило его происхождению, но и было не по душе всему «общественному устройству». Фома Аквинский, если попытаться перенести его в наши дни, был классическим образцом внепарламентской фракции, человеком, вышедшим из дела, человеком шесть-

десять восьмого года — таким он и остался, невзирая на самую подлую клевету, угрозы, бойкот. Тогдашние теологические факультеты тоже имели свой закон о радикалах.

В противоположность большинству людей шестьдесят восьмого года, тех, кто в наши дни уютно заменяет собственную строптивость былых лет на ветеранский статус, он остался «при своем». Он хотел быть справедливым не только по отношению к Богу, но и к человеку в его телесном воплощении, ко всему существу. «Явно ошибочно мнение тех, кто утверждает, будто для истинной веры не имеет значения, что думает человек о творении, лишь бы его мнение о Боге было истинно. Ибо ошибка в оценке творения приводит в конечном счете к ложному знанию и о Боге».

Такой отвагой мог быть наделен лишь тот, кто был уверен в Боге. Я считаю вполне вероятным, что его собственные братья по ордену, на каковых незадолго до рождения Фомы были возложены инквизиторские функции, не преминули бы пригласить его на заседание своих комиссий, подвергнуть осуждению и передать жестокой «светской руке», доживи он до девяноста лет, но он умер сорока девяти лет, был вскоре причислен к лику святых, а причисленных к лику святых, особенно столь прославивших свое имя, не сжигают после смерти. Уж скорее причислят к лику святых тех, кто некогда был сожжен. И он продолжал существовать, пусть и оспариваемый, но неприкосновенный, как и его огромное наследие, эта трезвая и конкретная, почти безличная попытка охватить не только само небо, но и землю, охватив, привести в порядок, вычислить «Сумму».

Язык его начисто лишен «журналистского начала» в противоположность — как мне кажется — Августину, который при случае «блещет» и «ослепляет». Думаю, не возражается представить себе девяностолетнего Фому Аквинского, который и оставшиеся сорок лет размышлял и вынашивал формулировки и, возможно, руководствуясь своей верой в Бога, рискнул бы еще дальше проникнуть в глубины действительности, могущие устрашить даже и его самого. В том году, когда его канонизировали, то есть в 1323-м, ему бы исполнилось девяносто девять.

Он завершил не только великий объем написанного и надиктованного, объем его путешествий тоже громаден; будучи освобожден сестрой из родовой тюрьмы, он двадцати одного года от роду отправился в Париж, где прожил три года, после чего четыре года провел в Кёльне (господи, я представляю себе, чего он только не нагладелся в этом болоте толстосумов!), потом снова в Париж, где двадцати восьми лет от роду стал профессором, под-

вергавшимся клеветническим нападкам, бойкоту, угрозам, — поистине радикал, пусть даже не в гражданской службе, а на службе творению и тварям его.

Из Парижа еще раз в Италию, а потом снова в Париж. Путешествовать в те времена означало ходить пешком, порой, может быть, ехать на осле или просить, чтоб подвезли; Фома был современен настолько, насколько мог быть современен человек его столетия, но модным он не был никогда. Он был столь уверен в своей духовной родине, столь прочно в ней укоренен, что мог без опаски нисходить в глубины материи. Одержим действительностью.

«Нет ничего неподобающего в мысли, что Господь споспешествовал прелюбодеям в их естественных действиях. Зла не природа прелюбодеев, зла их воля. Но то, что сотворила сила их семени, соответствует не их воле, а их природе. Потому и не будет неподобающей мысль, что Господь споспешествует этим действиям, придавая им окончательное совершенство».

Можно ли угадать здесь хотя бы намек на оправдание того убийственного отношения, которое столетиями терпят не состоящие в браке матери и их внебрачные дети? Впрочем, сказано и следующее: «Зла надо избегать любым образом, а потому никоим образом нельзя творить зло, дабы из этого произросло добро. Добро же не надо творить любым образом, а потому надлежит порой воздерживаться от добра, дабы избежать большого зла».

Нет, все это отнюдь не легко и уж вовсе не просто. А что пишет Фома про деньги: «Пусть даже деньги носят характер лишь полезного, они все равно обнаруживают известное сходство со счастьем, ибо они обладают характером чего-то всеобъемлющего, поскольку им подвластно все». Это мог бы почти слово в слово повторить молодой Маркс.

Был ли Фома своего рода «третьим путем» теологии между «идеалистами», которые пренебрегают материей и для которых Бог не подлежит сомнению? Его знаменитые слова о том, что милость предполагает существование природы, цитируют не полностью, ибо он говорит: «Милость не разрушает природу, она предполагает ее существование и придает ей завершение». Это звучит совсем по-другому и приводит в движение другие мысли, если вспомнить, что он говорит о «природе» прелюбодеев. А всем законоедам — таковые у нас встречаются — он говорил: «Справедливость без милосердия жестока, милосердие без справедливости есть мать распада». Но и «милосердие не отменяет справедливости, более того, оно, так сказать, являет собой полноту справедливости».

Сдается мне также, что и слепая храбрость воителя — и это в его-то век, когда мужчина без меча вообще не считался мужчиной! — не вызывала у него особого восторга. «Храбрость без справедливости есть рычаг зла». И еще: «Не истинно храбры те, кто во имя чести совершает храбрые поступки». Уж не ранний ли пацифист написал эти строки? Он, он сам был храбрым, не отступал, не давал сбить себя с пути, а истинная храбрость для него означала «стоять на своем». Он ничего не принимал на веру из доставшегося по наследству, он подвергал это проверке, полный человечности, но лишенный сентиментальности, и не презирал «улицу», по которой так часто ходил и где было его место, место нищего монаха. Он презирал доказательства веры, считая их оскорблением Бога, и твердо знал: «Чтобы вести человеческую жизнь, необходимо играть».

Жалость и подачки, столь любезные сердцу пуритан, он тоже не принимал на веру, на десятках страниц он подвергает их всестороннему рассмотрению, одни формы жалости и подачек одобряет, другие отвергает и после тезы и антитезы в синтезе не мешкает с ответом, который, например, при рассуждении, может ли блудница подавать милостыню со своего заработка, гласит: «Если некая жена занимается блудом, то действует постыдно и противу Божьего закона, но если она берет за это мзду, она не действует тут ни несправедливо, ни противу закона. И соответственно то, что заработано ею столь незаконным способом, она может оставить себе и может подавать с этих денег милостыню». Зато от жертвоприношений на алтарь он решительно исключает блудниц из-за попрания морали и преклонения перед Всевышним. К ненависти он был не способен, даже по отношению к тем, кто был ему враждебен. То, что мы называем критикой, он называл «братское назидание» и считал таковое вполне уместным даже по отношению к вышестоящим ордена. Каково выражение: братское назидание!

Йозеф Пипер, из избранных трудов которого взята часть цитат, сравнивает его с Бахом в искусстве фуги. Я порой уподоблял его «Линнею в теологии», а также Рудольфу Штайнеру, который также не оставлял без внимания ни одного предмета, на свой лад создавал систему, основал школу и предложил «третий путь», которым теперь, спустя шестьдесят лет, пытается идти все больше людей: в экономике, сельском хозяйстве, медицине, воспитании.

Человека, подобного Фоме Аквинскому, я бы охотно расспросил об атомной бомбе, гонке вооружений, разоружении, довооружении, о христианстве, христианских пар-

тиях, наркотиках, самоубийствах, погоне за успехом, телевидении, семье, контроле над рождаемостью, терроризме, восстаниях, бунтах, революции. Во всяком случае, он вполне одобрял кражу с голода: «В случае крайней нужды все имущество становится общим. И поэтому тот, кто терпит подобную нужду, имеет право взять для поддержания своей жизни часть чужого добра, если ему не случится найти такого, который подаст добровольно. По той же причине дозволено взять часть чужого добра, дабы подать милостыню, разумеется, и это при условии, что иным путем страждущему не помочь. Во всяком случае, если это может произойти без риска, сперва надлежит заручиться согласием владельца, после чего позаботиться о бедняке, который находится в крайней нужде».

А спросил бы я его следующее: существует только кража от голода одним, отдельно взятым человеком, не существует ли подобного у целых народов? И кто осмелился бы попросить об одном-единственном подаянии Сомосу или мультимиллионера? Ответы на мои вопросы, пожалуй, представлены *in pice*¹ в собрании его сочинений, и остается только повести мысль дальше.

Разум, на котором он основывался, который он предполагал, пожалуй, был чересчур разумом средиземной окраски. Детище римского *ratio*². Разумов или разумений насчитывается, думаю, много больше, чем тот единственный, который мы признали своим. И то, что непригодно для нашего умеренного климата, сразу представляется нам неразумным, равно как многим может представиться неразумной у Фомы та дотошность, с какой он исследует адский огонь. Огню пылающему нужна пища. Откуда он берется, какого он рода? Огонь пылающий светит, но в аду ведь царит вечная тьма? Короче, какого рода этот огонь, которому не нужна пища и который не дает света? Вот о чем он размышляет, поворачивая тему и так и эдак, в своем понимании вполне разумно.

Теперь мы годами размышляем над своими душевными скорбями, достаточно часто — это горе луковое, достаточно часто наговоренное; он же знал средство против душевных страданий: не молиться, а омываться и спать, знал он также, что может послужить на пользу тем, кто чересчур всерьез воспринимает свою писанину: «Все, что я написал, есть труха». Надо бы мне как можно больше перечитать этой трухи.

1983

¹ В ядре; по смыслу: коротко и ясно (*лат.*).

² Разум (*лат.*).

НЕМЕЦКОЕ КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

О Вернере Краусе,
«ПИ — Страсти халкионической души»

Во время поворота (всеобщего?) очень велика необходимость услышать напоминание о повороте, который так и не произошел: повороте после 1945-го. Среди книг того периода, избравших своей темой нацистский террор, лагеря, тюрьмы, исправительные колонии, книга Вернера Крауса должна бы занять исключительное место. В ней сопротивление совершается не только в умонастроении, позиции, действии, здесь оно совершается и в языке — достойная восхищения, изящно выстроенная речь, язык, напоминающий не Сервантеса, как то казалось многим из прежних рецензентов, а скорее Пруста; языком Пруста — и браться за кафкианскую тему?

Заголовок «ПИ» (почтовый индекс) неудобен, подзаголовок загадочен: страсти халкионической души. Отдает оккультизмом. Было нелегко докопаться до истины, выяснить, что «халкионическая» представляет собой диссимиляцию халкионического, а словом «халкионический» обозначают двухнедельный штиль, который бог ветра Эол дарует зимородкам, чтобы те могли высидеть птенцов (эта история восходит к мифу об Алкионе и ее супруге, царе Кейке, которые были обращены в зимородков). Тем самым, если *halkyonisch* (халкионический) означает покой, передышку, штиль, гармонию, то *halykonisch* (халкионический) свидетельствует о чем-то противоположном уравновешенности и душевному покою.

Заголовок «ПИ» есть только подступ к более важному подзаголовку, значение которого вообще трудно разгадать. Да, великохалкионийцы, иными словами, мы, немцы, все еще чрезвычайно далеки от чудесного, халкионического настроения, который бывал дарован сидящим на яйцах птицам Эолом, богом ветра.

«ПИ» — это книга сопротивления, антифашистского сопротивления, создававшаяся в нацистских тюрьмах и лагерях, полная не только внутриязыкового напряжения, — диктатура это не только бесчеловечие ревушей уличной толпы и жаждущих крови палачей, диктатура бывает еще и языковая: предписанный язык, предписанный образ мыслей (здесь следовало бы подробнее вспомнить «Совращенное мышление» Милоша) приводит к языковым клише, мыслительным клише, навязанным клише, которые засели глубже, чем мы о том догадываемся. «ПИ» есть сопротивление языка, не только бегство в него, кото-

рое предпринимает человек, исполнившись отвращением ко всему, что совершалось в Великохаликонии.

Язык как оружие, которое поражает, колет, рубит, рассекает, пронзает насквозь, так что простая цитата уже становится сатирой. Важно уметь различать между Краусом и его «героем», который вовсе не герой, который, будь он наделен этим языком и этим сознанием, никогда бы не влип так неуклюже.

Этот Алоис фон Шнипфмайер (звучит почти как Шикельгрубер) — тонко чувствующий, набожный (нося такое имя, он не нуждается в дополнительном обозначении вероисповедания), целомудренный дворянин австрийского происхождения, филателист, коллекционер часов, образованный — становится министром почт в этом халиконическом государстве, которое постепенно разворачивается перед его глазами, напоминая в общем-то еще вполне порядочных консерваторов в первом гитлеровском кабинете, остатки из папеновского «кабинета баронов», вероятно, полагавших, будто они просто наняли несколько подручных, которые покончат с большевизмом, и не подозревавших, что это они оказались подручными, а главные роли уже давно заняты кровожадным сбродом, теми, для кого тонко чувствующие аристократы и благочестивые холостяки служили отменной декорацией. Следовало бы подвергнуть более внимательному анализу первый кабинет Гитлера, чтобы угадать, какие прообразы использованы Краусом для стилистического сотворения этого приятного, утонченного Алоиса фон Шнипфмайера.

Напряжение задано, когда видишь, как этот человек попадает в алчущую крови ауру и на арену, где Муфтий-Гитлер, Олеандр-Геринг и Кобен-Гebbельс начинают показывать великохаликонийцам, что такое власть в форме абсолютной власти. С первой минуты ясно: этому порядочному человеку грозит беда, и хотя известно, какого рода была и есть эта беда, с интересом ждешь, что именно могло статься с этим человеком в этом рейхе. Под конец, когда его после страшного заключения (у Него отняли даже имя, даже личность) «похищают» из тюрьмы, он не знает, кто те люди, которые его похитили: «то ли его освободители, то ли его убийцы».

Мне кажется, что сравнение Шнипфмайер — Дон-Кихот, которое кажется весьма естественным у испаниста и профессора литературы, каким был Краус (родился в 1900, в Штутгарте, умер в 1976 в Восточном Берлине), не совсем точно: Шнипфмайер совершает несколько донкихотств, когда, бу-

дучи министром, изображает письмоносца, очертя голову обручается с заслуженной сотрудницей почтамта Розой Байер, и, однако же, он вовсе не «рыцарь печального образа». У меня впечатление, что Шнипфмайер скорее прототип порядочного прекраснородушного бюргера¹, который не слыхивал о том, что «citoyen» тоже означает бюргер, гражданин, гражданин, который по доброй, добрейшей воле, но в полном неведении попадает в кровавую беду, и — не в таком уж неведении, поскольку врожденная порядочность подсказывает ему, что именно там он может обрести свою родину, — попадает в группу Сопротивления, которая с учетом помешательства на сокращениях, свойственного великохаликоническому периоду, именуется ОПНРЖ (Общество по непрерывной радости жизни), — и где-то среди развалин принимает участие в заговорах, подготавливая переворот.

Шнипфмайер так до конца и не понимает того, что автору Вернеру Краусу было ясно с первой минуты: что кровавый террор, что полный произвол покоятся на тех свойствах халиконической души, которые не Шнипфмайер, а Краус описывает так:

«Верноподданные во все времена усердствовали, стремясь укоренить любой Закон в таких глубинах своего духа, чтобы он при всем своем тягостном неудобстве делался для них неотъемлемой привычкой... этот народ еще и потому можно было принудить к любым жертвам, что его способность к страданию была весьма ограничена, ибо он всякий раз исхитрялся примирить страдание со своим внутренним миром» — и таким образом вечно пребывал в «атмосфере стеснительной покорности». И еще: «Халиконийцы не любят, когда их вынуждают постигать друг друга, — зато радостно сияют, едва они уличают друг друга в ошибках».

Подобным халиконийцам можно также даровать конституцию, первый параграф которой гласит: «Каждый халикониец имеет неотъемлемое право беспошлинного вдыхания кислорода из окружающего воздуха как днем, так и ночью». Если отбросить в сторону юридические украшения, это означает: **ДЫШАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ** — тут можно бы дополнить: **ПОКА?**

Следующий закон: «Пешее передвижение по всем не числящимся среди запретных улицам и дорогам на территории Халиконии не возбраняется!» Вторично отбросив украшения, получим: «**ТО, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, РАЗРЕШЕНО**». Дополнительный вопрос: а что не запрещено?

¹ Гражданин (нем.).

Краус знал то, о чем его «герой» начинает догадываться слишком поздно: он знал, что такое фашизм.

Итак, Шнипфмайер почти вслепую заходит в этот лабиринт, сбивается с пути, теряется, совершает побег, кое-что начинает понимать и сближается с группой Сопротивления, которую следует изучать и идентифицировать по членам Красной капеллы. Сияющий, исполненный энергии офицер Артур, человечная Катя и Гедон: «правильное скуластое лицо, в котором выражение беспомощной жестокости сливалось с погубленной красотой», Гедон, имеющий «тайное предчувствие, что революция может счастливо завершиться лишь в пропасти безграничного обмана».

Сам же Шнипфмайер как человек порядочный, сознавая, что попал к тем, к кому надо, остается для них лишь средством передвижения и, сам того до конца не сознавая, информатором. Виновным же в глазах великохаликонийского рейха он становится благодаря факту, который в общем-то должен бы импонировать всем сторонникам сокращений и нумерации: благодаря ПИ, изобретению почтового индекса; это изобретение играет в его судьбе роковую роль, ибо вызывает смех и — что больше всего не по нраву тиранам — ставит их в комическое положение. К тому же ПИ становится главным оружием «почтовых хулиганов», которые вызывают в рейхе весьма значительную смуту, которые выводят из равновесия внутреннюю безопасность Халиконии и ее подданных.

Один из блистательнейших эпизодов в «ПИ», можно сказать, вставной детектив, — повесть о том, как Краус изобретает письмо некоего Карла Майера из Нойдорфа (а таковых в Халиконии тридцать пять!), письмо, полное неприкрытой насмешки над «law» и «order»¹, военной моралью, экономическими предписаниями, сольный номер анархиста, которого злосчастный комиссар Круммахер пытается разыскать, но терпит полный крах из-за издевок и поголовного саботажа со стороны населения и в результате гибнет, потому что строптивые, хорошо запасшиеся провиантом чиновники (почтовые?) выбрасывают его на ходу из поезда.

В этих пассажах, среди крестьян, в трактирах, при виде поездов, которые хоть и числятся в расписании, но не ходят, Круммахер гибнет из-за скудости воображения и из-за неподражаемой нелепости своих вопросов. В этих сце-

¹ Закон, приказ (англ.).

нах халиконийцы становятся почти халиконичными; с непередаваемым душевным спокойствием они изгоняют этого сыщика.

Это не простая книга, она не для любителей «Бильда», которые черпают мудрость и информацию из того неподражаемого листка, где даже «правдивые сообщения» увязают в болоте языковой лживости. Не годится она и для избалованных телевидением, для тех, кому надо все быстренько показать в картинках. Это интеллектуальная книга, написанная остро мыслящим интеллектуалом, — и, однако же, увлекательная для тех, кто еще способен наслаждаться перлами языка.

Встречаются сцены, где перехватывает дыхание, где умолкает сатира: например, тот миг, когда Шнипфмайер узнает о предательстве своего друга, барона Гайсхабера; когда дают определение взгляду и очкам министра полиции Гимmlера: «Никто до сих пор не вправе утверждать, что тот на него смотрит, зато каждый чувствует, что за ним следят». Это говорится о том самом министре, который несколькими сценами позже выглядит вполне любезно и прилично — как приличны Эйхман и Барбье! — о том самом министре, который отвергает дискуссии, ибо «дискуссии во все времена обозначали начало конца для любого органически упорядоченного общества». Так, среди развалин есть убогое жилье под названием «Вилла Ванфрид». И на этой вилле «даром отдают кирпичную пыль», а предатель-барон «прячет свой взгляд в собственной душевности». Город творит новую форму вежливости: «Однажды утром целые ряды домов приветствовали своих жителей, сняв шляпу» или: «Масляная коптилка мерцала перед разверстой, многометровой бомбовой воронкой, которая словно бы прислушивалась, как ушная раковина». Тогда же издается указ говорить не о «людях при оружии», а о «людях при мундирах». Ибо «тип человека уже определен, коль скоро он носит мундир». Языковые ПЕРЛЫ подобной меткости — почти на каждой странице.

Крауса надо однозначно различать от Шнипфмайера, который, руководствуясь своим компасом приличий, порой беспомощно топчется на месте. «Шнипфмайер обладал репертуаром характерных жестов ушедшего поколения, милые сердцу черты минувшего времени, которые были им сохранены»; когда государство «никоим образом не ставит себе целью взывать к состраданию... один только ужас мог окончательно застрашать» — это не время Шнипфмайера. И тогда «группы повешенных и умерших почтовых вредителей, декорированные цветами Великохаликонии и ее знаками отличия, раскачиваются, будто

флажки на спешно воздвигнутых там и сям триумфальных арках» в «непревзойденном богатстве фигур кукольного театра, где почтительные стайки детей при помощи вооруженных палками учителей на примере этих трупов как наглядных пособий изучают азы анатомии». Автор подробно рисует помпезное ничтожество приемов, которые сегодня принято называть party, дает тонкий анализ милитаризма, который мог бы оказаться пародией на Юнгера.

Нет, совсем не легкое чтение, и, однако, чтение не только для интеллектуалов: тот, кто способен отличить Пруста от той жвачки, которую дает «Бильд», мог бы вновь открыть для себя язык как средство Сопротивления.

Эта книга поистине имела свою судьбу: она была одной из немногих, которые лежали в «ящике»: написанная в лагерях и тюрьмах, она появилась в 1946 году тиражом в 5000 экземпляров, из которых отдельные до сих пор имеются в наличии. Спустя тридцать семь лет она переиздана, не слишком поздно для этого поворотного периода, который должен обострить тягу к языковому сопротивлению — в обществе, где слово «антифашист» почти превратилось в ругательство, потому что эти антифашисты, они ведь были коммунистами. Таков был и Вернер Краус, антифашист и коммунист — здесь у нас это предпочитают называть на вполне бюргерский лад: борец против нацизма — а ля Фильбингер. Тут великохаликонийцы разделились — или позволили себя разделить. И в гладкой речи Вольфганга Мишника вдруг мелькает словцо, которое в свое время могло стоять жизни: «нытик». «Нытики» были те, кто подгорелое какао называл подгорелым, кто уже в 1942 году считал войну проигранной. Или есть у нас, к примеру, глава пресс-центра, член правительства, который, на мой взгляд, был принят с чересчур широкими ухмылками, изготовитель «Бильда», делающий картинки для правительства. «Бильд» изготавливает инструкции о том, как надо говорить и думать, осуществляет на практике «сращенное мышление», целые континенты проблем, расплюснутые до уровня бильдовских заголовков. И не будем обольщаться мыслью, что и мы не подвержены воздействию этих инструкций для языка и мысли и что мы не подчиняемся им, пусть даже не без тихого сопротивления.

Конец «ПИ» совершенно неожиданный, он тих, лишен сатиры, без полетов фантазии, болезненна для восприятия почти халиконическая конфронтация арестанта со временем, с вечностью минут и секунд, со скукой — и встречаются фразы, которые именно тихие и религиозные, где арестант хочет отказаться от приема пищи и размышляет

о том, что, отказываясь принять хлеб, он тем отрекается от Христа,— поистине удивительные мысли для коммуниста, ибо в этих последних строках Краус, без сомнения, говорит о себе и своих страданиях, которые он испытывает при наличии таких «порядочных ребят», как его мучители.

«Порядочность», «порядочные» — это тоже ключевые понятия в данной книге, они сигнализируют: ужас, но, «как видно, человек по большей части оказывается сильнее тех, кто нападает на его существование как человека», и еще где-то у Крауса встречается «оберегаемый Аид фельетона» Великохаликонийской всеобщей газеты, тот самый оберегаемый подземный мир, в котором обитаем и мы с вами. Следует поблагодарить издательство Клостермана, которое в эти дни, когда многие издательства охвачены паникой, переиздает *эту* книгу, не утратившую своей актуальности. Удастся ли нам, великохаликонийцам, когда-нибудь достичь состояния халкионического покоя? Что-то непохоже.

1983

О ВЛАДИМИРЕ БУКОВСКОМ

«Эта острая боль свободы»

Было бы очень жаль, если бы и эта книга вызвала у тех, кто называет себя правыми или всего лишь консерваторами, безудержный восторг, а у тех, кто называет себя левыми или всего лишь прогрессистами, неодолимое отвращение. И те и другие могли бы извлечь из этой книги немало полезного. Лишь пролистав 99 страниц, я нахожу слова, кое-что объясняющие, звучащие по меньшей мере как сомнение автора в собственной правоте: «Пожалуй, нет ничего более бесперспективного, чем попытка сравнить жизнь двух противоположных систем — тоталитарной и демократической. Как ни бейся над этой проблемой, она не становится понятнее. Выводы, к которым приходишь, одновременно и верны и неверны. Мне не удалось даже подыскать подходящую к этому случаю метафору». Не следует забывать — Буковский является жертвой постсталинского террора. Двенадцать лет, проведенные им в тюрьмах и лагерях, сделали из него эксперта в этой области, сведения которого почти неопровержимы. Он опубликовал интереснейшие подробности о лагерной жизни, а также результаты анализа условий в местах лишения свободы, проделал это остроумно, с большим сарказмом; не-

забываемы его публикации о всевозможных пытках, которым подвергаются пациенты психиатрических клиник; тем, кто вздумает усомниться в их истинности, следовало бы вспомнить о предыдущих волнах эмиграции также из других стран, например, из Аргентины, а также о нынешних, о пытках в Турции, в Чили. Беглецам, эмигрантам и изгнанникам с трудом удастся уверить людей в справедливости их сообщений, к тому же их рассказы получают подтверждение порой с опозданием, а зачастую просто *слишком* поздно. Горькие сообщения и результаты исследований Буковского не должны были бы отвергаться, игнорироваться и теми, кто называет себя — может быть, вполне искренне — «друзьями Советского Союза», кто становится жертвой обмана во время поездок в СССР в составе делегаций или попадает на удочку лести и возвращается домой ослепленный. Буковский прав, оценивая такого рода явления саркастически, и все же ему следовало бы знать, что ни один политический беженец не был выдан Советскому Союзу после 1946 года, тогда как Турции их выдают и по сей день. Буковский переоценивает число подобных «друзей Советского Союза», равно как и их влияние. Разумеется, не приходится отрицать, что Советскому Союзу до определенного момента и в определенной степени удавалось подкупать какую-то часть интеллектуальной элиты Запада, но повинны в этом в определенной мере именно литераторы вроде Буковского, которому хватает такта, чувств и аналитических способностей, даже если он и не в силах подыскать метафоры для сравнения — а кому бы это удалось, — чтобы не оценивать все проблемы и конфликты некоммунистического мира лишь путем противопоставления их советской действительности. Взять, к примеру, бунтующих, непокорных студентов — конечно, в Советском Союзе их бы всех пересажали и, скорее всего, подвергли всяческим преследованиям — но здесь этого не произойдет, если они, разумеется, не живут в Мексике, Чили, Гватемале, не говоря уже о Гаити. Свобода *есть* свобода, и острую боль свободы, о которой Буковский на некоторых страницах своей книги говорит с огромной убедительностью, эту острую боль свободы приходится ощущать в государствах с парламентским строем как раз тем, кто находится у власти. Свобода причиняет боль тому, кто ею обладает, а свобода, которой пользуются, например, участвующие в демонстрациях студенты, причиняет боль тем, против кого она направлена, — парламентариям, зачастую дремлющим на заседаниях и пресыщенным, а также их правительствам.

«Кое у кого из читателей может возникнуть впечатление, что я всерьез отношусь ко всем этим «измам», что я защищаю капитализм и считаю его панацеей от всех зол. Это, разумеется, не так. Я лишь вижу, что среди тех, с кем я общаюсь, социализм пользуется большой симпатией, воспринимается как нечто хорошее. В сущности, никто точно не знает, что такое социализм. Существует ровно столько же социализмов, сколько и социалистов, и меня возмущает, что столько людей в мире верят, будто можно решить все проблемы в результате простого преобразования общественных структур». С этим заявлением можно согласиться, особенно если внимательно прочитать еще одну выдержку из книги: «Может, мы, жившие при социализме, все — обжегшиеся на молоке, все — пуганые вороны. Может быть, настоящий социализм — это нечто совсем иное, может быть, он стремится к иным результатам. Но мы констатируем гибельную схожесть человеческих характеров, ошибок и экспериментов, и наша озабоченность все растет и растет». И с этим можно было бы с некоторыми оговорками согласиться — во всяком случае, в Советском Союзе так и не создали нового человека, человек остался все тем же, старым — он подвержен коррупции, дает взятки, — но хотелось бы спросить, чего же следует ожидать от *старого* капиталистического человека, который никогда не находился во власти социалистической мечты, утопии или хотя бы иллюзии, ждать от жертв этого общества — да и на что им надеяться, что им можно предложить? Модель общества, созданную на Филиппинах, в Парагвае — а может, на Гаити? Чего хотел добиться Агостиньо Нето в Анголе, Фидель Кастро — на Кубе? Ни тот, ни другой не стремились создать советскую модель общества — да, они мечтали о некоем демократическом социализме — но именно он, именно такой социализм и *не имеет права* на существование, именно его и не может быть на земле, и потому они, не желавшие голого *неприкрытого* капитализма, были загнаны в советский лагерь — и *именно* капиталистами, антикоммунизм которых — не мировоззрение, а заразная болезнь. Очень жаль, что столь многие советские эмигранты и изгнанники столь мало видят проблем и конфликтов за пределами стран Восточного блока. Мое уважение к Буковскому, к его судьбе и его прежним публикациям, к его саркастическому складу ума слишком велико, чтобы я мог не критически и беспристрастно воспринимать все, что бы он ни сказал в политическом споре, критикуя Запад. Да найдется ли у нас вообще человек, который хотел бы построить социализм советского образца, — сомневаюсь, чтобы и те несколько сотен

членов коммунистических партий на Западе, что ознакомились с эмигрантской литературой — внутренне, может быть, покраснев или даже содрогнувшись, — стремились бы к установлению в своих странах строя, аналогичного советскому. Им пошло бы на пользу чтение книг Солженицына, Евгении Гинзбург, а также Буковского и многих других — но там, где Запад подвергается анализу и ему дают всяческие советы, эти книги становятся очень неприятными, надменными и высокомерно-снисходительными. Слишком бойкая критика, которой авторы подвергают Запад, вызывает у читателей недоверие к тому, что они рассказывают о Советском Союзе, а вовсе не то, что эти авторы хотят сообщить о нем. А это уже трагично. Подлинной опасности, исходящей от советской пропаганды, от ее империалистических намерений, угрожает опасность остаться незамеченной, если проблемы Запада будут довольно циничным образом изображаться как пустяковые, не стоящие серьезного внимания. В том, что эмигранты и изгнанники из стран с основанным на терроре политическим устройством встречаются друг с другом только в споре, только в конфронтации, есть что-то трагическое, даже роковое, — взять, к примеру, беседу между турком, профсоюзным деятелем, быть может, даже коммунистом, и человеком, обжегшимся на реальном социализме, как справедливо называет себя Буковский. Почему они не могут обойтись без взаимных оскорблений и обвинений? Действительно ли одному из собеседников, тому, кто лишь с превеликим трудом вырвался из рук палачей реакционной военной диктатуры, кто стремился изменить политическую систему в Турции, угрожает система, подобная существующей в Советском Союзе? Вопрос, однако, заключается в том, чего *требует* от человека такая система, какой выбор оставлен ему, а такой выбор возможен лишь в том случае, если один из спорящих попытается *поставить* себя на место другого и не обвинять его лично в преследованиях и пропаганде. Что стоило Буковскому, наделенному столь богатой фантазией, вообразить себе, что в 1942 году он родился не в Москве, а в Манагуа, что всю свою жизнь он прожил под властью Сомосы, среди лишенных привилегий слоев общества, при кровавой диктатуре, против которой восстают даже консерваторы? Разве говорил бы он тогда столь же высокомерно-снисходительно о «тривиальной диктатуре в маленькой, никому не угрожающей стране»? Разве пятьдесят тысяч жертв — это тривиально и тривиально ли то, что диктатура *продает* на международном рынке пожертвования, полученные страной после катастрофического землетрясения? Можно

ли назвать тривиальным то, что ежедневно в мире умирает от голода сорок тысяч детей, да хотя бы всего *один* ребенок — виноват ли в этом надвигающийся, скрытый или господствующий социализм? Так русский гигантизм с помощью извращающей понятия диалектики придает относительный характер страданиям, нищете, горю, смерти и жизни в некоммунистическом мире.

Буковский делится весьма глубокомысленными наблюдениями — он пишет о той самой «острой боли свободы», которую должен испытывать каждый, прибывающий на Запад из Советского Союза, в особенности после двенадцати лет заключения, о потребительском рынке, о рекламе, о «паблисити»; но вправе ли он говорить о «непрерывном празднике или ярмарке» и утверждать: «*Беззаботность* — вот, пожалуй, самое верное определение царящей здесь атмосферы»? Такое, пожалуй, можно сказать лишь о двух-трех улицах в районе Цюрихского вокзала, где фланирующие гуляки заняты не покупкой необходимого продовольствия и одежды, а «шоппингом» — куплей как таковой — от скуки, пресыщения, не зная, что делать со своими деньгами, а не потому, что они ощущают острую боль свободы в своей груди. В связи с попыткой анализа условий жизни на Западе слово «беззаботность» становится тем, чего Буковский не нашел, — метафорой, заставляющей призадуматься тех, кто с восторгом воспринял книгу Буковского как триумф антикоммунизма. Буковский совершает ту же ошибку, что и иной приехавший в Советский Союз, которого из специально подобранного роскошного отеля ведут показывать специально подобранные достопримечательности или на дискуссию со специально подобранными чиновниками. Является ли беззаботность — что особенно подчеркивает Буковский — признаком западного мира? Признаком, характеризующим Францию, Перу, Филиппины, США, Федеративную Республику? И был ли страх перед социализмом единственной заботой Запада, буде таковую можно было обнаружить? Или там бытует страх за собственную систему, обнаруживающую свою непрочность, за систему, которой грозит опасность зайти в тупик — колоннами бесчисленных нулей многомиллиардных сумм, называемых долгами? И когда Буковский, глядя на изобилие игрушек и широчайшие возможности для детских игр и развлечений, существующих на Западе, горько констатирует: «По сравнению со здешними детьми и подростками у нас никогда не было детства», — эта горечь звучит убедительно, в нее веришь, но не вызвана ли она лишь нехваткой электронных и прочих технически оснащенных игрушек, и

знает ли он о миллионах детей, уже на первом году своей жизни превращающихся в стариков и умирающих стариками, так и не изведав детства?

А какое детство у детей в трущобах городов-гигантов Северной и Южной Америки? И неужели их лишает детства именно тот самый грозящий своим приходом коммунизм? Сокрушенно покачивая головой, Буковский отмечает, в какое жалкое состояние привели свои жилища обитатели трущоб больших американских городов, — ничего не скажешь, в некоторых городах — например, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне — дело обстоит именно так, хотя тут следовало бы еще поговорить о владении собственностью, — но настоящие, действительно гигантские трущобы — в Лиме, в Мехико, в Каракасе, почти во всех южноамериканских больших городах, где хижины возводят из картона и жестянок; так кто в этом виноват: жители трущоб или грозящий своим приходом коммунизм? Я повторяю: мое уважение к Буковскому слишком велико, чтобы я мог согласиться со столь поверхностными, столь чудовищными утверждениями. Совершенно ошибочны, легкомысленны находящиеся на грани циничной клеветы и такого рода утверждения: «Больной обвиняет в своей болезни здоровых; бедняк, естественно, ищет виновных в своей бедности среди богатых. Речь идет о чисто детском, инфантильном эгоцентризме и столь же инфантильном нежелании ограничивать себя хоть в чем-нибудь». Знает ли он о тех самоограничениях, с которыми вынуждены мириться две трети человечества? То же происходит, когда Буковский полагает возможным утверждать, будто мы здесь, на Западе, забыли милосердие, долг, повелевающий заботиться о страждущих, — как же им помочь, ведь охваченные «инфантильным нежеланием» бедняки не хотят ни в чем ограничивать себя! — когда он таким образом считает себя вправе утверждать, что милосердие здесь передоверено исключительно государству, и пишет: «Это не мое дело, в конце концов, я плачу налоги. Моральная обязанность помощи бедным превратилась в юридическую обязательность». Так что следует ли помогать бедным, этим инфантильным эгоцентрикам? Неплохо было бы Буковскому самому посмотреть или послушать, как происходит сбор пожертвований — а такие кампании устраиваются по несколько раз в неделю, — без всякой юридической обязанности. Обвинения, выдвигаемые им, не только легкомысленны и поверхностны, более того, они граничат с цинизмом. Жаль, что такой интеллигентный человек, проживший такую трудную жизнь, способен на подобные «перекосы»; он должен был бы понимать,

что острую боль свободы, которую он так проникновенно и убедительно живописует, испытывают и те, кто всю жизнь жил в атмосфере этой свободы.

Совершенно объяснимо и понятно, что те, кто жил в условиях реального социализма, не переносят самого слова «социализм», но разве так уж трудно понять, что те, для которых реальное христианство на протяжении столетий означало капитализм и эксплуатацию, с трудом переносят само слово «христианство», что такие христиане, пожалуй, лишь сейчас, когда некоторые деятели церкви начинают заботиться не только о защите власть имущих, получили свой шанс, обрели жизненные перспективы — кстати, именно благодаря тем епископам, монахиням и священникам, которые постоянно подозреваются в симпатиях к коммунизму? У Чеслава Милоша, который, конечно, освобожден от таких подозрений, в книге «Западно-восточная местность», там, где речь идет о Литве, я недавно прочел: «Эпопея распространения христианства в значительной степени явилась эпопеей убийств, насилия и бандитизма, черный крест надолго остался символом несчастья, худшего, чем чума».

Буковский справедливо сетует на то, что и предостережения, и произведения эмигрировавших советских писателей не везде встречают полное понимание; а не вызвано ли падение доверия к их сообщениям о состоянии советского общества теми легковесными суждениями, которые они выносят о нашем мире? Это уже не наивность, это просто слепота, если вообще не цинизм, когда Буковский называет усилия американцев по созданию системы обороны «робкими»; когда он утверждает, что политика США не носит агрессивного характера, когда он упрекает американских политиков в нерешительности и прагматизме, а развивающимся странам более или менее откровенно рекомендует придерживаться стабильных диктаторских режимов правой ориентации. «Люди, выросшие под властью «стабильного диктатора», всего этого не понимают и в своем революционном порыве вообще не способны это понять... Для них по одну сторону находятся «плохие» американцы, по другую — «хорошие» советские коммунисты». Так упрощенно не рассматривают эту проблему ни революционеры, ни жители стран, в которых установлены «стабильные диктатуры», — даже филиппинские коммунисты не хотят создать систему по образу и подобию Советского Союза — они хотят создать другую систему, отличную от той, во главе которой стоит «железная бабочка». И советы, предостережения и проповеди советских литераторов, рекомендующих им согласиться с дик-

татурой «железной бабочки» на том основании, что она якобы предпочтительнее советской модели, не принесут им никакой пользы. «Стабильные диктатуры» стабилизируются с помощью непрерывных усилий США — и эта помощь предстает перед народами этих стран исключительно в виде агрессии. При этом их мало утешает отпугивающий образ советской диктатуры. Буковский обесценивает свой анализ советской системы, предлагая в качестве альтернативы ей стабильные военные диктатуры. Голодная смерть, нищета, пытки представляют собой более прямую угрозу населению, чем отдаленное подобие сталинского режима.

Все же Буковский описывает некоторые случаи, когда в советской системе сохраняется человечность: в обращении с престарелыми, например; он также сообщает удивительные вещи о дискуссии во Владимирской тюрьме, где лишь один из участников спора высказался за смертную казнь партийным руководителям.

Остроумно, глубоко и метко анализирует он одну из особенностей нашего западного мира, которая совершенно непостижима для советского литератора и приводит его в полное замешательство,— да так оно и должно быть,— даже самым способным, самым проникательным, самым одаренным аналитикам из их числа с трудом удастся понять, что издательства в нашей общественной системе по необходимости таковы, какими они не являются в Советском Союзе: это коммерческие предприятия, поставившие себе задачей осуществление идеалистических целей в труднообъяснимой форме — в виде публикации книг. Дело в том, что книги нужно, просто необходимо поставлять на рынок — и продавать там; это уму непостижимое явление, непостижимое не только для литераторов из социалистических стран, где тираж издания, в большинстве случаев зависящий от распределения бумаги, определяется не коммерческими, а политическими соображениями; где санкционируется издание мемуаров Брежнева гигантскими тиражами, чтобы потом они пылились на полках,— где любая книга, обещающая хоть что-нибудь, выходящее за рамки приевшейся партийной «жвачки», моментально расхватывается и жадно «проглатывается» читателями,— где нет свободного рынка.

Видя перед собой почти необозримую массу публикаций, но не имея ни малейшего представления о том, во что обходится публикация одной книги, Буковский обижен и удивлен, узнав, что издательство рискнуло издать лишь 7,5 тысяч экземпляров его книги, и не подозревает, что некоторые издатели были бы рады возможности продать хотя бы 3 ты-

сячи экземпляров книги, которую не только они, но и критика считает хорошей. Это все не укладывается в голове, все это почти непостижимо — даже для тех, кто живет в этой системе, — но и это одно из проявлений той *свободы*, которая порой ощущается как острая боль.

Кто хоть раз изведаль, сколько трудов, сколько — часто многолетних — усилий великого множества общественных организаций и частных лиц требуется затратить, сколько необходимо послать писем и телеграмм, так и оставшихся без ответа, чтобы устроить выезд из Советского Союза всего лишь *одного* человека, тогда как погрязшие в рутине, облеченные властью чиновники, мающиеся от скуки на государственной службе, бодро разъезжают из страны в страну с тугими от командировочных сумм карманами, — тот не строит себе никаких иллюзий относительно советской системы, держащей гражданские права человека на нищенском пайке, дабы при случае, торгуясь за ничтожную крупицу их, заломить цену подороже. Что производит благоприятное впечатление в книге Буковского, так это отсутствие в ней патетически-религиозного тона. Лишь однажды он упоминает о христианстве — когда речь заходит о том, как христиане хотели добровольно раздать свое имущество. В Деяниях апостолов рассказывается об Анании и Сапфире, которые утаили от общины часть денег и были за это наказаны внезапной смертью. То, что большинство эмигрировавших советских литераторов остановились в своем отношении к ненавистной для них системе на уровне простых рефлексов, — не только достойно сожаления, это настоящая трагедия — впрочем, они имели бы право на такую позицию, если бы не допускали легкомысленных высказываний в отношении проблем, стоящих перед Западом.

Хотя Буковский и заявил со всей убежденностью о невозможности подыскать надлежащую метафору, он все же нашел несколько метафор: одна из них означает беззаботность, другая — вредоносность государства всеобщего благосостояния, за которое в ответе должны быть эти проклятые западные социалисты. Почти бестрепетно он — едва избегнувший ужасов тоталитарной системы — рекомендует установление «стабильных диктатур», то есть систем, о тоталитарных ужасах которых ежедневно слышишь на каждом шагу. Людям, которым приходится жить на Гаити, видно, не скоро представится возможность ощутить «острую боль свободы», пока США и впредь будут содействовать стабилизации положения знаменитого Бэби Дока, откровенного борца против коммунизма. Печально, что интеллигентные, обладающие умом и чувст-

вами, способные понимать и анализировать литераторы, перенесшие столько страданий, могут проявлять такую слепоту по отношению к страданиям, смерти и голоду, существующим в некомунистических странах. «В сущности, никто не знает, что такое социализм. Существует столько же социализмов, сколько и социалистов», — пишет Буковский. В этом он, пожалуй, прав. Но нельзя не согласиться и с продолжением этой фразы: «Может быть, настоящий социализм — совсем другой и стремится к другим результатам».

1983

СПОСОБНОСТЬ СКОРБЕТЬ

О романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»

Легким чтением его не назовешь, и все же — как ни странно это, вероятно, звучит из-за самой темы — он читается с неослабевающим интересом, потому что вызывает сочувствие, а также жалость и скорбь; но это не тот интерес, с которым читаешь какой-нибудь детектив, когда любопытно узнать: кто убийца, почему убил, поймают ли его? Здесь никого не ловят, здесь хватают самую суть, вторгаются в самую историю, — и в какой момент! На самом крутом ее переломе: под Сталинградом.

Это не военно-исторический роман, он не сообщает ничего нового дотошным живописцам батальных сцен. Широкая панорама участников битвы лишь *попутно* включает и описание военных действий.

Все они целыми группами втягиваются в «битву»: ученые, советские командиры, работники и защитники одной из сталинградских электростанций, солдаты, засевшие в окруженном доме «шесть дробь один», политруки, немецкие офицеры, заключенные немецких концлагерей и одного из советских, арестанты Лубянки, этого преддверия разных кругов ада, рядовые немецкой и советской армий и те, кого Гроссман называет «вождями» — Иосиф Виссарионович Сталин и Адольф Гитлер, а также Эйхман и «много других штатских и военных», большей частью связанных родственными отношениями и узами брака, обрученных с кем-то либо лишь влюбленных в кого-то из большой семьи Шапошниковых, имеющей «примесь еврейской крови».

Когда панорама развернута, у читателя возникает полный сочувственного интереса вопрос: что станет с ней, с ним, как она или он перенесут все это и где окажутся?

В заключении, на свободе, в немецком концлагере или в советском? Или же погибнут насильственной смертью, виды которой столь многочисленны в наш благословенный век? Будут ли они повешены, расстреляны, замучены или убиты в газовой камере и сожжены?

Некоторые из действующих в романе лиц остаются в живых, таких даже больше, чем ожидаешь, но это не должно создавать иллюзию хэппи-энда. По своему жизненному материалу этот роман не легок и тем не менее читается с напряженным и захватывающим интересом. Автор неизменно оказывается там, где его истинное место,— с теми, кто страдает, даже если страдающие — немецкие солдаты.

Этот роман — грандиозный труд, который едва ли назовешь просто книгой, в сущности, это несколько романов в романе, произведение, у которого есть своя собственная история — одна в прошлом, другая в будущем. Сколько эссе и монографий, а также споров и возражений оно вызовет, впервые появившись в полном объеме теперь, через двадцать лет после того, как Гроссман поставил последнюю точку? Описаний боев здесь немного, крупных сражений и того меньше, и они настолько ясны и лаконичны, что и передвижения войск, и занятие ими исходных позиций, которые у великого Толстого описываются излишне педантично, с почти кинематографической точностью, а в словесном изложении, так сказать, «провисают», здесь становятся зримыми.

Например, эпизод, когда храбрый и обаятельный молодой полковник танковых войск Новиков задумывает и осуществляет свой план операции: он отдает приказ танкам двинуться в наступление лишь спустя восемь минут после точно предписанного срока, чтобы артиллерия и бомбардировщики проделали ту «работу», от которой он хочет избавиться — и избавляет — своих танкистов, благодаря чему и одерживает победу в первой, решающей фазе битвы. При этом у читателя возникает столь же осторожный, сколь и волнующий вопрос: повлияли ли эти восемь минут (за нарушение приказа на Новикова подается рапорт командованию!) на ход мировой истории? Что произошло, что могло бы произойти, если бы в течение этих восьми минут, длившихся вечность, он не сохранил выдержки и уступил натиску и угрозам своих начальников и замполитов? «Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть,— право задуматься, посылая на смерть. Новиков исполнил эту ответственность».

Решается ли исход битв, даже таких исторических, как битва за Сталинград, тем, что кто-то добавит к точно рассчитанному и поддающемуся расчету времени никем не

рассчитанные и не поддающиеся расчету восемь минут? Чествуемый и восхваляемый всеми (несмотря на подготовленный рапорт), Новиков отрицает, что заранее все предвидел. Наоборот: он считает, что основательно ошибся в своих командирах. Что это было? Интуиция? Бесшабашная отвага? Не выиграл ли Новиков эту битву под Сталинградом для Сталина — не получилось ли то, что немцы неловко называют «проигранной победой»? Новиков — персонаж вымышленный и возвышенный, и все же он достовернее, чем исторически достоверное лицо — тот офицер, роль которого он играет. Именно так и происходят решающие повороты истории. Так что же, что именно решалось в Сталинграде?

«В эти минуты решалась судьба основанного Лениным государства. ...Решалась судьба оккупированных Гитлером Франции, Бельгии, Италии, скандинавских и балканских государств, произносился смертный приговор Освенциму, Бухенвальду и Моабитскому застенку, готовились распахнуться ворота девятисот созданных нацистами концентрационных и трудовых лагерей». Но решалась и судьба немецких военнопленных, калмыков, крымских татар, балкар и чеченцев, врачей, писателей, актеров — решалась и судьба спасенных советской армией евреев, над которыми к десятой годовщине победы народа под Сталинградом Сталин занес меч уничтожения, вырванный из рук Гитлера. «Сталин знал лучше всех в мире: победителей не судят. Это был час его победы» — также и над его кровавым прошлым, и над его кровавым будущим.

Через сто часов после восьмиминутного промедления с началом танковой атаки немецкая армия под Сталинградом была окружена, подавлена, разбита — и вынуждена была еще почти три месяца выдерживать ад, прежде чем Паулюс капитулировал. Нелишне еще раз напомнить страшные цифры этой «проигранной победы»: 284 000 были окружены, 146 000 погибли, 14 000 пропали без вести, 90 000 попали в плен, большинство из них умерли от истощения и только 6000 вернулись после 1945 года домой. «Гитлер вписал новую страницу в военную историю немцев... рукой всех тех, кто не хотел выполнить его волю, но исполнил ее до конца».

Напрашивается целый ряд вопросов: каков был бы ход мировой истории, если бы Гитлер победил под Сталинградом? Было бы возможно вторжение союзников в Германию полтора года спустя? Решились бы на него? Гроссман не только повествует о событиях, его роман изобилует философскими рассуждениями, наблюдениями. Сочувствие к врагу? Да.

Подполковник Даренский — один из тех, кто перенес чистки 1937 года и подвергался преследованиям, — говорит полковнику, измывающемуся над военнопленным: «Русские люди лежачих не бьют».

Гроссман о военнопленных: «Как чудно, братски похожа эта толпа рожденных мамами некрасивых людей на те печальные и горестные толпы несчастных, рожденных русскими матерями, которых немцы гнали хворостинами и палками в лагерь, на запад, осенью 1941 года».

О высших немецких офицерах: «Они очеловечились, но как-то по-плохому». Один беспокоится о своем несессере, а сам генерал-фельдмаршал — о ежедневном супе, теплой постели и табаке. «Скажите, пожалуйста, что такое махорка?» — спрашивает он, в то время как его солдаты, обреченные на гибель, слабеют от голода и не грустят о «проигранных победах», а терпят полный разгром. И «кто из этих гибнущих и обреченных на гибель мог понять, что это были первые часы очеловечения жизни многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности». Пожалуй, большинство немцев и по сей день не поняли, что их никто не приглашал в Сталинград, что они, будучи победителями, были бесчеловечны, а побежденные — стали человеческими, что не бывает проигранных побед, а бывают лишь выигранные — другими — сражения, что для них советские военнопленные не были «товарищами», из 5 700 000 в немецких лагерях погибло 3 300 000, то есть почти 60%, в то время как смертность немецких военнопленных в советских лагерях составляла 35,2—37,5%. По-видимому, те, кто проиграл победу, были менее человечны, чем те, кто победил в этой войне. Зловещие цифры говорят сами за себя.

(Этих данных нет у Гроссмана, да он и не мог их знать: в Советском Союзе не публикуются такие статистические данные, тем более о советских военнопленных; эти цифры содержатся в книге Штрайта «Не товарищи», Штуттгарт, 1978, 2-е изд.)

Когда я слышу злосчастную болтовню о проигранных победах, я сразу же вспоминаю «Проигранное поражение» Вальтера Варнаха, которое по мыслям ближе к философии Гроссмана.

«Жизнь и судьба» — произведение не историографическое, его тема — не немецкие солдаты: просто без них немцы немыслимы Сталинград; у Гроссмана они скорее вызывают скорбь, чем упоение победой. В романе много вымышленного: автор сталкивает людей и судьбы, которые в реальной жизни не сталкивались друг с другом, но которых ему необходимо было столкнуть, свести, чтобы выявить

смысл и сущность конфликтов, чего чисто научное историографическое исследование сделать не может.

К примеру, встреча и долгий разговор высокопоставленного ээсовца Лисса со старым большевиком Мостовским, в ходе которого Лисс обосновывает тезис о вероятном сближении и слиянии обеих систем; и когда старый большевик Мостовской потом задает самому себе вопрос: «Где, где найдут эти люди идиотов, которые поверят, что есть хоть тень сходства между социалистическим государством и фашистской империей?» — ему можно было бы ответить: сходство не в идеологии, а в голой, лишенной идеологического камуфляжа власти и подозрительности, которая деформирует человека, превращая его в безропотного, трусливого, запуганного раба; сходство в коррумпированности научной касты и привилегированной номенклатуры, отворачивающихся от подозрительных людей с подмоченной репутацией, от коллег еврейской национальности, как это бывало и в германских университетах, причем отворачивающихся дружно, как по команде, стоит на кого-то упасть хотя бы тени подозрения политического или «расового» характера; эти люди покорились бы и фашистской системе, если бы победа досталась ей, — и тогда мы имели бы тех самых людей, о которых Гроссман сказал: при фашизме выживают лишь «внутренне преобразованные человекообразные существа». Однако при фашистской власти им не помогла бы никакая мимикрия: нацистский геноцид не оставлял места для русской и тем паче для еврейской интеллигенции. Место нашлось бы лишь для подручных палача, таких, как Хмельков, парикмахер из Керчи, который «смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, — смерть».

Проклятье страха, последствия подозрительности, злокачественная трусость привилегированных советских функционеров, рабелепная покорность научной элиты — все это воплощено в судьбе ученого-атомщика Виктора Штрума, еврея и зятя Шапошниковых, который, несмотря на сенсационное научное открытие — а может быть, именно из-за него (подумывают даже представить его к Сталинской премии), — навлекает на себя немилость властей и опасается, что может потерять должность, квартиру, друзей, привилегированное снабжение; милость или немилость властей проявляются в количестве положенных ему яиц (пятнадцать вместо двадцати!), в наличии или отсутствии служебной машины, в качестве десерта столовского обеда, который иерархически дифференцирован. Поздороваются с тобой или не поздороваются — все зависит от

обманчивого солнца произвола и вьевшейся в людей трусости; тут восхищение оборачивается завистью, а зависть — восхищением. «Неужели все это начнется вновь, неужели и после войны душа будет замирать от ночных шагов, гудков машин?» — как в годы великих чисток, вторгающихся в «Жизнь и судьбу».

После того как Штрум выстоял против всех попыток подавить в нем совесть, преодолел презрение, разрыв дружеских связей, злобу функционеров и тысячи страхов, солнце верховной милости вдруг вновь засияло над ним: Сталин лично звонит ему, хвалит его (такое ведь бывало; здесь Гроссман использует несколько общеизвестных телефонных звонков Сталина, адресуя их Штруму). И когда все внезапно вновь поворачиваются к нему лицом, а привилегии не только возвращаются, но и возрастают — тут-то все и начинается: на него «нажимают», требуя подписать некое предназначенное для заграницы письмо, клеймящее врачей Плетнева и Левина, якобы отравивших Горького.

Только ли потому засияло над ним это солнце, что оказалась нужна его подпись, подпись ученого-атомщика с мировым именем, к тому же еврея, под этим подлым письмом? «И снова бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом». И Штрум, так долго не шедший ни на какие компромиссы, на этот раз, после победы под Сталинградом, ставит свою подпись под лживым письмом: только бы на победителя не легло позорное пятно.

Таким пыткам совести мог подвергнуть своих верно-подданных только победитель. Эти пытки и фальсификации происходят не в лагере ГУЛАГа, не в камерах Лубянки, а на «свободе» — в академических НИИ. Эти убийства — тихие, неявные, и они — тоже следствие победы. Разве посмеет кто-нибудь (тем паче — еврей) отказать победителю, вершителю мировой истории, в такой ничтожной просьбе — поставить свою подпись? Так исторически достоверные факты — ночные телефонные звонки Сталина некоторым современникам — вводятся в ткань романа как вымышленные.

Сталкивается Штрум и с любовью — робкой, чуть ли не мистической, платонической любовью к жене своего бывшего друга Марии Ивановой: «Она сидела словно воробышек (рядом с красивыми сестрами Шапошниковыми. — Г. Б.), серенькая, худенькая, с волосами, зачесанными, как у народных учительниц, над невысоким выпуклым лбом, в вязаной, заштопанной на локтях кофточке, каждое слово, сказанное ею, казалось Штруму, было полно ума,

деликатности, доброты, каждое движение выражало грацию, мягкость». Что же столь необоримо влечет его, страстного поклонника просвещения, к этому «воробышку»? Он несколько раз говорит с ней по телефону, встречается с ней на улице, один раз сидит с ней на скамейке в сквере, стоит вместе с ней на остановке автобуса.

Что же заставляет красавицу Женю Шапошникову бросить Новикова, этого победительного «сокола» классического русского романа, страстно ею любимого и любящего ее всем сердцем, что заставляет ее вернуться к мужу, батальонному комиссару Крымову, которого вдруг ни с того ни с сего арестовывают, сажают в камеру на Лубянке, подвергают бесчеловечным допросам и пыткам? Что гонит ее от победителя к побежденному? Часами, днями простаивает она в очередях к окошкам тюрьмы, где люди надеются что-то узнать о своих, получить разрешение на передачу. Ради Крымова она ставит на карту всю свою жизнь. И пусть мой вопрос и ответ на него покажутся кому-то смешными, но я все же спрошу: что это — только ли верность долгу или сама любовь? Да, это любовь, любовь как движущая сила и источник конфликтов.

Есть в романе и люди, пережившие знаменитые чистки, например, подполковник Даренский, которого в Сталинграде война сталкивает с генералом Неудобновым, в 1937 году во время допроса собственноручно выбившим ему зубы; о нем говорят: «Но уж он поработал. (Во время голода на Украине.— Г. Б.) Не дядя, а топор, лютовал пуще всех, по списку в расход пускал... Надо, надо его сейчас пригласить, а то еще обидится».

Это произведение, являющее собой несколько «романов в романе», сталкивает и сводит вместе то, чего не может свести научный педантизм, ставящий факты выше смысла. Вспомним о «героических защитниках» окруженного дома «шесть дробь один», чье геройство отнюдь не вызывает восхищения у начальства, ибо в этом доме возникает некий дух анархии — ведь «управдом» Греков мечтает не только об освобождении от фашизма, он мечтает о большем: о свободе. И именно туда, в этот дом, посылают батальонного комиссара Крымова, чтобы разобраться в обстановке и навести порядок. Там же юный Сережа Шапошников встречается с радисткой Катей и там же обнаруживает, что его любимая бабушка заблуждается, считая «простых людей» простыми,— Сережа убеждается в обратном.

«Жизнь и судьба» называется это произведение, вмещающее в себя несколько тесно сплетающихся романов,

жизни и судьбы многих простых людей, которые отнюдь не просты.

Леденящее душу совершенство нацистской технологии умерщвления здесь изображено с такой наглядностью, какая не под силу кинематографу: «Войдя в просторный зал с низко нависшим бетонным небом, некоторые инженеры сняли шляпы...» Снимают ли они шляпу перед собственным техническим достижением, или же их охватывает метафизический ужас перед индустрией умерщвления? В зале накрыт стол, чтобы отметить окончание строительства; Эйхман поднимает бокал и произносит тост: «Представляете, через два года мы вновь сядем в этой камере за уютный столик и скажем: «За двадцать месяцев мы решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!»

Техническое совершенство в сочетании с добродушием: теплотехники разрабатывают наиболее экономичную технологию для печей крематория, а на станцию прибывают «баллоны с красными вентилями, пятнадцатикилограммовые банки с красно-синими наклейками, издали похожие на банки с болгарским джемом».

Добросовестность в сочетании с добродушием дают кое-какой осязаемый результат: бригады стоматологов «извлекали ценные металлы, используемые для протезирования». Последовательное извлечение химических веществ из человеческого тела позволяет сделать вывод о значительности получаемой «прибыли». Возможно, тот эсэсовец, что надзирал за дантистами, все еще жив и по утрам ест на завтрак джем из болгарских банок, не напоминающих ему ничего плохого; в ту пору он каждый вечер получал от дантистов пакетик с золотыми коронками и уже передал жене два килограмма золота. «Это было их светлое будущее — осуществление мечты о спокойной старости».

Нет ничего выше добродушия, а в сочетании с добросовестностью оно вообще недостижимо. Не беспокойтесь, господин фельдмаршал, на худой конец и махорку можно курить, вы вряд ли будете в чем-либо нуждаться, ведь и вы принадлежали к номенклатуре, а с утратой несессера можно и примириться.

Будет несправедливо, а может быть, даже и ошибочно выбрать из такого множества жизней и судеб ту или иную, а остальные опустить; никак не выбросишь ни солдата Толю, ни его неутешную мать Людмилу, ни его отца, твердокаменного коммуниста Абарчука, терпящего в советском лагере дикие издевательства от уголовников-убийц, которого вдобавок ко всему лишает последних социалистических иллюзий его любимый учитель, революционер Магар, умирающий в лагерном бараке.

А чего стоит образ уважаемого Штрумом Чепьжина — единственного неподкупного человека в его окружении, и его весьма интересные рассуждения о роли науки: «Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим ему увидеть безумие и жестокость жизни». И еще: «Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его». Он решает отказаться от участия в работах, связанных с расщеплением атома: «Нынешних добра и доброты не хватает человеку для разумной жизни». И наконец, словно предвидя грядущие гонимые и прочие манипуляции: «Но, достигнув равенства с Богом, человек не остановится. Он станет решать задачи, которые оказались не по плечу Богу».

Автор неизменно присутствует в этой широкой панораме, причем не только тогда, когда он прямо вмешивается в повествование, анализируя, комментируя и размышляя — например, о различных путях антисемитизма, или когда в разговоре о литературе высказывает свое пристрастие к Чехову, которого считает единственным подлинным демократом среди писателей; он, автор, всегда присутствует в книге, видит и дает увидеть нам то добродушного Эйхмана, сидящего за празднично накрытым столом под «бетонным небом», то женщину, едущую на пароходе к смертельно раненному сыну: она сталкивается здесь с прожорливой и равнодушной номенклатурой, а сойдя на берег, тщетно ожидает человеческого сочувствия от простого люда, чья вошедшая в привычку жестокость едва ли не ужаснее жестокости тех; вместе со старым большевиком Мостовским автор жалеет одноглазого меньшевика Чернецова, который ненавидит большевиков и все же всей душой желает скорейшей победы Красной Армии и говорит пленному красноармейцу, записавшемуся в армию Власова: «Слышите, товарищ, не ходите», потому что знает: правда в устах немцев и власовцев становится ложью. В концлагере все они едины — большевики, меньшевики, испанский солдат, итальянский священник, бельгийский адвокат, норвежский торговец канцтоварами и «безумный» Иконников с его сумбурной религиозностью, благодаря которому старый большевик наконец понимает, «что было дорого ему десятки лет назад».

А длинное письмо сыну от обреченной на смерть еврейки из занятой немцами части Украины; а сирота Давид, вместе с военврачом-еврейкой входящий под «бетонное небо». Есть в романе и «особая теплота, с которой русские относятся к пьяным», и лейтенант Виктор, который замечает: «Тогда как же получается, если еврей хороший, ты говоришь — он не еврей»; Виктор — это тот самый «узкоплечий лейтенант в старенькой гимнастерке», что идет через лес: «Сколько их забыто в незабываемое время».

«Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек... Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве».

Дети на Украине сохли и опухали от голода, а функционеры сидели за столами, «просторными, как степь». Я представляю себе, что стало бы с Эйхманом, которому ко времени открытия «бетонного неба» исполнилось тридцать пять лет, если бы он дожил до шестидесяти пяти: он бы построил идеально функционирующее «бетонное небо» во Владивостоке, а тот добродушный эсэсовец вышел бы, наверное, на пенсию, успев переслать жене тридцать или сорок килограммов золота: достаточное обеспечение, чтобы на старости лет спокойно сидеть в саду на скамейке, покуривая трубочку и добродушно беседуя с друзьями-ветеранами: «А помнишь, у нас в Освенциме?..»

В конце книги Гроссман показывает, как этот город смертельного огня, уличных боев, бомбежек и минных разрывов, к которому в течение месяцев были прикованы взгляды всего мира — одни с надеждой, другие с отчаянием, вновь погружается в те унылые будни, в которых и герои теряют свой блеск. «Столица антифашистской войны обратилась в онемевшие холодные развалины довоенного промышленного и портового советского областного города». И где-то в нем «они стояли, держа кошелки для хлеба, и молчали».

Лишь немногого в этой великолепной книге мне удалось здесь коснуться, ибо в ней — целый мир, который можно исследовать только читая, она не только «интересна», не только разоблачительна, она — еще и свидетельство отчаянного сопротивления одиночек, которых «пасынок эпохи» сводит друг с другом; например, Женю со стариком Шаргородским, который один заслуживает целого эссе; все они бессильны перед «внутренне деформированными человекообразными существами», от которых зависят. Именно эти запуганные раболепствующие функционеры от литературы, не только достойные этого презрения, но и презираемые теми, кого они подавляют, и препятствовали выходу книги.

1984

КНИГА, НАПИСАННАЯ В НАЗИДАНИЕ «ХРИСТИАНАМ-УСТРАШИТЕЛЯМ»

О «Философии устрашения» Андре Глюксмана

Если бы эта книга не вписывалась в конкретный политический контекст современности, если бы она не была за-

думана и, пожалуй, написана как «заслуживающий внимания ответ на немецкое движение сторонников мира», то можно было бы иначе проанализировать и изучить различные ее главы, более углубленно, тщательно перечитать каждого из философов и теологов, которых использовали в целях устрашения, можно интерпретировать их более тонко и по возможности корригировать интерпретацию Глюксмана цитатами из их трудов, приводимыми в качестве контраргументов. Перед этим следовало бы основательно взяться за чтение Платона, Фомы Аквинского, Паскаля, Гроция и других. Но на эти штудии ушло бы несколько лет.

Сначала я хотел бы успокоить автора этой проповеди во имя ракетного занавеса, изучая которую я порой вспоминал об Аврааме и святой Кларе, я хотел бы смягчить его гнев и утишить его страх: немецкий бундестаг уже проголосовал за размещение ракет — хотя и не подавляющим, но все же необходимым большинством голосов. Во всяком случае, сорок четыре процента депутатов высказались против размещения; это позволяет надеяться на парламент, который будет избран в 1987 году (или раньше, кто знает?). Ради дальнейшего успокоения Андре Глюксмана сообщу следующее: из рядов партий, в обозначение которых входит литера «X» (в знак их христианской принадлежности!), не прозвучало ни *одного*, буквально ни одного голоса против размещения ракет; думаю, что не раздалось бы ни одного голоса против и в том случае, если бы немецкие епископы слово в слово позаимствовали текст у своих американских собратьев. Это «ужасное христианство» не нуждается ни в какой философско-теологической поддержке, и даже если бы сам папа римский недвусмысленно высказался бы против дополнительных вооружений, он не переубедил бы этим никого из политиков от христианских партий; в случае необходимости они сами создают свою собственную философию и теологию; в вопросах, касающихся бомб, догмат о непогрешимости папы упраздняется, и будь папа и в самом деле непогрешим, наши «христиане»-ужасители именно в этом случае усомнились бы в его непогрешимости. Нет, опасность, которой страшится Глюксман, существует не «там, наверху», а «там, внизу», где потенциальные избиратели христианских партий начинают задавать вопрос: «Разве мы недостаточно устрашающи?»

Глюксман явно переоценивает силу убеждения, которой обладают епископы и папы, вот почему я, хотя эти сорок шесть страниц его «Письма к американским епископам», помещенного в книге, и являют собой редкостный

пример сочетания настойчивости и элегантности, боюсь, не возьмуют ни малейшего действия в смысле обращения адресатов автора и их паствы в его веру. Глюксмана необходимо оградить от возможных последствий неудержимого взлета популярности его книги, которого он, с его намерением *наставить* своих читателей *на путь истинный*, не может не желать. Эта книга взмлет ввысь подобно ракете, да ведь она и является, в сущности, ракетой — в первой главе Глюксман высказывается в полном смысле слова ракетоподобно. Эта ракетная проповедь произнесена не ренегатом, а новообращенным; она проникнута неофитским пафосом, знакомым нам по истории апостола Павла; как и пафос Павла, пафос Глюксмана порой достигает чересчур высоких регистров, так что автор рискует сорвать голос, что, впрочем, делает ему честь, ибо этот пафос, смешанный с гневом и страхом, вне всякого сомнения, искренен. Я задаю себе только один вопрос — попадет ли эта ракета точно в цель, в самое сердце движения в защиту мира, или же во время ее полета в этом направлении выяснится, что она — всего лишь пиротехническая ракета? Скорее всего, случится именно так. И я задаю себе вопрос — кто на самом деле *прочтет* этот новоиспеченный бестселлер, эти четыре сотни полных учености страниц с надлежащим вниманием? По мне, было бы уже хорошо, если бы «христиане»-устрашители прочли хотя бы последние главы, где в «Философии устрашения» упоминается Пруст. Но об этом позже.

За совершенно уместным и необходимым введением, написанным Юргом Альтвегом, где изложены интеллектуальные и политические предпосылки сочинения Глюксмана, следуют почти пятьдесят страниц, полных оборонительно-агрессивного блеска «управляемой ракеты», блеска, — как и у апостола Павла, — не лишеного кокетства. Да, чего-чего, а блеска хватает... «блестящий» означает «ослепительный» — слово, имеющее двойное значение, «блистательный», «великолепный» и «слепающий», «ослепляющий». А ведь блеска хватает и — прошу прощения, тут я говорю как писатель писателю — и в бриллиантине. Еще раз — пардон! Четыреста страниц блеска — это, прямо скажем, многовато; от столь долгого пути глаз устает, не в силах воспринимать такое количество блеска, хотя именно последние главы, в которых речь идет о Прусте, заслуживают очень внимательного прочтения.

Итак, если эта книга нацелена на движение сторонников мира — надеюсь, «христиане»-устрашители не нуждаются в такого рода подбадривании, или...? — то необходимо все же разъяснить, что хотя такое движение и

существует как собирательное понятие, но состоит оно из самых различных группировок и объединений, число которых очень велико, если вообще не безгранично, и из отдельных — поистине бесчисленных — индивидуумов, не входящих ни в одну из этих группировок; некоторые группы придерживаются прокоммунистической ориентации, это профессиональные кадры, рьяные руководители и еще более рьяные рядовые исполнители, готовые в любую минуту по первому зову взяться за дело, они, всегда считавшие себя очень дальновидными, в конечном счете попадали впросак, ибо (на время, только на время) ставили под сомнение достоверность самого понятия «большинство». Будь я ответственным за создание и руководство деятельностью таких групп, я бы их вовсе изъясил из обращения; их детское мышление, ориентирующееся только на такие показатели, как «эффективность», это дурацкое набиравание очков, их упрямое отрицание движения в защиту мира в ГДР, игнорирование угрозы со стороны советских ракет, «вынесение за скобки» вопроса о Польше и Афганистане, все это лишь мешало достижению поставленной цели — воспрепятствовать *дополнительному* вооружению. Если такая тактика групп прокоммунистической ориентации действительно направлялась из Москвы, то необходимо задним числом спросить себя, действительно ли Советский Союз был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать *дополнительному* вооружению, или же он стремился к этому только для того, чтобы самому продолжать беспрепятственно вооружаться ракетами. Глядя на эти группы, может возникнуть впечатление, что они действительно представляют явление, которое Глюксман называет «мягкой просоветской волной». У меня складывается впечатление, что Глюксман начинает не с того, с чего следовало бы.

Ведь поначалу речь вовсе не шла о разоружении — дело заключалось в том, чтобы воспрепятствовать *дополнительному* вооружению, то есть в смысле «Философии устрашения» дискутировался вопрос: «Разве мы *недостаточно* устрашающи?» О разоружении же говорят лишь политики, эти неисправимые идеалисты, планирующие установку двухсот ракет, отказывающиеся от ста ракет с тем, чтобы установить сотню новых, а другую сотню объявить демонтированными в порядке разоружения. Протесты, раздававшиеся в нашей стране, были направлены против *дополнительных* вооружений, против *сверхвооружений*. «Прекратить» и «заморозить» — таковы были лозунги. А *после* всего этого можно было бы, пожалуй, приступить и к разоружению.

Чего мне недостает в «Философии утрашения» — так это философии. Вместо нее я обнаруживаю там идеологию. «Христиане»-урашители примут этот «мяч» — с воодушевлением они будут обмениваться мнениями относительно того, как Глюксман принимает мяч утрашения, как он защищает свои фланги цитатами из Платона, Фомы Аквинского, Пуффендорфа, Паскаля, Канта, Ницше и других, прорываясь к воротам противника. Я уже слышу, как Дреггер, Мертес, Вёрнер и прочие кричат: «Платиниссимо, Андре! ГОЛ!» Нет, черт побери, промазал, мяч летит выше ворот, в лучшем случае он попадает в штангу. Этим «христианам», занятым делом утрашения, не нужна никакая философия, им бы только кричать: «ГОЛ, ГОЛ, ГОЛ!»

Переизбытка философии, конечно, не следовало ожидать. Но все же от «Философии утрашения» я ожидал большего, нежели просто поддержки политики утрашения, больше, нежели просто призыва к принятию на вооружение все большего и большего числа ракет. Большого ожидал я и от многочисленных, получивших повсеместное распространение *абсурдных несуразностей*, и от *безопасности* как философско-теологической категории и рассчитывал в том числе и на то, чего в этой книге вообще нельзя обнаружить: на вульгарную материю, называемую деньгами, эту имеющую множество измерений материю, которая представляет собой нечто большее, чем просто материя, а для большинства людей она жизненно необходима, и гораздо, гораздо больше о реальной, существующей бомбе под названием голод, которая уже не только угрожает, но и ежедневно взрывается, каждый день умерщвляя больше людей, чем было убито в битве при Сольферино, ужаснувшей Анри Дюнанна количеством мертвецов; эта дьявольски *тихая* бомба; я бы хотел прочесть гораздо больше о *возможном* ограничении вооружений в целях борьбы с «голодной бомбой». И разве не угрожает эта банковская, эта денежная бомба еще и вселенским взрывом, который обратит в ничто цифры с бесчисленными нулями, подобно атомной ракете совершенно особого рода, которая оставляет после себя НИЧТО? То, как Глюксман трактует проблемы вооружений и их потенциальной опасности, вселяет в читателя недоумение и тревогу, поскольку автор предлагает ограничение вооружений в еще меньшей степени, чем даже политики-республиканцы в США, которым от собственной системы утрашения самим становится не по себе. Все это не способствует тому, чтобы его страстная проповедь обрела достаточную убедительность, а именно этого ему недостает, когда он гово-

рит о немецком движении сторонников мира. Глюксман совершенно прав, когда утверждает, что на всех митингах в защиту мира слишком мягко говорилось о Советском Союзе, обладающем опасным ядерным потенциалом, что на них ни слова не было сказано ни о войне в Афганистане, ни о кровопролитной «обычной» войне между Ираном и Ираком, как и о более чем ста тридцати «обычных войнах», происшедших после 1945 года и принесших более 35 миллионов убитых. Но он вступает на зыбкую почву предположений и допущений, когда вслепую, некритически — во всяком случае, в этой книге, и именно об этом я здесь и пишу — принимает все американские планы вооружений. Ибо он, как и мы все, там, где речь идет о статистике вооружений, зависит от информации, которую он должен принимать *на веру*, а ведь сведения о потенциале устрашения, которым располагает Запад, так противоречивы! Информация, поступающая из американского «Центра информации об обороне», в котором работают бывшие офицеры, доказывает превосходство Запада в области вооружений. Кому я должен верить? Не правильнее ли было бы воспользоваться философией *веры* перед лавиной противоречивых сведений, каждое из которых невозможно проверить? Поскольку я не могу доверять советским сведениям, кому, мне прикажете, кому я вправе, кому я *должен* верить? Вот в один прекрасный день я читаю где-то проскользнувшее сообщение, что ЦРУ на пятьдесят процентов, или — это как с бутылкой, налитой до половины или опорожненной наполовину, — на сто процентов изменил свои оценки советских вооружений. Не следовало бы в таком случае создать *новую* философию, которая усвоила бы такие понятия, как «вера», «безопасность», «абсурдность», «голод», «информационная политика», которая стремилась бы создать новую систему координат, в которой заново определены и взаимосвязаны были бы понятия «оружие», «солдат»? Приводимые в книге цитаты из древнегреческих и средневековых философских и теологических сочинений выглядят тусклыми и неубедительными, звучат далеким анахронизмом. Решать поставленные проблемы с помощью басен Лафонтена — значит ощутимо отставать от необходимого уровня их осмысления. Можно ли на самом деле «метать» перед «христианами»-урашителями цитаты из Паскаля и Фомы Аквинского ради утверждения философии тотального, день ото дня растущего устрашения? Конечно, любой из процитированных философов и теологов приветствовал бы открытие атомной *энергии*, но интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что производство этой энергии неизбежно связано

с возникновением отходов, которые перестанут быть опасными для жизни лишь по прошествии двадцати тысяч лет? Неужели они согласились бы терпеливо ждать все эти двадцать тысяч лет, а что, что они сказали бы об атомной бомбе, об этой новой энергии, скопления которой в современном мире образовали чудовищный, день ото дня увеличивающийся убийственный потенциал, грозящий всеобщим уничтожением? С гораздо большей охотой я доверяюсь мнению многих тысяч физиков, врачей, юристов, которые знают эту новую материю и говорят мне — в любом случае я вряд ли успею издать последний крик, не важно, как он прозвучит: «Лучше быть красным, чем мертвым!» — или: «Лучше быть мертвым, чем красным!» О, я знаю, в заупокойной литургии сказано куда как убедительно: «Memento quia pulvis es et in pulverem reverteres»¹. Эти слова ввелись мне в плоть и кровь, и чтобы вспомнить их, мне не нужно никакой «Философии устрашения». Превратить в пыль все человечество. Потенциал распыления.

Перед лицом существующей конфронтации между США и Советским Союзом следовало бы сказать кое-что и о войне, которую в Советском Союзе называют «Великой Отечественной войной». Несомненно, Западная Европа обязана своим освобождением от нацизма американцам, и все же история освобождения этим не исчерпывается — в ней есть до сих пор не заживающие раны, до сих пор не оплаченные долги. Разве не обязана Западная Европа своим освобождением и Советской Армии, принесшей столько жертв для того, чтобы Германия «созрела» для последнего удара американцев, приведшего к освобождению? И разве не следовало бы вспомнить и о жертвах советского гражданского населения, о тысячах разрушенных городов и деревень? Не следовало ли бы, оглядываясь на прошлое, задать вопрос — лучше Гитлер, чем Сталин? Или лучше Сталин, чем Гитлер? А может быть, восточноевропейские страны предпочли бы Гитлера? Лозунг: «Лучше быть красным, чем коричневым», который Глюксман приписывает движению сторонников мира, хотя он никогда не входил в число его лозунгов, был одно время актуальным для восточноевропейских стран. Стоит только ознакомиться с педантично составленными нацистами планами уничтожения, которые были осуществлены в Польше и предусмотрены для всей Восточной Европы, не только для ее еврейского населения. Политику Советского Союза невозможно понять вне этой

¹ Помни, что прах еси и в прах обратишься (лат.).

историко-философской ретроспективы, и утопией, на мой взгляд — глупейшей из всех утопий, разделяемых сторонниками движения в защиту мира, представляется попытка ревизии решений Ялтинской конференции на таком историческом фоне. Ведь был еще и Потсдам — испещривший географические карты причудливыми каракулями, проложивший новые границы.

В стране, которую возглавлял Гитлер, умерли три миллиона триста тысяч советских военнопленных, что соответствует смертности порядка 57,8%. В стране, которую возглавлял Сталин, умерли миллион сто — сто восемьдесят пять тысяч немецких военнопленных, что соответствует уровню смертности от 35,2 до 37,4%! Эти цифры, после того как узнаешь их соотношение, приобретают ошеломляющую наглядность, эти цифры дают зримую картину того, какая участь была уготована «красному недочеловеку». Имеются ужасающие сведения о лагерях военнопленных в Советском Союзе, но в устных свидетельствах очевидцев достаточно часто звучит странная ностальгия. Да, в отношении немцев к Советскому Союзу есть что-то особенное, и эта-то особенность и сыграла определенную роль в движении сторонников мира, облегчив коммунистам проникновение в его ряды. Эта особенность, разумеется, была употреблена во зло и неверно истолкована советским правительством; оно ввозит свои ракеты, размещает их, спекулирует даже на количестве собственных жертв в минувшей войне, все это и есть проявление последовательного материализма. Неужели мы на самом деле превосходим Советский Союз только потому, что противопоставляем ему свой потенциал вооружений?

Я призываю Глюксмана к осторожности в его безудержной критике нынешнего немецкого правительства (как он критикует и критикует ли вообще свое собственное правительство — его личное дело), к осторожности в его нападках на движение в защиту мира как *такое*. Он не учитывает той разницы, которая существует между настроениями общества в Германии и во Франции, разницы, которая сама является результатом различий в *технике обработки* общественного мнения. Этими различиями мы обязаны шпрингеровской прессе и всем тем органам печати, которые приспособились или сблизилась с ней, ибо так рекомендовал им рынок, — и вот сейчас человек, выдвинутый концерном Шпрингера, является членом правительства, председателем правительственной фракции в бундестаге. В предисловии к книге Глюксмана Юрг Альтвег приводит цитату из одной прошлой публикации Глюксмана: «За те же самые действия, по совершении которых

Баадер был объявлен врагом народа номер один — а именно за поджог мебели в универмаге и разграбление продовольственных магазинов, деликатесы из которых были розданы в кварталах бедноты,— во Франции одна из предводительниц таких групп была оправдана судом.

Пресса хранила полное спокойствие и восприняла всю эту историю скорее как мальчишескую проделку. Между населением и участниками акций протеста постоянно существовало тесное взаимопонимание, что предохраняло протестующих от искушения встать на путь терроризма, хотя искушение и было достаточно велико». Только представьте себе: поджог универмага — мальчишеская проделка! Баадер оправдан. Ульрике Майнхоф не пришлось освобождать его. А может, и не было никакого терроризма? Какое поле деятельности открылось бы перед господином Рюнишем и его компанией! Может быть, и вся немецкая послевоенная история смогла бы сложиться по-иному? Смогла бы! Смогла бы? *Здесь*, где вид горящего или всего лишь поврежденного автомобиля вызывает куда больше народного гнева, чем какой-нибудь студент, застреленный в Берлине, или покушение на Руди Дучке. Глюксман не имел права упускать из виду заслугу движения сторонников мира, которая состоит в том, что, несмотря на все преследования, насмешки, оскорбления, несмотря на то, что все партии в бундестаге выставляют его прямо-таки пугалом, это движение никогда не приобретало характер террористической организации. Да, число этих чертовых немцев, одержимых идеей мира, возросло и никак не уменьшается, да, тезис, согласно которому мы, безоружные, обречены безропотно ожидать пришествия архипелага ГУЛАГ, утратил былую привлекательность, абсурдность сверхвооружения видна невооруженным взглядом; федеральное правительство все заметнее нервничает, оно навязывается со своими предложениями, просит, чуть ли не кланится, чуть ли не вымаливает переговоры. Похоже, ему очень не по себе. Это не покорность судьбе, не заискивание перед Москвой, в его действиях сквозит понимание того, что такие понятия, как превосходство, равновесие, стали бессмысленными словами, что мы давно уже выглядим достаточно устрашающими. Ослабевает не движение под лозунгами прекращения и замораживания вооружений, истощается сама идея глобального уничтожения, и ей уже не помогают никакие запугивания красным цветом. В моду входят зеленый, желтый, черный, синий и фиолетовый цвета.

Лозунг «Лучше быть мертвым, чем красным» исполнен прямо-таки святотатственного западноевропейского

высокомерия по отношению к миллиардам людей, влачащих «красный» образ жизни, в том смысле, как они понимают этот лозунг. Захотят ли они предпочесть такой жизни смерть? Они не производят на меня впечатление людей, готовых на это, в том числе и поляки, также живущие «красной» жизнью. Глюксман пускается на головоломные кульбиты, в спешном порядке перенося высказывания Фомы Аквинского о справедливой войне на сегодняшнюю ситуацию в области ядерных вооружений.

Глюксман заблуждается, предполагая, будто именно совесть немцев, отягощенная памятью об Освенциме, заставит их воспротивиться атомной войне. Немцы — за исключением незначительного меньшинства, о численности которого у меня нет точных данных, как раз и не поняли, как раз и не ощутили, что такое был Освенцим; глубоко в недрах их душ все еще гнездится представление о недочеловеке, о дважды недочеловеке — если речь идет о русском и коммунисте, и трижды недочеловеке, если он одновременно и русский, и еврей, и коммунист. Осторожно, и за клеймом «красный» может скрываться недочеловек, как и за плоской антикоммунистической идеологией Рейгана; ведь для него «красные» — это почти то же самое, что и неприкасаемые; порой мне кажется, что поехать в Москву ему мешает какой-то предопределенный свыше чисто гигиенический страх!

У меня сложилось впечатление, что не только Глюксман, но и многие новообращенные из числа французской левой интеллигенции с достаточно большим запозданием поняли, что же произошло в Советском Союзе, какие последствия имела для него эмиграция инакомыслящих, какие последствия — война. Почему в Германии, в стране, где когда-то существовала вторая по величине компартия после Советского Союза, сегодня существует самая ничтожная, самая беспомощная и незначительная компартия, представляющая собой не более чем высокооплачиваемый «рупор», не стоящий, по моему мнению, денег, которые расходуются на него? Для этого есть свои причины, которые никоим образом не сводятся лишь к последствиям разного рода «холодных» войн. Да, реальный коммунизм действовал в высшей степени реалистически, но, несмотря на весь этот «реализм», существует и кое-что еще — та самая повергающая в изумление ностальгия, прорывающаяся только в устных воспоминаниях бывших военнопленных. Ведь даже узники «архипелага ГУЛАГ», включая Солженицына, не предпочли смерть «красному» существованию; они хотели жить, и Евгения Гинзбург, которая в течение почти двадцати лет испытала на себе все

нелепости и жестокости «архипелага», описав их впоследствии в своих воспоминаниях, которые по своей острой наблюдательности и глубокому психологизму могут быть приравнены к произведениям Солженицына,— и она хотела жить и, к счастью, выжила. И я знаю и таких, которые хотя и были упрятаны в ГУЛАГ по воле Сталина, плакали, когда Сталин умер, — ведь это он, как бы то ни было, победил нацистов в Великой Отечественной войне. Тут не только не затянулись еще иные раны, тут не до конца продуманы иные проблемы. У Солженицына в «Бодался теленок с дубом» есть места, допускающие возможность предположить, что писатель остался бы в Советском Союзе, согласился бы жить в таком Советском Союзе, в котором издавались бы его книги, что, разумеется, предполагало бы полное преобразование Советского Союза в конечном итоге. Ведь и он не покинул добровольно Советский Союз, как и не ушел добровольно из жизни, находясь там в невыносимейших для себя условиях. Каждый имеет право лишиться себя жизни, когда «красная» действительность или красные угрожают поработить его, это право каждого человека. Но допустимо ли осуждать на смерть с помощью лозунга «Лучше быть мертвым, чем красным» целые континенты? Разве не может в один прекрасный момент все расширяющаяся система устрашения превратиться в своего рода «ГУЛАГ безопасности», в котором целые страны, опутанные ракетами, уже не смогут самостоятельно двигаться, словно спеленутые младенцы?

Новое, атомная бомба, требует *новой философии*, которая уже не может опираться на авторитет Паскаля или Фомы Аквинского. Физики, врачи, юристы заняты развитием этой новой философии, исполненные решимости не соглашаться ни на «красное» бытие, ни на смерть. «Не быть ни красным, ни мертвым» — будь эта идея заявлена на суперобложке книги Глюксмана, кому бы она пришлась не по вкусу? Она не менее банальна, чем древний призыв «Нет новой войне!». Содержит ли неограниченная политика вооружений, согласно которой должна создаваться одна модель оружия за другой — ведь физика и техника не знают никаких границ,— это дружественное предложение? Быть «живым» и «свободным»? Разве это не идеалистический лозунг? Его автором мог бы быть президент США Вильсон, которого Глюксман ошибочно объявляет своего рода дедом движения в защиту мира. Как знаток философской ситуации в этой области, он должен бы знать, что президент Рейган слепо исповедует верность такого рода причудливому, противоречивому идеализму; мы имеем дело не с Вильсоном, а с Рейганом, который

сам ежедневно определяет характер своего мировоззрения. Мы говорим: «ПРЕКРАТИТЬ! ЗАМОРОЗИТЬ!» С этим призывом могут соотносить возвышенные цели разоружения как советские, так и американские идеалисты.

Нечего ожидать помощи от воззрений цитируемых Глюксманом философов и теологов на войну, оборону и вооружение *их* времени. Их следует сопоставить с возможностью многократного ядерного *сверхуничтожения* — и не только того или иного противника, а всего человечества. Хотел бы я знать, что сказали бы по этому поводу Фома Аквинский или Паскаль. У Глюксмана отсутствуют также указания на опасную непредсказуемость, порой даже граничащие с преступной небрежностью причудливые выверты американской внешней политики, на которые обращает внимание даже Александр Хейг. Для столь уверенных в себе немецких «христиан»-ужасителей напоминание об этом имело бы важное значение.

Почти со всем, что Глюксман пишет о Польше, о постыдной безгласности западной интеллигенции, особенно немецкой, я могу согласиться. Я спрашиваю лишь — помогут ли наши ракеты тем же полякам? Сомневаюсь. Мне ничего не известно о том, чтобы хоть кто-нибудь в Польше выступал за дополнительное вооружение. Борьбаться невооруженными, безоружными — вот какой лозунг имеет там хождение. Теоретики КОР и «Солидарности» прямо-таки боятся тех сделок по обмену оружием, которые заключаются между советскими солдатами — несколько бутылок водки в обмен на гранаты и боеприпасы — и воинствующей частью подполья.

А что происходит в Польше с лозунгом «Лучше быть мертвым, чем красным»? Нет никаких сомнений в том, что тезисы КОР — Глюксман постоянно цитирует высказывания Адама Михника — явно имеют «красноватый» (в том смысле, какой вкладывает в это слово вышеупомянутый лозунг), если не откровенно «красный» оттенок. Впрочем, «зеленые» никогда не допускали сомнений относительно своего отношения к «Солидарности». В отличие от них корпорированный немецкий католицизм, десятилетиями резко выступающий против договоров с Востоком и у себя в стране не очень-то отстаивавший идею *свободных профсоюзов*, является весьма лицемерным партнером. Польша, католицизм, Войтыла — здесь необходим широкий историко-философский анализ, провести который помог бы Милош. Польша, которая в ходе ограниченной атомной войны (а таковая все еще считается возможной) стала бы разгрузочной площадкой, далеко не является убедительным примером, который подтверждал бы пра-

воту «философии устрашения». В любом случае Польша стала бы лишь *целью* для ракет, причем с обеих сторон.

Все, что пишет Глюксман, разумеется, допустимо, все увлекательно, все глубокомысленно, но порой вызывает какое-то комическое ощущение — например, когда он обращается с длинной — тоже на сорока шести страницах — проповедью к американским епископам, упрекая их в том, что они полностью покинули сферу метафизики и заботятся лишь о *земной* жизни доверенной им паствы. Неужели вместо этого епископы должны *благословлять* ракеты? Достаточно часто церковь благословляла оружие, тем самым возлагая на него метафизическую миссию. Она смирилась с первой смертью своей паствы, обеспечив им вечную жизнь, избавив их от *второй*, как называет ее Глюксман, смерти. Может ли Глюксман обещать людям вторую, вечную жизнь? Думаю, что я вправе определить «вторую смерть» как то, что было некогда названо «грех против Святого Духа», как отречение от обещанного спасения. «Дорогие епископы,— пишет Глюксман,— человек жив не жизнью единой. Или вы все-таки признаете, что не всякая жизнь заслуживает жизни?» Смело сформулировано, бравурно, напоминает рыцарскую заповедь «умереть мужественно и с честью» в устах вольнолюбивого героя с мечом в руке. Я вспоминаю незабываемого, непревзойденного Жерара Филипа, но я вспоминаю и обгоревшие, скрюченные тела людей, погибших в Хиросиме, вспоминаю о тотальной беззащитности перед лицом ограниченной ядерной войны, которая считается возможной,— меч в руке мужественно смотрящего навстречу опасности героя, с пылающим взором защищающего свою свободу, становится бессильным в единоборстве с архипелагом ГУ-ЛАГ.

Нет, умирающий не кажется мне смешным, скорее абсурдным. Ведь сегодня мы уже имеем дело не с *оружием*, не с солдатской или гражданской честью, сегодня уже невозможно тем оружием, которое знали Фома Аквинский и Паскаль, защищать *достоинство*, надеяться на уважение, которое было возможно «между мужчинами» в первую мировую войну, а кое-где и даже во вторую. *Утрата* человеческим *телом* достоинства при первой смерти — разве оно не стоит пастьерского послания? При атомной войне уже ничего не останется ни для литературы, ни для кино, так что теология может спокойно поразмыслить над судьбой тела во время первой смерти.

Не всякая жизнь достойна жизни? Это должен решать для себя каждый в отдельности, пусть даже он изберет самоубийство. «Лучше быть мертвым, чем рабом» — чест-

ный, заслуживающий уважения девиз. А как же быть с теми, которые охотнее предпочли бы жить в рабстве, чем умереть? А ведь они есть. Есть люди, которые понятия не имеют, что такое свобода, и все же хотят жить. Пусть Глюксман перечитает еще раз Солженицына, Гинзбург и других — для них даже жизнь в лагерях ГУЛАГа имела смысл, была достойна жизни, и не потому, что они надеялись на вторую жизнь и страшились «второй смерти», а потому, что они в этой своей первой жизни надеялись на свободную жизнь, а ведь надежда — это и земная, не только метафизическая категория.

С любой метафизической точки зрения, стоишь ли ты на позициях теолога или философа, в любом случае должно быть ясно — *не существует никакой безопасности*, в том числе и достигаемой посредством устрашения. К утверждениям Глюксмана о нашей слабой защищенности, о нашем непрочном, ненадежном мире, к его многочисленным цитатам я хотел бы присовокупить в качестве подарка еще одно высказывание, принадлежащее святой Терезии из Авилы: «Не спите, не спите, нет мира на земле». Но ведь и она спала и при случае умела воздать должное доброй трапезе, ценила ее не меньше, чем тетка Леолия у Пруста свои рогалики во время всеобщего краха и распада. Сидя за столиком любого кафе, я мог бы услышать, что войны всегда были, бывают и будут, мог бы там также узнать, что мы смертны. Порой мне казалось, что в аргументах Глюксмана звучит голос Старого Фрица, его знаменитое: «Собаки, вы что — хотите жить вечно?» Нет, отвечаю я, не вечно, а хоть сколько-нибудь и по возможности не «красным». Фраза «Человек жив не жизнью единой» представляется мне вариацией на тему: «Человек жив не хлебом единым». Что же мне, обратиться с этим призывом к голодающим, после того как я встану из-за стола, сытно позавтракав? Что кричат, требуя хлеба, там, где человек жив не хлебом единым? Голодающим не страшен архипелаг ГУЛАГ, где им по крайней мере будет обеспечена минимальная порция пищи. Им не страшна и цензура, которая — если они вообще могут или хотят читать — лишает их возможности прочесть «Монд», «Шпигель» или Пруста. Представления Глюксмана о жизни носят в высшей степени западноевропейский, комфортный характер.

Я возражаю и против его тезиса, согласно которому Советский Союз из-за допущенных им кошмарных преступлений и бесчеловечной жестокости якобы «деевропеизировался», перестал быть европейским государством. Что, разве история европейских государств и религий —

это история кротости и милосердия как по отношению друг к другу, так и их колониям? Разве преступления и жестокости — явление, неизвестное в Европе? И разве не родился Маркс, к идеям которого следует в конечном счете возвести деевропеизацию Советского Союза, в одном из самых европейских городов, в Трире? Следовало бы быть поосторожнее.

Я согласен с Глюксманом, когда он не принимает сравнения Освенцима с Хиросимой, отказывает «Нюрнбергскому трибуналу» в тщательности расследования, во время которого не разрешалось говорить об архипелаге ГУЛАГ. Бомба, применение которой сделал возможным Освенцим, не была созданием одной лишь физики и техники, она черпала свою взрывчатую силу, свою эффективность, свое почти тотальное действие, свою чудовищную динамику — без применения каких-либо компьютеров — из служебных качеств немецких чиновников и служащих, из их корректности, педантичности, беспрекословного повиновения, их работоспособности, — и при этом они вовсе не были антисемитами, их работа требовала от них только одного — корректности и исполнительности, необходимых для того, чтобы выявить и зарегистрировать всех до единого граждан еврейского происхождения вместе со всем их имуществом, будь то дом, банк, швейная мастерская или всего лишь пара ножниц, иглы и катушка ниток. Мной сразу же овладевают знакомые навязчивые идеи и фобии, и я предостерегаю Глюксмана от неверной оценки мотивов, двигавших немцами. Я всегда испытываю некоторый страх перед немецкими *массами*, хотя порой и погружаюсь в самую их гущу. Но когда я встречаю в этой среде пожилых людей, то чаще всего среди них, переживших Освенцим, я вижу тех, кто так или иначе участвовал в создании Освенцима; все они — *прекрасные* люди, они не участвуют ни в каких уличных шествиях и демонстрациях, получают свои пенсии — в большинстве случаев весьма солидные, вспоминают о «недочеловеках» и читают — пардон, — может быть, даже Пруста, искусство наслаждения которым они постигли в совершенстве; они интеллигентны, достаточно образованны, даже чувствительны — да и времени у них на это хватает. Да, я испытываю навязчивые опасения, которые отчасти могут совпадать с опасениями Андре Глюксмана. Пруста я прочел еще в 1936—1937 годах, в первом немецком переводе Вальтера Беньямина — прочесть книгу мне посоветовала подруга моей сестры. Нет, конечно, нет ничего постыдного в том,

чтобы читать такого великолепного писателя. Ощущать конечность, смертность, бренность нашего существования в потоке постоянно то ускользающего, то настигаемого времени — смываемого отливом времени и вновь намываемого его приливом, *постичь*, что такое печаль, что такое наслаждение; понимать, что даже самая страшная катастрофа может доставить какое-то наслаждение — например, когда Шарлю в обступившей его темноте, возникшей в результате «затемнения», предчувствует новые возможности для наслаждения... К известного рода «кладбищенским» шуткам, «черному» юмору я отношусь с пониманием; однако не означает ли появление в «Философии устрашения» после Фомы Аквинского и Паскаля фигуры Шарлю распространения мрачно-кладбищенской стихии на сферу гедонистически-святотатственной метафизики? Это место следовало бы на самом деле прочесть нашим «христианам»-устрашителям, потирающим руки при виде книги Глюксмана, может быть, и кому-нибудь из немецких епископов; эти медитации по поводу Пруста вскрывают противоречия в аргументации Глюксмана (как и медитации вокруг Польши) — если жизнь Шарлю, которому необходима война, чтобы в возникшей благодаря затемнению темноте ощущать более острое наслаждение, если его жизнь еще достойна жизни, то тогда ведь и наслаждение, добавляемое ложкой супа, сигаретой тем людям, которые встречаются в жизни Ивана Денисовича, заслуживает того же. Шарлю должен жить; и пусть он сам определит, за чей счет он живет. Я повторяю то, что Глюксман писал на 247-й странице своей книги, обращаясь к американским епископам: «Или вы все же признаете, что не всякая жизнь заслуживает жизни?» Не лучше ли предоставить решение вопроса каждому человеку лично — заслуживает ли его жизнь жизни, в том числе и жалкому, страдающему рабу, который по вечерам хлебает свой суп в своей хижине, собрав из нескольких окурков табаку, сворачивает себе новую сигарету и с радостью предвкушает момент, когда он разделит ложе со своей женой, которая, улыбаясь, ждет его на своем соломенном матраце. Откажется ли теперь Шарлю, тем временем перевоплотившийся в Алена Делона, от ожидающих его в затемненном по-военному Париже дополнительных наслаждений, возьмет ли он в руки меч, благословленный Фомой Аквинским, одобренный Паскалем и воспетый Ницше, и выступит ли он на битву за освобождение этого раба, или же он будет лишь наблюдать, как этот раб занимается со своей женой любовью? Может, лучше бы-

ло бы послать на фронт тех немцев, которые знают, как нужно обращаться с «недочеловеками». Желаю всем «христианам»-ужасителям приятного чтения. «Меровинг никогда не подчинялся насилию»,— пишет Глюксман. Верно. Но не был ли этот франк нашим общим — и французов, и немцев — предком?

1984

ТРАНЗИТ

Послесловие и постскрипtum двадцать лет спустя

Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями.

*2-е Коринфянам, гл. 11, ст. 25—26;
«Транзит», с. 110*

Может быть, в качестве эпитафии лучше было бы привести формулировку, данную на стр. 52 романа Анны Зегерс: «Транзит — это разрешение проехать через страну, когда выясняется, что оставаться в ней нет никакого желания».

У меня есть свои причины предпочесть вышеприведенный эпитафия. Это определение транзита внешне кажется простым; его сложность понимаешь, когда видишь, сколько стран приходится пересечь, к скольким берегам пристать, прежде чем достигнешь землю, в которой обретешь пристанище. Обычный беглец, скрывающийся у себя на родине, хотя и не получивший разрешение на выезд, но имеющий возможность осесть в определенном месте на длительный срок, находится в неизмеримо лучшем положении, чем человек, оказавшийся в положении чужака, эмигрант, который не знает, как к нему отнесутся на чужбине,— может быть, в Португалии он окажется желанным гостем, а в Испании придется не ко двору, в Бразилии его примут с распростертыми объятиями, а в Новой Зеландии он вызовет подозрения, не говоря уже о том, что в Соединенных Штатах он может быть занесен в какой-нибудь черный список.

Не исключено, что ему предстоит чудовищная игра с властями, со всеми этими чиновниками консульств и слу-

жащими туристических бюро — как берущими, так и не берущими взятки, среди которых не случайные единицы, а самое малое каждый третий «горд своей властью запретить транзит. Он лишь чуточку отведал власти, лишь слегка лизнул ее,— я видел, как язык шевелился у него во рту во время нашего разговора, чуть-чуть выглядывая наружу. Видно было, что власть пришла к нему по вкусу».

То, что этот написанный примерно в 1942 году роман,— по моему мнению, наилучший из всех романов Анны Зегерс,— с таким опозданием, когда уже истекли едва ли не все сроки, был издан в нашей стране, объясняется, может быть, тем, что за это время, за те более чем двадцать лет, прошедшие с момента выхода романа за рубежом, слишком многие — и у нас, и по ту сторону границы — полакомились властью, слишком многим она пришла по вкусу; тем, что у нас любят обсуждать не подлежащие обсуждению вопросы — а следует ли издавать в нашей стране такие книги?; тем, что пытаются с менторской безапелляционностью исправлять человеческие судьбы; тем, что все еще возможно — например, во время предвыборной борьбы — употреблять слово «эмигрант» с намерением нанести ущерб сопернику (как будто эмигрант — не беглец; он и есть самый настоящий беглец, правда, потенциальный).

С меня, во всяком случае, хватит сожжения книг: это было жалкое зрелище, я наблюдал его во дворе гимназии, в Кёльне; смущенные учителя, смущенные ученики, несколько фанатиков, которым даже не удалось разжечь настоящий костер (сжечь книгу дотла, превратить ее в пепел — дело крайне трудное), пламя взметнулось вверх, отзвучала песня, толпа смущенно разошлась. Похоже, что именно с этого времени, с 1933 года, смущение определяет общественную жизнь немцев — видимо, это великое немецкое смущение и повинно в том, что книги Анны Зегерс только сейчас начинают издаваться в этой стране. Если этот роман стал лучшей книгой из написанных Анной Зегерс, то причина этого кроется, видимо, в чудовищной неповторимости той исторической и политической ситуации, легшей в основу повествования, что сложилась в Марселе в 1940 году — когда событие, которое мы в своем повседневном словоупотреблении так мило — словно речь идет об экспедиции землепроходцев, следопытов — называем «французской кампанией», «походом во Францию», который был совершен в наихудший из всех двенадцати лет год (когда столь многие отведали вкуса победы и нашли его великолепным!), и которое погнало из Парижа, из всех уголков Франции, из лагерей, отелей, пансионатов, крестьян-

янских дворов вспугнутое племя, целую нацию эмигрантов. Все они стремились к одной цели — в Марсель: «Вавилонское смешение языков, финикийская речь сплетается с критской, римская с греческой, нет конца этим мольбам и сплетням, не иссякает поток мечущихся, подвластных слухам людей, охваченных страхом за свои места на кораблях и за свои деньги, обратившихся в бегство перед всеми истинными и мнимыми опасностями земли... толпы людей-изгнанников, достигших в конце концов моря, где они карабкались на корабли, чтобы отправиться в новые неведомые страны, откуда их снова изгоняли; все дальше, дальше, стремясь убежать от смерти, чтобы угодить в ее объятия».

И все они при этом испытывали то, что с такой остротой испытывает каждый беглец, а каждый потенциальный беглец испытывает еще острее. «Я подумал о том, сколько тысяч людей называли этот город своим городом и спокойно продолжали жить в нем, как и я когда-то жил в своем».

Молодой немец, монтер Зайдлер, начинает свой рассказ бодро, чуть ли не бравирюя своей грубоватой мужественной манерой, почти не упоминая о политической стороне событий, но как бы подразумевая ее — он рассказывает о том, что немецкая армия, руководимая нацистами и ведя их за собой, вторгается во Францию. Зайдлер бежит из Парижа, брошенный в беде своим приятелем — «поганцем Паульхеном», с чемоданом и рукописью писателя Вайделя, покончившего жизнь самоубийством в одной гостинице. Оказавшись в роли Вайделя — делал он это, скорее, под нажимом чиновников консульства, нежели по собственной воле, с заранее обдуманном намерением, — Зайдлер подает заявление с просьбой о выдаче ему визы, предназначавшейся Вайделю, и ужасная игра начинается: «Игра как игра — не хуже любой другой. Игра за место на земле».

В этой игре он влачит за собой, словно собственную тень, Марию, бывшую подругу Вайделя, которую он интересуется как личность. Действие романа, выстроенное по законам музыкального произведения, превращается в игру, ведущуюся вокруг Марии, которая после разного рода интриг и ухищрений в конце концов покидает своего нового спутника, некоего врача, и достается Зайдлеру — «она знала, что ей предстоит: очередная любовь, что же еще...». Но врач возвращается, игра начинается снова, события устремляются к счастливому концу, который вот-вот готов соединить Марию и Зайдлера на борту отплывающего корабля, и тут Зайдлер отказывается от полученной с такими трудами визы, от билета и гарантий,

уступая истинному победителю — всеми осмеянному, обманутому мертвецу, Вайделю.

В центре повествования стоят три человека — Вайдель, Зайдлер и Мария. Анне Зегерс два десятилетия назад удастся или, лучше сказать — удалось совершить невероятное, почти необъяснимое — с помощью реалистических изобразительных средств представить фантастическую суть ситуации, символический подтекст и нетерпеливого ожидания транзита, и отказа от него.

Острая и в высшей степени реалистичная ирония, с какой в романе обрисованы второстепенные персонажи («Я подумал — насколько же не к лицу этому Аксельроту было то, что называют невезением»; об одной старой еврейке говорится, что она выглядела так, «словно она покинула Вену не из-за Гитлера, а в силу указа Марии-Терезии»), не разрушает тайны этого чуда, не преступает его границ. Ни один из второстепенных персонажей — будь то врач, новый спутник Марии, или Паульхен, бросивший Зайдлера на произвол судьбы, равно как и еврей, член Иностранного легиона, возлюбленная Зайдлера Надин или чета Бинне — никто из них не проникает в это волшебное пространство, в этот заколдованный треугольник, образуемый Вайделем, Зайдлером и Марией.

Абсурдная сторона транзитной ситуации отчетливее всего проявляется в образе женщины, живущей в соседней с Зайдлером комнате, — она все время печется о двух собаках, кормит их, ухаживает за ними, всячески балует; в этих собаках она видит гарантию получения заграничной визы. Дело в том, что собаки эти принадлежат гражданам некоей благословенной страны, в которую женщине будет предоставлен доступ только ради этих собак.

Не мое это дело — упрекать Анну Зегерс в том, что она живет там, где живет. Сомневаюсь, что даже самый холодный из воителей «холодной войны» с равнодушием воспримет весть о том, что этот роман появился и у нас. Разумеется, далеко не случаен тот факт, что наше государство, всячески благоприятствуя беглецам, говорящим на нашем языке, никогда не определяло своего отношения к эмигрантам, потенциальным беглецам, которые не только говорят на нашем языке, но и пишут на нем. Не убежден, что в нашей литературе после 1933 года наберется много романов, написанных с такой сомнамбулической точностью и уверенностью, почти безупречных. То, о чем здесь рассказывается, о чем здесь думают и спорят герои, говорит — не против Анны Зегерс, и гораздо яснее и убедительнее бесчисленных протестов и резолюций — против тех обстоятельств, которые заставляют человека, стремя-

щегося не эмигрировать, а бежать с Востока на Запад, добиваться силой, не жалея ни крови, ни жизни, того, что не может ему предоставить даже самый благожелательный чиновник, — той визы на выезд, ради которой в 1940 году в Марселе тысячи людей унижались, в страхе ожидая решения властей.

Тех, кто хотел бы обратить внимание писателей на опасности, среди которых они живут и творят, я отсылаю к процитированным Анной Зегерс словам апостола Павла, где упоминается последняя из перечисленных им опасностей — «опасность между лжебратиями».

Постскриптум двадцать лет спустя

Сейчас, по прошествии двадцати лет, я не знаю, как правильнее сказать — «только» двадцать лет, «целых» двадцать лет или же «не более» чем двадцать лет назад. Последний вариант кажется мне все-таки наиболее подходящим. Итак — не более двадцати лет назад западногерманское издательство набралось *смелости* издать этот роман Анны Зегерс; и смелость понадобилась ему вовсе не потому, что оно было озабочено тем, чем бывают озабочены все издательства при издании почти каждой книги — тиражом, планированием сбыта, нет, тут риск был иного рода — риск был *политическим*, а не литературным или экономическим. Издавать в 1964 году «Транзит» Анны Зегерс было рискованно, ибо тем самым издательство становилось объектом *глупейших* нападок; это были отголоски времени, которое можно назвать эпохой Глобке, эпохой, наложившей свой отпечаток по меньшей мере на десять решающих послевоенных лет, отзвуки которой слышны и по сей день, в наше время, когда старые нацисты надеются на снисхождение, а коммунистам — как старым, так и молодым — не приходится рассчитывать на особое снисхождение. И тогда тоже раздавались произносимые во весь голос роковые слова о немецком единстве, но о культурном единстве, к которому принадлежит Анна Зегерс, мало кто хотел знать. Прошло лишь двадцать лет с того дня, когда в этой стране издан роман немецкой писательницы, получившей мировую известность после выхода в свет «Седьмого креста», романа, который за двадцать лет до этого был опубликован на испанском языке и *целых* семнадцать лет уже издавался в ГДР. «Всего» двадцать лет? Эпоха Глобке? Эра Аденауэра? Кто задумывался когда-нибудь над тем, почему столь немногие — почти никто — писатели захотели вернуться в Федеративную Республику из эмиграции? Эпоха

Глобке, эра Аденауэра, времена, когда слово «эмигрант» использовалось в избирательной кампании как бранное. Отголоски этого времени слышны и по сей день.

1985

О ПЕРЕВОДЕ «ЧЕЛОВЕКА И СВЕРХЧЕЛОВЕКА» ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ

Глубокоуважаемый господин Франк!

Трудно разобраться, да еще определить «в процентном отношении», что побуждает принять или отклонить то или иное предложение сделать перевод: в одном случае соблазняет тема, в другом — языковые трудности. В отношении Шоу — мы уже в 1964 году перевели «Цезаря и Клеопатру» — имело место и то и другое: и соблазн найти немецкое соответствие этой вроде бы легкой ирландско-английской шутливости, и тема. В «Человеке и сверхчеловеке» также привлекала тема: очеловечивание сверхчеловека, который довольно надменно ведет себя уже в «Дневнике революционера». Интермедия «Дон Жуан в аду» — это ведь тоже сценический вариант очеловечивания: грешники, святые, черти иронически представлены во всей своей унылости. И о «Сверхчеловеке» сегодня: мы ведь живем в сверхвремя — сверхвооружения, которыми удружили нас унылые копии сверхчеловеков; сверхпроизводство, сверхдостижения, сверхроскошь — все против «недочеловеков», которые действительно голодают, умирают, ничего не «достигают», которых президент Рейган больше не называет бедными, а зовет не-богатые. Сверхчеловеки, недочеловеки — Шоу искал иного: Человека.

P. S. Ваша благодарность — достаточный гонорар для нас. Если мы когда-нибудь приедем в Хур, пригласите нас на чашечку кофе.

1985

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1985 ГОДА К «ГЛАЗАМИ КЛОУНА»

Новое поколение — а под ним я подразумеваю тех молодых немцев, которые родились в конце пятидесятых, то есть сегодняшних 25—27-летних, — новое поколение вряд ли поймет, почему столь безобидная книга в свое время вызвала такой шум. На примере этой книги оно сможет усвоить, как быстро в наши времена роман становится историческим романом, а также увидеть — и, возможно, это единственное, что делает этот роман «вечным», — как корпоративное мышление присваивает себе право говорить и

судить от имени больших групп населения. В данном случае речь идет об исконном, до сих пор не проясненном вопросе, в какой мере католические союзы, организации и их печать представительны для все еще значительной статистической массы миллионов эдак в двадцать шесть немецких католиков? Кто и от чьего имени говорит, кто кого *представляет*? Тем не менее спорщику Карлу Амери роман показался «слишком благочестивым», хотя у романа есть эпиграф, который спокойно можно было бы использовать как своего рода ключ: «Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Прочсть это можно в маленькой книге, вовсе не внесенной в Запретный список, а именно — в Послании к римлянам, глава 15, стих 21. Неужели нельзя было «поломать голову» заодно и над эпиграфом, вместо того чтобы совершать глупейшую из всех ошибок, *полностью* отождествляя автора с «героем»? А тут — абсолютное отсутствие чувства юмора, полное непонимание литературных возможностей сатиры. Реакция религиозной прессы была негибкой, неловкой и даже не разозлила меня из-за своей изрядной *глупости*. Вполне вероятно, что книга только потому проживет еще некоторое время и выживет, что она доказывает наличие — не у всех католиков, а у воинствующего организованного католицизма — печально известного «дефицита культуры». Здесь, пользуясь случаем, мне хотелось бы вспомнить Райнхольда Шнайдера, крупного автора, одного из парадных авторов религиозных «кругов», не признанного «левыми», который сегодня предстает как мыслитель, стоявший у истоков «борьбы за мир», и который был отторгнут «кругами», поскольку посмел протестовать против ремилитаризации, когда возникли еще только первые признаки; вспомнить также мужественную Гертруду фон Ле Форт, которой десятилетиями угрожали возможной экскоммуникацией. Если уж подробно писать об этом «дефиците культуры», надо оглянуться назад, год эдак на 1896-й, когда Карл Мут, которому был 31 год, опубликовал под псевдонимом Веремундус памфлет под названием «Отвечает ли католическая беллетристика духу времени?». Был скандал, опровержения, Мут раскрыл свой псевдоним, но не сдался и остался противником низкопробной «душеполезной» литературы, которую защищали его противники. Позднее Мут стал издателем «Хохланда», первого и последнего католического ежемесячника, издаваемого непрофессионалом, который создал «кругам» некоторое реноме. Во время второй мировой войны (Мут умер в 1944 году в возрасте 77 лет) он был другом и советчиком брата и сестры Шолль и их друзей.

Похоже, рецензии, публикуемые у нас католическими

организациями, доказывают: почти за сто лет не изменилось ничего. Мут, будь он жив, скорее всего, подобно Карлу Амери, определил бы «Клоуна» как произведение «слишком благочестивое», даже, может быть, причислил бы его к «душеполезной» литературе. Если вдруг кто-нибудь когда-нибудь возьмется написать подробное аналитическое исследование о «дефиците культуры» организованного католицизма, то взвалит на себя тяжкий труд показать и объяснить на примерах ретроспективу его столетнего развития. Моя безобидная книга (у которой есть свои слабости) вызвала у представителей воинственно-апологетического меньшинства, которое считает себя вправе говорить от имени всех немецких католиков, бурную реакцию, вплоть до бойкота. Существовали книжные магазины католического направления, которые продавали книгу только «из-под прилавка», не рискуя предложить ее открыто. Звучит безумно, но то были безумные времена — и как, как можно донести эту *историческую* ситуацию до того, кому сегодня 25—30 лет, продемонстрировать ее и объяснить?

Либеральная, не ориентированная на церковь литературная критика поняла кое-что, не все, конечно, поскольку для нее католицизм, организованный или нет, *сам по себе* был и остается неинтересным, что кажется мне заблуждением, ибо католицизм эры Аденауэра представлял собой *действенную* силу. Ведь существовал, между прочим, шеф кадров бундесвера, который отказывал разведенным офицерам в повышении или задерживал его, поскольку он, как верующий католик, видел в этом свой долг. С точки зрения личности, может быть, это и достойная позиция, да только в секуляризованном обществе довольно абсурдная.

В моей книге запрято многое из истории Федеративной Республики, которой было 12 лет, когда я начинал писать, 14, когда книга вышла, и которой теперь исполнилось 36. Один из главных упреков был связан с тем, что герои этого романа не состоят в официальном браке. Кто из молодых может понять это сегодня, кому интересны разъяснения определенных процессов развития, происшедших *в том числе* и в «кругах», когда представители католических организаций откатились во времена, предшествовавшие Карлу Муту, или, по крайней мере, были там еще 20 лет тому назад? Нет, этому роману не сто, ему всего лишь двадцать два года, а он уже исторический.

Жить неженатыми не только стало обычным, это принято в католических кругах так же, как в не католических, и все же «Глазами клоуна» — семейный роман, почти отвечающий библейскому выражению: «Что Господь свел, человек разделять не должен». Разумеется, для Карла

Амери такое толкование опять «слишком благочестиво». Просто подвергается сомнению претензия на то, что только церковь или государство, а по большей части оба вместе, вправе определять, что такое брак. Не более того. Не пропагандируется ни «конкубинат», ни промискуитет, а — и я не стыжусь признаться в этом — своего рода целомудрие, чего так и не поняло большинство интерпретаторов.

И в католических семьях стало допустимым жить друг с другом, не состоя в браке, не всегда это одобряется, но *принимается*. Приспособляемость, которую мне не хотелось бы называть прогрессивностью, просто поразительная. Что еще двадцать лет тому назад могло привести и приводило к проклятьям и конфликтам, теперь принимается католическими семьями, как были приняты ими и ракеты. Дистанция между организованным католицизмом и большой группой населения под названием «немецкие католики» становится все больше.

Пусть этот роман через несколько лет, а может, уже и сейчас, покажется не более чем иронически-сатирическим наброском своего времени, все же исторический момент его создания останется интересным из-за реакции воинственных представителей организованного католицизма.

Признаем: год 1963-й был для показных христиан тяжелым годом. Вышла «Капитуляция» Карла Амери, «Заместитель» Хоххута, и это через год после Второго Ватиканского собора. Одной из глав «Капитуляции» Карла Амери предпослан эпиграф, который тоже следовало бы повнимательнее прочитать, прежде чем раздражаться слепым гневом: «Христианство втянуто в гибель буржуазии, и совершенно ясно, что из этого слоя не может более прийти спасение» (Роберт Гроше). И следует помнить — но кто же помнит об этом! — что прелат Гроше не только не был «левым», но даже не вызывал «подозрений в левизне»: он был консервативен, но достаточно умен, чтобы воспринять знамение времени.

Он был пропитан «римским духом» до мозга костей, для него понятие «буржуазный», очевидно, не было идентично понятию «консервативный», и было время, когда его рассматривали как претендента на пост архиепископа Кёльнского. Сегодня мы знаем, что вышло иначе.

В 1963 году один из клерикально настроенных критиков опасался, что моя книга может попасть в руки старшекласников. Что ж, чего тогда опасались, со временем произошло, и я спрашиваю себя, возможно ли перенести

сегодняшних 19—20-летних в прошлое, в ментальность эры Аденауэра, чтобы они поняли, насколько историчен этот роман. Возможно, год 1963-й, когда вышли «Капитуляция», «Заместитель» и эта книга, был поворотным годом, все попытки организованного католицизма повернуть вспять провалились: никто больше всерьез не хотел возвращаться ни на двадцать, ни тем более на сто лет назад. Даже ракетная эйфория в «кругах» уже не так непоколебима.

Говоря о немецком католицизме, необходимо различать четыре категории: организованный католицизм, в котором тоже начинается брожение, например, в среде молодежных католических организаций, официальную церковь, немецких католиков и католическую теологию, которая давно преодолела дефицит культуры.

1985

ПИСЬМО МОИМ СЫНОВЬЯМ, ИЛИ ЧЕТЫРЕ ВЕЛОСИПЕДА

Дорогой Рене, дорогой Винсент,

если в том, что я здесь пишу, вам почудится или слышится маленький налет героики выживания или восстановления — перечеркните это, высмейте, прокомментируйте зло и едко, но поверьте, мне чужд лейтмотив старшего поколения, которое во что бы то ни стало хочет объяснить молодежи, как тяжело было «нам» и как легко живется и жилось ей. Ах, эти жизнерадостные любители «засучивать рукава», они все еще их засучивают, снова и снова засучивают, и сейчас тоже — я пишу между 8 и 13 мая 1984 года, — когда пресловутый закон об амнистии вызывает громкий восторг совсем уж прожженных (один из них несколько дней назад кричал в Штутгарте: «Деньги, деньги, деньги!») — и в его крике явственно слышалось: «Деньги гони!»), совсем уж прожженные как раз засучили рукава, чтобы основательно вывернуть наизнанку Федеративную Республику.

Нет-нет, не поддавайтесь этому внушению, вам не легче, чем было нам. В последнюю войну еще можно было выжить, и я хочу попытаться описать вам это: описать, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ. «Рассказывать» — это опасное занятие, в «рассказчике» всегда таится бахвал: хвастун, который-де, в сущности, был героем или по меньшей мере мучеником.

«Одиссея» тоже полна бахвальства, хвастовства, а то, что я хочу вам описать, — маленькая одиссея. «Рассказал» я о вой-

не достаточно, вы можете это почитать, в том числе и то, что я сам пережил; кое-что мне сегодня кажется изрядно выпреним, очень «литературным»; читайте со снисходительностью, и если вы там — как и в этом письме — найдете, что в написанном слышится жалоба, тогда это может быть жалоба только на германский рейх, на его руководителей и его обитателей, но никогда ни на одну из держав-победительниц, то есть и не на Советский Союз. Кстати, у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в «природе вещей», которая в данном случае зовется войной, и я всегда понимал: нас туда *не приглашали*. Так уж водится на войне, там стреляют; были там и «катюши» и тому подобное; случается на фронте — ешь и пьешь что попало, а когда от жажды чуть не сходишь с ума (этим *опытом* я хочу поделиться с вами: жажда хуже голода), пьешь даже из луж, забывая всякие предостережения насчет бактерий, микробов и т. п. Я не стремился попасть в советский плен — вы можете судить об этом по тому, что с осени 1944 года я держался «западного направления», хотя меня охотно послали бы снова на «восточное». Для этого мне пришлось немножко помочь самому себе. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну.

Давно уже я задумал небольшую работу, для которой пока не нашел времени: «Солдат в сказках», в том числе и у Гриммов. Королям, и кайзерам, и всяким «главнокомандующим» в них всегда достается. Во всех сказках подчеркивается их гнусность. В этом сказки куда реалистичнее, чем большинство военных романов, где гнусность всяких «главнокомандующих» обычно остается без внимания, на переднем плане почти всегда «враг» — чей враг? Если мне ниже придется как-то коснуться плена, следите за тем, чтобы я не жаловался на американскую или британскую армию. После войны, после такой войны, я ожидал наихудшего: десятилетний принудительного труда в Сибири или в другом месте; а все оказалось не так уж страшно, если вы учтете, какое разорение причинила война, а также учтете, что без немецкого вермахта, в котором я служил, ни один концлагерь и года не продержался бы.

Вы должны также знать, что смертность в немецких лагерях для советских военнопленных составляла 57,8%, это означает три миллиона триста тысяч мертвых *военнопленных*; смертность среди немецких военнопленных в Советском Союзе — от 35,2 до 37,4%, то есть от одного миллиона

ста тысяч до одного миллиона ста восьмидесяти пяти тысяч. В первую мировую войну смертность среди русских военнопленных в Германии составляла 5,4% и тоже была больше, чем среди военнопленных из других стран — 3,5%. Смертность советских военнопленных во вторую мировую войну была в *десять* с лишним раз выше, чем в первую. Вы обратили внимание? Это было УНИЧТОЖЕНИЕ, главное занятие нацистов. УНИЧТОЖИТЬ Советский Союз им все же не удалось, все-таки кое-кто выжил и уцелели кое-какие дома, в которых можно было жить. Также не удалось нацистам уничтожить Германию, где тоже кое-кто выжил и кое-какие дома уцелели.

Как выжить в условиях УНИЧТОЖЕНИЯ и ХАОСА в среде, где каждый мог быть доносчиком, но, к счастью, не каждый им стал? Читайте отчеты, статистику, документы о Советском Союзе и последствиях войны, все, что я не могу здесь перечислить. Более пяти миллионов поляков было убито, из них девять десятых — гражданское население, в Югославии соотношение между гражданским населением и солдатами — три к одному. Не пренебрегайте статистикой, пусть она порой и бывает неточной или «приблизительной» — кто же в состоянии посчитать и перечислить всех, всех мертвых?

Цифры, если понять, что за ними стоит, приобретают ошеломляющую *наглядность*. Еще одну цифру я хочу привести: из 55 миллионов убитых в Европе 40% — граждане Советского Союза.

С чего мне начать, если я хочу не «рассказать», а только информировать о том, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ? Лучше всего начать со смерти моей матери — она умерла 3 ноября 1944 года в Арвайлере, когда я лежал в госпитале в Бад-Нойенаре. В госпитале? Не беспокойтесь, я не был ни болен, ни ранен, незадолго до этого меня перевели из Арвайлерского госпиталя в Дрезден, там выписали, отправили обратно в Арвайлер, а по истечении моего отпуска я, дабы снова стать пригодным для госпитализации, опять немножко помог себе с помощью снадобий, полученных от одного и поныне здравствующего кельнского врача. После похорон матери мы покинули, кажется 7 или 8 ноября, гостиницу в Арвайлере; вероятно, смерть матери спасла нам жизнь: через несколько дней после нашего «переезда» гостиница была полностью разрушена, прямым попаданием бомбы. «Переезд»? Нет, не хо-

чу и пытаться описать его. Это был бы приключенческий роман, а приключенческих романов предостаточно. Важно только одно: водитель грузовика остался в нашей памяти как «святой»: терпеливый, мягкий, дружелюбный.

Мы поселились у Марии, Алоиза, Марии-Терезии, Франца и Гильберта в Мариенфельде, там, где похоронен ваш маленький брат Кристоф. Новое прибежище приветствовало нас в духе времени: на соседнюю деревню упали первые за всю войну бомбы. Не буду говорить о жилищных условиях и снабжении. Все это достаточно часто описывалось. В одной пристройке шестеро взрослых и трое детей. Мой отец — ему было уже почти 75 лет — все еще любил сигары. Нашим единственным надежным «табачным источником» был польский военнопленный, который работал в соседнем доме в столярной мастерской. Его звали Тони, по одежде и манерам он выглядел настоящим аристократом.

У нас было одно-единственное желание, то желание, которое доводило до белого каления еще Старого Фрица: мы хотели жить, пусть не вечно, но хотя бы еще некоторое время, мы хотели пожить без нацистской чумы.

Сколько романов потребовалось бы, чтобы описать время с 3 ноября 1944 года до апреля 1945-го? Примите во внимание, что рейхсминистра внутренних дел звали Гиммлером и что Гиммлер после 20 июля стал главнокомандующим резервной армии, *моим, нашим* главнокомандующим. Внутриполитический террор между 20 июля и окончанием войны еще не описан, он должен стать темой исследования Института современной истории.

У нас было лишь легкомысленное желание — пережить этот террор, и еще было чувство голода; надо было кормить девять, временами десять, одиннадцать человек. Расспросите Аннемари, вашу мать, при случае порасспрашивайте ее как следует: она вязала перчатки, которые вызвали бы восхищение в любом «салоне мод», и получала за это полведра подгнившей картошки. Зима была холодной, как все военные зимы. Почему *все* военные зимы в нашей памяти *холодные*? Не знаю, какими были на самом деле метеорологические сводки. Что еще нам оставалось, как не попрошайничать и красть? Крали только дрова — в соседнем лесочке женщины рубили деревья, стоя по колено в снегу, по строгим указаниям вашего дедушки, он потом профессионально распиливал их на кухонном столе в заселенной девятью человеками пристройке, предварительно наточив — столь же профессионально — пилу. Вы

когда-нибудь слышали звук, с каким зуб за зубом натачивается трехгранным напильником пила? Дерево из лесочка сырое, бумаги мало; каково было вашему деду разжечь огонь?— а он непременно делал это сам. Наша пристройка когда-то служила «пасторским зальцем», забраться туда можно было только со двора по приставной лестнице, в кладовке хранились шесты, служившие во время праздника Тела Христова и других процессий для транспарантов. Дерево сухое, размер шеста идеальный. Мы называли их «пастырями»— в память о том, что на одном из транспарантов, которые несли на процессиях праздника Тела Христова, было начертано: «Хайль нашему пастырю». Порой приходилось в темноте тайком доставать из закров такого «пастыря», распиливать по размеру печи и раскалывать его, и мы часто задавались вопросом, хватит ли нам «пастырей» до конца войны (позднее, в лагере для военнопленных, когда приближался праздник Тела Христова, я беспокоился, что случится, если жители деревни обнаружат нехватку своих «пастырей!»). Но и сухими пастырскими дровами, и клочками бумаги не растопить печь; нужны спички или зажигалка, а у нас не было ни того, ни другого. И потому ваш дедушка темными зимними утрами стоял с шести часов перед дверями дома и ждал, пока удастся запалить скрученную бумагу от чьей-нибудь зажигалки; он ругал крестьян, которые, по его понятиям, вставали слишком поздно; всю свою жизнь он привык вставать между половиной шестого и шестью часами и идти к мессе.

Ваш дядя Алоиз, из ранних бунтарей, имел понятную, но опасную склонность то и дело отлучаться без разрешения из своей части, что могло бы быть истолковано как дезертирство. Официально он «служил», то есть ничего не делал, в Кёльн-Мюльгейме, в недоброй памяти (также и для меня) Хакетойерской казарме. Он раздобыл велосипед и прикатывал, взмокший от пота и обессиленный, через Мух в Мариенфельд. В результате к нам несколько раз наведывались полевые жандармы (именуемые «цепными псами»). Полевая жандармерия — это было смертельно опасно не только для Алоиза, которого могли пристрелить за ближайшим углом или повесить на ближайшем дереве, я тоже имел основания бояться визита этих господ, потому что не всегда поспевал с подделкой бумаг. Однажды я спасся в узком шкафу, чулане для метел, в который «цепные псы», к счастью, не заглянули. Кроме того, маскировкой и отвлекающим средством являлись

трое маленьких детей. К счастью, мы, братья, походили друг на друга, так что соседи никогда не знали точно, сколько тут обретается — один или двое. Поэтому мы и не могли при дневном свете помогать в рубке дров.

Здесь следует помянуть добрым словом крестьянина Иоганна Петерса из Берцбаха под Мухом, без ноги, ампутированной в первую мировую войну, католика, анархиста; он не только давал нам ежедневно (!) за две ничего не стоящие нацистские военные марки два литра (!) молока, но и прятал у себя на печи двух немецких дезертиров, дал им не на одну трубку табака, который был куда дороже, чем две нацистские военные марки. О, эти молочные супы зимы 44—45 годов, может быть, именно им, именно крестьянину Иоганну Петерсу мы обязаны своей жизнью! Два литра молока ежедневно — в военную зиму. Вечерний молочный суп был единственной надежной трапезой. Доставка молока при дневном свете стала опасной для жизни — несколько раз Аннемари с Марией-Терезией смогли спастись от низко летящих самолетов, только спрыгнув в придорожный ров.

Страх и голод, голод и страх перед немцами. Может быть, теперь вы, Винсент и Рене, лучше поймете то, что мы часто пытались вам объяснить: еще и сегодня каждая из моих покупок — это покупка, продиктованная страхом; именно поэтому я то и дело покупаю слишком много хлеба, слишком много молока, яиц и масла, а сигареты по возможности блоками; может быть, вы лучше поймете, почему я не перестаю удивляться, что остаток своей жизни не провел сидя у печки, с книжкой и сигаретой; ведь как-никак я женат на прилично обеспеченной учительнице реального училища, жалованья которой, хотя и в обрез, хватило бы для нас. Сидеть у печки и читать, хоть несколько часов не испытывать страха перед «цепными псами», господином рейхсминистром внутренних дел Гиммлером и господином главнокомандующим Гиммлером с его законами и эмиссарами; вы, наверное, лучше поймете, почему даже едва уловимый дух фашизма повергает меня в панику; почему я держу свою машину всегда полностью заправленной, в кармане ношу деньги по меньшей мере на неделю и поселился неподалеку от голландской и бельгийской границы. Сумасшедший, сумасшедший, знаю.

Может быть, вы поймете также, что смелым человека делает страх, положение, в котором у него нет иного вы-

бора, кроме как погибнуть или быть смелым,— именно страх придавал мне храбрости жить по поддельным бумагам, которые я отважно менял в какой-нибудь инстанции германского вермахта на подлинные, а потом снова их подделывал. Не воспринимайте все это, Винсент и Рене, как совет или указание — это только информация о моем поведении, которое я тогда считал «исторически» правильным, соответственно близкому *окончанию войны*, хотя историки смотрят на это совсем по-другому. Если что-нибудь потом произойдет, это произойдет для вас совсем иначе. Советы тут мало помогут.

Первую подделку я совершил ранней осенью 44 года, когда уговорил девушку, заполнявшую мне в одном венгерском госпитале выписку, оставить незаполненным место, где после «в...» указывался пункт назначения. Тем самым моя авторучка, которой я в туалете поезда вписал после «в...» самый западный из еще не сданных городов — Мец, по всей вероятности, спасла мне жизнь, ибо по правилам я должен был бы направиться на какой-то «фронтной сборный пункт» в Дебрецен, а о том, что творилось осенью 44 года на балканском военном плацдарме, вы можете прочитать в любом историческом очерке. Из Венгрии через Арвайлер в Мец, из Меца через Арвайлер в Дрезден, из Дрездена через Арвайлер в Бад-Нойенар, в Мариенфельд. *Один* эпизод из этого прошлого я все же попытаюсь вам описать: когда я — должно быть, в октябре или сентябре 44 года — в Ремагене, пересаживаясь из поезда, прибывшего из Мюнхена или Вены, спускался по лестнице подземного перехода к поезду на Арвайлер, по противоположной лестнице спускалась Аннемари, ваша мать, и мы встретились внизу, в туннеле! Можете вы понять, что и теперь, сорок лет спустя, у нас все еще сердце трепещет, да — сердце трепещет, когда мы проезжаем Ремаген?

В Мариенфельд я ехал еще с подлинными документами — выпиской нойенарского госпиталя. Когда приблизился срок явки, я запаниковал, снова немножко помог себе, явился в Зигбург с повышенной температурой, и мне продлили срок; но затем и поддельная дата наступила, гражданский врач в Мухе, к которому я тоже явился с повышенной температурой, продлил подделанную дату, и она стала теперь почти «официальной» (кстати, то, что сделал врач в Мухе, было недозволено, но он это сделал). Я подделал «официально» продленную дату, опять ее просрочил, и клочок бумаги мало-помалу так истрепался, столько там было подписей и печатей, что никуда не годился. Стоит ли говорить, что мы не просто ждали прихода американцев, мы их заклинали, проклинали! А они

все не шли и не шли. Стоит ли описывать наш страх, когда мой брат Алоиз предпринимал все более безумные отлучки из своей части?

Я вспомнил, что у меня был еще один козырь. Все-таки после трех-четырёх месяцев пребывания в госпитале и многочисленных заболеваний дома я, по правилам германского вермахта, все еще был «выздоровливающим» и, прежде чем снова отправиться воевать, имел «право» — какими уж «правами» обладали при господине министре внутренних дел и главнокомандующем Гиммлере! — на «отпуск для долечивания». Ну, ввиду моего совершенно растерзанного «документа», я счел наилучшим припасть к проклятой груди подразделения, которое именовалось «резервной воинской частью» и пребывало в какой-то дыре южнее Мангейма. Я поехал туда. Да. Поехал. Все вокзалы походило на огромные караван-сарай, кишели измотанными, раздраженными, грязными толпами с их жалким багажом: гражданские, «нормальные» пассажиры, беженцы, солдаты, военнопленные, полицейские самых разных категорий — тут у меня многое путается, и с хронологией я тоже не совсем в ладах, ограничусь лишь несколькими абсурдными, но точными деталями.

Эта резервная воинская часть располагалась в какой-то баденской «табачной» деревне, название которой я забыл. В моей роте (обычно состав роты сто с лишним солдат) было 800 человек — и вот они стоят, ворча и ругаясь, на поверке: с ампутированной рукой, ампутированной ногой, дважды ампутированные, трижды ампутированные (без обеих ног и одной руки), на костылях, с самодельными протезами, ожидая назначения пенсий, увенчанные наградами, стоят в очереди за порцией сушеных овощей, на дворе январь или февраль, стужа, а шинель получают лишь значащиеся в списке KV (годные к строевой службе) или добровольно в него записавшиеся. Спят в сараях для хранения табака, из которых он предусмотрительно вывезен или конфискован; ночью протезы висят на крюках и гвоздях; все затхлое, жалкий эрзац-кофе, черствый хлеб с капелькой повидла. Как бы то ни было, я избавился от своей раздрызганной, подозрительной бумажки, снова стал легальным; я мерз, голодал, мне пришлось ждать несколько дней, пока настала моя очередь. По вечерам в задних комнатах пивных и в крестьянских кухнях проворачивались табачные махинации; ни одной девушки нигде

не видно, крики на поверке, проклятия, ругань, — о благородное отечество, как ты обращаешься со своими героями, своими искалеченными героями (см. сказки!).

Аннемари дала мне в дорогу свою чудесную, легкую и теплую красную турецкую шаль, — закутанный в красное, я привлек к себе внимание. Я сразу же записался в KV, получил шинель и — что столь же важно — подлинную бумагу. Эта подлинная бумага была «свидетельством об отпуске для долечивания» — и бесчинствующие патрули мне были ничем. Ах, расспросите Аннемари о *предшествующих* годах, о встрече в Ремагене, о неделях в Меце, о кёльнских жилищах. Вы, наверное, теперь понимаете, какие чувства и воспоминания вызывают в нас вокзалы Ремагена, Бонна, Кёльна? Когда мы навещаем в Кёльне Копелевых на Нойенхёфераллее, где они живут — как раз напротив того дома, в котором мы, поженившись, на рубеже 42—43 годов, пережили самые страшные бомбежки, — неизбежно и незвано приходит воспоминание: об *одном* из наших жилищ, где я ночевал то ли семь, то ли шесть или пять раз, в последний раз в ночь с 29 на 30 июня 1943 года, когда Кёльн разбомбили почти до основания.

Мне не удалось разыскать приказ Гимmlера, изданный в эти последние недели войны; приказ гласил, что каждый солдат может застрелить любого солдата, которого он встретит там, где не слышно «боевой тревоги» или «шума битвы». Таким образом, каждый немец стал для каждого немца потенциальным военно-полевым судом, даже когда тот, кто встретил другого «вдали от шума битвы», сам находился «вдали от шума битвы». Соответственно и число казней достигало десятков тысяч. Теперь мы знаем, что Гимmlер издал этот приказ незадолго до того, как сам попытался спастись через графа Бернадотта посредством «сепаратного мира», о котором Гитлер, разумеется, ничего не ведал. Ведь гимmlеровский девиз — *верность!* Девиз эсэсовцев! Главнокомандующий пытался спастись, в то время как позади него, перед ним, вокруг него по *его* приказу вешали или расстреливали десятки тысяч.

Германия между 20 июля 1944 года и **ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ** — это был *тотальный* террор господина министра внутренних дел Гимmlера. А по радио — вопли Геббельса. Знаете, американская армия в Европе казнила *одного* дезертира — одного, и его вдова многие годы, если не десятилетия, вела судебную тяжбу с Пентагоном. Чис-

ло казненных немецких служащих вермахта точно не известно; известно только, что их было более тридцати тысяч. Пыталась ли хоть одна немецкая вдова, невеста, сестра, мать подать в суд на «германский рейх», или на его наследников, или на одного из выживших из ума фельдмаршалов, в сфере подчинения которого был совершен расстрел или повешение? Разумеется, я также не знаю, сколько казненных статистики протащили по графе «павшие» и, возможно, даже увековечили их имена на памятниках павшим героям войны.

Я не хотел быть одним из них. Ваш дядя Алоиз не раз был близок к тому, чтобы попасть в их число. Тем, что он выжил, он обязан не только своему сказочному везению, но и своей жене, тете Марии, вашей матери Аннемари и в особенности вашей тете, моей сестре Мехтильде. К счастью, женщины и не подозревали, в какой опасности находился Алоиз, они шли с почти гениальной наивностью и поразительной смелостью в логова различнейших львов, скажем в Кёльн или в Энгельскирхен, и добивались для него отсрочки. Меня подмывает сказать: отсрочки казни. Чтобы описать его отлучки из части, его удачи, потребовался бы новый роман. В конце концов обнаружилось, что он страдает заболеванием почек и давно уже вполне легально должен находиться в госпитале, из которого он потом, во избежание плена, в одеянии католического священника подался через американские линии домой.

Одного дезертира, которого потом расстреляли, я знал. В небольшом селении под названием Кальдауэн вблизи Зигбурга он заговорил со мной, когда я возвращался в ряды германского вермахта; унтер-офицер с удивительной фамилией Шмиц-Клякса, тихий человек, заговорил со мной, потому что знал мое имя от Марии и Алоиза. После войны я узнал, что его расстреляли за дезертирство. Он направлялся с фронта — селение Кальдауэн находилось в 3—4 километрах от Зигбурга — навестить родителей, вероятно, выпить кофе; видимо, какой-то легальный немецкий убийца схватил его «вдали от шума битвы». Тогда дело быстро делалось, никто и пискнуть не смел. В начале 50-х годов немецкие женщины тоже без всякого противодействия одобрили перевооружение. Я никогда этого не мог понять; может быть, вам это удастся.

Был я и в Майнце, в феврале 45 года. Возможно, опять в поисках подлинных бумаг, *только* — и вот этого я никак

в толк не возьму — из Майнца я опять поехал напрямиком обратно. Во всяком случае, я был в Майнце, и, так как я ненавижу затхлые вокзальные караван-сарай, я пошел в город,— да, на самом деле, за достоверность этой истории я ручаюсь!— и вдруг увидел вывеску «Гарнизонная комендатура», зашел туда, не спрашивайте меня зачем, я и сам не знаю, может быть, я уже сошел с ума,— итак, я зашел туда, справился — надо же!— где здесь офицер трибунала, и попросил, имея в кармане поддельную увольнительную, доложить ему обо мне.

Был ли я настроен на самоубийство? Нет, я все еще был исполнен желания, которое Старый Фриц считал столь легкомысленным: я хотел жить. Офицер, майор, принял меня, и я изложил ему небольшой роман: по дороге в свою часть я узнал о смерти матери (она умерла пять или шесть месяцев тому назад), и мне необходимо на похороны, кроме того, я узнал, что наша квартира в Кёльне разбомблена (ее разбомбили полтора года назад); таким образом, мне необходимо попасть как на похороны, так и в Кёльн, чтобы спасти мою библиотеку и мои бумаги, которые в связи с предстоящей защитой диплома имеют для меня жизненно важное значение (в моей солдатской книжке в графе «профессия» было записано «студент», и офицер, конечно, не мог знать, подозревать или даже проверить, что в середине первого семестра я был призван в армию). И вот этот удивительный человек, майор, а возможно подполковник, который выглядел ужасно строгим и очень прусским, *поверил* мне или — эта мысль мне пришла в голову позднее — сделал вид, что поверил, потому что он знал, что война проиграна, и хотел спасти любую жизнь. Он предоставил мне четырнадцать дней отпуска, и я опять имел подлинную бумагу и отпуск. Одно вы, вероятно, знаете, при случае имели возможность убедиться, и потому это не хвастовство, а констатация: если нужно, я умею быть довольно хладнокровным.

Одно знаю и я: эта увольнительная истекла 2 марта 1945 года, значит, в Майнце я был — не могу сказать, каким образом,— примерно в середине февраля, с шинелью.

Четырнадцать дней: это было великодушно, это была вечность — должны же когда-нибудь прийти американцы. Эти четырнадцать дней, с подлинным документом в кармане, были бы почти *безмятежными*, если бы не страх за

брата, который был в большей опасности, чем подозревали женщины. В эти четырнадцать дней я поехал на велосипеде Тиллы в Кёльн взглянуть на нашу квартиру и достать на черном рынке сигареты. Но потом — потом все снова перепуталось: я действительно знаю точно, что 2 марта я стоял на Зигбургской горе Михаэль и видел, как огромная туча пыли, которая прежде была Кёльном, двигалась над равниной в сторону Зигбурга. *Так же* точно я знаю, что 2 марта истек срок моей последней законной увольнительной справки, и я просто не помню: подделал ли я ее до того, как ехать в Зигбург, или после? По всей видимости — до, ибо 2 марта я слишком легко попался бы в лапы бесчинствующих патрулей — они *без разбору* хватали солдат и подвозили в ближайшие воюющие части, то есть к пресловутому «шуму битвы».

На сей раз подделка состояла в том, что на старой пишущей машинке отца я после двойки впечатал пятерку; пятерка легла криво, шрифт тоже был другой; с такой подделкой, попадись она в руки настоящего криминалиста, я недалеко ушел бы, потом — не знаю, не решаюсь и думать об этом, — потом меня, скорее всего, застрелил бы какой-нибудь немец — законченный идиот. Не знаю, почему я после двойки не впечатал девятку; я, правда, выиграл 23 дня, двадцать три вечности, но почему я не взял 27 дней? Независимо от подделки, удостоверение и без того было не очень надежным, ведь в этой фазе войны никому не дали бы в общей сложности пять недель отпуска. Возможно, мы были уверены, абсолютно уверены, что *до тех пор* американцы, наши освободители, *непременно* будут уже тут.

Ну, и 25 марта американцев все еще не было, хотя они взяли Кёльн и 7 марта через Рейн двинулись на Ремаген. Ремаген! Можете вы себе представить, что значит для нас это название? Не только из-за *сказочно-неожиданной* встречи, которая у нас там произошла, не только из-за форсирования Рейна американской армией, но и потому, что с июля 43-го до ноября 44 года Аннемари почти ежедневно делала в Ремагене пересадку по дороге из Арвайлера в Кёльн, чаще всего вместе с моим отцом, который там присматривал за своим «предприятием» (дел хватало: чинить окна!). Аннемари ездила в Кёльн, чтобы уводить своих учениц в бомбоубежище. Не знаю, сколько сотен бомбежек ей пришлось пережить. (Расспросите, порасспрашивайте ее как следует. У нее прекрасная память на детали, спросите у нее, на что она жила.) Это было уже безумие, изо дня в день усиливающееся безумие.

Помню — точно не могу сказать, когда это было, — и разбомбленный Бонн, где мы блуждали с Аннемари, вероятно в поисках госпиталя, чтобы там я мог опять немножко помочь себе. На сей раз тщетно. Однажды — да, это звучит как в сказке, — однажды я побывал с моей сестрой Мехтильдой в Энгельскирхене, где Тилла опять что-то передавала для Алоиза. Низко летящие самолеты, штаб-квартира господина генерал-фельдмаршала Моделя, одного из наводивших ужас убийц, который любезнейшим образом застрелился в апреле в небольшом лесу между Дуйсбургом и Дюссельдорфом в возрасте 54 лет, двумя годами моложе своего верховного военачальника, девятью годами старше Гимmlера (да-да, Гимmlеру в 1945 году было 45 лет, подсчитайте при случае, сколько убийств приходится на каждую минуту его жизни!). На улицах орды: солдаты, беженцы, эвакуированные, уезжающие и возвращающиеся, — тому, кто хотел бы нынче снять это для кино, пришлось бы нанять сотни тысяч статистов; отступающие войска, наступающие войска — кто вообще знал, где фронт, где тыл?

Из иностранных радиопередач (слушать которые было опасно для жизни!) мы, конечно, знали, что американцы по автостраде давно продвинулись из Ремагена до Хеннефа, они стояли на реке Зиг, от которой мы жили всего в двенадцати километрах. Но у них были другие стратегические планы, они продвинулись на восток до Касселя, создали, вместе с британской армией, двигавшейся от Арнхайма, «рурский котел», куда потом загнали большую часть немецкого вермахта, — но вот до Мариенфельда они еще не дошли! А 25 марта приближалось, и подделывать больше нечего было, а без бумаг, вдали от «шума битвы», я скоренько закачался бы на виселице, как вы можете это увидеть на иллюстрациях к «Симплициссимусу».

Иногда я думаю, что хаос во время Тридцатилетней войны и после нее не может сравниться с тем, что было во вторую мировую войну и после нее. Население на тех пространствах, где происходили обе войны, тем временем многократно, если не десятикратно, увеличилось, возможности для хаоса значительно умножились, а нашими врагами были ведь не продвигающиеся вперед американцы и англичане, нашими врагами были великие специалисты по убийству и хаосу, один из которых назвал себя фюрером и забился в свою бетонированную башню из слоновой кости в Берлине, другой был госпо-

дин рейхсминистр внутренних дел и главнокомандующий резервной армией Гиммлер плюс еще зараженные манией уничтожения подведомственные ему органы, к которым следует причислить и часть населения.

Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших «врагов» как освободителей. Один из выживших из ума генерал-фельдмаршалов потом называл это не «поражением», а «утраченными победами». Читайте это письмо не как отчет о приключениях, хотя некоторые приключенческие элементы неизбежны, читайте это как «крими», который не может быть *очень* увлекательным, поскольку ведь на главный для «крими» вопрос: схватят ли героя? — уже дан ответ: я остался в живых, и это неопровержимо. Увлекательным может быть в лучшем случае вопрос: как он ухитрился спастись?

Наступило и 25 марта, а американцы все еще не перешли Зиг и не освободили нас; можно было бы найти утешение в том, что и впечатанная после двойки девятка мало что дала бы, ибо и 29 марта они не перешли Зиг.

Выбора не было: обратно в германский вермахт. Вопрос тогда стоял так: где больше шансов выжить — в армии или вне ее? После глубокого раздумья мы решили: в армии. Вне армии без бумаг — это была бы игра опаснее русской рулетки. Но вернуться в армию — это означало расставание, снова разлуку; разлука во время войны, тем более *нацистской* войны, всегда может быть окончательной, и мало пользы от мысли, что «теперь это действительно не может долго продлиться». Ведь и после Сталинграда все это продолжалось еще более двух лет, а от немцев можно было ожидать, что и знаменитое «пять минут после двенадцати» они растянули бы до рассвета, будь у них хоть малейшая возможность.

Мы оттягивали расставание. Аннемари пошла со мной в ближайшую воинскую часть, расположенную в нескольких километрах от нас вблизи деревни Бруххаузен. Это оказался штаб: сплошь штаны с красными лампасами, нервничающий штаб, которому было не до какого-то приبلудного обер-ефрейтора, к тому же у них не было гербовой бумаги, чтобы заменить мою одиозную бумажку на легальную. Меня направили в деревню Бирк на трассе Зигбург — Мух, снабдили походным пайком, в который входили хлеб, колбаса, маргарин, сигареты, и мы продлили расставание, устроившись где-то в стороне от дороги

между Бруххаузенем и Мариенфельдом и уничтожив мой походный паек— голодны мы были оба и ваша мать была беременна. Аннемари прошла со мной дальше, до Муха, всю длинную дорогу под гору, которую она затем должна была проделать обратно в гору, и там, на перекрестке внизу в долине, где толпы гражданских и солдат текли, иногда сливаясь, друг мимо друга, мы и расстались. Вся Германия была в движении, а у меня в кармане была ничего не стоящая, подозрительная бумажка. Да. Разлука. Я не описываю ее. Как мне описать четыре десятка, а то и сотню разлук? В Кёльне, в Арвайлере, в Мариенфельде и еще бог знает где, в Меце, в Бише, Сент-Авольде и еще бог знает где.

Я побрел дальше, в направлении Бирка, с совершенно не соответствующей уставу палкой в руке, которая заставила проезжающего мимо офицера полевой жандармерии остановиться и строго напомнить мне, что это недостойно немецкого солдата. Я был слишком подавлен, чтобы хотя бы прикинуться смущенным, объяснил ему, куда иду, и он приказал мне сесть в машину; он был строгой, официальной повадки, и я боялся — все-таки офицер полевой жандармерии,— как бы он не потребовал мои документы и тут же не арестовал.

Он не сделал ни того ни другого, молча высадил меня в Бирке у канцелярии тамошней части и поехал дальше. Я доложил в канцелярии, предъявил свою бумагу; прежде чем обер-ефрейтор смог ее внимательно изучить, его позвали в соседнюю комнату, а я забрал свой клочок, названный *corpus delecti*¹, и когда он, вернувшись, спросил меня о нем, я сказал: «Так ты же взял его с собой». Он удивился, смешался, но не настаивал; я был внесен в список роты и снова стал легальным. Это одиозное отпускное удостоверение, этот документ, возможно, спасший мне жизнь, где-то еще лежит среди моих неразобранных военных писем.

«Крими» продолжается. Я испытывал облегчение и печаль: после полугода я впервые был разлучен с Аннемари и родными, снова был в германском вермахте. Вылазки в табачную деревню, в Майнц и другие места были, правда, рискованными, но на их исход можно было больше полагаться. Я был удручен, тем более что не мог и позвонить, а в прежние военные годы это всегда служило утешением. Вечером я в подавленном настроении гулял по Бирку и раздумывал: не скрыться ли мне попросту, но где, где? И

¹ Улика (лат.).

тут я вдруг встретил на главной улице дочь одного кельнского лавочника, у которого мы часто — годами — в долг покупали продукты. Милая девушка, которую я, к сожалению, никогда больше не встречал. Она взяла меня с собой «домой»: временное пристанище, где был и ее отец; он дня два назад бежал от призыва в фольксштурм. Мы разговорились, и господин Фог — так его звали — сказал, что он собирается бежать дальше, навстречу американцам, и спросил, не сможет ли он на день-два спрятаться в Мариенфельде. Я обещал, и он попросил меня найти там для него, так сказать, квартиру; в качестве аванса он дал мне 25 фунтов сахара в прочном мешке.

25 фунтов сахара в конце марта 1945-го! Как доставить его в Мариенфельд, поздно вечером? Ну, я ведь был сумасшедшим, девушка одолжила мне свой велосипед, я закрепил мешок с сахаром на багажнике и пустился в дорогу. Это было безумием, и, может быть, эта самовольная отлучка для доставки сахара — как и позднейшая велосипедная поездка при сходных обстоятельствах, о которой я еще расскажу, — и была моим единственным «подвигом»: сахар для Мариенфельда! Я ехал проселочными дорогами, объезжая опасные перекрестки, где караулили полевые жандармы и патрули, и втаскивая на откосы велосипед и сахар, — и я действительно добрался, обливаясь потом, с сахаром в Мариенфельд — вот это была встреча! Неожиданная и все же печальная — снова встала проблема: остаться или поехать обратно. В конце концов победило мое «чувство чести»; я обещал девушке вернуть велосипед, а в те времена велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна. Велосипеды вообще решали мою судьбу, в конечном счете — к благу. Итак, я отправился среди ночи обратно, вернул велосипед и пробрался на свое место. Снова легализован.

Теперь начинается последняя фаза, которую я не хочу описывать в деталях, так как об этом можно прочитать в любой книге о войне. В Кальдаузене я встретил унтер-офицера Шмица, который позднее был расстрелян как дезертир в нескольких сотнях метров от родительского дома. Потом меня перевели в Нидерауель. Там мы стояли напротив американцев, разделенные только рекой Зиг, и могли видеть собственными глазами — *белый, белый хлеб*, он светился, как луна. Никто не стрелял, стрелять было, так сказать, запрещено, потому что, если бы раздался один немецкий выстрел, в ответ обрушился бы целый шквал американских снарядов. Разложение, хаос, скудное питание — мы воровали, доили коров, старались ночевать в хлевах около теплого скота, — и снова велосипед решил

мою судьбу. Вы спросите, почему я не бежал сразу к белому, такому белому хлебу? Ответ прост: я хотел не просто выжить, я хотел выжить по возможности без плена — легкомысленное желание. Мы с Алоизом раздумывали, не спрятаться ли нам на некоторое время в кладовке среди оставшихся «пастырей» и переждать «развитие событий». Я хотел к Аннемари, хотел домой, кроме того, мне пришлось бы переплыть или переходить вброд холодную реку Зиг. Я выжидал. В загоне открыто поговаривали о «перебежке»; некоторые даже пытались это делать — их семьи жили в уже оккупированной американцами области, — ползком и карабкаясь перебирались через разрушенный мост и были обстреляны, так как их приняли за разведгруппу. Нет, я выжидал, и снова велосипед ввел меня в искушение.

Нам поручили сопроводить в Нидерауель наших сменщиков — роту самокатного подразделения кельнской полиции — ночью, через Бёдингген в Альнер, где мы и встретили полицейских. От Альнера до Мариенфельда недалеко: двенадцать, может быть пятнадцать, километров. Мне удалось уговорить одного полицейского чиновника одолжить мне велосипед. Наверное, это был святой, ибо, как я уже говорил, велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна, и кто уже в начале апреля 1945 года, в апогее немецкого хаоса, мог кому-то доверять? Ну, он дал мне велосипед (не знаю его фамилии, не то я и ему, как крестьянину Петерсу, поставил бы памятник), и ночью я поехал в Мариенфельд, повидал Аннемари, привез несколько сигар отцу — и снова дискуссии вокруг проблемы: остаться или не оставаться, забраться наверх в кладовку к «пастырям» или вернуться в Альнер, что примерно было равнозначно возвращению на фронт. В пристройку тем временем подселили еще одного квартиранта; человек разумный, он советовал мне выбрать кладовку, но я видел перед собой славное, честное лицо полицейского чиновника, которому обещал вернуть велосипед «из рук в руки», и вот я темной ночью отправился окольными дорогами обратно в Альнер. Позднее я слышал, не знаю где, что вся рота полицейских вместе с велосипедами была уничтожена.

Мы же — часть, в которой я числился, — потащились дальше, через Брюльталь, в Вальдбрёлль, совершенно расхристанные, мы плелись туда, вперед, опять назад. Я помню, однажды мы шли по краю деревни и увидели там развевающиеся белые флаги. Каким-то образом — не знаю каким — все наше воинство распалось, и я зашагал по направлению к дому, пока какой-то лейтенант посреди

шоссе не приставил мне пистолет к груди и не заставил присоединиться к его «войсковой части», носившей нелепое название «Боевая комендатура Брюхермюле» (эта деревушка, лежащая где-то между Денклингенем и Вальдбрёлем, дала название последней части германского вермахта, к которой я принадлежал). Мне показалось разумнее не сопротивляться этому маньяку, и таким образом я после нескольких неприятных дней попал наконец около Брюхермюле в американский плен. Наконец? Это было для меня неожиданностью: ведь мы американцев ждали, заклинали, проклинали, это же освобождение — **НАКОНЕЦ МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ НЕМЦЕВ**, и тем не менее вот что оказалось неожиданным: мне было трудно поднять руки вверх, трудно, но я это, конечно, сделал.

Остальное не так важно. Прохладная ночь в импровизированном лагере под Росбахом на Зиге — все еще шепотом ведущиеся разговоры об окончательной победе; фантастическая поездка через горы Вестервальд в Линд, через Рейн в Зинциг (прочитайте, перечитайте стихи, которые написал об этом Гюнтер Айх), Намур, Аттихи — огромный лагерь. Разумеется, все это не санаторий. Повторяю: я ожидал наихудшего, а оказалось не так плохо, лишь «наполовину плохо», и самыми опасными были по-прежнему немцы, чинившие самосуды, в результате которых не один человек, не один «пораженец» исчез в выгребных ямах — в апреле 45 года, когда Советская Армия уже побраталась с американцами. Нет, нет, никаких жалоб.

Важно только, что мне удалось — не спрашивайте, каким образом, это был бы маленький «крими» в «крими» — избежать физической работы, на которую нас увлекали улучшенным питанием. Я так думал: если ты теперь будешь работать, а «работа» была абсурдной, тогда тебе придется работать годы, если не десятилетия; я так думал: лучше еще несколько месяцев поголодать, чем годы где-то работать. Возможно, я тогда впервые вел себя «исторически сознательно». Позднее, когда лагерь — будто бы 200 000 человек — ликвидировали и передали (продали) французам, мне удалось после тщательнейшей проверки работоспособности попасть в категорию «профессионально непригодных» — странное обозначение, если учесть, что моя профессия — «студент». И теперь, поскольку из будто бы 200 000 человек шестьдесят были объявлены «профессионально непригодными», американцы проявили свой неожиданный, порой здравый смысл: нас отделили, отдельно кормили, лучше, почти хо-

рошо, приставили даже санитаров, которые приносили нам воду для мытья, пока нас снова не перевели и не передали англичанам, в лагерь неподалеку от Ватерлоо.

Англичане были совсем другими, не столь помешанными на гигиене, как американцы, нам давали хорошую еду и много чая с сахаром и молоком — таким чаем немцы пренебрегали. Я тоже не был чаевником, но стал им, почувствовал прелесть этого несравненного английского чая и собирал остатки в литровую пивную бутылку бельгийского происхождения, которая стала моим самым драгоценным достоянием. Ваша мать, Аннемари, во время войны не имела возможности показать мне, как хорошо она умеет заваривать чай. Ах, знаете, в Ирландии и Англии мы стали любителями чая. Из английского лагеря нас распределили по административным округам. Таким образом я узнал о существовании административного округа Арнсберг, к которому относится Гельзенкирхен, откуда родом Ада, единственный друг, оставшийся после войны и плена, вы его тоже знаете. Кёльн — это уже было потом, остальное вам известно.

Следует упомянуть еще один велосипед. Он принадлежал Хильде Мерль из Зигбурга; она одолжила мне его, когда я, отпущенный бельгийцами из британского плена, прибыл октябрьским днем 1945 года в Зигбург, но время было слишком позднее, чтобы успеть еще до комендантского часа добраться до Нессховена, где Аннемари достала комнату. Я ехал с наивозможной быстротой вверх по дороге, по которой с полгода назад вез мешок сахара, и еще до комендантского часа, потный и измотанный, прибыл в Нессховен. Так рано меня не ждали, велики были удивление и радость, а через несколько дней — горе: мы похоронили вашего маленького брата Кристофа, нашего сына.

Вы спросите, что же я делал эти полгода. Не помню, знаю только: немного. В кухне и без того было полно людей, иной раз, если мои бумаги были действительно в порядке, я отправлялся мешочничать, ждал американцев, читал даже дневники Кьеркегора, лишь однажды побывал, на велосипеде Тиллы и с безупречными бумагами, в Кёльне, чтобы спасти еще несколько «ценных вещей» и достать сигареты. Во многих местах моего письма вы обнаружите наш семейный цинизм и легкомыслие, может быть, посмеетесь. Смейтесь на здоровье: мы выжили и, конечно, не всегда пребывали в унынии. Расспросите основательно вашу мать, порасспрашивайте вашу тетю Марию и вашу кузину Марию-Терезию, ваших двоюродных братьев Франца и Гильберта,

как все это запомнилось им, совсем по-другому, чем мне, и иначе, чем рассказал бы Алоиз.

Слишком многое взбаламучивается, слишком многое поднимается в душе, и надо кончать, иначе получится все-таки полромана, я начну «рассказывать», то есть вступлю на скользкую стезю, а ведь нельзя покидать «твердой почвы» «действительно пережитого». Может быть, вы теперь лучше поймете многое из того, что до сих пор казалось вам странным, даже необъяснимым: что нам не только тяжело, невозможно выкинуть хлеб; что мне тяжело вылить чай или кофе; что эти остающиеся от завтрака драгоценные благородные напитки я забираю в свою рабочую комнату; что я не могу бросить сигарету и что мои продовольственные закупки всегда носят панический характер. Знайте, что в скитаниях 1939—1945 годов ни одна Цирцея не могла бы меня завлечь на свою скалу. В нечистоплотной половой жизни на вокзалах, вокруг них, в поездах того времени не таилось никакого соблазна, а Пенелопа была одновременно и Цирцеей и самой собой. Знайте, что в американском лагере сидели дважды ампутированные, которых схватили с фаустпатронами,— стратеги конечной победы, и что на одном нижнерейнском вокзале возвращающиеся домой британские солдаты, чей поезд стоял параллельно нашему, совали нам окурки.

Может быть, вы теперь лучше поймете, почему нас больше всего раздражали типы наподобие Фильбингера и Кизингера, которые, улыбаясь в своем буржуазном самодовольстве, беспрепятственно прошли через все перипетии времени, и знайте, что знаменитое аденауэровское освобождение военнопленных касалось главным образом офицеров высоких рангов, для которых вообще силу сохранил девиз не «поражение», не «освобождение», а «утраченные победы» и которые, поскольку они живут дольше, чем какой-нибудь больной и израненный солдат, значительно обременяют пенсионные кассы и хорошо пригодились при восстановлении германской армии, именуемой бундесвером. Лучше вы поймете, может быть, и то, что наши многочисленные поездки всегда носят характер бегства, бегства от людей типа Фильбингера, который уже не помнит, что участвовал в казни приговоренного им к смерти! (Подумайте только: он не помнит!) Сколько немцев не помнят, сплошь те, кому я мог попасться в руки,— не все они судьи, зато потенциальные палачи.

А уж «немецкие матери», эта высокочтимая категория «немецкой женственности»,— сколько из них не только без сопротивления, бывало, и без особой нужды, а то даже и с воодушевлением позволили своим четырнадцатилетним сыновьям ринуться навстре-

чу смерти, принесли их в «жертву фюреру»! Был такой Фердинанд Шёрнер, один из любимцев Гитлера,— его военно-полевые суды были столь же печально знамениты, как суды господина Моделя; он носил почетную кличку «Кровавый пес», его «дисциплинарные меры» нагоняли ужас на солдат. Он умер не в 1945 году, как его любимый фюрер, он умер в 1973 году в Мюнхене; я думаю, он тоже из числа освобожденных Аденауэром немецких военнопленных.

Лет шестнадцать тому назад, дорогой Винсент, дорогой Рене, один из сыновей Рудольфа Гесса написал мне, не внесу ли я свое имя в обширный список тех, кто ходатайствует за досрочное освобождение из тюрьмы господина Гесса. Я не мог, я НЕ СМОГ ЭТОГО СДЕЛАТЬ, и даже теперь, когда Гессу 90, Я НЕ СМОГУ ЭТОГО СДЕЛАТЬ. Еще в 1946 году в Нюрнберге эта диковинная «птица мира» твердила, что Гитлер величайший сын, которого породила тысячелетняя история Германии. У меня в ушах все еще звучит его заклинающий, фанатический расистский голос, который я, шестнадцатилетний, слышал по радио, и не могу забыть его лица, которое видел в кинохронике: сверлящие глаза, требующие жертв и жертвы свои получающие. Нет, протестовать против его досрочного освобождения я не стану, ходатайствовать за него я не могу.

Знайте, что я отказался участвовать в расчистке Кёльна от развалин, что вменялось в обязанность каждому возвратившемуся с войны. Я не дотронулся ни до одного камня, я расчищал — тихо, в одиночку, аккуратно сбивая штукатурку с каждого камня,— мастерскую своего отца на Фондельштрассе, которой занимался тогда Алоиз; с общественных камней — ни с одного. Не рассказал я о женщинах, которым пришлось выдержать будни войны и нацистского господства с их повседневными тяготами и абсурдностью.

Я хочу еще раз напомнить вам о четырех велосипедах, о которых здесь говорилось.

1) Велосипед Тиллы, на котором я, примерно, в феврале 1945 года покатил в Кёльн, чтобы побывать в нашей квартире на Нойенхёфераллее, спасти украшения, тяжелое фамильное серебро Аннемари (оно еще и сегодня, в 1984 году, лежит нетронутым и нераспакованным в красных футлярах) и достать на черном рынке сигареты.

2) Велосипед дочери Антона Фога, на котором я ночью нелегально отвез 25 марта 1945 года из Бирка в Мариенфельд 25 фунтов сахара.

3) Велосипед незнакомого полицейского чиновника из Кёльна, на котором я апрельской ночью 1945 года поехал из Альнера в Мариенфельд — тоже ночью.

4) Велосипед Хильды Мерль, на котором я в октябре 1945 года отправился из Зигбурга в Нессховен, чтобы еще до наступления комендантского часа увидеться с Аннемари.

Несколько дней тому назад, в середине июля, когда я заканчивал это письмо, в возрасте 84 лет умер генерал СС Карл Вольф, авантюрист-нацист, еще в 1937 году получивший генеральский чин в СС, начальник личного гиммлеровского штаба, который в конце февраля 1945 года все-таки пришел к выводу, что война проиграна (можете посмеяться: в конце февраля 1945 года он пришел к этому выводу!). После того как через посредников он провел переговоры с Алленом Даллесом, германский вермахт капитулировал в Италии; все-таки, все-таки; потом Вольфа приговорили к четырем годам трудового лагеря, из которых он отбыл *одну* неделю. Потом, обвиненный в причастности к гибели 300 000 евреев, он отрицал, что знал о существовании лагерей уничтожения (это шеф-то личного штаба Гиммлера!). Он получил 15 лет тюрьмы, через семь лет был освобожден. И после этого прожил еще 13 лет на свободе! Это не шутка, дорогой Рене, дорогой Винсент, так было НА САМОМ ДЕЛЕ. Это немецкая история.

Ваш отец.

КОММЕНТАРИИ



В заключительном, пятом томе Собрания сочинений Генриха Бёлля представлены прозаические и публицистические произведения, написанные и опубликованные в 1971—1985 годах. Нетрудно заметить, что именно в этот период, именно в этой части творческого наследия Бёлля преобладает публицистика: памфлеты и эссе, предисловия и послесловия ко многим изданиям, имеющим явную социальную значимость, интервью, выступления, речи. Бёлль, всегда остро чувствующавший перемены политического климата на земном шаре, неизменно откликавшийся на сколько-нибудь важные общественные события на своей родине, в эти полтора десятилетия был граждански особенно активен. Серьезные основания для этого давала сама действительность Западной Германии, сама жизнь писателя.

Продолжением событий конца 60-х годов, студенческих волнений, переросших в политические акции протеста, явилось усиление терроризма — с одной стороны, и усиление нажима на «левых» — с другой. Бёлль в этой ситуации хотел быть объективным: будучи, разумеется, противником терроризма как такового, он анализировал не результат, а саму сущность явления, искал его духовные и социальные истоки. Это неизбежно приводило к резкой критике: и в адрес иных представителей власти (чьи имена читатель найдет в этом томе), и по поводу политики бундестага в целом, и в связи с «мировоззренческим состоянием нации». Нисколько не переоценивая уровень нравственности общества, которое допускает массовые гонения на интеллигенцию за малейшее подозрение в «левизне», Бёлль в 1972 году писал: «Постоянная опасность угрожает демократической конституции, демократическому правительству, если в стране не царит демократическое самосознание» («Не перегной, а песок пустыни»). Ответный удар писателю за вмешательство в политику был нанесен прямолинейно и грубо: Генриха Бёлля объявили «духовным отцом терроризма».

Жизнь писателя в 70-е — 80-е годы являет собой классический пример противоречия «художник — государство». Как художник Генрих Бёлль в прямом смысле пожинает плоды мировой славы. С 1970 года он — президент западногерманской секции ПЕН-клуба, с 1971-го — президент Международного ПЕНа, в 1972-м он получает Нобелевскую

премию по литературе, в 1973-м — звание почетного доктора наук университетов Дублина, Бирмингема и Аксбриджа. В 1974 году становится почетным членом Американской Академии литературы и искусств, в 1975-м — Берлинской Академии искусств. Лига в защиту прав человека награждает Бёлля медалью имени Карла Осецкого (1974), Городской совет Кёльна присуждает ему звание почетного гражданина, земля Северный Рейн — Вестфалия — звание профессора (1982), министр культуры Франции возводит его в ранг командора Ордена литературы и искусств (1984).

Одновременно — и с особой силой в начале 70-х — разворачивается ожесточенная кампания против Бёлля-гражданина. В поисках скрываемых террористов полиция врывается в его дом (спустя десятилетие была и попытка поджога), газеты соревнуются в оскорблениях, сравнивая Бёлля то с шефами нацистской идеологии («Бильд»), то с главами террористических сообществ («Квик»), крича: «Убирайтесь вон, господин Бёлль!» («Вельт ам зоннтаг»). В бундестаге на заседании по вопросам внутренней безопасности недвусмысленно высказывается мнение как раз об опасности «таких бёллей» для страны. Непосредственным поводом для этих и других нападок явился очерк Бёлля «Чего хочет Ульриха Майнхоф — помилования или гарантий безопасности?». Но истинная причина прорвавшейся ненависти обывателя (ибо именно на его вкус рассчитаны хлесткие фразы) кроется, конечно, глубже. Она — в неизменности нравственной позиции Генриха Бёлля, человека, стоящего над толпой.

Его статья «Вмешательство необходимо», опубликованная в «Нью-Йорк таймс» в 1973 году, констатирует, что «политика разрядки» на деле нисколько не влияет на судьбы десятков гонимых и преследуемых властями в разных странах. «Вмешательство необходимо» — это что-то вроде девиза Бёлля, следуя которому он произносит гневные речи («Образ врага и мир»), дает саркастические ответы своим духовным противникам («Книга, написанная в назидание «христианам-устрашителям»), выражает глубокое волнение о будущем своих сподвижников («О присуждении Нобелевской премии Андрею Сахарову»). Писавшие о Бёлле не раз отмечали, что пафос его творчества, его художническая сила — в демифологизации штампов общественного сознания, в изобличении несправедливости и лжи там, где они вовсе не очевидны. «Мне представляется сомнительным, — говорит Бёлль, — что такие слова, как «христианский» или «коммунистический», действительно еще поддаются определению и пригодны для пользования». Считая, что католическая церковь в ФРГ становится больше партийной, нежели духовной инстанцией, Бёлль официально отходит от нее уже в середине 70-х годов.

И почти в это же время его перестают публиковать в Советском Союзе. Его интервью, протесты, письма и обращения по поводу несправедливо обвиненных у нас писателей и общественных деятелей могли бы составить отдельный том. Бёлль не раз бывал у нас в стране, любил Россию и сознавал свою причастность русской культуре, столь характерную для многих немецких мыслителей. Есть прочная внутренняя связь между его раздумьями о Достоевском и Толстом и его социальным анализом современности, тем действенным участием, каковое он принимал

в сиюминутной жизни страны. Знаменательно, что одной из вестниц наступающей «эпохи гласности» явилась первая после многолетнего замалчивания публикация в «Литературной газете» бёллевского «Письма к моим сыновьям» (июль 1985).

Вместе с тем Бёлль становился непримиримым оппонентом и для своих бывших «подзащитных», когда они, принимая участие уже в западной общественной жизни и по-прежнему исходя лишь из собственного опыта судилищ, тюрем и ссылок, безоговорочно приветствовали то, что лишь в сравнении с тоталитаризмом представляется подлинной демократией. «Острую боль свободы... постоянно испытывают и те, кто всю жизнь жил в атмосфере этой свободы», — писал он. В споре нынешней России и нынешнего Запада Бёлль тоже успел сказать свое весомое слово, о чем свидетельствуют его эссе о Солженицыне, рецензия на книгу Владимира Буковского, — острые, полемические тексты, с которыми и сейчас, по прошествии лет, во многом трудно согласиться. В своих воспоминаниях А. Д. Сахаров писал о первой встрече с Бёллем в 1975 году: «При общих, как мне кажется, исходных внутренних предпосылках, при взаимной, как мне чувствуется, симпатии, при собственной Бёллю терпимости, оказалось, что во многом наши оценки, опасения, иерархия целей различны. Это, конечно, не удивительно, если учесть, сколь различны сейчас миры, в которых мы живем... В конце разговора он сказал: «Жизнь на Западе трудна, а у вас — невозможна!» (Сахаров А. Д. Мои воспоминания. Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, с. 571—572).

Проходит время, и на глазах превращаются в историю живые события, уходит ощущение остроты и меткости бёллевского слова в полемике недавних лет. Но остается его проза, вобравшая в себя опыт и дух публицистики, горечь пережитого. Потому рассказы «Донесения о мировоззренческом опыте нации» или «Желательный репортаж» так сходны с критическим очерком, они написаны в традиции немецкого сатирического памфлета, «Писем темных людей» или язвительных шуток Себастьяна Бранта. Потому в последних крупных прозаических произведениях Генриха Бёлля — «Потерянная честь Катарины Блюм», «Под конвоем заботь», «Женщины у берега Рейна» — его дар видеть в частной судьбе отражение судеб эпохи, его «репортажный» стиль, его безупречная точность в характеристиках проявляются в наглядной, почти классической, полноте.

ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ, ИЛИ КАК ВОЗНИКАЕТ НАСИЛИЕ И К ЧЕМУ ОНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

Первая публикация повести — в четырех номерах журнала «Шпигель», начиная с 28 июля 1974 года. Издание книги (1974, август) к концу года было распродано в количестве двухсот тысяч экземпляров, что является исключительным событием в жизни книжного рынка ФРГ. Карманное издание разошлось тиражом в миллион экземпляров. Повесть переведена на восемнадцать языков. На русском языке впервые опубликована в журнале «Октябрь», № 3 за 1986 год.

Когда повесть «Потерянная честь Катарины Блюм» появилась на свет, газета «Бильд» — один из самых ярких образчиков «желтой прессы» на земном шаре — была вынуждена отказаться от своей постоянной рубрики — списка бестселлеров, чтобы не упоминать это название. Это был взаимный «обмен любезностями»: Генрих Бёлль упоминает название газеты также всего лишь один раз — в авторском предуведомлении. Далее в его повествовании фигурирует г а з е т а, чьи методы сбора информации и способы ее передачи обнаруживают неизбежное сходство с приемами «Бильд». Спустя немного времени младший коллега Бёлля, журналист и мистификатор Гюнтер Вальраф самолично устроился на работу репортером в «Бильд» под чужим именем и документально доказал существование раскрытого Бёллем механизма насилия, опубликовав три солидных тома репортажей о «Бильд» (1977, 1979, 1981).

В сущности, само название повести разъясняет ее общий замысел и цель. Сухой и деловой стиль «протокола», что вообще характерно для прозы Бёлля, здесь обретает дополнительное звучание: точность и объективность рассказчика противопоставляет «репортаж» о Катарине Блюм вранью и фальшивке, преподносящимся читателю прессой. И все-таки обличение и разоблачение консервативной журналистики (а именно так была понята повесть) не может быть художественной задачей, и далеко не только в этом видел воплощение своего замысла Бёлль. В трех «составных» названиях для него, сказавшего так много о сострадании к «маленькому человеку», несомненно, важнее всего проблема потерянной чести, под которой имеется в виду не дурная слава в глазах обывателей, а способность к свершению насилия. Ведь цепочка насильственных действий и есть основа сюжета: Людвиг Гёттен и свершенные им «злодеяния» — обвинения в адрес Катарины, на деле виновной лишь во внезапно возникшей любви к Гёттену, — преступление, действительно совершенное Катариной.

При всем том в повести нет виноватых и правых, ведь и журналисты г а з е т ы, из-за которых умирает мать героини, совершает преступление Катарина, всего лишь выполняли свою работу. Вина лежит на обществе, такую работу допускающем, даже приветствующем. Как говорит Труда Блорна, героиня повести, «когда г а з е т а потеряет к Катарине интерес, за нее примутся люди».

Критика возводила литературную генеалогию повести Бёлля к новелле Шиллера «Преступник из-за потерянной чести» (1786), к новелле Генриха фон Клейста «Маркиза д'О...» (1808). Действительно: по глубине исследования характера, по емкости социального анализа, по завершенности формы «Катарина Блюм» принадлежит к лучшим произведениям повествовательного жанра.

Стр. 15. *Кристина Шведская* (1626—1689) — королева Швеции с 1632 г., в 1654 г. отреклась от престола. Ее биография, вероятно, привлекает героиню Бёлля не столько исторической, сколько романтической стороной, которая неоднократно служила предметом разнообразных толкований (например, в знаменитом фильме «Королева Кристина» (1934) с Гретой Гарбо в заглавной роли).

Стр. 35. *Жирочет* — безналичный расчет посредством расчетных чеков.

Стр. 55. *Шагал* Марк (1887—1974) — русский живописец и график.

Стр. 56. *Мандант* — доверитель.

Стр. 62—63. *Конференция епископов в Фульде*.— Фульда — город в Гессене, епископская резиденция, где регулярно проходят конференции немецких епископов-католиков.

Стр. 74. *...в 1949 году...* — дата создания ГДР и ФРГ.

Стр. 75. *Зольнхофенский сланец*.— Зольнхофен — место в Баварии, где добывается плиточный известняк.

Стр. 76. *...курсировал между Буэнос-Айресом и Персеполисом*.— Имеется в виду — между Латинской Америкой и Ираном.

Бонвиван — bon vivant (ф р.) — человек, любящий пожить в свое удовольствие.

ПОД КОНВОЕМ ЗАБОТЫ

Роман был издан в Кёльне в 1979 году, на русском языке впервые опубликован в журнале «Иностранная литература», № 11—12 за 1988 год (название в оригинале: «Die fürsorgliche Belagerung»).

«Под конвоем заботы» не приняли ни «левые», ни «правые». Гадали: за кого же все-таки Бёлль — за террористов или за правоохранительные органы? Критики-снобы были шокированы чрезмерной занимательностью сюжета, называли книгу то детективом, то тривиальным романом. Всполошились и блюстители нравственности, отыскав в тексте «пикантные эротические подробности». Сам успех, читательский спрос на роман, вызвал раздражение, а выбор среды действия — социальные верхи германского общества — заставил заподозрить писателя в неожиданно возникшем тяготении к «красивой жизни».

В действительности же это социальный роман, где продолжены основные принципы, идеи и концепции прозы Бёлля. Но — в соответствии с авторским замыслом и избранным материалом — применены новые средства выразительности. Среди них, в частности, «полифония» голосов, формирующая сюжет, и оригинальный прием в построении финала: обрыв действия в момент кульминации, когда, кажется, только и наступает разгадка нескольких заманчиво и умело завязанных узлов, интригующих тайн.

Бёлль, как всегда, пишет не о том или ином социальном слое как таковом, но об обществе, о людях, о человеке, и на сей раз анализирует современное немецкое общество «наверху». Кстати, самое последнее произведение Бёлля, вышедший вскоре после смерти автора роман «Женщины у берега Рейна» (Москва, 1989; в оригинале — «Frauen vor Flusslandschaft»), развивает и стилистические, и тематические открытия романа «Под конвоем заботы»; это «роман в диалогах и монологах», напоминающий классическую немецкую «драму для чтения» в самом развернутом виде, и действие его происходит в среде представителей самой высшей власти.

Обнаруживается, что люди «наверху» глубоко и безнадежно несчастны, быть может, еще более несчастны, чем их неимущие «меньшие братья», — да к тому же они как бы не имеют права на искренность чувств, ведь всякое переживание происходит прилюдно, публично, «под

конвоєм заботь». Наверное, когда Генрих Бёлль только начинал свои литературные опыты, когда он писал о тех, кто был рядом с ним, близок ему, доподлинно понятен, невозможно было бы представить себе, что в конце жизни писатель все с тем же вниманием и сочувствием станет вглядываться в лица «чужих» — миллионеров и их охранников, тех же конвойных.

Но в современном обществе — и это одна из главных тем романа, — в современном обществе, при всей его иерархичности, традиционных имущественных и прочих барьерах, все смешалось и все переплелось: в добропорядочной католической семье сыновья — «ультралевые», невестка (пусть бывшая) — террористка, дочь — разведенная, внук — поджигатель. Однако всем им находится место и в родительском сердце, и в сердце писателя. Глубинный гуманизм Генриха Бёлля заставляет его подняться над личными склонностями и симпатиями, чтобы сопереживать чужим, прощать врагам.

Стр. 87. *Менцель* Адольф фон (1815—1905) — немецкий живописец и график.

Стр. 90. *...трусость, ветром колеблемая...* — евангельская цитата (Матф., 11, 7).

Стр. 99. *...дети, кухня, церковь...* — по-немецки три «К»: Kinder, Küche, Kirche.

Союз матерей — традиционные католические (с 1930-х годов и евангелические) общества, участницы которых стремятся к воспитанию детей и к супружеской жизни в христианском духе.

Стр. 101. *Целибат* — обязательное безбрачие католического духовенства.

Стр. 106. *Восточная политика*. — Имеется в виду нормализация отношений с Восточной Европой (договоры ФРГ с СССР и ПНР 1970 г., ГДР — 1972, ЧССР — 1973) при Вилли Брандте, федеральном канцлере в 1969—1974 гг.

Версаль — знаменитый дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма XVII—XVIII вв. в пригороде Парижа.

Стр. 107. *Уорхол* Энди (р. 1927) — американский художник-авангардист, также кинорежиссер.

Стр. 108. *Рузвельт* Франклин Делано (1882—1945) — президент США в 1933—1945 гг.

«Новый курс» — система мероприятий в 1933—1938 гг. для ликвидации последствий экономического кризиса конца 20-х — начала 30-х гг.

«Броненосец «Потемкин». — Имеется в виду классический эпизод из фильма С. Эйзенштейна (1925), где вниз по ступеням одесской лестницы катится коляска с ребенком, выпущенная из рук смертельно раненой матерью.

Стр. 109. *...как святой Иосиф от жены Потифара...* — Согласно библейской легенде, жена египтянина Потифара, рабом которого был Иосиф, хотела его соблазнить, «но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал, и выбежал вон» (Бытие, 39, 7—12).

Стр. 112. *...после ноября семьдесят четвертого...* — Тогда в тюрьме после длительной голодовки умер Хольгер Майнс (1941—1974), один из членов террористической организации Баадера — Майнхоф, которая к тому времени считалась ликвидированной. Однако смерть Майнса сразу

всколыхнула новую волну террористических акций; первой было похищение и убийство 10 ноября 1974 г. Гюнтера фон Дренкмана, председателя Верховного суда Западного Берлина; выяснилось, что террористическое подполье отнюдь не сломлено и многие все еще на свободе.

Стр. 113. *Аризация* — национализация имущества еврейских семей при фашизме.

Стр. 115. «*Сей есть сын мой...*» — Евангелие от Матфея, 3, 17.

Стр. 118. «*Хонда*» — марка мотоцикла.

Стр. 121. *Тельман Эрнст* (1886—1944) — деятель германского и международного коммунистического движения, выдвигался кандидатом от КПГ в президенты на выборах в 1925 и 1932 гг.

Крысолов — персонаж немецкой народной легенды; в отместку чудесной игрой на дудочке крысолов заманил в воды реки Везер сначала крыс, потом всех детей города Гамельна.

Стр. 123. *Босх* Херонимус (ок. 1460—1516) — нидерландский живописец.

Дали Сальвадор (1904—1989) — испанский художник.

Стр. 148. ...*защитил диссертацию (что-то про Латинскую Америку)*... — Проблематика третьего мира и, в частности, Латинской Америки — предмет постоянного интереса «новых левых» с середины 1960-х годов.

Стр. 152. ...*майских моленай...* — 31 мая Западная церковь празднует Посещение Пресвятой Девой Марией Елизаветы (Евангелие от Луки, 1, 39—56).

Стр. 158. *Розарий* — цикл молитв у католиков, праздник Пресвятой Девы Марии Розария — 7 октября.

Гейнсборо Томас (1727—1788), *Констебль* Джон (1776—1837) — английские живописцы.

Стр. 159. ...*опять в лабиринт, опять к своему Минотавру...* — В греческой мифологии Минотавр, чудовище, заключенное критским царем Миносом в лабиринт, куда афиняне были обязаны раз в девять лет доставлять ему для съедения семерых юношей и девушек.

Стр. 161. *Хольгер* Датчанин — герой одноименной сказки Г.-Х. Андерсена.

Стр. 174. *Шах*. — Имеется в виду Моххамед Реза Пехлеви, шах Ирана с 1941 г., свергнут народной революцией в 1979 г.

Бансер (Уго Бансер Суарес) — президент Боливии в 1971—1978 гг., генерал.

Стр. 177. *Цвингер* — знаменитый дворцовый ансамбль в стиле барокко в Дрездене, возведен в 1711—1722 гг. (архитектор М.-Д. Пёппельман) при курфюрсте саксонском Фридрихе Августе I (Август II Сильный).

Стр. 178. *Дефреггер* Франц фон (1835—1921) — австрийский живописец.

Катарина фон Бора (1499—1552) — жена Мартина Лютера, олицетворение жены протестантского священнослужителя.

Стр. 180. *Мюнценберг* Вилли (1889—1940) — деятель немецкого и международного рабочего движения. В 1937 г. исключен из КПГ за критику Сталина; погиб при невыясненных обстоятельствах.

Стр. 195. *Святой Мартин* — епископ Турский (316 или 317—397), апостол Галлии. Праздник св. Мартина, особенно радостный для детей, отмечается 11 ноября.

Стр. 199. ...*под этот идиотский указ...* — Имеется в виду постановление о радикальных элементах (1972), согласно которому человек может быть уволен с государственной службы за свои убеждения, если они противоречат Конституции ФРГ; направлено в основном против левых социал-демократов и коммунистов.

Стр. 207. ...*по своей Силезии, которой давно нет...* — По решению Потсдамской конференции 1945 г. территории Верхней и Нижней Силезии относятся к Польше.

Стр. 214. «*У акулы в пасти зубы...*» — Ср. песенку о Мекки-Мессере в «Трехгрошовой опере» Б. Брехта: «У акулы зубы — клинья, все торчат как напоказ. А у Мекки — нож, и только, да и тот укрыт от глаз» (перев. С. Апта).

Стр. 230. *Литания* — вид католической молитвы, при которой священнослужитель и прихожане обмениваются словами в строгом порядке рефренов.

Стр. 236. *Св. Георгий Победоносец* — римский солдат, умер мученической смертью в 303 г., считается победителем дракона; один из четырнадцати Чудотворцев.

Зигфрид — герой сказания о Нибелунгах, омывшийся в крови дракона и ставший непобедимым.

Ниbelунги — владельцы сказочных сокровищ в немецком героическом сказании; имя перешло от племени карликов к Зигфриду, далее к бургундам. У Бёлля этот образ часто встречается как напоминание о попытках утверждения всего исконно немецкого, но здесь имеются в виду клад дракона и клад Нибелунгов, за которые шла борьба в сказании; в область мифологии выводятся терроризм и террористы.

Стр. 241. *Томас Аквинас* (Thomas Aquinas; л а т.) — Св. Фома Аквинский. См. коммент. к эссе «Радикал на службе Богу», с. 695.

Стр. 243. *Аденауэр* Конрад (1876—1967) — первый федеральный канцлер ФРГ (1949—1963 гг.), под руководством которого в 1955 г. ФРГ присоединилась к НАТО.

Стр. 244. ...«*левый центр*» — лозунг немецких социал-демократов в 20-е годы.

Стр. 245. «*Venceremos*» — лозунг кубинской революции 1959 г., ставший затем лозунгом борьбы всей Латинской Америки за независимость и освобождение от империализма.

Стр. 248. *Дисней* Уолт (1901—1966) — американский кинорежиссер-мультипликатор.

Стр. 250. *Святая Барбара* — спасительница в бурю и грозу; Святой Николай Чудотворец (Санта Клаус) в день своего праздника 6 декабря одаривает детей подарками.

Стр. 274. *Молодежное движение*. — Это движение возникло на рубеже XIX—XX вв., его участники стремились к освобождению от давящей воли взрослых, искали общности в странствиях, празднествах. После первой мировой войны оно разделилось на многочисленные союзы и политически ориентированные молодежные организации, которые были закрыты при национал-социализме, заменены Союзом немецкой молодежи (гитлерюгенд).

Стр. 278. ...*лохнеровской Мадонны*...— Лохнер Стефан (ок. 1410—1451) — немецкий живописец, наиболее значительный мастер кёльнской школы. Имеется в виду, очевидно, его знаменитая «Богоматерь в беседке из роз».

...и еще этот итальянец...— Бёлль имеет в виду А. Грамши (1891—1937) — деятеля итальянского и международного коммунистического движения, основателя ИКП.

Стр. 301. *Джотто* ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец.

Мантенья (1431—1506) — итальянский живописец и гравёр.

Ассизи — город в Италии, где родился св. Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226, проповедник, основатель ордена францисканцев), его гробница в монастыре св. Франциска, знаменитом также фресками Джотто.

Пьяцца Навона — площадь в стиле барокко в Риме, где расположен знаменитый фонтан Четырех рек (архитектор Л. Бернини).

Фьезоле — город в провинции Флоренция в Италии.

...с *модильяниевским лицом*...— Модильяни Амедео (1884—1920) — итальянский художник.

Стр. 302. *Истрия* — полуостров в Адриатическом море, Югославия.

Стр. 314. «*Твой жезл, и твой посох...*» — Псалтырь, 23(22), 4.

Стр. 319. *Нидервальдский монумент* — монумент на берегу Рейна в честь победы немецких войск во франко-прусской войне 1870—1871 гг., возведен в 1883 г. по проекту Й. Шиллинга.

Эренбraitштайн — крепость II в. на правом берегу Рейна, напротив города Кобленца.

Стр. 342 *...экуменическую вольнку...* — Экуменическое движение ратует за объединение христианских церквей.

РАССКАЗЫ

ДОНЕСЕНИЯ О МИРОВОЗРЕНЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НАЦИИ

Первое издание — Кёльн, 1975. На русском языке впервые опубликовано в сборнике «Каждый день умирает частица свободы», Москва, Прогресс, 1989.

Стр. 362. ...*францисканско-иоаннитская огненная цепь*...— Францисканцы — монашеский нищенствующий орден, основанный в XII в.; иоанниты — духовно-рыцарский орден, основан в самом конце XI в.

Бейс Йозеф (1921—1986) — немецкий художник, чьи произведения отличались острой социальной направленностью, человек, склонный к эпатажу.

Союзы учащихся.— После 1968 г., взволнованные студенческими акциями протеста, школьники образовали свои политические группировки, главная из которых — Действующий центр независимых социалистических школьников (AUSS); их целью являлась борьба за равноправие с учителями, совместную выработку планов обучения и т. д.

Стр. 363. *У. М.* — Майнхоф Ульрика (1934—1976) — лидер террористической группы (см. эссе на с. 448.).

МС — в оригинале *Jusos — Jungsozialisten*, молодые социалисты.

Стр. 367. *Постановление о радикальных элементах.* — В 1972 г. в ФРГ было принято постановление о радикальных элементах, направленное против коммунистов и левых социал-демократов, которые за свои убеждения могли быть уволены с работы.

Энслин Гудрун — наравне с Ульрикой Майнхоф, Андреасом Баадером (1943—1977), Хольгером Майнсом, Грасхофом и др. — активная деятельница террористической группы Фракция Красная Армия (постепенно выделилась из группы Баадера — Майнхоф).

Рейнише меркур — правокатолическая газета в ФРГ.

Стр. 368. *ФАЦ* — Франкфуртер альгемайне цайтунг — ежедневная газета, редакция которой старается поддерживать объективный уровень информации.

Мендоса — шпрингеровская свинья — см. коммент. к с. 429.

ОХДС — Христианско-демократическое объединение студентов.

Вагенбах — издательство в Западном Берлине, основано в 1964 г., издает современную литературу, политические и карманные издания.

Дас да — прогрессивное австрийское издательство.

Екатерина Сиенская — католическая святая, Дева и Учитель церкви, жила в XIV в.; праздник — 29 апреля.

Стр. 370. *Параграф 51* — параграф уголовного кодекса, снимающий ответственность за поступок, совершенный психически ненормальным человеком.

Орхус — город в Дании.

Дучке Руди — молодежный лидер, руководитель Союза студентов-социалистов, активно выступавших против внешней и внутренней политики ФРГ весной 1968 г.

Вальраф Гюнтер. — См. коммент. к «Желательному репортажу», с. 682.

Гай Фокс (1570—1606) — участник заговора католиков, совершивших неудачную попытку при помощи порохового взрыва уничтожить короля Якова I и весь английский парламент 5 ноября 1605 г.; казнен.

Стр. 372. *Конкрет, Франкфуртер рундшау* и т. д. — перечислены издания леволиберального направления.

Стр. 374. *Праздник Св. Люды* — 13 декабря, особенно отмечается в Швеции.

Стр. 377. *ФЛЕРОПА* — международное объединение цветочных магазинов с центром в Берлине.

Стр. 378. *Стэк Клаус* (р. 1938) — немецкий график, автор политических и сатирических плакатов, оформлял некоторые книги Бёлля. Против Стэка неоднократно возбуждались судебные дела, Бёллер выступал в его защиту.

Стр. 379. *Клодель Поль* (1868—1955) — французский писатель-католик.

Нойе бильдност, Вельт — консервативные издания, которые, однако, стараются казаться либеральными.

Штраус Франц Йозеф (1915—1988) — западногерманский политик, председатель ХСС, занимал министерские должности в правительстве

ФРГ в 1953—1962, 1966—1969 гг., придерживался крайне реакционных политических взглядов.

Стр. 384. *Сартр* Жан-Поль (1905—1980) — французский писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма. В конце 1960-х годов выступил как вдохновитель леворадикального экстремизма.

...кто едит в Португалию... — В апреле 1974 г. в Португалии произошла демократическая революция, свергнувшая фашистское правительство.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

*Посвящается памяти Георга
Веерта и Гюнтеру Вальрафу*

Опубликовано впервые в книге Георга Веерта «Забывтые текстъ», т. I, Кёльн, 1975, под названием «Вместо предисловия — желательный репортаж». Объединение двух имен в посвящении не случайно. Георг Веерт (1822—1856) — немецкий поэт и публицист социалистического направления. В 1848—1849 годах в Кёльне он входил в редакцию руководимой К. Марксом «Новой рейнской газеты», где выступал с многочисленными политическими стихами и острыми социальными очерками. Гюнтер Вальраф (р. 1942) — западногерманский журналист и писатель, автор разоблачительного сборника «Тринадцать нежелательных репортажей» (1969). «Желательный репортаж» Бёлля — пародия на методы, используемые «желтой» прессой (в частности газетой «Бильд», действия которой Вальраф позднее тоже разоблачил в своих репортажах) для раздувания сенсации из самого незначительного факта. Вот такому, «желательному», репортажу были бы рады и правящие круги, и обыватели — ведь он противоположен по духу и публикациям Веерта, и очеркам Вальрафа.

Стр. 385. *RAM* (Rettet das Abendland vor dem Materialismus) — Спасите Запад от материализма! *RAF* (Rote-Armee-Fraktion) — Фракция Красная Армия, см. коммент. к с. 367.

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ ВАС

Напечатано в «Л 76» (Франкфурт-на-Майне — Кёльн), выпуск 2, 1976. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 390. *Мейсенский сервиз* — изделие первого в Европе фарфорового завода в городе Мейсене (основан в 1710 г., продукция нынешнего времени оценивается очень высоко).

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э., прославился необычайной, вошедшей в пословицы, мудростью и справедливостью.

Стр. 391. *Конфирмация* — обряд приема подростков в церковную общину.

Стр. 392. *Гайдн* Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор.

ВЕЖЛИВОСТЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕИЗБЕЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА

Премьера на радио (под названием «Вежливая грабительница банков») состоялась 6.I. 1977 года. Опубликовано в Собрании сочинений Г. Бёлля (Ламув, Кипенхойер унд Вич, 1977, т. 4).

Стр. 403. *Эйхендорф Йозеф фон* (1788—1857) — немецкий поэт-романтик.

Стр. 404. *Царга* — панель в деревянной кровати.

ТЫ СЛИШКОМ ЧАСТО ЕДИШЬ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Первая публикация рассказа — во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» от 17 сентября 1977 года. Сборник с тем же названием вышел в издательстве «Ламув» в 1979 году. На русском языке: под названием «Хлеба и зрелищ», Москва, 1988.

Стр. 409. *Тур де Сюис, тур де Франс* — велогонки; во Франции проходят ежегодно (4500 км).

Стр. 410. *Иди Амин* (р. 1924) — военный и политический деятель Уганды, в результате военного переворота 1971 г. — президент Уганды.

ПРИЗНАНИЕ УГОНЩИКА САМОЛЕТА

Премьера рассказа состоялась на радио в декабре 1977 года. Опубликовано в Собрании сочинений Бёлля (Ламув, Кипенхойер унд Вич, 1977, т. 4). На русском языке печатается впервые.

Стр. 413. *Кьеркегор Сёрен* (1813—1855) — датский теолог, философ, писатель.

Трир — город в Западной Германии, где родился К. Маркс.

НОСТАЛЬГИЯ, ИЛИ ЖИРНЫЕ ПЯТНА

Рассказ опубликован в Литературном журнале (Литературмагацин), 1980, № 13. На русский язык ранее не переводился.

НА КАКОМ ЭТО ЯЗЫКЕ — ШНЕКЕНРЁДЕР ?

Первая публикация в еженедельнике «Ди цайт» 23 июля 1982 года под названием «Кальвадос». Окончательное название «In welcher Sprache heißt man Schneckenröder?». На русский язык рассказ ранее не переводился.

Стр. 419. «*Olvivados*» — название фильма испанского режиссера Л. Буньюэля «Забытые» (1950). В то время, которое описывает Бёллер в своем рассказе, по телевидению в Германии шла ретроспектива Буньюэля.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА

Это эссе является предисловием к шведскому изданию книги Гюнтера Вальрафа (Стокгольм, 1971); см. коммент. к рассказу «Желательный репортаж», с. 682. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 429. *Шпрингер* Аксель (1912—1985) — владелец крупнейшего газетно-издательского концерна в Европе «Аксель Шпрингер и сын, Гамбург» (основан в 1946 г.).

...эксгибиционистского сладострастия... — Эксгибиционизм — форма извращения, выражающаяся в обнажении тела на публике.

Стр. 430. ...метод сбора информации... — Речь идет об одном из самых известных репортажей Вальрафа: «Напалм? — Да, и аминь». Прикинувшись владельцем химического предприятия, ревностным католиком, Вальраф отправился на исповедь с вопросом: не осквернит ли он заповеди, если примет к исполнению экстренный заказ Пентагона на производство напалма (дело происходит в годы войны во Вьетнаме). Из двадцати «исповедовавших» его католических священников только двое выразили сомнение в возможности для христианина подобной сделки.

ДОСТОЕВСКИЙ — СЕГОДНЯ?

К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1971) австрийский писатель Манес Шпербер составил своего рода анкету и разослал ее писателям Г. Бёллю, З. Ленцу, А. Мальро и Х. Носсаку. Он не вполне надеялся на успех и готов был удовлетвориться любым ответом, даже на не поставленный в анкете вопрос. Однако вопреки ожиданиям все ответы были получены, в том числе и от Бёлля. Впервые они прозвучали по радио 12 ноября 1971 г.; напечатаны в сборнике «Мы и Достоевский». Гамбург, 1972 г.

Стр. 435. ...в эти годы шел фильм «Братья Карамазовы»... — «Братья Карамазовы» не один раз были экранизированы в Германии, в данном случае Бёльль, очевидно, говорит о фильме «Убийца Дмитрий Карамазов» (1931).

Стэн Анна (р. 1908) — актриса, начинала в советском кино, в 1933 г. эмигрировала в США.

...встретился у Диккенса, в жизни семьи Микоберов... — Имеется в виду роман Диккенса «Давид Копперфилд» (1850).

Стр. 436. *Рааб* Вильгельм (1831—1910) — немецкий прозаик.

Шторм Теодор (1817—1888) — немецкий поэт и новеллист.

Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий драматург и прозаик.

Гёльдерлин Фридрих (1770—1843) — немецкий поэт.

Честертон Гилберт Кит (1874—1936) — английский писатель.

Бернанос Жорж (1888—1948), *Блу* Леон (1846—1917), *Мориак* Франсуа (1885—1970), *Клодель* Поль (1868—1955) — французские писатели-католики.

Стр. 437. *Юнгер Эрнст* (р. 1895) — немецкий писатель аристократически-консервативной ориентации. «На мраморных утесах» — роман 1939 г.

...из-за... *Катерины Ивановны*... — Бёлль явно пугает Катерину Ивановну из «Братьев Карамазовых» с Настасьей Филипповной; не исключено, однако, что здесь Бёлль подразумевает еще одну Катерину Ивановну — Мармеладову из «Преступления и наказания».

Стр. 440. «*Сикстинская Мадонна*» — картина (1515—1519) Рафаэля, находится в Дрезденской картинной галерее.

Стр. 441. ...эти слова можно отнести и к «*Чужому*» Камю, и к Кафке.— Та же мысль развита в «Опыте о разуме поэзии», см. коммент. к с. 472.

«*Бог умер*» — выражение Ницше, разработанное далее как теологическая проблема французскими и немецкими экзистенциалистами; у Достоевского — одна из важных философских тем романов «Бесь», «Братья Карамазовы».

...отчужденность *Катерины*... — Ошибка Бёлля, речь должна идти, несомненно, о Настасье Филипповне.

Стр. 443. *Папа Иоанн* — Иоанн XXIII (1881—1963), римский папа с 1958 г., стремился приспособить католическую церковь к изменившимся в мире условиям.

Стр. 444. *Сэлинджер* Джером Дэвид (р. 1919) — американский писатель; Бёлль переводил прозу Сэлинджера вместе с женой Аннемари.

Стр. 445. ...*Моби Дик, белый кит, у Мелвилла*... — В романе американского писателя Германа Мелвилла (1819—1891) «Моби Дик, или Белый кит» повествуется о морской охоте на кита, символизирующей вечную борьбу с мировым злом.

Стр. 447. ...этаким современным *Никодим, наносящий тайные визиты*. — Фарисей Никодим, уверовавший во Христа, пришел к нему ночью, тайно (Иоанн, 3).

ЧЕГО ХОЧЕТ УЛЬРИКА МАЙНХОФ — ПОМИЛОВАНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Напечатано в журнале «Шпигель» 10 января 1972 года. На русском языке публикуется впервые. См. преамбулу к настоящим комментариям, а также комментарии к с. 363.

Стр. 449. ...отпечатанном на *гектографе*... — Гектограф — простейший прибор для размножения печатного текста при помощи желатина.

...в 26-м выпуске *вагенбахской «Красной книги»*... — «Красная книга» — одна из серий, выпускавшихся ранее издательством «Клаус Вагенбах ферлаг», ныне самостоятельное издательство «Ротбук-ферлаг», не имеющее отношения к Вагенбаху.

Стр. 453. ...*федеральный министр, которого в одночасье изъели*... — По всей видимости, речь идет о Теодоре Оберлендере, который был министром по делам изгнанных (см. коммент. к с. 538) с октября 1953 г. по май 1960 г.

Ширах Бальдур фон (1907—1974) — с 1933 по 1940 г. — фюрер молодежи третьего рейха, гитлерюгенда; отбывал наказание в тюрьме Шпандау в 1946—1966 гг.

Аденауэр Конрад. — См. коммент. к с. 243.

Стр. 454. *Грасхоф*, *Гудрун Энслин*. — См. коммент. к с. 367.

Стр. 455. «*Штурмер*» — газета, центральный печатный орган национал-социалистов.

КТО ТАКОЙ ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА — В МОЕМ ВОСПРИЯТИИ ?

Статья в книге Генриха Шпетмана с тем же названием, изданной в Мюнхене в 1973 году. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 457. ...*легион имя тем*... — «легион имя мне, потому что нас много», — ответ бесов Иисусу (Марк, 5, 9).

Егер Рихард (р. 1913) — юрист и политик, в 1953—1956 и 1967—1976 гг. вице-президент бундестага, в 1965—1966 гг. — федеральный министр юстиции.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМО

Впервые напечатано в «Нью-Йорк таймс» 18 февраля 1973 года под заголовком «A plea for Meddling», на немецком языке в журнале «Документ», март 1973. На русский язык ранее не переводилось.

Стр. 458. *Пападопулос* Георгиос (р. 1919) — участник военно-фашистского переворота в Греции в 1967 г., министр-президент Греции, в 1972—1973 гг. регент; свергнут в результате переворота 1973 г.

Бирман Вольф (р. 1936) — поэт и бард, жил в ГДР, в 1963 г. исключен из СЕПГ, вслед за этим последовал запрет на его публикации. В 1976 г. лишен гражданства ГДР за «политическую смелость на одном из своих концертов в Кельне».

Хонеккер Эрих (р. 1912) — генеральный секретарь СЕПГ, глава ГДР в 1976—1989 гг.

Франко Баамбонд Франсиско (1882—1975) — глава испанского государства в 1939—1975 гг., диктатор.

«*Цветочные игры*» (Blumenspiele) — конкурс поэтов, известный с XIV в.; некоторое время (с 1899 г.) проводился для рейнских и вестфальских поэтов в Кельне.

Стр. 459. *Международная амнистия* (Amnesty International) — организация, основанная в 1961 г. для помощи осужденным за политические или религиозные взгляды с целью освобождения или смягчения наказания; в организации состоят 500 тысяч членов, представителей 150 стран; присуждена Нобелевская премия мира в 1977 г.

ПЕН-клуб Emergency Found for Writers in Prison — личная инициатива Бёлля, существует до настоящего времени.

Стр. 460. *Пальме* Улоф (1927—1986) — министр-президент Швеции в 1969—1976 и 1982—1986 гг. Убит.

Речь по поводу вручения Нобелевской премии 2 мая 1973 года в Стокгольме. Напечатана впервые во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 3 мая 1973 года (в сокращении). На русский язык не переводилась.

Стр. 467. ...вспомнить... о войнах после Реформации... — Реформация — руководимое Мартином Лютером в XVI в. религиозное движение, имевшее целью борьбу против католической церкви, проходившее в кровопролитных схватках и приведшее к религиозному расколу Запада; войны — имеются в виду Крестьянская война 1524—1526 гг. и Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.

Стр. 468. *Две страны.* — Имеются в виду Германия и Япония.

Стр. 469. *Пруст* Марсель (1871—1922) — французский писатель. «В поисках утраченного времени» — его цикл из семи романов.

«*Вессобрунская молитва*» — отрывок из рукописи 814 г. на баварском диалекте, найденной в Вессобрунском монастыре под Мюнхеном. Соединяя эти два совершенно разнородных памятника литературы, Бёлль хочет подчеркнуть их исключительную сложность для восприятия, в первом случае благодаря многоплановой образности Пруста, во втором — по причине краткости и оборванности текста.

Стр. 470. *Ужасающая проблема Северной Ирландии...* — Ольстер, северо-восточная часть острова Ирландия, — предмет многовековых споров между Великобританией и Ирландией. С 1921 г. одна часть под властью Великобритании, другая входит в состав Ирландской республики, что неизменно приводит к волнениям среди католического меньшинства в Ирландии и кровопролитию.

Стр. 471. *Катехизис* — изложение основ какого-либо учения в форме вопросов и ответов.

Стр. 472. «*Bellum Gallicum*» Юлия Цезаря — «Записки о галльской войне», одно из сочинений римского полководца (100—44 до н. э.).

...чужим в понимании Камю, отчужденностью героев Кафки... — Имеется в виду повесть-притча французского философа и писателя Альбера Камю (1913—1960) «Чужой» (1942), герой которой, полностью отрицая законы общества, являет собой воплощение абсолютного безразличия перед бессмыслицей жизни, перед лицом Ничто; вместе с тем этот необаятельный персонаж выражает философию самого Камю определенного периода и потому неизмеримо выше своего окружения, находится как бы вне его. Герои австрийского писателя Франца Кафки (1883—1924) — одинокие люди, мучительно воспринимающие жестокость мира, трагически бессильные перед жизнью.

Стр. 473. ...открытие языков и их плоти. — Деятели Реформации доказывали, что обычаи и доктрины католицизма, современного им, не соответствуют Заветам, и потому с особым рвением изучали саму Библию и труды отцов церкви. Лютер, отвергая исключительное право папы на толкование Священного писания, сделал свой перевод Библии (1522) и дал тем самым образец общего литературного языка для всей Германии. Эразм Роттердамский (1406—1536) создал новый текст комментариев к Евангелиям. Ульрих фон Гуттен (1488—1523) обращался к населению на родном языке.

...споры о двух разновидностях причастия...— У католиков «сухое» причастие, причащение хлебом и вином у протестантов и православных; в хлебе воплощается тело Христово, в вине — кровь.

Стр. 473—474...*которую... и хлебом-то не назовешь!*— Во время причащения дается пресный круглый хлебец из пшеничной муки.

Манихейство — религиозное учение, распространенное в I тысячелетии н. э. от Китая до Испании и подвергавшееся гонениям как ересь со стороны всех господствующих религий; имеет в своей основе дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как равноправных принципов бытия.

...*может привести к сожжению Гуса или отлучению Лютера.*— Гус Ян (1371—1415) — глава чешской Реформации, осужден церковным собором и сожжен; обвиненный в ереси Лютер отказался явиться на церковный суд (1520 г.) и публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.

Аррабаль Фернандо (р. 1932) — испанский писатель, в 1955 г., преследуемый цензурой, вынужден был переехать во Францию.

УПОИТЕЛЬНАЯ ГОРЕЧЬ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦИНА

Напечатано во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 9 февраля 1974 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 478. *Леонгардт* Сюзанна — член коммунистического кружка Карла Либкнехта, член КПГ со дня ее основания, антифашистка; в 1935 г. эмигрировала из Германии через Швецию в СССР, где в 1936 г. была арестована и провела 12 лет в сибирских лагерях. Книга о лагере «Украденная жизнь» («Gestolenes Leben») была закончена в 1950 г. Бёльль ошибся, назвав эту книгу «Потерянная жизнь» («Verlorenes Leben»).

Стр. 479. *Буш* Вильгельм (1832—1908) — немецкий поэт-юморист и художник-карикатурист.

Стр. 481. *Уотергейтский скандал* — попытка Комитета Республиканской партии по переизбранию президента в США установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в отеле Уотергейт (1972). В ходе расследования вскрыты многочисленные нарушения законности со стороны должностных лиц Белого дома; президент Р. Никсон под угрозой обвинения в причастности к делу был вынужден уйти в отставку (1974).

Стр. 482. *Армия Роммеля.*— Во время второй мировой войны Эрвин Роммель (генерал-фельдмаршал; 1891—1944) командовал германскими войсками в Северной Африке, в 1943—1944 гг. группой армий в Италии и Франции.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕГОДНЯ: ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

Издано в сборнике Тило Коха «Десять заповедей», Мюнхен и Дортмунд, 1975. На русском языке публикуется впервые.

Восьмая заповедь Моисея гласит: не лжесвидетельствуй.

Стр. 487. *Кто из вас без греха...*— евангельская цитата (Иоанн, 8, 7).

Стр. 488... *встреча Иисуса... с женщиной, уличенной в супружеской неверности...* — Имеется в виду разговор с самаритянкой (Иоанн, 4, 1—30).

«Не человек для субботы, а суббота для человека» — евангельская цитата (Марк, 2, 27).

Стр. 489. *Венер Герберт* (1906—1990) — политик, в 1966—1969 гг. федеральный министр, до 1983 г. представлял СДПГ в бундестаге; в 1935 г. эмигрировал из Германии в СССР, потом в Швейцарию (1942—1946 гг.).

Стр. 490. ...*Вилли Брандт, вернулся в Германию в... норвежской форме.* — Брандт эмигрировал при национал-социализме, жил в Норвегии и Швеции (1933—1945 гг.).

Гуттенберг Карл Теодор фон унд цу, барон (р. 1921) — политический деятель, член бундестага от ХДС; в 1944 г. находился в английском плену, по возвращении являлся сотрудником радиостанции Soldatensender.

Хабе Ханс (настоящее имя Жан Бежесс; 1911—1977) — прозаик и драматург.

ВРЕМЯ КОЛЕБАНИЙ — ЦАРЬ И АНАРХИСТЫ

О романе Юрия Трифонова «Нетерпение»

Рецензия напечатана в «Ди цайт» 15 августа 1975 года. На русском языке публикуется впервые. Роман Ю. Трифонова «Нетерпение» вышел в свет в 1973 году.

Стр. 492. ...*1 марта 1880 г., Александр Второй... погиб...* — Ошибка Г.Бёлля. Александр Второй погиб 1 марта 1881 г.

Стр. 493. *Желябов* Андрей Иванович (1851—1881) — революционер-народник, один из создателей и руководителей «Народной воли», казнен за покушение на царя Александра II.

Войнович Владимир Николаевич (р. 1932) — русский писатель, с 1980 г. живет в ФРГ.

Стр. 494. *Михайлов* Александр Дмитриевич (1855—1884) — революционер-народник, член «Народной воли», в 1882 г. приговорен к вечной каторге, умер в Петропавловской крепости.

...*лишены... агиографической окраски.* — Агиография — жизнеописание святых (Жития).

Лорис-Меликов М. Т. был министром внутренних дел России в 1880—1881 гг. *Константин Победоносцев* в 1880—1905 гг. был обер-прокурором Синода, имел исключительное влияние на Александра III.

Клеточников Николай Васильевич (1846—1883) — агент Исполкома «Народной воли» на службе в тайной полиции, в 1882 г. приговорен к вечной каторге, умер в Петропавловской крепости.

Стр. 497. *Якимова-Диковская* Анна Васильевна (1856—1942) — член «Земли и воли», Исполкома «Народной воли», в 1882 г. приговорена к вечной каторге, в 1904 г. бежала, с 1905 г. зерка.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — член Исполкома «Народной воли», — единственная с 1882 г. участница покушения на Александра II, в 1884 г. приговорена к вечной каторге, провела двадцать лет в Шлиссельбургской крепости, затем находилась в эмиграции (1906—1915 гг.).

Интервью с Юргеном Рюле было передано по телевидению 9 октября 1975 года. Напечатано во «Франкфуртер рундschau» 11 октября 1975 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 498. ...в случае с Амальриком...— Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980)— советский писатель и правозащитник. В 1970 г. был во второй раз арестован и приговорен к трем годам лагерей строгого режима, в 1973 г. срок был продлен еще на три года. Просьбы о помиловании поступили со всего мира (в том числе от 247 членов ПЕН-клуба), что привело к замене заключения на ссылку в Магаданской области.

...в случае с Пастернаком или Солженицыным...— После публикации на Западе в 1957 г. романа «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958), это послужило причиной травли со стороны литературных функционеров, и он вынужден был отказаться от принятия премии; в 1958 г. был исключен из Союза писателей; А. И. Солженицын был исключен из Союза писателей в 1969 г., в 1970-м ему была присуждена Нобелевская премия, получить ее лично он не смог; в 1974 г. был выслан из СССР.

Стр. 499. Коллеги Сахарова...— Имеются в виду И. М. Франк, И. Е. Тамм, П. А. Черенков, удостоенные Нобелевской премии по физике в 1958 г.; М. А. Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе в 1965 г.

Международная амнистия.— См. коммент. к с. 459.

Стр. 500. ...обращение, вызвавшее международный отклик.— Имеется в виду программная статья Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968).

...В последней книге...— Имеется в виду книга «О стране и мире», работу над которой Сахаров закончил в июле 1975 г.

Стр. 502. Осецки Карл фон (1889—1938)— немецкий публицист-антифашист, в 1936 г. ему была присуждена Нобелевская премия мира; погиб в концлагере.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БРАТСТВО

Интервью прозвучало по радио 24 декабря 1975 года, затем было опубликовано в книге «Братство», Штуттгарт, 1977. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 502. Неделя братства.— Общественные организации, которые стремятся к ликвидации противоречий между социальными, мировоззренческими или религиозными убеждениями у разных слоев общества, проводят в ФРГ циклы мероприятий под этим названием.

Стр. 506. Просвещение — идейное течение конца XVII—XVIII вв., деятели которого боролись за установление «царства разума», основанного на естественном равенстве людей, за политическое и гражданское равенство.

Стр. 510. Че Гевара Эрнесто (1928—1967) — революционер, участник Кубинской революции 1956 г., в 1966—1967 гг. руководил партизанским движением в Боливии.

Одноименная книга Л. Копелева напечатана в Гамбурге в 1976 году; заметка Бёлля опубликована в газете «Ди цайт» 13 февраля 1976 года, еще до выхода книги.

Лев Зиновьевич Копелев (р. 1912) — писатель, германист, во время войны служил в отделе пропаганды среди войск противника, в начале 1945 года был арестован и приговорен к десяти годам лагерного заключения. «Хранить вечно» — автобиографическая книга, описывающая события 1945—1947 гг., издана на десяти языках. С 1980 года живет в Кёльне, куда выехал по приглашению Бёлля со своей женой писательницей Раисой Орловой (1918—1989).

Стр. 511. «Симплириссимум». — См. коммент. к с. 661.

Стр. 514. Гутенберг Иоганн (1406—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания.

Дюрер Альбрехт (1471—1528) — живописец и график, основоположник немецкого искусства Возрождения.

Кранах Лукас (1472—1553) — немецкий живописец и график.

Гольбейн Ганс (1497 или 1498—1543) — немецкий живописец и график.

Гёльдерлин Фридрих (1770—1843) — немецкий писатель-романтик.

...поминал также Брехта, Вайля... — Бёлль перечисляет деятелей, связанных с социалистическим движением в Германии.

Стр. 521. Иосиф Ветхого Завета. — Став управителем всего Египта, Иосиф стал собирать в закрома запасы зерна, чтобы народ не погиб от голода; дал хлеб своим братьям, предавшим его (Бытие, 41, 37—48, 42, 1—25). Возможно, Бёлль имеет в виду и разговор Иосифа в темнице с хлебодаром (Бытие, 40, 1—22).

Стр. 522. *Deus ex machina* — бог из машины, драматургический прием, применявшийся в античной трагедии для разрешения запутанных конфликтов.

СОЛЖЕНИЦЫН И ЗАПАД

Беседа с Генрихом Формвегом в мае 1976 г.

Интервью было записано Генрихом Формвегом в мае 1976 года, опубликовано в «Л 76», выпуск 1, 1976. На русском языке ранее не издавалось.

Стр. 523. Мизни Джордж (р. 1894) — американский лидер профсоюзного движения, активный руководитель Конфедерации свободных профсоюзов, ярый антикоммунист.

Стр. 524. Венгерское восстание. — Демократическое движение в Венгрии было жестоко подавлено советскими войсками в 1956 г.

Стр. 530. Постановление о радикалах. — См. коммент. к с. 367.

Стр. 534. Киссинджер Генри Альфред (р. 1923) — американский эксперт по международным делам и советник президента (1969—1975).

Стр. 537. Бирман Вольф. — См. коммент. к с. 458.

Стр. 538. Союзы изгнанных — объединения тех, кто в результате второй мировой войны потерял землю, имущество и, в более высоком смысле, родину в восточных областях довоенной Германии, отошедших к другим странам.

Книга с иллюстрациями Клемана Маро и предисловием Г. Бёлля вышла в свет в Мюнхене в 1976 году. «Майн кампф» («Моя борьба») написана Гитлером в тюрьме, где он сидел после Мюнхенского путча, в 1923—1924 годах. На русском языке предисловие Бёлля публикуется впервые.

Стр. 542. ...*эвфемистически названная*...— Эвфемизм — более мягкое выражение вместо грубого или непристойного.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ГОСПОДИНА Ф., ГОСПОДИНА Д.
ИЛИ ГОСПОДИНА Л?

Написано в 1976 году для «Дела для прокурора» (вышла в свет в 1978 году), напечатано впервые во «Франкфуртер рундшау» 1 июля 1978 года. На русский язык ранее не переводилось.

Стр. 543. *Зингер* Исаак Башеви (р. 1904) — прозаик и публицист, в 1934 г. эмигрировал из Польши в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1978 г. Книга «Враги. История одной любви» вышла в 1966 г., переведена на немецкий в 1974 г.

Стр. 544. ...*мальчик в стихотворении Гете*...— Речь идет о стихотворении И.-В. Гете «Блуждающий колокол». У Г. Бёлля некоторая неточность: ребенок в стихотворении всегда рад погулять, вместо того чтобы идти на воскресную службу. Однажды колокол сдвигается с места и хочет накрыть его, с тех пор ребенок исправно ходит и в церковь, и в капеллу.

Стр. 545. ...*дамский велосипед*...— См. публикуемое ниже «Письмо к моим сыновьям».

Стр. 546. *Фильбингер* Ханс (р. 1913) — политический деятель ХДС, премьер-министр земли Баден-Вюртемберг в 1966—1978 гг. В 1978 г. подвергся резкой критике общественности за свою деятельность судьи в конце второй мировой войны.

Стр. 547. *Стража на Рейне* — патриотическая популярная песня; стихи написаны Максом Шнекенбургером (1809—1849) в 1840 г., музыка Карла Вильгельма (1870); стало крылатым выражением.

Дреггер Альфред (р. 1920) — член бундестага с 1972 г., председатель фракции ХДС в бундестаге с 1982 г.

Параграф 51.— См. коммент. к с. 370.

Стр. 548. *Лебер* Георг (р. 1920) — член бундестага в 1957—1982 гг., с 1979 г. вице-президент бундестага.

Стр. 549. *Немецкий журнал* (Deutschlands Magazin) издается с 1979 г., близок ХДС.

НЕ БРАТСТВО, НЕ СОЛИДАРНОСТЬ, А ЛЮБОВЬ К БЛИЗКНЕМУ

Рецензия на повесть Ю. В. Трифонова «Предварительные итоги» увидела свет в 1970 году. Рецензия Бёлля напечатана во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 28 мая 1977 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 552. *Фома Аквинский*.— См. коммент. к с. 241.

Дунс Скот Иоанн (ок. 1266—1308) — философ, ведущий представитель францисканской схоластики; его учение (скотизм) противостоит учению Фомы Аквинского (томизму).

Стр. 554. *Франциск Ассизский*.— См. коммент. к с. 301.

ПИСАТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ ЭТОЙ СТРАНЫ

Интервью Вильтруде Манфельд от 18 декабря 1977 года на ЦДФ. ЦДФ — вторая программа телевидения Германии. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 556. *Кунае Райнер* (р. 1933) — немецкий поэт и прозаик, в 1977 г. эмигрировал из ГДР в ФРГ. Речь в его честь Бёльль произнес 21 октября 1977 г. в Дармштадте.

...разногласий... последних двух месяцев...— Речь идет о так называемой «немецкой осени»: в сентябре 1977 г. членами фракции Красная Армия был убит президент немецких работодателей Г.-М. Шляйер. После этого в прессе началась кампания против Г. Бёлля.

Стр. 558. *Геллер Джозеф* (р.1923), *Мейлер Норман* (р. 1923), *Миллер Артур* (р. 1915), *Сэлинджер*.— См. коммент. к с. 444. *Маламуд Бернард* (р. 1914), *Воннегут Курт* (р. 1922) — американские писатели.

Стр. 564. *Бильдцайтунг*.— См. вступительную заметку к настоящим комментариям.

ШОЛОМ

Эссе было напечатано одновременно в «Дойчес альгемейнес зоннтагсблатт» от 5 и 12 марта 1978 года и в книге «Шолом!» Хиллы и Макса Якоби (Гамбург, 1978). На русском языке публикуется впервые.

Стр. 569. *Эдом и Иаков* — близнецы, дети Исаака и Ревекки, враждовавшие между собой (чаще именуются Иаков и Исав) — Бытие, 24, 63—67; 27, 1—46; 33, 1—20. Их потомки образовали две ветви семитского племени (3-я Кн. Царств, 12).

Апологетика.— Апологеты — раннехристианские писатели, защищавшие принципы учения от нехристианских философов (II—III вв.).

Стр. 570. *Наскальный храм* — мечеть «Купол на скале» на месте древнего еврейского храма.

Сихарь — местность в Самарии, недалеко от древнего города Сихема, ныне Аскар.

Стр. 572. *«Кёльн на Рейне, прекрасный городок...»* — народная песня. ...к другой женищине, к той, которую подвели к Немю на Масличной горе...— Евангелие от Иоанна, 8, 1—11.

Стр. 573. *Кадастр* — опись и оценка объектов, подлежащих налоговому обложению.

Стр. 574. *Коптские монахи, копты* — название египтян, исповедующих христианство.

Стр. 575. ...*доказательства, предъявляемые Фоме неверующему*...— Фома не верил в воскресение Христа, пока не увидел раны от гвоздей (Иоанн, 20, 24—29).

...*фильм о Достоевском*...— Премьера телевизионного фильма «Писатель и его город. Достоевский и Петербург» с сопроводительным текстом Г. Бёлля состоялась в мае 1969 г. (съемки — Ленинград, лето 1968 г.).

...*по моему сценарию*... *фильм об Ирландии*.— Ирландия, где Бёлль впервые побывал в 1954 г., занимала особое и важное место в его жизни и творчестве. «Ирландский дневник» (очерки об Ирландии) публиковался в 1954—1956 гг., в 1957 г. вышел отдельным изданием; в 1958 г. Бёлль купил дом в Дугорте на западном побережье Ирландии, где часто проводил лето. Фильм «Ирландия и ее дети» был снят в 1961 г.

Стр. 576. ...*вслед за Моисеем*...— См. Ветхий Завет, кн. Исход.

Стигмат.— В древности — метки или клейма на теле рабов или преступников.

Стр. 577. «*Проложите Господу путь через пустыню*».— Кн. Исаяи, 40, 3.

Самсон и Далила — Кн. Судей, 16, 4—18.

ЧИТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ САМЫЕ ПОСЛУШНЫЕ

Речь на открытии Центральной библиотеки в Кёльне

Открытие библиотеки состоялось 21 октября 1979 года. Речь Бёлля напечатана в «Бух унд библиотек» (32-й год издания), выпуск 2, 1980. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 579. *Нестлер* Петер (р. 1929) — публицист, советник по культуре Кёльна.

Стр. 582. *Holocaust* (г р е ч.) — жертвоприношение огнем, в переносном смысле — уничтожение евреев при национал-социализме. Одноименный американский фильм о судьбе еврейской семьи вышел на экраны ФРГ в 1977 г. (режиссер де Мартино).

ДИКТАТОР ВО МНЕ

Эссе напечатано в «Л 80», выпуск 19, август 1981 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 584. ...*Гитлер и Чаплин, соединившиеся в одном Гитлере*...— Фильм «Великий диктатор» (1941) — сатира на тоталитарного властителя, где Чаплин играл роли «двойников», диктатора Хинкеля (Гитлер) и маленького еврейского парикмахера из гетто. Картины Чаплина были запрещены цензурой при национал-социализме.

Стр. 585. *Тито* Иосип Броз (1892—1980) — президент Югославии с 1953 г., глава коммунистов Югославии.

Речь была произнесена 4 мая 1982 года, напечатана в сборнике: Лев Копелев, Эгон Бар, Лидие Шмит. Политика мира. Вена, издательство СПА, 1982. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 587. *Оверкилл* (от а н г л.— Overkill) — ядерный потенциал, во много раз превышающий тот запас, которым можно уничтожить все человечество.

Стр. 588. *«Штюрмер»*.— См. коммент. к с. 455.

Стр. 592. *...пресловутый Бэби Док... семейство Дювалье...*— Диктаторский режим Дювалье установлен на Гаити с 1957 г., последний президент, по прозвищу Бэби Док, был свергнут в 1986 г.

Хейг Александр (р. 1924) — американский политический деятель, в 1979—1981 гг.— государственный секретарь, в 1981—1982 гг.— член президентского комитета по стратегическим вооружениям.

Папа Иоанн Павел II (р. 1920) — с 1964 г. архиепископ-митрополит краковский, с 1978 г.— папа римский.

...о супругах Ананиси и Сапфире...— Деяния Апостолов, 5, 1—11.

Стр. 593. *Галтиери* (р. 1926) — член правительства военной хунты Аргентины в 1979—1982 гг., президент Аргентины в 1981—1982 гг.

Сомоса А. (1925—1980) — президент Никарагуа в 1967—1972 и в 1974—1979 гг., продолжал диктаторскую политику своего отца, президента в 1936—1947 и 1950—1956 гг.

РАДИКАЛ НА СЛУЖБЕ БОГУ О Фоме Аквинском

Напечатано в «Ди цайт» 16 сентября 1983 года, на русском языке публикуется впервые. Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) — один из самых почитаемых Бёллем философов и теологов, его имя встречается у Бёлля в сочинениях разных лет.

Стр. 594. *...знаменитую биографию Честертона...*— Наиболее известное издание книги Г.-К. Честертона «Saint Thomas Aquin» вышло в Лондоне в 1933 г.

Стр. 595. *Фридрих II* (1212—1250) — внук Фридриха Барбароссы, король Сицилии.

Стр. 596. *...человек шестьдесят восьмого года... закон о радикалах.*— См. коммент. к с. 367.

...«Сумму»...— Важнейшие произведения Фомы Аквинского — «Сумма теологии» и «Сумма против язычников».

Стр. 598. *Йозеф Пипер...*— Книга Й. Пипера «О Фоме Аквинском» вышла в Мюнхене в 1949 г.

Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

Штайнер Рудольф (1861—1925) — немецкий философ и мистик, создатель школы антропософии.

Вернер Краус (1900—1976; ГДР) при национал-социализме был членом подпольной группы Сопротивления «Красная капелла», книгу «ПИ-страсти» написал в тюрьме и сумел переправить рукопись на волю. Она была издана впервые в 1946 году, в ФРГ (издательство Клостерман, Франкфурт) в 1983 году. Рецензия Бёлля напечатана в «Ди цайт» 14 октября 1983 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 600. *Милош* Чеслав (р. 1911) — польский писатель, с 1956 г. живет в США, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г.

Стр. 605. *Фильбингер*. — См. коммент. к с. 546.

Мишник Вольфганг (р. 1921) — в кабинете канцлера Аденауэра был министром по делам беженцев и жертв войны, с 1968 г. председатель фракции СДП в бундестаге.

О ВЛАДИМИРЕ БУКОВСКОМ

Владимир Буковский (р. 1942) — один из наиболее активных участников правозащитного движения в СССР, подвергался репрессиям. В 1972 году был осужден на семь лет лишения свободы и пять лет ссылки, но в декабре 1976 года обменен на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана и доставлен в Цюрих; живет в Англии. Книга «Эта острая боль свободы» вышла в свет в 1983 году в издательстве Зеевальд (Штуттгарт). На русском языке она издана (вместе с автобиографической повестью «И возвращается ветер...») под названием «Письма русского путешественника» в 1990 году (Москва, НИИО «Демократическая Россия»). Рецензия Бёлля прозвучала на радио 30 октября 1983 года, напечатана в «Л 80», выпуск 29, февраль 1984 года.

Стр. 608. *Нето* Агостиньо (1922—1979) — президент Анголы с 1979 г.

Стр. 609. *Гинзбург* Евгения Семеновна (1906—1977) — писательница, ко второй части ее книги о сталинском лагере «Крутой маршрут» (вышла на немецком языке в 1980 г.) Г. Бёльц написал предисловие.

Стр. 612. *Милош* Чеслав. — См. коммент. к с. 600.

Стр. 614. *Анания и Сапфир*. — См. коммент. к с. 592.

Эбби Док. — См. коммент. к с. 592.

СПОСОБНОСТЬ СКОРЕБЕТЬ

О романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»

Книга Василия Гроссмана вышла в свет на немецком языке в 1984 году в Мюнхене. Рецензия Г. Бёлля была напечатана в «Ди цайт» 30 ноября 1984 года, в 1986 году в издательстве «Ламув» вышел сборник с

тем же названием. На русском языке опубликовано в журнале «Новое время», № 24, 1988.

Стр. 615. *Эйхман* Карл (1906—1962) — фашистский военный преступник; с 1933 г. в СС, с 1937 г. возглавлял отдел «по делам евреев» в управлении безопасности; казнен.

Стр. 618. *Варнах* Вальтер (р. 1910) — филолог и философ, профессор Кёльнского университета и Академии искусств в Дюссельдорфе.

КНИГА, НАПИСАННАЯ В НАЗИДАНИЕ
«ХРИСТИАНАМ-УСТРАШИТЕЛЬЯМ»

О «Философии устрашения» Андре Глюксмана

Книга философа А. Глюксмана была издана на языке оригинала в 1983 году, в переводе на немецкий — в 1984 году, Штуттгарт, Дойче Ферлаг — Анштальт.

Напечатано в «Л 80», выпуск 31, сентябрь 1984 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 625. *Гроций* (1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель.

...«там, наверху», а «там внизу»... — «Вы там наверху, мы тут внизу» называлась книга Г. Вальрафа (1973).

Стр. 626. ...проповедь... проникнута неопитским пафосом, знакомым... по истории апостола Павла... — Савл, ревностный гонитель христиан, был поражен на пути в Дамаск внезапным видением Иисуса, принял крещение и стал проповедником; позже стал называться Апостолом Павлом; написал много посланий церквям разных городов (Деяния, 9, 3—20; 21—28).

Стр. 628. *Пуффендорф* Самуэл (1632—1694) — немецкий юрист и историк.

Дреггер Альфред, *Мертес* Алоиз, *Вёрнер* Манфред — политические деятели, близкие ХДС/ХСС.

«Платиниссимо, Андре!» — Мишель Платини — французский футболист. Бёлль имеет в виду точность «удара» Глюксмана с определенной точки зрения.

Битва при Сольферино — победа французов и пьемонтцев над австрийцами близ городка Сольферино в Северной Италии в 1859 г.

Дюнан Анри Жан (1828—1910) — швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества «Красный крест» (1863), лауреат Нобелевской премии мира (1901).

Стр. 630. «Лучше быть красным, чем коричневым». — Коричневую форму носили члены СА (штурмовые отряды) и члены нацистских молодежных организаций (гитлерюгенд и гитлермедхен).

Стр. 632. ...студент, застреленный в Берлине, или покушение на Руди Дучке. — Во время студенческой демонстрации против политики Ирана 2 июня 1967 г. в Западном Берлине погиб студент Бенно Онезорг. В знак

протеста развернулось широкое молодежное движение, возникли и анархистско-террористические группировки, одна из которых так и называлась «Движение 2 июня». Покушение на Руди Дучке — см. коммент. к с. 370; демонстрантов нередко избивали, если находили сходство с Дучке, однажды в него самого три раза выстрелили; развернулась кампания протеста; Дучке остался жив.

Стр. 634. *Вильсон* Томас Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг. от Демократической партии. В январе 1918 г. выдвинул программу мира, так называемые «Четырнадцать пунктов».

Стр. 535. *Хейг*. — См. коммент. к с. 592.

Войтыла Карол — папа Иоанн Павел II, см. коммент. к с. 443.

Стр. 636. *Грех против Святого Духа* — хула на Святого Духа, единственный грех, который не простится (Матф., 12, 31—32, Марк, 3, 28—30, Лука, 12, 10).

Филип Жерар (1922—1959) — французский актер, исполнитель роли Сида в театре, Жюльена Сореля, Фабрицио дель Донго, народного героя Фанфана-Тюльпана в кино.

Стр. 637. *Святая Терезия из Авилы* (1515—1582) — Дева и Учитель церкви, жила в Испании, праздник — 15 октября.

Старый Фриц — прозвище Фридриха II (Великого) Гогенцоллерна (1712—1786), короля Пруссии с 1740 г., одного из крупнейших военачальников своего времени, ведшего завоевательную политику (Силезские войны 1740—1742, 1744—1745 гг., Семилетняя война 1756—1763 гг. и др.).

Стр. 638. *Беньямин* Вальтер (1892—1940) — литературовед, публицист.

Стр. 639. *Делон* Ален (р. 1935) — популярный французский киноактер.

Стр. 640. *Меровинги* — первая королевская династия в государстве франков (конец V — середина VIII в.). Меровинг — представитель династии, любой из рода.

ТРАНЗИТ

Послесловие и постскрипtum 20 лет спустя

Анна Зегерс (1900—1983) — классик литературы ГДР, прозаик. В 1933 году при национал-социализме эмигрировала во Францию, далее, в 1941 году в Мексику, в 1947 году вернулась в Восточную Германию, в 1952—1978 гг. — председатель Союза писателей ГДР. Роман «Транзит» был впервые издан в Мехико в 1944 году на испанском языке, в 1945 году появился английский, в 1948 году немецкий переводы. В ФРГ «Транзит» был издан в 1963 году в издательстве «Лухтерханд», рецензия Бёлля написана в 1964 году. В настоящем, дополненном, виде этот текст напечатан как послесловие к роману в 1985 году (Дармштадт и Нойвид).

Стр. 643. *Мария-Терезия* (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.

Стр. 644. Глобке Ганс (1898—1973) — занимал высокий пост при национал-социализме и при канцлере Аденауэре, государственный секретарь федеральной канцелярии с 1953 г.

«Седьмой крест» — роман Анны Зегерс, издан в 1942 г. в Мехико, в Нью-Йорке; еще до того частично в Москве (журнал «Интернациональная литература» за 1939 г.).

**О ПЕРЕВОДЕ «ЧЕЛОВЕКА И СВЕРХЧЕЛОВЕКА»
ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ**

Литературный сотрудник городского театра города Кура сообщил Г. Бёлло и его жене, что их небольшой театр готовит к постановке интермедию «Дон Жуан в аду» (пьеса Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек») в их переводе, и попросил ответить на вопросы, почему Г. Бёлло и его жена решили переводить именно Шоу и зачем, по их мнению, нужен был новый перевод, с какими трудностями они встретились в этой работе. Публикуемый ниже текст — ответное письмо театру от 22 января 1985 года. Оно было напечатано в программке театра сезона 1984/85 года. Премьера состоялась 2 февраля 1985 года. На русский язык письмо ранее не переводилось.

«Человек и сверхчеловек» (1901—1903 гг.), словами Шоу, — «комедия и философия», перевернутая история Дон Жуана, которого преследует женщина. В эпизоде «Дон Жуан в аду» Шоу устами дьявола резко критикует буржуазную цивилизацию.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1985 ГОДА К РОМАНУ «ГЛАЗАМИ КЛОУНА»

«Глазами клоуна» — роман Г. Бёлля, выпущенный впервые в 1963 году (см. том 3 настоящего Собрания сочинений). Послесловие Бёлля написано к изданию «Глазами клоуна» 1985 года. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 646. Амери Карл (р. 1922) — немецкий писатель.

Шнайдер Райнхольд (1902—1958) — немецкий писатель-католик, один из главных представителей духовного сопротивления во времена фашизма, преследовался властями; после войны превозносился критикой, университетскими кругами как святой и патриот, но за его активные выступления против вооружения ФРГ в начале 1950-х годов снова стал объектом газетной травли.

Ле Форт Гертруда фон (1876—1971) — немецкая католическая писательница.

Мут Карл (1867—1944) — публицист-католик.

«Хохланд» — основан в 1903 г.

Брат и сестра Шолль. — Шолль Ганс (1918—1943), Зофи (1921—1943) вместе с другими студентами, учеными, художниками образовали во времена фашизма группу Сопротивления «Белая роза», были схвачены во время распространения листовок и казнены 22 февраля 1943 г.

Стр. 648. *Хоххут* Рольф (р. 1931) — немецкий писатель. Пьеса «Наместнику» рассказывает о бунте молодого священника против папы Пия XII и политики римской католической церкви во времена фашизма.

Ватиканский собор.— Вселенские соборы католической церкви проходили в Ватикане дважды в 1869—1870 гг. и в 1962—1965 гг. Второй Ватиканский собор ставил своей целью найти пути преодоления кризиса церкви, вызванного социальными сдвигами после второй мировой войны.

ПИСЬМО К МОИМ СЫНОВЬЯМ, ИЛИ ЧЕТЫРЕ ВЕЛОСИПЕДА

«Письмо» в сокращении впервые напечатано в «Ди цайт» 15 марта 1985 года, полностью — в сборнике «Конец. Писатели девяти стран вспоминают о последних днях второй мировой войны», вышедшем в 1985 году в Кёльне. На русском языке (в сокращении) вышло в «Литературной газете» 3 июля 1985 года, полностью — в сборнике Г. Бёлля «Каждый день умирает частица свободы» (Москва, «Прогресс», 1989).

Стр. 649. *Сыновья Бёлля* — Рене (р. 1948) и Винсент (р. 1950).

Стр. 652. *Старый Фриц*.— См. коммент. к с. 637.

20 июля.— Речь идет о заговоре, организованном военно-аристократическими кругами Германии и закончившемся неудачным покушением на Гитлера 20 июля 1944 г.

Стр. 653. *Праздник Тела Христова* — католический праздник, отмечающийся в первый четверг после Троицы.

Стр. 657. *Копелевы*.— См. коммент. к «Хранить вечно» на с. 691.

Стр. 661. «*Симплириссимус*» — роман немецкого писателя Г.-Я.-Х. Гриммельсгаузена (1621—1676), изданный впервые в 1668 г. с гравюрами на меди, выполненными И.-А. Бенером и И. Майером и неоднократно воспроизводившимися в переизданиях (в том числе в «Библиотеке всемирной литературы», ИХЛ, Москва, 1976). Действие романа происходит во время Тридцатилетней войны (1618—1648 г.).

Стр. 662. «*Пять минут после двенадцати*» — крылатое выражение, означает продолжение борьбы, когда ее исход уже решен в пользу противника; употребляется чаще всего именно в связи с окончанием второй мировой войны для обозначения бессмысленности сопротивления гитлеровских войск.

Стр. 666. *Айх* Гюнтер (1907—1972) — немецкий поэт и драматург.

Стр. 668. *Цирцея* — в греческой мифологии волшебница, удерживавшая Одиссея на своем острове, в переносном смысле — коварная обольстительница.

Пенелопа — жена Одиссея, ждавшая его двадцать лет, олицетворение супружеской верности.

Фильбингер.— См. коммент. к с. 546.

Кизингер Курт-Георг (1904—1988) — федеральный канцлер ФРГ в 1966—1969 гг., в 1967—1971 гг. — председатель ХДС.

Стр. 669. *Суды господина Моделя*.— Вальтер Модель (1891—1945) — генерал-фельдмаршал гитлеровской армии. Во время второй мировой войны командовал армией на германо-советском фронте, в 1943—1945 гг.

командовал войсками Запада во Франции и Западной Германии. Покончил самоубийством.

Гесс Рудольф (1894—1987) — один из главных немецко-фашистских военных преступников, с 1925 г. — личный секретарь Гитлера, с 1933 г. — его заместитель по партии национал-социалистов, в 1946 г. приговорен к пожизненному заключению.

Стр. 670. *Даллес* Аллен Уэлш (1893—1969) — в 1942—1945 гг. — руководитель политической разведки в Европе, в 1953—1961 гг. — директор Центрального разведывательного управления США.

М. Зоркая

СОДЕРЖАНИЕ

ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ КАТАРИНЫ БЛЮМ. Повесть. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	7
ПОД КОНВОЕМ ЗАБОТЫ. Роман. <i>Перевод М. Рудницкого</i>	87
РАССКАЗЫ	
Донесения о мировоззренческом состоянии нации. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	361
Желательный репортаж. <i>Перевод И. Городинского</i>	385
Пока смерть не разлучит вас. <i>Перевод А. Кагана</i>	388
Вежливость при некоторых неизбежных нарушениях закона. <i>Перевод А. Кагана</i>	396
Ты слишком часто ездил в Гейдельберг. <i>Перевод Б. Хлебникова</i>	405
Признание угонщика самолета. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	411
Ностальгия, или Жирные пятна. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	415
На каком это языке — Шнекенрёдер? <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	418
ЭССЕ, РЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ	
Нежелательные репортажи Гюнтера Вальрафа. <i>Перевод А. Дранова</i>	427
Достоевский — сегодня? <i>Перевод А. Дранова</i>	431
Чего хочет Ульрика Майнхоф — помилования или гарантий безопасности? <i>Перевод А. Дранова</i>	448
Кто такой Иисус из Назарета — в моем восприятии? <i>Перевод С. Фридлянд</i>	457
Вмешательство необходимо. <i>Перевод И. Городинского</i>	458
Опыт о разуме поэзии. <i>Перевод М. Карп</i>	461
Упоительная горечь Александра Солженицына. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	477
Десять заповедей сегодня: восьмая заповедь. <i>Перевод А. Дранова</i>	486
Время колебаний — царь и анархисты. <i>Перевод А. Дранова</i>	492
По поводу присуждения Нобелевской премии мира Андрею Сахарову. <i>Перевод М. Харитонова</i>	497
С чего начинается братство. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	502
Хранить вечно. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	511
Солженицын и Запад. <i>Перевод Н. Бунина</i>	522
Предисловие к «Ночи над Германией». <i>Перевод А. Дранова</i>	541
Судебное дело для господина Ф., господина Д. или господина Л.? <i>Перевод С. Фридлянд</i>	543

Не братство, не солидарность, а любовь к ближнему. <i>Перевод А. Дранова</i>	550
Писатели и граждане этой страны. <i>Перевод Г. Косарик</i>	556
Шолом! <i>Перевод А. Дранова</i>	567
Читающие граждане не самые послушные. <i>Перевод М. Харитонова</i>	579
Диктатор во мне. <i>Перевод М. Харитонова</i>	583
Образ врага и мир. <i>Перевод М. Харитонова</i>	587
Радикал на службе Богу. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	594
Немецкое кривое зеркало. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	600
О Владимире Буковском. <i>Перевод А. Дранова</i>	606
Способность скорбеть. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	615
Книга, написанная в назидание «христианам-устрашителям». <i>Перевод А. Дранова</i>	624
Транзит. <i>Перевод А. Дранова</i>	640
О переводе «Человека и сверхчеловека» Джорджа Бернарда Шоу. <i>Перевод С. Гавриленкова</i>	645
Послесловие 1985 года к роману «Глазами клоуна». <i>Перевод С. Гаври-</i> <i>ленкова</i>	645
Письмо моим сыновьям. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	649
Комментарии <i>М. Зоркой</i>	672

Бёлль Генрих

Б43 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 5. Повесть: Роман: Рассказы: Эссе, речи, интервью: 1971—1985: Пер. с нем. / Редкол.: **А. Карельский**; Н. Павлова, **И. Фрадкин**; Сост. И. Фрадкина; Коммент. М. Зоркой. — М.: Худож. лит., 1996.—703 с.

ISBN 5-280-01220-3 (Т. 5)

В последний, пятый, том Собрания сочинений Генриха Бёлля входят произведения, написанные писателем с 1971 по 1985 г. Это роман «Под конвоем заботы», повесть «Потерянная честь Катарины Блом», а также рассказы, речи, интервью, относящиеся к этому периоду.

Б $\frac{4703010100-058}{028(01)-96}$ Подписное

ББК 84.4Г

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Собрание сочинений в пяти томах

Том 5

Редакторы

И. Солодухина и М. Голубовская

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

В. Нефедова

Корректор

Г. Володина

Изд. лиц. № 010153 от 27.12.91.

Подписано к печати с готовых диапозитивов 23.04.96. Формат 84×108^{1/32}. Бумага офс. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,96. Усл. кр.-отт. 36,96. Уч.-изд. л. 45,0. Тираж 20 000 экз.

Изд. № VI-4111. Заказ 1544. «С»-296.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.



